

сочинения

В. БЪЛИНСКАГО.

RIHIMPRO

B. EBANHCKAFO.

сочиненія

В. БЪЛИНСКАГО.

СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА И ЕГО ФАКСИМИЛЕ.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

Издание пятое.

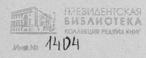
Цвна за каждую часть 1 р. 25 к.

москва.

«Русская» типо-литографія, Большая Дмитровка, д. Шаблыкина. 1884.

RIHIHRPH

B. STANHCKATO.



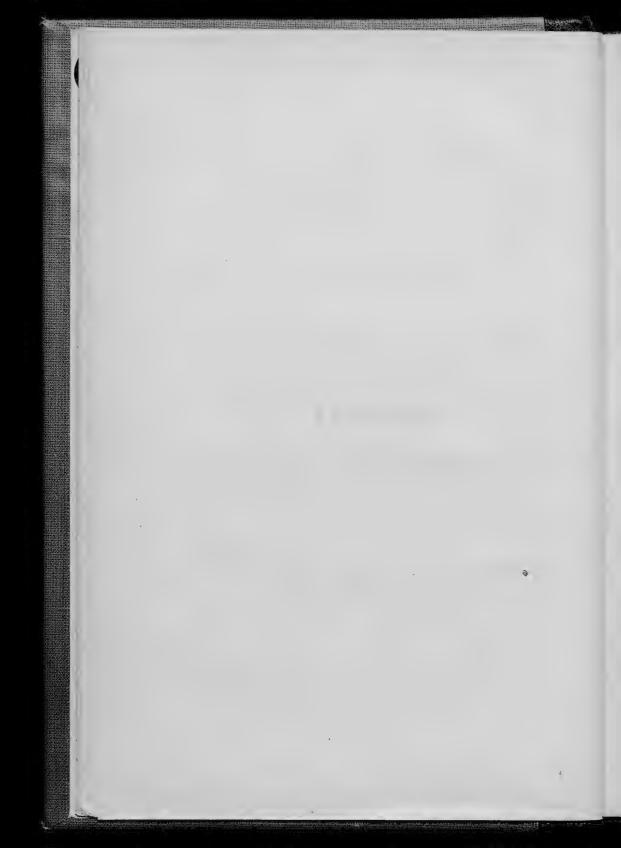
1839.

московскій наблюдатель.



I.

КРИТИКА.



ЛЕДЯНОЙ ДОМЪ. Соч. И. И. Лажечникова. Москва 1833—1837. Четыре части.

БАСУРМАНЪ. Соч. И. Лажечникова. Москва. 1838. Четъре части.

Воть уже третій романь издань г. Лажечниковымь, — и слава его растеть все болье и болье. Общій голось утвердиль за нимъ почетное титло перваго русскаго романиста, и добросовъстная критика, чуждая личныхъ отношеній и литературнаго пристрастія, всегда подтвердить приговорь публики, если только она-добросовъстная критика. Разумъется, это первенство, по сущности своей, есть, относительное, хотя, по хронологін исторін нашей литературы, и безусловное. Мы хотимъ этимъ сказать, что, говоря о г. Лажечниковъ, какъ о первомъ русскомъ романистъ, мы отнюдь не имъемъ въ виду писателей повъстей, но только однихъ романистовъ, и отнюдь не видимъ въ немъ идеала романистовъ, но только лучшаго русскаго романиста. Мы не будемъ сравнивать его съ Вальтеръ-Скоттомъ и Куперомъ, потому что можно и не тягаясь съ этими двумя въковыми исполинами-художниками, быть примъчательнымъ романистомъ вообще и первымъ, то есть, лучшимъ во всякой литературъ, кромъ англійской. Мы не будемъ также говорить съ дукавою пропією, что романы г. Лажечникова лучше романовъ Евгенія Сю, Виктора Гюго, Бальзака и прочихъ, потому что еслибы его романы были не только хуже, по даже не были бы лучше романовъ этихъ корифеевъ безпутной французской литературы, то мы не почли бы ихъ слишкомъ завиднымъ пріобрѣтеніемъ для русской литературы

и не стали бы о нихъ много хлопотать. Еще менве намврены мы, выписавши изъ романовъ г. Лажечникова нъсколько изысканныхъ выраженій или вычурныхъ фразъ, которыхъ они въ самомъ дълъ очень не чужды, изречь ему грозный приговоръ. или-что еще хуже-побранивши его за недостатки, похвалить за достоинства, какъ учитель бранитъ и хвалитъ своего ученика за ученическую задачу, пополамъ съ грѣхомъ, оконченную. Отъ последней проделки съ нашей стороны, г. Лажечникова защищаетъ его огромная извъстность, и громкій авторитеть у публики, а еще болье одно повидимому маленькое, но въ самомъ-то дълъ очень важное обстоятельство, а именно: мы сами не пишемъ романовъ, и г. Лажечниковъ не перебиваеть у насъ дороги. Вотъ, если бы мы вздумали написать, или (все равно!) дописать какой-нибудь романъ, что-нибудь въ родъ Евгенія Сю, примиреннаго съ Августомъ Лафонтеномъ, и въ этомъ романъ вывели бы героемъ какого-нибудь недопеченаго поэта, который «хочеть заняться чамь-нибудь высокимъ» и жалуется, что «свътская чернь его не понимаетъ», бранить гражданское устройство, которое мёшаеть безь актовъ и записей жениться, однимъ словомъ, презираетъ бъдною землею, на которой если забудень дней пятокъ поъсть, то непремъпно умрешь, и смотритъ заживо на небо, гдъ нътъ ни формъ, ни обрядовъ... О, тогда плохо бы пришлось отъ нась г. Лажечникову: мы умъли бы его отдълать въ коротенькой библіографической статейкъ... Но чего итть, о томъ нечего и говорить, и такъ какъ намъ ничто не мъщаетъ паслаждаться прекраснымъ поэтическимъ талантомъ г. Лажечникова и цёнить его, то и приступимъ къ дѣлу, — назовемъ хорошее хорошимъ, а дурное дурнымъ; за первое отъ души поблагодаримъ автора, а за второе отъ души извинимъ его, ради пер-Baro.

Въ самомъ дълъ, при оцънкъ романовъ г. Лажечникова главный и первый трудъ долженъ состоять въ отдълени достоинствъ отъ недостатковъ. Намъ скажутъ: да въ этомъ-то

и состоить задача всякой критики. Не будемъ возражать на подобное возражение: у насъ понятия о критикъ совсъмъ другия, но мы пока побережемъ ихъ про себя, потому что излишняя отчетливость повела бы насъ слишкомъ далеко и отбила бы отъ предмета. И потому, пока мы условимся, что дъло критики есть отдъление красотъ отъ недостатковъ въ произведении искусства, а мърка при этомъ химическомъ процессъ—личное ощущение критика. Дюпенъ издалъ карту народнаго просвъщения Франции, оттънивъ колоритомъ отношения образованности въ различныхъ департаментахъ, т. е. самые образованные департаменты, означивъ свътлою краскою, а невъжественные—темною. Вотъ такую карту желаемъ мы составить, изъ нашей критической статьи, для романовъ г. Лажечникова. Пусть всякій повъряетъ наше митніе собственнымъ своимъ митніемъ.

Еще не успъли мы забыть удовольствія, которымъ насладились при чтеніи «Ледянаго дома», вышедшаго въ 1835 году, какъ взились, кажется, за третье, если не за четвертое, чтеніе этого романа, по случаю втораго его изданія въ концѣ прошлаго года, — и прочли его еще съ большимъ удовольствіемь, нежели въ первый разь: лица, которыя начали уже, оть времени, представляться нашимъ глазамъ подъ какимито туманными дымками, снова ожили передъ нами, и мы радушно и весело встрътились съ старыми знакомцами, и нашли ихъ такъ-же интересными, милыми и любезными, какъ и въ пору перваго знакомства; прекрасныя ощущенія, которыя, отъ времени, уже начинали терять свою предметность и повторялись въ душѣ нашей, какъ напѣвы какой-то забытой. по прекрасной пъсни, вновь воскресли въ ней, живыя, свъжія, могучія, и снова взволновали ее своими очаровательными потрясеніями... ІІ однакожь-странное діло!-при последнемъ чтеніи, романъ доставиль намъ несравненно большее наслажденіе, чёмъ при первомъ; по при первомъ чтеніи мыставили его гораздо выше, давали ему гораздо большее зна-

ченіе, большую ціну, нежели какія даемь ему теперь... Помню, какъ мучилъ меня этотъ «Ледяной Домъ», какъ какая-то неразгаданная загадка, какъ сбирался я тогда написать о немъ огромную статью, а въ ней тепло, живо и увлекательно раскрыть всв его красоты, и какъ — не могъ написать ни строки... Тяжесть подвига подавляла силы... По крайней мъръ, такъ казалось мнъ тогда. Помню, что больше всего меня затрудняла и мучила двойственность романа: то представлялся онъ миъ выше всего, что можно себъ представить въ этомъ родъ, то я не видълъ въ немъ почти ничего... Первое ощущение оправдывалось мониъ сознаниемъ, которому я не върилъ, какъ дъявольскому навождению, и упрекалъ себя въ немъ, какъ въ гръхъ... Странно, а понятно: только тогда можно вполив насладиться литературнымъ произведеніемь, когда поставишь его на свое мѣсто и не будешь требовать отъ него ин больше, ни меньше того, что оно можеть дать; такъ точно, можно ужиться со всякимъ человъкомъ, если только поймешь его на его мъстъ и будещь требовать отъ него ни больше, ни меньше того, что можно и должно отъ него требовать. Какая истипная и, въ то же время, простая мысль, а между тымь, какъ трудно и какъ не скоро понимается опа!...

Не будемъ излагать содержанія «Лединаго Дома»: оно и безъ того всякому образованному читателю знакомо и перезнакомо; по поговоримъ о лицахъ, образующихъ своими соотношеніями его драму. Герой—Волынскій. Какъ историческое лицо, онъ и теперь еще загадка. Одни видятъ въ немъ героя, мученика за правду; другіе отрицаютъ въ немъ не только патріота, но и порядочнаго человъка. Но мы оставимъ историческаго Волынскаго—памъ до него нътъ дъла: мы пишемъ не объ исторіи, а о романъ. Тутъ представляется другой вопросъ: имъетъ ли право поэтъ исказить историческое лицо? Да и пътъ, отвъчаемъ мы. Да будетъ проклятъ, кто бы нанесъвятотатственную руку на искаженіе Петра Великаго и умышъ

ленно осмълился бы сдълать уродливаго карлу изъ великана человъчества; но анахронизмы, искажение событий, вслъдствие требованій ткани и механизма романа—но только безъ искаженія идеи лица, -- могуть казаться непозволительными или преступными только вникающему разсудку, а не живому эстетическому чувству. Что же касается до сомнительныхъ, или неважныхъ историческихъ лицъ, то и говорить нечего: въ произведеній искусства должно искать соблюденія художественной, а не исторической истины. Что за важность, что Шиллеръ изъ Карлоса, непокорнаго сына и дурнаго человъка, сдълаль идеаль возвышеннаго, благороднаго человъка? Худо не это, а то, что его драма есть произведение риторики, а ея лица-риторическія аллегоріи, а не живыя созданія. Что намъ за нужда, что Гёте изъ восьмидесятилътняго старика Эгмонта, отца многочисленнаго семейства, сдёлалъ молодого, кипящаго избыткомъ жизни юпошу? Онъ хотълъ изобразить не Эгмопта, а кипящаго избыткомъ душевныхъ силъ юношу въ положенін Эгмонта. Исторія услужила ему только «поэтическимъ положеніемъ», а главное дёло въ томъ, что его драмавеликое произведение великаго художника. Кто хочеть знать исторію, тотъ учись ей не по романамъ и драмамъ. Поэтому, для насъ смъшны нападки пъкоторыхъ аристарховъ на г. Лажечникова, что онъ снялъ десятка два или три лѣтъ съ плечъ Волынскаго (добро бы еще исказилъ историческій характеръ!). Что же такое Волынскій Лажечникова?—Это человъкъ глубокій, могучій духомъ, пламенный патріотъ, душа чистая, благородная, но легкій, вътреный; тонкій политикъ и мальчикъ, не умъющій совладать съ самимъ собою; государственный мужъ-и волокита, гуляка праздный. Соединеніе такихъ противоположностей въ одномъ человъкъ очень возможно,и задача творчества именно въ томъ и состоитъ, чтобы эти противоположности не бросались въ глаза читателю, но составляли бы одно цълое, слитое. Характеръ Волынскаго у г. Лажечникова очерченъ мъстами очень удачно, по мъстами

онъ двоится. Это произошло, сколько мы понимаемъ, совстмъ не оттого, чтобы у автора не достало таланта, по отъ правственной точки зрѣнія, съ которой онъ смотрить на человъка. То, что въ Волынскомъ было играніемъ жизни, широкимъ разметомъ души, съ бъщенымъ восторгомъ и безграничнымъ упоеніемъ отзывавшейся на зовъ обольстительницы жизни, — на то авторъ смотрълъ глазами ментора, какъ на слабости, на заблужденія, и какъ будто бы самъ колебался во мивніи о геров своего романа. Отъ этого, любовь Волынскаго къ Маріорицъ далеко не возбуждаетъ въ читателъ того участія, какое бы она должна была возбуждать. Вы смотрите на нее, какъ на школьническую шалость взрослаго человъка. Мы очень понимаемъ, что любовь къ Маріорицъ Вольнскаго, женатаго на прекрасной, страстно любящей его и прежде нъжно любимой имъ женщинъ, должна была тревожить его, какъ преступленіе, и, доставляя ему минуты высочайшаго, уноптельнаго блаженства, давать ему лютыя минуты вниканія въ себя; скажемъ больше—Вольнскій быль бы существо чисто безправственное, неспособное возбудить участія къ себъ, еслибы онъ не чувствоваль своей вины передъ женою, и не страдаль отъ ен сознанія. Гдъ любовь, тамъ ньть эгонзма, а гдь ньть эгонзма, тамъ всегда есть сознание своей вины, хотя бы и невольной, нередъ другими; любящее сердце страдаеть за всёхъ, а тёмъ больше за тъхъ, кого оно само заставило страдать; безправственность только тамъ, гдъ нътъ любви. Итакъ, мы нападаемъ на автора не за то, что его герой чувствуетъ свою вину передъ женою, но за то, что онъ сознаетъ свою вину какъ бы не самъ, не своею волею, а по приказу автора. Всякое лицо, созданное поэтомъ, должно быть для него предметомъ (объектомъ), совершенно ему вившнимъ, и задача автора состонтъ въ томъ, чтобы представить этотъ предметъ (объектъ) какъ можно върнъе, соотвътственнъе ему, т. е. самому предмету (объекту), что и называется объективнымъ изображеніемъ, т. е. такимъ, въ которое авторъ не вносить ничего

своего—ни понятій, ни чувствъ. Но нока довольно о Волынскомъ. Мы еще обратимся къ нему.

Второе—самое лучшее—лицо въ романъ есть Маріорица. Дитя пламеннаго юга, дочь цыганки, питомица гарема, дивный цвътокъ Востока, разцвътшій для пъги, упоенія чувствъ, и перенесенный на хладный съверъ-эта Маріорица, по идеъ, чудное созданіе. Н'Есколькихъ типическихъ чертъ, еще дватри взмаха художническаго ръзца-и это былъ бы одинъ изъ драгоцъннъйшихъ перловъ въ сокровищищи нашей литературы. Но не дивная красота, не роскошь и нъга движеній, не молнія черныхъ глазъ, зовущихъ къ наслажденію и восторгамъ, составляють ароматическое благоухание этого пышнаго цвъта восточныхъ странъ; но... да нътъ! — мы лучше словами самого автора; опишемъ вамъ плънительную Маріорицу. «Отъ христіанской въры, въ которой она родилась, остались у ней тайныя понятія и золотой кресть на груди. Какимъ образомъ этотъ крестъ попалъ къ ней, она не номнила; только не забыла, что женщина, которая вынесла ее изъ пожара, когда горъль отцовскій домъ, строго наказывала ей никогда не покидать святаго знаменія Христа и, какъ она говорила, благословенія отцовскаго. Эта самая женщина продала ее хотинскому пашъ. Француженка (учительница Маріорицы въ гаремъ наши), узнавъ, что Маріорица родилась христіанкою, старалась беседами на языке, непонятномъ для черныхъ стражей, ознакомить ученицу свою съ главными догматами своей въры. Отъ этого ученія и гаремнаго воспитанія ея, сочетались въ душъ Маріорицы, пламенной, мечтательной, и фатализмъ магометанскій, и мистицизмъ православія, такъ что въ небъ, созданномъ ею, обитали и чистъйшіе духи и обольстительныя дівы пророка, а на землі всі дійствія человъка подчинялись предопредъленію».

Читателямъ знакома эта обворожительная Маріорица, знакома имъ и ея чудная судьба. Дочь цыганки и молдаванскаго князя, она воспитывалась сперва въ цыганскомъ таборъ, по-

томъ подкинута была своею матерью къ своему отцу, а наконецъ была продана ею хотинскому пашѣ, который берегъ ее въ подарокъ султану, ничего не щадилъ для ея воспитанія, любовался ею, сдерживая желанія дряхлой старческой души, сносиль ея прихоти, свойственныя женщинъ и избалованному ребенку вмъстъ. По взятін Хотина Минихомъ, она попалась плънцицею знаменитому вождю, а имъ была подарена Государынъ Анпъ Ивановиъ, которая любовалась ею, какъ пгрушкой, и любила ее, какъ дочь. Фатализмъ былъ источникомъ любви Маріорицы къ Волынскому-прекрасная поэтическая мысль, которая могла родиться только въ прекрасной, поэтической душъ... Года за два до ен плъна, когда Русскіе вели съ Турками переговоры въ Немировъ, старый наша говорилъ въ шутку Маріорицъ, что онъ уступить ее русскому послу Волынскому, о которомъ слава прошла тогда до Хотина. Надобно было, чтобы этоть самый Волынскій, ловкій, статный, красивый, съ черными кудрями разсыпающимися по илечамъ, съ пронзающими взорами, первый изъ мущинъ встрътилъ ее по прівздв ея въ Петербургъ. «При имени Волынскаго кияжна затрепетала. Фатализмъ, которымъ она съ малолътства была напитана, сказаль ей, что это самый тоть, неизбежимый ею, суженый ей рокомъ, что она введена съ непелища отцовскаго дома въ Хотинъ и оттуда въ страну, о которой и не мыслила никогда, потому единственно, что еще при рожденіи назначено ей любить русскаго, именно Волынскаго». Такъ говорить авторъ, и мы очень жалбемъ, что вследъ за этими простыми, но много заключающими въ себъ словами, онъ, увлекшись духомъ прошлаго въка, прибавляеть о какомъ-то рецентъ любви, прописанномъ маленькимъ докторомъ въ блондиновомъ паричкъ и съ двумя крылышками за плечами...

Къ Волынскому, на святкахъ, подъ видомъ друзей, забрались перериженные враги; между ними былъ измънникъ, который шепнулъ ему о продълкъ. Лихой, разгульный Волынскій шепнулъ слугамъ отослать ихъ кучеровъ, отпотчивалъ дорогихъ гостей дорогими винами, посадилъ на свои сани и велътъ слугамъ отвести ихъ на Волково-поле и тамъ броситъ, а самъ, наряженный кучеромъ, повезъ оттуда брата Бирона, и, пристыженнаго, униженнаго, ссадилъ его у дворца, давши ему этимъ добрый урокъ шутить остороживе. Иотомъ Волынскій два раза пробхалъ мимо дворца, гдъ жила его Маріорица. Вдругъ слышитъ голоса—это дввушки; одна спрашиваетъ его: «Какъ тебя зовутъ, дружокъ»? Волынскій задрожалъ отъ звуковъ этого голоса, и снявщи шапку, отвъчалъ: «Артеміемъ, сударыня»! — Артемій! смъясь, закричали дъвушки, какое дурпое имя! — Не правда! опо миъ правится! — подхватила княжна. А Волынскій?—лихой ямщикъ, онъ вздохнулъ, надълъ шапку на бекрень и, тронувъ шагомъ лошадей, затянулъ пріятнымъ голосомъ—

Вдоль по улицъ мятелица мятеть, За мятелицей и милый другъ идеть...

Это природа чисто русская, это русскій баринъ, русскій вельможа старыхъ временъ!... Вообще вся эта глава (VII) одно изъ лучшихъ мѣстъ романа и не испортила бы никакого и ничьего романа.

Итакъ, Маріорица уже усиъла перенять русскіе святочные обычан, они поправились ея пылкому, суевърному воображенію... Проъзжій ямщикъ назвался Артеміемъ — новая причина любить Артемія Петровича Волынскаго, новое доказательство, что она рождена для него, обречена ему рокомъ!... Фатализмъ чудеситъ!...

Какъ-же любила она его?

Воть что писала она къ нему въ одномъ изъ писемъ своихъ: «Я вся твоя! Имъй сто женъ, сто любовницъ—я твоя, ближе, чъмъ кора при деревъ, растенье при земъъ. Дълай изъ меня что хочешь, какъ изъ вещи, которая тебя утъщаетъ и которую, измявши, можещь покинуть, какъ изъ илода, который ты воленъ высосать и — бросить!... Я создана на это; миъ это опредълено при рождении моемъ». Она любила его, какъ восточная женщина, любила его, какъ существо высшее, и какъ о недосягаемомъ блаженствъ, мечтала быть его рабою, служить его прихотямъ, безропотио повиноваться его волъ... А онъ?—онъ не любилъ, опъ только увлеченъ ею навремя. Это чувство было для него не вся жизнь съ ея радостями и страданіями, не вся судьба, а мгновенная вспышка, прихоть сердца, пграніе жизни... Авторъ называетъ его любовь чувственною.

Здёсь мы рады придраться къ случаю, чтобы сказать, что мы ръшительно не въримъ ни идеальной, ни чувственной любви. Та и пругая существуеть, но объ они ложны, какъ двъ противоноложныя крайности, двъ противоноложныя отвлеченности. Такъ называемая идеальная любовь есть налочка, на которой вздять верхомъ школьники, воображая, что они скачуть на богатырскомъ конъ; это своего рода донъ-кихотство. Такъ называемая чувстенная любовь есть удёль животныхъ съ человъческимъ образомъ. Но всякое чувство, что бы оно ни было-любовь, или увлечение, мгновенная прихоть сердца,-но если только оно волнуеть душу сладкимъ восторгомъ и растворяеть ее трепетнымъ ощущеніемъ таинства жизни, если оно возбуждено созерцаніемъ идеи абсолютной красоты въ живомъ образъ, - это чувство уже любовь, а не чувственность. Всякая любовь есть одухотворенная чувственность; дюбовь одна, но степени ел безкопечно-разнообразны, и съ каждой степенью измъняется ея характеръ, а степени ея состоять въ постепенно большемъ и большемъ проникновенін чувственности духовнымъ просвътльніемъ. Есть люди, которые отъ всей души убъждены, что красота возбуждаетъ чувственность: бъдные не понимають, что красота есть явленіе духа, и что гдж красота родить любовь, тамъ уже ивть чувственности. Для животныхъ красота не существуетъэто составляеть одно изъ преимуществъ человъка надъ животными. Только красота не составляетъ условія любви, но безъ красоты любовь невозможна.

Характеръ Маріорицы обрисованъ удачиве всёхъ прочихъ. Это рёшительно лучшее лице во всёмъ романв. Она ингде не измъияетъ себъ. Она сходитъ со сцены, какъ вошла на нее: какъ звёзда любви, которан лрче и прекрасиве всёхъ небесныхъ свётилъ—и вечеромъ, когда является, и утромъ, когда скрывается. Послёднее ея свиданіе съ Волынскимъ было апотеозомъ всей ея жизни, и мы рёшительно отрицаемъ всякое человеческое, не только эстетическое, чувство въ томъ, кто бы, увлеченный сухимъ, какъ ариометика, морализмомъ, увидёлъ въ нослёднемъ мгновеніи ен жизни паденіе, а не просвётлёніе, не торжественное просвётлёніе, не торжественное свершеніе подвига жизни... Словомъ, Маріорица есть самый красивый, самый душистый цвётокъ въ поэтическомъ вёнкъ нашего даровитаго романиста.

Послъ этихъ двухъ лицъ, съ особенною любовію и стараніемъ обрисовано лице цыганки Маріуллы, матери Маріорицы. По нашему мижнію, это лице также дурно, какъ хороша Маріорица. Авторъ хотълъ олицетворить идею матери; но въдь олицетворить значитъ-отвлеченную идею воплотить въ образъ, а этого-то и не сдёлалъ авторъ: его цыганка мать осталась отвлеченною идеею. Все что ни говорить она, ни чувствуетъ, все это нисколько не сообразно ни съ ея званіемъ, ин съ ел положениемъ, а главное-инчему этому какъ-то не върится. Изуродованіе лица кръпкой водкой, чъмъ авторъ хотълъ показать образецъ самоотверженія и высокой любви матери, возбуждаетъ не участіе, а отвращеніе. Вообше, эта цыганка есть лице совершение лишнее, которое не помогаетъ ходу романа, а только и путаетъ и затрудияетъ его. Безъ нея, романъ былъ бы короче, сжатъе и лучше. Ея слуга и товарищь, цыганъ Василій, несравненно лучше, но тоже совершенно лишнее лице въ романъ. Тоже думаемъ мы и о лъкаркъ, ел дочери, и о всей 17 главъ второй части. Конечно, все это характеризуетъ Петербургъ тогдашняго времени; но подобныя характеристики должны выходить изъ хода романа.

изъ сущности дѣла, и авторъ не имѣетъ права прибѣгать для нихъ къ натяжкамъ.

Теперь о другихъ лицахъ. Превосходно обрисованъ Остерманъ, сынъ бъднаго нъмецкаго настуха, въ молодости своей студентъ енскаго университета, повъса и волокита, а потомъ сподвижникъ великаго преобразователя Россіи, вице-канцлеръ, дипломатъ, интриганъ. Онъ играетъ въ романъ роль менъе, чъмъ второстепенную, но гдъ ни является, вездъ является живымъ лицемъ, и это лице одно изъ лучшихъ созданій нашего поэта.

Биронъ, въ романъ, вездъ въренъ самому себъ и тоже принадлежитъ къ удачнымъ изображеніямъ автора; но это лице только слегка очерчено карандашемъ, и по прочтеніи романа, для читателя остается загадкою и историческій и романическій Биронъ. Что онъ такое, этотъ человъкъ, изъ курляндскаго конюха преобразившійся въ курляндскаго герцога?— Не будемъ обвинять его, тъмъ болье, что и его благородный соперникъ, натріотъ Вольнскій—остается еще загадкою (мы говоримъ это въ историческомъ значеніи). Клевреты Бирона очерчены очень удовлетворительно; жаль только, что всъмъ имъ авторъ придалъ и рыжіе волосы и рты до ушей. Злодъйство и порокъ безобразны, но только не въ такомъ смыслъ. Одинъ художникъ нарисовалъ дьявола красавцемъ, но самъ сошелъ съ ума, вглядъвшись въ ужасное безобразіе этой красоты.

Въ числъ дъйствующихъ лицъ мы встръчаемъ двухъ шутовъ — Кульковскаго и Тредънковскаго. Оба они были бы прекрасно изображены, еслибы авторъ не сердился на нихъ и не высказывалъ къ нимъ своего отвращения и презръния. Новторяемъ: ноэтъ не судъя, а свидътель, и свидътель безпристрасный. Онъ говоритъ: такъ было, а хорошо или худо—не мое дъло! Для него всъ люди и хороши и интересны, онъ всъми любуется, всъхъ любитъ, и любитъ ихъ такими, каковы они есть. Такъ натуралистъ не брезгаетъ никакою га-

диною, равно дорожить чучелою отвратительной илгушки, какъ и чучелою миловиднаго голубя. Какъ хорошъ у г. Лажечникова этотъ Тредьяковскій-его образъ выраженія, манерысловомъ, все превосходно; но насмъшки автора надъ педантомъ разрушають все очарованіе. Моральная точка зр*нія на жизнь и поэтическій взглядъ на нее-это вода и отонь, взаимно себя уничтожающіе. Безспорио, Тредьяковскій быль душонка низенькая: образцовая бездарность, соединенная съ чудовищными претензіями на геніальность, необходимо предполагають въ человъкъ или глупца или подлеца. Но загляните въ «Ревизора» Гоголя: дивный художникъ не сердится ни на кого изъ своихъ оригиналовъ, сквозь грубыя черты ихъ невъжества и лихоимства, онъ умѣлъ выказать и какую то доброту по крайней мфрф, въ нфкоторыхъ. Загляните въ его дивную «Новъсть о томъ, какъ носсорился Иванъ Ивановичь съ Иваномъ Никифоровичемъ», посмотрите, съ какою любовію описаль онь этихь чудаковь, съ какимъ сожальніемъ разстался онъ съ ними, а между тъмъ и писколько не прикрасилъ, но показалъ ихъ совершенно «въ натурѣ».

Подачкинъ и матушка его «барская барыня» изображены превосходно.

Эйхлеръ и Зуда рисуются на нервомъ планѣ романа. По идеѣ, оба превосходны, но исполненіемъ нельзя удовлетвориться. Сонный, долговязый и чѣмъ-то особенно странный Эйхлеръ еще мерещится въ глазахъ вашихъ и послѣ прочтенія романа; но съ тѣхъ поръ, какъ срываетъ съ себя маску притворства—онъ теряетъ всякую личность. Зуда съ трудомъ поминтся даже и при чтеніи романа.

Изъ соучастниковъ Волынскаго особенно хорошъ Щурховъ: пикогда не забудете вы этого милаго, благороднаго чудака, въ его фуфайкъ изъ синеполосатаго тика и въ красномъ шолковомъ колпакъ, окруженнаго четырьмя польскими собаками, мъщающаго въ печки кочергою уголья и бесъдующаго съ своимъ слугою, дятькою и наставникомъ вмъстъ.

Заключимъ наше суждение о романъ общимъ взглядомъ на него. Онъ раздъленъ на главы, которыя можно раздълить на три разряда: главы, написанныя превосходно; главы, въ которыхъ золото перемъшано съ большимъ количествомъ руды, и главы, состоящія изъ одной руды, развів съ півсколькими блестками золота. Къ последнимъ принадлежатъ безъ исключенія всё тё, въ которыхъ выходить на сцену пыганка Маріулла: натянутость положеній и фразистость выраженія составляютъ ихъ отличительное свойство. Главы втораго разряда ознаменованы участіемъ Зуды, любовію Волынскаго и нѣкоторыми растянутостями. Главы перваго разряда суть тв, въ которыхъ является Вольшекій, какъ противникъ Бирона, потомъ, всф, гдф является и сама императрица. Таковы слбдующія главы: «Смотръ», «Ледяная статуя»; «Переряженные», «Западия», «Сцепа на Невъ», «Съ передияго и съ задняго крыльца», «Соперпики», «Во Дворцъ», «Ледяной домъ», «Родины козы», «Любовь поверенная», «Ударъ». Не менъе прекрасны, хотя и въ другомъ значеніи, и слъдующія: «Фатилизмъ», «Педантъ», «Обезьяна герцогова». «Куда вътеръ подуетъ», «Свадьба шута» и «Почное свиданіе». Но «Ледяная статуя», «Соперники», «Родины козы», и «Ночное свиданіе» — выше всякихъ похвалъ. Читая главы, которыя такъ рёзко отличаются отъ изчисленныхъ нами, и види съ какою нервшительностію, какъ бы ощупью, пдеть этоть тадантъ, — невольно изумляещься, видя его возставшимъ въ какомъ-то львиномъ могуществъ... Читателямъ извъстно, какую важную роль играетъ въ романъ ледяная статуя, они живо помнять это эпергическое лице Малороссіянина, такъ ръзко и могуче очерченное двумя тремя штрихами, какъ бунто невзначай наброшенными; помнять они и сцену обливаній. въ которой авторъ умълъ изобразить ужасное событіе, не едълавъ его отвратительнымъ. А «Соперники»? Вспомните этого хитраго политика Остермана въ гостяхъ у Бирона, эту бесёду лисицы съ волкомъ, гдё лиса такъ искусно умёсть

педослышать, жалуясь на глухоту, и недоговорить, жалуясь на подагру въ ногъ.

«Родины Козы» не меньше этой превосходиая глава. Мысль, положение, слогъ-эдъсь все это согласно: высоко, глубоко, и просто! О главъ «Ночное свиданіе» мы не будемъ распространяться, и скажемъ только, что чисто-романическая часть романа развита и оправдана въ ней совершенио. Волынской туть является опять двусмысленнымь лицомъ, какъ и во всей исторін своей любви; но Маріорица возстаеть туть со всёмь величіемъ любящей женщины, для которой любовь есть цёль и подвигъ жизни. Конечно, ея любовь не есть идеалъ любви, она любила по своему; ей не было нужды до мивній, вврованій ся милаго; взаимный обмѣнъ мыслей и убѣжденій не быль нужень для ея чувства, какъмасло для ламны; повторяемъ-она любила по своему, по любила истинно и глубоко, нотому что все принесла въ жертву своему чувству, и кромъ его ничего не нонимала и не видъла въ жизни. И послъ событія въ ледяномъ домъ, Маріорица умерла: больше ей незачёмь было жить, потому что она взяла у жизни все, что только могла ей дать жизнь...

И воть моя дюпеневская карта кончена. Романь г. Лажечникова не представляеть собою цѣлаго зданія, части котораго заранѣе вышли бы, въ головѣ художника, изъ единой и общей иден: въ немъ много пристроекъ, сдѣланныхъ послѣ. Но теплое, поэтическое чувство, которымъ проникнуто все сочиненіе, множество отдѣльныхъ превосходныхъ картинъ, прекрасныхъ частностей, основная мысль—все это дѣлаетъ «Ледяной Домъ» одинмъ изъ самыхъ замѣчательныхъ явленій въ русской литературѣ и вмѣстѣ, съ «Послѣдимъ Новикомъ», украшаетъ чело своего автора прекраснымъ поэтическимъ вѣнкомъ.

Теперь о «Басурманъ».

Въ этомъ романъ авторъ вышелъ на совершенно новое для себя поприще, вступилъ въ состязание съ г. Загоскинымъ,

какъ авторомъ «Юрія Милославскаго» и г. Полевымъ, какъ авторомъ «Клятвы при гробъ Господнемъ». Исторія Россіи нереръзана Петромъ Великимъ на двъ части, столь не похожін одна на другую, что онъ представляють собою какъ бы два различныхъ міра. Для двухъ первыхъ своихъ романовъ, г. Лажечниковъ взяль содержаніе изъ эпохи, начатой Петромь; въ третьемъ онъ ръшился перенестись своимъ воображеніемъ дальше и глубже, въ эпоху, гдъ вся надежда на одну фантазію, гдъ собственное свидътельство, или разсказы отца, дъда---не-возможно. Признаемся, это было для насъ не совсъмъ добрымъ предвъстіемъ. Изобразить въ романъ Россію при Іоаннѣ III, совсѣмъ не то, что изобразить ее въ исторіи: долгъ романиста-заглянуть въ частную, домашнюю жизнь народа, показать, какъ въ эту эпоху онъ и думалъ, и чувствовалъ, и пиль, и вль, и спаль. А какіе у нась для этого факты?... Гдв литература, гдв мемуары того времени?... Остаются лътописи — но съ инми далеко не уъдешь, потому что онъ факты для исторіи, а не для романа. Но для художника достаточно одного намека, чтобы живо представить себъ полную картину жизни народа въ извъстную эпоху. Такъ... но это такъ относится только къ тому, кто оправдалъ дёломъ свою мысль... Посмотримъ, какъ оправдалъ ее г. Лажечниковъ въ новомъ своемъ романъ.

Русская исторія есть неистощимый источникъ для романиста и драматика; многіе думають напротивъ, но это потому, что они не нопимають русской жизни и мъряють ее и вмецкимъ аршиномъ. Какъ писатели ХУІН въка изъ русскихъ Малашекъ дълали Меланій, а русскихъ настуховъ заставляли состязаться въ игръ на свиръляхъ въ нодражаніе эклогамъ Виргилія, — такъ и теперь многіе наши романисты съ русскою жизнію дълають то же, что Вальтеръ-Скоттъ дълалъ съ шотландскою. Вездъ есть герой, который и храбръ, и красавецъ, и благороденъ, непремънно влюбленъ и нослъшли, побъдивши всъ препятствія, женится на своей возлюбленной, или

«смертію оканчиваеть жизнь свою». А въдь никому не прійдеть въ голову представить лихаго молодца, который сперва пламенно любилъ свою зазнобушку (что впрочемъ не мъшало ему и колотить ее временемъ), а потомъ, обливаясь кровавыми слезами, бросиль ее, чтобы жениться на богатой и пригожей, т. е. румяной и дородной, но нисколько не любимой имъ дъвушкъ, и черезъ то достигнуть цъли своихъ иламениъйшихъ желаній, а между тёмъ сослужить службу царю-батюшкѣ и обнаружить могучую душу. Какъ можно это?--нисколько не поэтически, хотя и совершенно въ духѣ русской жизни, въ которой любовь издревле была контрабандою и никогда не почиталась условіемь брака. Оттого-то у насъ и нътъ еще ни одного истинно-русскаго романа, и оттого-то герои почти всѣхъ нашихъ романовъ лишены всякой силы характера, всякаго индивидуальнаго колорита. Русская жизнь до Петра Великаго имъла свои формы-поймите ихъ, и тогда увидите, что она заключаеть въ себъ для романа и драмы, такіе же богатые матеріялы, какъ и европейская. Да что говорить о романистахъ, когда и историки наши ищуть въ русской исторіи приложеній къ пдеямъ Гизо о европейской цивилизаціи, и первый періодъ мъряютъ норманскимъ футомъ, вмъсто русскаго аршина!... Боже мой, а какія эпохи, какія лица! Да ихъ стало бы нѣсколькимъ Шексипрамъ и Вальтеръ-Скоттамъ. Вотъ періодъ до Ярослава — это періодъ сказочный и полусказочный. Г. Вельтманъ нервый намекнуль, какъ должна пользоваться имъ фантазія поэта. Вотъ періодъ уділовъ, періодъ, въ который великанъ-младенецъ, путемъ раздробленія, разбросывался въ длину и ширину и захватывалъ себъ побольше мъста на Божьемъ свътъ, чтобъ было ему гдъ развернуться и поразгуляться, когда прійдеть его время....

> Высота ли, высота поднебесная, Глубота, глубота, океанъ-море! Широко раздолье по всей землв, Глубоки омуты дивировскіе!

Вотъ періодъ татарщины — этой вившией силы, которая должна была сдавить Русь, спанть ее ен же кровію, пробудивъ въ ней чувство единовърія и единокровности... А характеры?... Вотъ могучій Іоаннъ III, первый царь русскій, замыслившій идею единовластія и самодержавія, установившій придворный этикетъ, сокрушившій представителей издыхавшаго удёльничества, и поставившій власть царскую наравнъ съ волею Божіею... Вотъ Іоаннъ IV, этотъ Петръ I, не вовремя явившійся и грозою доканчившій идею своего ведикаго дъла... Вотъ добрый Федоръ I, отшельникъ и постникъ на престолъ... Вотъ хитрый, ловкій Годуновъ, жертва неудачной нопытки попасть въ великіе... Вотъ удалецъ Димитрій... Вотъ Шуйскій, инзкій на престоль, гордый въ паденін... И чьмъ дальше, тъмъ жизни кипитъ больше и больше, характеры толиятся — и наконецъ, много ли было у Петра дней, изъ которыхъ каждаго не хватило бы на романъ или драму?...

Г. Лажечниковъ, кажется, самъ чувствовалъ невыгоду своего положенія въ избранной для своего романа эпохъ и потому герой его романа — Ивмецъ. Не будемъ нересказывать содержанія, тімъ боліве, что опо, мы увітрены, всякому извъстно. Дъйствіе романа не только двонтся-троится даже. Оно начинается съ теминцы внука Іоанна, несчастнаго Димитрія, который къ роману нисколько не относится. Впрочемъ, это одна только глава. Потомъ дъйствіе происходить въ Богемін, оттуда идеть въ Италію, чтобъ снова возвратиться въ Богемію. Для сущности романа, оно тянется слишкомъ долго и медленно и вообще роману, кромъ общирности, ничего не придаеть. Герой романа лице совершенно безцвътное, безхарактерное. Авторъ говорить намъ, что Антонъ Эренштейнь любиль науку, быль прекрасень, храбрь, умень, великодушенъ, но сами мы инчего этого не видимъ и въримъ автору на-слово. Онъ влюбляется въ Анастасію, дочь боярина Образца, а она влюбляется въ него, и любовь эта возбуждаеть въ читатель слишкомъ слабое участіе. Если хотите,

она описана очень, даже слишкомъ подробно, но въ этомъ описаніи ніть этихь різкихь типическихь черть, которыя, повидимому, инчего не ноказывая, все дають видъть, и еще такъ, что посмотрѣвши на нихъ разъ, никогда не забудешь. Конечно, тутъ есть черты, очень върно схваченныя. Напримъръ: влюбленная Анастасія думаеть, что басурмань сглазиль, околдоваль ее, и рёшается идти къ нему просить его, чтобы онъ сжалился падъ нею — отворожиль ее отъ себя. Черта прекрасная-безспорно; но въдь это черта народная, общая, а въ поэзін требуется, чтобы общія народныя черты проявлялись въ частныхъ лицахъ, индивидахъ, а не были привизаны, или, дучше сказать, навизаны какимъ-то именамъ безъ лицъ. Вообще, надо признаться, что всъ почти лица въ новомъ романъ г. Лажечникова какъ-то безцвътны, такъчто самыя лучшія изъ нихъ-силуеты, а не портреты. Знаменитый Аристотель Фіоравенте, архитекторъ, розмыслъ, литейшикъ, и каменьщикъ Іоанна III, гоооритъ, какъ художникъ; но ему какъ-то не върштея, въ его словахъ видишь самого автора, а не лице романа. Сынъ его, Андрюша, чтото такое, чего невозможно ни вообразить себъ при чтенін, ни вспоминть послъ чтенія романа. Коли хотите, каждое изъ этихъ лицъ не противоръчить самому себъ, т. е. говоритъ одно и то же, въ словахъ не путается, да только все и ограничивается у нихъ одними словами. Изъ лицъ лучшіебояринъ Образецъ и сынъ его, Хабаръ, особенно первый, съ его патріархальностію, чистою жизнію и ненавистію къ Нъмцамъ. Очень удачно обрисованъ еще бояринъ Русалка.

Самая лучшая сторона въ романъ—историческая, а самое лучшее лицо—Іоаппъ III. Душа отдыхаетъ и оживаетъ, когда выходитъ на сцену этотъ могучій человъкъ, съ его геніяльною мыслію, его жельзнымъ характеромъ, пепреклонною волею, электрическимъ взоромъ, отъ котораго слабонервныя женщины падали въ обморокъ... Въ немъ мы снова увидъли сильный талантъ г. Лажечникова. Онъ глубоко върно поиялъ идею Іоанна и върно очертилъ его характеръ.

Кромъ того, описанія прієма пословъ, казисй, политическихъ операцій Іоанна, разныхъ русскихъ обычаєвъ того времени, составляютъ одну изъ блестящихъ сторонъ новаго романа. Поэтическихъ мъстъ много; интересъ вездъ поддержанъ. Не понимаємъ, для чего авторъ опять повелъ своихъ читателей въ Богемію: романъ кончился въ Москвъ...

Заключая нашъ разборъ увъреніемъ, что повый романъ г. Лажечникова есть болъе, нежели пріятный подарокъ для публики, обратимся къ предмету, чуждому поэзіи и самому прозанческому. Мы хотимъ сказать слова два о новомъ, небываломъ и до чрезвычайности странномъ правописаніи автора «Басурмана». Положимъ, что окончаніе прилагательныхъ на «ова», и «ева», вмъсто «аго», и «яго», и «его», имъетъ свое основаніе, и даже, когда къ этому попривыкнутъ, можетъ бытъ принято всъми; что-же касается до «можетбыть», «можетстаться», «какскоро» и тому подобныхъ—то мы не знаемъ, что и сказать объ этомъ. Будь это принято всъми, тогда сбудется сказка о старухъ, которая, замътивъ, что ея госпожа, колдунья, молодъетъ отъ какого-то элексира, такъ несоразмърно хватила его, что сдълалась семилътнимъ ребенкомъ...

Съ петерпъніемъ ожидаемъ «Колдуна на Сухоревой Башнъ»: въ этомъ романъ авторъ спова будетъ въ своей сферъ, и напоминтъ намъ имъ «Новика» и «Ледяной Домъ». Кстати о напоминаніи: пользуемся случаемъ напоминть, отъ лица публики, даровитому автору, что за нимъ есть должокъ—и очень большой: на 74 стр. ІV части «Ледянаго Дома» онъ объщалъ разсказать исторію Линара и мужа Анны Леопольдовны, а на 75-й про чудесную смерть С***вой и про сердце ел, выставленное въ церкви на золотомъ блюдъ, подъ стекляннымъ колнакомъ, и пр.

Не легко отказаться отъ такихъ объщаній, и кому же будетъ писать, если писатели съ такимъ талантомъ, какъ авторъ «Новика» и «Ледянаго Дома», будуть оставаться только при объщаніяхъ!

II.

БИБЛІОГРАФІЯ.



КАЛЬЯНЪ, стихотворенія Александра Полежаева. Москва. 1838.

АРФА, стихотворенія Александра Полежаева 1838.

Объ эти книжки содержать въ себъ послъдніе, уже замирающіе, глухіе звуки и нолузвуки иъкогда звонкой и гармонической лиры. Полежаевъ прославился своимъ талантомъ, который ръзко отдълился своею силою и самобытностію, отъ толны многихъ знаменитостей, новидимому, затъмнявшихъ его собою; но волнуемый пылкими необузданными страстями, опъ присовокупилъ къ своей поэтической славъ другую славу, которая была проклятіемъ всей его жизни и причиною утраты таланта и рапней смерти... Миръ праху его... никто не смъетъ изречь приговоръ ближнему... Миръ праху твоему, поэтъ!...

Певольно взялись мы за «Стихотворенія Полежаева»; изданныя въ 1832 году, и прочли ихъ. Въ созданіяхъ поэта—его духъ, его жизнь. Полежаевъ былъ рожденъ великимъ поэтомъ, но не былъ поэтомъ: его творенія—вопли души, терзающей самое себя, стонъ не стерпимой муки субъективнаго духа, а не пъсии, не гимны, то веселыя и радостныя, то важныя и торжественныя, прекрасному бытію, объективно созердаемому. Истинный поэтъ не есть ни горлица, тоскливо воркущая грустную пъснь любви, ни кукушка, надрывающая душу однообразный соловей, поющій пъснь природъ... Созданія истиннаго поэта суть гимнъ Богу, прославленіе его великаго творенія... Въ царствъ Божіемъ нъть плача и скре-

жета зубовъ—въ немъ одна просвътленная радость, свътлое ликованіе, и самая печаль въ немъ есть только грустная радость... Поэтъ есть гражданинъ этого безконечнаго и святаго царства: ему Богъ далъ илодотворную силу любви проникать въ таинства «полнаго славы творенья», и потому онъ долженъ быть его органомъ... Вопли разстерзаннаго духа, сосредоточеніе въ скорбяхъ и противоръчіяхъ земной жизни, доказываютъ пребываніе на землъ и только тщетное порываніе къ свътлому, голубому небу—подножію престола Вездѣсущаго... Вотъ почему мы не оставляемъ имени поэта за Полежаевымъ, и думаемъ, что его пъсни, нашедшія отзывъ въ современникахъ, не перейдутъ въ потомство. Илачевныхъ и скорбящихъ поэтовъ великій поэтъ Гёте характеризовалъ эпитетомъ лазаретныхъ, и этимъ внолиъ опредълилъ ихъ отрицательное значеніе въ области искусства...

П однакожь, природа одарила Полежаева могучимъ талантомъ: только этому таланту не суждено было разверцуться и разцвъсть пышнымъ цвътомъ. Жизнь сдълала его субъективнымъ, а субъективность—смерть поэзін, и ел произведенія—поэтическій пустоцвътъ, который тъшитъ взоръ минутнымъ блескомъ и запахомъ, а илода не приноситъ. Ночему было такъ, а не иначе, почему поэту не суждено было прозръть, и въ безконечномъ чувствъ безконечной любви пайдти разръшеніе и примиреніе противоръчій бытія?... На это одинъ отвътъ— да будетъ благословенна воля Провидънія!...

Съ содроганіемъ сердца читаємь эту страшную исповѣдь жизни — въ стихахъ: «О для чего судьба меня сгубила»; но это ужасное признаніе могло быть навѣяно минутою отчаянія, —тихо и скорбно высказываетъ опъ сознаніе своего наденія въ стихотвореніи «Вечерняя Заря». Это грустное убѣжденіе въ необходимости и неизбѣжности своего наденія безъ надежды на возстаніе, съ неменьшею силою выразилось и въ прекрасныхъ стихахъ— «Ахъ, кто мечтѣ высокой вѣрилъ».

Характеръ мрачнаго отчаянія и тяжелой скорби лежитъ на большей части сочиненій Полежаева, по съ его лиры срывались и торжественные звуки примиренія и гармоническіе акорды явленій жизни. Кому неизв'єстно его стихотвореніе «Провид'єніе», въ которомъ, посл'є ужасовъ паденія, онъ такъ торжественно восп'єль свое мгновенное возстаніе? Подобный же моментъ возстанія съ меньшею поэзіей выраженъ въ стихахъ—

О нътъ! свершилось!... жаръ мятежный Остылъ на пасмурномъ челъ: и т. д.

Кому неизвъстно его стихотвореніе «Пъснь илънниаго Прокезца»—это поэтическое созданіе, достойное великаго поэта? Кому неизвъстно его «Море», которое «измърилъ онъ жадными очами» и «предъ лицемъ котораго повърилъ онъ силы своего духа»? Кому неизвъстенъ его «Вальтасаръ», переведенный изъ Байрона? Иъкоторыя пъспи его также принадлежатъ къ перламъ его поэзіи. Но самое лучшее, можно сказать, гигантское созданіе его генія, вышедшее изъ души его въ свътлую минуту откровенія и міроваго созерцанія, есть стихотвореніе «Гръшница».

Съ перваго раза можетъ показаться страннымъ, что Полежаевъ, котораго главная мука и отрава жизни состояла въ сомивніи, съ жадностью переводилъ водяно-краспоръчивыя лирическій поэмы Ламартина; ио это очень понятно, если взглянуть на предметъ попристальнъе. Крайности соприкасаются, и ничего нътъ естественнъе, какъ переходъ изъ одной крайности въ другую... Кромъ того, Полежаевъ явился въ такое время, когда стихотворное ораторство и риторическая шумиха часто смъшивалась съ поэзіей и творчествомъ. Этимъ объясняются его лирическія произведенія, паписанныя на случаи, его «Коріоланъ» и другія піесы въ этомъ родъ. Недостатокъ въ развитіи заставилъ его писать въ сатирическомъ родъ, къ которому онъ нисколько не былъ способенъ. Его остроуміе—тяжело и грубо. Недостатокъ же развитія, помъщалъ ему обратить винманіе на форму, выработать себѣ послушный и гибкій стихь. И нотому, отличаясь часто эпергическою сжатостію выраженія, онъ иногда впадаеть въ прозанческую растянутость, и между прекрасными стихами вставляеть стихи, отличающіеся странностію, изысканностію и неточностію выраженія.

Кто не идетъ впередъ, тотъ идетъ назадъ: стоячаго положенія нътъ. Второе собраніе стихотвореній Полежаєва, изданное въ 1833 году подъ титуломъ «Кальянъ», было несравненно ниже перваго. Даже лучшія піесы—пополамъ съ риторическою водою. Только одна «Цыганка» блещетъ яркимъ цвѣтомъ художественной формы. Сколько игры, переливовъ поэтическаго блеска и въ стихотвореніи «Ахалукъ», не совсѣмъ впрочемъ выдержанномъ! Только этими двумя стихотвореніями «Кальянъ» напомянулъ о прежнемъ Полежаєвѣ: остальное все или пръсная вода, или виномъ пополамъ съ пръсною водою. Теперь «Кальянъ» изданъ во второй разъ, въ 16-ю долю листа, на сѣрой бумагѣ, неуклюжими и слишкомъ крупными для формата буквами, съ ужасиѣйшими опечатками и грамматическими ошибками, и наконецъ, съ дурпо-вылитографированнымъ портретомъ автора.

Въ «Арфъ» заключаются послъдніе стихи Полежаева, еще болье свидьтельствующіе о постепенномъ замираніи его таланта. Только въ стихотвореніи «Грусть», извъстномъ читателямъ нашего журнала, видьнъ прежній Нолежаевъ, съ его бойкимъ разгульнымъ стихомъ и неизмънною грустью... Въ ніесъ «Черные глаза», которой половина тоже напечатана въ «Наблюдатель», искры поэзіи сверкаютъ сквозь массу грубой руды; вторая половина ея—голая риторика. Въ «Коріолань», поэмъ, заключающей въ себъ болье трехъ-сотъ стиховъ, не наберется и десяти поэтическихъ стиховъ. Изъ уваженія къ намяти поэта, издателямъ не слъдовало бы помъщать такихъ ніесъ, какъ «Авторъ и Читатель»—піеса, исполненная грубаго и тупаго остроумія. Замъчательно въ «Арфъ» стихо-

твореніе «Батюшки-баю», невыдержанное, мѣстами дико-грубое, но мѣстами же и превосходное.

Изданіе «Арфы» ничьмъ не лучше «Кальяна» — только бумага почище. Для каждой піссы заглавіе на особенномь листь, пробълы ужасные, словомъ — все, что пужно для плохаго изданія. Тъ же опечатки, грамматическія ошибки и тоть же портреть, что и при «Кальянъ» и съ тъмъ же пошлымъ выраженіемъ въ лицъ. И это красавецъ Полежаевъ!...

СОВРЕМЕННИКЪ. Томы одиннадцатый и двинадцатый Спб. 1838.

Это двъ послъднія кинжки «Современника» за прошедшій годъ. Мы немного опоздали отчетомъ о нихъ, но это потому, что мы читали ихъ не торопясь, какъ читаемъ мы все, чтеніе чего доставляеть намъ удовольствіе; кромѣ того, въ этихъ двухъ книжкахъ «Современника» такъ много хорошаго и запимательнаго, что всего скоро прочесть нельзя, и обо всемъ поговорить слегка и мимоходомъ тоже невозможно. По прежнему, «Современникъ» постоянно продолжаетъ быть интереснымъ журналомъ, достойнымъ славы своего основателя; по прежнему, онъ есть сборникъ оригинальныхъ статей, интересныхъ по содержанио и изложению и стихотворений, между которыми бывають иногда и поэтическій, кромѣ посмертныхъ сочиненій Пушкина. Въ «Современникъ» есть даже и критика, по большей части очень списходительная, и библіографія, отличительный характеръ которой, въ противоположность всемь нашимъ журналамъ, составляютъ мягкость, нѣжность, снисходительность и краткость. Тутъ выписываются заглавія всёхъ новыхъ книгъ, но говорится только о нъкоторыхъ; большею частію всѣ выхваляются, а если иныя и осуждаются, то съ такою деликатностію, что перъдко самое порицаніе можно принять за похвалу. Мягкость, по истипѣ, удивительная въ нашей жесткой журналистикѣ! И какъ жаль, что это прекрасное отдѣленіе «Современника» совсѣмъ пе читается!

Иоговоримъ о хорошемъ въ объихъ книжкахъ «Современника». Томъ XI начинается статьею, очень интересною по изложенію и еще болже по содержанію: «Младенческіе пріюты въ Санктиетербургъ». За этою статьею следують «Очерки Швецін», статья, не означенная никакимъ именемъ, но своимъ характеромъ, достоинствомъ своего содержанія и изложенія, невольно выдающая тайну имени своего автора. Она не кончена и остановилась, или, лучше сказать, прервалась на самомъ интересномъ мъстъ. Къ величайшему нашему, равно какъ и всъхъ читателей, неудовольствію, въ XII томѣ пѣтъ ея окончанія, ни продолженія. Отъ «Очерковъ Швецін», пропуская критики и рецензін, переходимъ къ статьъ «Отрывокъ изъ исторіи американско-испанскихъ партизановъ», чтобы сказать, что мало встрвчается въ русскихъ журналахъ статей, пропикнутыхъ такою одушевленностію изложенія, картинностію слога, такимъ присутствіемъ мысли, такою свътлостію взгляда и такою живою занимательностію содержанія... Какъ жаль, что почтенный издатель ни строкою, ни словомъ не даеть знать, изъ какого сочиненія этоть отрывокъ, и въ началъ статън г. Николая Невъдомскаго не сдълалъ краткаго предисловія о ея содержанін. Для незнакомыхъ съ дѣлами Южной-Америки, эта статья можеть ноказаться темною и сбивчивою, именио потому, что она отрывокъ изъ середины сочиненія. «Путешествіе императрицы Екатерины II въ Крымъ». статья г-жи Ишимовой соединяеть въ себъ историческую върность содержанія съ романическою прелестью изложенія.

XII томъ «Современника» начинается статьею «Путешествіе В. А. Жуковскаго по Россіи». «Очерки Пспаніи» маленькая, но живая и интересная статейка. «Старинныя русскія странности. Отрывки біографіи ***». Эта статейка такъ странно помъщена, что вы непремъпно пропустите ее безъ

вниманія, если не зам'ятите имени, выставленнаго подъ нею—Александръ Пушкинъ. Но когда вы прочтете ее, вами овлад'ять горькое чувство: вы бы съ наслажденіемъ прочли, или върн'я сказать, проглотили бы и романъ въ 10 частяхъ, написанный такъ, а между тъмъ должны удовольствоваться двумя страничками. Увы! грустное чувство возбуждаютъ эти дв'я странички: сколько было начато имъ!... Его геній только сталъ развертываться во всей силъ, во всей своей неистощимой дъятельности... Что бы мы прочли, чъмъ бы мы влатъли!.

Возвращаемся снова къ XI тому. Послъ изчисленныхъ нами статей, въ немъ помъщена «Маруся», повъсть Грицка Основьяненка, съ малороссійскаго парвчія переведенная (п переведенная прекрасно) на русскій языкъ. Мы не въ состояній выразить того наслажденія, съ какимъ прочли ее. Общій восторгъ публики, единодушныя похвалы всёхъ журналовъ, вполиъ оправдываютъ впечатлъніе, которое произвела на насъ эта чудная повъсть. Но всему должно давать настоящую оцвику, суждение о предметв должно браться изъ самаго судимаго предмета, а не придаваться ему личнымъ вкусомъ и субъективностію судящаго. Похвала, хотя скольконибудь превышающая истинное достоинство произведенія, не возвышаеть, а унижаеть его, и вообще преувеличенныя похвалы, послъ, когда пройдеть восторгь, неръдко бывають причиною столь же, или еще и болъе несправедливыхъ и незаслуженныхъ порицаній. Признаемся, мы видимъ въ «Марусъ» не художественное, а только поэтическое произведение, разумъя подъ словомъ «поэтическое» все проникнутое душею, согрътое чувствомъ. Наумъ Дротъ, Маруся, Василь — что такое вев эти лица?-это типы Малороссіянъ образцовыхъ, цвъть національной жизни народа. Что такое типъ въ творчествъ?-человъкъ-люди, лице-лица, то есть такое изображеніе человъка, которое замыкаеть въ себъ множество, цълый отдёль людей, выражающихь ту же самую идею. Объл-

снимъ примъромъ нашу мысль. Что такое Отелло?-Человъкъ великій духомъ, но съ страстями необузданными образованіемъ, неодухотворенными мыслію до степени чувства, н потому ревнивецъ, задушающій жену свою по одному подозрънію въ невърности съ ея стороны. Отелло есть типъ, есть представитель цёлаго рода, цёлаго отдёла, разряда такихъ ревнивцевъ. Отеллы были всегда и могутъ быть теперь, хотя и въ другихъ формахъ; пыпъшніе не станутъ душить жены или любовницы, а скоръе задушатся сами. Возьмемъ примёръ изъ другаго міра. Вы знакомы съ майоромъ Ковалевымъ?-Отчего онъ такъ заинтересовалъ васъ, отчего такъ смъшитъ онъ васъ несбыточнымъ происшествіемъ съ своимъ злополучнымъ носомъ?-Оттого, что онъ есть не майоръ Ковалевъ, а майоры Ковалевы, такъ-что, послѣ знакомства съ нимъ, хотя бы вы заразъ встрътили цълую сотпю Ковалевыхъ, тотчасъ узнаете ихъ, отличите среди тысячей. Типизмъ есть одинъ изъ основныхъ законовъ творчества, и безъ него нътъ творчества. Следовательно, Наумъ, Маруся и Василь — типическія лица, а если такъ-то и художественныя?.. Такъ, но не совствив. Въ творчествъ есть еще законъ: надобно, чтобы лице, будучи выражениемъ цълаго особаго міра лицъ, было въ тоже время и одно лице, цълое, индивидуальное. Только при этомъ условін, только чрезъ примиреніе этихъ противоположностей, и можеть оно быть типпческимъ лицомъ, въ томъ смыслъ, въ какомъ назвали мы типическими лицами Отелло и майора Ковалева. А этого-то колорита личности и индивидуальной особенности и недостаетъ Науму, Марусъ и Василю. Первый изъ нихъ есть идеалъ Малороссіянина, простаго мужика, который простымъ религіознымъ чувствомъ возвысился до ръшенія важнъйшихъ задачъ жизни и до проявленія въ себъ, своею жизнію, человъка и христіянина, и притомъ Малороссіянина, потому-что, будучи Русскимъ, онъ, пензмённясь въ своей идей, измёнился бы въ формахъ. Что Наумъ какъ мужъ и отецъ, то Василь какъ молодой челоR

въкъ, и то самое Маруся какъ молодая дъвушка. Въ этомъ отношенін они выполняють всё требованія искусства; но имъ недостаетъ чертъ индивидуальности; нередъ вами рисуются силуеты, очерки, а не портреты; бюсты, а не живыя лица. Поэтому-то повъсть кажется вамъ растянутою, хотя, еслибы самъ авторъ далъ вамъ право исключать изъ его новъсти все, что кажется вамъ лишнимъ, вы не нашли бы строки, которую бы можно было исключить. Художественность въ томъ и состоитъ, что одною чертою, однимъ словомъ, живо и полно представляеть то, чего, безъ нея, никогда не выразник и въ десяти томахъ. Отъ этой причины и происходить чрезвычайная плодовитость и многословіе всёхъ произведеній, не запечатлънныхъ печатію художественности. Художникъ же, напротивъ, не нуждается въ многословін: ему достаточно черты, слова, чтобы выразить мысль, на одно изъяснение которой иногда нуженъ цълый томъ. Иоминте ли вы, какъ майоръ Ковалевъ вхаль на извощикв въ газетную экспедицію и, не переставая тузить его кулакомъ въ спину, приговариваль: «Скоръй, подлець! скоръй, мошенникъ!» И помните ли вы короткій отвъть и возраженіе извощика на эти понуканія— «Эхъ, баринь!», слова, которыя приговариваль онь, потряхивая головой и стегая вожжей свою лошадь?... Этими понуканіями и этими двумя словами «Эхъ, баринъ!» вполив выражены отношенія извощиковъ къ майорамъ Ковалевымъ. Потомъ, помните ли вы еще сцену въ газетной экспедицін?—Лакей съ галунами и наружностію, показавшею пребывание его въ аристократическомъ домъ, стоиль возив стола съ запискою въ рукахъ, и почелъ за нужное показать свою общительность: «Повърите ли, сударь, что собаченка не стоитъ восьми гривенъ, то есть я не далъ бы за нее и восьми грошей; а графиня любить, ей Богу, любить; -- и воть тому, кто ее отыщеть, сто рублей! Если сказать по приличію, то воть такъ, какъ мы теперь съ вами, вкусы людей совсёмъ несовмёстны: ужь когда охотникъ то держи лягавую собаку, или пуделя; не пожалъй интисотъ, тысячу дай, но зато ужь чтобъ была собака хорошая».

Въ этихъ немногихъ словахъ характеризовано цълое сословіе, весь лакейскій людь, съ его образомъ мыслей и его образомъ выраженія; и кром'є этого, въ этихъ немногихъ словахъ, выражено одно лице, которое, будучи похоже на множество лицъ этого разряда, въ тоже время похоже только на самого себя, и больше ни накого. Много могли бы мы привести здъсь въ примъръ такихъ типическихъ чертъ и очерковъ, но это слишкомъ далеко завлекло бы насъ и отдалило бы отъ предмета. И потому скажемъ, что въ Наумѣ, Марусѣ и Василѣ не видимъ мы этихъ типическихъ разкихъ чертъ и индивидуальныхъ особенностей, и потому не видимъ въ ихъ обрисовиъ художественнаго выполненія. Своими соотношеніями они образують не драму дъйствительности, а оперу-лирику, гдъ, пользуясь положеніемъ, высказываютъ довольно поэтически, если не художественно, все что можно почувствовать въ подобномъ положеніп. Въ этомъ отпошенін — какая великая разница повъсти Гоголя!... Впрочемъ эти мысли пе всъмъ и не для всъхъ понятны-особенно для людей, которые, по причинъ неподвижнаго сидънія на синтезъ и анализъ, педовольны любезностію казаковъ Гоголя...

Кромѣ Наума, Маруси, Василя и Пасти, въ повѣсти «Маруся» есть еще герой—и герой первый, который важиѣе и Наума, и Василя, и Насти, и самой Маруси: это—Малороссій, съ ел поэтическою природою, съ ел поэтическою жизнію простаго народа, съ ел поэтическими обычаями. Этотъ-то герой и составляеть всю заманчивость, всю поэтическую прелесть повѣсти. Авторъ, въ лицахъ этой повѣсти, передалъ извѣстныя черты этого героя, не какъ художникъ, а какъ описатель и человѣкъ глубоко-чувствующій. Поэтому, каждая страница, каждое слово его проникнуто, согрѣто чувствомъ. Кромѣ того, разсказъ его отличается народнымъ малороссій-

скимъ простодушіемъ, которое очень удачно передано переводчикомъ. Бытъ сельскихъ жителей, ихъ нравы, обычаи, поэзін ихъ жизни, ихъ любовь, все это изображено такъ, что стоило бы болѣе подробнаго разсмотрѣнія. Взглядъ автора на человѣческое сердце очень простъ, даже простоватъ; но это простота накидная, притворная — сквозь нея проглядываетъ глубина и могущество мысли... Издатель «Современника» оказалъ своимъ читателямъ неоцѣненную услугу, давши имъ возможность насладиться этою прекрасною повѣстью, которая была имъ недоступна, по причинъ нарѣчія, на которомъ написана своимъ авторомъ.

Обратимся снова къ XII тому. «Отрывки изъ Жанъ-Поля», прекрасно переведенные г. Бецкимъ, составляютъ живую и интересную статью. Они даютъ нолное понятіе объ этомъ уродливомъ, дикомъ геніи Германіи, который, въ своихъ поэтическихъ созерцаніяхъ, то возвышался до въчныхъ звъздъ ноэзіи, то внадалъ въ изысканность и совершенное безмысліе, если не въ безсмысліе. Статья г. Даля «Объ Омеонатіи» какъто странно попала подъ одну нумерацію съ поэтическими мыслями Жанъ-Поля. Впрочемъ, это инсколько не мъщаетъ ей быть въ высшей степени интересною статьею и по содержанію и по изложенію. Статья «О греческой эниграммъ» имъетъ ученое и литературное достоинство. Новъстями XII томъ не блистателенъ. Тутъ номъщена «Мачиха и Панночка» г. Гребенки, которая... но — виноваты! — мы объщали говорить только. о хорошемъ...

Теперь о стихотвореніяхъ.

0

11

0

П

11

Ы

}-

H

(* -

10

e-

3-

II-

RE

Ъ.

ii-

Въ XI томъ помъщена цълая поэма «Казначейша». Стихъ бойкій, гладкій, разсказъ веселый, остроумный — поэма читается съ удовольствіемъ. Потомъ замѣтно, теплотою чувства, стихотвореніе «Освободительница», подписанное буквою Г.—«Новыя строфы изъ Евгенія Онъгина» питересны, какъ все, вышедшее изъ-подъ пера Пушкина. «Опричникъ», отрывокъ, должно быть, изъ большаго сочиненія, служитъ новымъ

доказательствомъ, какъ много чудныхъ надеждъ унесъ Пушкинъ въ свою безвременную могилу...

II для насъ Погибъ животворящій гласъ!

«Великое Слово», дума г. Кольцова заключаетъ собою XI томъ «Современника». Эта дума, по глубокой мысли, по возвышенности выраженія, принадлежитъ къ роскошнъйшимъ нерламъ русской поэзін.

Отделение стихотворений въ XII томъ тоже начинается поэмою. Это поэма г. Ершова-«Сузге»; къ содержанію ея подало поводъ событіе завоеванія Сибири Ермакомъ. Стихъ бойкій, плавный, — м'ястами гармоническій и поэтическій, составляеть достоинство поэмы, а отсутствие сжатости и силы-ея педостатокъ. Еслибы г. Ершовъ, написавши свою поэму, отложилъ ее въ сторону, и потомъ въ минуты вдохновенія, дълаль бы поправки, замѣняя десять стиховъ-двумя, четырьмя, тогда его поэма была бы прекраснымъ поэтическимъ цвъткомъ на пустынномъ и мертвомъ полъ современной русской поэзін. «Къ Равнодушной» стихотвореніе гр.—ни Ев. Р-ной, замъчательно болъе по мысли, нежели по художественной отдълкъ. «Новыя строфы изъ Евгенія Онъгина»--къ чему похвала и восклицанія.-- Читайте сами. Послъ прекраснаго стихотворенія г. Кольцова «Къ Милой», перепечатаннаго «Современникомъ» изъ 2 № «Московскаго Наблюдателя» за прошлый годъ, -- можно еще упомянуть о стихотвореніи «Къ Венеръ Медицейской».

СТРАННЫЙ БАЛЪ, повъсть изъ разсказовъ на станціи, и восемь стихотвореній. Соч. В. Олина. Спб. 1838.

Г. Олинъ написалъ фантастическій романъ, подъ назвапіемъ «Разсказы на станціи», и до напечатанія его, ръшился

отлёльно издать изъ него отрывокъ, составляющій одну изъ его четырехъ частей. «Странный балъ» есть этотъ отрывокъ, суня по величинъ котораго, можно заключить съ достовърностію, что весь романъ будеть величиною съ новъсть для книжки журнала, а достоинствомъ не уступить многимъ оригинальнымъ повъстямъ и въ журналахъ помъщаемыхъ и отдъльно издаваемыхъ. И такъ, въ добрый часъ, г. Олинъ! Не вы нервые, не вы и последние! Благія предпріятія всегда будуть имъть своихъ дъятелей. Намъ страино только то, что вы относите свою повъсть къ роду фосфорическихъ повъстей Гофмана и Вашингтона-Ирвинга. Вопервыхъ по нашему мивнію, оба эти писателя ничего общаго между собою не имъють, и совствит не следуетъ Вашингтона-Првинга, талантливаго разскащика ставить на одну доску съ Гофманомъ, великимъ, геніальнымъ художникомъ; вовторыхъ, —въ фосфорическихъ повъстяхъ Гофмана заключается не одинъ только фосфоръ, черти и привидънія, по еще и мысль, которая даеть эту волшебную, обаятельную силу надъ духомъ человъка; въ третьихъ, мы никакъ не можемъ понять, что за отношение между фосфорическими повъстями Гофмана и фосфорическою повъстью г. Олина... Намъ кажется, что мысль и талантъ уничтожають ръшительно всякое соотношение между ними... Ошибка большая со стороны г. Олина—издать отрывокъ изъ романа прежде всего романа: отрывокъ-то, положимъ, что прочтуть—за то романь-то останется безь читателей... Потомъ: что за безпрестанные эти толки о романтизмъ, какъ поэзін кладбищь, чертей, вёдьмь, колдуновь и привидёній? Только въ двадцатыхъ годахъ понимали такъ романтизмъ, въ то блаженное время, когда еще всъ журпалы и альманахи украшались стихотвореніями г. Олина, и когда появилась его трагедія «Корсаръ», сдѣланная изъ поэмы Байрона, произведеніе великое, но теперь совершенно забытое...

Но мы отвлеклись отъ предмета и забыли о «Странномъ Балъ» г. Олина. Что же это за балъ такой? — А вотъ —

видите ли, одному генералу сгруснулось дома отъ бездъйствія и стошнилось отъ неумъреннаго курепія табаку-и онъ пошель прогуляться по улицъ. Дъло было въ Петербургъ п ночью. Въ прогулкъ этой попался ему знакомый, Вельскійчортъ. Темъ и семъ заманилъ онъ генерала на балъ; на этомъ балъ такъ много красавицъ, что старый генералъ разиъжился и пустился плясать. Странно ему показалось, что у всъхъ красавицъ ножки гусиныя и козын, а у мущинъ рожки на лбахъ; да такъ-какъ тутъ былъ и маскарадъ, то Вельскійчортъ и легко разевялъ безпокойство генерала. Послв танцевъ стали играть въ фанты. Генералу по вынувшемуся фанту, присудили спрыгнуть съ коммода. Взобрался на него генераль, а спрыгнуть бонтся-надъ шимъ всъ шутятъ-онъ творить молитву, ограждаеть себя крестнымь знаменіемьи ни гостей, ни великолъппо-освъщенной залы какъ не бывало; а самъ онъ, вибето коммода, стоитъ на лъсахъ строящагося дома на четвертомъ этажъ. Эту дивную повъсть разсказываль г. Олину самъ генераль, выздоровѣвши отъ бѣлой горячки.

И это фантастическое, гофманическое? Если такъ, то фантастическій родъ самый легкій, и ничего ивтъ легче, какъ слълаться Гофманомъ: стоитъ только дурнымъ слогомъ нересказать въ тысячу-первый разъ какую-нибудь ходячую простонародную нелвность...

Нѣтъ, господа, фантастическое совсѣмъ не это. Оно есть одинъ изъ самыхъ важныхъ и самыхъ глубокихъ элементовъ человѣческаго духа; мысль великая мерцаетъ въ таинственномъ сумракѣ царства фантастическаго... Но мы забылись—заговорили о мысли: къ чему это и зачѣмъ это!...

Какъ бы предчувствуя, что «Странный Балъ» не удовлетворить читателей, г. Олинъ, чтобы вознаградить ихъ хоть сколько-нибудь, приложилъ къ нему восемь стихотвореній своей работы. Въ одномъ изъ нихъ, несмотря на его нехудожественную обработку, есть теплота, чувство. Оно называет-

ся «Монха» и похоже на отрывовъ изъ какого-инбудь драматическаго произведенія. — Мы вездѣ ищемъ хорошаго, и, найдя, его, съ радостію указываемъ на него другимъ. Жалѣемъ, что не можемъ сказать того же объ остальныхъ семи стихотвореніяхъ г. Олина. Да и можетъ ли быть у г. Олина много хорошихъ стихотвореній, когда онъ говоритъ о себѣ такъ:

Прошла пора очарованій Пора безумства и надеждъ; Погасъ въ груди огонъ желаній, Люблю ничтожность и невъждъ!

Въ такомъ состояніи духа не много напишешь хорошаго.

СЕРДЦЕ ЧЕЛОВЪЧЕСКОЕ ЕСТЬ ИЛИ ХРАМЪ БО-ЖІЙ ИЛИ ЖИЛИЩЕ САТАНЫ. Представлено, для удобнъйшаго понятія, въ десяти фигурахъ, для поощренія и способствованія къ христіанскому житію. Спб. 1838.

Основаніе христіанскаго ученія есть любовь, или то живое, трецетное проникновеніе въ въчныя истины бытія, какъ явленія духа Божія, которое наполняеть душу человъка неизръченнымъ, безконечнымъ блаженствомъ. Но до такого духовнаго погруженія въ таниственную сущность источника и виновника бытія—Бога, до такого живаго и трепетнаго проникновенія въ въчныя истины бытія, невозможно дойдти чрезъ посредство слабаго, ограниченнаго и конечнаго разсудка человъческаго, который, куда ин оглянется — вездъ видитъ одни противоръчія, и, безсильный примирить ихъ—или отчаявается познать истину, или принимаетъ за истину свои призрачныя, ложныя заключенія. Нътъ, не разсудкомъ, холоднымъ и ограниченнымъ, дается познаніе евангельской истины, выше которой пъть истины въ міръ, но благодатію, которою вдохновляетъ Духъ Божій свое слабое созданіе, чтобы прі-

общить его къ своей въчной жизни и сдълать его органомъ и тимпаномъ своей славы... Да, только тотъ постигалъ и чувсвоваль въ себъ откровение въчныхъ тайнъ бытия, только тоть вкусиль оть безсмертнаго хльба божественной истины, - кто отрекался отъ самого себя, отъ своихъ личныхъ интересовъ, кто погружался въ сущность Божества до уничтоженія своей личности, и свою личность, какъ жертву, добровольно приносиль Богу.... Только тоть воскреснеть въ Богъ, кто умеръ въ немъ.... Въчная жизнь достигается путемъ смерти, путемъ уничтожения.... А благодать дается только тому, кто, смиривъ порывы буйнаго разсудка и съ корнемъ вырвавъ изъ сердца своего съмена гордости и самообольщенія, биль себя въ грудь и повторяль съ мытаремъ: «Грвшень, Господи, отпусти мив грвхи мон!» Да, только тотъ прозръетъ и просвътлъетъ и возблаженствуетъ въ тренетномъ сознаніи истины всёхъ истинъ, кто, распростертый передъ Крестомъ въ таинственный часъ полуночи, молясь, плача и рыдая, взывалъ къ невидимому свидътелю нашихъ тайныхъ помышленій: «Върую, Господи, помози моему невърію!»... II тогда кончится брань духа съ плотію, кончится борьба истины со страстями, просвътлъеть страдальческое лице избранника кроткимъ свътомъ тихой и безмятежной радости, той свътлой радости, которая питаетъ не пресыщая, кръпитъ не обременяя, той безконечной радости, отъ которой кротко движется духъ, не волнуясь мятежно, видитъ даль безъ границъ, глубину безъ дна — и не возмущается страхомъ; въ сердцъ своемъ ощутить онъ ту безмитежную тишину въ которой слышатся отдаленные хоры ангеловъ, тотъ священный сумракъ, сквозь который сіяеть заря безсмертін и тусклымъ, таниственнымъ мерцаніемъ своимъ сулить въчное успокоеніе, потому что его сердце сдълается уже храмомъ Божінмъ, гдѣ величіе размѣровъ и благолѣніе украшеній возвышаеть и окриляеть духь, а не подавляеть его, гдъ тишина не пугаетъ духа своимъ мертвымъ безмолвіемъ, а настроиваетъ его къ торжественности и благоговънію, какъ провозвѣстница таинственнаго присутствія Вездѣсущаго.... И укрънить Богъ слабое твореніе свое и не будеть въ немъ больше страха: любовь побъдить и изгонить страхъ.... И кончатся его ежедневныя заботы, и опасенія, за свой грядущій день, за свое настоящее и будущее счастіе, за свои личные и конечные интересы: пусть будеть мрачно небо надъ его головою, пусть бушують вътры и раздаются громы-они не за глушать для него голоса Бога, не прервуть его собесъдованія съ нимъ въ молитвъ — онъ никогда не забудеть, что онь сынь Бога живаго, что у него есть Отецъ, который хранить его своею любовію и безъ воли котораго не спадаетъ и волосъ съ главы его, —а такъ-какъ эта воля свята и справедлива, то съ любовію и безъ страха, онъ подвергнется всёмъ ея опредёленіямъ... Не устрашить его и мысль о смерти: не отвратительный скелеть уничтоженія, а свътлаго ангела успокоенія увидить онъ въ ней... Не возмутится душа его и потерею кровныхъ и ближнихъ: разлука съ ними будетъ для него залогомъ свиданія въ новомъ, дучшемъ бытін, на новой землѣ и нодъ новымъ небомъ.... Въ колыбеляхъ и могилахъ будутъ видъться ему волны великаго океана бытія: волна гонитъ волну, волна сміняеть волну — волны проходять и изчезають, а океань все также великъ и глубокъ, и также живетъ и движется на своемъ бездонномъ, необъятномъ ложъ, — а въ его кристалъ все также торжественно отражается дучезарное солнце, и все также колышется и трепещетъ ночное небо, усыпанное миріадами звіздь, — а ті звізды своимь тапиственнымь блескомъ какъ-будто говорять о новыхъ мірахъ, гдъ также приходять и проходять волны бытія, можеть-быть, уже прошедшія здісь....

Да, истинный христіянинъ есть тоть, для кого на землѣ нѣть уже страданія, нѣть грѣха, нѣть страха, нѣть смерти; онъ еще здѣсь, на землѣ, живеть уже въ небѣ, потому что въ его

духъ живетъ любовь и блаженство—ибо душа его есть храмина Бога. Длится жизнь его, обремененная годами-онъ благодаритъ за нее Бога; смерть застигаетъ его на полудорогъ жизни-онъ съ любовію бросается въ объятія тихаго ангела успокоенія, потому что онъ понимаеть зпаченіе словъ: «Въ дому Отца моего обители много суть». Онъ знаеть, потому что любить: ибо любовь есть высшее значеніе... Онъ знаеть: цълый, яко голубь, опъ мудръ, яко змій, ибо за страданія, за жертву, за борьбу съ сомивніями разсудка, за вёру, которая не оставляла его и среди сомивній-ему дана высшая мудрость, высшее знаніе. Истинно-върующій есть въ то же время и знающій... Но — повторяемъ—это знаніе не принадлежить человъку, не есть плодъ его человъческой мудрости, но дается, инспосыдается ему свыше, какъ откровеніе, какъ благодать, какъ любовь. Отъ него зависить только неослабное стремленіе къ этому знанію, а это стремленіе выражается въ жертвахъ, въ борьбъ, въ трудъ, въ молитвъ, въ отречени отъ себя для Бога отъ благъ земныхъ для небесныхъ... Только тогда внутри его въ таинственномъ святилницъ его духа восходитъ свътлое солнце истины и лучами своими просвътляетъ свой темный, илотской горизонть, и даеть человъку сокровище, котораго ни червь не точить, ни ржа ни всть, ни тать не похищаетъ...

Распространеніе евангельскихъ истинъ есть святая обязанность всякаго христіянина, возлагаемая на него убъжденіемъ въ нихъ и любовію къ истинъ; но не всякой долженъ принимать ее на себя, потому что для этого требуется духовное посвященіе, которое состоитъ въ глубокомъ проникновеніи въ евангельскія истины нутемъ любви, откровенія и благодати, и еще въ способности передавать свои мысли съ жаромъ, убъжденіемъ и силою. Кто возьмется за эту высокую миссію безъ этого внутренняго посвященія, тотъ высокія религіозныя истины обратить въ сухое правоученіе—плодъ человѣческой мудрости, конечнаго человѣческаго разсудка. Самый высочай-

шій, самый истинный, единственный образець и примъръ для этого есть Евангеліе; божественный искупитель нашъ говорилъ фарисеямъ: «Горе вамъ, книжищы и фарисеи», грозилъ заблудшимъ и ожесточеннымъ въчнымъ огнемъ и въчною смертію; по это было только одною стороною его ученія, необходимымъ средствомъ для потрясенія окаментлыхъ и ожесточенныхъ сердецъ, нотому что, грозя адомъ, онъ указывалъ и на небо, говоря о наказанін, говориль и о прощенін и искупленін, о въчномъ блаженствъ, и говорилъ это словами, въ которыхъ въяль духъ въчной, божественной любви, безконечнаго небеснаго блаженства. Поэтому-то всѣ проповѣди, всѣ объясненія христіянскихъ истинъ, не пропикнутыя духомъ трепетной, животворной любви, инкогда и никакого не производять дъйствія. Сверхъ того, Евангеліе отличается еще и тѣмъ, что оно равно убъдительно, равно ясно и понятно говорить всъмъ сердцамъ, всъмъ душамъ, всъмъ умамъ, искренно жаждущимъ напитаться его истинами; его равно нонимаеть и царь и нищій, и мудрець и певѣжда. Да, каждый изъ нихъ нойметъ равно, потому что одинъ пойметь больше, глубже, нежели другой; по всв они поймуть одну и ту же истину, —и еще такъ, что мудрый, но гордый своею мудростію, пойметь ее меньше, нежели простолюдинь, въ простотъ и смиреніи своего сердца, жаждущаго истины и по тому самому отзывающагося на нее...

Такія мысли возбудила въ насъ маленькая книжка, подъ названіемъ «Сердце человъческое есть или храмъ Божій или жилище сатаны». Книжка эта первоначально написана на французскомъ языкъ, съ котораго переведена была на нъмецкій, а съ него уже на русскій. Въ ней предлагается сухое изложеніе христіянскихъ истинъ, разсудочно, а не сердцемъ понятыхъ; для лучшаго же уразумънія приложено иъсколько рисунковъ, а на тъхъ рисункахъ сердца человъческій, наполненныя діаволами и гръхами, въ видъ козловъ, змъй и другихъ животныхъ. Пепонимаемъ, къ чему все это. Евангеліе просто,

доступно для всякаго издагаетъ свои святыя и высокія истины; къ чему же эти мистическіе и аллегорическіе рисунки... Только любовь родить любовь, и только любовь говорить сердцу языкомъ живымъ и попятнымъ. Хитросплетенія затемпяютъ истину, сбивая съ толку бъдный разсудокъ и охлаждая сердце. Нътъ, не такимъ образомъ проповъдывала всегда и проповъдуетъ теперь истины Евангелія наша православная церковь. Эта же книжка явно написана на французскомъ языкъ...

НСКУССТВО БРАТЬ ВЗИТКИ. Восточная сказка. Соч. В. Серебренникова. Москва. 1838.

ТРИ БЕЗДЪЛКИ. Соч. В. Серебренникова, Москва. 1838.

Добро и зло по необходимости такъ тъсно неремъщаны другъ съ другомъ, что одно необходимо предполагаетъ и условливаетъ другое, и оба вмъстъ образуютъ третье, единое и цълое, а взятыя каждое само по себъ представляютъ собою двъ отвлеченныя противоположности. Такъ точно воздухъ состоить изъ кислорода и азота, изъ которыхъ первый убиваеть человѣка своею доброкачественностію, а второй своею злокачественностію; но соединенные вийстй чудотворною и живительною силою природы, они взаимно модифирують другь друга и, теряясь другъ въ другъ, образуютъ воздухъ, безъ котораго не можетъ существовать ничто живое въ природъ. Поэтому, гдѣ добро—тамъ и зло, и наоборотъ; ноэтому же. всякой предметь имжеть свою хорошую и свою дурную сторону. Сердцу человъческому сродно желать одного добра и оскорбляться созерцаніемъ зла; долгъ человъка есть-стремиться къ добру и бороться со зломъ: это желаніе, это стремленіе и эта борьба составляють механическій рычагь, могущественный двигатель, часовую пружину жизни; но не должно забывать, что безъ зла не было бы движенія, а слёдовательно

и жизни, и что надежда видъть міръ совершенно освобожденнымъ отъ зда-есть мечта воображенія, мечта прекрасная, по ея источнику, но пустая и безплодная, по ея сущности. Итакъ, вездѣ есть зло, вездѣ есть свои дурныя стороны. Петербургскіе журналы (особенно одинъ изънихъ) нападаютъ на Москву, за дурную сторону ея литературы-за плохія изданія, за множество вздорныхъ сочиненій, ежегодно появляющихся въ ней. Дъйствительно, въ Москвъ образовался особенный родъ литературы, особенный литературный міръ. Эта литература ходить во фризовой шинели, рёдко брёсть бороду, умывается и причесывается развъ по торжественнымъ праздникамъ; печатается она въ типографіяхъ гг. Кузнецова, Смирнова и Кирилова; ел поприще и кругъ дъйствія—толкучій рынокъ: тамъ процватаютъ книжиме магазины ея Лавока и Мурраевъ; ея носредники—ходебщики; ея публика—сидѣльцы «авощныхъ» лавокъ и вообще люди, для которыхъ все печатное должно быть хорошо. Такъ-это правда; но развъ этого нътъ въ Петербургъ, конечно, въ петербургской формъ? Вся разинца въ бумагъ и нечати, и развъ-и то не всегда-въ большей грамотности. По крайней мъръ, мы беремся цыфрами доказать, что разница не въ числъ, а только въ лучшей бумагъ и лучшихъ буквахъ. Но во всякомъ случаъ, зло совстить не такъ велико, какъ думають: стоптъ только взглянуть на предметь съ другой стороны, чтобы въ злъ увидъть добро. Не всѣ же могутъ читать Вальтеръ-Скотта и Купера: есть люди, которымъ нужны и «Милордъ Англійскій» и «Гуакъ или непобъдимая върность» и «Филатки» съ «Мирошками». Въдь имъ надо же что-нибудь читать, а кто читаеть что-нибудь, уже гораздо выше того, кто инчего не читаеть. Чтеніе должно быть по плечу чтецу, и въ чтенін должна быть своя постепенность, свой ходь, свое развитіе: иной отъ «Англійскаго Мидорда» доходитъ до «Ивана Выжигина» и на немъ останавливается; а иной, начавъ «Гуакомъ или непоколебимою върпостію» и перешедши чрезъ все многочисленное поколѣніе

«Выжигиныхъ», доходить до Вальтеръ-Скотта и Кунера. Но и тотъ, кто, начавши съ «Милордовъ» и «Гуаковъ», на нихъ и остановился—и тотъ, говорю я, уже далеко опередилъ того, кто ничего не читаеть. И такъ пусть читаетъ во здравіе нашъ православный пародъ, пусть съ каждымъ диемъ все болже и болбе распространяется въ немъ жажда къ чтенію!... Что бы ин пробуждало и не питало эту жажду — все хорошо! Долгъ рецензента — показать, для какого класса читателей писана та или другая книга, а не бранить эти добренькія съренькія книжки, которыя распространяются по своему читающему міру не въ кипахъ и не черезъ почту, а въ мъшкахъ и черезъ ходебщиковъ. Я, какъ рецензентъ, даже люблю эти съренькія книжки: читать ихъ не нужно, а писать о нихъ можно сколько угодно, и для этого нужно только заглянуть тудасюда, чтобы для потёхи, выписать какую-ипбудь курьёзность, или придравшись къ какой-нибудь диковинкъ, посмъяться надъ добренькою серенькою книжкою... Вотъ другое дело — эти бездарные и многотомные романы, опрятно изданные, со смысломъ написанные, съ претензіями на таланть! Туть уже рецензенту плохо: читай себъ отъ доски до доски, чтобы вычитать какую-нибудь нелъпость; а между тъмъ все обстоить благополучно — нътъ ин отмънно глунаго, пътъ и ничего умнаго — вездъ середка на половинъ... Охъ, эта золотая середина!...

«Искусство брать взятки» и «Три Бездѣлки» г. Серебренникова не принадлежать, по счастю, къ золотой посредственности: это книги, въ своемъ родѣ образцовыя. Для доказательства, выписываемъ изъ одной изъ «Трехъ Бездѣлокъ» мѣсто прозою и стихами, съ строжайшимъ соблюденіемъ орфографіи почтеннѣйшаго г. В. Серебреникова:

Конечно вы знаете, что значить фантастическій част?... Это чась явленія духовь и привидіній; чась колдовства, чась заклинаній; время разгула домовыхь и відьмь; словомь, таннетвенная и мрачная полночь!... Говоря вообще, разумівется, ни въ одной освіщенной комнать, напол-

ненной народомъ, вы не увидите ни черноты, ни мрака полуночи, ни лашаго, ни въдьмы, эти вещи боятся огня и многолюдства. Но если вы посвящены въ первыя три таинства кабалистики; то непремвнно замътите волшебное вліяніе фантастическаго часа тамъ, тдъ балъ за деньги и балъ безъ денегъ... Но, сначала, кабалистикъ ла кы? Передъ объдомъ, вы пьете водку? За столомъ выпиваете три четыре бокала Ренвейну? За десертомъ можете осущить бутылку шампанскаго?.. Если такъ, то поздравляю васъ, вы отличный кабалистъ первыхъ трехъ степеней; еще шагъ,—и вы на четвертой! отъ васъ не скроется фантастическій часъ!... Признавая васъ здептомъ Халдейской мудрости, я начну объяснять приступы чаръ полуночи, Кабалистъчески: надъюсь, что поймутъ меня.—(Хоть и трудно, но не невозможно!) Итакъ:

И чары крвикіе налегли!... А Комъ и Вакхъ кричатъ: Виватъ! А Асмодъй гримасы строить; Упала въ креслы Галатея! Рыдаетъ громко Мельпомена, Безумно-Талія хохочеть. И скользко стало Терпсихоръ, Зефиры ужъ съ нимфами, вертятся колеблясь; И вотъ обоянье совершилось полуночи!... Спѣшитъ раздоры, ссоры сѣять, Вдали Мефистофель тесня, толкая нагло... Забвенія объятья простираетъ А тамъ морфей, зъвая во весь роть. Напънилъ кубокъ ароматомъ, Съ конфетною улыбкою на устахъ, Туть Вакхъ, увитый, виноградомъ, За нимъ укрылся Иппократъ... II важно смотрять на желудки, Здъсь Комъ и Момусъ жертвы просять. И слушайте: пора домой! Домой пора!... Онъ шепчетъ, "на гвоздъ вниманія повъсьте уши" и т. д.

Хороша проза, но стихи еще лучше: ихъ можно читать и съ начала до конца, и съ конца до начала—смыслъ будетъ совершенио все тотъ же... Но въ этомъ-то и состоитъ дарованіе поэта... Теперь вы знаете, что за авторъ г. В. Серебренинковъ и для какого класса читателей написалъ онъ «Искусство брать взятки» и «Три Бездълки...»

ДЪЙСТВИТЕЛЬНОЕ ИУТЕШЕСТВІЕ ВЪ ВОРО-НЕЖЪ. Сочиненіе Ивана Расвича. Москва. 1838.

Слово «дъйствительный» принимается въ двухъ значеніяхъ: какъ противоположность слову «воображаемый» и какъ противоположность слову «призрачный». Итакъ, «дъйствительное» есть то, что есть въ самомъ дълъ; «воображаемое» есть то, что живеть въ одномъ воображении, а чего въ самомъ дълъ ивть; «призрачное» есть то, что только кажется чвмъ-нибудь, но что совежиъ не то, чёмъ кажется. Міръ «воображаемый» въ свою очередь раздѣляется на «дѣйствительный» и «призрачный». Міръ созданный Гомеромъ, Шекспиромъ, Вальтеръ-Скоттомъ, Куперомъ, Гете, Гофманомъ, Пушкинымъ, Гоголемъ, есть міръ «воображаемый-дъйствительный», т. е. столько же не подверженный сомнанию, кака и міра природы и исторіи; но міръ, созданный Сумароковымъ, Дюкре-дю-Менилемъ, Радклифъ, Расиномъ, Корнелемъ, и пр. — есть міръ «воображаемый-призрачный». Потому-то онъ теперь и забыть всёмь міромь. Теперь намь предстоить важный трудъ-ръшить, къ которой изъ этихъ категорій принадлежить «дъйствительное» путешествіе въ Воронежъ г. Раевича, который, въ посвящени своей книжки г. Узанову откровенно признается, что онъ «еще не причисленъ къ великимъ людямъ, уже увѣнчаннымъ громкимъ титломъ «литератора». Цъль и предметъ путешествія, въ книжкъ г. Раевича, занимаетъ какихъ-нибудь двѣ-три странички; вся же она занята описаніемь событій, которыя совершились съ авторомь на дорогъ отъ Москвы до Воронежа. Вопервыхъ, его встрътила, въ Тульской губернін ужасная буря. Въ то время, какъ почтенный авторъ «при очаровательномъ звукъ переливныхъ тоновъ свиръли, погружался въ сладостное чувство самозабвенія, и переносился въ п'вдро благословенной Аркадін», н какъ «душа и сердце его таяли отъ восторга».--

Вдругъ запграли вътры; небосклонъ началъ мрачиться; облака толвами понеслись по тверди; молнія заброздила по горизонту съ сильнымъ трескомъ грома, и природа въ ужасъ погружалась въ мертвое оцъпенъніе. Мрачныя тучи рыскали на черныхъ своихъ крылахъ; въ подлунной (ужь будто бы во всей!) воцарилась гробовая мрачность; только молнія, извивистою змъею разсъкая тучи, осеъщали трепещущую природу. Буйные вътры, раскаты грома, зіявіе молніи, слившись въ смертоносную игру стихій, отражали грозный разговоръ неба съ земною перстью.

Вслъдствіе такого случая, почтенный авторъ попаль въ домъ одного тульскаго помъщика.

Мъсто, гдъ возвышалась мыза П.... И... Г...аго, было подъ особеннымъ покровительствомъ природы; домъ его, какъ только могъ я разсмотръть при лунномъ свътъ, стоялъ на возвышенной гранитной скалъ, которую рука причудливой природы разукрасила образованіемъ коллонадъ и минаретовъ; при скатъ скалы (,) на отлогомъ берегу извивистой ръчки (,) разтилалась долина.

По «гранитнымъ скаламъ, разукрашеннымъ природою колоннадами и минаретами» и находящимся въ Тульской губернін, мы почитаемъ себя вправѣ отнести путешествіе г. Раевича къ разряду «воображаемо-призрачныхъ» произведеній литературы.

Вотъ беседа г. Раевича съ его гостепримными хозяевами:

Предметомъ перваго нашего разговора была Москва; потомъ ръчь перешла къ учености; всъ литераторы и всъ издатели журналовъ были исчислены. Петръ Ивановичъ, превознося всъхъ нашихъ издателей (,) съ особеннымъ уваженіемъ относился о гг. Гречъ и Булгаринъ. "Перо перваго. т е. Греча, (который издаетъ "Съверную Пчелу") говорилъ онъ, не подражаемо въ слогъ, а послъдняго (т. е. Булгарина, который долженъ написать въ "Пчелу" отзывъ о книгъ Раевича) мило въ критикъ; онъ также душевно скорбълъ о смерти Пушкина, и ожидалъ чего то великаго отъ молодыхъ поэтовъ. Я даже предугадываю—присовокупилъ онъ, что на развалинахъ современемъ (?) забытой (!) славы Пушкина, водрузится слава Бенедиктову.

Считая славу Пушкина безсмертною подобно славъ незабвенныхъ поэтовъ Державина и Ломоносова, славъ безсмертнаго Карамзина, я не соглашался, чтобы слава Пушкина, столь ярко озарившая горизонть дитературнаго міра въ нашемъ віків, могла когда нибудь подернуться черными флеромъ забвенія.

. Пушкива нельзя еще сравнить съ Державинымъ и Ломоносовымъ, возразилъ Петръ Ивановичъ, — онъ также далекъ и отъ Карамзина, которые должны быть безсмертными потому, что Ломоносовъ (,) давъ новый оборотъ стихотворенію (,) возродилъ поззію; а Карамзинъ заговорилъ первый чистымъ русскимъ языкомъ, и всъ сердца отозвались на его голосъ.

- "Но и Пушкинъ, сказалъ я: ъъ нашъ въкъ, первый началъ плънять читателей новою вгрою словъ (?!...); удивительною легкостію, чистотою слога".
- Неужели же въ нынтшнее время, когда Россія исполинскими шагами идетъ къ самобытности въ образованіи, писатели наши должны подражать въкамъ протекшемъ (?).
- Нътт! присовокупила Въра Николаевна наступленіе каждаго въка должно быть улучшеніемъ языка отсчественнаго.
- "Это исполняли недавно наши писатели,—сказаль я (,) обратясь къ Въръ Николаевиъ. Назадъ тому не болье ияти явтъ литература наша получила быстрый переворотъ".
- Но Пушкинъ только предупредилъ ихъ, имъп отъ природы живое воображение и высокие таланты, и сдълалъ только то, что долженъ былъ сдълать, но впрочемъ онъ не оставилъ намъ ничего самобытнато".

Этотъ литературный разговоръ показался намъ столь «дъйствительнымъ, что мы ни минуты не поколебались выписать его весь, отъ слова до слова, въ надеждъ, что какой-инбудь составитель курса эстетики или теоріи поэзін воснользуется имъ...

СТО РУССКИХЪ ЛИТЕРАТОРОВЪ. Изд. книгопродавца А. Смирдина. Томг первый. Александровг. Марлинскій. Давыдовг. Зотовг. Кукольникг. Полевой. Пушкинг. Свингинг. Сенковскій. Шаховской. Спб. 1839.

Альманахъ въ пятьдесятъ два печатныхъ листа, въ огромное in-folio, пли въ небольшое in-quarto; альманахъ, роскошно папечатанный, вмъщающей въ себъ четырнадцать статей знаменитъйшихъ русскихъ писателей—отъ Пушкина до Зотова, съ ихъ портретами, съ десятью картинками, превосходно нарисованными въ Россіи и превосходно выгравированными на стали въ Лондонъ — альманахъ-чудо!... Какъ онъ родился, гдъ онъ родился?

Какъ? — не знаемъ; гдъ? — въ Нарижъ. Тамъ выдумана была книга «Ста-одного» — у насъ память хороша, мы не забыли, и, по старой привычкъ пользоваться чужимъ примъромъ ръшились издать книгу ровпо «Сто Русскихъ литераторовъ».

Зачёмъ только сто?—Зачёмъ не тысяча, не сто тычячъ?— Статей негдъ взять? — Вздоръ! — такихъ статей, какъ «пріъздъ вице-губернатора», или «Александръ Даниловичъ Меньшиковъ» не оберешься-стоитъ только кликнуть кличъ. Авторовъ пътъ такого числа? — Пустое? — Рафаилъ Михайловичъ Зотовъ открылъ собою безконечную вереницу самородныхъ геніевъ... Помилуйте, кому не лестно видіть свой портретъ превосходно выгравированный на стали; видъть свою статью въ книгъ рядомъ съ статьею Пушкина?... Да для одного этого иной поневолъ сдълается писателемъ... Вотъ другое дбло-пріятно ли Пушкину быть въ подобномъ обществъ?.. Да что на него смотръть—въдь жаловаться не будетъ!.. Десять томовъ этого альманаха намъренъ издать А. Ф. Смирдинъ: въ каждомъ томъ будуть статьи десяти авторовъ, десять портретовъ и десять картинокъ. Первый томъ заключаетъ въ себъ статьи писателей, поименованныхъ въ его заглавін. Первый... но мы устроимъ свой порядокъ, по которому первымъ безспорно долженъ быть Пушкинъ, а не г. Сенковскій съ г. Зотовымъ...

«Каменный Гость», посмертное сочиненіе Пушкина, драматическая поэма... Герой этой небольшой драмы—Донъ Хуанъ, тоть самый. который является героемь въ либретто знаменитой оперы Моцарта; но у Пушкина общаго съ этимъ либретто только имена дъйствующихъ лицъ — Донъ Хуана, Донны Анны, Ленорелло, а идея цълаго созданія, его расположеніе,

ходъ, завязка и развязка, положенія персопажей-все это у Иушкина свое, оригинальное. Иоэма помъщена не болъе, какъ на тридцати ияти страницахъ, и не смотря на то, она есть цълое, оконченное произведение творческого генія; художественная форма, вполнъ обиявшая безконечную идею, положенную въ ен основаніе; гигантское созданіе великаго мастера, творческая рука котораго, на этихъ бъдныхъ тридцати пяти страничкахъ, умъла изчерпать великую идею, всю до малъйшаго оттынка... Просимъ не принимать нашихъ словъ за сужденія: нъть, они не сужденіе, они-звуки, восклицанія, междометія... Сужденіе требуетъ спокойствія—не того пошлаго разсудочнаго спокойствія, источникъ котораго есть мелкость и холодность души, педоступный для сильныхъ и глубокихъ впечатльній, — ньть, того спокойствія, которое дается полнымь удовлетвореніемъ изящнымъ произведеніемъ, полнымъ воспріятіемь его въ себя, полнымь погруженіемь въ таниство его организацін... Чтобы оцънить вполиж великое созданіе искусства, разоблачить передъ читателемъ тайны его красоты, сдълать прозрачною для глазъ его форму, чтобы сквозь нея онъ могъ подсмотръть въ немъ великое тапиство присутствія въчнаго духа жизни, ощутить его благоуханное въяніе, —для этого требуется много, слишкомъ много, по крайней мъръ, гораздо больше, нежели сколько мы можемъ сдёлать... Торжественно отказываемся отъ подобнаго подвига и признаемъ свое безсиліе для его совершенія... Но для насъ оставалось бы еще неизреченное блаженство передать читателю наше личное, субъективное впечатлъніе, пересказать ему, какъ потрясались, одна за другою всъ струны души нашей; какъ духъ нашъ то замиралъ и изнемогалъ подъ тижестію невыносимаго восторга, то мощно возставаль и овладъваль своимъ восторгомъ, когда передъ нимъ разверзалось на минуты царство безконечнаго... Но мы не можемъ сдълать этого... Мы увидъли даль безъ границъ, глубь безъ дна,-и съ тренетомъ отстунили назадъ... Да, мы еще только изумлены, пріятно

испуганы, и потому не въ силахъ даже себъ отдать отчетъ въ собственныхъ ощущеніяхъ... Что такъ поразило насъ?— Мы не знаемъ этого, но только предчувствуемъ это,—и отъ этого предчувствія дыханіе занимается въ груди нашей и на глазахъ дрожатъ слезы трепетнаго восторга... Нушкинъ, Нушкинъ!... И тебя видъли мы... Неужели тебя?... Великій, неужели безвременная смерть твоя непремънно нужна была для того, чтобы мы разгадали, кто былъ ты?...

«Одна глава изъ неоконченнаго романа» сильно разманиваетъ любопытство читателя только однимъ намекомъ на характеръ геронии... Впрочемъ, цълаго она не представляетъ, а какъ отрывокъ—слишкомъ мала, и потому только при имени Пушкина можетъ имъть особенную цъну.

«Дурочка», повъсть г. Полеваго, наномнила намъ прежняго Полеваго.... Это не художественное созданіе, но сколько въ ней души, чувства, какая прекрасная мысль лежить въ ел основанін!... Какъ жаль, что эта прекрасная, благоухающая ароматомъ чувства и мысли повъсть испорчена растянутостію и, мъстами, субъективными мыслями автора. Первая же страница начинается давно уже извъстными и давно уже всъмъ надовышими разглагольствованіями о тщеть гадкаго металла, называемаго золотомъ. Къ чему это?-«всякому, даже и не бывавшему въ семинаріи» изв'єстно, что золото-металлъ благородный, а деньги, которыя изълнего делаются-вещь очень хорошая и полезная. Не серебро, а сребролюбіе гадко. Потомъ къ чему это презрѣніе къ благамъ земнымъ, простирающееся до оскорбленія при одной мысли объ объдъ?—На станціи, героя повъсти человъкъ спрашиваетъ-не угодно ли ему покушать, а онъ сердится, говоря, что кто влюбленъ, тотъ унизиль бы себя даже и легкимъ завтракомъ, не только объдомъ, Вся эта идеальность устаръла и страхъ какъ надобла... Впрочемъ, можетъ-быть, все это у почтеннаго автора не безъ особенной цёли. Дёло вотъ въ чемъ: герой повёсти-молодой человікь, не безь глубокости въ душі, но съ фальшивыми

понятіями о жизни, что-то недоконченное, не сформировавшееся. Онъ воспитывался вийстй съ дивочкою, и еще будучи дътьми, они ноклились другъ другу въ «върпости до гроба». Любовь этого молодаго человъка испарается въ пустозвонныхъ фразахъ, потому что сама любовь его есть не что иное, какъ пустозвонная фраза, идеальная претензія. Онъ бъдень—и ему отказали. Послъ этого онъ сталъ богатъ и случай познакомиль его съ прекраснымъ явленіемъ женственнаго міра: откровеніе тапиства жизни предстало ему въ прекрасномъ, ноэтическомъ образъ женщины. Въ семействъ перчаточника Нъмца встрътиль онъ это существо, родное себъ, эту половину души своей. Съ малолътства прозванная злою мачихою дурочкою, онадуша глубокая и поэтическая, сердце любящее и страстноена всю жизнь осталось въ кругу этихъ глупыхъ умниковъ, съ прозвищемъ дурочки, и почти сама върила, что она дурочка. Молодой человъкъ разгадаль ее—они полюбили другь друга. Но онъ быль такъ призраченъ, прекрасподущенъ, такъ помъщанъ на идеальныхъ фразахъ, что, любя истинно Дурочку, не переставаль вздыхать и пышно разглагольствовать о Полиив. Ощутивши въ себв истинное чувство, онъ не повършлъ ему и принесъ его въ жертву пошлому фразерству своего дътства. Дурочка была оставлена-онъ женится на Иолинъ, которая сыграла съ нимъ одну изъ тъхъ комедій, которыя такъ легко играть хитрымъ и ловкимъ женщинамъ съ идеальными шутами. Скоро увидёль онь, что, вмёсто женщины, женился на восковой статув безъ души и сердца. Равнодушный и апатическій, вдеть онъ съ женою въ домь одной графини-и въ гувернанткъ хозяйки дома узнаетъ-Дурочку. Истинное чувство сново всныхнуло, по уже поздно... Дурочка скрылась. Изъ конца повъсти, растяпутаго и дурно сложеннаго, мы узнаемъ, что она утопилась, и узнаемъ это очень отчетливо, потому что почтенный авторъ не хотълъ инчего оставить на догадку своихъ читателей, а разсказалъ имъ все съ болтливою отчетливостію чувствительных романистовъ прошлаго въка...

Несмотря на то, повъсть произвела на насъ глубокое впечатлъніе. Основная мысль ея такъ проста и такъ върна; многія подробности изложены съ увлекательною живописностію; вездъ проглядываетъ теплое чувство...

Вторая статья г. Полеваго «О бумагахъ и замъткахъ, оставшихся по кончинъ Петра Великаго, въ его собственномъ кабинетъ» — отличается высокимъ интересомъ содержания,

одушевленностію и мастерствомъ изложенія.

d'i

ď

tie

11

Ď-

ĬĬ.

Ъ.

·1

Rb

γ,

11-

Th

T-

:0-

K'b

MII

CA

Ia-

ВЪ

Β-

Ъ.

13-

30,

010

Кстати тутъ же укажемъ и на прекрасную статью Дениса Васильевича Давыдова «Тильзитъ въ 1807 году». Это открывокъ изъ военныхъ записокъ знаменитаго воина-литератора. Излишие было бы распространяться о высокомъ достоинствъ ея содержанія и изложенія.

По части романическо-повъствовательной замъчателенъ еще «Сърный ключъ» г. Александрова (Дъвицы-Кавалериста). Марлинскаго помъщены двъ прозаическія піесы: окончаніе его безконечнаго «Муллы-Нура» и «Месть», и одно стихотвореніе «Сонъ». Что сказать о нихъ?... Прекрасно! Превосходно! Напримъръ, какая отрада для любителей громкихъ фразъ прочесть эти слова Муллы-Нура, служащія приступомъ къ исторіи его жизни, которую онъ самъ разсказываетъ автору:

Что на свътв есть тайнаго, кромв нашего сердца? Разсквтаетъ ночь, крывшая злодвиство: дремучи лъсъ находитъ голосъ на обвинение; разступается хлябь моря и выдаетъ утопленное хищниками добро. Могилы, самыя могилы не скрываютъ во мракъ своемъ проступлений, и съ червями зараждаются въ нихъ мстители. Я видълъ: Русские узнавали по внутренностямъ жертвъ прошлое, какъ идолопоклонники предки наши угадывали по нижъ будущее. А когда можно заставитъ говорить мертвецовъ, кто заставитъ молчатъ живыхъ? .. тайное скоро становится явнымъ, и базарная молва неръдко трубитъ о томъ, что было шопотомъ сказано между двоими. Нътъ! моя жизнь не тайна, мои похожденія можетъ разсказать тебъ послъдній мальчикъ въ Кубъ.—"Онъ убилъ своего дядю и бъжалъ въ горы!" вотъ вся повъсть обо мнъ, и она не ложь, но полна ли она? по справедливо ли осудитъ меня по этимъ словамъ всякій, кто ихъ услышитъ?—на это могу от-

въчать только и. Пусть отрубить мою голову — что же найдеть въ этой головъ судья для объяснения моего преступления? Пусть выръжуть сердце—какъ отгадаеть въ немъ врачъ пружины, которыя двинули на убійство?... А въ этомъ вся важность для меня! Только это зову и на судъ совъсти, —все остальное—дъло случаи—все остальное пусть какъ хотитъ судить въ людскомъ диванъ! Тяжело мнъ думать объ этомъ, еще тяжелъе разсказывать—и между тъмъ оно меня душитъ!.. Мучительно вырывать зубчатую стрълу изъ раны, но и оставлять ее нестерпимо...

Изъ сего отрывка ясно значится, что Мулла-Нуръ, полудикій татаринъ Кавказскихъ горъ—большой философъ и вообще выражается высокимъ слогомъ, не хуже героевъ трагедій Корнеля и Расина...

«Месть» просто... по о «Мести», какъ и обо всемъ прочемъ, мы лучше совсѣмъ умолчимъ... «Маруся» повѣсть князя Шаховскаго, есть, кажется, первый опыть почтепнаго драматурга въ повъствовательномъ родъ и, какъ веъ запоздалые опыты, очень пеудачный. Эта повъсть доказываетъ ясно, что удача въ сценическихъ произведеніяхъ скорте отрицаетъ, нежели условливаетъ удачу въ романъ и повъсти. Авторъ изображаетъ какую-то малороссійскую Сафо, т. е. влюбленную стихотворицу, какъ будто бы всякая влюбленная стихотворица непремѣнно должна называться Сафо. Стариниая манера! Было время, когда Державина называли россійскимъ Пиндаромъ, Гораціемъ и Апакреономъ; Хераскова россійскимъ Гомеромъ и т. д. Но это бы еще куда ни шло! Дъло въ томъ: почему авторъ не говорить, что герония его повъсти-лице историческое; а если она выдумана имъ, то по какому праву онъ принисалъ ей прекрасиъйшія народныя пъсни?... Но и это бы еще куда ин шло? А жаль того, что разсказъ въ высшей степени сбивчивъ, теменъ и неловокъ, характеровъ какъ не бывало, языка и слога тоже... «Пріъздъ вице-губернатора» повъсть г. Зотова... Но что о ней говорить?... Honny soit qui mal y pense!... «Превращение головъ въ кинги и книгъ въ головы», уже сотое и въ сотый

разъ добольно неудачное подражание такъ называемымъ философскимъ повъстямъ Вольтера, старая и притомъ такъ ужасно растянутая штука или шутка, что вмъсто смъха пронаводитъ зъвоту.

Кром'в этихъ пов'єстей, въ книг'в «Сто Русскихъ литераторовъ» помъщены двъ драматическія піесы: «Іоанпъ Антонъ Лайзевицъ», драматическая фантазія въ пяти актахъ, съ эпилогомъ, г. Кукольника, и «Александръ Даниловичъ Меньшиковъ», драматическое представление въ трехъ картинахъ, г. Свиньина. Объ эти піесы находятся одна къ другой въ обратномъ отношении: піеса г. Кукольника показываетъ, какъ много можеть сдблать истинный таланть изъ такого содержанія, изъ какого, повидимому, инчего нельзя сделать; піеса г. Свиньина показываеть, какъ мало можеть сдълать посредственность и изъ такого содержанія, изъ какого трудно не сдёлать чего-инбудь хорошаго. Да, съ истиннымъ наслажденіемъ прочли мы «Іоаппа Антона Лейзевица». Не скажемъ, чтобы это было художественное произведение, не скроемъ, что тутъ много недостатковъ, натяжекъ (какъ напр., въ сценахъ съ ящиками, при кунцахъ и при женѣ); но смѣло можемъ сказать, что все произведеніе насквозь пропикнуто любовію къ некусству, поэтическою теплотою души, характеры очеркнуты удачно, мастерскихъ сценъ много... И какой міръ представленъ въ этомъ сочиненін-міръ искусства, міръ художниковъ! Туть вы увидите и пламеннаго эпергическаго Лессинга, и Эшенбурга, и Пффланда, и наконецъ Шиллера, съ его блѣднымъ лицомъ, задумчивымъ видомъ, съ его въчнымъ «заступничествомъ человъчества отъ людей», по прекрасному выражению г. Кукольника... Словомъ, пісса его, по своему объему, составляетъ порядочную кингу, а мы прочли ее, безъ отдыха, какъ пебольшую статью...

Что бы вамъ сказать объ «Александръ Даниловичъ Меньшиковъ»? Да зачъмъ много говорить — судите сами — вотъ маленькій отрывочекъ. Сперва позвольте вамъ предувъдомить, что Меньшиковъ, еще будучи разнощикомъ пироговъ или блиновъ, влюбился въ дочь боярина Арсеньева,—и вотъ какъ разсуждаетъ съ стрълецкимъ полковникомъ о своей любви и о любви вообще:

"О троицынъ днъ будетъ годъ, какъ пошелъ я помолиться къ Спасу въ Кречетникахъ; приложась къ святому кресту, я спъщиль выйти изъ церкви, чтобы посять съ товаромъ въ Лавичій монастырь по выхода народа отъ поздней объдни. На паперти одъляла убогую братью какая-то боярышня. Пробиваясь сквозь толиу вищихъ. я толкнулъ неосторожно одну старуху, она заворчала и стукнула меня кръпко клюкою по головъ; я хотълъ отметить ей добрымъ тузомъ, какъ неварокомъ взглянулъ на боярышню; взоры наши встрътились и рука моя опустилась... Какой-то огонь пробъжаль по всему существу моему. Съ тъхъ поръ, беззаботный, веселый, счастливый-я сдълался задумчивъ, мраченъ, безпокоенъ. Ощущенія, то сладкія, то мучительныя, наполняли мое сердце, мечты дальныя (!), думы незнаемыя (!!) волновали мою душу: я сталь недоволень собою, сталь стыдиться своего невъжества, своего состоянія. Однимъ словомъ, я весь переродился... Въ любви слова послъднее дъло: языкъ любви гораздо краснорфчивъе: одинъ взглядъ часто говоритъ болъе, чъмъ можно пересказать въ цёлый часъ словами; одно движение руки, появление. уходъ милаго человъва объясняютъ цълый рядъ недоумъній, вопросовъ, желаній... Жалью о тебь, Василій Матвьевичь: не зная мукь любви, ты не испиль чары истиннаго блаженства жизни; не испытавъ отравъ неизвъстности, таниственности, страха, надеждъ и отчаянія (?!...) ты не существовалъ душею въ семъ прекрасномъ міръ ..

Каковъ Меньшиковъ!... Еще будучи пирожникомъ или блипникомъ, онъ уже выражался о любви истертыми фразами и общими мъстами изъ чувствительныхъ романовъ: какъ же заговоритъ онъ, будучи генераломъ, кияземъ, вельможею?—Ужь разумъется какъ—не даромъ же говорится пословица: «каковъ въ колыбельку, таковъ и въ могилку»...

Меньшиковъ великое лицо въ русской исторіи. Несмотря на его честолюбіе, завистливость, сребролюбіе, Петръ Великій любиль его какъ друга, питалъ къ нему какое-то особенное, отеческое чувство: значить въ этомъ человъкъ было что-то великое, несмотря, на недостатки: расположеніе и дружба вели-

каго человъка—патентъ на человъческое достоинство. Меньшиковъ — богатый предметъ для драмы, и въ пей надо его представить со всъми его недостатками, но такъ, чтобы, несмотря на нихъ, отъ него въяло ароматомъ высшей жизни. А что сдълалъ изъ пего г. Свиньинъ?—стыдно сказать...

МУСТАПІЪ. Сочиненіе Поль-де-Кока. Спб. 1839. Четыре части.

Недлячего распространяться о великой славъ Ноль-де-Кока: дъло ръшенное, что это нервый романистъ современной французской литературы. Вамъ это непріятно, вы дълаете недовольную мину: не взыщите-чемъ богаты, темъ и рады. Польде-Кокъ, въ своемъ «Мусташъ», рисуетъ намъ свой идеалъ поэта, идеаль, который, какь двъ капли воды, похожь на него самого. Добрый человъкъ-онъ живеть въ міръ «добрыхъ малыхь», гулякь, зъвакь, гризетокь, трактировь, кабаковь; изображаетъ чистую и почтительную любовь, основанную на сладенькихъ чувствованьицахъ и приправленную пошлыми сентенціями здраваго разсудка, дальше этой любви онъ ничего не видить, ничего не знаеть, ничего не подозрѣваеть-ею оканчивается тъсный кругозоръ его внутренняго созерцанія. Оставляя другимъ астрономическія изслёдованія, онъ-добрый человѣкъ—душою и тѣломъ погрузился въ царство инфузорій, и забыль, что въ Божьемь мірѣ есть нѣчто и кромѣ инфузорій. Но не думайте, чтобы добрый Поль-де-Кокъ опровергаль это: онъ молчить объ этомъ, какъ о вещи, которая для него не существуеть. И хвала ему за это! Право, такое скромное сознаніе своихъ силъ и средствъ имъетъ свою цъну! Оно лучше всякихъ геніяльныхъ претензій. Маленькіе парижскіе генін, которые изображають дикія страсти, клевещуть на человъческое сердце и чернять свъть Божій, воть они-то

смышны поистинь, а не добрый, почтенный Поль-де-Кокъ. Итакъ, честь и слава Поль-де-Коку, первому романисту французскому!...

«Мусташъ» — романъ Поль-де-Кока: большое о немъ сказать нечего. О переводъ тоже недлячего распространяться: это образецъ безпримърной безграмотности. Странное дъло! Въ доброе старое время, кончившееся двадцатыми годами, не было безграмотныхъ сочиненій и переводовъ. Книга могла быть дурна, но языкъ ея всегда былъ правиленъ, чистъ, въ ладу съ грамматикой и логикой. А теперь книга, въ которой грамматика и здравый смыслъ не страждуть, истинная ръдкость! Отчего это? Оттого, что тогда къ книжному дѣлу питали уваженіе, придавали ему мистическую важность, и потому брались за него люди грамотные, приготовившіеся ученіемъ, запасшіеся опытностію; а теперь въ литературу играють, и всякій недоучившійся школьникъ, чтобы достать па нару платья, смъло принимается переводить съ французскаго романъ, или даже и писать свой. Переводъ «Мусташа» образцовая безграмотность! Видио, что переводчикъ даже и не слыхалъ о наукъ, которая называется грамматикою. Въ переводъ его всѣ слова русскія, но конструкція, складъ рѣчи-чухонскій, зырянскій, словомъ, какой угодно, только не русскій...

НОВОГОДНИКЪ. Собраніе сочиненій, въ прозъ и стихахъ современныхъ русскихъ писателей. Изданный Н. Кукольникомъ. Спб. 1839.

Съ нетеривніемъ ожидали мы «Новогодника», съ нетеривніемъ и прочли его, потому-что этотъ подвигъ выше всякаго теривнія. Безъ аллегорій — альманахъ г. Кукольника ниже всякой посредственности: за исключеніемъ двухъ, трехъ ніесъ, это просто—сборъ разнаго литературнаго хламу. При-

знаемся, совсёмъ не того ожидали мы отъ вкуса, любви и усердія къ литературё такого писателя; какъ г. Кукольникъ, и его альманахъ, для насъ новое доказательство, какъ мало надо вёрить именамъ...

Начиемъ съ стихотвореній.

[-

Ъ

0

(0)

Ъ

«Антоній» стихотворная поэма, въ двадцати-семи главахъ—
каждая глава стиховъ въ пятнадцать, г. Губера. Въ ней восшѣвается жизнь неизвѣстнаго свѣту героя, который, черезъ
оное восиѣваніе, кажется, хочетъ пріобрѣсти себѣ извѣстность. Въ добрый часъ! Но это обстоятельство постороннее:
главное дѣло въ томъ, что мѣстами гладкость и бойкость
стиха, мѣстами игривость разсказа, мѣстами истинное чувство, составляють достоинства; а излишнее подраженіе Нушкину, мѣстами дурные стихи, вообще претензін на какую-то
глубокость, составляють недостатки этой поэмки.—«Прогулка
Марін Стюартъ въ С. Жерменскомъ паркѣ» (глава VIII изъ
большой романтической поэмы «Давидъ Рицціо»). Славная
поэма! Чудесные гекзаметры! — Читайте, дивитесь и наслаждайтесь—

"Что же намъ дълать. Анета?... Повдемъ къ святой Женьевъ!"
—Ваше величество, это не близко—сказали старушки.
Есть особый обрядъ для повздокъ въ Нантеръ; мы не смъемъ.
"Если нельзя, такъ повдемъ гулять въ Сепъ-Жерменъ".—Невозможно!
Тамъ не топили сегодня, а къ ночи нельзя воротиться.—
"Вытопятъ!—день чудесный и холодъ весенній не страшенъ"...
—Ваше величество!... какъ вамъ угодно... сказали старушки,
Но...—"Пусть съдлаютъ коней! мы повдемъ верхомъ съ баронессой".
—Но...—"Разумъется, вамъ приготовятъ кареты!"... Старушки
Нъсколько "но" проворчали: Марія была непреклонна.
Вышли статсъ-дамы; держали совътъ, наконецъ согласились.

Славные гекзаметры! чудесные гекзаметры! при сей върной оказіи, мы не можемъ удержаться чтобы не сдълать извъстнымъ какъ творцу этихъ прекрасныхъ гекзаметровъ, такъ и публикъ, что и мы пишемъ гекзаметрами большую романтическую поэму, въ двадцати-четырехъ пъсняхъ—трудъ, цъль

котораго есть доказать, что можно писать гекзаметры еще лучше, пежели иншеть ихъ почтеннъйшій Несторъ Васильевичь. Воть маленькій отрывочекъ изъ нашего большаго труда— да разсудить насъ публика!

"Здравствуй мой другъ! Каково поживаещь? Что твой кашель?" Славу Богу! все хорошо — "Да скажи мнъ, пожалуй; Гдъ ты бываещь? Дома тебя никогда не застанещь Былъ я вчера у тебя: отобъдать хотълъ я съ тобою, Вечеромъ виъсть въ театръ—Дъву Дуная давали .."—Аһ, mon cher! я дома совсъмъ не живу, въ деревню сбирлюсь, Дня черезъ два, такъ въ хлопотахъ все, а межъ-тъмъ заранъй Дома къ поправкъ велълъ приступить: полы ужь взломали...

«Къ молодой дъвушкъ» стихотворение ки. Мещерскаго:

Нътъ, ты меня не понямаешь!
Клянусь, небесная моя,
Ты задрожишь, когда узнаешь,
Кто я таковъ, откуда я!
Я сынъ порока, обольщенья,
Я спутникъ не благихъ (т. е. не злыхъ) духовъ.
Я гордъ—и не ищу прощенья,
И радъ горъть въ огнъ гръховъ!

Не читайте дальше, господа, — страшно!... Какіе, подумаешь, есть на свътъ люди!...

«Козаку-поэту» г. Бенидиктова: стихъ бойкій, звонкій, гармоническій, какъ пѣсня соловья, гремучій, какъ серебро,—безспорно; по что въ стихѣ?... по крайней мѣрѣ, мы инчего не нашли...

За симъ слъдуетъ еще нъсколько мелкихъ стихотвореній, да о нихъ мы умолчимъ, потому что не до нихъ: первое дъйствіе изъ драматическаго представленія «Елена Глинская», новаго драматическаго произведенія Н. А. Полеваго, поглощаетъ все наше вниманіе, въ ущербъ маленькимъ пісскамъ. Что сказать объ этомъ первомъ дъйствіи? — хорошо, очень хорошо, словомъ— «мастерски, съ удареніемъ, съ чувствомъ»,

какъ сказалъ покойникъ Полоній; только ужасно скучно, ужасно утомительно... Говорятъ, что Николай Алексъевичъ написалъ еще четыре новыя драматическія піесы, вмъсто того, чтобы дописать двънадцать томовъ своей «Исторіи Русскаго народа», томъ «Русской исторіи для первоначальнаго чтенія», додать публикъ свои многочисленныя недоимки... «Отрывокъ изъ романа въ стихахъ:» «Три года жизни» г. П. Кукольника доказываетъ, что родство съ поэтомъ, хотя бы и самое близкое, совсъмъ не одно и тоже съ поэтическимъ дарованіемъ. «Прощаніе съ жизнію», стихотвореніе Полежаева, примъчательно только послъдними стихами.

Да, пебогатъ «Новогодникъ» хорошими стихотвореніями, даже можно сказать утвердительно, что очень, очень, бъденъ ими; но тъмъ съ большимъ впиманіемъ остановились мы на восьми стихотвореніяхъ новаго поэта, г. Минаева. Во всъхъ нихъ проглядываетъ если пе талантъ, то что-то похожее на талантъ, борющійся съ фразёрствомъ; но въ «Нвановъ цвътъ» обнаруживается ръшительный талантъ, хотя еще и не совсъмъ овладъвшій самимъ собою. Радуясь появленію новаго таланта, повидимому, подающаго въ будущемъ, надежды, мы хотимъ поговорить объ пемъ нообстоятельнье. Послъ этой піесы можно указать еще на «Ночную Прогулку»; что же касается до прочихъ, — онъ принадлежать къ неудачнымъ попыткамъ. Напримъръ, что это такое—

За то какъ весною, хрусталь свой ломан, Широкан Волга, что море кипить, И радостно льется ръка голубан, И мъсяцъ надъ нею намазъ свой творитъ. Но дъву-старушку лишь вътръ поцълуетъ, Она разозлится, она забушуетъ... и т. д.

Что это такое? — «мѣсяцъ творить надъ Волгою намазъ», какъ благочестивый мусульманинъ; Волга — престарълая дѣва, которая злится, когда ее поцълуетъ вътеръ (нашелъ что цѣловать—старую дѣвку!). Воля ваша, это не поэзія, а стихотворная галиматья?... Еще пѣсколько словъ о «Пѣснѣ».

Какъ по морю было синему,
По сердитому Хвалынскому,
Словно труженникъ (?!) изъ давнихъ дней (?!)
Бороздилъ валы соколъ-корабль.
Для него паруса—бури выткали!
У него флюгера—вьются молніи!
По узорнымъ бортамъ—звъзды нижутся!
И шумятъ въ облакахъ мачты тяжкія
Все надъ безднами леталъ корабль,
Онъ на якоръ не станвалъ,
Низко вихрю—брату малому, (!)
Подъ грозою онъ не кланивался....

Вопервыхъ: «паруса вытканныя бурями; флюгера выются, какъ молнін; звъзды нижутся по бортамъ; вихорь — малый братъ кораблю»—что это такое?—восточная, гиперболическая фразеологія. Вовторыхъ къ чему искажать народныя пъсни, вмъсто того, чтобы писать свои? — Естественная и наивная пародная поэзія хороша сама по себъ, безъ передълокъ. Для доказательства, приводимъ отрывокъ, подобный, только по содержанію и формъ, пъснъ г. Минаева:

Изъ-за моря, синяго, Изъ глухоморья зеленаго. Отъ славнаго города Леденца, Отъ того-де царя, въдь заморскаго, Выбъгали, выгребали тридцать кораблей, Тридцать кораблей-единъ корабль Славнаго гости богатаго, Молода Соловья, сына Будиміровича. Хорошо корабли изукращены: Одинъ корабль получше всъхъ: У того было сокола у корабля Вмвсто очей было вставлено По дорогу каменю, по яхонту: Вивсто бровей было прибивано По черному соболю якутскому, II якутскому въдь сибирскому; Вмѣсто уса было воткнуто Два острые ножика булатные;

Вийсто ушей было воткнуто Два остра конья мурзамецкія; И два горностая, два замніе; У того было сокола у корабля Вийсто гривы прибивано Двй лисицы бурнастыя; Вийсто хвоста повішено, На томъ было соколів кораблів Два медвідя білые заморскіе; Носъ, корма по туриному, Бока взведены по звітриному.

Вотъ это народность, живая неподдъльная! Нътъ ничего безплодиъе, какъ поддълки подъ такую народность, съ искусственными и новъйшими приправами.

Послѣдняя стихотворная піеса въ альманахѣ есть «Прологъ» изъ трагедін: «Генералъ-поручикъ Іоаниъ Рейнгольдъ Паткулъ», г. Кукольпика. Не распространяясь объ этой піесѣ, скажемъ, что такъ, какъ она есть, она представляетъ собою цѣлое художественное произведеніе, — похвала, выше которой у насъ нѣтъ похвалъ. Если вся трагедія будетъ такова, какъ этотъ прологъ, и въ цѣломъ и въ частности, —то смѣло можно поздравить русскую словесность съ новымъ, блестящимъ пріобрѣтеніемъ, которое должно увеличить собою ея богатства.

Обратимся къ прозъ. Она такъ же бъдна, какъ и стихотворная часть. «Скупецъ» довольно интересный отрывокъ изъ правоописательнаго романа, который скоро долженъ появиться въ свътъ, г. Основъяненка.

«Киязь Бековичъ-Черкасскій», г. Каменскаго. Остановимся на этомъ новомъ нещечкъ современной русской литературы и неутомимаго нера втораго Марлинскаго. Повъсть открывается семейственною сценою: отецъ и мать любуются своими дътьми. «О, какъ мы счастливы, Мароа!» говорилъ Бековичъ, ходя подъ-руку съ женою по своей рабочей комиатъ,

«Богъ благословилъ насъ: въ домъ довольство, въ дружбъ ближнихъ нътъ недостатка; семейныхъ наслажденій полная чаша, — а дъти, посмотри пожалуйста, какіе у насъ пъти!» Проговоривши таковы слова, Бековичь продолжаль ораторствовать и резонерствовать, а жена его продолжаетъ нѣжничать. Вдругъ входить отецъ Мароы, тесть Бековича, Голицынъ. «Все воркуете, милуетесь!» говоритъ почтенный старецъ, усаживаясь въ большихъ ивмецкихъ креслахъ; «словно голубь съ голубкою». Бековичъ охотно признаетъ себя голубемъ, только замъчаетъ, что его нъжная голубка часто воркуетъ противъ царской службы; тогда Голицынъ начинаетъ, въ свою очередь, говорить следующую ораторско-резонерскую ртчь: «Э, эхъ, Мароа! не связывай рукъ твоему мужу; на немъ лежитъ, кромъ долга общаго-быть полезнымъ по силамъ, долгъ личной благодарности. Всномии, что сдълано для него, мелкаго горскаго князька: просвётить на свой кошть, образовать по евронейскому, поставить въ уровень съ боярами именитыми, допустить къ дъламъ и совъту царскому.... о. это великая вещь!... Много отбудеть службы, а все не выплатить своего долга.... помии это, Мароа, помогай ему, а не сбивай съ толку» и проч. Бековичъ не хочетъ уступить тестю-и отвъчаеть ему тоже ръчью, которой, за ен обширностію, не выписываемъ. Черезъ нъсколько времени послъ этого ораторскаго конкурса (состязанія), Бековича потребовали къ царю, а Мароа, оставшись одна, говорить надосугъ длинную ръчь, достойную Тита-Ливія и обнаруживающую въ одной Маров глубокія политическія соображенія и «высшіе взгляды» на состояние общества при Петрѣ Великомъ, — эта красноръчивая ръчь прервана была приходомъ Бековича. Тутъ почтенный и даровитый авторъ оставляетъ ораторскую каоедру, берется за кисть живописца и рисуетъ намъ сцену потрясающую, ужасную. Бековичь назначень главою экспедиціи въ Хиву. Жена, проводивъ его до Астрахани, возвращается въ Питеръ. На Волгъ была страшная буря. Дъло, впрочемъ,

очень обыкновенное, за исключеніемъ одного, очень важнаго обстоятельства, которое пусть доведетъ до нашего свѣдѣнія самъ авторъ:

Пускай-бы эта буря была борьбою одних только стихій между собой, пускай-бы этотъ вътеръ вздуваль одну только гладь ръки, и эти волны грызли бы въ ожесточеніи одни берега свои: ихъ бой кончился-бы торжественнымъ миромъ, буря, затишеніемъ, какъ равнаго съ равнымъ безъ ущерба, безъ потери съ одной стороны, безъ исгребленія съ другой.

Но часто эта разъяренная пучина, потерявъ изъ виду главнаго противника, бьетъ прибоями волнъ своихъ въ грудь утлаго челнока, которому ввъряется человъкъ; часто этотъ вътеръ стремитъ свои порывы на слабыя мачты, снасти корабля, предавшагося его коварному дуновенію — и горе этому человъку (а не челноку и кораблю), онъ люшній, онъ участникъ поневоль въ разрушительномъ бов, онъ неизбъжная жертва въ шутовской клички—повелителя стихій...

Вотъ это подлинно высокій слогъ, даже не поймешь инчего!... Что за перо, Боже мой! что за перо у г. Каменскаго!... Слъдствісмъ вышесказанной бури было то, что барка, на которой переправлялись черезъ Волгу Мареа Бековичъ, съ троими дътьми, потонула со всёми своими пассажирами; слъдствіемъ же этого событія было то, что реченная Мареа Бековичъ навсегда перестала декламировать ораторскія ръчи. Но мужъ ея не отсталь отъ этой похвальной привычки и, завидъвъ, послъ утомительнаго трехмъсячнаго странствованія, берега Аму-Дарыи.—

Привътствую теби, —восклицаль онъ въ восторженномъ энтузіазмъ (или энтузіастическомъ восторгѣ)—привътствую раздольное ложе могущественной царицы Востока! привътствую васъ берега, служившіе нѣкогда гренью ек величаваго теченья. По тебъ, золотое дно, струшлись нѣкогда ек тихія волны, а по нимъ неслись и перебрасывались образованность и промышленность Европы и Азіи; мимо васъ, берега высокіе, мелькали корабли съ сокровищами Индіи и достояніемъ, съ бою добытымъ, меча римскаго—все жило, двигалось тогда, а теперь—засохло дно, опустѣли берега, исчезла рѣка, исчезла одушевлявшая стихія, и дикарь, который владѣетъ этой могилой древняго Оксуса, навърно не знаетъ, что подъ его рукою—проводникъ между Азіею и Европою, засохшій путь въ обътованную Индію.

Изъ этого монолога ясно значится, что Бековичь быль не только краснорфивый ораторь, но и пламенный лирическій поэть... Бековичь нопался въ плѣнь, быль подвергнуть ныткѣ, но и это не отбило у него охоты говорить ораторскія рѣчи и трагическія монологи. Для оправданія пословицы: «гробъ горбатаго исправить», онъ произносить длянную рѣчь и передъ самой смертью... Рѣшительно, новѣсть г. Каменскаго совсѣмъ не повѣсть, а поэма, и поэма въ гомеровскомъ родѣ, гдѣ герои говорять другъ-другу и сами съ собою пышныя рѣчи... Бековичь — лице историческое, человѣкъ, оказавшій отечеству услуги, страдальчески умершій на службѣ царю: какъ не пожалѣть, что онъ сдѣлался Ахилломъ такой Илліады и нопался подъ перо такому Гомеру...

«Давидъ Якуповичъ Крушина» русская повъсть XIII въка, г. Тронцкаго, — истинное услаждение послъ поэмы г. Каменскаго. Въ ней не замътно ни таланта, ни особеннаго умъния разсказывать, она убійственно растянута; но намъ поправилось въ ней то, что она чужда безсмысленныхъ высокопарныхъ выраженій, длинныхъ ръчей и монологовъ... Вообще, будь она виятеро короче, то читалась бы не безъ удовольствія. Впрочемъ, мы должны замътить, что ужь гдъ-то читали ее разъ.

«Двъ притчи о всякой всячинъ, да еще кой о чемъ». В. Луганскаго, остроумная и игривая шутка. «Вспоминанія юпости» г. Греча интересный разсказъ о русскомъ обществъ въ литературномъ отношеніи, въ началъ ныпъшняго въка. Вотъ такія статьи мы дорого цънимъ: это матеріалы для исторіи рускаго просвъщенія и литературы, матеріалы тъмъ болье интересные, что они какъ и всъ мемуары, вводятъ насъ въ закулисную сторону предмета, недоступную изученію чрезъкниги.

«Василій Буслаевичъ», русская пародная сказка, доставленная издателю альманаха г. Сахаровымъ — есть не что иное, какъ «Василій Буслаевъ», стихотворная поэма, находя-

щаяся въ древнихъ россійскихъ стихотвореніяхъ, собранныхъ Киршею Даниловымъ и вторично изданныхъ въ 1818, К. Калайдовичемъ. Г. Сахаровъ не говоритъ ни слова, откуда онъ взялъ эту сказку, и какъ будто совсѣмъ не знаетъ что она уже давно напечатана. Предлагаетъ же онъ ее публикъ въ прозъ, а не въ стихахъ, и, кромъ того, съ самыми незначительными отмънами, впрочемъ, не въ пользу сказки. Странно...

«Измѣна, Мавретанскій драматическій разсказъ въ одномъ актѣ» г. Кукольника—піеса не безъ запимательности и не безъ достоинства.

«О Романтизмъ»—что-то въ родъ отрывка, Марлинскаго. Глубокомысленный авторъ, столь же сильный въ области мышленін, какъ и въ области творчества, открываеть ученому міру сабдующія новости: 1. Мысль есть сліяніе чувствъ, ума и воли. 2. Чувство есть осуществленная мысль. 3. Умъ есть опытность мысли. 4. Два пути къ истинъ: опыты и воображеніе. Въ этомъ отрывкъ-пстипное вавилонское смъщеніе понятій, мыслей, безсмыслія, безсмыслицы, словъ. Тутъ борьба Лагариа и Баттё съ «Московскимъ Телеграфомъ», прошдаго въка съ двадцатыми годами настоящаго, тутъ перемъшаны понятія объ искусствъ съ понятіями о нравственности, парадоксальныя сужденія о произведеніяхъ искусства съ азбучными правилами о прилежаніи и благонравін; анализъ и синтезъ красуются съ трехъугольникомъ истины блага и красоты; дътскія мысли борятся съ претензіями на геніальность въ мышленін.... Стоило ди все это быть напечатаннымъ?... «Переправа чрезъ Лету»—новая юмористическая статья г. Булгарина, въ которой опъ по своему обыкновению, говоритъ о другъ своемъ Николав Ивановичь Гречь и нападаетъ на людей, которые пишуть ксожальню, вмысто къ сожальню.

Сміться, право, не грішно, Надъ всімь, что кажется смішно!

Эти два стиха Карамзина взяты эпиграфомъ къ статьът.

Булгарина: г. Булгаринъ отъ всей души убъжденъ, что его юмористическія и критическія статейки еще смъшны. Пора бы, кажется, догадаться, что онъ уже совершенно чужды и этого качества...

«Повъсть безъ названія»—какая-то и чья-то фантастическая безсмыслица, герой которой есть какой-то фантастическій офицеръ и кавалеръ ордена «Съверной Пчелы».

Итакъ, вотъ и весь альманахъ г. Кукольника. Не богатъ онъ, очень не богатъ, и грустно видёть на немъ имя г. Кукольника, какъ его издателя; но прологъ къ «Паткулю» такъ превосходенъ, что могъ бы загладить вину изданія и десяти такихъ альманаховъ...

ЗАПИСКИ АЛЕКСАНДРОВА (ДУРОВОЙ). Дополнение къ "Дъвицъ-Кавалеристъ". Москва. 1839

Въ 1839 году появился въ «Современникъ» отрывокъ изъ записокъ Дъвицы-Кавалериста. Не говоря уже о странности такого явленія, литературное достоинство этихъ записокъ было такъ высоко, что нъкоторые приняли ихъ за мистификацію со стороны Пушкина. Съ тъхъ поръ литературное имя Дъвицы-Кавалериста было упрочено. Она издала «Дъвицу-Кавалериста», потомъ «Годъ жизни въ Петербургъ», а теперь вповь является на литературную арену съ дополненіями къ «Дѣвицѣ-Кавалеристу». Прежде нежели мы увидѣли эту книгу, мы прочли, въ одномъ изъ №№ «Литературныхъ Прибавленій» прошлаго года отрывовъ изъ нея, въ которомъ Дъвица-Кавалеристь описываеть свое дътство: Боже мой, что за чудный, что за дивный феноменъ правственнаго міра герония этихъ записокъ, съ ея юношескою проказливостію. рыцарскимъ духомъ, отвращеніемъ къ женскому платью и женскимъ занятіямъ, съ ея глубокимъ поэтическимъ чув-

ствомъ, съ ен грустнымъ, тоскливымъ порываніемъ на разполье военной жизни изъ-подъ тяжкой опеки доброй, но не понимавшей ея матери! И что за языкъ, что за слогъ у Дъвицы-Кавалериста! Кажется, самъ Пушкинъ отдалъ ей свое прозаическое перо; и ему-то обязана она этою мужественною твердостію и силою, этою яркою выразительностію своего слога, этою живописною увлекательностію своего разсказа, всегда полнаго, проникнутаго какою-то скрытою мыслію. Глубоко поразиль пась этоть отрывокь, и по выход'в книги, мы вновь перечли краснор вчивыя и живыя страницы дико-страннаго и поэтическаго дътства Дъвицы-Кавалериста. Мы приняли глубокое участіе въ ея потери Манильки и Тетери, равно какъ и всего, что любила она въ дътствъ и что вырывала у ней злая судьба, какъ бы закаляя ея сердце для того поприща, на которое готовила ее: вмъстъ съ нею, мы полюбовались ея Алкидомъ, гладили его по крутой шев, чувствовали у щеки своей горячее дыханіе его пламенныхъ поздрей... Жизнь и странное поприще героини «записокъ» поясняются и всколько ея молодостью; но ея дътство — это богатый предметь для поэзін и мудреная задача для психологін. Не всѣ мѣста въ «запискахъ» такъ интересны, какъ «ивкоторыя черты изъ детскихъ летъ», но нетъ ни одного незанимательнаго, неинтереспаго.

Въ срединъ «записокъ» выпущенъ огромный разсказъ, помъщенный въ «Отечественныхъ Записокъ» подъ названіемъ «Павильонъ». Для «Отечественныхъ Записокъ» это очень выгодно, но для «Записокъ Александрова» это очень невыгодно. Поговоримъ объ этой прекрасной повъсти. Прежде всего скажемъ, что она очень растянута, безъ чего ей не было бы цъны, не какъ художественному произведенію, но какъ въ высшей степени мастерскому разсказу истиннаго событія. Глубокое и ръзкое впечатлъніе производитъ этотъ разсказъ, за исключеніемъ излишняго обилія подробностей и пъкоторой растянутости, такъ энергически и съ такимъ искусствомъ

изложенный!... Этоть безразсудный отець, самовольно опредълившій своему сыну противное его духу поприще, и за то проклинающій его трупъ за страшное злодійство; этоть молодой ксендзъ, съ его глубокою душою и волканическими страстями, усиленными воспитаніемъ и уединенною жизнію, страстями, которыя, безъ этого, можетъ-быть, прониклисъ бы свътомъ мысли и возгорѣлись бы кроткимъ огнемъ чувства, а могучая воля устремилась бы на благое и въ благой дъятельности дала бы илодъ сторицею: какіе два страшные урока!... Не доказываеть ли нервый, что нравственная свобода человъка священиа: отецъ Валеріана еще въ дътствъ обрекъ его служению алтаря, но Богъ не приняль обътовъ, произнесенныхъ безсозпательнымъ и недостовольнымъ повиновеніемъ чуждой воль, а не собственнымь стремленіемь выполнить потребность своего духа и въ этомъ выполненіи обрасти свое блаженство!... Не доказываеть ли второй, что только чувство истинно и достойно человъка; но что всякая страсть есть ложь, заблужденіе, гръхъ?... Чувство не допускаеть убійствъ, крови, насилія, злодъйства, но все это есть необходимый результать страсти. Что такое была любовь Валеріана?—страсть могучей души и, какъ всякая страсть—ощибка, обманъ, заблуждение. Любовь есть гармонія двухъ душъ, и любящій, теряясь въ любимомъ предметь, находить себя въ немъ, и если, обманутый вившиостію, почитаетъ себя не любимымъ, то отходитъ прочь съ тихою грустію, съ какимъ-то болъзненнымъ блаженствомъ въ душъ, но не съ отчаяніемъ, не съ мыслію о мщенін и крови, обо всемъ этомъ, что унижаеть божественную природу человъка. Въ страсти выражается воля челов'вка, стремящаяся, вопреки опредёленіямъ въчнаго разума и божественной необходимости, осуществить претензін своего самолюбія, мечты своей фантазін, или порывы кинящей своей крови...

А эта милая, прекрасная Дютгарда!—Страшенъ коненъ ея, но мысль о немъ не лединитъ души: не вотще жила Лютгарда—она могла бы дать о себѣ эту поэтическую вѣсть съ того свѣта:

> ...Я все земное совершила, Я на землъ любила и жила!

Да, новторимъ еще разъ: повъсть «Навильонъ» представляеть собою прекрасное содержаніе, увлекательно и сильно, хотя мъстами и растянуто, изложенное; обличаетъ руку твердую, мужскую.

Кстати: говоря о прекрасной повъсти г. Александрова, мы не можемъ не упомянуть объ отзывъ о ней одного журнала. Еще во второй книжкъ своей «Сынъ Отечества» изъявилъ добродушное удивленіе къ странному положенію современной русской литературы, вслъдствіе котораго «О. И. Сенковскій шутитъ; Пушкина и Марлинскаго (?) дочитываемъ мы послъднія статьи; Д. В. Давыдовъ вспоминаетъ былое; Дъвица-Кавалеристъ, Рафаилъ Михайловичъ Зотовъ и князь А. А. Шаховской разсказываютъ намъ повъсти; И. И. Свиньинъ является съ драмою, а Н. В. Кукольникъ пишетъ драматическія фантазіи».—Все точно такъ, такъ есть въ самой дъйствительности — съ тъмъ же добродушіемъ заключаетъ маститый «Сынъ Отечества».

Подъ старость люди плохо видять, плохо слышать, а слъдовательно, и не совсъмъ хорошо понимають. Къ этому присоединается еще и то, что старые люди мъряютъ современность понятіями того блаженнаго времени, въ которое опи, старые добрые люди, были молоды, здоровы, полные падеждъ, воевали, въ свою очередь, съ устарълыми, обвътшалыми миъніями. Послъ этого, удивительно ли, что маститый «Сынъ Отечества» съ такимъ старческимъ добродушіемъ удивляется тому, что нисколько не удивительно. Но тъмъ не менъе, мы поставляемъ долгомъ надоразумить почтеннаго Нестора нашихъ журналовъ (втораго послъ «Въстника Европы»), растолковавъ ему слъдующее: Пушкина мы дочитываемъ потому, что опъ умеръ, а послѣ его смерти было напечатано нѣсколько его сочиненій. Но той же самой причинѣ и Марлинскаго дочитываютъ тѣ, которые еще читаютъ его. П. П. Свиньинъ явился съ драмою потому же самому, почему Н. А. Полевой—журналистъ, литераторъ, историкъ, философъ, эстетикъ, политико-экономистъ, статистикъ, критикъ, стихотворецъ, романистъ, иувеллистъ—явился съ своими драмами, комедіями, операми и водевилями. Несторъ же Васильевичъ Кукольникъ пишетъ драматическія фантазіи потому, что ему Богъ далъ прекрасное дарованіе писать поэтическія фантазіи. Что же касается до того, что Дѣвица-Кавалеристъ, Рафаилъ Михайловичъ Зотовъ и князь А. А. Шаховскій разсказываетъ намъ повѣсти, — то замѣтимъ, что

а. Дъвицу-Кавалериста отнюдь не должно смъшивать съ
 Р. М. Зотовымъ, даже и въ шутку, а не только въ правду.

b. Дѣвица-Кавалеристъ пишетъ повѣсти потому же самому, почему писалъ и пишетъ ихъ теперешній редакторъ «Сынъ Отечества», съ тою только разпицею, что перевѣсъ права безспорно на ея сторонѣ, потому что на ея сторонѣ перевѣсъ таланта...

Въ 3-й своей кинжкъ, «Сынъ Отечества» вотъ какъ разсуждаетъ о «Навильонъ» г. Александрова:

Какъ хорошъ эпизодъ объ Одинькъ въ нынъшнемъ добавленія! Какъ тутъ просто и естественно. Можно ди сравнить такой разсказъ съ кровавыми, неестественными подробностями "Павильона". Мы говоримъ: неестественными. Намъ могутъ (и очень) возразить, что все такъ точно было въ самомъ дълъ: ксендзъ воспитывалъ въ павильонъ дъвушку, графъ похитилъ ее, а ксендзъ заръзалъ ее. Но все-то что такое? Неестественное вравственное уродство, а уродство не принадлежность искусства изящнаго. Насъ проститъ г-жа Дурова за наши замъчанія, потому что мы говоримъ наше мнъніе искренно (конечно) и не слъдуемъ обычаю другихъ: хвалить на повалъ, или бранить оптомъ писателя. (Въримъ...) Мы знаемъ и увърены, что дарованія бываютъ различны (что правда—то правда), и что всего труднъе можетъ-быть узнать настоящую до-

рогу своего дарованія, такъ что самые геніальные люди въ томъ опшьбались 1). Хотите ли примъровъ? Байронъ и Державинъ были великіе лирики (?!), В. Скоттъ великій романистъ, Шиллеръ великій драматикъ, Ирвингъ-Вашингтонъ превосходный разскащикъ новостей, но на зло природѣ хотъли быть — Державинъ и Байронъ драматическими писателями, В. Скоттъ историкомъ (о исторіи—камень преткновенія!.) Шиллеръ историкомъ и философомъ, а И. Вашингтонъ ръшительно отказался отъ повъсти и упорно пишетъ теперь исторіи, въ которыхъ каждая глава доказываетъ, что онъ историкъ плохой.

ÎÌ

(6

y

I -

3 -

 \mathbb{R}

le

0

Ь

Ъ

Что сказать объ этомъ? «Ксендзъ воспитываль въ павильонъ дъвушку, графъ похитилъ ее, а ксендзъ заръзалъ ее»: можно ли такъ излагать содержание повъсти? Такимъ изложеніемъ можно опошлить любую драму Шекспира. «Мавръ изъ ревности удущаетъ невинную жену, а потомъ, узнавши о ея невинности, заръзывается: что это такое?—неестественное уродство, а уродство не есть принадлежность искусства изящнаго». Хороша критика на «Отелло» Шекспира? О, мы умвемъ критиковать! Лажечникову мы не позволимъ писать романовъ, Дѣвицу - Кавалериста не оставимъ предостеречь инсать повъсти — мы какъ разъ предостережемъ ихъ, увъривъ, что они идутъ по ложной дорогъ, что одно имъ спасеніе — перестать писать, предоставивъ эту заботу намъ. Кстати: увъдомляемъ, что мы пустились писать драмы (слово «мы» достаточно указываеть на ихъ высокое достоинство). а посему и объявляемъ, что всѣ драматики-бывшіе, сущіе и будущіе — отъ Шексипра до господина х включительно шли, идутъ и будутъ идти ложною дорогою, вопреки природъ и на зло своему дарованію. Не мѣшайте намь-мы любимъ просторъ; а впрочемъ мы критики честные и добросовъстные «мы говоримъ наше митніе, хотя и не грамматически, но искренно, и не слъдуемъ обычаю другихъ: хвалить на новалъ или бра-

¹⁾ Самымъ разительнымъ примъромъ этому служитъ г. Полевой. Онъ былъ всемъ, но на всемъ остановился на полдорогъ: начавши "Исторією Русскаго Народа", оканчиваетъ водевилемъ съ замысловатыми куплетцами.

нить оптомъ писателя». Что же касается до того, что Байронъ (вкупъ и влюбъ съ Державинымъ) былъ лирикъ, объ этомъ нечего и много говорить. Но что касается до Вашингтона-Првинга, то мы не согласны, будто онъ ужь ръшительно плохой историкъ, и что его «Исторія Колумба» потому только никуда негодится, что г. Полевой сочиниль отрывовъ изъ своей исторіи Колумба, которая, безъ сомивнія, была бы лучше Вашингтоновой, еслибъ была написана... Равнымъ образомъ. мы не согласны и съ тъмъ, будто Шиллеръ на зло природъ быль историкомь и философомь. Мы знаемь изъ достовърныхъ источниковъ, что Гегель признавалъ въ Шиллеръ философскій элементь, едва ли не большій еще чёмь поэтическій, и призналъ Шпллера истиниымъ основателемъ науки изящнаго (эстетики). Но что намъ до Гегеля—Гегель вретъ, Гегель-жалкое явленіе послѣ Шиллинга, такъ же какъ Варигагенъ послъ Щлегеля; современная нъмецкая литература вздоръ, пустоцвътъ. Да читали ли вы Гегеля?—Зачъмъ читать-мы и такъ знаемъ. Изучали ли вы современную ивмецкую литературу? — Когда намъ! мы пишемъ водевили...

БРАВО ИЛИ ВЕНЕЦІАНСКІЙ ВАНДИТЬ, историческій романт. Соч. А. Ф. Купера. Спб. 1839. Четыре части.

Куперъ явился послѣ Вальтеръ-Скотта и многими почитается какъ бы его подражателемъ и ученикомъ; но это рѣшительная пелѣпость: Куперъ — писатель совершенно самостоятельный, оригинальный, и столько же великій, столько же геніяльный, какъ и шотландскій романистъ. Принадлежа къ немпогому числу перворазрядныхъ, великихъ художинковъ, онъ создалъ такія лица и такіе характеры, которые навѣки останутся художественными типами: вспомните его Соколинаго Глаза, который потомъ является Тенетчикомъ, вспомните его ичелинаго охотника Навла, его Твердосердаго,

его Харвея Бирша, его Джона Поля і) и множество другихъ лиць, въроятно, столько же какъ и миъ, знакомыхъ и перезнакомыхъ вамъ. Сверхъ того, будучи гражданиномъ молодаго государства, возникшаго на молодой землъ, пепохожей на нашъ старый свътъ, — онъ черезъ это обстоятельство, какъ бунто бы создалъ особый родъ романовъ-американскостепныхъ и морскихъ. Въ самомъ дёлё: эти дивныя изображенія безпредёльныхъ степей Америки, покрытыхъ травою выше человъческаго роста, населенныхъ стадами бизоновъ, пресъкаемыхъ огромными дъсами, таящими въ себъ краснокожихъ дътей Америки, ведущихъ и между собою и съ бълыми непримиримую брань, — гдъ, у кого, кромъ Купера можете вы найдти все это? А море, а корабль — тутъ онъ опять какъ у себя дома; ему извъстно название каждой веревочки на кораблъ, онъ понимаетъ, какъ самый опытный лоциань, каждое движение корабля, какъ искусный капитанъ-онъ умѣетъ управлять имъ и нападая на пепріятельское судно и убъгая отъ него. На тъсномъ пространствъ палубы, онъ умѣетъ завязать самую многосложную и, въ то же время, самую простую драму, и эта драма изумляеть васъ своею силою, глубиною, энергіею, величіемъ, а между тыть вр ней все такъ, повидимому, спокойно, неподвижно, медленно, обыкновенно. Дивный, могучій, великій художникъ! Воть это-то и заставило всёхъ сдёлать ложное заключеніе, что Куперъ можетъ быть у себя дома только въ степи, въ лѣсу, да на морѣ: но что если перепесетъ мъсто дъйствія своего романа на твердую землю, то непременно потеринтъ кораблекрушеніе и сядеть на мель. Но великій художникъ не нобоялся карканья критическихъ вороньевъ или воронъ; но, расправивъ свои могучія ординыя крылья, и на чужомъ ма-

¹⁾ А этого не угодно ли для курьезу сравнить съ Джономъ-Полемъ г. Александра Дюма, чтобы увидъть разницу между самобытнымъ геніемъ творчества и литературнымъ обезъяничествомъ жалкой посредственности.

терикѣ, подъ чуждымъ небомъ полетѣлъ тѣмъ же, ему одному свойственнымъ полетомъ, какимъ парилъ онъ подъ небомъ своей родины. «Браво» романъ, мъстомъ дъйствія котораго Куперъ избралъ Венецію, служитъ этому доказательствомъ. Недавно этотъ романъ явился на русскомъ языкѣ въ самомъ безграмотномъ переводѣ, какой только можетъ себѣ вообразить самое пылкое и смълое безграмотное воображеніе,—и почти во всѣхъ нашихъ журналахъ было повторено, что Куперъ — хорошій романистъ у себя въ Америкѣ, да на морѣ, а въ Европѣ срѣзался, и что его «Браво» скучный и пошлый романъ. Вотъ-такъ-то — что много думать!...

Признаемся, не безъ страха принялись мы за чтеніе «Браво»: намъ было грустно удостовърпться, что такой великій художникъ, какъ Куперъ, могъ писать плохіе романы, какъ какой-инбудь Больверъ. Вотъ уже мы, черезъ великую силу, прочли главу, другую... переводъ уже одолѣвалъ наше теривніе, нашу любовь къ искусству, готовую на великін жертвы — даже на чтеніе такихъ переводовъ... но вотъ мракъ началь разсъяваться, легкіе очерки стали превращаться въ живонисцыя фигуры, слабыя тъпи-въ живые образы и лица, и несмотря на ужасный переводъ, мы уже не читали, а съ ненасытною жадностію пожирали остальныя главы и части... И теперь, когда уже романъ давно прочтенъ, и теперь посятся передъ нашими глазами эти дивные образы, которые могла создать только фантазія великаго художника... Вотъ старый рыбакъ Антоніо, съ его энергическою простотою нравовъ, съ его благородною грубостію; воть глубокій, могучій, меданхолическій Браво; вотъ кроткая, чистая милая Джельсомина; вотъ вътренная и лукавая Аппина-какія лица, какіе характеры! какъ сроднилась съ ними душа мол, съ какою сладкою тоскою мечтаю я о нихъ!... Коварная, мрачная кинжальная политика венеціянской аристократін; нравы Венецін; регата, или состязаніе гондольеровъ; убійство Антоніо — все

это выше всякаго описанія, выше всякой похвалы. ІІ все это такъ просто, такъ обыкновенно, такъ мелочно, повидимому; яюди хлопочуть, суетатся: кто хочеть погулять, кто достать деньжонокъ, кто поволочиться, кто нощеголять; лица всѣхъ веселы, публичныя гулянья пестрѣютъ масками, по каналамъ разъѣзжаютъ гондолы—но изъ всего этого выставляется какой-то колоссальный призракъ, наводящій на васъ оцѣпеняющій ужасъ. ІІ все дѣйствіе продолжается какихъ-инбудь трп дия; внѣшнихъ рычаговъ нѣть—вся драма завлзывается изъ столкновенія разныхъ индивидуальностей и противоположности ихъ интересовъ, всѣ событія самыя ежедневныя,—но только пе разъ, во время чтепія, опустится у васъ рука съ книгою и долго, долго будете вы смотрѣть вдаль, не видя передъ собою никакого опредѣленнаго предмета...

Прежде, нежели произносить такой ръшительный и такой презрительный приговоръ произведению такого великаго мастера, какъ Куперъ,—не худо было бы прочесть его въ подлининкъ, если доступенъ языкъ его, или хоть во французскомъ переводъ, потому что всъ французские переводчики, вопреки большей части русскихъ, имъютъ похвальную привычку заботиться о смыслъ и правильности языка.

РУССКІЕ ЖУРНАЛЫ.

1.

Въ нашей журналистивъ, съ началомъ пынъшияго года, произошло столько перемънъ, что 1839 годъ долженъ составить эпоху въ ея лътописяхъ. Явились два новые журнала; нъкоторые старые измънились. Въ непослъдней новости относятся и безпрестанные образы своихъ собратій. Мы первые довольно уже начитались разныхъ отзывовъ и сужденій о самихъ себъ, мы, которые ни о комъ не судили. Думаемъ, что

правила приличія и вѣжливости требуютъ, чтобы мы за вниманіе заплатили вииманіемъ, и не остались въ долгу, особенно у почетнаго и маститаго «Сына Отечества», который такъ скромно и такъ любезно привѣтствовалъ насъ своимъ немного дрожащимъ отъ старости и отъ небольшой досады (вслѣдствіе старости же) голосомъ... «Галатея»—дама и красавица—отъ нея мы отдѣлаемся иѣсколькими комплиментами и любезностями; а «Сына Отечества»... Но начнемъ по порядку и не забудемъ и прочихъ журналовъ. Съ кого же начать?—Мы не будемъ долго думать и начнемъ—съ «Современника», потому что ни одинъ журналъ не читаемъ мы съ такимъ удовольствіемъ, ни одинъ журналъ такъ высоко не цѣнимъ какъ «Современникъ». Читатели «Наблюдателя» еще съ прошлаго года находили въ немъ постоянно самые подробные отчеты о каждой книжкъ «Современника».

«Современникъ» всегда богать хорошими оригинальными статьями-обстоятельство, которое даеть этому журналу высокую цёну. Первая книжка за нынёшній годъ, составляющая тринадцатый томъ изданія, особенно богата хорошими оригинальными статьями. Пересмотримъ ихъ по порядку. Первая-«Знакомство съ Рунебергомъ» г. Я. Грота содержить любопытныя подробности объ одномъ изъ знаменитыхъ современныхъ поэтовъ и литераторовъ шведскихъ - Рунебергъ, и о шведской литературъ. Статья эта-отрывовъ изъ путешествія по Финляндін, отрывокъ, возбуждающій живъйшее желаніе прочесть путешествіе, изданное вполив. Пропуская «Разборь новыхъ книгъ», переходимъ къ статьв «Отрывки изъ исторіи нартизановъ Пиринейскаго полуострова» г. Невъдомскаго, къ стать в превосходной и но содержанию и по изложению, давно возбудившей въ насъ живое вниманіе и еще живъйшее желаніе прочесть въ цёломъ сочиненіи, изъ котораго она отрывокъ. Критическая статья «Шекспиръ» очень интересна по своему содержанію и хорошо составлена. «Картина Бразилін» статья прелюбопытная по фактамъ о мало или почти неизвъстной у насъ странѣ міра, и по прекрасному, живому изложенію.

За этими статьями следуеть собственно изящная словесность. Прочти съ удовольствіемъ «Два разсказа, или Болгарка и Полодянка»; очень милый, но нѣсколько растянутый разсказъ В. Луганскаго, вы переходите къ «Городу безъ имени», прекрасной, полной мысли и жизни фантазіп ки. Одоевскаго. Въ этой фантазін (иначе мы не умъемъ назвать прекраснаго произведенія ки. Одоевскаго) съ силою и эпергією показана вся пошлость и безиравственность односторонияго взгляда на развитіе народовъ и государствъ, вслъдствіе котораго основою, двигателемъ и цёлью ихъ жизни и стремленіи должна быть только польза. «Праздникъ мертвецовъ» -- нереводъ съ малороссійскаго наржчія на русскій языкъ одного изъ милыхъ юмористическихъ разсказовъ талантливаго Грицка Основьяненка. Въ отделении стихотворений остановимся на «новой сцене изъ Бориса Годунова», чтобы сказать, что этотъ небольшой отрывовъ блестить всею лучезарностію творческаго генія Нушкина, и что мы не понимаемъ, почему великій мастеръ исключиль его изъ цълаго произведенія: «Путешественнику» стихи четыриадцатилътняго Пушкина интересны, какъ фактъ не больше.

Перелистовавъ съ читателями первую книжку «Современпика», приглашаемъ ихъ перелистовать съ нами три первыя книжки «Библіотеки для Чтенія» и просимъ ихъ не пугаться тяжести труда—мы намърены совершить его на ходу.

Можетъ-быть, многіе ждутъ уже отъ насъ брани, насмѣ-шекъ, нападокъ, потому что мы заговорили о «Библіотекѣ для Чтенія»: напрасныя ожиданія! Наши литературныя мнѣпія чужды всякой личности, всѣхъ отношеній, требующихъ для своей ясности особенныхъ домашнихъ комментарій. Для насъ равны—и «Библіотека для Чтенія», и «Сыпъ Отечества», и «Отечественныя Записки», и «Сѣверная Пчела». Намъ пе правится направленіе Б. для Ч., но намъ правится, что въ ней есть направленіе—качество, принадлежащее не всѣмъ нашимъ журналамъ; мы не раздѣляемъ мнѣпій Б. для Ч. и даже не

любимъ ихъ, но мы любимъ ее за то, что у ней есть миѣніл, которыя есть не у всѣхъ нашихъ журналовъ. Объ аккуратности изданія этого журнала, равно какъ и о томъ, что онъ умѣетъ угодить своимъ читателямъ—нечего и говорить, а это—согласитесь, два важныя качества въ журналѣ. Итакъ, да здравствуетъ Б. для Ч. и да не упрекаетъ она насъ въ пристрастіи, злобѣ и ожесточеніи къ себѣ!... Послѣ этого пристуна, который мы считали необходимымъ, приступимъ къ самому дѣлу.

Первое отдъление въ Б. для Ч. «Русская Словесность» названіе немпого невърное, потому что предметь и прочихъ всёхъ отдёленій тоже русская словесность. Отдёленіе «Русской словесности» въ Б. для Ч. всегда пачинается стихотвореніями. По причинѣ стихотворнаго безплодія въ современной русской литературь, это отделение «Библіотеки» всегда было крайне слабо. Г. Тимовеевъ всегдашній и неутомимый поставщикъ для этого отдъленія-можно судить, каково оно! Вдругъ въ трехъ книжкахъ Б. для Ч. за ныпъшній годъ явилось одиннадцать прекрасныхъ, поэтическихъ стихотвореній. Это было загадкою для многихъ-только не для насъ. Авторъ этихъ прекрасныхъ стихотвореній — г. Красовъ. У насъ была тетрадь его стиховъ (единственный экземиляръ), и мы были уполномочены поэтомъ брать изъ нее, что намъ угодно. Вслёдствіе этого, въ «Наблюдатель» еще за прошлый годъ помъщено было ивсколько стихотвореній г. Красова-остальные дожидались своей очереди. Вдругъ редакція «Наблюдателя» потеряла эту тетрадь, единственный списокъ стихотвореній, ицсанныхъ въ продолжени и всколькихъ лётъ. В вроятно, тотъ, кому тетрадь попалась въ руки, переслаль ее въ редакцію «Библіотеки», —и мы очень рады, что прекрасныя стихотворенія любимаго и уважасмаго нами поэта, утраченныя для насъ, не утратились для публики. На тетради въ самомъ дълъ не было выставлено имени автора,—и потому въ 1 № «Библіотеки» — «Элегія» (стихотвореніе, напечатанное, кажется, еще

въ «Телескопъ» за 1835 годъ), «Сынъ» (нигдъ не напечатанное стихотвореніе) и «Пѣсия» (напечатанная въ 1 № «Наблюдателя» за прошлый годъ) явились съ именемъ г. Бериета. Въ 11 № «Вибліотеки»—«Элегія», и три «пѣспи», изъ которыхъ послѣдняя была напечатана въ 5 № «Наблюдателя», явились уже совсёмъ безъ имени, съ примъчаніемъ редакціи о полученін тетради. Что же касается до трехъ стихотвореній, папечатанныхъ въ 11 № въ Б. для Ч. съ именемъ г. Красова, то онъ взяты не изъ тетради, а присланы въ редакцію этого журнала самимъ авторомъ, который, досадуя на долговременное непомъщение своихъ стихотворений, прислалъ ихъ къ намъ, всявдствіе чего прекрасная элегія—«Когда порой свободный отъ трудовъ» номѣщена была еще въ 10 № «Наблюдателя» за прошлый годъ. Изъ примъчанія редакцін «Библіотеки» въ 11 №, видно, что тетрадь вся: жаль—значить часть ея-утрачена, потому что мы помнимъ тамъ много прекрасныхъ стихотвореній, особенно одно, называющееся «Клара Мовбрай».

Теперь заглянемъ въ прозапческое отдёление «Русской Словеспости».

«Альнійскіе Виды—интересный очеркъ г. Фролова.—«Малороссійская Лѣнь» г. Бабака — довольно занимательный очеркъ малороссійскаго быта. — «Николай Сапѣга», повѣстъ г. Константинова, принадлежатъ къ числу очень хорошихъ журнальныхъ повѣстей. За нею слѣдуетъ «Иванъ Рябовъ, рыбакъ Архангелородскій» драматическій анекдотъ г. Кукольшика, превосходное въ своемъ родѣ произведеніе. Особенное достоинство этого новаго произведенія неистощимаго пера г. Кукольшика составляетъ народный языкъ, доведенный до крайняго совершенства, и что особенно-то и важно—подъ русскою простонародною рѣчью таптся русскій простонародный умъ, русская душа. «Маскарадъ» бойко и рѣзво написанный разсказъ — легкій очеркъ большаго свѣта. Вънемъ играетъ важную роль какой-то поэтъ Н—пъ, по имени Александръ Сергѣевичъ, который, когда его маска называетъ

Алеко и намекаетъ ему о Кавказъ и Бессарабіи, принимаетъ это за намеки на свои сочиненія.... Но это еще ничего.... Страшно, что этотъ Н—нъ, прівхавъ съ маскарада домой «скинулъ фракъ, подвинулъ свъчу, опустилъ перо въ черпилицу, потеръ рукою по лбу, зъвнулъ и написалъ шестую строфу «Бородинской Годовщины» и легъ спать». Это чтото похожее — какъ бы сказать? — па илоскость, слишкомъ неумъстную и для многихъ оскорбительную...

Вообще, отдъление «Русской Словесности» въ нервыхъ трехъ книжкахъ хоть куда. Въ отдълении «Иностранной Словесности» нашли мы довольно интересную журнальную повъсть «Кальдеронъ» (Больвера) и превосходную новъсть Марріета «Чортъ-собака». Мастерская обрисовка характеровъ, ловко завизанная и развизанная интрига, чудесный разсказъ—вотъ достоинства этой повъсти. Мъстами ношлость чувствованій, тривьяльный взглядъ на вещи, сальность выраженія—вотъ ен недостатки, въроятно сообщенные ей переводомъ. «Сельскій Хозяинъ», комедія принцессы Амаліи саксонской—маленькая правоучительная піеска, которой приличнъй быть помъщенною въ дътскомъ, нежели въ учено-литературномъ журналъ, издаваемомъ для взрослыхъ.

Въ отдъленіи «Наукъ и Художествъ» 1-го № помѣщена огромная статья г. Куторги «Естественная исторія наливочныхъ животныхъ», статья, интересная по содержанію и хорошо изложенная, но по своей огромности, совсѣмъ не журнальная. «Григорій VII» чрезвычайно интересная историческая статья. «Науки, художества и искусства въ древней Индіи», статья г. Менцова, заключающая въ себѣ иѣсколько побопытныхъ фактовъ, изложенныхъ безъ всякаго взгляда, безъ всякой мысли. «Елисавета и Анна, королевы англійскія» интересная по содержанію, по сбивчивая и темная, по

¹⁾ Желательно бы знать, какую разность полагаетъ авторъ этой статьи между художествами и искусствами?

отсутствію мысли, статья. «Обращенія соковъ въ растеніяхъ»—статья посвященная слишкомъ частному предмету. Объ отавленін «промышленности и сельскаго хозяйства», какъ о предметь, совершенно намъ чуждомъ, мы не судимъ. Критика въ «Библіотекъ» обыкновенно состоитъ изъ выписокъ изъ разсматриваемыхъ сочиненій, выписокъ, къ которымъ придълано, нъсколько личныхъ митий, ин на чемъ, кромъ произвола редактора, не основанныхъ, и пичемъ, кроме его остротъ и шутокъ, не подкръпленныхъ. Направленіе этой «критики», какъ и всего журнала — вражда противъ умозрънія, противъ мысли, и распространеніе положительныхъ, опытныхъ, наглядныхъ и рутинныхъ понятій въ наукъ и искусствъ. Напримъръ въ № 3 помъщена критика по поводу книгъ: «Русская исторія, г. Устрялова; Дъянія Петра Великаго, Голикова, О княжествъ Литовскомъ. Какое мъсто въ русской исторіи должно занимать княжество литовское? г. Устрялова». Въ этой статьъ, которая почему-то названа критикою, тогда какъ она есть только сборъ произвольныхъ и притомъ устарълыхъ мнъпій объ исторіи, несмотря на величіе такого предмета, какъ Петръ Великій, холодно, апатически изложенныхъ, въ этой стать в нападаютъ на мысль объ историческомъ развитіи человічества, какъ стремленіи къ совершенствованію, и вмѣсто совершенствованія полагають стремленіе къ умноженію физическихъ и умственныхъ паслажденій: мысль эпциклопедистовъ XVIII вѣка!... Впрочемъ, въ этой статьъ, мы встрътили очень дъльную мысль, особенно важную, какъ опровержение нелъпости, распространяемой поверхностными мыслителями, вотъ опа: «Что такое Россія въ отношенін къ человъчеству? — Этоть вопрось мы уступаемъ мнимымъ мыслителямъ, которымъ дельфійскій оракулъ открылъ своимъ загадочнымъ словомъ, что Россіи предоставлено быть обновительницею дряхлаго Запада, внести туда новый элементь, и что призвание ея такое же, какъ призваніе Германцевъ и Норманцовъ въ средиихъ въкахъ. Незавидна была бы судьба Россіи быть обновительницею Запада, который, сказать мимоходомъ, вовсе не старѣетъ. Мы принимаемъ Россію за отдѣльный міръ, по величипѣ равный Европѣ, и видимъ, напротивъ того, что Европа обновляетъ Россію». Умно и справедливо!

Отделеніе «Смеси» въ Б. для Ч. по прежнему свежо и интересно, но ужь черезчуръ однообразно, потому что исключительно посвящается открытіямъ и новостямъ по части естествознанія. Отделеніе «литературной летописи» становится все короче и суше: отсутствіе веселости, остроумія, прежнихъ милыхъ шуточекъ, отъ которыхъ всё животы надрывали, показываетъ какое-то утомленіе, усталость.

Теперь еще одно замъчаніе— о языкъ Б. для Ч.; онъ неръдко гръшить противъ живаго русскаго языка, обличая въ редакторъ иноплеменника. Напримъръ: «Охотно бы позволиль себя сколоть и стерзать, чтобы только убъдиться, что я не силю». Сколоть и стерзать!... «Я разскажу тебъ послъ большой смъхъ»—покаковски это?... «Слеза благодарности, которая жгетъ меня подъ маской» — жгетъ, некетъ, бъгетъ: такъ говорится развъ по финскому произношенію, а по московскому или—что все одно и тоже—но великорусскому, говорится: жжетъ, печетъ, бъжитъ... Несмотря на то, «Библіотека для Чтенія» все-таки интересный и охотно, съ удовольствіемъ читаемый журналъ: въ этомъ-то и заключается причина его пеобыкновеннаго успъха.

Теперь обратимся къ «Сыну Отечества» и «Отечественнымъ Запискамъ».

2.

Увы! на жизненныхъ браздахъ Мгновенний жатвой, поколънья, По тайной волъ провидънья, Восходять, зръютъ и падутъ; Другія имъ во слъдъ идутъ... Такъ наше вътренное племя Растетъ, волнуется, кипитъ И къ гробу прадъдовъ тъснитъ. Придетъ, придетъ и наше время, И наши внуки, въ добрый часъ, Изъ міра вытъснятъ и насъ. И у щ к и н ъ.

Что старина, то и дъянье!

Кирша Даниловъ.

Благословите, братцы, правду сказать.

Сынъ Отечества.

Не станемъ писать исторіи «Сына Отечества» этого маститаго журнала, догоняющаго или перегоняющаго своими годами «Въстникъ Евроны» блаженной намяти; скажемъ только, что, нослѣ многочисленныхъ и неудачныхъ понытокъ къ возрожденію и обновленію, онъ перешелъ наконецъ въ руки человѣка, перваго именемъ своимъ въ русской журналистикѣ. Не говоря уже о перемѣпѣ въ планѣ журнала, изъ недѣльника превратившагося, по примѣру Б. для Ч., въ мѣсячникъ, — сколько надеждъ было возложено публикою на этотъ журналъ, поднавшій подъ редакцію знаменитаго, талантливаго и многосторонняго редактора. Поговаривали было уже, что Б. для Ч. приходитъ конецъ, что вотъ наконецъ-то явится журналъ, который дастъ намъ критику безпристрастную, благородную, независимую, основанную на твердыхъ началахъ науки изящнаго, въ ея современномъ состояніи; журналъ, который, какъ

на ладони, будеть показывать намъ современную Европу со стороны ея умственной дёятельности и духовнаго развитія. Ждали, кричали—кричали и ждали, и—дождались...

«Сынъ Отеч.» сдълался собственностію г. Смирдина, слъдовательно имълъ всъ матеріальныя средства къ наружному достопиству, своевременному выходу книжекъ и улучшенію даже внутренняго содержанія, чрезъ приглашеніе къ участію русскихъ писателей, пользующихся заслуженнымъ авторитетомъ. Имя редактора ручалось за превосходный выборъ статей, за превосходную критику и за многое превосходное. Но не всъ надежды сбываются. Вопервыхъ, С. О. сталъ отставать, такъ что послъдняя книжка его за прошлый годъ вышла въ ныпъшнемъ; С. О. явился съ самой скромной наружностію—на съренькой бумажкъ, слъпо и некрасиво напечатанный...

По еще поразительнъе внутренияя сторона С. О. Подъ критикою онъ сталъ разумъть библіографическіе отзывы о книжкахъ, или рецензін, и потомъ французскія статьи о предметахъ искусства. Въ рецензіяхъ была выговорена правда пъсколькимъ плохимъ книжонкамъ, по главныя усилія были направлены-вопервыхъ, противъ людей, которые, по слъпотѣ своей, видѣли въ С. О. не журнальное свѣтило, а какое-то тусклое нятно, знаменующее затменіе на горизонтъ нашей журпалистики; вовторыхъ, противъ людей, которые, по закону давности, совершенно забыли «Московскій Телеграфъ» и смънлись надъ повтореніемъ устарълыхъ попятій; въ третьихъ, противу людей, которые осмёливались видёть въ г. Лажечниковъ даровитаго инсателя, а не безграмотнаго писаку, а прекрасные романы его ставить выше романовъ г. Полеваго. Что касается до критикъ, переводимыхъ въ С. 0. съ французскаго, то очень трудно опредълить ихъ сущность и цёль. Или уже такова организація нашего духа, или въ самомъ дълъ Французы въ этомъ виноваты, но только для насъ ржшительно недоступна ясность французскихъ статей. Прочти французскую статью со всевозможнымь наприженнымь вниманіемъ, мы всегда спрашиваемъ себя: да о чемъ же хлопочетъ сей господинъ, или—другими словами:

Да изъ чего жь бъснуетесь вы столько?

По нашему мивнію, только та статья хороша, въ которой развита какая-нибудь мысль, и въ которой каждая мысль, являяся въ живомъ словъ, теряетъ свою скелетную отвлеченность и переходить въ объективное представление. Прочтя такую статью, можно иногда не согласиться съ ея основаніями, но всегда можно сказать, какая развита въ ней мысль, какъ она развита (т. е. весь ея діалектическій ходъ), и нотому ее можно всегда помнить. Кажется, что противъ этой мысли, столь же простой; сколько и истинной, пикто спорить не станеть. Теперь, приглашаемъ, не угодно ли кому-нибудь для пробы пересказать содержаніе хоть статьи Филарета Шаля «Нынъшняя англійская словесность», пом'єщенной въ 3 книжкъ С. О. за нынъшній годь? Въ этой стать в говорится и о Шекспиръ, и о Байронъ, и о Вальтеръ-Скоттъ, о Сутев и Вордсвортъ, но объ искусствъ не говорится пи слова, а между тъмъ очень много наговорено о машинахъ, цилиндрахъ, новъйшей цивилизацін, пароходахъ и о прочемъ, что до искусства не касается. Прочтя статью, вы не обогащаетесь даже ни однимъ новымъ фактомъ о современной англійской литературъ, --- о мысли я уже и не говорю. А между тъмъ это еще самая лучшая французская статья въ С. О., потому что между такъ называемыми критиками французскими, Филаретъ Шаль еще отличается противъ другихъ большимъ количествомъ здраваго смысла. Въ прошломъ году, С. О. дебютировалъ двумя французскими статьями, очень дурно переведенными, о Викторъ Гюго, кажется, Сенъ Бёва, и о Ламартинъ, кажется, Низара. Боже мой, что это за произвольность въ понятіяхъ! Ничего не поймешь, инчего не разберешь!

Запъли молодцы--- въ лъсъ, кто по дрова! Дерутъ, а толку пътъ!

0 томъ, что называется основаніями науки — итть и намека. Какъ же послѣ этого смѣть презирать Нѣмцевъ! Говорятъ, Нъмцы темно пишутъ. Не правда: что выше насъ, то намъ темно; по станьте вашимъ развитіемъ въ уровень съ Нѣмцемъ-и вы увидите, что онъ иншетъ, ясно и понятно. А что и у Нъмцевъ есть темные писаки, потому что у нихъ въ головъ темпо, — это можно доказать изъ «Сына же Отечества»: прочтите въ 1 № статью Амедея Вендта «О ныпѣшнемъ состоянін живописи, ваянія, зодчества и музыки». У Нѣмцевъ критика основана на законахъ разума, всегда единаго и неизмъняющагося, на началахъ науки, сообразно ея современному состоянію. Лессингъ, Шиллеръ, Шлегель, и теперешняя дружина молодыхъ гегелистовъ-Ганцъ, Рётшеръ, Бауманъ, Гото и другіе — что такое всѣ эти имена? — Это названіе періодовъ развитія пауки изящиаго, это названіе главъ въ ея исторіи, потому что, повторяємъ, въ Германіи критика развилась исторически, и въ ел представителяхъ вы увидите вліяніе и Канта, и Шиллинга, и Гегеля. По этой причинъ, если Лессингъ, Шиллеръ и Шлегели теперь не могутъ быть законодателями вкуса, то ихъ заслуга все-таки не забыта, и ихъ достоинство не унижено: Нѣмцы изучаютъ ихъ какъ историческія лица въ наук' изящиаго, чтобы чрезъ это изученіе видъть ходъ и развитие мысли о творчествъ. Напротивъ того, какое значеніе могуть имѣть Лагарпы и Жоффруа, кромѣ развъ, какъ факты колобродства человъческаго разсудка? За что подорожить потомство статейками Жюль-Жанета и статьями Густава Планша, Сенъ-Бёва, Инзара, Филарета Шаля? Скажите, какое соотношение между этими людьми, имълъ ли кто изъ нихъ вліяніе на другаго, чье имя должно стоять внереди, чье послъ!... Нътъ, они являлись всъ случайно, мысли ихъ родились случайно, какъ личныя мижнія, ни на чемъ не основанныя, ни къ чему непривязанныя. Ихъ назначеніене быть проводниками новыхъ идей объ искусствъ, исторически развивающихся; ихъ ремесло — высказывать эфемерный вкусъ толны, мижніе дия. Я въ восторгъ отъ «Руслана и Людьмиды», а мой дакей безъ ума отъ «Еруслана Лазаревича»: мы оба правы, и если бы мой лакей умъль написать статью, въ которой бы высказалъ свое личное мивніе о высокомъ достопиствъ «Еруслана Лазаревича» и о ношлости поэмы Нушвина, это была бы превосходная критическая статья во франнузскомъ духв. Я такъ думаю, мив такъ кажется-вотъ основаніе французской критики. Эта произвольность во мижніяхъ часто доходить до такихъ неабпостей, которыя могутъ являться только во французской литературъ. Недавно одинъ французикъ, Арнуль Фреми, вздумалъ написать шуточное письмо къ тъни Дидерота, о томъ, что драма есть ложный родъ и не принадлежить къ искусству, но что Корнель, Расинъ, Мольеръ, Вольтеръ, Шекспиръ (какое дикое сближение именъ!..) великіе люди!!!... ІІ что же? Редакторъ С. О. не только почель нужнымъ перевести оную статью для своего журнала, но н еще, въ выноскъ къ ней, глубокомысленно замътилъ, что «діло стонть того, чтобъ надъ инмъ подумать». И потомь, онъ же перевелъ превосходную статью Варигагена о Пушк г нь, для показанія пошлости, современной нёмецкой критики, и чтобы лучше достичь своей цёли, перевель ее ужаснымъ образомъ... Что обо всемъ этомъ сказать?...

Теперь вы имъете понятие какова критика С. О., т. е. къ какому въку, къ какому времени она относится, и до какой степени принадлежитъ она нашему времени?...

Теперь, мы должны сказать о собственных критических статьях редактора С. О. Еще въ прошломъ году изумиль онъ весь русскій читающій міръ своєю статьею о «Курсъ Словесности» П. Н. Давыдова. Очень жальемъ, что не имъемъ времени, ни мъста, ни охоты, ни теривнія разобрать эту статью, дивную во статьяхъ. Въ ней нашъ критикъ ръшительно убиваетъ книгу почтеннаго профессора, говоря, что

она есть не что иное, какъ «слова, слова, слова»; и вследъ за тъмъ, строитъ свою систему словесности, которая именно есть не что иное, какъ «слова, слова, слова». Въ ныившиемъ году, почтенный редакторъ С. О. размахнулся тремя статейками: «Критическія изследованія касательно современной русской литературы» — «Мивије о новомъ правописанји г. Лажечникова, въ романъ его: Басурманъ» — «Вредитъ ли критика современной русской словесности? (возражение на статью И. В. Кукольника)». Общій характерь всіху этихь статей состоить въ богатствъ словъ, бъдности мыслей и апатическомъ изложенін. Курьёзиве всвую статьи «Вредить ли критика современной русской словесности». Вопервыхъ: вопросъ такъ не мудренъ и ясенъ, что толковать о немъ — значитъ разсуждать о томъ, что «науки суть полезны». Мы понимаемъ, что на нодобный вопросъ можно отвътить иъсколькими фразами, въ родъ слъдующихъ: «Дарованіе, которое можно убить порицаніемъ, недостойно жить, и чемъ скорее умреть, темъ лучше для литературы, потому что черезъ это она избавляется отъ вреднаго пустоцвъта»; но мы ръшительно не понимаемъ, какъ можно сделать целую статью изърешения подобнаго вонроса, и еще--какъ можно назвать такую статью критикою? Неужели критика есть пересынаніе изъ пустаго въ порожнее?... Вовторыхъ: сколько диковиновъ и что за диковинки въ этой критикъ... Истинное вавилонское столнотворение словъ безъ мыслей!...

Не угодно ин полюбоваться хоть одною диковинкою?

Какъ ни различны теперь мивнія русскихъ крптиковъ, но примъры убъдать насъ, что въ послъднес время каждос, чуть какую либо надежду подававшее даровоніе было тотчасъ оцтинемо и лельемо читателями и критикою. Подолянскій, Вельтманъ, Вронченко, гр. Р—на, Бенедиктовъ, Якубовичъ, Лермонтовъ, Ершовъ, Даль, Панаевъ (П. И.), Соколовскій, Губеръ, князь Одоевскій, Шевыревъ, Бороздна, Маркевичъ, Ободовскій, баронъ Розенъ, Каменскій, Владиславлевъ, Лажечниковъ, Теилова, вы сами, милый Н. В., даже прасолъ Кольцовъ, всъ вы, принадлежащіе къ эпохъ посль-пушкинской, всъ, болье или менъе, но

отличенные дарованіемъ безспорнымъ, не были-ль всв отличены критикою новъйшею? не заслужили-ль себъ большей, или меньшей почетности и извъстности? Что-же намъ еще прикажете дълать? — хвалить сряду всъхъ поэтовъ: г-дъ Теплякова, Федосъева, Менцова, Лаголова, Чистякова, Тимоееева, Бернета, Мызникова, Рудыковскаго, Чижова, Бахтурина, Лукашевича и пр. пр., чьи пмена мелькаютъ въ журналахъ? Всъ они, можетъ-быть, умные, ученые, добрые, любезные люди, но—поэты плохіе! Довольно, что ихъ печатаютъ, а притомъ ч похваливоютъ...

Каково?—Имена ки. Одоевскаго, Лажечникова, Вельтмана, Вронченко,—не только на ряду съ именами молодыхъ людей, еще только выступающихъ на поприще, хотя и подающихъ большія надежды, но на ряду съ именами; г-дъ Соколовскаго, Якубовича, Бороздны, барона Розена, Каменскаго!... Хорошо, очень хорошо!... мы не говоримъ уже о томъ, что г. Тепляковъ песравненно выше всёхъ этихъ господъ,—какъ поналъ съ Федосъевыми и Тимоеевыми г. Бернетъ, молодой человъкъ съ несомиънными поэтическими дарованіями?... Посмотримъ что дальше:

Да неужели и васъ всъхъ, выше-упомянутыхъ, пожаловать прямо въ геніи? а совъсть гдъ? (да, это вопросъ!...) А гдъ ваше оправданіе трудами? — И васъ, которыхъ мы отличаемъ отъ другихъ, неужели хвалить безусловно? някогда! Если Подолинскій не оправдать мыслью своихъ прелестныхъ звуковъ, если Каменскому (!...) совътуютъ думать объ языкъ при мысли, если князю Одоевскому говорятъ, что бальзаконская, практаческая повъсть не его родъ, если Губеру указываютъ на невърность сго "Фауста", если Лажечникову совътуютъ не вводить реформы въ языкъ безъ достаточныхъ причинъ, если Сок ловскому говорятъ, что его духовная поэзія, просто, ошибка, если Далю сказываютъ, что онъ слишкомъ хитритъ въ своемъ руссизмъ, если Бенедиктова умоляютъ (?) пощадить свой звучный стихъ отъ изысканности — развъ все это нападки, заговоръ противъ талантовъ?

Конецъ концовъ — это изъ рукъ вонъ! У г. Каменскаго есть мысль (!..), да языкъ дуренъ, а у г. Подолинскаго звученъ стихъ, да мысли нътъ!...

Что вы, о дальніе потомки!... Помыслите о нашихъ дняхъ...

И кто все это иншеть тенерь!... О слава міра сего, какъты не надежна! Великую правду сказаль Наполеонъ, что отъвысокаго до смѣшнаго только шагъ. Но чтобы выставить во всемъ блескѣ добросовѣстность, безпристрастіе, благородный тонъ, хладнокровіе, умѣренность, уваженіе къ приличію, къчужой личности, соединенныя съ остроумісмъ и энергіею выраженія, г. редактора С. О., вынисываемъ его привѣтствіе «Московскому Наблюдателю» — предметъ, очень близкій кънашему сердцу.

Мы получили накопецъ изъ Москвы первую книжку Московскаго Наблюдателя. Слухи не обманули насъ. "Наблюдатель" выходить съ новаго года ежемъсячно, толстыми книжками.. Кто редакторъ его-не знаемъ. Изданіе приняль типографщикъ Н. С. Степановъ, который по словамъ Наблюдателя, владъетъ всъми матеріальными средствами къ внутрениему и вившеему улучшению журнала."-И къ внутреннему? Поздравляемъ добрую Москву съ русскимъ Франклиномъ и Ричардсономъ, которые также были типографщики. Признаться, мы что-то худо понимаемъ, что это такое: матеріальныя средства къ внутреннему улучшенію? Въроятно, интеллектуальный конкретизмъ, которымъ г. Степановъ выведетъ индивидуальное Я Наблюдателя въ реальное Я не Я, изъ безусловнаго абсолютизма, въ какомъ находился онъ въ прошедшемъ году. Даруй, Гегель, успъха! Читатели, живущіе призрачною жизнью прекраснодушія извинять нась за непенятный языкъ. Что дълать? Съ волками надобно выть, по старой пословицъ. Остави шутки, скажемъ, что въ прошедшемъ году "Наблюдатель" представляль какое-то странное явленіе. Онъ явился какимъ-то вздорливымъ юношею, а что всего хуже пустился въ философію, и при конца года могъ сказать: О философія! ты сръзала меня! Говорила нъкогда г жа Простакова о своемъ супругъ, что на него иногда "находитъ, батюшка, такъ сказать, столбиявъ-выпуча глаза стоить, какъ вкопанный, а какъ столбиякъ попройдетъ, то занесетъ такую дичь, что у Бога просишь опять столбняка". Почти тоже случилось съ Наблюдателемъ: занесъ дичь, забросался во всъ стороны, заговорилъ такимъ языкомъ, что не знали мы: смѣнться? жалѣть ли?...

Неправда ли, что очень любезно-и тонъ такой благород-

ный?... Но не ожидайте оты меня раздёлки, какой бы можно было ожидать, по пословицё: «какъ аукнется, такъ и откликтнется». Вопервыхъ, Боже сохрани такъ откликаться, а вовторыхъ, я, молодой литераторъ, не хочу упустить случая, не хочу отказать себё въ удовольствіи — дать старому, ночетному и знаменитому литератору урокъ въ вёжливости и хорошемъ тонё... И такъ, начинаю... но—что же буду я говорить г. Полевому? неужели читать ему азбучныя правила о первыхъ началахъ общежитія?—Помилуйте, вёдь онъ уже не дитя, не ребенокъ—напротивъ, онъ человёкъ ножилой, что замётно уже и но одному образу его мыслей, не говоря уже объ образё выраженія... Нётъ, вмёсто урока, я лучше ностараюсь защититься отъ его несправедливыхъ и пристрастныхъ нанадокъ, защититься вёжливо, кротко, но и не слабо, не безсильно...

Что смъшнаго въ томъ, что въ программъ сказано о Н. С. Стенановъ, какъ о человъкъ, имъющемъ матеріальныя средства къ внъшнему и впутреннему улучшенію журнала? Изъэтого отнюдь не слъдуетъ, чтобы онъ былъ Франклиномъ или Ричардсономъ: развъ А. Ф. Смирдинъ не способствовалъ внутреннему достопиству «Библіотеки для Чтенія» хотя въ изданіи и не принималъ никакого участіл, кромъ издержекъ? Конечно, одинъ онъ, съ своими матеріальными средствами, не много бы сдълалъ; доказательствомъ— «Сынъ Отечества»...

Во всемь остальномъ защищаться нечего: смыслъ и тонъ нападокъ. г. Полеваго—лучшая защита для «Наблюдателя»— и потому мы продолжаемъ, какъ начали, разсматривать «Сынъ Отечества».

Важнъйшее отдъленіе всякаго журнала—критика и библіографія; опъ, можно сказать, душа, жизнь его, потому что въ нихъ ръзче всего высказывается его направленіе, сила и достопиство. Каковы эти отдъленія въ С. О.,—вы видъли. Къ довершенію нашего очерка, прибавляемъ еще двътри черты. Редакторъ С. О. видитъ въ Менцелъ великаго кри-

тика, и съ великимъ ликованіемъ объявилъ, что Менцель разругалъ новый романъ г. Лажечникова и расхвалилъ г. Булгарина. Эка важность! Менцель ругалъ самого Гёте, и вообще онъ такой критикъ, ругательствомъ котораго можно гордиться. Потомъ, редакторъ С. Отечества откровенно признался, что онъ не понимаетъ «Каменнаго Гостя» Пушкина, но что восхищается гладкостію стиха.... Удивителенъ ли нослъ этого приговоръ статьъ Варнгагена?... Увы! О bon vieux temp!...

Отделеніе стихотвореній С. О. всегда соперничало съ темъ же отделениемъ въ Б. для Ч., и потому въ немъ много очень прекрасныхъ стихотвореній, особенно тімь примічательныхъ, что ихъ можно читать и сверху внизъ, и спизу вверхъ... Въ этомъ отношенін особенно хороши стихотворенія г. Сушкова... Впрочемъ, случайно, прошлаго года, попало въ С. О. нъсколько превосходныхъ стихотвореній Кольцова. Не знаемь какъ, но только между именами г-дъ Стромилова, Непрасова, Сушкова, Гогнієва, Банпикова, Нахтигаля и многихъ иныхъ, нопадалось иногда и имя г. Струговщикова, подписанное подъ прекрасными переводами изъ Гёте. Да былъ еще напечатанъ въ С. О. первый актъ изъ «Ромео и Юліи», перев. г. Каткова. Этотъ первый актъ былъ отосланъ г. Нолевому еще прежде, нежели вышла первая книжка С. О. прошлаго года, по въ помѣщеніи перевода было отказано—по причинѣ его крайняго несовершенства. Но, господа, въ годъ много воды утечетъ, а человъческому совершенству истъ предъловъ: переводъ, ровно черезъ годъ, былъ номъщенъ, безъ позволенія переводчика, который совсемь не желаеть быть въ какихъ бы то ни было отношенияхъ съ С. О., и въ крайнему его сожальнію, потому что, недовольный своимъ нереводомъ, онъ совершенно вновь перевель весь первый актъ.

Въ трехъ книжкахъ С. О., за ныпъшній годъ, изъ стихотвореній заслуживають вниманіе только три «Римскія Элегіи» изъ Гете, переведенныя г. Струговщиковымъ. Остальное не стоить упоминовенія. Прозапческая часть словеспости въ С. О. очень хороша. Если «Иголкинъ» самого редактора и «Свидътель» Одоевска-го—вялы и скучны, каждый по своему, за то вознаградитъ васъ вполиъ прекрасная, полная души и мысли, повъсть г. Вельтмана «Радой». Съ наслажденіемъ также прочтете и прекрасную повъсть г-жи Жуковой «Самоотверженіе». Переводныя повъсти всъ хороши по выбору и хорошо переведены.

Изъ статей ученаго содержанія примъчательны статьи г-дъ Врангеля, О. Іакиноа, В. Давыдова, Корсакова. Чрезвычайно интересны «Записки герцога Де-Лиріа-Бервика, бывшаго

испанскимъ посломъ при россійскомъ дворѣ».

Отдъление современной истории интересно по содержанию, а не по изложению. Вообще, все касающееся собственно до Россіи, гораздо лучше, подробите и запимательнъе излагается въ «Отечественныхъ Запискахъ», нежели въ С. О.

Желая быть безиристрастными не на словахъ, а на самомъ дълъ, мы не скрыли отъ нашихъ читателей, что въ С. О. есть много прекрасныхъ статей. Но что въ этомъ? — Журналъ, будучи сборникомъ хорошихъ статей, долженъ быть еще и журналомъ — т. е. имъть свое направленіе, свой характеръ, словомъ, быть выразителемъ своей мысли. Въ этомъ отношенін, «Библіотека для Чтенія»—лучшій примъръ: всъ ея статьи, не только въ одномъ духъ, но даже и нишутся однимъ языкомъ, однимъ слогомъ, потому что сглаживаются одною рукою. Это обстоятельство можеть быть непріятно для тъхъ писателей, которые принуждены были, силою обстоятельствъ, покориться такому усовершенствованію, но для журнала это большая выгода, давая единство его духу. Нельзя сказать, что бы С. О. не стремился, съ своей стороны, къ этому единству; по, какъ бы сбившись съ пути, онъ безпрестанно противоръчить самъ себъ: начинаетъ статьи-и не оканчиваеть; даеть объщанія поговорить о томъ и о семьи не выполняеть; то хочеть унизнть Гоголя (по причинамъ очень важнымъ и очень извинительнымъ), то приторно его похваливаетъ; то какъ будто дѣлаетъ настоящую оцѣнку Марлинскому, то, вспомнивъ его обязательную статейку о «Клятвѣ при гробѣ Госноднемъ», снова приходитъ отъ него въ обязательный восторгъ. Мы думаемъ, что драмы и водевили много мѣшаютъ самоцвѣтности С. О., отнимая у него время заняться самимъ собою. Впрочемъ, С. О. выражаетъ свою идею: онъ отстаиваетъ старое противъ новаго, начиная отъ геніальности Расина до русской ороографіи...

Остановимся на этомъ предметъ, грустномъ и вмъстъ поучительномъ.

Въ самомъ дълъ, не странное ли зрълнще представляеть собою человъкъ, который, съ силою, эпергіею, одушевленіемъ, вооруженный смълостію и дарованіемъ, явился на литературиомъ поприща рьянымъ поборпикомъ новаго и могучимъ противникомъ стараго; а сходитъ съ поприща, на которомъ нодвизался съ такимъ блескомъ, съ такою славою и такимъ усибхомъ, сходитъ съ него-противникомъ всего новаго и защитникомъ всего стараго?... Не господинъ ли Полевой первый убилъ на Руси авторитетъ Корислей и Расиновъ, — и не опъ ли теперь благоговъетъ предъ ихъ мишурнымъ величіемь?... Чего добраго, можеть быть, мы еще дождемся умилительных в статей, гдб будеть доказываться величе Тредыковскаго, Сумарокова, Хераскова?... Не господинъ ли Подевой первый привътствоваль Пушкина первымь и великимъ русскимъ поэтомъ, --и не онъ ли теперь, одинъ изъ всъхъ журналистовъ, не понимаетъ одного изъ самыхъ колоссальныхъ его произведеній-«Каменнаго Гостя»?... Не госнодинъ ли Полевой первый быль у насъ гонителемъ литературнаго безвкусія, вычурности, натяпутости,--и не онъ ли теперь въ восторгъ не только отъ Марлинскаго, но даже и отъ г. Каменскаго?... Мы не ставимь г. Полевому въ вину того, что онъ не ноиять Гоголя и восходъ новаго великаго свътила привътствовалъ пенриличною бранью: г. Полевой и не

могъ понять Гоголя, потому что, когда явился Гоголь, г. Полевой быль уже въ своей апогев, и у него на все были уже составлены свои опредвленія...

Всякое явленіе вижеть свою причину, и все, что мы сказали о г. Иолевомъ, совершилось очень естественно. Главиъйшая его услуга, и услуга великая, состояла въ уничтожени ложныхъ авторитетовъ. Онъ явился на журнальное поприще еще въ то время, когда «мадригаль Лилеть» давалъ право на поэтическое безсмертіе; когда литературное чинопочитаніе было во всей своей силь; когда столько дикихъ предразсудковъ царствовало въ понятіяхъ о поэзіп. И вотъ онъ сталь дъйствовать съ энергіею, пыломъ и смълостію, открыто пошелъ противъ всего, что казалось ему устаръвшимъ, отстадымъ, и уничтожалъ его во имя поваго. Что такое это новое, онъ не сказалъ этого публикъ, потому что и для самаго него оно осталось навсегда тайною... Между тъмъ, гоненіе на старое часто доходило до ослъиленія; нехорошо не потому, что не хорошо, а нотому, что старое... Но все это было нужно, и все принесло великую пользу. Уничтоживши совершенно достоинство и заслуги Карамзина, мы-молодое поколъніе-спова признали ихъ, но уже признали свободно, а не но преданію, не съ чужаго голоса, или не нопривычкъ съ дътства думать одно и тоже. Успъхъ г. Полеваго быль неимовърный, потому что его усилія требовались духомъ времени. Этому успѣху всего болѣе быль обязань онъ смѣтливости. Revue Encyclopédique служила для него и сокровищницею новыхъ идей и нерѣдко спабжала его статьями, которыя ему стоило только нередёлывать и придёлывать—къ чему было ему нужно. Не прилъпившись ни къ какой сферъ знанія или д'ятельности, онъ брался за все и во всемъ хотъль быть нововводителемъ. Познакомившись съ Итмиами чрезъ Французовъ, онъ невърно понялъ ихъ. Познакомившись съ Шеллингомъ черезъ французскія статьи, онъ говоримъ о тождествъ и о томъ, что a=a... Все это нужно было для того времени, и всего этого теперь уже не нужно...

Мы извиняемъ тенерешиюю ревность г. Полеваго къ прошедшему. У всякаго съ своимъ прошедшимъ связано такъ много прекрасныхъ воспоминаній, и потому каждому кажется великимъ и истипнымъ только то, что явилось въ его время, когда въ немъ интересы были живы, когда онъ исполненъ быль надеждь и силы. Напротивь того, настоящее для пожилыхъ людей часто бываеть такъ грустно: дико смотрятъ они на все новое, которое чуждо ихъ, уже застывшихъ въ извъстныхъ формахъ, и которому чужды они, уже неспособные ни къ какому движенію. Когда вышель г. Полевой на поприще, тогда гремъли и сіяли имена Гюго, Ламартина, де-Виньи, Бальзака-удивительно ли, что и теперь онъ почитаетъ ихъ великими геніями?—Читая и перечитывая франнузскіе журналы, онъ безпрестанно встрічаль въ нихъ имя Шеллинга, какъ величайшаго философа современнаго человъьества-удивительно ли, что Шеллингъ и теперь остается для него первымъ философомъ, а его философія геркулесовскими столнами абсолютнаго мышленія? Эта исторія всегда новторилась: кантисты не хотъли видъть ничего великаго въ Фихте, фихтенсты съ проинческою удыбною смотрели на Шеллинга, а шеллингисты въ Гегелъ видятъ пустой призракъ. Вотъ отчего въ глазахъ г. Полеваго, Лессингъ и Шлегель мѣшаютъ Варигатену быть глубокимъ критикомъ, а Шеллингъ Гегелю великимъ и первымъ философомъ современнаго человъчества. Вотъ почему современная ивмецкая литература, столько богатая и великая, такъ роскошно оплодотворенная духомъ великаго Гегеля, - кажется ему пустоцвътною и пичтожною. Это кругъ, начавшійся нападками на «В'єстникъ Европы» и кончившійся редакторствомъ «Сына Отечества».

Теперь, чего вы хотите отъ С. О.? Вст педостатки его происходять отъ глубокой причины: онъ не понимаеть современности и потому не можеть угождать и правиться ей. А такъ какъ, сверхъ того, онъ развлеченъ, составленіемъ драмъ, оперъ, комедій и водевилей, то и не имъетъ достаточнаго времени для улучшенія самого себя... Отъ С. О. обратимся къ предмету болъе интересному и пріятному—къ «Отечественнымъ Запискамъ».

Объ О. З. мы не будемъ много говорить, потому что это журналъ новый, еще не усиввний внолив себя выказать и высказать, хотя и нодавший о себв блестящия надежды въ будущемъ. Сказать правду, мы не совсвиъ довольны его критическимъ направленіемъ, потому что цвѣтъ этого паправленія не достаточно ярокъ и опредъленъ. Вирочемъ, появленіе въ 5 № О. З. статьи Варигагена о Пушкинъ, превосходно переведенной г. Катковымъ, заставляетъ насъ падъчться, что въ О. З. будетъ критика дѣльная и современная.

Объ этой стать в мы еще ноговоримъ.

Говоря о критикъ О. З., должно упомянуть съ уваженіемъ о разборъ «Фауста», переведеннаго г. Губеромъ. Въ этой стать высказано много интересных подробностей объ историческомъ народномъ Фаустъ, преданіе о которомъ послужило формою столькимъ произведеніямъ и наконецъ самому «Фаусту» Гёте. Въ сужденін объ этомъ великомъ произведенін также высказано много дъльнаго. Но намъ не нравится пристрастный отзывъ критика о переводъ, отзывъ столь несообразный съ уваженісмъ критика къ геніальному произведенію Гёте; потомъ, мы не согласны въ нъкоторыхъ мысляхъ. Критикъ говоритъ, что Грехтенъ Гёте выше Джюльетты Шекспира: странная и произвольная мысль! До сихъ поръ еще не придумано инструмента для измъренія относительнаго достоинства созданій великихъ ноэтовъ, и нотому условились ночитать ихъ совершенно равными одно другому, какъ формы совершенно равныя своимь содержаніемь. Впрочемь, изъ этого сабдуеть, что содержаніе, ноколику обинмаеть оно сферу бытія, можеть служить этою мёркою. Но измёриль ли критикъ содержание Джюльетты? Не есть ли она полная женщина, выражение женственной природы и женственнаго духа попреимуществу? Что же касается до воилощенной этой иден въ живую роскошную, въ высшей степени художественную форму, --объ этомъ

страшно и говорить, когда дёло идеть о такомъ художникъ, какъ Шекспиръ... Потомъ, критикъ говоритъ, что сумасшедшая Маргарита несравненно естествените сумасшедшей Офеліп. По нашему мнівнію, думать такъ, значить не понимать ни Маргариты, ни Офеліи. Сумасшествіе есть отвлеченная идея, которая конкретируется только въ явленін. Сумасшедшимъ можеть быть всякій челов'ять; воть отвлеченное нонятіе; но каждый можеть быть сумасшедшимъ только по своему, и ни одинъ сумасшедшій на другаго походить не можеть: вотъ понятіе конкретное. Не говоря о разинцѣ характеровъ, одна разинца обстоятельствь, бывшихь причиною сумасшествія, ділаеть изъ Маргариты и Офедін два совершенно различныя лица, которыя не могутъ не повъряться, ни мъряться одно другимъ. Точно также, какъ всякій челов'явь представляеть собою отдъльный и особый міръ, на всъ другіе не похожій, никакимъ другимъ не замѣнимый, — такъ и всикое художественное лице. Въ этомъ то и состоитъ конкретность явленій дъйствительности и искусства. Еслибы не Гамлеть, а другое лицо было причиною сумасшествія Офелін, то и сумасшествіе ея необходимо носило бы на себъ другой характеръ; точно также, какъ еслибы Гамлетъ обставленъ былъ другими лицами, то и его бользненная нервшительность, колебанія его воли, жалобы на самого себя-все это, будучи тамъ же самымъ, было бы въ тоже время и совершенно другимъ. Конкретность даетъ себя видьть не въ идеб, а въ формъ, и въ этой же формъ, даеть себя видёть и индивидуальность и личность субъекта, которая уже по одному тому, что она личность не можеть ни быть замѣнена ни какою другою личностію, ни быть мѣркою другой личиссти. Какъ въ природъ иътъ двухъ лицъ, совершенно сходныхъ другъ съ другомъ, такъ и въ сферѣ искусства не можетъ быть двухъ лицъ, изъ которыхъ одно дёлало бы не нужнымъ другое, тъмъ, что было бы лучше этого другаго. Впрочемъ, можетъ-быть, критикъ подъ словомъ "«несравненно естествениве» разумблъ художественное выполнение — въ

такомъ случав, мы, не обинуясь, скажемъ ему, что съ этой стороны, ему не доступны ни Офелія, ни Маргарита...

Не можемъ мы также согласиться и въ мысли о самомъ фаустъ, какъ о человъкъ «съ душою сильною, съ дерзновенными замыслами и необузданными норывами, но съ уничтоженною вёрою во все прекрасное». Такъ-Фаустъ утратиль въру, но не въ прекрасное (это выражение становится уже приторнымъ), а въ дъйствительность бытін, какъ тождество истины съ явленіемъ; такъ — Фаусту все представлялось мечтою и призракомъ, -- по отчего и почему -- вотъ вопросъ п вотъ въ чемъ сущность дъла. Сколько мы нонимаемъ, это произошло съ нимъ оттого, что, какъ человъкъ глубокій и всеобъемлющій, онъ необходимо должень быль выйдти изъ естественной гармоніи духа и поссориться съ дъйствительностію; но для того, чтобы, принявши въ себя всв элементы жизни, перешли чрезъ всв ел противоръчія и отрицанія, черезъ долгое и кровавое испытаніе, нутемъ разумнаго опыта и разумнаго знанія, примирить ихъ въ своемъ разумномъ созерцанін и — черезъ то — снова пріобрѣсти утраченную гармонію души, не уже не естественную, а сознательную, и снова обръсти себя въ живомъ и конкретномъ единствъ съ дъйствительностию, хоти бы то было только для того, чтобы сказать: «въ предчувствін такого блаженства я наслаждаюсь теперь прекрасною минутою!» — и умереть... Да не подумають, что мы претендуемь объяснить основную мысль тавого великаго созданія, какъ «Фаусть» Гёте: нѣтъ, мы только претендуемъ на то, что наше предположение (а не утвержденіе) ближе къ истинъ, нежели мысль критика О. З... Какъ много есть людей, которые лишены въры въ истипу, по своей шичтожности и пустотъ, а между тъмъ кто почтетъ такого человъка достойнымъ героемъ подобной поэмы? Распаденіе Фауста должно имъть глубокій смысль какъ необходимость; а не какъ случайность...

Въ статъв объ «Пліадв» разсуждается больше о томъ-

Гомеръ или народъ создалъ это въковое произведение искусства. Вопросъ этотъ начинаетъ становиться смешонъ, а между тъмъ ему придаютъ такую важность. Народъ можетъ создать преогромную кпигу пъсенъ, представляющихъ собою цълое и единое по духу и характеру; но никогда народъ не создаетъ изъ лоскутковъ и отрывковъ поэмы, представляющей собою цълое и стройное по содержанию и формъ. Это просто на просто-нельность нельностей. Нькоторые искусники поговаривали о возможности изъ народныхъ малороссійскихъ думъ о Богданъ Хмельницкомъ составить поэму, столько же цълую и стройную, какъ и «Иліада»: попробуйте, господа, а пока не подтвердите на дълъ вашей мысли, мы вамъ не повъримъ. Народъ живетъ въ своихъ представителяхъ, которые относятся къ нему, какъ голова къ туловищу. Такую-то голову имъли Эллины въ Гомеръ. Говорятъ, что трудно повърить, чтобы одинъ человёжь могь едёлать такое великое дёло. Напротивъ, трудиће повърить, чтобы много людей могли сдълать одно такое великое дёло. Всякая разумная сила является отнюдь не въ субстанцін, а въ личномъ, индивидуальномъ, субъективномъ опредълении. И потому, слово «народъ» часто бываеть самымъ безсмысленнымъ словомъ, какъ безличнал отвлеченность. Развъ не великое дъло-преобразовать Россію?—А что жь-развъ самъ народъ это сдълаль, а не одинъ челов'ять, олицетворившій въ себ'я вс'я силы, все субстанціальное могущество этого народа? — Въ дъяв творчества, единичность творящей силы еще необходимъе.

Не можемъ мы также согласиться и въ томъ, чтобы гекзаметры Жуковскаго, въ переводъ имъ отрывковъ изъ «Иліады» съ латинскаго, были лучше переводовъ Гивдича. Даже приведенныя въ статъъ О. З. примъры ръшительно увъряютъ совершенио въ противномъ. И почему бы этому и не быть такъ! Жуковскій имъетъ слишкомъ много другихъ правъ на превосходство передъ тъмъ и другимъ; но постигнутъ духъ, божественную простоту и пластическую красоту древнихъ Грековъ было суждено на Руси пока только одному Гивдичу. Впрочемъ, въ О. З. примѣчательна ученая историческая критика, о которой не распространяемся.

Обратимся къ статъв Варигагена. Она была уже переведена въ С. О., по такъ переведена, что еслибы самъ Варигагенъ зналъ по-русски такъ же хорошо, какъ по-нъмецки, то ни коимъ образомъ не узналь бы своей статьи. Редакторъ С. О., въроятно, но этому нереводу и сдълалъ свое странное заключение объ этой статьт, и потому нисколько не удивительно, что его заключение вышло очень странно. Статья Варигагена явилась въ О. З. какъ прибавление къ 5 № этого журнала, и въ письмѣ переводчика къ редактору 0. 3. объясияется причина вторичнаго перевода статьи слъдующимъ образомъ: «Я твердо увъренъ, что искрение, положа руку на сердце, вы не скажете, что публика сколько инбудь знакома съ этою статьею; и если хоть на минуту задумаетесь, исполнить мою просьбу, то развъ потому, что какой-то жалкій, нев'єрный переводь самовольно назваль себя статью Варигагена о Пушкинъ и пустился уже виъстъ съ журналомъ, принявшимъ его въ свои объятія, бродить по міру и вводить въ заблужденіе честныхъ людей»...

Кромѣ уже пачисленныхъ нами критическихъ статей слѣдуетъ указать на очерки иностранныхъ литературъ, паъ которыхъ особенно примѣчательны—французской въ 1 и 5 №№. Конечно, во всѣхъ этихъ статьяхъ пробивается усиліе къ характерному и дѣльному паправленію, но все это еще неопредѣленно, не рѣзко. Среди самыхъ дѣльныхъ мыслей часто встрѣчаются противорѣчія, замѣтно какъ бы бореніе двухъ противоположныхъ ученій...

Въ библіографической хроникъ О. З. тъ же достоинства и тъ же недостатки. Достоинства: часто безиристраєтные, дъльные, хорошо написанные отзывы о сочиненіяхъ; недостатки: иногда духъ парціяльности, иногда устарълость мивній и самаго изложенія ихъ. Послъднее случается ръже и объясилется участіемъ не одного, а многихъ лицъ въ библіографической

хроникъ. Первое же заслуживаетъ особенный упрекъ. Зачъмъ, напримъръ, такъ часто употреблять имена гг. Ордова (А. А.) и Булгарина (Ө. В.) нераздёльно?—Это вонервыхъ, должно непремённо обнаруживать, что 0. 3. придають этимъ двумъ, конечно, примъчательнымъ лицамъ въ нашей литературъ, слишкомъ большую важность; а вовторыхъ, это можеть ихъ взаимно возгордить одного на счеть другаго, въ ущербъ усибхамъ нашей литературы. Въ 4 № 0. 3. насъ поразилъ ужасомъ отзывъ о «Борисѣ Ульинѣ», этомъ жалкомъ произведенін, обличающемъ въ авторів его образцовую бездарность. И какъ будто, издъваясь надъ памятью Пушкина, О. З. хотять насъ увёрить, что авторъ онаго «Бориса Ульина» быль соблазненъ легкими стихами Пушкина, не догадываясь, что легкіе стихи Пушкина въ то же время и очень тяжелы, такъ что надо имъть богатырскую силу, чтобы владъть ими, какъ собственнымъ оружіемъ. Но впрочемъ, можетъ быть, мы понапрасну горячимся: можетъ-быть, отзывъ 0. 3. — тонкая насмънка, для удостовъренія въ чемъ достаточно обратить внимание на стихи, которые выписаны въ рецензіи 0. 3., какъ отличнъйшие, тогда какъ въ нихъ смыслу нътъ. Вотъ (2111 -

Трехгранный штыкъ! младыхъ героевъ Не ты ли лестная мечта, И не тобой ли запята, Ихъ дума скачетъ среди боевъ? Когда Суворовъ мелъ тобой, Какъ пыль, Французовъ, предъ собой, Потъшенъ, любъ былъ Руси ратной Разсказъ игры твоей булатной.

Хороша легкость! Суворовъ штыкомъ мелъ Французовъ нередъ собою, какъ пыль. Потъшенъ, любъ для ратной Россіи разсказъ булатной игры штыка... Иътъ, рецензія О. З. не нохвала, а тонкая насмъшка.

Особенное внимание заслуживаетъ въ О. З. отдъление по-

священное собственно на ознакомленіе Русскихъ съ своимъ отечествомъ, во всёхъ отношеніяхъ. И по содержанію и по изложенію превосходны всё статьи подъ рубрикою «Современная хроника Россіи». Къ этому же отдёленію мы относимъ и любопытныя статьи г. Каменскаго «Мастерскія русскихъ художниковъ»: онё писаны просто, благородно и знакомятъ насъ съ нашими сокровищами искусствъ.

Объ ученыхъ статьяхъ должно замѣтить, что онѣ по большей части слишкомъ исключительнаго содержанія и притомъ чудовищно огромны. Гораздо больше нашли бы себѣ читателей статьи по части исторіи и естествознанія, нежели по части физики и математики.

Отдъленіе «смъси» разпообразно и питереспо. О. З. имъютъ, въ этомъ отношенін, тотъ перевъсъ передъ Б. для Ч., что въ ихъ смъси много оригинальныхъ статей.

Тенерь обращаемся къ самому лучшему, богатъйшему и блистательнъйшему отдъленію 0. 3.—къ отдъленію «словесности», въ которомъ, по средствамъ 0. 3. и по отношенію ихъ къ нашимъ литературнымъ знаменитостямъ, съ ними ни одинъ изъ русскихъ журналовъ не можетъ соперничествовать. Пробъжимъ сперва по блистательному списку оригинальныхъ повъстей въ 5 № 0. 3.

«Княжна Зизи» ки. Одоевскаго, читается съ паслажденіемъ, хотя и не припадлежитъ къ лучшимъ произведеніямъ его пера. Даже можно сказать, что эта повъсть и не выдержана: вопервыхъ, странио, что такая глубокая женщина, какъ княжна Зизи, могла полюбить такого ношлаго и гадкаго человъка, какъ Городковъ; не менъе того невъроятно, чтобы Городковъ, который въ большей половинъ новъсти является человъкомъ свътски-образованнымъ, въ концъ новъсти могъ явиться провинціяльнымъ подъячимъ самаго подъяческаго тону. — Отрывокъ изъ романа «Вадимовъ» Марлинскаго—фразы, надутыя до безсмыслицы. «Исторія двухъ калошъ», новъсть графа Салогуба—лучшая повъсть въ О. З. и ръдкое

явленіе въ современной русской литературь. Прекрасная мысль свътится въ одушевленномъ и мастерскомъ разсказъ, котораго душа заключается въ глубокомъ чувствъ человъчественности. Мы не говоримъ о простотъ, безъискусственности, отсутствін всякихъ претензій: все это необходимое условіе всякаго прекраснаго произведенія, а повъсть гр. Салогуба прекрасный, благоухающій ароматомъ мысли и чувства, литературный цвътокъ. Во 2 № помъщенъ «Павильонъ» г-жи Дуровой, о которомъ мы уже высказали наше мивніе. Въ 3 № помѣщена «Бэла» разсказъ г. Лермонтова, молодаго поэта съ необыкновеннымъ талантомъ. Здъсь въ нервый еще разъ является г. Лермонтовъ съ прозапческимъ опытомъи этотъ опытъ достоинъ его высокаго поэтическаго дарованія. Простота и безъискусственность этого разсказа-невыразимы, и каждое слово въ немъ такъ на своемъ мъстъ, такъ богато значеніемъ. Вотъ такіе разсказы о Кавказѣ, о дикихъ горцахъ и отношеніяхъ къ нимъ нашихъ войскъ, мы готовы читать, нотому что такіе разсказы знакомять съ предметомь, а не клевещутъ на него. Чтеніе прекрасной повъсти г. Лермонтова многимь можеть быть полезно еще и какъ противояліе чтенію пов'єстей Марлинскаго.

Въ 4 № «Дочь чиновнаго человъка» повъсть г. Панаева (П. И.). Это одна изъ русскихъ повъстей нашего талантянваго повъствователя. Какъ и всъ его повъсти, она согръта живымъ, иламеннымъ чувствомъ, и, сверхъ того, представляетъ собою мастерскую картину петербургскаго чиновничества, не только съ его виъшней, но и внутренией, домашней стороны. Содержаніе повъсти просто, и тъмъ пріятнъе, что при этомъ оно богато потрясающими драматическими положеніями. Одинмъ словомъ, повъсть г. Панаева принадлежитъ къ самымъ примъчательнымъ явленіямъ литературы пынъшняго года. Не чужда она и педостатковъ, но они не важны, хотя повъсть и много бы вынграла, еслибы авторъ далъ себъ трудъ изгладить ихъ. Но главный недостатокъ состоитъ въ отдълкъ характера ге-

рон новъсти: авторъ какъ будто хотълъ представить идеаль великаго художника въ молодомъ человъкъ, который въчно вздыхаеть по какимъ-то педостижимымъ для него идеаламъ творчества, и инчего не можетъ создать, --что и составляетъ мучение и отраву всей его жизни. Это пдеалъ художника г. Полеваго, который не разъ пытался-его изобразить въ своихъ новъстихъ. Но это уже устарълый взглядъ на искусство: нынче думають, что художникъ потому и художникъ, что, безъ мученій и натугь, свободно можеть воплощать въ живые образы порожденія своей творческой фантазін; но что томящеся по педосягаемымъ для нихъ пдеаламъ художникинли просто пустые люди съ претензіями, или обыкновенные талаптики, претендующие на геніяльность. Геніяльность не есть проклятіе жизни художника, но сила познавать ея блаженство и осуществлять въ живыхъ образахъ это познаніе. Вирочемъ, изъ иъкоторыхъ мъстъ повъсти кажется, что авторъ и хотълъ изобразить въ своемъ героъ такого жалкаго недоноска; это тъмъ исите, что онъ подавляется простымъ и возвышеннымъ въ своей простотъ характеромъ героппи; по въ такомъ случав автору надлежало бъ быть ясиве и опредълените. Впрочемъ, можетъ быть, опъ поправитъ еще это во второй своей повъсти «Любовь свътской дъвушки», героемъ которой будеть опять этотъ же художникъ педопосокъ, и которую онъ уже пишетъ, какъ это намъ извѣстно изъ достовърнаго источника.

Въ 5 № «Бъдовикъ» повъсть г. Даля. Это, по нашему мивнію, лучшее произведеніе талантливаго казака Луганскаго. Въ немъ такъ много человъчности, доброты, юмора, знанія человъческаго и преимущественно русскаго сердца, такая самобытность, оригинальность, игривость, увлекательность, такой сильный интересъ, что мы не читали, а ножирали эту чудесную новъсть. Характеръ героя ея—чудо, но не вездъ, какъ кажется намъ, выдержанъ; по солдатъ Власовъ и его отношенія къ герою повъсти—это, просто, роскошь.

Въ IV книжкъ есть еще «Дорожные Эскизы» на пути изъ Франкфурта въ Берлинъ г. Шевырева, особенно интересные подробностями его свиданія съ Гёте.

Переводныхъ прозапческихъ піесъ немного: «Сила Крови», повъсть Сервантеса, переведенная съ испанскаго, интересна только по имени своего автора и развъ, какъ намекъ на домашнюю жизнь Испанцевъ; опа прекрасно переведена съ подлиника г. Тимковскимъ. «Боги, герои и Виландъ», соч. Гёте, переведенное г. Струговщиковымъ, представляетъ собою любопытную страницу изъ исторіи иъмецкой литературы, къ сожальнію не понятую у насъ.

Прекрасныхъ стихотвореній въ О. З.—множество. Конечно между ними есть и стишки гг. Якубовича, Стромилова, Гребенки, Айбулата, но.—

II въ солнцъ и въ лунъ есть темные мъста.

Въ 1 № изъ стихотвореній вы находите маленькое прелестное стихотвореніе Пушкина «Въ альбомъ»; «Думу» энергическое, могучее по формъ, хотя и прекрасподушное и сколько но содержанию, стихотворение г. Лермонтова. Вторая книжка бъдна хорошими стихотвореніями и можно уномянуть только о «Поэть» опять того же г. Лермонтова, примъчательномъ многими прекрасными стихами и также прекрасподушномъ по содержанію. Третья книжка красуется «Последнимъ поцелуемъ», роскошно-поэтическимъ стихотвореніемъ г. Кольцова. Четвертан книжка блестить прекраснымь стихотвореніемь г. Лермонтова «Русалка», и поражаетъ удивленіемъ отрывокъ изъ ноэмы гр — ин Е. Р — ной «Существенность и вдохновеніе, или жизнь дѣвушки», да — поражаетъ удивленіемъ, и если хотите знать почему, прочтите сами этотъ удивительный отрывокъ... Пятая книжка необыкновенно богата прекрасными стихотвореніями, изъ которыхъ два-«Вътка Палестины» и «Не върь себъ» принадлежитъ г. Лермонтову. Нервое поражасть художественностію своей формы, а второе глубокостію

своего содержанія и могучестію формы: дёло идеть, кажется, о тёхъ непризванныхъ поэтахъ, которые могуть вдохновляться только своими страданіями, за отсутствіемъ истиннаго поэтическаго призванія. Замѣтьте, что здѣсь поэть говорить не о бездарныхъ и ничтожныхъ людяхъ, обладаемыхъ метроманіею, по о людяхъ, которымъ часто удается выстрадать и то и другое стихотвореніе, и которые вопли души своей, или кинтьніе крови и избытокъ силъ, принимають за даръ вдохновенія. Глубокая мысль!... Сколько есть на бъломъ свѣтъ такихъ минмыхъ поэтовъ! И какъ глубоко истинный поэтъ разгалалъ ихъ!...

Кром'в двухъ прекрасныхъ стихотвореній г. Лермонтова, въ 5 № 0. 3. есть четыре прекрасныя стихотворенія г-жи Павловой: «Неизвъстному поэту» оригинальное, «Клятва Мойны» и «Гленара» шотландскія баллады, одна В. Скотта, другая изъ Камбеля; «Пойми любовь» изъ Рюкерта. Удивительный талантъ г-жи Павловой (урожденной Янишь) переводить стихотворенія со всёхи павёстныхи ей языкови и на всё пав'єстные ей языки — начинаетъ накопецъ пріобрѣтать всеобщую извъстность. Въ ныившиемъ году вышли ея переводы съ разныхъ языковъ на французскій, подъ названіемъ «Les Préludes»—и мы не могли довольно надивиться, какъ умъла даровитая переводчица передать на этотъ бъдный, антипоэтическій и фразистый но своей природѣ языкъ благородную простоту, силу, сжатость и поэтическую прелесть «Полководца» — одно изъ лучшихъ стихотвореній Пушкина. Но еще лучше (по причинъ языка) ен переводы на русскій языкъ.

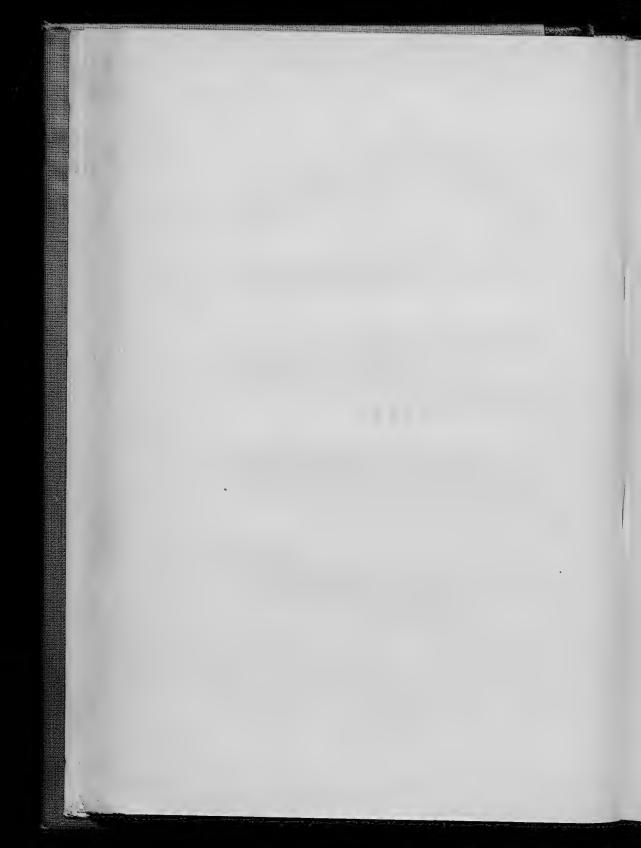
Такъ-то деботировали на сценъ журналистики возобновленныя «Отечественныя Записки». Если—чего и должно ожидать—продолженіе будеть еще лучше начала, то, при своихъ матеріальныхъ средствахъ, при своихъ выгодныхъ отношеніяхъ почти ко всъмъ нашимъ пишущимъ знаменитостямъ, О. З., безъ всякаго сомиънія, не замедлятъ занять первое мъсто въ современной русской журналистикъ.

Впѣшность О. З. очень красива, полнота содержанія даже черезчуръ удовлетворительна, а поспѣшность, съ какою летаютъ книжка за книжкою — изумительна. Все это дѣлаетъ честь неутомимости редактора и желанію его—сдѣлать свой журпалъ вполнѣ достойнымъ того лестнаго пріема, которымъ уже удостоила его публика.

Въ слёдующей книжке «Наблюдателя» надвемся поговорить о «Литературныхъ Прибавленіяхъ» и «Галате».

III.

ТЕАТРЪ.



ТЕАТРАЛЬНАЯ ХРОНИКА.

«Московскій Наблюдатель» не можеть отдавать подробныхъ отчетовъ о встхъ представленіяхъ, которыя даются на Петровскомъ театръ: онъ предоставляетъ эту обязанность «Гадатев», которая, являясь еженедвльно, разносить на своихъ легкихъ крылышкахъ всевозможныя и самыя свёжія новости. Два-три дин назадъ вы были въ театръ, а на третій, на четвертый читаете отчеть о піесь, которую видьли, повъряете чужое суждение съ своимъ собственнымъ, --- согласитесь, что это очень пріятно! Но что за удовольствіе читать отчеть объ игръ актера, которой всъ впечатлънія давно уже изгладились изъ вашей памяти; или читать суждение о какомъ-нибудь водевиль, который давался назадь тому мъсяцъ или два, и въ это время успъль уже уснуть съ тъмъ, чтобъ больше не просынаться!... Иланъ «Наблюдателя» делаетъ невозможными подробные и постоянные отчеты о театръ; но онъ будеть представлять публикъ свои сужденія о самыхъ значительныхъ піесахъ и спектакляхъ. На первый разъ, упомянемъ о томъ, что удалось намъ видёть и что, по нашему мивнію, имветъ какую либо значительность.

Г. Ленскій даль въ свой бенефисъ, бывшій 2 декабря прошлаго года, «Свадьбу Фигаро». Кому не извъстно, хотя по слухамъ, это знаменитое произведеніе XVIII въка? Восемьдесять представленій сряду выдержало оно въ Нарижъ. Бомарше, его авторъ, пріобръль себъ изступленныхъ почитаталей, поклопинковъ, и нажилъ себъ непримиримыхъ враговъ. Какой успъхъ! Какая слава! Но въчны только художе-

ственныя произведенія, только они никогда не стар'єются; едъланныя же вещи могуть имъть только современный успъхъ, и никуда не годятся, когда проходить ихъ время. Знаменитая «Женитьба Фигаро» есть произведение человъка необыкновеннаго, даровитаго-это доказывается ея чудовищнымъ успъхомъ въ свое время; но тъмъ не менъе, она сдъланная, а не созданная вещь, произведеніе литературы, а не искусства, воображенія, а не фантазіи. Главный интересъ этой піесы политическій: она была злою сатирою на аристократію XVIII въка. Во всякомъ случать, успъхъ ея былъ заслуженный, потому что незаслуженныхъ успъховъ не бываеть. Но теперь—что такое теперь эта піеса?—По крайней мъръ, мы не видимъ въ ней ничего, кромъ длиниой, утомительной и скучной піесы, съ обыкновенными комическими пружинами прошлаго въка, съ натянутыми остротами и натяпутыми положеніями. Укажемъ только на монологъ, въ которомъ Фигаро, въ 5 актъ, разсказываетъ (въ продолженіи около получаса) свою исторію, и потомъ на плоско-смішную сцену вытаскиванья изъ бестаки почти встхъ лицъ комедін, въ нятомъ же актъ. И «Женитьба Фигаро» препорядочно утомила московскую публику. Изъ дъйствующихъ лицъ піесы, которыхъ вевхъ числомъ 17, хорошо играли только двоег-жа Ръпина и Щенкинъ, —и то, не по достоинству своихъ ролей, а по ръшительному неумънію сыграть что нибудь посредственно. Щепкинъ игралъ садовника, роль маленькую и незначительную; по г-жа Рѣпина играла Сусанну, вторую роль въ ніесъ, — и признаемся, еслибы всъ и всегда такъ играли, то не было бы больше илохихъ несъ, но всъ ніесы, даже дурныя, были бы превосходны. Что касается до Фигаро — его пградъ самъ бенефиціянтъ, и пградъ довольно отчетливо-по крайней мірі видно было, что онъ готовился къ роли, изучалъ ее; по Фигаро мы не видали. Эту роль можеть сыграть хорошо только французскій актеръ, а у русскаго всегда будеть недостатокь въ фосфорической живости и наивномъ безстыдствъ и наглости

Балеть «Дѣва Дуная», въ продолжени какихъ-нибудь шести недвль, выдержаль четырнадцать представленій. Разумъется, главная причина успъха здъсь декораціи, которыя въ самомъ дълъ прекрасны, особенно замокъ надъ ръкою, отражающійся въ водь. Прелесть! Вирочемъ, и самый балеть не безъ занимательности, исключая и вкоторыхъ танцевъ, безконечно и безполезно растягивающихъ его. Г. Герино показаль намь, что и мущина можеть имъть самобытное значеніе въ танцахъ. Онъ столько же превосходный актеръ, какъ н танцовщикъ: жесты его выразительны, танцы граціозны, лице-говорить. Мимикою и движеніями, опъ разыгрываеть нерель вами многосложную драму. Да, въ этомъ случав, танновальное искусство есть-пскусство. Впрочемъ, это искусство въ зародышъ, первая точка отправленія искусства оно такъ же относится къ драмъ, какъ хороводное пъніе носелянь къ оперъ. Балетъ, какъ соединение танцевъ съ мимикою, --это наконецъ пластика, движущаяся, покинувшая свой пьедесталь, свою спокойную неподвижность. - Не менже г. Герино восхищала нублику и г-жа Санковская. Въ самомъ дълъ, въ ея танцахъ только души и-граціи, что восхищенію зрителя нътъ предъловъ. Мы никогда не забудемъ этой граніозности, съ какою Діва Дуная старается показаться неловкою и пеуклюжею передъ барономъ Вильбальдомъ-это очарованіе!... Г-жа Воронина-Иванова, по обыкновенію, роскошествовала на сценъ жизнію и страстію.

Несмотря на это, мы только разъ видъли «Дъву Дуная». Вирочемъ, это вонервыхъ оттого, что балетъ довольно растянутъ; вовторыхъ потому, что наглядное, зрительное удовольствие скоро наскучаетъ, а г. Герино и г-жи Санковская и Воронина-Иванова не одни составляютъ весь балетъ....

Денабря 28 мы видъли «Коварство и Любовь». Въ роли Луизы дебютировала г-жа Вышеславцева; дебютъ былъ неудаченъ, почему мы и не намърены о немъ распространяться, и поговоримъ лучше о другомъ. Фердинанда, по обыкновеню.

играль Мочаловъ. Помнимъ мы, какъ, въ последній прівздъ свой, вышель въ этой роли г. Каратыгинъ, въ красномъ мундиръ, который такъ изящно, такъ пластически обрисовываль его стань, словомь, въ костюмь, части котораго совершенно соотвътствовали одна другой и который такъ гармонироваль съ ролью. Рукоплесканія долго не дали ему выговорить слова. Заслуженныя рукоплесканія! Въ искусствъ, изящная форма великое діло, особенно тамъ, гді вдохновеніе не прорывается бурными волнами... Г. Каратыгинъ заговорилъ... въ его словахъ, въ его дикцін, мы не слышали тренетнаго одушевленія, по несмотря на то, чувствовали себя поль вліяніемъ какого-то обаянія... Отчего это такъ? — Оттого. что слово «искусство» даже и въ этимологическомъ смыслъ имъетъ великое значеніе. У васъ пъть одушевленія—такъ и не горячитесь, а старайтесь сказать просто, ясно, точно. такъ чтобы мысль автора не была нисколько потемивна или скрадена, а высказалась бы вся. Въ такомъ случав, сцеинческое очарованіе зам'їнняю бы недостатокъ одушевленія со стороны актера. — Странное дъло! — мы хотъли говорить о Мочаловъ, а заговорили о г. Каратыгинъ... Впрочемъ, это не прихоть наша, и самъ Мочаловъ навелъ насъ на благодарное воспоминание о г. Каратыгинъ. Вопервыхъ Мочаловъ вышелъ въ мундиръ гарнизопнаго баталіопнаго командира, въ мундиръ разстегнутомъ и который, сверхъ того, сидълъ на немъ мъщокъ мъщкомъ. Потомъ игра, Боже мой, какая игра!... Конечно, было мъста два, да въдь эти два мъста продолжались двъ минуты, и мы высидъли въ театръ слишкомъ три часа. Прибавимъ къ этому, что драма въ нашемъ театръ сдълалась какимъ то mauvais genre и mauvais ton: она дается ръшительно для райка, точно также, какъ балеть и водевиль даются рѣшительно для всей публики... Жаль!—Наша публика очень любитъ драму, и мы не можемъ довольно надивиться тому, что еще театръ не бываетъ совсимъ пустъ, когда дають драму... Положимъ, что Мочаловъ и превосходно вынолнить свою роль—да вёдь одно лице не составляеть драмы, а прочихъ иётъ никакой возможности видёть и слышать. Впрочемъ, изъ числа этихъ прочихъ должно выключить гг. Усачева и Потанчикова, изъ которыхъ первый прекрасный въ роли Вурма, а второй въ роли Миллера...

Теперь намъ слъдовало бы говорить о бенефисъ Мочалова, бывшемъ япваря 4-го, но, къ сожалънію памъ не удалось его видъть.

Къ удивлению всёхъ, Мочаловъ выбралъ на свой бенефисъ піссу великаго мастера, по уже игранную на нашей сценѣ и безпримѣрио дурно переведенную. Это дѣлаетъ большую честъ художественной добросовъстности Мочалова: выбери онъ какую-инбудь французскую пошлость, только новую, — и его карманъ остался бы въ выпгрышѣ насчетъ искусства.

Повторяемъ, мы не были на этомъ бенефисѣ, но судя по единодушнымъ отзывамъ всѣхъ бывшихъ на немъ, — Мочаловъ снова развернулъ передъ публикою во всемъ могуществѣ и блескѣ свой громадный сценическій геній. Мы охотно этому вѣримъ, нотому что мы лучше, нежели кто-пибудь другой, знаемъ, чего можно ожидать отъ Мочалова и что за дивныя сокровища кроются въ бездонной глубинѣ его великаго художественнаго генія.

Впрочемъ, мы были на повтореніи «Лира» — и остались не совсёмъ довольны Мочаловымъ. Въ его игрѣ видны были обдуманность, соображеніе, словомъ, изученіе искусство; но не было того иламеннаго одушевленія, которое составляетъ отличительный характеръ игры Мочалова. Такъ напр., то мѣсто, гдѣ Лиръ, ударля себѣ въ голову, говоритъ: «О Лиръ! Лиръ! Лиръ! стучи въ эти ворота» — не произвело на насъ никакого дѣйствія. Несмотря на то, въ шгрѣ была общность, цѣлость и отчетливость, что очень рѣдко бываеть въ шгрѣ Мочалова, и было нѣсколько мѣстъ истинно превосходныхъ. Самые пламенные почитатели таланта г. Каратыгина и противники таланта Мочалова единодушно отдали преимущество

послѣднему передъ первымъ въ роли Лира. Рукоплесканіямъ и вызовамъ не было конца.

Въ бенефисъ г. Лаврова (13 января) между прочимъ былъ данъ «Дъдушка русскаго флота» г. Полеваго; а въ бенефисъ г-жи Львовой-Синецкой (20 января) «Иголкинъ купецъ новогородскій», то же произведеніе г. Полеваго. Об'в эти піесы увидъли мы чуть ли не въ третье ихъ представление, именно, первую 3 февраля, а вторую 1 февраля. «Дѣдушка русскаго флота» на сценъ очарователенъ и уже уснълъ сдълаться любимою піесою нашей публики—театръ всегда полонъ при его представлении. Нельзя не отдать справедливости почтенному автору: онъ съ такимъ искусствомъ, съ такимъ умѣньемъ и ловкостію составиль эту піесу, что она правится даже и въ чтенін, но на сцень-это просто очарованіе. Этому особенно способствуетъ превосходное, геніальное выполненіе Щенкинымъ роли Брандта. Ивтъ, что бы ни сказали мы объ игръ этого великаго артиста въ роли Брандта—ни что не даетъ о ней и приблизительнаго понятія... Слезы навертываются на глазахъ при одномъ восноминаніи объ этомъ старческомъ голось, вь которомь такь много тренетной любви, молодаго чувства... А искусство, эта върность роли (которую на сценъ создаль самь артисть, независимо оть автора) оть перваго до последняго слова-все это выше всякихъ похвалъ, самыхъ восторженныхъ, самыхъ энтузіастическихъ...

Прекрасенъ г. Самаринъ въ роли Петра Гродекера: въ его пгрѣ такъ много натуры, такъ много сцепическаго огня, столько искусства!... О, этотъ молодой артистъ много объщаетъ въ будущемъ! Онъ уже пріобрѣлъ себѣ пѣкоторую извѣстность, но, кажется, не хочетъ ею ограничиться и возлечь на пераспустившихся лаврахъ, а хочетъ идти впередъ... Най-то Богъ!

Г-жа Сабурова 2-я довольно мила въ роли Корнеліи; современемъ она объщаетъ довольно хорошую артиску... Опять дай-то Богъ!...

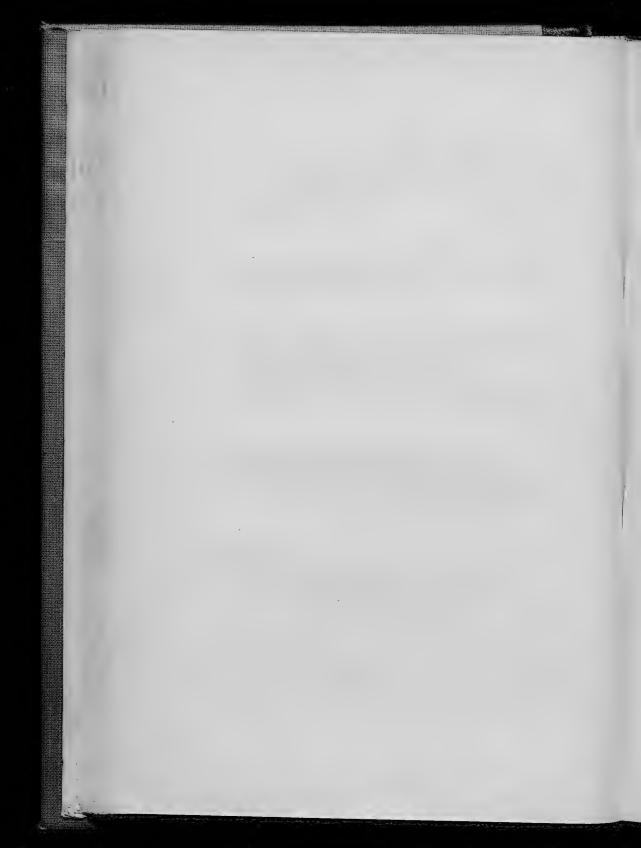
Г. Никифоровъ очень забавенъ въ роли Гроомдума. Мочаловъ, въ роли Лефорта, такъ несносно декламировалъ, что мы подумали было, что онъ поетъ куплетъ изъ водевиля...

По опущенін занавъса быль вызвань авторь піесы: московская публика тотчась узнала о прибытін къ пей ел стараго знакомаго и любимца...

Что намъ сказать объ «Иголкинъ»? Намъреніе похвально но выполненіе—изъ рукъ вонъ. Есть вещи довольно эффектным на сценъ, но зато какая растянутость, сколько линаниго!... Къ чему, напримъръ, лица Маргариты и Густава, лица совершенно лишнія? Правдоподобности очень немного. Ніведскіе солдаты—дураки и трусы: двое убъжали отъ Иголкина, а цълый десятокъ едва ръшился, и то съ великимъ страхомъ, нодойти къ Иголкину, чтобы заковать его въ жельза. Это намъ не правится по двумъ причинамъ: вопервыхъ Петръ Великій не съ презрънными трусами имълъ дъло подъ Полтавою; а вовторыхъ, мы очень хорошо помнимъ вотъ эти дивиые стихи Пушкина—

Въ бореньи падшій невредимъ; Враговъ мы въ прахв не топтали; Мы не напомнимъ нынъ пмъ Того, что старыя скрижали Хранятъ въ преданіяхъ нѣмыхъ; Мы не сожженъ Варшавы ихъ; Они народной Немезиды Не узрятъ гиѣвнаго ляца, И не услышатъ пѣснь обиды Отъ лиры русскаго пѣкца.

Довольно о піесѣ—скажемъ объ пгрѣ. Роль Иголкина выполняеть Мочаловъ, и выполняеть ее превосходно: теплота чувства и искусство выказываются у него постоянно во все продолженіе роли, несмотря на всю ея неблагодарность... Г. Никифоровъ, въ роли Христіана, забавенъ безъ фарсовъ, можно сказать, прекрасенъ...

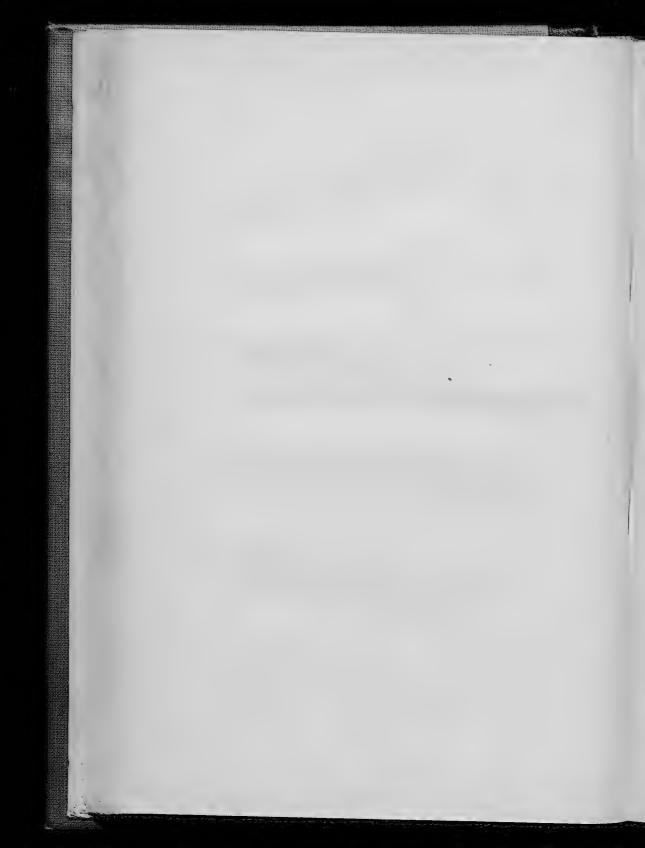


1839.

литературныя прибавленія

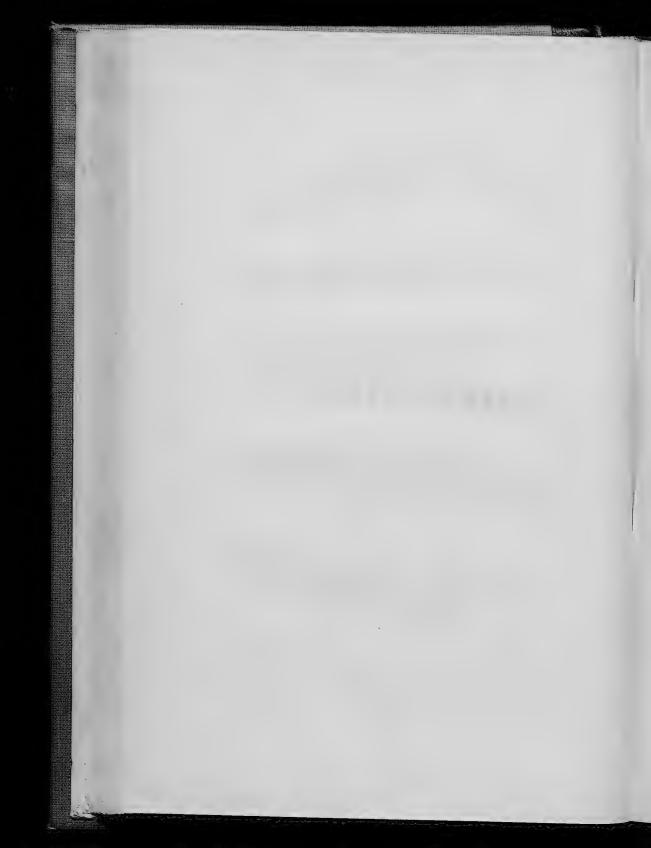
КЪ

"РУССКОМУ ИНВАЛИДУ".



1.

БИБЛІОГРАФІЯ.



НОВВЙШІЙ ДЪТСКІЙ РОБИНЗОНЪ, или любопытньйшія приключенія Робинзона Крюзов. Разсказъ отца своимъ дътямъ. Съ восемью картинами литографированными. Москва. 1839.

Подъ этимъ рыночнымъ заглавіемъ илощадная литературная промышленность издала коротенькую выборку, сдёланную, разумъется очень аляповато, изъ извъстнаго дътскаго романа. Двѣ вещи особенно хороши въ этой выборкѣ: чистѣйшая правственность и картинки съ подписями. Подъ чистъйшею нравственностію авторъ выборки разумъетъ наказаніе Робинзона за его величайшее преступленіе, состоявшее въ безпокойномъ духъ, который стремилъ его за моря. Не страино ли такое обвинение? Не самъ ли Богъ одарилъ каждаго человъка особеннымъ стремленіемъ, и на разности этихъ стремленій основаль зданіе человъческаго общества?... Одинь воинь, другой судья, третій ученый, художникъ, ремесленникъ и т. д. II, слава Богу, если каждый дълается тъмъ или другимъ не по случаю, а по внутреннему расположенію, влеченію. Нужно ли толковать, какую пользу принесли человъчеству Куки, Лаперузы, Беринги и другіе, и именно потому что родились со страстью къ мореплаванію? Что, еслибы нъжные родители того или другаго запретили путеществовать своему сыну? Чего бы тогда лишилась наука и человъчество!... Любовь и уваженіе къ родителямъ, безъ всякаго сомнёнія, есть чувство святое; но все должно быть въ своихъ границахъ и ничто ничему не должно мѣшать. Всякій человѣкъ обязанъ своимъ родителямъ; но въ то же время онъ есть

и самь себѣ цѣль, такъ что ограничить поприще его жизни только успокоеніемъ «нѣжныхъ родителей» значило бы уничтожить его значеніе, какъ существа разумнаго, самостоятельнаго и свободнаго, имѣющаго обязанности не только къ родителямъ, но и къ обществу, и къ самому себѣ, — обязанности не менѣе первыхъ священныя. Изволите видѣть, Робинзонъ былъ наказанъ судьбою за то, что послѣдовалъ своему внутреннему влеченію, самою природою въ него вложенному!

Нослѣ «чистѣйшей правственности» особенно илѣнительны въ книжицѣ картинки, но еще восхитительнѣе подписи подъкартинками; вотъ одна изъ таковыхъ: «Робинзонъ ви Кинутъ на островъ послѣ Корабле Крушенія»...

СТИХОТВОРЕНІЯ ВЛАДИСЛАВА ГОРЧАКОВА. Москва. 1839.

Признакъ разумности всякаго явленія есть его необходимость, тогда какъ, на оборотъ, признакъ безсмысленности всякаго явленія есть его случайность. Законъ этотъ всего разительніве выказывается въ произведеніяхъ ума и творчества человіческаго. Вы читаете романъ Вальтеръ-Скотта, знаете, что это вымыселъ, что пичего этого не было; но между тімъ принимаете въ разсказанномъ событін такое живое участіе, какъ будто бы оно связано съ собственною вашею жизнію; вы любите его героевъ, или ненавидите ихъ, какъ будто бы они вамъ знакомы, будто бы вы ихъ виділи, знаете ихъ въ лице; прочтя романъ, вы продолжаете его въ своей фантазіи, думая, что сталось съ тімъ и другимъ лицомъ, какъ начало послітого жить то и другое лице. Отчего это?—оттого, что тутъ все необходимо, т. е. что всіз событія вытекаютъ изъ индивидуальностей дібіствующихъ лицъ, ихъ личностей и харакъ

теровъ, всей ихъ непосредственности, и изъ взаимпыхъ ихъ положеній и отпошеній другь къ другу; оттого что авторъ не положиль туть ни одной случайной черты, ни одного произвольнаго штриха, которые можно было бы выскоблить безъ ущерба и искаженія цілаго; но всь его черты, до мальйшаго штриха, необходимы, слёд., разумны, а потому неизмёнимы и пезамѣнимы. Но не таковы нѣкоторые петербургскіе и московские романы: и въ нихъ, повидимому, все естественно, все оправдывается извъстными и достаточными причинами; но вы на зло собственному разсудку и самимъ себъ, какъ-то не признаете очевидности этихъ причинъ, но васъ оскорбляеть самая простота и естественность этихъ событій, которыя, по прочтенін, смутно, хаотически бродять въ вашей памяти, какъ несвязные отрывки какого-то тяжелаго и нескладнаго сна, котораго вы не можете себъ ясно припомнить, какъ ни силитесь. Отчего это?-оттого, что всв эти событія произошли и явились сами по себь, безь всякаго соотношенія къ дъйствующимъ лицамъ, безъ всякой зависимости отъ нихъ, и это опять не случайно, а по причинъ, потому что эти дъйствующія лица не суть субъективныя опредъленія, возникшія изъ зерна самой въ себъ замкнутой (чтобъ не сказать нъмецкимъ словомъ-конкретной) мысли, носящіе въ самихъ себъ, а не внъ себя свою необходимость или разумность, по безличные призраки, слапленные чрезъ вившиее слъпление отвлеченныхъ признаковъ, и потому чисто случайные и произвольные. Точно такъ же, посмотрите: воть стихи; они просты, какъ обыкновенная разговорная рѣчь, чужды пестроты и яркости цвътовъ и красокъ; но вы невольно останавливаетесь надъ ними; но вы навсегда знаете ихъ, если разъ узнали, и иногда, прочтя нечаянно и безъ винманія, вспоминаете и помните ихъ уже послѣ прочтенія, къ собственному своему удивленію: значить, что въ нихъ все необходимо, что въ нихъ одинъ стихъ ведетъ за собою другой, и что не рифма, а внутренняя, невидимая связь съ

первыми стихами условливаетъ послъдніе; не зная второй строфы, вы узнаете ее, когда прочтете; какъ будто бы прежде знали ее, и вы безошибочно сами угадываете, что воть этимъ стихомъ оканчивается вся піеса. Папротивъ, у пнаго поэта стихъ и гладокъ, и звученъ, и громокъ, образы поразительны своею повостію и смілостію, мысль основная ярка и цвітиста, а между тёмъ вамъ не хочется прочесть этихъ стиховъ, которыми вы, при первомъ чтенін, можетъ-быть, восхищались; даже и не переставая удивляться имъ, вы пикакъ не можете удержать ихъ въ намяти, а если и достигаете этого, то усиліемъ, и притомъ такъ, что безпрестанно забываете; вамъ все кажется, что чего-то недостаетъ въ нихъ; несмотря на ихъ высокое, но вашему мижнію, достоинство, въ нихъ есть что-то странное: это что-то есть произвольность, случайность; не сами собою сошлись эти стихи, вызванные волшебнымъ скинетромъ чародъя поэта, итъ, ихъ свель насильно, за-вороть или напряженный, неестественный восторгъ, какъ бы отъ пріема опіума пли дурмана, пли конечная воля и самолюбіе, при усильномъ трудѣ; они могутъ быть исправлены, переправлены, измънены, перемънены, потому что не динамическою самодъятельною силою изъ пичего являющагося духа созданы опп, но сдъланы механическимъ разсчетомъ, обдуманнымъ соображеніемъ. Истинный ноэтъ, когда пишетъ, видитъ передъ собою все свое стихотвореніе въ его цълости; ложный, написавши два первые стиха съ раза и не думая, обыкновенно задумывается надъ двумя послёдними, и эти два послёдніе бывають обязаны своимъ явленіемъ не самимъ себъ, а рифмъ. Что же въ этомъ случав значить рифма? — Чиствйшую случайность, сестру произвольности, плодородную мать призраковъ.... Какъ явленіе, эта случайность имъетъ свой интересъ для паблюдающаго духа, точно такъ же, какъ имъють для него свой интересъ уродливыя болтани, уродливые младенцы о двухъ головахъ, съ однимъ глазомъ... Особенно интересна эта призрачность,

когда принимаетъ на себя призракъ дъйствительности, такъ что только опытный глазъ и сильное, острое внутреннее зрънее могутъ разсмотръть ее. Это зависитъ отъ большей или меньшей образованности, силы разсудка и воображенія (а не разума и фантазіи), опытности, сметливости, ловкости и смълости того, чье самолюбіе или заблужденіе порождаетъ ее. И такую случайность безнощадио должно преслъдовать, какъ врага сильнаго и опаснаго, который не лучше лукаваго задернетъ отъ неопытнаго взора дъйствительность и замънитъ ее обманчивыми призраками. Но когда она является въ лохмотьяхъ, во всей отвратительности своего нищенства—всякое ожесточеніе противъ нея будетъ донкихотствомъ.

Стихотворенія г. Горчакова занимають місто въ золотой середині между двумя этими странностями: ихъ стихъ довольно гладокъ и вообще благопристоенъ, такъ что ихъ нельзя причислить къ числу явленій рыночной литературы; но въ то же время ихъ стихъ и далеко не такъ звонокъ, блестящъ, гладокъ, мысль ярка и затійлива, чтобы ихъ можно причислить къ той случайности, которую не всякій можетъ отличить отъ дійствительности.

Такъ ты, моя арфа, Огонь своихъ звуковъ Надъ сердцемъ разсыпь И радугой небо Души моей сирой Утъпь хоть на мигъ!

Поэтъ проситъ свою арфу, чтобы она «разсыпала надъ сердцемъ его огонь своихъ звуковъ, и небо сирой души его утъшила хоть на мигъ радугою»—и- не грамматически, и не складно! Словомъ, это больше, чъмъ соединеніе нъсколькихъ случайностей: это просто—соединеніе пъсколькихъ нельпостей... Но, скажутъ, это только шесть стиховъ изъ цълой піесы, а въ одной піесъ могутъ найдтись шесть дурныхъ сти-

ховъ. Чтобы не подозрѣвали насъ въ пристрастін, укажемъ, пожалуй, на цѣлое стихотвореніе «Цвѣтокъ».

Скажите, Бога ради, поняль ли хоть что-инбудь въ этомь стихотвореніи вашь разсудокь—я уже не говорю, ваше чувство? «Подъ зеленою сосною цвѣтеть душистый цвѣтокъ, не роза, не ландышь и не темная фіалка, а краса полей—незабудка; цвѣтокъ этоть носаженъ и взлелѣянъ красавицеюдѣвицею, онъ увянеть, а сосна все зеленая (для стиха тутъ пропущенъ глаголъ, безъ котораго въ неріодѣ не достаетъ смысла); на будущую весну опять взойдеть, а сосну ужь сломаль вѣтеръ, и солнечный жаръ спалить цвѣтокъ «во цвѣтъ дней»; увяла ты, моя любовь, дѣвица въ могилъ, какъ незабудочку ее сгубилъ ненастный рокъ». Что это такое? Повторяемъ: даже и не случайность, а просто—безтолочь...

РБЧИ, ИРОИЗНЕСЕННЫЯ ВЪ ТОРЖЕСТВЕН-НОМЪ СОБРАНІИ ИМПЕРАТОРСКАГО МОСКОВС-КАГО УНИВЕРСИТЕТА 10 ПОНЯ 1839. Моской:

Въ брошюръ, заглавіе которой здѣсь вынисано, кромъ рѣчей гг. Морошкина и Сокольскаго, есть еще и «Краткій отчетъ о состояніи Императорскаго Московскаго Университета за 1838—1839 академическій годъ».

Вотъ уже третій годъ, какъ мы читаемъ въ московскихъ университетскихъ «актахъ» превосходныя рѣчи. Въ 1836 году мы прочли прекрасную рѣчь г. Щуровскаго; въ 1838 году мы прочли прекрасную рѣчь г. Крылова о римскомъ правъ: въ нынѣшиемъ году мы прочли превосходную рѣчь г. Морошкина «объ Уложеніи и послѣдующемъ его развитіи»...

Еслибы мы хотъли шагъ за шагомъ слъдить за развитіемъ этой ръчи, то наша рецензія превратилась бы въ огромную критику; а еслибы мы хотъли выписать всъ мъста, отличающіяся могучимъ и увлекательнымъ краснорѣчіемъ, то намъ пришлось бы перепечатать почти всю рѣчь, отъ слова до слова. Предоставляемъ самимъ читателямъ прочесть ее всю, а сами слека коснемся кой-какихъ мѣстъ.

На 22 страницѣ мы встрѣтили мысль, поражающую читателя своею страиностію. Ораторъ находить въ рускомъ народъ «творческій, безконечно изобрѣтательный смыслъ, который непрерывно выступаеть изъ круга положительности, непрерывно стремится впередъ, совершая новые обороты, проявляя новыя стороны человъческаго духа». Мы совершенно согласны съ этою фразою, особенно если въ ней слово «смыслъ» замѣнить словомъ «разумъ», но мы никакъ не можемъ согласиться, чтобы эта, какъ называеть ее ораторъ, «непостижимая тонкость смысла» была и добродътелью и недостаткомъ народа, какъ и умственная добродътель, почти всегда обличающая недостатокъ развитія высшихъ душевыхъ силь-ума, воображенія и эстетическаго чувства. Что въ русскомъ народѣ есть огромный элементь разумности; -- это несомивнио; и эта многосторонность духа, о которой говорить самь ораторь, что же она, какъ не проявление разума? Что у нашего народа есть не только обыкновенная способность — воображеніе, эта память чувственныхъ предметовъ и образовъ, но и высшая, творческая способность-фаптазія и глубокое эстетическое чувство-это доказывають русскія пародныя пъсни. то заунывныя и тоскливыя, то трогательныя и нежныя, то разгульныя и буйныя, но всегда безконечно могучія, всегда выражающія широкій разметь богатырской души... Что разумъ и эстетическое чувство суть по преимуществу достояніе и принадлежность великаго народа русскаго, его характеристическія прим'яты, — это доказывають и наши гигантскіе успрхи вр инвилизаціи вр столь короткое время, и наше молодое просвъщение, и наша молодая литература. Сто лътъ пазадъ мы имъли только сатиры Кантемира, а теперь уже гордимся именами Ломоносова, Фонъ-Визина, Державина, Карам-

зина, Крылова, Батюшкова, Жуковскаго, Грибовдова... А такія гигантскія проявленія русскаго духа, такіе могучіе проблески его, какъ Пушкинъ и Гоголь?... Неужели русскій пародъ богатъ только разсудкомъ и бѣденъ разумомъ и эстетическимъ чувствомъ? «Тонкость разсудка можетъ развиться и въ дряхлѣющемъ и въ младенческомъ обществѣ отъ умственнаго и правственнаго застоя»-говоритъ ораторъ. Дъйствительно такъ, т. е. отъ такихъ причинъ развилась тонкость разсудка у Персіянъ и Китайцевъ: неужели нодъ эту же категорію подходить и молодая Россія, молодая, несмотря на то, что имъетъ уже девятивъковую исторію и совершила нъсколько цикловъ своего развитія?... Нѣть, послѣ указаиныхъ нами фактовъ, такая мысль-парадоксъ, не имѣющій даже и достоинства страиности. «Напротивъ того — продолжаетъ ораторъ-глухота разсудка, при остротъ ума и воображенія, бываетъ иногда плодомъ высокой цивилизацін, добродътелью свободно рожденнаго народа» Еще нарадокеъ!... Мы желали бы, чтобы ораторъ указалъ намъ на народъ, отличившійся или отличающійся умомъ, эстетическимъ чувствомъ, а вмъстъ съ тъмъ и глухотою разсудка, какъ результатомъ высокой цивилизаціи. Мы думаємъ, что необыкновенная сила разсудка какъ въ человъкъ, такъ и въ народъ, отнодь не усдовливаетъ силы разума и обладаніе эстетическимъ чувствомъ; но что разумъ и эстетическое чувство необходимо условливають и необыкновенную силу разсудка. Въ отношении къ разсудку и практическому уму ни одинъ народъ въ мірѣ не можеть равияться съ Французами, -- по за то какой же пародъ въ Европъ бъдите ихъ разумностію, фантазіею и эстетическимъ чувствомъ? Напротивъ, Апгличане, гордящіеся Шекспиромъ, Байрономъ и Вальтеръ-Скоттомъ, суть въ то же время и народъ, отличающійся силою разсудка, способностію анализа и практическимъ умомъ. Если въ ихъ искусствъ и ихъ исторіи видно преобладаніе разума и фантазін, то въ ихъ мышленін видно явное преобладаніе разсудка. Голландцы, со-

отечественники Рубенса, гордые двумя школами живописипидерландскою, и орлеанскою, — въ то же время суть и народъ разсудка и практическаго ума. Какая чудовищно-огромная сила разсудка видна въ Нѣмцахъ Кантѣ и Гегелѣ, которые, особливо последній, въ то же время отличаются и чудовищноогромною силою разума и эстетическаго чувства, не говоря уже о томъ, что вообще умозрительные, трансцендентальные и фантастическіе Нъмцы въ дъйствительной и практическиположительной жизни аккуратны и разсудительны какъ пельзя болье. Такъ точно и русскій народъ, богатый элементами разума и эстетическаго чувства, въ то же время отличается и необыкновенною смътливостію, смышленостію, практическою дѣятельностію ума, остроуміемъ, аналитическою силою разсудка. «Но если природа и исторія создали насъ юристами, а не философами и не поэтами, и мы привычите къ землъ, чёмъ къ облакамъ, то будемъ же довольны нашею судьбой, будемъ юристами въ совершенствъ, будемъ Римляпами въ юриспруденціп». Прекрасно, но мы никакъ не можемъ удовлетвориться такою бъдною участью. Нъть, мы думаемъ, пли, лучше сказать, мы върниъ и знаемъ, что міродержавныя судьбы въчнаго промысла, природа и исторія, не осудили Россін на такое одностороннее и узкое существованіе въ тѣснотъ котораго пеестественно склались бы огромные члены ея богатырскаго тъла, прервалось бы дыханіе ея широкой груди и сжался бы глубокій и могучій духъ. Нътъ, мы въримъ и знаемъ, что назначение России есть всесторонность и универсальность: она должна принять въ себя всё элементы жизни духовной, внутренией, гражданской, политической, общественной, и, принявши, должна самобытно развить ихъ изъ себя... Мы еще не философы-это правда, по мы уже обнаруживаемъ живое стремленіе къ разумному знанію, и если не въ философін, то въ частныхъ знаніяхъ даже оказали уже ивкоторые успвхи, и русское просввщение гордится уже имечами ивсколькихъ знаменитыхъ математиковъ, астрономовъ, ч

мореплавателей. Сколько знаній было соединено въ лицъ одного отца русской науки и русской литературы Ломоносова! Что касается до поэзін — мы уже давно поэты: въль Пушкинъ не могъ же быть явленіемъ случайнымъ, а Пушкина мы, даже по сознанію самихъ иностранцевъ, смѣло можемъ противопоставить любому поэту всёхъ народовъ и всёхъ вёковъ. Такъ зачёмъ же намъ быть только юристами, новыми Римлянами въ юриспруденціи? — Мы будемъ и юристами, и Римлянами въ юриспруденціи, но мы будемъ и поэтами, и философами, народомъ артистическимъ, народомъ ученымъ, и народомъ воинственнымъ, народомъ промышленнымъ, торговымъ, общественнымъ... Въ Россін видно начало всъхъ этихъ элементовъ, и если эти элементы все еще остаются элементами, а не дъйствительными явленіями, это значить, что всъ извъстныя опредъленія не въ пору ему, что гнило для него всякое человъческое оружіе, непадежны пикакіе человъческіе доспъхи, и потому-то онъ, какъ божественный Ахиллъ, безоружный, бездъйственный, но могучій и страшный, ждеть отъ пебожителя Гефеста неземнаго вооруженія; а для враговъ н недруговъ ему достаточно выйдти на валъ и трикраты крикнуть... Не можемъ довольно надивиться, какъ такая странная мысль попала въ такую прекрасную рѣчь... но это единственное пятно ея...

Чрезвычайно любонытно въ «рѣчи» изложеніе, или лучше сказать, разложеніе юридическихъ началъ «Уложенія», разложеніе, въ которомъ разсматриваетъ ораторъ основные законы «Уложенія», государственныя учрежденія (чины, приказы — розрядный, помъстный, приказъ большаго прихода, посольскій, судный, разбойный или сыскной, холоній, земскій, стрълецкій, духовное управленіе, іерархія), областныя учрежденія (воевода, приказная, съъзжая изба или палата, губные старосты, цъловальники, части, розряды, городовые прикащики и городничіе, таможенные или торговые суды, площадные подъячіе, просвъщеніе, его религіозный характеръ

до Федора Алексѣевича и Софін Алексѣевны, славяно-греколатинская академія, приказъ книгонечатнаго дѣла), государственная служба, мѣстничество, взятки, состоянія народа (дворянство, духовенство, городскія сословія), гражданскіе законы. Превосходенъ взглядъ оратора при рѣшеніи заданнаго имъ себѣ вопроса: «На какихъ началахъ основана гражданская часть «Уложенія». Начала эти семейственныя, натріархальныя, по его рѣшенію, которое кажется намъ глубоковѣрнымъ и истиннымъ.

Еслибы такимъ образомъ юристы наши обработали исторію права на Руси и разоблачили его внутрениее значеніе и сокровенную, таинственную сущность — мысль, — какъ далеко подвинулась бы русская исторія! Право есть красугольный камень общественнаго зданія, цементь, связывающій его части, и потому, пока темна эта сторона исторін какого-либо народа, то и сама исторія его по необходимости есть темный. непроходимый лёсь. Монета, подати, источники промысловь, основанія военной службы, права сословій, ихъ взаимныя отношенія, судъ и расправа, нхъ формы — безъ знанія всего этого нътъ знанія исторіи. Исторія войнъ и договоровъ есть только одна сторона исторіи народа, есть исторія частная. Итакъ, пусть сперва обработають эти частныя исторіи; пусть запимающійся дипломатіей разработаеть исторію договоровь; воинъ-изобразитъ намъ характеръ и развитіе военнаго искусства въ Россін; литераторъ, лингвисть-исторію и развитіе литературы и языка; другой-исторію іерархій, монастырей и такъ далъе. Это по важиве вопроса, важности котораго никто не взяль на себя труда истолковать, вопроса, безплодныя ръшенія котораго успъли уже сдълать сухимь п педантскимъ занятіе русскою исторією. Вотъ, когда обработаются всё эти частныя исторіи, или эти отдёльныя стороны исторін русской — тогда только возможна будеть истинная русская исторія, безъ «высшихъ взглядовъ» и построенная не на нескъ, а на твердомъ основанін. Судя по ръчи г. Мо-

рошкина, мы можемъ смёло надёяться отъ него великихъ услугъ русской исторіи со стороны иден и развитія русскаго права, русскаго законодательства и русскаго судопроизводства. Г. Морошкинъ принадлежитъ къ новому поколънію ученыхъне къ тому, которое красноръче отличаетъ отъ ноэзін характеромъ живописи, а поэзію отъ краснорічія—характеромъ музыки, которое деленіе поэзін на эпитическую, лирическую и драматическую основываетъ на прошедшемъ, будущемъ н настоящемъ времени, которое, наконецъ, громкими фразами сидиться прикрыть нищету своихъ знаній; итть г. Морошкинъ не имъетъ ничего общаго съ этими учеными: всъмъ извъстна его пламенная любовь къ паукъ, его огромная начитанность, добросовъстная ученость, а рычь его показываеть еще, что Богъ даль ему душу живу, открыль его разумънію таинственную глубину мысли и одарилъ его огненнымъ словомъ. Вся рѣчь г. Морошкина есть образецъ глубокомыслія. учености, живаго пламеннаго красноръчія, мъстами возвышающагося до поэзін. Мы не можемъ удержаться, чтобы не выписать изъ его рѣчи хоть два мѣста, особенно подтверждающіе наше мивніе о цвлой рвчи г. Морошкина.

"Чего жъ не доставало русскому народу? Преобразованія! Его не доставало для семнадцатаго въка! Явился царь съ горящею мыслію въ очахъ, съ отважной думой на челъ и съ громоноснымъ словомъ власти! Онъ страшный кинулъ взоръ на царствующій градъ, сурово посмотрълъ на даль прошедшаго, и двинулъ царство на него. Что жъ не понравилось сму въ наследін предковъ? Что возмутило Петра въ творенім его отцовъ? Но эта тайна души великой, глубокая тайна генія! Мы видёли только внёшнее этого духа, который, какъ грозное облако, прошелъ надъ русскою землею. Мы видъли, какъ онъ сочувствоваль Іоанну Грозному, какъ благоговъль предъ кардиналомъ Ришельё, и какъ не терпъль византійскаго двора, его роскошества и лъни, его ханжей и лицемъровъ. Какое грозное соединение стихий въ душъ смертнаго, рожденнаго повелъвать и царствовать! И къ этому огненному началу нравственной его жизни присоединилось глубочайшее сознание собственныхъ силъ. Посланникъ неба, самодержавный смертный, рашительно рожденный для преобразованій! Въ какомъ бы

онъ въкъ ни родился, въ какомъ бы народъ ни воспитался, онъ всегда и вездъ былъ бы преобразователемъ. Это его природа! Если бы онъ былъ современнымъ древнему Язону, его постигла бъ участь божественнаго Иракла Онъ былъ бы слишкомъ тяжелъ для легкой греческой армады. Но Провидъніе знало, гдъ произвести на свътъ необычайнаго смертнаго. Только русскій корабль могъ сдержать такого страшнаго пассажира! Только русское море могло носить на хребтъ своемъ столь отважнаго мореходца! Только Россія могла не треснуть отъ этого духа который напрагалъ ее, чтобъ уравнять ен силы съ своею исполинскою мощію!...

Какъ жаль, что этотъ пламенный дивирамбъ, достойный истиннаго поэта, а уже не оратора, какъ чернильнымъ пятномъ бѣлая бумага, подпорченъ одною риторическою фразою! Ораторъ спрашиваетъ себя: «что жь не нравилось ему въ наслъдіи предковъ?—Что возмутило духъ Петра въ твореніи его отцовъ?» и отвѣчаетъ: «но это тайна души великой, глубокая тайна генія» Риторическая фраза! Гдѣ тутъ тайна?—Дѣло ясно! Петра возмутила отжившая идея, мертвая форма, невѣжество, предразсудки, лѣнь, азіатизмъ и китаизмъ народа, котораго силы онъ зналъ и назначеніе пророчески предугадывалъ. Но къ чему наши слова, когда самъ ораторъ, чрезъ иѣсколько строкъ, обпаруживаетъ пустоту этой фразы слѣдующими чудными строками:

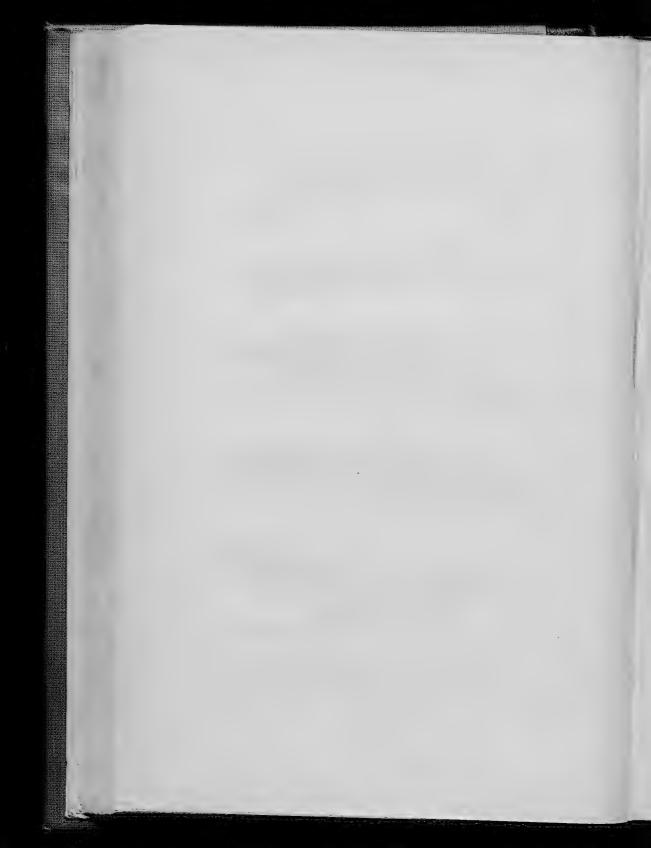
"Преобразователь въ теченіи всей своей жизни храниль въ себъ тайное сознаніе, что не одно рожденіе возвело его на престоль, но сила высшая призвала его царствовать надъ народами! Онъ чувствоваль, что не кровь, а духъ его долженъ предшествовать. Онъ отвертъ сына и возжелаль оставить по себъ достойнъйшаго. Но великій человькъ не пріобщился нашимъ слабостямъ! онъ не зналъ, что мы и илоть и кровь! Онъ былъ великъ и силенъ, а мы родились и малы и худы, намъ нужны были общіе уставы человъчества! Петру Великому не нравилось наше древнее государственное устройство. Государева боярская дума должна была уступить мъсто сенату; областныя приказы ландратамъ и ландрихтерамъ. Ему не нравились наши цъловальники, наши дъяки и подънчіе. Онъ желалъ бы посадить на ихъ мъсто плънныхъ Шведовъ, секретарей и шрейберовъ цесерской служъбы. Ему не нравилось прошедшее Россіи. Но всъ эти перемяны ничто

въ сравнени съ преобразованіемъ государственной службы. Самъ, начавъ съ солдата гвардіи, онъ прошелъ медленно по лъстницъ подчиненія, и завъщалъ се свовмъ подданнымъ. А что кормленье прежнее, что царскій хлъбъ соль? Въ потъ лица ъли ихъ слуги Петра Великаго. Нигдъ онъ не былъ такъ грозенъ своимъ правосудісмъ, какъ противъ дармоъдовъ, мірскихъ ъдухъ и казнокрадовъ. Не уважан частной собственности, когда думалъ объ отечествъ, за къждую копъйку, излишне взятую сборщикомъ податей, или переданную коммисіонсромъ торгашу, онъ былъ неумолимъ для виновнаго".

Каждый годовой отчетъ о дъйствіяхъ и состояніи Московскаго университета должень возбуждать живъйшее участіг. Московскій университеть—единственное высшее учебное заведеніе въ Россіи; онъ не знаеть себъ соперниковъ; у него есть исторія, потому что для него всегда существовало органическое развитіе. Въ Московскомъ университетъ есть духъжизни, а его движеніе, его ходъ къ усовершенствованію такъбыстръ, что каждый годъ онъ уходить впередъ на видимое разстояніе.

II.

ТЕАТРЪ.



МОСКОВСКІЙ ТЕАТРЪ.

Домъ на нетербургской сторонь или некусство не илатить за квартиру, водевиль въ 1-мъ дъйствіи; Жена артиста, драма въ 2-хъ дъйствіяхъ, соч. Скриба, пер. съ французскаго Н. А. Коровкина; Цыганы, драматическое представленіе, взятое изъ поэмы А. С. Пушкина; Первое представление «Мельника, колдуна, обманщика и свата», комедія въ 1-мъ дъйствіи, соч. Н. А. Полеваго; Меръ по выбору и смълый по неволь, водевиль въ 1-мъ дъйствіи, переводъ съ французскаго. (Бенефисъ г-жи Орловой 13 октября).

Мы устали, только переписывая длинную афишку, испещренную такимъ множествомъ заманчивыхъ заглавій, и у насъ ръшительно не достало бы силъ переписать ее со всъми ел заманчивыми подробностими и именами. Г-жа Орлова радушно, по-московски, угостила московскую публику, и московская публика осталась ею очень довольна. И какъ было не остаться довольною публикъ? бенефисъ ен страсть, а расположение къ длиннымъ афишкамъ доходитъ въ ней иногда до слабости; ежели же къ многочисленности присоединится и новость піесь, она не скупится на плату, и театръ бываеть полнехоневъ Мочаловъ прошлаго года далъ въ свой бенефисъ Шекспирова «Лира» твореніе міровое и въковое, хотя и безбожно искаженное переводомъ и безсмысленными пропусками. Огромный таланть бенефиціянта, любовь къ нему публики, кажется, могли бы объщать блестящій успъхъ, но піеса была уже сценически знакома публикъ, и была, знакома ей не

совсемь съ хорошей стороны, хотя въ этомъ быль виновать и не Мочаловъ, въ первый разъ являвшійся въ ней, — и въ театръ было просторно. Кто же виновать въ этомъ, если не самъ артистъ? Имя Шекснира велико въ Москвъ послъ блестящаго усивха «Гамлета» и «Отелло», благодаря великому дарованію Мочалова; но за все надо браться ум'єючи, осторожно; благородный артистъ руководствовался не разсчетами корысти, а любовію къ искусству, и его наградою быль вос торгъ зрителей и ихъ многочисленность при повторенін піесы, но мы говоримъ не о немъ, а о публикъ. Она навсегда вникаетъ въ причину явленія, и, обманувшись въ ожиданіи, не предается ему въ другой разъ. Ей изтъ дъла до того, что піеса злополучно переведена, злополучно изуродована пропусками, злополучиве поставлена, наконецъ злополучно была выполнена, ей нътъ дъла и до того, что не Мочаловъ виновать во вскхъ этихъ злополучіяхъ: опа ръшаетъ, что піеса скучна, смѣшивая съ піесою пародію и сценическое выполненіе. Такъ, напримѣръ, виновата ли она въ томъ, что не хочеть больше видѣть «Отелло», и что каждое новое представленіе этой великой драмы есть новое ея паденіе? Что за нужда ей знать, что піеса поставлена какъ только возможно злонолучиве, какъ будто бы объ этомъ хлонотали съ особеннымъ усердіемъ; что за нужда ей знать, что, послъ последняго пребыванія на московской сцене г. Каратыгина, «Отелло» сталь даваться съ выпускомъ лучшихъ мъсть-торжества таланта Мочалова; что съ тъхъ поръ она лишена связи, смысла; что всякій актеръ въ ней воспользовался страннымъ правомъ выпускать изъ своей роли что ему угодно?... Она знаетъ только то, что въ ніесъ пъть здраваго смысла, что въ ней инчего нельзи понять, какъ будто бы ее писаль не Шекспиръ, а какой-нибудь доморощеный водевелисть; что Мочаловъ въ ней каждый разъ все слабъе и слабъе, и она права, что, избъгая скуки за свои же деньги, не хочеть больше видъть «Отелло». Точно также не права, что любитъ

длинныя афишки, испещренныя множествомъ новыхъ ніест и пменами старыхъ знаменитостей своей сцены, и что она толною пахлынула на бенефисъ г-жи Орловой, такъ что почти мъста пустаго не было въ огромпой залъ Петровскаго театра. Бенефиціантка также права, что хотъла угодить публикъ. Гдъ объ стороны довольны одна другою, тамъ третья не имъетъ права вмѣшиваться, и потому намъ остается только хвалить—и мы хвалимъ.

Но достопиство піесъ другое діло, нежели ихъ множество и новость, за пихъ отвічають ихъ авторы, а не бенефиціантка, п мы попросимъ ихъ отвітить.

«Домъ на петербургской сторонъ или искусство не ила тить за квартиру» — фарсъ, который смѣшитъ не замысловатостію, не остроуміємь, а своєю нельностію. Однако онь смъщить, а не усыпляеть: за неимъніемъ лучшаго, и это достоинство, и за это спасибо. У скряги Конейкина нанимаетъ квартиру молодой повъса Субботинъ, и заключаетъ контрактъ на полгода. Будочникъ приноситъ его пожитки, матрацъ и трехногій стуль; Копейкинь приходить въ отчанніе, что обманулся щегольскою одеждою своего постояльца и счель его за богатаго человъка. Субботинъ любитъ Анну Семеновну Жемчужнину, которая нанимаетъ квартиру у Колейкина, и которую Копейкинъ не спускаетъ съ квартиры, потому что она за нее ему задолжала. Къ Субботину приходятъ его пріятели, департаментскіе офицеры съ гербовыми пуговицами: Бушуевъ, Дудинъ, Ухорскій. Ужь не ихъ фамиліямъ вы узнаете, каковы эти господа офицеры. Они начинають шумъ и гвалть, по вызову Субботина. Прибъгаеть хозяинъ; они его окружають, и, приложа къ губамъ свертокъ дёловыхъ бумагъ, уже не насвистывають; а накрикивают во все горло мотивъ «адскаго вальса» изъ «Роберта». Субботинъ начинаетъ дълать разныя требованія отъ хозянна, особенно, чтобы опъ отпустиль безъ денегъ Жемчужнину. Хозяинъ не соглашается-новый адскій крикъ; грозитъ полицією—Субботинъ хладнокровно говоритъ,

что полиція давно ужь отступилась отъ него, бьеть степла, стучить въ поль студомъ. Наконецъ Копейкинъ соглашается на все; и вдругъ Домна, кухарка Конейкина, какъ-то открываеть, что Субботинь сынь ея господина; Копейкинь очень неохотно въ этомъ увъряется и еще неохотиъе соглашается на бракъ Субботипа съ Жемчужниною. Все это лишено всякой правдоподобности, остроумія и смысла; но все это возбуждало въ верху пенстовый смёхъ. Г. Орловъ игралъ Копейкина, и сыграль бы его очень хорошо, еслибы въ натуръ его игры было побольше граціи и поменьше грубости. Г. Ленскій хорошо бы сыграль роль Субботина, если бы придаль ей побольше веселости и комизма. Г-жа Степанова, можеть быть, тоже хорошо сыграла бы свою роль, еслибы въ ея роли было хоть на конейку смысла. Гг. Максипъ 2-й, Звъровъ, Шубертъ и прочіе, не поименованныя въ афинкъ, также хорошо бы сыграли свои роли, если бы въ ихъ игръ было хоть сколько-нибудь натуры и развязности. Г-жа Кашина выполнила свою роль хорошо, безъ всякихъ «бы».

«Жена артиста» — французская мелодрама во вкусъ прошлаго въка, съ чувствительными эффектами. Живописецъ любить дввушку-аристократку; не надвясь получить ся руку, онъ увхалъ въ Россію, гдв, прожилъ три года, возпратился въ Парижъ и, какъ отецъ его возлюбленной отошелъ къ своимъ знаменитымъ предкамъ, женился на ней. Вотъ и живетъ онъ съ нею какъ голубь съ голубкою: то порисуетъ, то поворкуеть. А художникъ онъ знатный-пишеть картины тысячь по двадцать франковъ каждую. Однако онъ все таки вошель въ больше долги, потому что уплатиль долги своего тестя и содержить жену такъ, чтобы она не замътила перемъны своего состоянія. За женою его волочится виконть де-Ретель, да потомъ ужь волочится и за ея горинчною, Викториною, въ которую влюбленъ дуралей Августинъ, подмастерье Клермонта. Надо сказать, что Клермонть считаеть виконта своимъ задушевнымъ другомъ. Эвелина открываетъ ему гла-

за-и онъ начинаетъ свиръпствовать противъ виконта, какъ негодяя; а виконтъ ему намекаетъ о векселѣ въ шесть тысячь франковъ, которому срокъ вышель въ этоть же вечеръ. Живописецъ въ отчаяніи: долгу на немъ двадцать тысячъ, а денегъ въ карманъ ни гроша-надо продать лошадей, мебель, перемънить квартиру, лишить свою жену всъхъ удобствъ жизни, къ которымъ она привыкла съ малолътства. Бъда да и только! Но вдругъ вбъгаетъ Викторина съ письмомъ, содержащимъ въ себъ предложение правительства-написать двъ картины, по 20,000 франковъ за каждую; Клермонтъ бросается къ палитръ, но - о ужасъ! - онъ вдругъ ослъпъ... Первый актъ кончился. Во второмъ актъ, Клермонтъ, сидя въ креслахъ, слъпой, жалобио воркуетъ съ Эвелиною, которая сбирается идти погулять и, давши ему слово возвратиться скоръе, оставляетъ его одного ворковать. Входитъ Августинъ и открываеть Клермонту за тайну, въ видъ жалобы, что виконтъ де-Ретель попрежнему волочится за Викториною. Клермонтъ въ изумленін; онъ думалъ, что виконтъ ужь давно Богъ знаеть гдъ. Августинъ говоритъ ему еще, что они живутъ, хотя на другой квартиръ, но все таки опрятной и красивой и что ихъ мебель все та же, —и въ доказательство даетъ Клементу ощунать одно кресло. Наконецъ онъ говоритъ, что барыня часто отлучается изъ дома, и онъ видълъ у ней брильянтовый перстень. Клермонтъ высылаетъ Августина и ощупью доходить до бюро, въ которомъ и отыскиваеть роковой перстень, и, проворковавъ жалобно и горестно на свое злополучное одиночество и потерю чести, съ отчаннія уходить въ другую комнату. Вдругъ входитъ виконтъ де-Ретель и, встръченный Викториною, говорить ей «въ 7 часовъ», отдаетъ нисьмо и хочеть уйдти, какъ вдругъ вбъгаеть Августинъ и начинаеть свиръпствовать. Виконтъ приказываетъ ему молчать, грозитъ въ случав нескромности, и уходитъ. Входитъ Клермонтъ, и узнаеть отъ глуно-свиръпствующаго Августина, что тутъ былъ виконть; Клермонть въ пущемъ отчаний и наибольшемъ эло-

получии. Эвелина возвращается съ прогулки—и они оба начинаютъ ворковать. Клермонтъ упраниваетъ ее не оставлять его на этотъ вечеръ одного — Эвелина говоритъ ему, что она дала слово быть у кого-то. Новое подтверждение свиръныхъ подозржий Клермонта! Наконецъ, на его неотступныя воркованія она соглашается остаться, просить его отдохнуть, а сама просить позволенія побыть въ своей комнать, къ которой подходить, хлопаеть дверью и на цыночкахъ уходить въ другую дверь, потому что, еще во время ея разговора съ мужемъ Викторина дълала ей знаки и говорила, что ее ждутъ. Узнавши, что жены ибть дома, Клермонть подходить къ окну своей комнаты; находящейся въ третьемъ этажъ, чтобы выпрыгнуть изъ нея и «смертію окончить жизнь свою», какъ вдругъ вбъгаетъ Эвелина... Дъло, изволите видъть, въ томъ, что она ръшилась, изъ любви къ мужу, опредълиться на сцену и своимъ блестящимъ талантомъ доставить ему довольство; что же до виконта, онъ сначала хотълъ ее соблазиить, а потомъ, видя неудачу и тронувшись ея добродътелью (върность жены мужу во Франціи почитается добродътелью, и еще столь же геройскою, сколько и редкою), безкорыстно помогаль ей въ ея предпріятіяхъ. Клермонтъ въ упоеніп блаженства отъ сугубой добродътели жены, увъренность въ которой послъ страшнаго сомивнія для него тамь отрадиве. Къ довершенію всего, опъ узнаеть, что благодаря таланту жены, они спова богаты, и онъ можетъ ъхать въ Берлинъ къ славному окулисту, который очень дорого береть за свои операціи и только одинъ въ состоянін возвратить ему зрѣніе. Такъ какъ жена его (г-жа Орлова) явилась такъ кстати прямо со сцены, и въ костюмъ Испанки, то Клермонтъ (г. Мочаловъ) и восклицаетъ: «Какъ она должна быть прекрасна въ этомъ костюмъ»! Восклицаніе осталось безъ аплодисмана, но когда Эвелина упала передъ мужемъ на колени, обияла его колени, а опъ началъ ворковать, и запавъсь начала опускаться, то публика пришла въ неописанный восторгь отъ таковой чувствительно патетической сцены...

Драма, какъ изволите видъть, довольно илоховата, какъ и вев французскія драмы: по дъло въ томъ, что когда ихъ шрають французскія артисты, то на сцень онъ прекрасны; а когда ихъ шрають русскіе артисты, (по крайней мъръ въ Москвъ), опъ бывають невыразимо дурны, еще хуже, чъмъ въ чтепіи. Когда шеса русская, то-есть въ русскихъ правахъ, то и наши артисты хороши, и въ ихъ игръ есть даже цълость и общность (спѕеты); но когда шеса переводная, особенно съ французскаго и, слъдовательно, требующая живости и свътской ловкости, то два-три таланта еще доставять вамъ наслажденіе; остальные же заставять васъ съ лихвою расплатиться за это наслажденіе, а общность шесы напомнить вамъ балаганныя представленія.

Что сказать о выполнени «Жены артиста»? Сквозь вычурную манерность игры г. Мочалова промелькивали иногда и благородная простота и теплота чувства. Г-жа Орлова всегда прекрасна, и ей за это всегда аплодирують; удивительно ли, что и на этотъ разъ публика была ею очень восхищена?—Г. В. Степановъ, былъ въ роли Августина, очень потъщенъ, но нимало не милъ...

«Цыганы» есть не что иное, какъ драматическая часть поэмы Пушкина, безъ неремънъ взятая изъ нея цъликомъ, разумъется, съ выпускомъ энической, отъ чего и здравый смыслъ
выпустился. Комедь началась иъніемъ г. Бантышевымъ иъсни «Мы живемъ среди полей» и иляскою табора, въ которомъ была одна женщина — Земфира (г-жа Ръпина). Нублика заставила г. Бантышева (игравшаго роль молодаго цыгана), новторить иъсню. Затъмъ у Алеко (г. Мочалова) начался разговоръ съ Земфирою, а послъ разговора, Земфира
тотчасъ начала иътъ «Старый мужъ, грозный мужъ». Въ
этомъ иъніи г-жа Ръпина вся была — огонь, страсть, тренетъ, дикое уноеніе.... Публика заставила ее новторить....
По играла она также дурно, какъ и г. Мочаловъ, то есть
очень дурно. Г. Орловъ читалъ монологи стараго цыгана.

этого дивнаго, великаго характера, созданнаго колоссальнымь геніемъ Пушкина; при тепломъ и глубокомъ чувствѣ Щепкина и его превосходномъ талантѣ, это чтепіе произвело бы сильный эффектъ, и публика поняла бы стараго цыгана, отца Земфиры, какъ абсолютнаго человѣка въ естественной непосредственности... Сцена убійства была просто смѣшна.

«Первое представленіе «Мельника, колдуна, обманцика н свата» есть одно изъ новъйшихъ произведеній неутомимаго новаго петербургскаго драматурга, Н. А. Полеваго. Кстати: чтобы напитаться его духомъ и тъмъ лучше понять эту піесу, мы въ тотъ день, какъ готовились идти въ театръ, прочли въ послъдней книжкъ медленно выступающаго «Сына Отечества» еще одно изъ новъйшихъ драматическихъ произведеній Н. А. Полеваго—«Ода премудрой царевић Киргизъ-Кайсацкой Фелицъ». Штучка славиая-съ! особенно намъ поправилось лице Державина: онъ безпрестанно читаетъ свои стихи, или разсуждаетъ въ канцелярін о высокомъ и прекрасномъ, и притомъ такъ высоко и прекрасно, такъ чуждо обыкновеннаго человъческаго языка, что тотчасъ увидинь, что это не простой человъкъ, а великій поэтъ и «паукамъ учился». Словомъ, «молодой, молодой человёкъ, лётъ двадцати-трехъ, а говорить совсёмь такъ, какъ старикъ. Извольте, говоритъ, я побду: и туда и туда... такъ это все славно. Я, говоритъ, и паписать и почитать люблю, по мёшаеть, что въ капцелярін, говоритъ, немпожко темно». И это инсколько не странио: въ старину, то есть во время Н. А. Полеваго, вст были убъждены, что поэтъ непремвнио долженъ быть ивсколько номвшанный человѣкъ: говорить громкія фразы о вдохновеніи, о поэтическомъ призванін, о своемъ геніи и своихъ созданіяхъ, не быть способнымъ ин къ какому дѣлу, со всѣми спорить и высказывать толив всевозможное презраніе. Новайшее покольніе думаеть совсьмъ иначе: оно отъ души смыстся надъ идеальнымъ Чацкимъ, какъ падъ полоумнымъ, и хочетъ, чтобы поэть только въ своихъ твореніяхъ быль поэтомъ, а

въ обществъ являлся бы въ сюртукъ или фракъ, а не въ ноэтическомъ мундирѣ съ мишурнымъ ореоломъ на головѣ. И самые поэты новаго времени, смотрять на предметь съ этой же точки зрвнія. Изввстно, что Пушкинь съ большею частію людей разговоръ о лошадихъ предпочиталъ разговору о поэзін, о которой просто беседоваль или въ задушевномъ кругу, или съ самимъ собою, и нуще всего на свътъ не терпълъ, чтобы на него смотръли и съ нимъ обращались, какъ съ поэтическою знаменитостію, или даже говорили при немъ о его сочиненіяхъ. Въ этомъ виденъ духъ времени. Наполеонъ стоитъ Александра Македонскаго, или Юлія Цезаря, но ходиль не въ мантін, а въ серомъ сюртуке, не въ шляпе, а въ уродливой трехъ-уголкъ; но зато сколько безконечной поэзін въ этомъ съромъ сюртукъ и въ этой уродинвой трехъуголкъ, и не странно ли было бы, еслибы онъ надълъ рыцарскіе досивхи и шлемъ!... Но мы заговорились: обратимся къ піесъ. Послъ Державина, самое интересное лице въ ней Хеминцеръ. Онъ вретъ глупости насчетъ многаго и хотя можно съ нимъ и не спорить, по ужь никакъ нельзя согласиться, чтобы Державинъ былъ великій человѣкъ, потому что Хеминцеръ умиъе его съ своими пошлыми побасенками, которыми онъ такъ илоско резоперствуетъ, и потому что поэзіябезумство: это старая пъсня двадцатыхъ годовъ... Впрочемъ, славная піеса, господа! Прочтите!...

У Сумарокова есть воспитанинца, которая любить Аблесимовъ обожаеть. Сія дѣвица не терпить Жукова, илемянника Тредьяковскаго и илохаго стихотворца, а оный Жуковъ илѣненъ ея красотою, подло льстить авторскому самолюбію Сумарокова и нолучаеть его объщаніе выдать за него свою воспитанницу. Аблесимовъ признается Сумарокову въ любви къ его воспитанниць — Сумароковъ этимъ только что не оскорбляется, какъ нелѣностью, говоря, между прочимъ, что онъ отдаетъ свою воспитанницу только за «сочинителя». — О, если только

за этимъ стало дёло, восклицаетъ Аблесимовъ: то вы мол, Анна Ивановна! — и подаетъ Сумарокову рукопись своего «Мельника, Колдуна, Обманщика и Свата». Сумароковъ смъется надъ піесою, какъ надъ образцовою глупостью, потому что ея герон-русскіе мужики и бабы. Аблесимовъ замічаеть ему, что онъ самъ изображаль, въ своихъ трагедіяхъ, русскихъ людей съ русскими именами-Синава, Димитрія, Ксенію и пр. «Но я облагородиль и украсиль ихь!» восклицаеть Сумароковъ: «я сдёлаль изъ нихъ Ахиллесовъ, Агамемноновъ, Клитемнестръ, только съ русскими именами; а въ эклогахъ у меня все Даметы Хлон, Титиры, а не Ваньки, Оомки и Маврушки! Ты не знаешь пінтики, а берешься писать-вотъ и вышелъ вздоръ!» Словомъ, пачинается споръ, въ которомъ Сумароковъ отстанваетъ пінтическія правила (или классицизмъ), а Аблесимовъ — природу и естественность (или романтизмъ). Короче: это продолжение того же гоненія на классиковъ, которое началось еще съ «Московскаго Телеграфа», и только поэтому Аблесимовъ, невзначай написавшій хорошенькую піеску, и разсуждаеть довольно умно, въ разсудочномъ смыслъ. Въ этомъ споръ Сумароковъ съ ужасомъ узнаетъ, что Аблесимовъ отдалъ уже свою ніесу на театръ, и она тотъ же вечеръ будетъ дана; онъ предсказываеть ему смёхь и свистки, какъ достойное наказаніе за его незнаніе пінтики. Аблесимовъ рѣшается на удачу и требуетъ у Сумарокова слова выдать за него свою воспитанницу, если публика хорошо приметъ его «Мельника», и самъ отказывается отъ своихъ притязаній, если піеса падетъ. Увъренный въ паденіи піесы, Сумароковъ даетъ ему слово и руку и проситъ Тредъяковскаго, пришедшаго къ концу ихъ спора и принявшаго сторону «пінтики», разнять ихъ въ качествъ свидътеля. Входить Богданъ Богдановичъ Книперъ, содержатель вольнаго театра въ Петербургъ, - и Сумароковъ напускается на него за то, что онъ безъ его согласія ръшился взять на сцену такую дрянь, которая возбудить общій роноть и оть которой ему будеть большой убытокъ. Богданъ Богдановичъ въ отчаянін, что піесы уже нельзя отмѣнить, потому что сейчась же должно начаться ея представленіе. Онъ уходить. Является Жуковъ, подличаеть передъ Сумароковымъ, предсказываетъ паденіе «Мельника» и уходитъ въ театръ. Остаются Сумароковъ и Тредьяковскій, читають другъ другу отрывки изъ своихъ твореній и ссорятся: сцена, напоминающая Триссотина и Вадіуса. Раздраженный Тредьяковскій уходить, забывши взять свое милое пяти-пудовое чадо, рукопись «Телемахиды». Сумароковъ пишетъ на него эпиграмму. Вдругъ вбъгаетъ Богданъ Богдановичъ и зоветъ его въ театръ къ Шувалову и другимъ вельможамъ, возвъщая притомъ, что «Мельникъ» имълъ неслыханный успъхъ у публики, отъ вельможъ до черни. Встревоженный Сумароковъ уходить съ нимъ. Входять Аблесимовъ: онъ уже въ отчании, что ръшился отдать піесу на театръ, не посовътовавшись съ Сумароковымъ; онъ уже упрекаетъ себя и за то, что оснориваль его премудрыя мивнія объ искусствв. Входить Анна Ивановна и горюеть съ нимъ вмъсть. Вдругъ является изъ театра Жуковъ. Онъ взбъщопъ на Сумарокова за то, что тотъ давши ему слово за свою воснитанницу, далъ также слово и Аблесимову, въ случав удачи его піесы, которая, какъ онъ это самъ сейчасъ видълъ, очень удалась. II вотъ онъ хочетъ отомстить, сказавши Аблесимову и Аннъ Ивановић, что піеса пала. Любовники въ отчаяніи; но приходить Сумароковъ, радушно поздравляеть Аблесимова съ усивхомъ піесы и съ невъстою, и, узнавши о продълкъ Жукова, выгоняеть его. Приходить Тредьяковскій, говоря, что онь забыль тетрадку. Сумароковъ весело его встрвчаеть и предлагаетъ мировую за бокаломъ вина; Тредьяковскій хочетъ читать свою «Дейдамію», но всѣ выходять, и занавѣсъ медленно опускается передъ чтецомъ, не замъчающимъ отсутствія слушателей.

Пісска, какъ видите, не очень затъйливая, съ самыми обык-

новенными и истертыми пружинами классической комедін: съ благороднымъ отцомъ, pére noble (Сумароковъ), съ дочерью (Анпа Ивановна) и ея любовникомъ, съ соперникомъ-мерзавцемъ (Жуковъ) и двумя шутами (Тредьяковскимъ и Книперомъ). Словомъ, одна изъ тъхъ драматическихъ посредственностей, которыя, бывало, въ «Московскомъ Телеграфъ» Н. А. Полевой такъ умно и эпергически преслъдовалъ, какъ уголовныя преступленія противъ здраваго вкуса и здраваго смысла. Характеръ Сумарокова совершенно искаженъ: это добрякъ съ слабостно къ стихотворству, котораго можно согласить на все, льстя его слабости. и которой отъ души радъ усиъху Аблесимова, незнающаго пінтики, и на радости прощаеть Тредьяковсякому его оскорбленіе. Не таковъ быль Сумароковъ: онъ принималь похвалы, какъ дань, должную россійскому Лафонтену, Расину, Мольеру и Вольтеру, и за нихъ не почиталъ себя писколько обязаннымъ; а сомнѣніе въ своей геніальности принималь за нев'єжество, за пом'єшательство въ °ум'в или за кровную обиду. Усивхъ піесы, написанной не по правиламъ пінтики, сдълалъ бы его кровнымъ врагомъ отцу родному, не только какому-нибудь Аблесимову, переписчику его твореній. Это была одна изъ самыхъ раздражительныхъ, изъ самыхъ страстныхъ посредственностей, съ такимъ же даромъ къ поэзін, и съ такимъ же чудовищнымъ самолюбіемъ, какъ и Тредьяковскій, но съ лучшимъ языкомъ, сильнъйшими страстями и большимъ смысломъ.

Какъ изобразилъ авторъ Сумарокова—г. Иотапчиковъ выполнилъ его не только умио, но и талантинво, съ большимъ искусствомъ и большею естественностію. Тредьяковскаго игралъ Щенкинъ и, разумъется, игралъ превосходно, художественно. Впрочемъ, онъ не столько понялъ, сколько создалъ эту роль. Поэтому, съ перваго появленія его на сцену, до того, какъ онъ остается на ней читать «Дейдамію», смъхъ и рукоплесканія не умолкали и разръшались въ громкій, единодушный вызовъ. Г-жа Орлова была очень къ лицу причесана постаринному и выполнила свою роль просто, благородно, тенло и умно. Но бользни г. Никифорова, роль Киипера играль г. Рославскій, и играль ее съ старинными кривляньями и самыми плоскими фарсами. Это одна изъ тъхъ
посредственностей, которыхъ Французы пазывають utilités,
но которыя свирьпо портять себя неумъстными притязаніями
на геніальность. Вообще піеса шла хорошо, цълостно и была принята публикою съ восхищеніемъ не смотря на литературность ея содержанія не совсьмъ доступную. Это одна и
та же исторія: въ піесь съ содержаніемъ изъ русской жизни, безъ трагическихъ ходуль, и хоть мало-мальски порядочно слъпленной, и актеры всь хороши, и въ игръ есть
общность; а публика всегда довольна и хорошо принимаетъ
такую піесу.

Заключительною піесою бенефиса быль очень миленькій французскій водевиль «Меръ по выбору и смѣлый по певоль» который шель очень ладно, и въ которомь г. Живокини восхитиль публику милою оригинальностію и неподражаемою веселостію и естественностію своей игры. Какой это прекрасный таланть! Сколько оригинальности, умѣнья занять публику даже самою плохою ролью! Да, еслибы г. Живокини повыше смотрѣлъ на свое искусство, то оставиль бы въ его лѣтописяхъ славное имя!

Бенефисъ кончился въ четверть одиннадцатаго; и много и разнообразно, кое-что и хорошо, и недолго,—чего же больше?

Москва. 1838, октября 15.

АЛЕКСАНДРОВСКІЙ ТЕАТРЪ.

1.

ВЕЛИЗАРІЙ. Драма въ стихахь, и въ пяти отдълеиіяхь, пер. съ нъмецкаго (Ободовскимь). Спектакль 31-го октября

(Изъ письма Москвича).

.....Да, господа, жить безвывздно въ Москвв и потомъ прівхать въ Петербургъ--- это значить, изъ одного міра перелетъть въ другой, совершенно на нервый не похожій. Я теперь особенно поняль, какъ смъщны и нелъпы споры о превосходствъ одной столицы передъ другою. Эти споры такъ же дътски и неосновательны, какъ споры о превосходствъ одного геніальнаго произведенія искусства предъ другимъ, тоже гепіальнымъ, вельдствіе которыхъ если «Гамлетъ» превосходенъ, то «Макбетъ» никуда не годится, и наоборотъ. Нътъ, Москва имъетъ свое значение, котораго не имъетъ Петербургъ, но и она такъ же не можетъ замънить Петербурга, какъ и Петербургъ ен: каждый изъ этихъ городовъ хорошъ но своему, каждая изъ столицъ лучше другой, каждая одна другой хуже. Я еще не осмотрълся въ Петербургъ, чему причиною и то, что общность его такъ сильно и мощно охватила мою душу, что она не въ состояніи сосредоточиться ни на одной частности и разсмотръть ее. Хотя Петербургъ въ осепнее и зимнее время не имъетъ и половины своего значенія, являнсь во всемъ своемъ поэтическомъ блескъ только весною и дътомъ, но я уже заколдованъ имъ. Въ самомъ дълъ, стоптъ только вскользь увидъть Неву, чтобы почесть себя перепесеннымъ въ какое-то волшебное царство съ крутыхъ береговъ безводной Москвы-рѣки... По мѣрѣ моего ознакомленія съ частностями Петербурга, я буду постоянно и въ порядкъ отдавать вамъ отчетъ въ моихъ впечатлъпіяхъ, и тенерь же начну это—съ театра.

Не буду распространяться о впечатлёнін, которое произвела на меня ръзкая разность Александринскаго театра отъ московскаго Петровскаго, и доказывать, что последній несравненно лучше, великолъпнъе и, такъ-сказать, столичнъе. Александринскій и меньше и тускліве; по что мий показалось неосноримымъ преимуществомъ его передъ Петровскимъ и истипною красотою — такъ это то, что онъ былъ полнехонекъ, что въ немъ не было мъста пустаго: съ Петровскимъ это случается только въ самые блистательные бенефисы любимцевъ московской публики-Мочалова и Щепкина, а чаще всего, при представленіи новаго балета съ блестящими декораціями, какъ наприміръ, «Діва Дуная», которая только теперь начинаетъ надобдать московской публикъ, обыкновенно предпочитающей декораціи и танцы драмь и ен художественному выполненію... но я заговорился: эта разница не театровъ, а публики объихъ столицъ. И эта разница очень ръзка. Съ перваго взгляда видно, что для петербургской публики театръ совствъ не то, что для московской: для первой онъ необходимость, для второй — развлечение. Спрашиваю васъ: много ли въ Иетровскій театръ сошлось бы народу на новую піесу неизв'єстнаго автора и переведенную челов'єкомъ, конечно, не безъ дарованія, но совершенно неизвъстнымъ въ литературъ, и притомъ, когда эта піеса дается не въ бенефисъ Мочалова или Щенкина, а въ обыкновенный спектакль, и еще-что въ Москвъ очень важно-не въ воскресный день, а въ будии?... Обыкновенно, московская публика внимательна только мъстами, когда ее самовластно увлекаетъ могущество вдохновенія артиста и обаятельная сида драматическаго положенія или геніальность сціны; но за то, какт скоро сцена ей не правится, или артисты дурно выполняють ее, еслибы вы хотъли внимательно слъдить за связью и ходомъ піесы,

вамъ не дадутъ этого сдълать разговоры, смъхъ нашлянье, сморканье и проч. Когда даютъ драму-московская публика смотритъ Мочалова, не думая о драмф и какъ будто не замъчан другихъ артистовъ, участвующихъ въ ней. Для нея драма-Шекспира или г. Полеваго, все равно—есть не °произведеніе искусства, существующее по себъ и для себя, а средство дія Мочалова показать себя. Въ Нетербургъ напротивъ: здъсь піеса не отделается отъ сценическаго выполненія и столько же заинтерисовываетъ публику, какъ и выполнение. Какъ бы ни была скучна сцена и какъ бы ни дурно выполнялась опа, ее слушають и смотрять внимательно, какь бы боясь упустить изъ виду нить развитія, связь, ходъ и цёлость піесы. Малёйшій отдільный разговорь или шопоть возбуждаеть общее негодованіе и прерывается шиканьемь. Какъ бы ин неудаченъ быль эффекть, который старается произвести актерь, но если въ его эффектъ есть мысль или даже только смыслъ, если, по крайней мфрф, видно намфрение со смысломъ — внимаельная публика тотчась замёчаеть это, и слишкомъ списходительная, и благодариая, награждаеть артиста громкимъ и единодушнымъ аплодисманомъ. Петербургские артисты не могуть пожаловаться на свою публику, и если который изъ нихъ не замъченъ ею, или не пользуется ея благосклонностію-значить, что онъ ужь плохь. Въ Москвъ ходять въ театръ большею частію отъ нечего ділать, чтобы ничімъ кончить день, начатый и продолженный ничемъ. Петербургскій театръ наполняется большею частію дёловымъ народомъ. который, поработавъ въ департаментахъ часовъ семь, заходить въ него, не оттого, что проходить мимо, но идеть въ него отдохнуть, освёжиться, и не развлекается не забавляется, а наслаждается театромъ. Видите ли: дёловая жизнь не убиваетъ любви къ изящному, но еще больше развиваетъ и усиливаетъ ее. Не выдаю вамъ всего этого за непреложный факть: можеть-быть, больше приглядавшись, я принужденъ буду или совсёмь отступиться отъ такого заключенія о любви

нетербургской нублики къ театру, или много сбавить изъ него; по крайней мъръ, то, о чемъ я пишу къ вамъ, я видъль собственными глазами, а не сквозь чужія очки.

Теперь мий надо познакомить васъ съ драмою. Она раздіздена на пять отділеній съ эффектными названіями; въ Истербургѣ это любятъ, для Москвы же это пустая и фразерская уловка: не знаю, правъ ли Петербургъ, но какъ истинный Москвичь, я согласень съ Москвою... Итакъ, на иять отдъленій: первое называется «Тріумфаторъ». Антонипа, жена Велизарія, и Елена, дочь его, говорять о скоромъ прибытін мужа и отца. Дочь замъчаетъ, что мать не оживлена радостію при мысли о скоромъ свиданіи съ мужемъ, но что напротивъ, она грустна и тантъ какую-то тяжкую мысль. Насказавъ множество общихъ риторическихъ мѣстъ, Елена, сопровождаемая подругой своею, Олимпіею, бѣжить во срѣтеніе отну. Антонина одна на сценъ, и мы узнаемъ отъ нея, что ел сердне полно ненависти и жажды мщенія противъ Велизарія. У нез быль сынь, дитя, котораго Велизарій украль у ней, у сонной, и велёлъ убить; а самъ сказалъ женъ, что ее дитя внезанно умерло, и что, не желая усиливать ея горести, онъ вельяь его похоронить во время ея сна. Но воть недавно, умирая, рабъ открылъ ей, что ея сынъ не умеръ, а былъ похищенъ, и что онъ, по приказанію своего господина, оставиль его на морскомъ берегу, гдв онъ, ввроятно растерзанъ звърями; что господинъ его сдълалъ этотъ варварскій постунокъ веледствие одного пророческаго сна, который, но объясненію астрологовъ, даваль знать, что сынь Велизарія погубить и отца своего и свое отечество. Антонина, какъ глубокооскорбленная мать, клянется мужу страшною местію. Входять Руфинъ и Евтропій, враги Велизарія, и она условливается съ ними о мщенін. Перемъна декорацій. Императоръ Юстиніанъ разспрашиваетъ одного изъ придворныхъ о поведеніи Велизарія въ его тріумфальномъ шествін по столицъ. Раздаются торжественные звуки марша, знаменосцы несуть побъдныхъ ор-

ловъ, передовой отрядъ воиновъ ведетъ пленныхъ Вандаловъ. и на торжественной колесниць, везомой народомъ, является Велизарій. Сошедши съ колесницы, онъ снимаєть съ головы лавровый вёнокъ и подагаетъ его къ погамъ владыки. Императоръ собственною рукою снова возлагаетъ ему вънокъ на голову, Велизарій представляеть императору плінниковь и просить имъ пощады и милости: императоръ даритъ ихъ ему. съ правомъ-располагать ихъ участью, и уходить. Велизарій даритъ пленниковъ свободою и обещаетъ обезпечение ихъ участи: они бросаются къ его потамъ съ кликами восторженной благодарности. Только одинъ Аламиръ, молодой Вандаль, молчитъ. Этотъ Аламиръ — дитя, найденное тирскими кунцами на берегу моря и проданное ими вандальскому царю, который и воспиталь его какъ сына. На вопросъ Велизарія, отчего онъ не радуется свободъ, онъ отвъчаетъ, что хочетъ жить и умереть при цемъ. - Ивжная сцена. Декораціи перемвияются. Велизарій дома-мрачная тоска и смущеніе жены приводять его въ смущеніе: она говорить ему значительно, что умеръ его любимый рабъ — онъ радуется въ душъ, что съ этою смертію умерла роковая тайна сыноубійства. Второе отделение «Месть матери». Открывается занавъсъ-и является Аламиръ. Его восхищаетъ Византія, ему хочется быть Римляниномъ. Вбёгаетъ Елена, и съ ужасомъ объявляетъ, что ея отца императоръ зоветъ въ сенатъ черезъ нарочнаго. Входить Велизарій, и дочь съ ужасомъ извъщаеть его о требованін императора. Велизарій говорить, что ему нечего болться. что совъсть его чиста. Декораціп перемъняются—мы видимъ сенать. Императоръ извъщаеть сенаторовъ о доносъ на Велизарія въ государственной измінь, требуеть суда безпристрастнаго, но и строгаго. Является Велизарій-и входить на сцену Руфинъ и Евтропій, какъ обвинители. Главное обвиненіеписьмо Велизарія къ жепъ. «Твоя ли это рука?...» спрашиваетъ Руфинъ. «Моя», отвъчаетъ Велизарій-начинаетъ читать и, съ изумленіемъ и ужасомъ видить, что выраженія

нъжности друга и отца перемъщаны съ фразами о заговоръ для низверженія императора съ трона. «Рука точно моя, но я не писаль этого!» восклицаеть Велизарій: «пусть оправдываеть меня жена!» Входить Антонина и подтверждаеть справедливость допоса Руфина и Евтропія; приведенный въ удивленіе и ужасъ, Велизарій просить ее быть справедливою именемъ Бога и святости ихъ брачнаго союза. Тогда Антонина, въ полголоса говоритъ ему, что это месть матери, что умирающій рабъ ей все открыль. По уходъ Антонины, Велизарій признается въ преступленіи сыноубійства, въ которомъ его пикто не обвинялъ и за которое, по этому его не могутъ и судить, какъ еще, кром'в того, за преступление частное, семейное и учиненное для блага отечества и государя. Но пичто не помогаетъ-и Велизарій, не дожидаясь рѣшенія императора и сепата, велить подать себъ цъпи и идеть въ темницу. Пе помню хорошенько, въ этомъ, или въ следующемъ отделении, приходять къ императору представители войска, чтобы просить у него помилованія Велизарію отъ смертной казни. Императоръ соглашается перемъпить смерть на изгнание и значительнымъ голосомъ предписываетъ Руфину и Евтронію позаботиться, чтобы Велизарій инкогда не могъ увидіть его лица. Руфинъ истолковываетъ повельніе императора буквально, — п при перемёне декорацій является Велизарій слепой и въ рубищь. Какой-то мальчикъ вызывается быть ему вожатымъ, онъ просить его сбътать въ домъ, чтобы сказать о немъ слово дочери его Еленъ, и узнаеть, что этоть мальчикъ-вожатыйего дочь. Сцена въ чувствительно-патетическомъ родъ нъмецкихъ мелодрамъ. Между-тъмъ, Антонина, насытивъ свою месть, приходить въ расказніе, свиръпствуеть и внадаеть въ помъщательство. Императоръ начинаетъ подозръвать Руфина и Евтропія, темъ более, что Аланы сделали вторженіе въ имперію и съ малымъ числомъ войска разбили на голову огромное войско, порученное Руфину. - Между-тъмъ Велизарій приходить въ одну деревню; Елена оставляеть его одного. чтобы

полскать ему питья, — и онъ слышить о себь разговоръ крестьянъ, изъ которыхъ одинъ поетъ романсъ Мерзаякова. Другой крестьянинъ, и когда служившій подъ его знаменами, узнаетъ его-трогательно-натетическая сцена. Далъе Велизарій встръчается съ крестьянами, которые въ ужасъ бъгуть отъ перваго отряда Алановъ, Наконецъ, онъ встръчается съ Октаромъ, начальникомъ Алановъ и съ Аламиромъ, который, горя мщеніемъ за Велизарія, воздвигнулъ Алановъ противъ имперіп. Посредствомъ разныхъ мелодраматическихъ штукъ н штучекъ, какъ-то: неленокъ, родинокъ, бородавокъ и т. п., Велизарій узнаёть, что Аламирь — сынь его. Октарь предлагаетъ Велизарію принять начальство надъ его Аланами, чтобы вмъстъ съ нимъ и съ Аламиромъ идти въ Византію. Велизарій, разумъется, отказывается; тогда Октаръ объявляетъ Аламира своимъ илънникомъ. Велизарій говоритъ, что онъ скоръе поразитъ сыпа собственною рукою, нежели до пустить его сделаться врагомъ отечеству, — и въ самомъ дъль заноситъ кинжалъ надъ грудью сына; но, тронутый толикимъ великодушіемъ, Октаръ отпускаетъ ихъ обоихъ, и только старается взять съ Велизарія слово—не брать начальства надъ императорскими войсками, въ чемъ тотъ, разумбется, начисто ему отказываеть. Между-тымь, императорь призываеть къ себъ Антонину, желая разсъять свои подозрънія о невипности Велизарія и тревогу своей совъсти, что онъ осудилъ невиннаго; Антонина во всемъ признается, п въ присутствии императора уличаетъ Руфина въ поддълкъ подъ руку Велизарія. Императоръ допрашиваетъ Евтропія н заставляеть его открыть истину: обоихъ ихъ онъ отсылаеть на казпь. Велизарій подлѣ Византін. Народъ бѣжить въ смятенін отъ передовыхъ отрядовъ варварскаго войска, и встръчаетъ Велизарія: ивкоторые узнають его. Протогень и Леонъ, начальники императорской гвардін, идутъ съ отрядомъ войска, неся въ рукахъ военачальническія регалін; они разспрашивають у народа-не видаль ли кто слвиаго Велиза-

рія, и увидъвши его въ толпъ, объявляють его, именемъ императора, главнымъ вождемъ войска, увъдомляють о раскаянін императора и казни клеветниковъ. При кликахъ восторженной толпы, Велизарій надіваеть на себя шлемь, береть въ руки жезлъ военачальника и уходить. Вы думаете, что тутъ и конецъ трагедін: итть, до конца еще далеко. Приходить императоры и разглагольствуеть съ Еленой. Зачъмъ и какъ-то приходитъ сошедшая съ ума Антонина и очень нельно начинаеть свирынствовать. Потомъ приходитъ въстникъ или наперсникъ и возвъщаетъ, что Велизарій одержань побъду надъ варварами. Далъе кто-то допоситъ, что Аламиръ убитъ и самъ Велизарій опасно раненъ. Накопецъ, несутъ умирающаго Велизарія, и Антонина опять начинаетъ свирънствовать, въ самомъ смъшномъ смыслъ этого слова; но, къ удовольствію зрителей, она скоро умираеть. Оставшіеся въ живыхъ ждуть пока умреть Велизарій, — разглагольствуя риторическими фразами; Велизарій умираеть — п они перестаютъ мучить публику нескончаемою болтовнею.

Уфъ! насилу досказалъ!... Очень ясно, что это не трагедія, не драма, а мелодрама въ чувствительно-нъмецкомъ родъ. На сценъ она хороша, но читать ен нътъ возможности; да и на сценъ она хороша только по милости г. Каратыгина 1-го, и еще была бы лучше, еслибы не была растянута и начинена, для связи, бездушными сценами. Какъ во всъхъ дожинныхъ посредственностяхъ такого рода, въ этой драмъ каждое лицо не дъйствуетъ, а говоритъ за себя, то есть описываетъ свои качества и обстоятельства. Злодън смъшны, пошлы до послъдней крайности. Характеровъ нътъ. Всъхъ хуже лицо Юстипіана. Это какой-то добрякъ, котораго всъ обманываютъ. Нереводъ хорошъ — г. Ободовскій владъетъ стихомъ; только мы совътовали бы ему избъгать шистиногаго ямба, который такъ, для слуха и для ума, напоминаетъ классическія трагедіи Сумарокова и Хераскова съ братіею.

Вообще, эта піеса для сцены такъ хороша, какъ въроятно

не надъялся ни самъ авторъ, ни нереводчикъ, -- и это дъло г. Каратыгина, выполняющаго роль Велизарія. Г. Каратыгинъ принадлежить къ числу тёхъ художниковъ, которые въ высшей степени ностигли внѣшиюю сторопу своего искусства. Я никому не навязываю монхъ убъжденій, но не отказываю себъ въ правъ имъть свои убъждения и открыто выговаривать ихъ: я не пойду смотръть г. Каратыгина въ роли Гамлета, которую онъ играетъ искуссно, но въ которой и требую отъ актера, кром' нскусства, еще кой-чего такого, чего мн не можетъ дать Каратыгинъ; я не пойду смотръть въ роди Лира ни Мочалова, ни Каратыгина, потому что въ первомъ, можетъбыть, увижу Лира, но только Лира, а не короля Лира, а во второмъ-только короля, по не Лира короля; я не пойду смотръть на Каратыгина въ роли Отелло, потому что ровно ничего не увижу, но всегда пойду смотреть Мочалова въ этой роли, потому что если иногда тоже ничего не увижу, за то иногда много увижу, точно такъ же, какъ всегда пойду смотръть Мочалова въ роли Гамлета, потому что всегда увижу что-нибудь великое, а часто и много великаго; но я никогда не пойду смотръть Мочалова въ роли Лейчестера, Лудовика XI, Велизарія, и всегда пойду смотръть въ этихъ роляхъ Каратыгина. Игра Мочалова, по моему убъжденію, иногда есть откровеніе таннства, сущности сценическаго искусства, но часто бываеть и его оскорбленіемъ. Игра Каратыгина, по моему убъжденію, есть порма вившней стороны искусства, и она всегда върна себъ, никогда не обманываетъ зрителя, вполив давая ему то, что онъ ожидаль, и еще больше. Мочаловъ всегда падаетъ, когда его оставляетъ его волканическое вдохновеніе, потому что ему, кром'є своего вдохновенія, не на что опереться, такъ какъ онъ пренебрегъ техническою стороною искусства; поэтому онъ всегда падаеть и тамъ, когда берется за роли, требующія отчетливаго выполненія, искусства—въ техническомъ смыслѣ этого слова. Каратыгинъ за всякую роль берется смёло и увъренно, потому

что его усивхъ зависитъ не отъ удачи вдохновенія, а отъ строгаго изученія роли: поэтому онъ надаеть только въ роляхь и сценахь, требующихь, по своей сущности, огненной страсти, тренетнаго одушевленія, какъ въ Отелло; но его паденіе видно не толпъ, а немногимъ знатокамъ искусства. Оба эти артиста представляють собою двъ противоположныя стороны, двъ крайности искусства, и оба они-представители нашихъ столицъ, со стороны вкуса и направленія публики. Оба они достойны того уваженія и той любви, которыми пользуется каждый на своей родной сценъ. Безъ вдохновенія нътъ искусства; но одно вдохновеніе, одно непосредственное чувство, есть счастливый даръ природы, богатое паслъдство безъ труда и заслуги; только изучение, наука, трудь дёлають человёка достойнымь и законнымь владёльцемъ этого часто случайнаго наследства; — и они же утверждають его дёйствительность, а безъ нихъ оно и теряется и проматывается. Изъ этого ясно, что только изъ соединенія этихъ противоположностей образуется истинный художникъ, котораго, напримъръ, русскій театръ имъетъ въ лицъ Щенкина. Односторонности сами по себъ не удовлетворительны. Что мик за радость видкть умное, отчетливсе, по холодное выполнение роли Отелло, въ которомъ можно простить неровности, промахи, пеудачи, по въ которомъ нельзя простить педостатка бушующей, опустошительной страсти африканскаго тигра и великаго человъка вмъстъ?... Съ другой стороны, что миж за радость, увидъвши въ натетической сценъ Лира съ дочерью истинно оскорблениаго отца-короля, видъть потомъ какого-то мъщанина, который силится увърпть, что будто онъ король!... Впрочемъ, въ историческомъ развитін пскусства односторонности имжютъ свое значение, и потому будемъ желать, чтобы московскій Мочаловъ не переставалъ, какъ Весталка, хранить священный огонь сущности своего искусства, безъ которой нътъ искусства, а есть только умънье; и пусть петербургскій Каратыгинъ не перестаеть показывать, что такое художественность формы, безъ которой и истинное искусство недостаточно и неполно...

Каратыгинъ создалъ роль Велизарія. Онъ является на сцену Велизаріемъ и сходить съ нея Велизаріемъ, а Велизарій, котораго онъ игралъ, есть великій человѣкъ, герой, который до своего ослѣиленія является грозой Готоовъ и Вандаловъ, хранителемъ христіанскаго міра противу враговъ, а послѣ ослѣиленія

. . . Видитъ въ памяти своей Народы, въки и державы.

Я врагъ эффектовъ, миъ трудно подпасть подъ обаяніе эффекта; какъ бы ни быль онъ изященъ, благороденъ и уменъ, онь всегда встрътить въ душъ моей сильный отноръ; но когда я увидълъ Каратыгина-Велизарія, въ тріумфѣ везомаго народомъ но сценъ въ торжественной колесинцъ, когда я увидѣлъ этого лавровѣичаниаго старца-герол, съ его сѣдою бородою, въ царственно скромномъ величін, —священный восторгъ мощно охватилъ все существо мое и трепетно потрясъ его... Театръ задрожаль отъ взрыва рукоплесканій... А между тъмъ, артистъ не сказалъ ни одного слова, не сдълалъ ни одного движенія—онъ только сидёлъ и молчалъ... Снимаетъ ли Каратыгинъ вънокъ съ головы своей и полагаетъ его къ ногамъ императора, или подставляетъ свою голову, чтобы тотъ снова наложиль на нее вънокъ-въ каждомъ движенін, въ каждомъ жесть, видьнъ герой, Велизарій. Словомъ, въ продолжение цёлой роли-благородная простота, геройское величіе видны были въ каждомъ шагѣ, слышны были въ каждомъ словъ, въ каждомъ звукъ Каратычина; нередъ вами безпрестанно являлось несчастіе въ величін, ослѣнленный герой, который

. . . Видитъ въ памяти своей Народы, въки и державы...

Мы не будемь въ подробности разбирать игры и замъчать

лучшія мѣста. Скажемъ телько, что сцена, гдѣ поется романсъ Мерзлякова, была исполнена такого неотразимаго поэтическаго обаянія, о которомъ нельзя дать словами никакого понятія,—и это опять было дѣломъ Каратыгина: сѣдой герой, лишенный зрѣнія, сидѣлъ на инѣ дерева, и лицомъ, движеніями головы и рукъ выражалъ тѣ грустно-возвышенныя ощущенія, которыя производилъ въ немъ каждый стихъ романса, пѣтаго о немъ крестьяниномъ, не подозрѣвавшимъ, что его слушаетъ самъ тотъ, о комъ опъ нѣлъ... Превосходная сцена!... Самъ романсъ хотя, по недостатку художетвенности, и сдѣлался нѣсколько тѣмъ, что свѣтскіе люди называютъ mauvais genre, по въ немъ такъ много чувства, души, нѣкоторые стихи такъ удачны, а музыка его такъ прекрасна, что его нельзя слушать безъ восторга и умиленія.

Г-жа Каратыгина занимала роль Антонины. Въ ея игръ много искусства въ техническомъ смыслъ этого слова, но и ръшительно не въ состоянии привыкнуть къ ея пъвучей дикции, къ ея выкликиваниямъ и вскрикиваниямъ, къ ея рисующимся позамъ и движениямъ à la menuet. Впрочемъ, сцена обвинения мужа нередъ лицомъ императора и сената была прекрасна.

Мий очень интересно было видіть г. Брянскаго, потому что я, какъ Москвичъ, не имію никакого понятія о томъ, что такое на сцент роль короля, если эта роль второстепенная, т. е. если ее играютъ не Мочаловъ и не Каратыгинъ, а г. Козловскій и тому подобные. И въ самомъ дѣлѣ, г. Брянскій благородною, простою и величавою манерою, съ какою онъ держалъ себя въ роли Юстипіана, далъ мит понятіе о королѣ, но его пъсколько растянутая дикція такъ странна для уха варвара-Москвича, что я не былъ нисколько удовлетворенъ; нетеритливо желаю увидъть г. Брянскаго въ такъ называемыхъ романтическихъ роляхъ, какъ-то Миллерѣ, Казимодо, въ которыхъ онъ, говорятъ, превосходенъ;—г. Брянскій по преимуществу петербургскій актеръ и потому едва ли бы

понравился московской публикъ. Нетербургскій театръ есть театръ преданія, въ которомъ искусство передавалось отъ одного таланта къ другому, въ которомъ еще живы имена Дмитревскаго, Яковлева, Семеновой. Г. Брянскій есть одна нзъ яркихъ звъздъ этого классическаго созвъздія. Московскій театръ-плебей безъ предковъ, безъ преданія, безъ исторін, романтикъ по своему духу, врагъ классицизма, пъвучей дикцін и минуэтныхъ движеній. Въ этомъ опять ръзко выразилась разница объихъ столицъ: въ Москвъ-сущиость дъла, его идея и жизнь, въ Истербургъ-изящиая форма, поэтическая вившность. Копечно, пввучесть дикцін и минуэтность движеній давно уже не изящество; но они уже и въ Петербургъ начинаютъ изчезать: Каратыгинъ представляетъ собой переходъ, середину между двумя крайностями, и его игра становится все проще и ближе къ натуръ, такъ что видъвшіе его два-три года назадъ, теперь едва ли бы узнали. Естественное, что если явится послъ его достойный таланть, онъ будеть еще дальше отъ классического преданія, а между тъмъ этому преданію будеть обязань благородствомъ своихъ пріемовъ и всей вижшией стороны своего искусства.

Г-жа Асенкова занимала роль Елены. Да, господа, слухи объ очаровательности г-жи Асенковой меня не обманули: она восхитительна, когда, является мальчикомъ... премиленькій мальчикъ... Она тоже обращаетъ большое вниманіе на внѣшнюю сторону искусства: ея лицо ни на минуту не бываетъ безъ дѣла; она то съ любовію смотритъ на отца, то хочетъ занлакать и когда закрывается платкомъ, то невольно повѣришь, что она илачетъ... Только жаль, что она слишкомъ утруждаетъ мускулы своего прекраснаго лица, усиливаясь дать ему то или другое выраженіе...

Роль Вандала Аламира игралъ г. Леопидовъ, и игралъ ее какъ истицный вандалъ: такъ сердито смотрълъ и такъ свиръпо размахивалъ руками. Роль Руфина игралъ г. Толченовъ, который привелъ меня въ истинное восхищение. Вотъ,

господа, талантъ! Какъ г. Козловскій созданъ для ролей королей, такъ г. Толченовъ созданъ для ролей военачальниковъ; но для полнаго очарованія, ихъ непремѣино должно видѣть вмѣстѣ, потому что царственность г. Козловскаго будетъ рѣзко проявляться только при военачальственности г. Толченова: первый худощавъ, важенъ; вторый довольно тученъ, какъ воинъ, которому пужна сила, и весело развязенъ, какъ солдатъ, который любитъ погулять. Говорятъ, что Китайцы имѣютъ обыкновеніе списывать множество портретовъ съ главнаго военачальника и разсылать ихъ къ окрестнымъ пародамъ, чтобы держать ихъ черезъ это въ должномъ страхѣ и уваженіи къ небесной имперіи: величественная фигура г. Толченова создана для того, чтобъ быть пдеаломъ такого военачальника...

Прочіл лица, участвовавшіл въ «Велизаріи» — посредственности, которыя ничёмъ не отличаются отъ своихъ московскихъ собратій по ремеслу и таланту. Постановка вообще несравненно лучше московской; по гдѣ дъйствуютъ толны—такъ же худа, какъ и въ Москвъ. Аланы гонятъ народъ, и вмѣсто народа, выбѣгаетъ человѣкъ десятокъ, которыхъ движенія показываютъ, что они очень хорошо знаютъ, что все это обманъ и что за кулисами, изъ-за которыхъ ихъ выслали, нѣтъ никакой онасности.

Итакъ вотъ вамъ отчетъ въ моемъ первомъ знакомствъ съ петербургскимъ театромъ. Что еще увижу—не замедлю увъдомить такимъ же образомъ.

1) Женихъ на расхватъ. Водевиль въ одномъ дъйстви, съ французскаго Д. Ленекимъ.—Полковникъ старыхъ временъ. Комедія-Водевиль въ одномъ дъйствіи. Соч. п. Мелевиль, Габріеля и Анжело. (Спектакль 21 ноября).

2) Ужасный незнакомець, или у страха глаза велики. Оршинальная комедія вт одномъ дъйствіи, Соч. Н. А. Полеваго. — Дъдушка и внучекъ. Драма-водевиль вт двух дъйствіяхъ, ст французскаго, Н. А. Коровкина, новая музыка, соч. Лядова (восп.).—Такъ да не такъ. Оршинальная комедія водевиль вт одномъ дъйствіи, соч. Н. А. Коровкина.—Послъдній день Помпеи. Оршинальная шутка вт двухъ декораціяхъ, ст куплетами, провинціальнаго быта. (Спектакль 11 декабря).

(Изъ письма Москвича).

....Быль въ Академіи художествъ и видѣль остатки выставки. Говорю «остатки», потому что большая часть картинъ и притомъ лучнихъ, уже была вынесена; осталось нѣсколько посредственныхъ произведеній, да еще портретовъ, которые, право, никакъ не могу понять, съ которой стороны относятся къ искусству... Искусство есть творчество, а списать вѣрно портретъ, т. е. скопировать съ натуры лице человѣка—совсѣмъ не значитъ что инбудь создать. Конечно, по портретамъ можно судить, до какой степени совершенства достигъ тотъ или другой господинъ (не могу сказать «художникъ»: портретистъ совсѣмъ не художникъ, а развѣ мастеръ) въ технической части искусства, которая, взятая сама по себѣ, отнюдь не есть искусство, а развѣ мастерство. — Вообще, соображаясь съ слухами и съ статьею «Сѣверной Ичелы», выставка была по-

средственная, въ которой очень немного было примъчательнаго и, кажется, ровно инчего превосходнаго. Видълъ «Нослъдній день Помпен, и пока инчего не могу сказать объ этомъ произведенін ни pro, ни contra, потому что оно не произвело на меня пикакого опредъленнаго впечатлънія. Надо еще будетъ посмотръть, да поизучить. Я всегда питалъ непобъдимое отвращение къ этимъ пустымъ и легкимъ судьямъ всего великаго, этимъ аматёрамъ-Хлестаковымъ, которые легко судять о тяжелыхъ вещахъ, которые, ностоявъ минуты двъ съ своимъ лориетомъ передъ картиною, объявляютъ рашительно дурнымъ, можетъ-быть, великое созданіе, плодъ жаркихъ молитвъ, святаго вдохновенія, многихъ дней и ночей безъ сна и пищи, -- объявляють его дурнымъ потому только, что оно имъ не поправилось и не произвело на нихъ сильнаго впечатлѣнія съ перваго раза; которые не понимають, что иногда самое великое произведение потому именно и недоступно для скораго постиженія, что слишкомъ велико, что носить на себъ отпечатокъ божественной простоты, а не блестить поразительными эффектами; что оно, наконецъ, требуетъ долговременнаго и добросовъстнаго изученія... Но этимъ господамъ все трынътрава: съ судейскою важностію и свътскою легкостію готовы судить они хоть о тяжелыхъ трудахъ, напримъръ, какого-инбудь Гегеля, и его философію-плодъ глубокой, всеобъемлющей учености, деятельной и многотрудной жизни, безкорыстно посвященной исключительному служенію истинь — пожалуй въ одну минуту объявять педостаточною, хотя и не лишенною достоинствъ, эфемернымъ, хотя и замъчательнымъ явленіемъ, -- они, которые не имъютъ на это никакихъ правъ, пріобрътаемыхъ трудомъ и изученіемъ, -- опи, которые не знаютъ даже, въ какомъ формать изданы творенія великаго мыслителя, и что распространение его учения составляетъ тенерь жизнь цилой Германіи и есть факть современной исторіи человъчества... Богъ съ ними, съ этими господами!... Постараемся не увлекаться безотчетнымь уваженіемь къ авторитетамъ и

чужимъ мивніямъ, но также и не будемъ безотчетно увлекаться слёною довёренностью къ собственнымъ внечатленіямъ, которыя часто бываютъ обманчивы, и къ собственнымъ мивніямъ, которыя, всявдствіе этого, еще чаще бывають ошибочны. И потому прошу не принимать моихъ словъ о картинъ Брюлова за сужденіе, которое я позволю себъ произнести только тогда, когда много часовъ будетъ проведено мною въ безмолвиомъ созерцанін этого произведенія, пользующагося такою громкою славою. Вивств съ вами смотрвлъ я, въ Москвъ, на «Прометея» Доминикино, и вышелъ изъ залы съ какимъ-то неопредъленнымъ и тяжелымъ чувствомъ съ затаенною досадою и на себя и на картину; а теперь эта картина не отстаетъ отъ меня, какъ-будто я сто разъ видълъ ее, какъ-будто и теперь еще стою передъ нею, и теперь еще вижу передъ собою эту перепрокинутую фигуру, изъ судорожно-раствореннаго рта которой, слышится, исходятъ глухіе стоны, извергающіеся изъ груди, а не изъ горла, а на челъ, сморщениомъ и папряженномъ отъ невыразимаго страданія, какъ свътлый лучь въ глубокомъ мракъ, проблескиваетъ торжество побъды... Кстати: въ залъ Академіи я видълъ «Причащение св. Іеронима» Доминикина же: вотъ предметъ-то для наслажденія и изученія!... Много, много придется мит писать къ вамъ!... Картина Бруни «Моленіе о чашъ» не произвела на меня особеннаго впечатлънія. Мнъ кажется, что въ лицъ Спасителя только страданіе и невольная страдальческая покорность, а не божественность; положеніе всей фигуры и сколько изыскано; а чаша въ воздух в гораздо больше говорить о содержаніи картины, нежели лице и положеніе Искупителя. Въ лиць Богочеловька должны быть схвачены два момента — человъческій, какъ выраженіе страданія: Прискорбпа есть душа моя до смерти; Отче мой, аще возможно есть, да мимо идеть отъ мене чаша сія»; и божественный, какъ выражение побъды и торжества духа надъ плотію: «Обаче не яко азъ хощу, но яко же ты». Великій

предметь, предъ которымъ смирится и устрашится фантазія самаго великаго, самаго геніальнаго художника!... Въ Эрмитажѣ еще не былъ, впереди еще много наслажденій, много писемъ къ вамъ во исполненіе объщанія отдавать вамъ самый подробный отчетъ во всемъ, чѣмъ поразятъ и усладятъ меня сокровища искусства, хранящіяся въ Петербургѣ. Теперь же снова обращаюсь къ предмету не столь высокому и поэтическому, не столь поразительному и усладительному — къ Александринскому театру...

Въ первомъ письмъ моемъ къ вамъ я показывалъ вамъ Александринскій театръ со стороны драмы, теперь покажу вамъ его со стороны комедін и водевиля. Эта п'єсня будеть еще заунывиве, благодаря моему московскому варварству... Непріятно, господа, быть въ положенін Скива, вдругъ очутившагося въ Афинахъ; но не хочу и притворяться, а останусь Скиоомъ, варваромъ, одинмъ словомъ — Москвичомъ... Вообще театры объихъ нашихъ столицъ еще въ младенчествъ: въ тъхъ и другихъ есть таланты, и даже великіе, но нътъ еще сценическаго искусства, которое состоить въ цёлостности представленія, въ томъ что называется ensemble, и безъ чего нътъ сценическаго искусства, а можетъ быть только развъ стремление къ нему. Кому это покажется страннымъ или ложнымъ, тому совътую побывать въ петербургскомъ Михайловскомъ театръ... Но объ этомъ я скоро буду писать къ вамъ, а пока номолчу, тъмъ болье, что это будетъ цълая исторія, только совершенно въ другомъ родів-півсня совсівмь на другой тонъ и ладъ... Но въ какомъ бы ни были состоянін наши театры объихъ столицъ, однако между ими есть разница. Не берусь вамъ показать ее, но попробую намекнуть, какъ я уже, и сдълаль это въ первомъ моемъ письмъ къ вамъ. Какъ истинные Москвичи, вы знаете въ чемъ разница между Мочаловымъ и Каратыгинымъ; подобная же разница есть и между Щенкинымъ и Сосинцкимъ, не въ томъ смысль, чтобы Щепкинь своими педостатками походиль на

Мочалова и ими давалъ надъ собою верхъ Сосницкому, а въ томъ, что, оставляя въ сторонъ неумъстный споръ о степени таланта того и другаго артиста, нельзя не сознаться, что и у Сосинцкаго есть своя сторона превосходства надъ Щенкинымъ, общая всему петербургскому. Если дочтете до конца это письмо, то увидите, о чемъ я говорю, и, можетъбыть, согласитесь со мною, хотя съ перваго раза вамъ и покажется дикимъ такое мивніе со стороны чистаго Москвича. Итакъ, въ драмъ ни Москвъ передъ Петербургомъ, ни Петербургу передъ Москвою величаться нечёмь: у насъ (т. е. у Москвичей) Мочаловъ-здёсь Каратыгинъ: у насъ Львова-Синецкая—здъсь Каратыгина; у насъ Орлова—здъсь (общее мивніе Петербурга) Асенкова; у насъ г. Козловскій—здівсь г. Толченовъ; у насъ Самаринъ-здъсь г. Леонидовъ (тотъ самый, что играль въ «Велизаріи» роль Вандала); у насъ въ трагедін является иногда Щенкинъ — здѣсь Брянскій, а иногда и Сосинцкій (какъ напр., въ роли Руджіеро, которую въ Москвъ выполняетъ Щенкинъ); у насъ Орловъ, въ роляхъ Швейцера въ «Разбойникахъ», Уголино, Яго — здъсь гг. Третьяковъ, Вороновъ и прочіе, хотя и въ другихъ ролихъ; но у насъ же Орловъ въ роли могильщика въ «Гамлетъ», а здъсь не знаю кто: итакъ положимъ, что равно... По въ комедін и водевиль, у насъ Щепкинъ — здъсь Сосинцкій; у насъ Ръпина—здъсь не знаю кто; у насъ Орлова здъсь Асенкова, если не ошибаюсь; у насъ Потанчиковъ, Стенановъ, Орловъ-здъсь опять не знаю кто; Максимовъ 1-й что-то среднее между Самаринымъ и Ленскимъ; если у насъ во многихъ родяхъ отличаются В. Степановъ, Никифоровъ, Шумскій, В. Соколовъ, Сабурова, Баженовская, даже Румяновъ — здёсь во многихъ роляхъ отличаются — Аоанасьевъ (въ роляхъ подъячихъ), Григорьевъ 2-й (верхъ возможнаго совершенства въ роляхъ кунцовъ и кунчиковъ, и возможной бездарности во всемъ другомъ), Григорьевъ 1-й (въ роли армейскихъ офицеровъ и ивкоторыхъ другихъ), Каратыгинъ

2-й (въ роли Архиваріуса и нікоторыхъ другихъ). Что касается до Живокини — здёсь Мартыновъ, и какъ опъ еще молодъ и можно надъяться, что будеть совершенствоваться, то едва ли не Москва должна завидовать Нетербургу. Г-жи Брянской еще пе видаль ни въ драмъ, ни въ комедін, а г-жи Каратыгиной не видаль въ комедін, и потому не сужу о нихъ. Вотъ вамъ данныя для сужденія—выводите сами результаты. Вообще въ нетербургскомъ театръ есть слъдующая странная особенность отъ московскато: здёсь какая-то общность, такъ что иногда не разберешь, чемъ разнятся между собою Каратыгины и Асенкова, и даже другіе, когда хорошо заучатъ роль и приготовятся, тъмъ болъе, что публика Александриискаго театра равно въ восторгъ отъ тъхъ и другой и третьихъ; въ Москвъ же, напротивъ, какая-то перовность — то гора или холмъ, то совершенная плоскость: Мочаловъ и Щепкинъ неизмъримо высятся и ръзко отличаются отъ второстепенныхъ актеровъ; второстепенные прекрасны, третьестепенные удовлетворительны, а кто за пими-смотръть нельзя, хоть зажмурь глаза или бёги вонь изъ театра; тогда какъ здёсь объ иномъ и недогадаешься, что онъ изъ плохенькихъ, потому что и говорить со смысломь и съ удареніемь, и холить на погахъ по-человъчески...

Въ публикъ объихъ столицъ тоже большая разница. Не говорю о публикъ Михайловскаго театра—это совсъмъ другой міръ и міръ прекрасный, потому что сюда собираются только люди, которые приходять наслаждаться и сценическимъ искусствомъ и талантами Алланъ, Бурбье и другихъ, люди, которые не любятъ хлонать и кричать; сверхъ того въ Михайловскомъ театръ нътъ райка—важное обстоятельство!... Но о публикъ Михайловскаго театра послъ. Московскую публику можно раздълить на три разряда—вопервыхъ, на воскресную, для которой даются но воскресеньямъ «Аскольдова могила», «Жизнь игрока», «Скопинъ-Шуйскій» и даже драмы Шекспира, и которая всъмъ довольна, всему громко хлонаетъ,

всегда вызываеть Ордову, и равно вызываеть Мочалова и г. Славина; потомъ публику бенефисную, для которой бенефисъ — праздникъ, и которая ужь непремънио вызываетъ бенефиціанта, если только онъ не г. Козловскій; наконецъ, публику, преимущественно собирающуюся на повтореніе бенефисныхъ піесъ, если бенефисъ имълъ блестящій успъхъ, и вообще посъщающую піесы только по выбору. Въ Александринскомъ театръ публика всегда одна и та же, большею частію состоить изъ діловаго и утомленнаго народа, которому послъ оффиціальныхъ бумагъ всякій слогъ хорошъ. Отсюда проистекаетъ ен безпримърная списходительность: за все хорошее она благодарить съ такимъ же энтузіазмомъ, какъ и за превосходное, а ко всему слабому, посредственному и дурному, она до того терпима, что ошиканная ею піеса, пли осмънный актерь уже ръшительно никуда не годиы. Она говорить съ восторгомъ объ Алланъ, восхищается Каратыгинымъ и Сосницкимъ, и театръ дрожитъ отъ ея рукоплесканій и ея «браво», когда Асенкова покажется передъ нею въ мужскомъ платъв, а иногда и въ женскомъ. Она очень любить драму, но отъ Шексипра вообще скучаеть, потому, разумъется, что онъ дурно переводится и еще хуже играется; но она очень ободряетъ произведения отечественныхъ талаптовъ, каковы напр., г. Полевой и г. Коровкипъ-усердные и неутомимые драматурги, особенно ею любимые. Но она и къ нимъ будетъ неутомимо строга, если бы они забыли должное уважение къ ея просвъщенному и образованному вкусу и рѣшились забавлять ее фарсами въ родѣ «Филатокъ и Мирошекъ» или «Незнакомцевъ» и «Послѣдиихъ дией Помнеи». Московская публика умерение въ своихъ восторгахъ, да и скупће на нихъ: если она и вызываетъ актера по пъскольку разъ, то это ненначе, какъ по воскресеньямъ, и то не больше четырехъ разъ въ одинъ спектакль. Кромъ того въ Москвъ, если напр., Мочаловъ пграетъ дъйствительно превосходно, то рукоплесканія публики громче и единодушибе, но ръже, и ея восторгъ иногда выражается какимъ-то торжественнымъ безмолвіемъ, въ которомъ слышится изумленіе чудомъ, и которое для инаго артиста лестиве всякихъ воплей и хлопанья. Что всего удивительные, въ московскомъ Петровскомъ театръ такія явленія бываютъ даже и но воскреснымъ диямъ...

Итакъ, давали «Жениха на Расхватъ». Иьерро игралъ г. Шемаевъ: роль выучена твердо, есть развизность, толковитость, жесты и возвышенія голоса ум'єстны, но ніть этого «нѣчто», которое трудно назвать и которое составляеть талантъ. Есть люди, которые скажутъ самое обыкновенное слово, сдълають самый обыкновенный жесть—и всь смъются; есть другіе: говорять все замысловатое, смішное, парочно ділають смъщные жесты-и инкто не смъется; не правда ли, что у первыхъ есть нѣчто, а у другихъ пѣтъ этого нѣчто?... Такъ и г. Шемаевъ: роль его была смѣшиа, игралъ онъ хорошо, даже дълалъ фарсы, на которые откликались сочувствіемь райскія сердца и души, но смотръть на него было тяжело и скучно и непріятно. Прочія лица, которыхъ представляли г. Алексвевъ и г-жа Сандунова, Бормотова, Рамазанова 2-я, Теряева, Соловьева и Волкова 1-я—тоже хороши, и объ ихъ игрѣ смѣло можно сказать: «обстоить благополучно». Однимъ словомъ, заставьте въ Москвъ разыграть водевиль подобные же таланты, вышло бы ужасное уродство; но со всёмъ тёмъ, я уже не пойду въ другой разъ смотръть «Жениха на расхватъ».

Въ «Полковникъ старыхъ временъ» г-жа Асенкова въ длинныхъ ботфортахъ, мундиръ и прочемъ. Дъйствительно, она играетъ столь же восхитительно, сколько и усладительно, словомъ очаровываетъ душу и зръніе. И потому каждый ея жестъ, каждое слово возбуждали громкія и восторженныя рукоплесканія; куплеты встръчаемы и провожаемы были кликами «форо». Особенно мило выговариваетъ она «чортъ возьми!» Я былъ вполив восхищенъ и очарованъ, но отъ

чего-то вдругь стало мнѣ и тяжело и грустио, и, несмотря на мое желаніе полюбоваться Мартыновымъ въ роли Фломара, я вышель изъ театра при началѣ водевиля, и дорогою мечталь о Москвѣ, о васъ, и о прочемъ...

Декабря 8-го быль бенефисъ Сосинцкаго, почти весь составленный изъ трудовъ знаменитыхъ и неутомимыхъ петербургскихъ драматурговъ — г. Полеваго и г. Коровкина, такъ что это было иѣчто въ родѣ состязанія двухъ талантовъ. Декабря 11-го всѣ эти піесы были повторены—и г. Коровкинъ дважды торжественно побѣдилъ г-на Полеваго, піеса котораго «Ужасный незнакомецъ, или у страха глаза велики» — единственная въ спектаклѣ, была ошикана, тогда какъ двѣ піесы г. Коровкина, особенно «Дѣдушка и внучекъ», благодаря прекрасной игрѣ Соспицкаго, заслужили лестное одобреніе публики Александринскаго театра. Я пе видалъ бенефиса, но былъ на повтореніи, и потому видѣлъ все то же, что происходило и въ бенефисѣ.

«Незнакомецъ», есть не драма, не комедія и не водевиль, а какой-то фарсъ въ родъ неудачнаго подражанія Коцебу. Лапдманнъ провинцін присладъ бургемейстеру городка приказъ изловить какого-то разбойника, или что-то такое; въ это время черезъ городъ провзжалъ какой-то «неизвъстный», котораго бургемейстеръ, городовой судья и еще кто-то почли почему-то за вышержченнаго вора и разбойника и ржшились захватить живаго. Бургемейстерь собираеть полгорода съ оружіемъ, говоритъ ръчь о славъ, чести и безсмертін, прощается съ женою, которая упадаеть въ обморокъ и, съ дочерью, которая не упадаеть въ обморокъ; «неизвъстный входитъ, и на него устремляются издали шиаги, сабли, ружья, владъльцы которыхъ прячутся другь за друга, трясутся и прочее. Наконецъ, его кое-какъ схватили. Является ландманнъ и узнаетъ въ «неизвъстномъ» какую-то важную особу, ругаетъ бургемейстера и судью и уходитъ съ важною особою, чёмь и кончается дёло.

Вы сказали бы, что Сосницкій играль дурно, если бы почитали себя въ правъ сказать это... Въ самомъ дълъ, какое право имъетъ рецензентъ хулить игру актера въ безсмысленной роли, какъ напр., въ роли Филатки, Мирошки, или Яги-Бабы, которую иногда игралъ Щенкинъ на московской сценъ?... Отъ актера, какъ и отъ каждаго, должно требовать только возможнаго. Искусный актеръ можетъ изъ безсмысленной роли сдълать что-инбудь порядочное, а не изъ безсмысленной... Кромъ Сосницкаго, можно упомянуть только г. Толченовъ, который смъшилъ публику въ серьёзной роли. Вотъ подлинно комическій-то талантъ: дайте ему сыграть хоть мертваго, такъ насмъщитъ...

«Дъдушка и внучекъ» драма-водевиль была бы не только со смысломъ, но и съ мыслю, еслибы въ ней не было лишияго лица, которое игралъ г. Григорьевъ 1-й, и котораго отношенія къ цълому піесы какъ-то пепонятны. Но всъ недостатки этой піесы выкунаются лицомъ дъдушки, которое изображено даже съ мыслію и превосходно сыграпо Соспицкимъ.

Дѣдушка любилъ своего внучка и не умѣетъ быть къ нему строгимъ, хотя и чувствуетъ необходимость этого. Опъ сажаетъ его за книгу, а тотъ хватается за игрушку; онъ начнетъ выговоромъ, а кончитъ тѣмъ, что поможетъ ему спустить кубарь. Приходитъ его зять, хочетъ побранить сына, а дѣдушка начнетъ увѣрять, что его внучекъ образецъ прилежности и скромности, хотя и знаетъ, что онъ шалунъ и дѣнивецъ. У дѣдушки естъ еще внучка, взрослая дѣвушка, которая любитъ молодаго человѣка, Камскаго. Дѣла отца ея разстроены, потому что его тестя (дѣдушку) обманулъ и разорилъ какой-то Юлинъ, облагодѣтельствованный имъ молодой человѣкъ Дѣдушка застаетъ Камскаго съ своею внучкою въ то время, какъ тотъ очень иѣжно цѣловалъ у ней ручки. Дѣдушка строго принимается за влюбленныхъ, но узнавши, что они любятъ другъ друга и желали бы жениться, прихо-

дить въ старческій восторгъ, даеть имь свое согласіе, велить имъ поцеловаться, и даже, въ забытьи, свываеть въ окошко всёхъ своихъ знакомыхъ на сговоръ внучки. Влюбденные охлаждають его восторгь, прося до времени помолчать. Камскій уходить, діздушка запялся со внучкомъ игрушками. Входить Хамовъ, хожатый по дёламь и ростовщикъ. Онъ приноситъ отцу Маши тысячу рублей въ займы подъ страшныя проценты. Толкуя Машъ о своей любви къ ближнему и безкорыстін, онъ просить ее передать ея отцу для подписанія заготовленныя обязательства, а деньги кладеть на столь. Дёдушка вдругь выходить. Является самь Раевъ (отецъ) и уходитъ съ ростовщикомъ въ свой кабинетъ. Вдругъ входитъ дъдушка съ корзинкою, наполненною игрушками и вещами, и приглашаетъ Ману полюбоваться дорогими серьгами, которыя онь, въ числе другихъ вещей, купиль ей въ подарокъ къ свадьбъ. «Гдъ вы взяли деньги?» восклицаетъ она, и съ ужасомъ узнаетъ, что старикъ (почему и какъэто тайна автора) взяль на столь тысячу и всю издержаль ее. «Стало быть мы разорены? Зачъмъ же вы отъ меня таили это?...» восклицаетъ старикъ, по ужасу Маши догадавшійся объ истинь. Маша убъгаеть въ кабинеть къ отцу; старикъ въ отчаянии и хочетъ уйти навсегда изъ дома такъ безнамъренно погубленнаго имъ своего зятя, какъ вдругъ слышить его голосъ «я прогоню его!...» Прекрасная сцена, въ которой есть гдъ развернуться таланту артиста!... Вбъгаетъ внучекъ-дъдушка съ плачемъ отдаетъ ему пгрушки, прощается съ ними и уходитъ, сопровождаемый слезами внучка, который тотчась утышается, принимаясь разбирать изъ корзины игрушки.

Во второмъ актъ, Камскій разсказываетъ своему двоюродному брату, Юлину, о несчастномъ семействъ, ногубленномъ негодяемъ, который имъ былъ облагодътельствованъ. Юлинъ грубо высылаетъ брата, остается одинъ и жалуется, что его всъ оставили, даже родной братъ называетъ въ глаза него-

Ъ

Ţ-

R

днемъ, — изъ чего публика и видитъ, что этотъ Юлинъ тотъ самый человёкь, который погубиль своего благодётеля; но публикъ трудно понять, за что онъ сердитъ на брата, который не думаль его ругать въ глаза, не зная, что говорить о немъ, ругая неизвъстнаго негодяя. Это, въроятно, одна изъ тайнъ автора или передълывателя драмы-водевиля. Юлинъ уходить изъ комнаты, въ которую входилъ Камскій съ Гриневымъ (дедушкою). Дедушка дрожитъ отъ холода и жалуется на русскій морозъ, тогда какъ онъ, за часъ передъ этимъ, отворяль окно на улицу, чтобы просить гостей на свадьбу внучки: маленькая несообразность, или можетъ-быть, въ тотъ годъ зима такъ быстро смѣнила лѣто, или можетъ быть, это еще одна изъ тайнъ передълывателя французской піесы. Камскій подводить старика къ камину и б'єжить за виномъ. Старикъ выпиль рюмку, и Камскій предлагаеть ему вышить другую за здоровье своего двоюроднаго брата Юлина. Старикъ, узнавъ что онъ въ домъ своего врага, приходитъ въ негодованіе на Камскаго, который привель его сюда. Странное діло! живя въ одномъ городії съ Юлинымъ, старикъ не зналъ его дома! Но, можеть-быть, это еще одна изъ тайнъ г. нередълывателя!... Старикъ хочетъ уйдти, по Камскій уговариваеть его остаться и приводить въ свою комнату. Входить Хамовъ и спрашиваетъ Юлина; Камскій идетъ къ брату съ докладомъ и скрывается, а 10линъ входитъ, начинаетъ ругать родню: грозить выгнать изъ дома тётку, сестру своей матери и мать Камскаго, и объщаеть отказать свое неблагопріобратенное иманіе Хамову. Этоть помогаеть ему-ругать его родию, подличаетъ и уходитъ въ радости. Юлинъ одинъжалуется на родию и на свое одиночество; причина и смыслътайна автора. Входить Гриневъ, и следуеть сцена упрековъ со стороны старика и ожесточенія со стороны Юлина. Последній уходить, и вдругь воблають Петя и Маша съ извъстіемъ, что ихъ имъніе продается съ молотка. Старикъ сходить съ ума; но Юлинъ вдругъ почему-то (послъдняя

тайна автора) расканвается, отдаеть свое имъніе обиженном имъ семейству, изъявлеть согласіе на бракъ своего брата съ Машею; старикъ приходитъ въ разсудокъ — и какъ видите, всъ счастливы.

Изъ этого изложенія видно, что вся пісса составлена для одного характера-дъдушки, который и очерченъ съ мыслію. Сосницкій быль превосходень. Одно уже то, что, пграя ко мическую роль, онъ умёль трогать и возбуждать не смёхь, а чувство, не переставая быть смёшнымь, показываеть удивительное искусство. Его невозможно было узнать: сгорб ленный станъ, восмидесятилътнее и предоброе лицо, голосъ, манеры, даже произношеніе, дающее знать о недостатк зубовъ — словомъ, все до малъйшаго оттъпка, до едва замътной черты, было въ высшей степени върно, правдоподобно, естественно, артистически-искусно. Въ каждомъ словъ, въ каждомъ движеніи видъпъ былъ добрый, благородный, теплый старикъ. Невозможно требовать большаго п дучшаго отръшенія отъ своей личности, и только афишка могла увършть меня, что это быль Сосницкій, а не другой какой-нибудь актеръ, которому, по причинъ собственных восьмидесяти лътъ за плечами, не для чего было прикидываться старикомъ. Вотъ въ этомъ-то я и вижу превосходство Сосницкаго передъ Щенкинымъ: послъдняго вы вездъ и во всемъ узнаете, хотя онъ каждую роль выполняетъ совершенно сообразно съ ел духомъ и характеромъ. Ему измёняеть не талапть, пе искусство, по его фигура, какая-то одному ему свойственная манера, отъ которой онъ вполив никакъ не можетъ отръшиться. Въ этомъ отношении, изъ русскихъ актеровъ у Сосинцкаго едва ли есть соперники: самого Каратыгина, глубоко постигшаго эту вижшиюк сторону искусства, вы всегда узнаете по голосу и еще по чему-то особенному, только ему принадлежащему; но Сосницкій перерождается, подобно Протею, въ тъхъ роляхъ, которыми можеть овладъвать внолиъ. Мы замътили въ его игръ только

OM.

ara

BII-

iю.

KO-

Ъ,

ŢII-

)Ő-

KĚ

)<u>J</u>.-

B0

1.

одинъ недостатокъ: въ патетическихъ сценахъ мы желали бы слышать этотъ тренетъ чувства, эту электрическую теплоту души, которыми Щенкинъ такъ обязательно и такъ могущественно волиуетъ массы, и увлекаетъ ихъ поволѣ своей огненной натуры. Вотъ здѣсь превосходство Щенкина надъ Сосинцкимъ, превосходство, котораго тайна, кажется, не совеѣмъ въ брганѣ голоса. И въ этихъ двухъ пунктахъ вообще главная разница между театрами обѣихъ нашихъ столицъ. Во всякомъ случаѣ, я готовъ сто разъ видѣть Сосинцкаго въ роли дѣдушки, но тѣмъ менѣе глубоко и болѣзненно буду завидовать вамъ, если вы увидите въ ней Щенкина...

Внучка игралъ г. Песоцкій, мальчикъ лѣтъ десяти. Объ игрѣ его мы скажемъ только то, что смѣшно и странно требовать отъ ребенка таланта и искусства, но что, со всѣмъ тѣмъ, еслибы всѣ взрослые играли такъ, то въ Александринскій театръ было бы зачѣмъ ходить хоть каждый день. Малютка вызванъ былъ два раза.

Г. Максимовъ 1-й очень отчетливо и искусно выполнилъ довольно пустую роль, а г. Мартыновъ превосходно, артистически сыгралъ роль Хамова. Вотъ, господа, талантъ! Если онъ будетъ изучать и учиться, то не только водевиль, но и комедія долго еще не осиротъютъ на Александринскомъ театръ.

«Такъ да не такъ»—пустой фарсъ въ водевильномъ родъ. Василій Навловичь Неродовъ, майоръ гусарскаго полка, любить поволочиться за всякою женщиною, какую только увидить, а жена его, Надежда Павловиа, сердится на него за это. И вотъ она къ себъ ждетъ свою пансіонскую подругу, Катерину Федоровиу Славину, съ ея женихомъ, Владиміромъ Сергьевичемъ Холмскимъ; а мужъ находитъ у ней черновую записку, въ которой она проситъ свою подругу прівхать къ ней въ мужскомъ платьъ, а жениха упросить одъться въ женское. Очень умио и правдоподобно! Дъло происходитъ въ деревиъ. Мужъ волочится за женихомъ, и какъ съ мущиною

обходится съ невъстою; а жена открываеть ему, что записка была хитростію (и очень замысловатою!) съ ел стороны, п что онъ въ дуракахъ. Съ изумлениемъ увиделъ я Сосинцкаго, какъ бы чудомъ какимъ изъ 80-лѣтияго старика вдругъ превратившагося въ новъсу-майора, правда итсколько дурнаго топа, но который требовался духомъ піесы, потому что ея дъйствующія лица, какъ видно изъ нашего краткаго изложенія; не могуть припадлежать къ числу порядочныхъ людей. Тщетно старался я найдти въ лицъ Сосницкаго что-нибудь похожее на лицо дедушки, котораго видель передъ собою четверть часа назадъ, и котораго лицо я никогда не забудусколько въ немъ характеристическаго. Непостижимое искусство! — Роль невъсты подруги, въ бенефисъ, играла г-жа Самойлова 2-я, говорять, актриса съ замъчательнымъ тадантомъ; но на этотъ разъ, по причинъ ен болъзии, эту роль занимала воспитанница Өедорова, почему я ничего не могу пока сказать вамъ о г-жъ Самойловой 2-й.

«Послѣдній день Помпен» — фарсъ, оскорбляющій и чувства и смысль. Въ немъ провинціалы увзднаго городка представлены и дураками и подлецами, безъ всякаго правдоподобія, безъ всякой естественности. Г. Григорьевъ 1-й прекрасно пгралъ Н. Н., проъзжающаго ремонтира, а г. Каратыгинъ 2-й Пшеницына; и изъ другихъ многіе были недурны. Актерамъ публика даже апилодировала мѣстами, но піесу всетаки проводила съ негодованіемъ и презрѣніемъ. И по лѣломъ!...

3

rka , II ro, eb-

aro

64

ie-

H.

JL.

010

rr-Ka

'a-

TY

B-

Į-

٥.

}-

I.

0]

заколдованный домь. Транедія въ пяти дъйствіяхъ, въ стихахъ, съ танцами, соч. Ауфенберіа, переведенная съ нъмецкаго П. І. Ободовскимъ.—чего на свътъ не вываетъ, или что у кого волитъ, тотъ о томъ и говоритъ. Водевилъ въ одномъ дъйствіи, сюжетъ заимствованъ изъ старинной комедіи, и проч.—(Спектаклъ 14 декабря).

(Изъ письма Москвича).

...Давно уже слышаль я, что Каратыгинъ превосходень въ «Заколдованномъ Домъ» въ роли Людовика XI. Кажется, эта піеса давалась и на московской сцень, но мив не случилось ея видъть. Поэтому, мив очень хотълось узнать, какъ изображенъ въ ней характеръ Людовика XI, такъ дивно созданный геніяльнымъ Вальтеръ Скоттомъ, а прекрасное выполненіе роли Велизарія Каратыгинымъ еще болье усиливало мое желаціе.

Много наслышавшись отъ всёхъ объ игрё Каратыгина въ роли Лудовика XI, я многаго и ожидаль; но увидёль еще болёе,—и сиёшу подёлиться съ вами монмъ восторгомъ.

«Заколдованный Домъ» передъланъ изъ извъстной повъсти Бальзака «Maitre Cornelius» и передъланъ такъ хорошо, что вышла прекрасная драматическая пісса, а не пошлая ивмецкая штука съ чувствительными эффектами. Не буду вамъ разсказывать ея содеражніе, которое извъстно всъмъ, видъвшимъ ее на сценъ, или читавшимъ повъсть Бальзака. Скажу только, что Лудовикъ XI очень удачно въ ней очеркнутъ, если не созданъ, и что онъ, особенно благодаря превосходной игръ Каратыгина, живо напоминаетъ историческаго Лудовика XI, кровожаднаго, жестокаго, метительнаго,

забавлявшагося мученіями своихъ жертвъ, какъ кошка мышью. скупаго, формально-набожнаго, внутренно безрелигіознаго п безиравственнаго, и, какъ всѣ люди безъ истинной религіозности, въ высшей степени суевърнаго; но вмъстъ съ этимъ характера могучаго, воли исполниской, словомъ, страшнаго орудія для осуществленія блага путемъ зла. Каратыгинъ какъ бы переродился въ этой роли-его нельзя было узнать, хотя мъстахъ въ двухъ, жертвуя истинному эффекту, онъ и измѣиялъ своей роли, и изъ Лудовика XI стаповился Каратыгинымъ. Но какъ это были какія-нибудь два мгновенія на три часа превосходной игры, — то лавръ подвига и остается за нимъ безспорно. Игру его невозможно характеризировать словами, и надо видёть, чтобы понять и оценить верхъ драматического искусства и торжество его таланта, являющагося, въ этой роди, въ своемъ апотеозъ. Дряхлый старикъ, страждущій всёми недугами — плодомъ буйно-проведенной молодости, безирерывно напряженнаго и неестественнаго состоянія духа; король-плебей, который одіть съ мъщанскою простотой, безпрестанно шутить, какъ какой нибудь добрый гражданинъ своего «добраго» города Парижа, но сквозь вижший плебензмъ котораго ни на минуту не перестаетъ проблескивать лучъ царственнаго достоинства, даваемаго правомъ рожденія и привычкою повел'явать съ младенчества. Онъ окруженъ людьми инзкаго званія, которые, по своей ограниченности, принисывають благосклонность къ нимъ короля личнымъ своимъ достоинствамъ и минмой родственности съ духомъ короля, не понимая его глубокаго илана униженія дворянства для возвышенія и сплавленія воедино разъединенной Франціи. Таковъ Каратыгинъ въ этой роли! Въ каждомъ словъ, въ каждомъ жестъ вы видите характеръ историческаго Лудовика XI! Посмотрите, какъ онъ согнулся, какъ часто, кашляетъ, задыхается, какъ медленна и слаба его походка, какое коварство въ его будто бы простодушномъ смъхъ, какъ опъ все видитъ, притворяясь, что пичего не видитъ,

какъ онъ умъетъ прикинуться обманутымъ, чтобы вдругъ и въ расилохъ схватить свою жертву и заставить ее во всемъ сознаться; замътьте, какъ ужь черезчуръ обыкновененъ его языкъ, простонародны манеры, грубы шутки, и какъ сквозь все это виденъ король, знающій, что онъ король, уверенный въ своемъ могуществъ, въ силъ своего ума и непреклонности воли! — Вотъ вамъ игра Каратыгина, если это дастъ вамъ о ней хоть какое-нибудь понятіе!—Но, вотъ, върный духу своего века, онъ отказывается отъ любимаго кушанья, отъ рюмки вина, потому что его врачь запрещаеть ему это, грозя, въ случав непослушанія, скорою смертію... И онъ повинуется ему, какъ дитя, не догадывается, при всей хитрости и тонкости, что врачь этимъ метить ему за презрѣніе, которымъ онь безпрестанно клеймить его, равно какъ и всъхъ своихъ тварей; онъ хорошо знаетъ имъ цѣпу, и издѣваться надъ ними-его любимая забава! При словѣ «Богъ», «покаяніе», «смерть» онъ набожно снимаетъ свою шанку съ оловянными изображеніями святыхъ, — и въ то же время съ шуточками и остротами посылаеть на ужасную пытку юношу, любимаго его дочерью, которую онъ любить со всею отеческою нёжностію. Онъ знаеть свои грахи, боится страшнаго суда; но просить у Бога еще двадцати леть жизни—для блага Францін, которая стонеть оть его жестокостей. Все это я говорю не отъ себя, не отъ исторіи, не отъ піесы даже, а изъ того, что я увидель отъ Каратыгина, или, лучше сказать, что показаль мнв Каратыгинъ...

Дивное искусство!...

Всѣ говорятъ, что у Каратыгина всегда превосходно выходитъ то мѣсто, гдѣ графъ Аймаръ Сен-Валье отказывается подписать свою разводную съ побочною дочерью короля, говоря, что развести его съ женою можетъ только папа, на что Людовикъ XI отвѣчаетъ ему:

Здёсь императоръ твой и папа!

Въ самомъ дълъ, согбенный станъ престарълаго и больнаго вънценосца выпрямился, принялъ гордое положеніе, голосъ загремълъ... Я это и видълъ и слышалъ, но со всъмъ тъмъ, на сей разъ, это мъсто не такъ удалось: въ голосъ чувствовалось напряженіе, усиліе, а немгновенная вспышка вдругъ пробудившагося и грозпо возставшаго царскаго величія. Но послъдовавшіе за тъмъ кашель, усталость, и весь конецъ сцены, проговоренный съ видомъ утомленія тъла, но не души, были превосходны въ высшей степени. Въ послъднемъ дъйствіи, когда Жоржъ д'Эстувиль, коварно и оскорбительно обманутый королемъ, въ порывъ негодованія вычисляеть ему его жестокости и преступленія, Каратыгинъ превосходно, съ неподражаемымъ благородствомъ, достониствомъ и простотою произнесъ стихи:

Умолкии! дерзкими наскучилъ мнъ словами, Долготеривніе оставить и готовъ; Что небо не разить надменнаго громами, Ты думаешь—у неба ивтъ громовъ.

И никто не хлопнуль ему; но послѣдующій за тѣмъ монологъ, гдѣ Людовикъ XI, хваляся своимъ безстрашіемъ, говоритъ, какъ онъ вышелъ цѣлъ изъ битвы, изъ-подъ мечей окружавшихъ его враговъ, а мальчикъ хочетъ его устрашить ¹),—былъ произнесенъ какъ-то утрированио и сопровождался какимъ-то насильственнымъ жестомъ—и всѣ пришли въ неописанный восторгъ... Вотъ только два мѣста во всей ніесѣ, въ которыхъ Каратыгинъ показался миѣ не Людовикомъ XI, а Каратыгинымъ. Изчислять превосходныхъ

¹⁾ Это могло происходить и отъ того, что самый монологъ натинутъ, а главное отъ того, что піеса переведена не прозою, а стихами, и еще шестистопными и, какъ мнъ иногда слышалось, чуть ли не съ рифмами. Когда наши переводчики убъдятся, что шестиногіе ямбы, съ переливающимися, или, лучше сказать, перекатывающимися полустишіями, несносны въ драмъ?... Вотъ ужь подлинно неумъстнан трата таланта!...

мъстъ не стану: это значило бы отдать подробный отчетъ въ каждомъ словъ и каждомъ жестъ, что было бы не совсъмъ удовлетворительно для васъ, невидавшихъ Каратыгина въ этой роли, и утомительно для меня и для читателей.

Превосходно!... и однакожь я не нойду въ другой разъ смотръть «Заколдованный Домъ». Что тутъ за наслажденіе илатить дорогою цъною утомленія, скуки и досады!... Игра Каратыгина въ роли Людовика XI есть торжество сценическаго искусства; но представленіе всей піесы, ея епѕемые есть ръшительное оскорбленіе сценическаго искусства, нотому что, если вмъстъ съ Каратыгинымъ играли Брянскій и Брянская, за то съ нимъ шграль и г. Толченовъ (и еще такую роль, удовлетворительное выполненіе которой сдълало бы честь великому таланту) и съ нимъ же шграли госнода Вороновъ, Фалъевъ, Толченовъ 2-й, Афанасьевъ, Чайскій, Ахалинъ... Бъдная русская сцена: таланты есть, а театра пъть!...

Вторую роль въ ніесъ-роль Корнелія-нгралъ Брянскій, и играль съ свойственнымъ ему искусствомъ. Но мит опять, сквозь всю простоту его игры, слышалась какъ бы невольно, вслъдствие долговременной привычки, пробивавшаяся классическая пъвучесть и переливность голоса, къ тому же еще слишкомъ мягкаго для такой роли; а въ потрясающихъ мъстахъ роли, гдъ выказывалась страсть скупости во всемъ ужасъ своего трагическаго комизма, его голосъ и жесты казались мив ивсколько напряженными, и потому утрированными. Что же касается до мимики и манеры держаться на сценъ сообразно съ характеромъ своей роли, — я видълъ много таланта, искусства и умънія. Вотъ, мнъ кажется, роль, созданная для Щепкина! Ужъ туть онъ пе насмъщилъ бы, усыпивъ въ половину, какъ въ роли Гарпагона, а ужаснуль бы зрителей, показавъ имъ, въ комической формъ, трагическую сторону одной изъ ужаснъйшихъ страстей человъческихъ-скупости!... Брянская прекрасно выполнила роль графини Маріи, жены графа Аймара Сен-Валье и дочери короля, хотя это и не изъ такихъ ролей, гдъ артистъ можетъ вполиъ развернуть свой талантъ, чтобы о немъ можно было произнести опредъленное сужденіе.

Роль сестры Корпеліуса принадлежить къ важнѣйшимъролямъ въ піесѣ, и ее превосходно выполнила г-жа Валберхова, нѣкогда блиставшая на петербургской сценѣ, а теперь отличающаяся почти въ одной этой роли; но за то такъотличающаяся, что невольно хочется ее вызвать тотчасъ послѣ Каратыгина. Въ самомъ дѣлѣ, невозможно требовать болѣе искуснаго выполненія роли, а когда она умираетъ, убитая подозрѣніемъ въ воровствѣ со стороны роднаго брата и его угрозами пытки и казни, то можно испугаться — ужъ и не въ правду ли она умерла... Превосходная сцена!

Послѣ драмы давался какой-то водевиль; но я не люблю смотрѣть водевили послѣ драмъ, въ которыхъ хоть одинъ актеръ поразилъ мою душу сладостными впечатлѣніями искусства... Сверхъ того, я твердо рѣшился не смотрѣть тѣхъ водевилей, въ которыхъ не участвуютъ вмѣстѣ Соспицкій, Максимовъ 1-й, Григорьевъ 2-й, (если дѣло идетъ о купцѣ), Аоанасьевъ (если дѣло идетъ о подъячемъ или лакеѣ), Мартыновъ, или хоть покрайней мѣрѣ одинъ Мартыновъ... Что дѣлать, у всякаго свой вкусъ—почему же и миѣ не имѣтьсвоего? Вслѣдствіе этого я не видалъ ни водевиль, ни г-жи Асенковой.

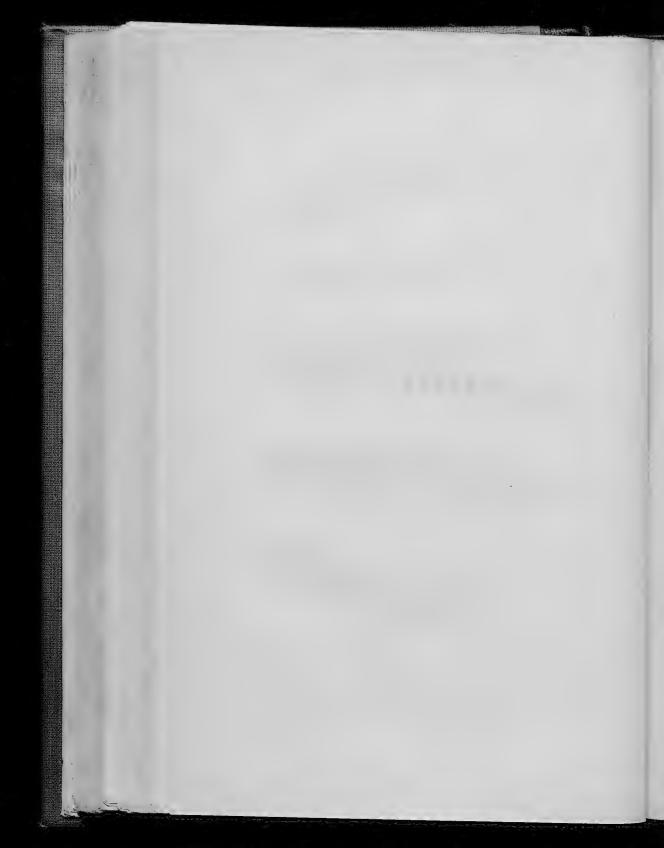
1839.

отечественныя записки.



I.

KPNTNKA.



ОЧЕРКИ БОРОДИНСКАГО СРАЖЕНІЯ. Соч. Θ . Глинки. Москва. 1839.

Народъ не есть отвлеченное понятіе: народъ есть живая особность, духовная организація, которой разнообразныя жизненныя отправленія служать къ единой цели. Народъ есть личность, какъ отдельный человекъ. Какимъ образомъ люди стали народами, частныя индивидуальности слились въ общія массы и, такъ-сказать, изчезли въ нихъ!... Вотъ одинъ изъ тъхъ вопросовъ, ръшение которыхъ не подлежитъ ни историческимъ разысканіямъ, ни изследованіямъ разсудка, опирающимся на опыть. Спросите человька, какъ онъ явился на свътъ: можетъ ли онъ вамъ отвътить на этотъ вопросъ? Онъ существоваль еще во чревъ своей матери, но не зная о своемъ существованін; онъ существоваль еще безсиысленнымь и безсловеснымъ ребенкомъ, но не зная о своемъ существованін; онъ даже не поминлъ своего младенчества, когда уже языкъ его лепеталъ несвязныя ръчи, а юцая душа принимала уже разнообразныя впечатлёнія бытія; онъ едва-едва помнить себя даже выходящимъ изъ младенчества, уже развивающимся своими духовными способностями; его сознательное существование начинается съ черты, разграничивающей отрочество и юношество. Вотъ почему каждый человъкъ всегда начинаеть свою исторію словами: «съ тахъ поръ, какъ и началъ себи помнить», и вотъ почему самая эпоха его сознанія еще такъ неопредѣленна, представляя собою какой-то утренній полусумракъ, и только въ періодъ юношества дълается яснымъ и свътлымъ утромъ. Такъ точно и

народъ не въ состояніи отв'єчать самому себ'є на вопросъ: откуда онъ произошель, какъ онъ явился? Намъ скажутъ, что людей свели взаимныя пужды, заставившія ихъ взаимными уступками, для обоюдной выгоды, ограничить свою свободу и принять общественную форму. Прекрасно, но вѣдь п дитя не бъжить отъ своихъ родителей, отъ своего семейства, безсознательно чувствуя свою нужду въ нихъ, хоть и отвращаясь лозы и власти ихъ, а между темъ оно все-таки не помнить, какъ это сделалось, что опо стало членомъ своего семейства, а чрезъ него и членомъ своего государства. Другіе намъ скажутъ — и это будеть еще справедливъе что исходнымъ нушитомъ соединенія людей въ общество было безсознательное влеченіе человька къ человьку, врожденное ему отъ природы, а взаимная нужда другъ въ другъ только укрънила и довершила это соединение. Прекрасно, но въдь и младенецъ, прежде нежели опъ почувствовалъ нужду въ своей матери или нянькъ, влекся къ нимъ безсознательнымъ чувствомъ, а между-тъмъ, ставши полнымъ человъкомъ, онъ всетаки не помнить, какъ это сделалось, и даже не помнить черты, раздъляющей конецъ его безсознательности съ началомъ его сознательности. Очевидно, что народъ родится безсознательно, проходить всё возрасты человёка, т. е. сперва бываеть зародышемь или возможностію, изъ которой, какъ растеніе изъ съмени, организируется младенецъ, лельемый матерью-природою, изъ младенца дълается отрокомъ и наконецъ доживаетъ до того момента своего существования, съ котораго начинаетъ говорить «съ-тъхъ-поръ, какъ я началъ себя помнить». Вотъ почему начало, или лучше сказать зачатіе всёхъ народовъ рёшительно ускользаеть отъ взоровъ исторін, и всё усилія разсудочныхъ мыслителей схватить его остаются тщетными; вотъ ночему въ исторіи каждаго народа есть періодъ баснословный и полубаснословный, или доисторическій или полуисторическій, который такъ незамётно сливается съ историческимъ, что невозможно уловить черты, раздъляющей ихъ.

Много было теорін о происхожденін политическихъ обшествъ, особенно много ихъ было у Французовъ, въ ихъ «фидософскомъ» XVIII въкъ. Эти теоріи принесли великую пользу, доказавъ безполезность и нелъпость стремленія объяснить опытомъ неподлежащее опыту, сдълать яснымъ разсудку недоступное для разсудка. Такимъ же точно образомъ силились объяснить происхождение языка. Сознавъ, что слово основано на непреложныхъ законахъ разума, заключили изъ этого, что явленіе слова было результатомъ сознанія его законовъ, т. е. что оно было сочинено, придумано, изобрътено, какъ напр. паровыя машины сочинены, придуманы и изобрътены вслъдствіє сознанія силы наровъ. Нельная мысль была распространена до того, что стали хлопотать о сочинении или учреждении универсального языка, въ которомъ были бы всъ свойства, составляющія особность каждаго языка отдёльно, и который, по этому, замѣнилъ бы всѣ языки и былъ бы общимъ ученымъ языкомъ. Разумъется, это предпріятіє кончилось тымь же, чъмъ кончилось строение вавилонскаго столба: не осталось даже и обломковъ гордаго зданія, имъвшаго цълію соединить небо съ землею. Кромъ того силились найти первобытный человъческій языкъ, и нустили въ ходъ сказку, о : Псамметихъ, прибъгнувшемъ къ странному способу для разръшенія этого неразрѣшимаго вопроса, и допытавшагося черезъ него, что первобытный языкъ быль-фригійскій. Потомъ основали образованіе языка изъ междометій и почитали себя въ состояніи ясно, опредълительно показать весь историческій ходъ развитія языка, какъ собранія условныхъ знаковъ для выраженія нонятій. Остановите ваше винманіе на эпитеть «условный», и вы поймете причину этого заблужденія! Всякое условіе бываетъ сознательно и есть заранъе предположенное намъреніе, предположенная цёль, наконецъ договоръ. Человекъ почувствоваль необходимость сообщить свои мысли подобнымь себь: воть и давай условливаться, лошадь называть лошадью, собаку собакою, и такъ далве. Прекрасно, но развъ въ цъломъ обще-

ствъ людей только одному предоставлено было право предлагать условія, а всёмъ прочимъ только принимать ихъ, да кланяться, приговаривая: «такъ-съ, батюшка, такъ-слушаемъ-съ: это лошадь, а это собака»? И какъ одинъ человъкъ могъ согласить многихъ? а если многіе вздумали соглашать многихъ, то какъ же они успъли согласиться? Кромъ того, какъ бы это ни вышло, черезъ одного или многихъ, но если эти «условія» не имъли причины въ самихъ себъ, т. е. не основывались на непреложной внутренией необходимости, то они были случайны, а следовательно и безсмысленны; но мы знаемъ, что каждый языкъ, отдёльно взятый, основанъ на не преложныхъ законахъ, и что вет языки, несмотря на ихъ различіе, основаны на однихъ и тъхъ же началахъ, почему человъкъ одного народа и можетъ выучиваться языку другаго народа... Нътъ языкъ былъ данъ человъку какъ откровеніе, а не пайденъ имъ, какъ изобрътение. Если человъкъ явился въ міръ существомъ разумнымъ, то необходимо и словеснымъ, потому что слово есть разумь въ явленіи. Человъкъ владъть словомъ еще прежде, нежели узналъ, что онъ владъетъ словомъ; точно такъ же дитя говоритъ правильно, грамматически, еще и пе зная грамматики, следовательно еще не зная, что онъ говорить правильно, грамматически. Слово человъческое есть одно изъ тъхъ явленій дійствительности, которыя въ самихъ себі скрываютъ причину своего явленія, которыя органически возникаютъ и развиваются изъ себя, и вит себя не имтютъ причины, и которыхъ рождение есть, но этому, тайна. Дъйствительность, какъ явившійся, отълесившійся разумъ, всегда предшествуєть сознанію, потому что прежде нежели сознавать, надо имъть предметъ для сознанія. Вотъ почему естествознаніе, пли учение о природъ явилось гораздо послъ самой природы, грамматика послъ языка, исторія послъ пережитой народами жизни. Все что ни есть-есть или являющийся разумъ (разумъ въ явленіи), или сознающій разумъ (разумъ въ сознаніи). Дъло сознающаго разума-сознавать дъйствительность,

а не творить ее, и потому разумъ пишетъ грамматику, а не сочиняеть языка, пишеть трактать объ организаціи общества, а не создаетъ общества. Какъ невозможно сочинить языка, такъ невозможно и устроить гражданскаго общества, которое устроится само собою, безъ сознанія и въдома людей, изъ которыхъ опо слагается. Всякое явленіе дъйствительности, изъ самого себя возникшее, рождается и развивается органически; всякое изобрътеніе дълается механически. Первое есть вдохновенный порывъ духа осуществиться въ дъйствительности; второе есть разсчетъ разсудка, основанный на соображении в роятностей. Матеріялисты ХУШ въка хотъли объяснить происхождение міра механическимъ сцёпленіемъ атомовъ, механическимъ процессомъ взаимнодъйствія тяжести и выходящихъ изъ ея математическихъ законовъ стремленій; но это объясненіе только затемнило сущность дёла, потому что, отличаясь внёшиею ясностію, отличалось внутреннимъ мракомъ. И какъ же туть быть свъту, а не мраку, когда они въ мірозданін видъли только какіе-то блоки, веревки, гвозди и клей; а не горячую кровь и полные электричества нервы, -- мертвый скелеть, а не живой организмъ, какъ выражение движащагося въ немъ духа жизни? Автомать делается механически, и потому онъ трупъ безъ жизни; организмъ человъка развивается динамически, и потому въ немъ въетъ, движется духъ жизни. Въ зародышъ, изъ котораго рождается человъкъ, заключенъ духъ жизни, самодъятельно, изъ самаго себя развивающійся въ опредъленныя формы, во чревъ матери, какъ развивается динамически, т. е. собственною самодъятельностію, зерно, положенное въ землю и становится деревомъ. То и другое требуеть для своего развитія вившиняго вещества—питанія; но это внъшнее переработывають и претворяють въ свою собственность, въ свои соки, кровь и плоть, и это внъшнее онять развивають изъ себя: такъ точно происходитъ и народъ. Его духовная организація параллельна телесной организаціи младенца и дерева, примъры которыхъ мы нарочно привели. Сущность жизни въ зериъ жизни, а это зерио—божественная идея, изъ сферы возможности переходящая въ сферу дъйствительности, изъ пебытія осуществляющаяся въ бытіе, по глаголу священнаго писанія: Богъ создалъ міръ сей изъ ничего...

Начиная отъ временъ, о которыхъ мы знаемъ только изъ исторін, до нашего времени, не было и п'ять ни одного народа, составившагося и образовавшагося по взаимному сознательному условію изв'єстнаго числа людей, изъявившихъ желаніе войдти въ его составъ, или по мысли одного какого-нибудь хотя бы и геніальнаго человъка. Намъ, можеть-быть, укажутъ на Съверо-Американскіе штаты—на этотъ народъ безъ имени и названія, на этого сына безъ отца, потомка безъ предковъ, на это политическое общество, какъ будто искусственно явившееся; механически соединенное изъ разнородныхъ началъ? Мы отвътимъ, что все это только кажется такимъ для поверхностнаго взгляда, но совсёмъ не таково на саномъ дълъ. Вопервыхъ, Съверо-Американскіе штаты явились но условію только государствомъ а не народомъ; между же государствомъ и народомъ большая разница: народъ можетъ не быть государствомъ, но государство не можетъ не быть народомъ; народъ можетъ сдълаться государствомъ, но государство не можеть сдълаться народомъ, потому что оно было народомъ прежде еще, чъмъ сдълалось государствомъ. Большая и главная часть пародонаселенія Съверо-Американскихъ штатовъ — природные Англичане: господствующій языкъанглійскій; направленіе въ религін, политикъ и гражданскомъ устройствъ явно отзывается британизмомъ. Слъдовательно, Съверо-Американские штаты не безъ родни, не безъ предковъ, не безъ отца и матери. Сначала они были англійскими колоніями, следственно, имели уже готовыми все матеріялы для государственной жизни: образованный языкъ съ богатою литературою, религію, въ высшей степени развитую гражданственность и т. д. Такъ-какъ изъ колонистовъ, въ теченіи времени, образовалось изъ Англичанъ какъ бы особое племя, вслёдствіе вліянія климата и страны на духъ,—племя, отличавшееся отъ жителей Великобританіи, какъ отличаются романы геніальнаго Купера отъ романовъ геніальнаго Скотта, хотя и писанныхъ на одномъ языкѣ,—то ивкоторымъ образомъ и образовался какъ бы особый народъ, которому уже не мудрено было стать государствомъ. Да и самый процессъ перехода народа въ государство совершился не механически, не условно, а зарождался, зрѣлъ и обнаружился исторически, такъ-что причины его далеко скрываются во времени, и исторію Сѣверо-Американскихъ штатовъ должно начинать съ эпохи религіозно-политической реформы въ самой Англіп.

Исходный пункты жизни каждаго народа скрывается въ географическихъ, этнографическихъ, геологическихъ и климатическихъ условіяхъ. Когда человѣкъ выходить изъ своего естественнаго состоянія, онъ начинаеть борьбу съ природою. покорнеть ее себѣ и даже измѣилеть могуществомъ своей разумности; но до тъхъ поръ онъ-ея рабъ. Мощно дъйствують на него ея внечатлънія, и его темпераменть имъеть кровное сродство съ материкомъ, на которомъ онъ родился, съ небомъ, подъ которымъ онъ родился, а его характеръ есть результатъ его темперамента. Законъ родства крови и плоти есть законъ самого духа!... Сначала всякое человъческое общество существуеть какъ племя, потомъ-какъ народъ; немного племенъ извъстно исторіи: состояніе человъческаго общества, какъ племени, есть первый и самый естественный моменть его существованія, это какъ будто разв'єтвившіеся отирыски единаго ствола, какъ будто размножившіеся члены единаго семейства, давно потерявшаго память о своемъ прородитель, уже не только родные, но двоюродные, троюродные и такъ далъе, составляющие отдъльные круги семейства. Племена не имъють не только законовъ, даже обычаевъ, освященныхъ временемъ, но живутъ какъ бы руководимыя

какимъ-то инстинктомъ. Имъ нужна пища-и у нихъ есть стръла и лукъ, или съть для рыбъ: вотъ всъ ихъ потребности и всъ точки соприкосновенія между ими. Но вотъ племя сталкивается съ другимъ илеменемъ, и, какъ всякой естественной индивидуальности другая индивидуальность враждебна, между ними начинается кровавая борьба; каждое племя плотиве соединяется, родствениве сжимается, ясиве сознаеть свою индивидуальную особность; рождаются понятія о славѣ и безславін, о геройствъ и малодушін, о ненависти ко враждебному племени, какъ священномъ долгъ; являются воепачальники и ивкоторая подчиненность. Но этимъ все и оканчивается, потому что только столкновение съ народомъ или государствомъ можетъ быть причиною развитія племени въ народъ и государство, или чрезъ подпаденіе подъ власть его и изчезновение въ немъ, или чрезъ перенятие его идей. Ц потому у племенъ власть военачальника бледна, безцветна и неопредъленна, неутверждена и не освящена никакою идеею, не имъетъ даже силы преданія (traditio), не только закона, жречество основано на мистическомъ страхѣ непоцятнаго ихъ уму, и потому пугающаго его, и развъ еще на нъкоторыхъ врожденныхъ человъку слабыхъ и неопредъленныхъ идеяхъ о божествъ. Въ такомъ видъ представляются вамъ всъ дикія племена Европы, Азін и Африки. и наконецъ дикія племена цёлыхъ частей свёта. Америки и Океаніи. Это какія-то инфузоріи политическихъ обществъ, безсильныя принять опредъленную и единственно разумную форму человъческаго общества — форму государственную. Что бы ни было причиною этого: низшая въ сравненіи съ нашею организацією изолированность отъ образованнаго міра, недавность ихъ происхожденія и близость къ природѣ, или какія-нибудь чисто вившнія, случайныя причины, или все это вивств взятое; но только можно съ въроятностію заключать, что всь изъ извъстныхъ намъ государствъ, бывшихъ и ныив находящихся, начали свое существование съ состояния племени, состояния,

которое, какъ безсознательное, не могли помпить, а слъдовательно и забыть. Въ Америкъ Испанцы, кромъ множества племенъ, застали два народа-мексиканскій и перуанскій, изъ примъра которыхъ можно видъть, какъ общество переходитъ во второй свой моменть — изъ племени дълается народомъ. У народа уже начинается исторія, которой нътъ у племени, хотя эта исторія еще только преданіе, изъ устъ въ уста, отъ поколънія къ покольнію переходящее. У народа уже есть зародыши всъхъ формъ государственной жизпи: утвержденная верховная власть, іерархія чиновъ, разд'яленіе на сословія, и пр.; по только все это еще какъ преданіе, какъ обычай, освященный временемь, какь безсознательно-существующій факть, а не какъ что-нибудь выговоренное, какъ законъ, и утвержденное законною формою. Народъ тогда только дёлается государствомъ, когда законность, освященная временемъ и отъ времени получившая свою силу, пріобрътаетъ формальность, народная жизнь получаетъ опредъленныя, выговоренныя, или на письмъ утвержденныя формы, и эти формы переходять въ законъ. Государство есть высшій моменть общественной жизни и ел высшая и единая разумная форма. Только ставши членомъ государства, человъкъ перестаетъ быть рабомъ природы, но дълается ея повелителемъ, и только какъ членъ государства, является онъ существомъ истинно-разумнымъ. Илемена близки къ животнымъ, и потому минута, когда узнаетъ о ихъ существованіи государство, есть минута ихъ истребленія, порабощенія и перерожденія въ новомъ и чуждомъ имъ духѣ, въ новыхъ и чуждыхъ имъ формахъ.

Всякая разумность, чтобъ сдёлаться разумностію, должна явиться сперва какъ естественность, какъ непосредственное откровеніе. Всякая разумность священна, т. е. имбетъ свою мистическую, таниственную сторону, и причина этой таинственности скрывается опять въ близости къ источнику всего сущаго, къ божественной идећ, первоначально осуществляю-

щейся во всеобщей родовой матеріи, въ сущномъ (субстанціяльномъ) пачаль. Какая глубина мысли и какая поэзія въ русскомъ выраженін «мать сыра земля»! Въ самомъ дёлё, она мать: намъ, наша родная мать, ибо она есть первоначальная, первосущиая форма духа, хранительница всёхъ силъ, всей сущности (субстанціи) творящей природы! Изъ ея материнскаго дона вышелъ человъкъ, и въ ея материнскихъ нъдрахъ поконтся онъ на въчность! Точно таково же и родство людей между собою: всъ люди родня другъ другу по духу; но это духовное родство сперва проявляется въ нихъ какъ родство крови и плоти, и духовное родство потому и свято, что выходить изъ кровно-плотскаго. Точно такъ же, потому же самому, и государство есть разумное, а потому и священное явленіе, что его начало скрывается въ естественно -семейственномъ родствъ людей, перешедшемъ потомъ въ родство племенное, а наконецъ въ народное. Какъ въ отдёльныхъ семействахъ мы замъчаемъ часто сходство чертъ лица, голоса, манеры говорить и дъйствовать, словомъ сходство характера, духа, даже при несходствъ направленій, — такъ и всякій народъ отличается единствомъ языка, а слъдовательно и характера мысли, взгляда на вещи и способа понимать ихъ (потому что языкъ есть осуществившееся, явившееся понятіе), единствомъ религін, образа правленія, родовымъ сходствомъ въ образъвнъшней жизни, наконецъ семейственнымъ сходствомъ физіономіи составляющихъ его индивидуумовъ, такъ что трудно не узнать по одному лицу Англичанина, Француза, Нъмца, Итальянца, Татарина и т. д. Это сходство, это единство, это родство священны, потому что основание ихъ плоть и кровь, какъ первосущныя (субстанціяльныя) формы духа. И вотъ почему космонолитъ есть какое-то ложное, двусмысленное, странное и непонятное явленіе, какой-то блёдный, туманный призракъ, а не яркая и живая дъйствительность; вотъ почему, напримъръ, Русскій, случайно проведшій въ Нарижъ свое младенчество и въ чуждой его родной сущно-

сти (субстанціи) странъ припявшій первыя живыя впечатльнія бытія, представляеть изъ себя какого-то амфибія, уродливаго и отвратительнаго, какъ всѣ амфибін; вотъ почему человъкъ, для котораго ubi bene ibi patria, есть существо безправственное и бездушное, недостойное называться священнымъ именемъ человъка; вотъ почему, наконецъ, памънникъ своему отечеству, предатель своей родины, есть злодъй, при видъ котораго содрагается человъческое сердце, отъ котораго съ омерзеніемъ отвращается человъчество, и который, если только онъ не идіоть (не въ риторическомъ, а въ физіологическомъ смыслѣ этого слова), скитается по земль, подобно Каину, съ печатью проклятія на чель п ненавистію къ собственному существованію!... Еслибы общественныя узы были пе плоть и кровь, а только взаимный договоръ для общихъ выгодъ, тогда въ идей государства не было-бы инчего священнаго, и предательство отечества было бы проступкомъ противъ чести и морали (Moralität), а не преступленіемъ противъ нравственности (Sittlichkeit); промвнять свое отечество на другое было бы не несчастіемъ, а простымъ разсчетомъ перемъны хорошаго на лучшее. Какъ не можемъ мы представить себъ человъка, вдругъ и Богъвъсть откуда явившагося полнымъ, возмужалымъ и разумнымъ человъкомъ, такъ не можемъ себъ представить и общества, вдругъ возникшаго по условному договору извъстнаго числа индивидуумовъ. Какъ священно существо человъка, потому что его рождение и развитие есть тайна иля него самого, такъ священно и существование общества, потому что его начало и развитіе есть тайна. Чтобы полиже и ясибе выразить нашу мысль—укажемъ на самое важибйшее и самое священиты шее явление общественной жизии.

Спросите какого-инбудь французскаго говоруна, какого-инбудь либеральнаго аббатика Француза: откуда и какъ произошла царская власть?—и опъ непремънно скажетъ вамъ, что это сдълалось слъдующимъ простымъ образомъ: «когда люди

лишились своей естественной невинности, стали элы и развратны, то увидъли себя въ горькой необходимости выбрать изъ среды себя человъка и вручить ему неограниченную власть надъ собою». Для поверхностного взгляда абстрактныхъ головъ, въ глазахъ которыхъ иден и явленія не заключаютъ въ самихъ себъ своей причины и необходимости, но выростають какъ грибы послё дождя, по только безъ почвы и корней, а на воздухѣ, -- для такихъ головъ нѣтъ ничего проще и удовлетворительные такого объясненія, но для людей, духовному ясновидению которыхъ открыта глубина и внутренняя сущность вещей, не можеть быть инчего нелъпъе, смъшнъе и безсмыслениве. Все, что не имветъ причины въ самомъ себъ и является изъ какого то чуждаго ему «вив» а не «изнутри» самого себя, --- все такое лишено разумности, а слъдовательно и характера священности. Коренныя государственныя постановленія священны, потому что они суть основныя илен не какого-нибудь извъстнаго народа, но каждаго народа, и еще потому что они, перешедши въ явленія, ставши фактомъ, діалектически развивались въ историческомъ движеніи, такъ что самыя ихъ измъненія суть моменты ихъ же собственной идеи. И потому коренныя постановленія не бывають закономъ, изръченнымъ отъ человъка, но являются, такъ сказать довременно, и только выговариваются и сознаются человъкомъ. Равнымъ образомъ коренныя постановленія государства никогда не измёниются въ смыслё замёны однихъ другими, но измѣняются въ смыслѣ расширенія иди ограниченія, сообразно съ временными требованіями исторической жизни парода. Измѣненіе это всегда чувствуется въ государственномъ тълъ какъ сотрясение и часто сопровождается судорожными потрясеніями цёлаго его состава, ибо мысль, чтобы осуществиться, должна перейдти въ дъло, въ фактъ, въ явленіе; а всякое явленіе совершается какъ бы въ плоти и крови. Такъ, напр., реформа, произведенная въ жизни Россін Петромъ Великимъ, совершилась въ борьбъ и потрясеніяхъ всего государственнаго организма, по потому-то она такъ крѣнко и утвердилась и перешла въ законъ, и чѣмъ болье пролетитъ стольтій отъ этого событія, тѣмъ большую законность и священность будетъ пріобрѣтать дѣло Петра. Мы хотимъ этимъ сказать, что сила вѣковаго преданія и священная таинственность всего, теряющагося въ довременности, имѣютъ глубокое значеніе, и только однѣ освящаютъ явленія, какъ свидѣтельство, что эти явленія—непосредственное откровеніе, а не человѣческія выдумки. Человѣческія уставы могутъ быть полезны, а не священны; только непосредственно Богомъ явленное священно. Нѣтъ власти, которая бы не была отъ Бога, но всякая власть отъ Бога—говоритъ св. писаніе, и эти слова заключаютъ въ себѣ глубокую мысль и непреложную истину.

Азія есть колыбель челов'вческаго рода-его отечество; въ ней начало всёхъ вёрованій, всёхъ человёческихъ обществъ; въ ней начало всего довременнаго, всего непосредственно явившагося. И св. писаніе, и исторія, и даже сама современность указывають намъ на Азію, какъ на страну натріархальности. Китай-эта едва ли не первобытивищая политическая форма общества, и но сю пору есть государство по преимуществу патріархальное. Всъ мусульманскія государства носять въ своемъ основномъ построеніи печать древней патріархальности. Аравія и теперь еще представляеть собою первобытный типъ племенъ, управляемыхъ патріархами. Св. писаніе говорить намъ о первыхъ патріархахъ, какъ о царяхъ людей, жившихъ въ законъ естественномъ. Что такое былъ Іаковъ, переселившійся въ Египетъ, какъ не отецъ семейства, до того размножившагося, что маститый старецъ сдълался и отцомъ и прапрадъдомъ вмъстъ, такъ что для своихъ праправнуковъ, по закону колъннаго отдаленія, казался столько же правителемъ, царемъ, сколько родственникомъ и родоначальникомъ? Отсюда ясно, что мистическая и священиая идея отца-родоначальника была живымъ источникомъ истекшей изъ

нея иден царя. Только безсловесныя животныя живутъ безъ властей; но человъкъ даже въ своемъ естественномъ состояніи, даже еще не развратившись, не сділавшись злымъ, признавалъ власть и жилъ въ разумпыхъ формахъ повелительства и подчиненности, задолго до того, какъ созналъ ихъ значеніе, или ихъ нужду; чувство, вмёстё съ пимъ родившееся, сказало ему, что отецъ выше сыпа, и что сынъ долженъ повиноваться, следовательно, признавать власть отца. Воть почему во всёхъ племенахъ родоначальничество есть первый моментъ общественнаго сознанія, а право первородства-самое священное право. Законы человъчества вездъ одни и тъ же, потому что они законы разума, а разумъ одинъ, какъ одинъ Богъ: американскіе дикари, по законамъ вѣжливости, всякаго старшаго себя называють «своимъ отцомъ», а равнаго себъ по лътамъ «своимъ братомъ». Нельзя вывести изъ опыта, какимъ образомъ изъ отеческой власти явилась царская власть, отецъ сталъ царемъ, но въ умозрѣнін это очень непопятно. Исторія не можеть показать картины развитія иден отца въ идею царя, исторія не помнить этого, потому что это явленіе довременное. Но тъмъ ясите, что кто внушилъ человтку чувство мистическаго, религіознаго уваженія къ виновнику дней своихъ, освятилъ санъ и званіе отца, тотъ освятилъ санъ и званіе царя, превознесь его главу превыше всёхъ смертныхъ и земную участь его поставилъ виъ зависимости отъ случайной воли людской, сдълавъ личность его священною и неприкосповенною. Человъчество не помнить, когда преклонило опо колени передъ царскою властію, потому что эта власть была не его установленіемъ, но установленіемъ Божінмъ, не въ извъстное и опредъленное время совершившимся, но отъ въка въ божественной мысли пребывавшимъ. Поэтому царь есть намъстникъ Божій, а царская власть, замыкающая въ себъ всъ частныя воли, есть преобразование единодержавія въчнаго и довременнаго разума.

Достоинство монарха есть священетво, и въ таниствъ по-

мазанія совершается непосредственная передача власти царю отъ Бога, и «Сердце Царево въ руцѣ Божіей», и какъ говоритъ Шекспировъ Ричардъ II:

Елей съ помазаннаго короля Не могутъ смыть всъ воды океана! Дыханіе земныхъ людей не можетъ Съ избраннаго намъстника Творца Снять санъ его!...

Вотъ почему, отдавая подданному приказаніе идти, монархъ не оглядывается назадъ, чтобы удостовърпться, исполняется ли его приказаніе; вотъ почему его слово — законъ, маніе руки его-повельніе, взглядь очей-гроза или милость. Онъ творить, какъ «власть имъющій» (Ев. отъ Мато. гл. VII. ст. 29), и власть его не отъ него, но свыше. Вотъ почему, когда слъпое своеволіе воздвигаеть бури мятежа, онъ съ безтрепетнымъ грознымъ челомъ является, одинъ и безоружный, и въ комнатъ Шакловитаго, и на площади, усыпанной мятежными толиами, которыхъ и самый страхъ оружія и смерти быль безсилень привести къ повиновенію, -- является и, вмѣсто увѣщаній и просьбъ, однимъ словомъ властительныхъ устъ, однимъ мановеніемъ державной руки повергаетъ передъ собою во прахъ сонмище губителей, оцъпенъвшихъ отъ одного его появленія: нбо онъ творить «какъ власть имѣющій»... Превосходно у Шекспира то мѣсто въ «Ричардь И», гдь отложившійся отъ короля герцогь йоркскій, увидъвъ Ричарда, осаждениаго и почти побъждениаго безъ надежды на возстаніе, увидівь его восходящимь на стіну замка, въ гордомъ сознани его царственнаго величія, возмущается духомъ въ сознаніи виновной совъсти и восклицаетъ:

Смотрите! о, смотрите! самъ король Ричардъ, Какъ негодующее солице всходитъ, Багровое на огненномъ востока прагъ, Замътивъ, что завистливыя облака Стремятся потемнить его сіянье

И запитнать собою лучезарный путь Къ странъ заката. Но онъ смотритъ какъ король; Смотрите: очи какъ орла сверкаютъ И въ нихъ могучее величество горитъ! О, Боже! ихъ ли горе потемнитъ!

Какая безкопечная глубина мысли заключена въ этомъ невольномъ изліяній, въ этой исповъди виновнаго вассала, такъ молніеносно и въ такихъ немногихъ словахъ выраженной величайшимъ геніемъ, котораго всезрящему оку доступна была сущность міровой жизни, ея основные законы! И сколько глубины и истины въ этомъ обращеніи короля къ вассалу:

Мы удивляемся: стоять такъ долго И ожидать, чтобъ въ страже преклонились Твои колфии, потому что мы себя Твоимъ законнымъ королемъ считаемъ! И если такъ: какъ смъютъ твои члены Забыть предъ нами подданнаго долгъ? Когда же не король и, покажи Насъ развънчавшую десницу Бога! Мы знасмъ, что рука изъ крови и костей Не можеть захватить священный скиптръ, Не святотатствуя и не воруя. И думаешь ли ты, что всв Британцы, Какъ ты, отъ насъ сердцами отвратились, Что мы и безъ друзей и безъ защиты?... То знай: Господь мой, всемогущій Богъ За облаками держить ополченье язвы, Въ защиту намъ; она убъетъ дътей Невышедшихъ еще на свътъ отъ тъхъ Кто на главу мою вассала руку Дерзнетъ занесть и вздумаетъ грозить Сіянью драгоціннаго вінца! Скажи же Болингброку (кажется онъ тамъ), Что каждый шагь его на нашей почвъ-Опасная измёна. Онъ пришелъ Сломать печать на пурпурномъ завътъ Кровавыхъ войнъ. Но прежде, чъмъ корона, Къ которой онъ стремится, на его челъ

Возляжетъ мирно, десять тысячъ разъ Кровавое чело сыновъ заставитъ Лить слезы матерей, обезобразитъ Ликъ Англіи цвътущей, превратитъ Цвътъ мира дъвственный и блъдный Въ багровое негодова ње, ороситъ Луга Британіи ен же кровью!

Президентъ Сѣверо-Американскихъ штатовъ есть особа почтенная, но не священная: какъ представитель общества по условію самого общества, онъ есть высшій чиновникъ его, на которомъ лежитъ большая противъ другихъ отвътственность и который за то пользуется большимъ противъ другихъ жалованьемъ и почетомъ, а не царь, который выше суда человъческаго и съ которымъ подданные связаны кровными, неразрывными узами духа и правственнаго закона. Личность президента есть призракъ, дъйствительно одно званіе его, и потому тотъ или другой—все равио. Вследствіе этого, идея этого государства есть условный символь, безь сущности и личности, тогда какъ въ монархіяхъ образъ государя, есть личность государства, и подданный, служа монарху, служитъ своему государству. Имя монарха для подданныхъ есть слово мистическое, таинственное, священное: оно заставляеть; магическою силою заключенной въ немъ иден, признавать цълый народъ какъ единаго человъка, и безконечное множество индивидуальныхъ особностей сливаеть во единое тъло, въ единую живую душу, имъющую въ своемъ актъ сознанія единое я. Отсюда ясно видно, какое великое значение имъетъ для вънценосцевъ древность рода и происхожденія, теряющаяся въ непропицаемости мистическаго мрака временъ и въчности. Царь долженъ родиться царемъ, и право рожденія есть его первійшее и священнійшее право. Цзъ милліоновъ людей онъ одниъ избранъ Богомъ, и милліоны не могутъ ревновать его избранію, и добровольно преклоняютъ передъ инмъ колъни, какъ передъ существомъ высшаго рода, и охотно повинуются ему, отказывая въ такомъ повиновеніи

равнымъ себъ, нбо власть ихъ считаютъ случайною. Это-то видно и было причиною паденія всёхъ самозванцевъ и похитителей, хотя многіе изъ нихъ и были люди великаго ума, способностей и силы характера. Какъ снято съ самозванца царское имя, которымъ онъ осфинся какъ правомъ-и будь онъ геній, окажи народу великія заслуги, по уже нътъ на немъ багряницы, и обнаженный трунъ его лежить добычею небесныхъ итицъ... Другимъ образомъ, но тотъ же конецъ бываеть и для похитителей. Благодаря своему геніальному инстинкту, свойственному всёмъ истинно великимъ дюдямъ, Наполеонъ глубоко чувствовалъ эту истину. Раздаватель коропъ и скипетровъ, могущественитйшій монархъ въ міръ, по свободному признанію цълаго народа, великій геній, самъ создавшій себѣ и тронъ и свое колоссальное счастіе, кажется, имѣвшій полное право гордиться своимъ не царскимъ происхождениемъ, онъ, несмотря на все это, безпокоился и о своей судьбъ и о судьбъ своего рода; онъ понималь, что для твердости и дъйствительности его власти педостаточно и его геніальности и его подвиговъ, и помазанія католическимъ первосвященникомъ, — и искалъ, какъ своего спасенія, вступить въ бракъ съ женою царскаго рода. И вотъ, онъ разводится съ женою, которую страстно любиль, которую короноваль какъ императрицу, и вступаеть въ новый брачный союзъ съ принцессою древняго царскаго рода, съ дщерію цесарей. Свътскіе мудрецы, люди, которые легко разсуждають о тяжелыхъ предметахъ, которымь достаточно четверти часа, чтобы, съ сигарою во рту, пересудить всёхъ и все, и перестроить міръ на свой ладъ, такіе люди глубокомысленно объявляють, что Паполеонъ этимъ союзомъ унизиль величіе своего генія и, увлекшись тщеславіемь, сдълалъ безразсудный поступокъ, роковую ошибку, которая и погубила его. Нътъ! это была мысль геніальная, свойственная только великому человъку, глубокопонимавшему законы разумной действительности, глубоко - постигавшему

таниственную и сокровенную для обыкновеннаго эрвнія сущность вещей. Мысль Наполеона стоить всёхь его побёдь и подвиговъ: онъ въ ней такъ же великъ, какъ и въ нихъ. Не мелкое тщеславіе, не суетное желаніе украситься заимствованнымъ блескомъ и пурпуромъ чуждой ему багряницы, ръшило его на этотъ союзъ, но глубокое сознаніе, что этотъ бракъ наброситъ на него въ глазахъ царей и народовъ, современниковъ и нотомства, тотъ религіозно-таинственный свёть, который составляеть необходимое условіе действительности царственнаго достоинства. Онъ понималь, что если у него будеть сынь, то хотя бы этоть сынь, наследовавь его престолъ, не наслъдоваль и слабаго отблеска его генія, словомъ, былъ бы самымъ обыкновеннымъ человѣкомъ, н тогда бы онъ тверже своего великаго отца сидълъ на оставленномъ ему тронъ, онъ-сынъ великаго отца и венценосной матери. Что опъ слышаль въ восторженныхъ кликахъ своей старой гвардін?- любовь къ ея великому полководцу, ея маленькому капралу... Но могъ явиться и другой полководець, озарить новымъ блескомъ имъ же прославленныхъ орловъ и присвоить себъ клики воинственныхъ привътствій. Что онъ слышаль въ восторженныхъ кликахъ народа? — благодарность за оказанныя ему услуги, громкій апплодисманъ за успъхъ, за которымъ могли раздаваться-какъ оно и случалось-оскоронтельные свистки сбившемуся съ роли актеру. Не забудьте изръченія Наполеона: «я продолжитель не королевства Гуго-Капета, но имперін Карла Великаго». Видите ли: онъ призываетъ себъ на помощь не одинъ союзъ брака съ вънценосною женою; но и союзъ исторіи, союзъ въювъ, союзъ преданія, -- и на Марсовыхъ поляхъ силится напомнить священное и мистическое прошедшее и связать съ нимъ настоящее... О, господа глубокомысленные политики! Наполеонъ понималъ кое-что не хуже и не меньше вашего, и самые его ошибки и промахи разумнъе и поучительные вашихъ прекрасныхъ умствованій...

Все, сказанное нами, клонится къ тому, чтобы показать, что общество или народъ не есть отвлеченное понятіе, но живая личность, единое тѣло и единая душа; что она рождается не случайно, не по человѣческому условію и произволу, но по волѣ Божіей; что оно не есть только необходимая форма развитія человѣчества и не имѣетъ причины въ нуждѣ и пользѣ людей, но есть само себѣ цѣль, въ самой себѣ посящая свою причину; что оно развивается не механически, но динамически, т. е. собственною самодѣятельностію жизненной силы, составляющей его сущность, не чрезъ налипаніе и срощеніе извиѣ, по внутренно (имманентно) изъ самого себя, органически, какъ дерево изъ зерна...

Досель мы смотрым на общество, какъ на нъчто единое в цълое: теперь взглянемъ на него какъ на единство противоположностей, которыхъ борьба и взаимныя отношенія составляють его жизнь. Общество состоить изълюдей, изъ которыхъ каждый человѣкъ принадлежитъ и себѣ и обществу, есть индивидуальная и самоцальная особность и членъ общества, часть цълаго, принадлежащая не себъ, а обществу. Прежде всего, всякій челов'якъ есть особность, есть личность, индивидуальность, которая есть исходный пунктъ всёхъ его дъйствій и необходимое условіе его дъйствительности. Какъ особность, онъ стремится къ своему личному удовлетворенио; но лишь только сділаеть онъ шагь къ этому удовлетворенію, какъ встръчаетъ себъ препятствіе вит себя, гд онъ видитъ множество существъ, подобныхъ ему, такъ же, какъ и онъ, стремящихся къ личному удовлетворению. Что полезно ему; то полезно и другому; а какъ иногда для многихъ полезно одно, то каждый, стараясь воспользоваться имъ одинъ, старается лишить его всёхъ другихъ, --борьба личностей и индивидуальныхъ особностей. Далъе: что полезно одному, то вредно другому, и этотъ другой старается не допустить перваго, — опять борьба личностей. Это зралище представляеть въ себъ все твореніе, которое есть безконечное многоразлиIT0

RBE

He

Π0

Ma

II

10-

all,

eH-

Hie

)F(

3 11

ra-

г0-

37,

[6-

ŊŢ.

14.

ХЪ

III.

ıe-

ie,

Y.P

чіе особенностей; это зрылище представляеть собою безсмысленныя животныя; но въ людяхъ, какъ существахъ разумныхъ, это же самое зрълище, имъющее своимъ основаніемъ сознание своей единичности каждымъ лицомъ, есть только исходный пунктъ жизни, которая есть борьба, но результаты которой представляють новое эрвлище. Человекъ, какъ особность, естественно видить въ другихъ людяхъ, какъ особностяхъ же, нъчто враждебное себъ; но въ тоже время онъ доходить своимъ разумомъ до сознанія, что каждая изъ этихъ враждебныхъ ему особностей имъетъ такое же право на личное удовлетвореніе, какъ и онъ, и что, следовательно, если онь требуеть отъ нихъ уступокъ и нуждается въ ихъ помощи, то и онъ въ правъ требовать отъ него уступокъ и помощи. Воть законь любви, которая есть чувственный, такъ сказать, разумъ, или безсознательная разумность! Изъ закона любви вытекаетъ законъ нравственный, который сознается изъ столкновенія внутренняго (субъективнаго) міра человъка съ внъшнимъ (объективнымъ) міромъ. Всякій человъкъ есть самъ себъ цъль, и жизнь дана ему какъ удовлетворение, какъ счастіе, какъ блаженство, къ которымъ, следовательно, онъ имъсть полное право стремиться, сообразно съ своими личными потребностями, наклонностями и средствами. Внутри себя носить онъ тапиственный и безконечный міръ, полный желаній, норывовъ, стремленій, страданій и радостей, и только чрезъ удовлетворение этого своего міра можетъ онъ достигнуть счастія. Это міръ внутренній, міръ субъективный человіна, сфера, въ которой онъ самъ себі ціль и, кромі себя и личнаго своего удовлетворенія, имфетъ право никого и инчего не знать. Субъективная сторона человъка истинна и слъдовательно, дъйствительна; но всякая односторошияя истина, доведенная до крайности, впадаетъ въ нелъпость. Субъективпость, оставалсь субъективностію, въ сферъ знанія превратится въ ограниченность и произвольность понятій, въ сферъ чувства — въ сухой и безправственный эгонзиъ, въ сферъ

дъйствія — въ преступленіе и злодъйство. Субъекть есть личность, но что же такое эта личность, кого выражаеть и опредъляеть она? Субъективная личность, есть выражение и опредъление духа, а духъ безконеченъ: слъдовательно субъективная личность не должна быть ограниченностію; духъ истиненъ, слъдовательно субъективная личность не должна быть эгоистическою. А между тъмъ, ограниченность есть условіе всякой субъективности. Въ чемъ же примиреніе этого противоржчія, гдж выходъ изъ него? въ столкновеніи субъективной личности человъка съ объективнымъ (виъ его находящимся) міромъ. Человъкъ есть частное и случайное по своей личности, но общее и необходимое по духу, выражениемь котораго служить его личность. Отсюда выходить двойственность его положенія и его стремленій; его борьба между своимъ я и тъмъ, что паходится виъ его я, составляетъ его не-я. Въ отношении къ его индивидуальной особенности, міръ не-я, мірь объективный, есть враждебный ему мірь; но въ отношенін къ его духу, какъ проблеску безконечнаго и общаго, міръ его не-я, міръ объективный, есть родной ему міръ. Чтобъ быть дъйствительнымъ человъкомъ, а не призракомъ онъ долженъ быть частнымъ выраженіемъ общаго, или конечнымъ проявленіемъ безконечнаго. Всябдствіе этого онъ долженъ отръшиться отъ своей субъективной личности, признавъ ее ложью и призракомъ, долженъ смириться передъ міровымъ, общимъ, признавъ только его истиною и дъйствительностію. Но какъ это міровое или общее находится не въ немъ, а въ объективномъ міръ, опъ долженъ сродниться, слиться съ инмъ, чтобы послъ, усвоивъ объективный міръ въ свою субъективную собственность, стать снова субъективною личностію, но уже действительною, уже выражающею собою не случайную частность, а общее, міровое, словомъ, стать духомъ во плоти. Въ сферъ жизни, въ сферъ дъйствия, столкновение субъективной личности съ объективнымъ міромъ совершается дъятельно же, не какъ житейская опытность, но

dT

11

11

Ъ-

KT.

Ha

ТЬ

Ъ-

0-

ÄS

IJ-

0-

01

Ъ

жакъ разумный опыть жизни. Почва, на которой выростають благотворные плоды разумнаго опыта, есть правственное чувство. Субъектъ, сознавая свою слабость, свою самонъльность, и следуя инстинктивному стремленію къ личному удовлетворенію, чувствуєть себя на каждомъ своемъ шагу п въ каждомъ своемъ дёйствін какъ бы связаннымъ какими-то внъшними отношеніями; онъ говорить себъ: «я самъ себъ цьль, и хочу жить для жизни, жить для себя»; но вившній міръ говорить ему: «ты не для себя создань, ты мнѣ принадлежишь, каждую твою радость, каждое твое наслаждение ты можешь получить только съ моего позволенія». Съ ужасомь и непавистію внимаеть юный человѣкъ этому страшному голосу какого-то призрака, котораго онъ не видить, но котораго могучія объятія охватили его со всёхъ сторонъ и не позволяють ему ин одного свободнаго движенія. Въ этомъ невидимомъ сторукомъ исполинъ онъ видитъ существо совершенно внъшнее и враждебное себъ; но разумный опытъ жизни, цъною страшной борьбы, противоржчій, страданій, перемѣшанныхъ съ торжествомъ нобъды, примпреніемъ и радостями, увъряетъ его наконецъ, что этотъ колоссальный и враждебный ему призракъ есть его же родное, его же внутреннее, словомъ, законы его собственнаго разума, его же субъективнаго духа, но только осуществившіеся во виж его, какъ явленія въ самомъ ділі, онъ видить, что онъ есть единичная личность, которая сама себъ цъль, но онъ же видить, что у пего есть отецъ, мать, братья, сестры, родственники, друзья, знакомые, наконецъ, общество, отечество, правительство, и что со всёми этими предметами (объектами) его субъективная личность связана не условными узами, но узами крови и плоти, а слъдовательно и духа. Онъ понимаетъ, что если-бы они сами захотъли отръшиться отъ него, сдълать его свободнымъ отъ нихъ, онъ потерялъ бы всякое значеніе въ собственныхъ глазахъ, очутился бы, въ собственныхъ глазахъ призракомъ безъ почвы, на которую уперлась

бы его нога, безъ воздуха, которымъ освъжилась бы грудь его, безъ имени, которымъ бы опъ обозначилъ себя въ нъмой бесъдъ съ самимъ собой. Въ духовномъ развитіи человъка моментъ отрицанія необходимъ, потому что кто никогда не ссорился съ истиною, у того и міръ съ нею не очень прочень; по это отрицаніе должно быть именно только моментомъ, а не цёлою жизнію: ссора не можеть быть ивлію самой себъ, но имъетъ цълію примиреніе. Всякій духовный процессъ совершается съ болью и страданіемъ, и столкновеніе субъективной личности человъка съ объективнымъ міромъ сперва необходимо является, какъ борьба и страланіе. Но дорогое и покупается дорогою ціною, и благо тому, что цвною страданія пріобрвтаеть истину, которая одна даеть блаженство, его же ржа не тлить, и такъ не похищаеть. Но горе темъ, которые ссорятся съ обществомъ, чтобы инкогда не примириться съ нимъ: общество есть высшая дъйствительность, а дъйствительность или требуеть полнаго мира съ собою, полнаго признанія себя со стороны человъка, или сокрушаеть его подъ свинцовою тяжестію своей исполинской длани. Кто отторгся отъ нея безъ примиренія, тотъ дълается призракомъ, кажущимся ничто, и погибаетъ. Алеко Иушкина поссорился съ обществомъ и думалъ навсегда избавиться отъ него, приставъ къ бродячей толиъ дътей природы и вольности; но общество и тамъ нашло его и страшно отомстило ему за себя чрезъ него же самого. Такъ какъ, несмотря на всв его мудрствованія, оно жило въ немъ безсознательно и кровно, то онъ и вздумалъ, вопреки своимъ понятіемъ, наложить на полудикихъ пътей природы тъ же самыя стъснительныя условія общественности, противъ которыхъ самъ возставалъ, и два трупа лежали перепъ нимъ, какъ необходимые результаты его ложнаго положения въ отношенін къ самому себъ, и навсегда унесли съ собою въ могилу всякую надежду его на счастіе и миръ души въ этой жизин...

Но борьба есть условіе жизни: жизнь умираєть, когда оканчиваєтся борьба. Субъективный человѣкъ въ вѣчной борьбѣ съ объективнымъ міромъ и, слѣдовательно, съ обществомъ,—но въ борьбѣ не въ смыслѣ возстанія, а въ смыслѣ своего безирестаннаго стремленія то въ ту, то въ другую сторону. Объяснимъ это примѣромъ. Петръ великій былъ человѣкъ; слѣдовательно, у него былъ свой субъективный міръ, въ которомъ онъ принадлежалъ только себѣ, а не государству: онъ былъ супругъ, отецъ, братъ, словомъ— семьянинъ; онъ вкушалъ, въ пѣдрахъ своего семейства, тѣ же радости, которыя вкушалъ и послѣдній изъ его подданныхъ. Онъ имѣлъ друзей, какъ напримѣръ, Меншикова, котораго горячо любилъ. Это его субъективный міръ. Но онъ же не имѣлъ почти минуты времени, чтобы забыться въ милыхъ, обаятельныхъ радостяхъ семейственности и дружбы:

То академикъ, то герой, То мореплаватель, то плотникъ, Онъ всеобъемлющей душой На троиъ въчный былъ работникъ.

Воть его объективный міръ. Но и этоть объективный міръ не быль чуждымь и вившнимь ему, не быль однимь суровымь долгомь, по быль его задушевнымь, кровнымь, и дъйствуя на его поприщь, опъ вкушаль блаженство, которому итть предвловь и для выраженія котораго итть словь. Но если это было такое блаженство, котораго ему не могь дать субъективный мірь, за то и субъективный мірь даваль ему такое блаженство, котораго не могь ему дать объективный мірь. Сверхь того, субъективныя радости даются легче, нежели объективныя: эти дома, опъ всегда съ пами, а для достиженія тъхъ нужна борьба, усиліе, трудь въ поть чела; нужно пногда на роковую ставку судьбы поставить все. Притомъ же дъйствованіе въ объективномъ міръ не можеть всегда быть только наслаждені-

емъ, но часто должно быть однимъ долгомъ, и минуты блаженства, доставляемыя имъ, ръдин, и бываютъ большею частю результатомъ успъха.

Пируетъ Петръ. И гордъ, и нсенъ, И полонъ славы взоръ его, И царскій пиръ его прекрасенъ. При кликахъ войска своего, Въ шатръ своемъ онъ угощаетъ Своихъ вождей, вождей чужихъ, И славныхъ плънниковъ ласкаетъ, И за учителей своихъ Заздравный кубокъ поднимаетъ.

Да, это торжество, незнакомое простымъ смертнымъ: это торжество, извъстное только богамъ, царямъ, героямъ и народамъ! Но сколько огорченій, досадъ, сомпьній, мукъ душевныхъ, тревогъ и заботъ предшествовало этому дивному торжеству!... Чтобы лучше показать двойственность человъка въ субъективномъ и объективномъ міръ, напомнимъ Петра въ другіе двѣ минуты. Всныхиваетъ стрѣлецкій бунтъ, и душа заговора-родная сестра царя-исполина: брать о ней плачеть, а царь ее судить и караеть... Надежда великаго царя, боявшагося и трепетавшаго только одной смерти-смерти своей иден реформы, -тотъ, кто могъ и продолжить и укръпить, или прекратить и изгнать ее, его родной, его единственный сынь, возстаеть на отца и царя, и возстаеть именно, какъ на преобразователя... Въсы суда готовы: на одной сторонъ естественная любовь родителя, на другой-судьба народа... Народъ побъдилъ-страшиая, величественная и торжественная минута!... Солице должно было остановиться въ своемъ въчно - довремениомъ теченін, природа пританть дыханіе, пульсь міровой жизни прерваться, въ ожиданіи страшнаго ръшенія, чтобы потомъ забиться повою, удвоенною жизнію, потечь повымъ, ускореннымъ теченіемъ отъ чувства торжества... Великій подвигь великаго человъка!-восклицаете вы

въ гордомъ сознании торжества достоинства человъческой природы. Міръ объективный побъдиль міръ субъективный, общее побъдило частное! Отчего же такъ велика эта побъда?—оттого, что власть естественнаго влеченія сердца безгранична надъ волею человъка, и когда торжествуетъ надъ нимъ законъ правственный, человъкъ является героемъ, полубогомъ, представителемъ человъчества, осуществившимъ своею личностію все могущество цълаго человъчества; оттого, что права субъективнаго человъка безконечно сплыны падъ душою и побъждаются только самоотверженіемъ въ пользу общаго... Итакъ, у одного человъка двъ жизни, изъ которыхъ каждая поочередно овладъваетъ имъ, которыя борятся между собою, и въ этой борьбъ его жизнь...

Общество слагается изъ множества людей, и у каждаго изъ шихъ свой горизонтъ понятій, своя сфера жизпи, свой кругъ дъйствія, наконецъ, свой субъективный и свой объективный міръ. Одинъ больше частпое явленіе, т. е., больше припадлежитъ ссой; другой больше общее явленіе, т. е., больше сливается съ интересами объективными, выходящими изъ сферы его частной жизни; но каждый раздъленъ между собою и обществомъ, и каждый соединенъ съ обществомъ, т. е. находитъ себя въ обществъ. Иной, по ограниченности своей натуры, даже не понимаетъ слова «отечество», но если опъ вписанъ въ сословіе, въ цехъ-у пего уже есть свой объективный міръ. Вотъ откуда истекаетъ живое единство общественной организаціи, которой безчисленные и разнообразные нервы, проходя взадъ и впередъ и перепутываясь въ тѣлѣ, сходятся въ одномъ нунктъ и образуютъ собою органъ сознанія — единаго личнаго я. Каждый изъ членовъ общества имъетъ свою исторію жизни, а общество им'єсть свою, и еще гораздо посл'єдовательнъйшую, гораздо полнъйшую, разумнъйшую и понятивищую. Какъ единый человъкъ, оно переходить моменты развитія: начавъ бытіе свое безсознательно и довременно, вдругъ пробуждается для сознанія, но для сознанія еще естественнаго, непосредственнаго 1); наконецъ наступаетъ иля него эпоха выхода изъ естественной непосредственности. оно отрицаетъ родство крови и илоти во имя родства духа, чтобы потомъ чрезъ духъ снова признать родство крови и плоти, но уже просвътленное духомъ-свътомъ божественной мысли. Какъ у единаго человъка, у него бывають бользни, и фазы бользней, и переходъ въ здоровое состояніе. Словомъ, это живая, единичиая личность, огромное тъло, съ безчисленнымъ множествомъ головъ, но съ единою душою, единымъ индивидуальнымъ я. П никогда его единство не бываетъ такъ поразительно, какъ въ тъхъ грустно или радостно торжественныхъ его положеніяхъ, когда или ръшается вопросъ о его жизни и смерти; или общая радость заставляеть сильно биться его исполинское сердце. Все въ немъ усыплено въ какомъ-то дремотномъ спокойствін, все такъ обыкновенно и ежедневно: судья ходитъ въ судъ, чтобъ брать жалованье и жить имъ, воинъ исполняетъ свои обязанности, какъ долгъ службы, составляющій условія его обезпеченія, купець думаеть о барышахь, словомь-все занято собою: кто родится, кто умираетъ, кто женится, кто разводится, и всякій — Ивапъ да Петръ, Сидоръ да Лука. Но воть буря иноплеменнаго нашествія пропосится по усыпленному народу и разражается громомъ и молніею надъ его безнечною головою—и нъть больше людей: является пародъ, нътъ больше личныхъ и частныхъ интересовъ: все дума объ отечествъ, пестрыя тояны слиянсь въ одну общую массу, во главъ которой является царь. И тъ, которые удивляли

¹⁾ Патсь слово "непосредственный" употреблено въ значени отсутствін посредства мысли въ сознаніи. Младенецъ, или простолюдинъ можетъ быть добръ, не имън ни малъйшего понятія ни о добръ, ни о злъ—доброта пепосредственная; другой можетъ обнаруживать своими дъйствіями и инстинктивно върными заключеніями удивительную истинность, впкогда не думавши о томъ, что такое истина—непосредственное познаніе истины.

васъ своею мелкостію и пошлостію, оскорбляли бездушіемъ, тѣ часто поражаютъ васъ и львиною храбростію, и благородствомъ ноступковъ, и великодушною готовностію принести себя на жертву за общее дѣло, даже не думая, чтобы ихъ жертва имѣла какую-нибудь цѣну. Для того-то и насылается буря, чтобы очищала воздухъ и орошенная земля чреватѣла илодородіемъ и давала плодъ сторицею... Такое зрѣлище представляла собою Русь на мамаевскомъ побоницѣ; такое зрѣлище предстагляла она въ годину междуцарствія, когда умирающее сознаніе ея я было пробуждено и оживлено голосомъ келаря Палицына, святителя Гермогена, мясника Минина и дѣятельнымъ участіемъ князя Пожарскаго... Отчего видна такая забота на лицахъ всѣхъ и каждаго? отчего но одному направленію движутся, отъ мѣста до мѣста, густыя массы народа, отчего, говоря словами поэта:

Въ погребальный слившись ходъ, Вся имперія идетъ?...

Умеръ Благословенный... Отчего въ первопрестольномъ градѣ, отъ заставы до съвтъ священнаго кремля, тянутся по обѣчимъ сторонамъ густыя толны безчисленнаго народа, едва удерживаемыя въ порядкѣ двойнымъ рядомъ солдатъ, лѣпятся на немостахъ, покрываютъ заборы и кровли домовъ? Кто созватъ ихъ сюда? Никто, даже тѣ, которые имѣютъ право сзывать народъ, скорѣе озабочены тѣмъ, чтобы число его не было во вредъ ему самому. Отчего лица всѣхъ свѣтлы и радостны, чужды всякой житейской заботы, всякой мысли о себѣ? отчего глаза всѣхъ, съ томленіемъ и трепетомъ ожиданія, обращены въ одиу сторону? отчего вдругъ, при царственномъ гулѣ колоколовъ и громѣ пушекъ, воздухъ потрясся отъ стонущаго «ура», какъ бы выходящаго изъ единой груди и единыхъ устъ?... Новый Царь вступаетъ въ древнюю Москву для вѣнчанія на царство...

Мпого славныхъ и блестящихъ мгновеній пережила молодая Россія— молодая и юная, несмотря на свою девятивѣковую

жизнь; миого перетерплено было ею славныхъ бъдъ, много перепраздновано славныхъ торжествъ; но всё они помрачаются 1812 годомъ. И въ самый знаменитый 1612 годъ за нее спорили и жизнь и смерть; но тогда спасеніе казалось чудомъ, которому тогда только повърили, когда оно уже совершилось; но въ 1812 споръ жизни съ смертію казался еще страшиве, а въ снасеніи никто не отчаявался, никто не сомнѣвался даже. Бъда была торжествомъ: что же самое торжество?... Великое вліяніе имъли на Россію нашествіе Наполеона и последнля борьба ея съ нимъ: уже не разъ опытомъ блестящихъ побъдъ и славныхъ торжествъ сознавала она свои исполинскія силы, по что всв эти опыты передъ эпохою XII и XIV годовъ?... Народная фантазія, въ союзъ съ преданіемъ, создала могущаго богатыря, въ миническомъ образъ котораго видится образъ самого народа и вмъстъ символъ его судьбы-Илью Муромца, который, лишенный ногъ, тридцать лътъ сидъль сиднемъ, а на тридцать-первый погулять пошель. И дъйствительно: добрый молодецъ расходился и разгулялся... Съ самой эпохи татарскаго ига, Россія была оторвана отъ европейскаго міра и развивалась сама въ себъ изолированно, формировалась изнутри и извив и крвила въ силахъ своей исполинской корпорацін; но въ отношенін къ общему развитію человъчества, она сидъла сидиемъ, погруженная въ дрему непробудную. И вдругъ исполинъ, ростомъ и силою вровень съ нею, поставиль ее на ноги, разбудиль отъ въковой дремотыи она встала и пошла. Съ самого того мгновенія, какъ царственный младенецъ началъ тъшиться въ селъ Преображенскомъ съ своею потъшною ротою и потомъ могучею дланью крънко ухватился за бразды правленія, Россія не имѣла минуты свободной, чтобы вздремнуть, чтобы забыться покоемь оть ратныхъ и гражданскихъ подвиговъ, отъ торжествъ побъды и славы, отъ тріумфовъ завоеваній и пріобретеній. Но что вся эта бодрственная, недреманная, нолная трудовъ и дъятельности жизнь передъ тою, для которой снова какъ бы пробудилась она страшнымъ кликомъ: «пепріятель идетъ на Москву»? что всѣ прежнія ея возстанія отъ сна передъ тѣмъ, которое совершилось при заревѣ пылающей Москвы—этой очистительной жертвы за спасеніе цѣлаго парода, этого феникса, вновь возродившагося изъ своего священнаго пенла?.... И послѣ того, какой блистательный рядъ торжествъ!... Дѣло шло уже не о новой пріобрѣтенной провинціи, не о клочкѣ земли, отбитой у враговъ и моря для построенія города, ни даже о завоеваніи царства и царствъ: дѣло шло сперва о собственномъ спасеніи, а потомъ о спасеніи всей Европы, слѣдовательно—всего міра. Россія тѣсно примыкается къ исторіи Европы, знакомится съ ея бытомъ и домашнею жизнію,—и Царь русскій,

Вождь вождей, царей диктаторъ, Нашъ великій Императоръ, Міра свътлая звъзда—

является посредникомъ между царями и народами, Готфредомъ крестоваго похода новыхъ въковъ, изрекаетъ нощаду и милостъ гордой столицъ народа, почитающаго себя первымъ народомъ въ міръ, и въ свътломъ торжествъ и тріумфъ проходитъ по столицамъ спасенной имъ Европы!... Явленіе безпримърное въ исторіи человъчества и могшее совершиться только въ копцъ XVIII и началъ XIX въковъ—въ это время чудесъ и гигантовъ!...

У всякаго человъка есть своя исторія, а въ исторіи свои критическіе моменты: и о человъкъ можно ошибочно судить только, смотря по тому, какъ онъ дъйствоваль и какимъ онъ являлся въ эти моменты, когда на въсахъ судьбы лежала его и жизнь, и честь, и счастіе. И чъмъ выше человъкъ, тъмъ исторія его грандіозите, критическіе моменты ужаснъе, а выходъ изъ нихъ торжествените и поразительные. Такъ и у всякаго народа—своя исторія, а въ исторіи свои критическіе моменты, по которымъ можно судить о силъ и величіи его духа, и, разумъется, чъмъ выше народъ, тъмъ грандіозить царственное достоинство его исторіи, тъмъ пора-

и выхода изъ нихъ съ честью и славою побъды. Духъ народа, какъ и духъ частнаго человъка, выказывается вполнъ только въ критическія минуты, по которымъ однъмъ можно безощибочно судить не только о его силъ, но и молодости и свъжести его силъ. Бородинская битва, самимъ Наполеономъ названная битвою гигантовъ, была самымъ торжественнымъ, самымъ трагическимъ актомъ великой драмы XII-го года. Взглянемъ на нее со словъ автора книги, подавшей поводъ въ этой статьъ, и участника и очевидца въ великомъ дълъ.

"Солдаты наши желали, просили боя. Подходя въ Смоленску, оня вричали: "Мы видимъ бороды нашихъ отцовъ, пора драться!" Узнавъ о счастливомъ соединеніи всѣхъ корпусовъ, они объяснились по своему; вытягивая руку и разгибая ладонь съ раздѣлеными пальцами— "прежде мы были такъ!" (т. е. корпуса въ арміи, кавъ пальцы на рукъ, были раздѣлены), "теперь мы"—говорили они, сжимая пальцы и свертывая ладонь въ кулакъ: "вотъ такъ! такъ пора же (замахивансь дюжимъ кулакомъ), такъ пора же дать Французу раза: "вотъ этакъ!"—Это сравненіе разныхъ эпохъ нашей арміп съ распростертою рукою и свернутымъ кулакомъ было очень по русски, по крайней мъръ, очень по-солдатски, и весьма у мъста.

"Мудрая воздержность Барклая де-Толли не могла быть оцинена въ то время. Его война отступательная была собственно-война завлекательная. Но общій голось арміи требоваль иного. Этоть голось мужественный, громкій, встратился съ другимъ, еще болае громкимъ, болье возвышеннымъ-съ голосомъ Россіи. Народъ видълъ наши войска стройныя, могучія, видълъ вооруженіе огромное, Государя твердаго, готоваго всъмъ жертвовать за цълость, за честь своей имперіи, видель все это — и въ тайнъ чувствовалъ, что (хотя было все) не доставало еще кого-то-недоставало полководца русскаго. За то перевздъ Кутузова изъ Санктиетербурга къ армін походилъ на какое то торжественное шествіе. Преданія того времени передають намъ великую поэтическую повъсть о безпредъльномъ сочувствии, пробужденномъ въ народъ высочайщимъ назначениемъ Михаила Ларіоновича въ званіе главноначальствующаго вь армія. Жители городовъ, оставляя всъ дъла разсчета и торга, выходиля на большую дорогу, гдъ ичалась безостановочно почтовая карета, которой всв малвишія приметы

заранъе извъстны были всякому. Почетнъйшіе граждане выносили хльбъ-соль; духовенство напутствовало предводителя армій молитвами; окольные монастыри высылали къ нему на дорогу иноковъ съ иконами и благословеніями отъ святыхъ угодняковъ, а народъ, не находя другаго средства къ выражению своихъ простыхъ, душевныхъ порывовъ, прибъгалъ къ старому, радушному обычаю — отпрягалъ лошадей п везъ карету на себъ. Жители деревень, оставляя сельскія работы (ибо это была пора косы и серпа), сторожили тякже подъ дорогою, чтобы взглянуть, поклониться и въ взбыткъ усердія поцъловать горячій слідь, оставленный колесомъ путешественника. Самовидцы разсказывали инф, что матери бъжали съ грудными младенцами, становились на колфии и, между тфиъ, какъ старцы кланялись съдыми головами, онъ съ безотчетнымъ воплемъ подымали младенцевъ своихъ вверхъ, какъ будто поручая пхъ защитъ верховнаго воеводы! Съ такою огромною въ него върою, окруженный славою прежнихъ походовъ, прибыль Кутузовъ къ армін (Стр. 5, 6 и 7).

II

. . "Наканунѣ дня бородинскаго, главнокомандующій велѣлъ пронести ее (икону Смоленской Божіей Матери) по всей линіи. Это живо напоминало приготовленіе къ битѣѣ куликовской. Духовенство шло въ ризахъ, кадила дымились, свѣчи теплились, воздухъ оглашался пѣніемъ и святая икона шествовала. Сама собою, по влеченію сердца, стотысячная армія падала на колѣни и припадала челомъ къ землѣ, которую готова была упонть до сытости своей кровью. Вездѣ ткорилось крестное знаменіе, по мъстамъ слышались рыданія. Главнокомандующій, окруженный штабомъ, встрѣтилъ икону и покловился ей до земли. Когда кончилось молебствіе, нѣсколько головъ поднялось кверху и послышалось: "орелъ паритъ!" Главнокомандующій взглинулъ вверхъ, увидѣлъ плавающаго въ воздухѣ орла и тотчасъ обнажиль свою сѣдую голову. Ближніе къ нему закричали "ура" и этотъ крикъ повторился всѣмъ войскомъ. (Стр. 39).

Да, это было великое зрѣлище, это была картина міровой жизни, неносредственно явившая, волею Божією, откровеніе вѣчнаго духа жизни, во-очію совершившаяся!... Тутъ являлась личность народа, поглощавшая въ себѣ всѣ частныя личности; всѣ умы были полны одною мыслію, сердца однимъ чувствомъ, и бились въ тактъ, какъ бы то было сердце одного человѣка... Не много подобныхъ минутъ хранитъ исторія на своихъ завѣтныхъ страницахъ, но нотому-то и

велики и священны такія минуты: ихъ не можетъ произвести и устроить воля человъческая, но они являются сами, какъ разумная необходимость... Скажите, какая была нужда цълому народу до одного человъка — того семидесяти-лътняго вождя съ същою головою и простръленнымъ глазомъ? Развъ онь быль тому отець, другому брать, третьему родия нальняя! развѣ онъ могъ того сдѣлать счастливымъ, другому дать денегъ, третьяго изцълить отъ неизлъчимой бользни? Нътъ? эти люди были ему чужды, какъ и онъ былъ чуждъ имъ; они были для него-все незнакомыя лица, хотя его лице и было извёстно имъ развё только по портретамъ. Но почему же его лице распалось на такое множество портретовъ? почему эти портреты всёмъ извёстны? Потому что этотъ человъкъ есть пе частное явленіе, а одинъ изъ выразителей сущности народной жизни, одинъ изъ представителей нравственнаго могущества своего народа, не Михаилъ и не Ларіоновичь, а просто Кутузовъ-имя символическое, изъ собственнаго сдълавшееся нарицательнымъ; потому что опъ не случайное выражение частной иден, а необходимо разумное выражение общенародной и человъчественно-міровой иден, высшее явление высшей дъйствительности, сынъ не случая, но судьбы... Глубоко замъчание автора «Очерковъ Бородипскаго сраженія», что нужень быль русскій полководець, съ русскимъ именемъ: подвигъ: Барклая-де-Толли великъ, участь его трагически-цечальна и способиа возбудить негодованіе въ великомъ поэтъ 1); но мыслитель, благословляя память

^{1) &}quot;Полководецъ" — одно изъ величайшихъ созданій геніальнаго Пушкина, оканчивающееся слъдующими стихами:

О родъ людской, достойный слезъ и смъха, Жрецы минутнаго, поклонники успъха! Какъ часто мимо васъ проходитъ человъкъ, Надъ всъиъ ругается слъпой и буйный въкъ, Но чей высокій ликъ, въ грядущемъ поколъньи, Поэта приведетъ въ восторгъ и умиленье!

Барклая де-Толли и благоговъя передъ его священнымъ подвигомъ, не можетъ обвинять и его современникомъ, видя въ этомъ явленіи разумную и пепреложную необходимость... Отчего же, изъ всѣхъ русскихъ генераловъ, только на Кутузовъ остановилось вниманіе и довъренность царя, безсознательно и какъ бы инстинктивно подтвержденныя унованіемъ и върою парода? Здѣсь мы понимаемъ глубокій смыслъ изрѣченія св. писанія «гласъ Божій—гласъ парода»—изрѣченія, которое только и понимается въ торжественныя минуты народной жизни, когда изчезаютъ люди и является только народъ.

Рокоть барабановь, ръзкіе звуки трубь, музыка, пъсни и крики несвязные (привътный кличь войска Наполеону) слышались у французовъ. Священное молчаніе царствовало въ нашей линіи. Я слышаль, какъ квартиргеры громко сзывали къ порціи. "Водку привезли; кто хочеть, ребята! ступай къ чаркъ!" Никто не шелохнулся. По мъстамъ вырывался глубокій вздохъ и слышались слова: "Спасибо за честь! не къ тому изготовились; не такой завтра день!" И съ этими многіе старики, освъщенные догорающими огнями, творили крестное знаменіе и приговаривали: "Мать Пресвятая Богородица! помоги постоять намъ за землю!"

Еслибы въ книгъ г. Глинки не было ни одного изъ тъхъ достоинствъ, о которыхъ будемъ еще говорить ниже, то за одинъ этотъ фактъ, нередаваемый ею во всеобщую извъстность, она достойна названія народной книги. Никогда явленія духа не бываютъ такъ мистически поразительны, никогда они не производятъ въ душъ такого живаго, яснаго и трепетносвященнаго созерцанія своей таинственной сущности, какъ открываясь чрезъ эти массы самаго низшаго народа, лишеннаго всякаго умственнаго развитія, загрубълаго отъ низшихъ нуждъ и тяжелыхъ работъ жизни. Солдаты наши требовали сраженія; мысль, что Москва будетъ отдана непріятелю, заставляла ихъ громко ронтать—ихъ, которые, но своему національному духу и Богомъ данному имъ инстипкту истины и здраваго разсудка, всегда отличаются безпредъльною до-

въренностію къ высшей власти и молчаливымъ выполненіемъ ея вельній. Бородинская битва была дана для нихъ. Скажите: что такое Москва этому грубому солдату, ему, который никогда не видаль ея, а только смутно посиль, въ ограниченномъ кругъ своихъ понятій, какую-то безсвязную мысль о ея сорока сорокахъ церквей, ея Кремлъ и бълокаменныхъ палатахь?... Почему же мысль о занятін ея врагомь тяжелье для него всёхъ смертей?... Не довольно ли было бы ему ограничиться простымь и безмолвнымь выполненіемь своей обязанности: стать гдё велять стать, и умереть, гдё велять умереть, не желая и не требуя сраженія, когда «командиры» не хотять его, и не называясь, можеть-быть, на върпую п неизбъжную смерть?... Вотъ самое поразительное и самое очевидное доказательство того, что все живеть въ духъ п служитъ духу и сильно однимъ духомъ: и мудрецъ, глубоко проникшій въ сокровенныя причины вещей, и свътскій человъкъ, имъющій обо всемъ легкія попятія, и грубый поселянинъ, котораго ограниченный кругозоръ понятій не простирается далье низкихъ нуждъ матеріяльной жизни. Вотъ самое поразительное и самое очевидное доказательство того, что всякій челов'єкъ, на какой бы ступени правственнаго развитія пи стояль онь, не есть какая-то особность, сама по себъ существующая, но есть живая часть живаго цълаго, которая страждеть, когда страждеть цълое, которая тотчась сознаеть свое кровное родство съ тою общностію, которая есть альфа и омега его бытія, какъ скоро настапетъ для нея торжественная минута.... Вотъ, наконецъ, самое поразительное и самое очевидное доказательство того, что человъческое общество, пародъ или государство, есть не искусственная машина, механически движущаяся, но живое тъло, кровь и плоть, одушевляемыя духомъ. Мы попросили бы кстати мудрыхъ въка сего доказать намъ, что въ міръ есть какая-то матеріяльная сила, какой-то челов'яческій произволь, который разсчитанною хитростію побъждаеть силу духовную,

образованность и геній... Мы попросили бы ихъ кстати объяснить намъ, какъ слѣпая воля человъческая производить явленія, въ которыхъ, по нашему миѣнію, непосредственно является самъ Богъ; какъ она, собственною силою, творить возможное только Богу, и насиліемъ производить въ грубыхъ массахъ любовь, вдохновеніе, самопожертвованіе, единство цѣлей и стремленій, словомъ то, что можетъ производить только духъ...

Обратимся собственно къ книгъ О. Н. Глинки. Она не есть сочинение ученое ин въ военномъ, ни въ историческомъ смыслъ, и не обогатитъ ни воепнаго писателя, ни историка новыми фактами. Она даже не имъетъ достоинства разсказа, въ порядкъ и картинио-изложеннаго. Сперва авторъ начинаетъ новъствовать о бородинскомъ дълъ по диямъ (потому что на Бородинскомъ полъ дрались 23, 24 и 25 августа), потомъ отдъльпо описываетъ собственно бородинское сраженіе, бывшее 26 августа, и, описавъ его коротко въ цёломъ, начинаетъ описывать его же по часамъ, почему необходимо повторяетъ одно и то же и и всколько сбиваетъ строгаго, холодиаго читателя. Но его книга, не будучи ни военною, ни историческою, можеть назваться поэтическою. Если она не впечативеть въ ум'в вашемъ полной, художественно оконченной замкнутой картины бородинской битвы, за то она покажеть вамъ всю поэзію, всю мистическую танцственную сторону его, дастъ самое върное понятіе о его всемірно-историческомъ значенін; наведеть вась на глубокую, возвышенную думу о человъчествъ, о царяхъ и пародахъ, въкахъ и событіяхъ; вознесеть вась въ ту превыспрениюю сферу, гдт вашей головы не кружать ядовитыя и смрадныя испаренія мелкаго эгонзма, жалкихъ заботъ о своей личности и пизкихъ нуждъ жизни; возведеть вась на ту высокую гору, съ которой изчезаеть все мелкое и ежедневное, все частное и случайное, но видятся только народы и царства, цари и героп-помазанники и избранинки Божін, своею судьбою осуществляющіе довременныя

судьбы міра, отъ віка почивавшія въ лоні божественной иден... Изъ книги Ө. Н. Глинки вы не узнаете бородинской битвы въ стратегическомъ отношении, но вы узнаете, что съ тъхъ поръ, какъ люди начали между собою войну, еще не было такой битвы не на жизнь, а на смерть, гдъ частныя сшибки производились массами, которыя въ прежнія и еще недавнія времена почитались страшными арміями, гдѣ на тѣсномъ пространствъ гремъло безпрерывно 1,700 орудій, дралось отчанино 300,000 человъть; гдъ умирающіе доръзывали оружіемъ, добивали кулакомъ, догрызали зубами умирающихъ нодль нихъ враговъ, гдъ лопались орудія и взрывались зарядные ящики, воздухъ-быль дымъ и огопь, рукопашный бой и натискъ непріятельской кавалеріи считались отдыхомъ за прекращеніемъ адскаго д'яйствія непріятельской артилерін; гдъ безъ отдыха дрались пятнадцать часовъ, и гдъ, наконецъ, осталось 29,999 труповъ; вы узнаете, что это была битва гомерическая, гдъ каждый дъйствоваль какъ бы отъ себя, дрался за свое личное дёло, за свою личную обилу, глё отдъльно подвизались и огнедышащій Ней, и левъ русской армін-Багратіонъ, и горцующій Мюратъ, и русскій Баярдь-Милорадовичь, и Коновницыны, и Тучковы, и глъ Барклайде-Толли, сей

> ... устарълый вождь какъ ратникъ молодой, Свинца веселый свистъ заслышавшій впервой, Бросался онъ въ огонь, ища желанной смерти, — Вотще?...

гдѣ спокойно, орлинымъ взоромъ слѣдилъ за судьбою битвы тотъ престарѣлый вождь, на священной сѣдинѣ котораго лежало спасеніе Россіи; гдѣ не разъ ногружался въ думу и недоумѣніе сыпъ судьбы, «могучій баловень побѣдъ», и въ первый разъ оказалъ несвойственную ему перѣшительность и опустилъ нѣсколько драгоцѣнныхъ мгновеній... Въ кпигѣ Ө. Н. Глинки вы найдете живою кистію пачертанные портреты героевъ битвы, и мастерски пабросанныя отдѣльныя ея картины и очерки.

Ä

Й

Ъ

R

a

По приведеннымъ выше образчикамъ читатели могутъ безощибочно судить о благородной простотъ и поэтической живости слога, ровно какъ и о важности книги θ . Н. Глинки для русской публики. Это книга пародная, въ полномъ значеніи этого слова, потому что, при великой важности содержанія, она всъмъ равно доступна. Теперь, когда Русскіе уже не стыдятся, не гордятся быть Русскими; теперь, когда знакомство съ родною славою и роднымъ духомъ сдёлалось общею потребностію и общею страстію, стыдно Русскому не имъть книги Ө. Н. Глинки, единственной кинги на русскомъ языкъ, въ которой одинъ изъ величайшихъ фактовъ отечественной славы разсказань такъ живо, увлекательно и такъ общедоступно? Но книга θ . Н. Глинки, при большихъ достоинствахъ, не чужда и и вкоторыхъ недостатковъ, которые долгомъ почитаемъ замътить, въ надеждъ, что почтенный авторъ, при второмъ изданіи своего прекраснаго сочиненія, изданіи, которое, в фроятно, скоро потребуется, не оставить воспользоваться нашими замъчаніями, если найдетъ ихъ справедливыми. Въ цъломъ его сочиненін мы желали бы вид'ть больше единства и послёдовательности въ изложеніи событія, и меньше дробности и разнообразія въ манерахъ и пріемахъ разсказывать. Равнымъ образомъ, намъ очень пепріятно, что благородная простота слова автора «Очерковъ Бородинскаго Сраженія» иногда пятнается то изысканными и патянутыми сравненіями, какъ напримъръ, сшибающихся рядовъ съ разбивающимся стекломъ, потомъ съ рабочею храминою химика, сравненіями которыя, инсколько не поясняя сущности дёла, только затемияють его; то изысканными и натянутыми выраженіями, какъ напр. пріурочить, вм'єсто отнести или присоединить и другихъ тому подобныхъ; въ одномъ мъстъ мы даже встрътили слово «объективный», совершенно неумъстно употребленное, и потому неимъющее никакого значенія. Но что всего непріятиве и досадиве въ «Очеркахъ», это мвста, выказывающія ложный, разсудочный и вибшній мистицизмъ, который

видитъ таниство не въ сущности идеи, а въ случайныхъ столкновенияхъ обстоятельствъ, случайномъ числъ какомънибудь. Напримъръ, прекрасно сравнивая Кутайсова съ паладицомъ среднихъ въковъ, авторъ подтверждаетъ это сравнене тъмъ, что сражение при Креси происходило 26-го же августа, въ которое налъ Кутайсовъ. Потомъ замъчаетъ, что въ бородинскомъ побонщъ участвовало съ объихъ сторонъ шестъ Михаиловъ, какъ будто Михаилъ было имя привилегированное, и число шестъ сколько инбудь относилось къ сущности дъла или поясняло его.

Мы сказали, что кпига θ . Н. Глинки есть едипственная народная книга о бородинскомъ сраженіи, разумъл подъ этимъ ен чисто литературный характеръ и нисколько не думая давать ей преимущество передъ учеными сочиненіями объ эпохъ XII года генераловъ Михайловскаго-Данилевскаго, Бутурлина и другихъ военныхъ писателей.

Но, можеть-быть, многіе изъ читателей упрекнуть насъ въ томъ, что въ критикъ «Очерковъ Бородинскаго Сраженія» большее мъсто запяли выводы и разсужденія о народахъ, нежели взглядъ на самую битву бородинскую, подавшую къ нимъ поводъ... Всякое явленіе можетъ быть разсматриваемо съ двухъ сторонъ-со стороны иден, выражаемой имъ, и со стороны самаго выраженія иден. Но какъ основаніе и сущность всякаго явленія заключаются въ идей, выражаемой имъ, то самое выражение (фактъ) не можетъ быть понятно, когда разсматривается само по себъ, виъ скрывающейся въ немъ мысли. Критика есть сознаніе общихъ законовъ частнаго явленія, разсматриваемаго ею: следовательно, иден, какъ первообразы въчныхъ и переходящихъ законовъ разума, должны быть ел главнымъ и исключительнымъ предметомъ, а само явленіе (фактъ) должно служить ей только средствомъ для приложенія общихъ законовъ къ частному явленію. Подробности о бородинской битвъ читатели найдутъ въ самихъ «Очеркахъ», слъдовательно пересказывать ихъ отъ лица критика-лишній

трудъ, когда дело идетъ о книге литературной и общенонятной, а пересказывать ихъ отъ лица автора-значило бы наполнить статью выписками и, по примъру нъкоторыхъ критиковъ, легкимъ образомъ блистать чужимъ умомъ и на чужой счетъ. По этому, намъ хотвлось дать читателямъ нашу точку зрвнія на бородинскую битву, не какъ на случайное явленіе, безъ начала и конца, безъ причины и следствія, но какъ на необходимое проявление народной жизни, какъ на непосредственное осуществленіе и откровеніе воли Божіей, и тёмъ указать на мистическую и таинственную сущность этого, великаго событія, — а этого нельзя было иначе сділать, какъ отправившись отъ первоначальной идеи, всепроизводящей и всезиждущей изъ собственной творящей силы. Мы думаемъ, и убъждены, что уже проходить въ нашей литературк время безотчетныхъ возгласовъ съ «ахами» и восклицательными знаками и точками, для выраженія глубокихъ идей безъ всякаго смысла; что проходить уже время великихъ истинъ, съ диктаторскою важностію изрекаемыхъ, и ни на чемъ не основывающихся, пичемъ не подтверждающихся, кроме личнаго мненія п произвольныхъ понятій мнимаго мыслителя. Публика цачинаетъ требовать не мивній, а мысли. Мивніе есть произвольное понятіе, основанное на поговоркъ: «миъ такъ кажется»; какое же дъло публикъ до того, что и какъ кажется тому или другому господину?... Притомъ одинъ и тотъ же предметь одному кажется такъ, другому иначе, а большей части обыкновенно въ верхъ ногами. Вопросъ не въ томъ, какъ кажется, а въ томъ-какъ есть въ самомъ дёлё, и этотъ вопросъ можеть ръшаться не мненіемъ, а мыслію. Мненіе опирается на случайномъ убъждении случайной личности, до которой никому нътъ дъла, и которая сама по себъ-очень певажная вещь; мысль опирается на самой себъ; на собственномъ внутреннемъ развитіи изъ самой себя, по законамъ логики. Давно уже прошло то блаженное время, когда разобрать критически художественное произведеніе значило,

разобрать нъкоторыя фразы, или удачно составленныя, или погръщающія противъ языка; теперь безвозвратно проходить и то блаженное время, когда пепризванный критикъ, какъ бы издъваясь надъ публикою, объявляль, что личныя ощущенія—высшій критеріумъ изящиаго, и сказавъ, что то или другое сочинение «принадлежить къ лучшимъ явлениямъ литературнаго года», что оно «ему очень понравилось», что онъ «многое прочелъ въ немъ съ особеннымъ наслажденіемъ», -- сказавъ это въ десяти строкахъ, дълалъ десять или двадцать страницъ выписокъ, и смъло, круппыми литерами, ставилъ въ заглавін этихъ выписокъ громкое словцо «критика». Да, безвозвратно проходить уже пора, такъ сказать, мороченья публики подобными штуками. Достоинство и важпость мысли начинають признаваться всёми. Что касается лично до насъ, мы такъ глубоко убъждены, что истина не въ людскихъ «мивніяхъ», не въ личныхъ убъжденіяхъ, а только въ мысли, что еслибы въ опровержение этого указали на наши собственныя статын, мы скорже бы согласились въ томъ, что или тъ, которымъ онъ кажутся недоказательными, не доросли ни до потребности, ни до пониманія «мысли», или что, въ самомъ дълъ, въ нашихъ статьяхъ заключаются причины ихъ недоказательности, --чемъ согласиться въ томъ, чтобы могущество и очевидность истины заключались не въ «мысли». Во всякомъ случав «Отечественныя Записки» старались и будуть стараться удовлерить по возможности общей потребности идеи, предоставляя другимъ угощать нублику «своими миъниями», если только нубликъ въ самомъ дълъ большая нужда знать, каковы мивнія у «сего» иди «этого» господина, такъ называемаго критика.

П.

ľЪ

Н

TO

Ь,

R-M He

БИБЛІОГРАФІЯ.



повысть о приключении англинскаго милорда георга о бранденбургской маркграфинъ фридерикъ луизъ, съ присово-кунленіемъ къ оной (къ бранденбургской маркграфинъ Фридерикъ Луизъ?) исторін вывшаго турецкаго визиря марцимириса и сардинской королевы терезіи. Съ гравированными картинами и портретомъ. Изданіе десятое. Москва 1839. Три тома.

«О, милордъ англинской, о великій Георгъ! ощущаешь ли ты съ какимъ грустнымъ, тоскливымъ и вмёстё отрадиымъ чувствомъ беру я въ руки тебя, книга почтенная, хотя и безсмысленная! Въ то время, когда я уже бойко читалъ по толкамъ, хотя еще и не умълъ писать, въ то время, когда еще только начиналось мое литературное образованіе, когда я прочель и «Бову» и «Еруслана» гражданскою печатью, и «Повъсти и романы господина Волтера», и «Зеркало добродътели» съ роскрашенными картинами, — скажи, не тебя ли жадно искаль я, не къ тебъ ли тоскливо порывалась душа моя, пламенная ко всему благому и прекрасному?... Помню тотъ день незабвенный, когда, доставъ тебя, уединился я далеко, кажется въ огородъ между грядками бобовъ и гороха, подъ открытымъ небомъ, въ лъсу пышныхъ подсолнечниковъ-этого роскошнаго украшенія огородной природы, и тамъ, въ этомъ невозмущаемомъ уединенін, быстро переворачиваль твои толстыя и жесткія страницы, всею душою удивляясь дивнымъ приключеніямъ, такою широкою кистью, такъ могуче и красно изложеннымъ... Задумался и, погрузившись сердцемъ въ какое-то

сладостное мечтаніе... Передо мною посился образъ твоей прекрасной, о Георгъ, маркграфини, которая наполнила меня такимъ нъжнымъ, трепетнымъ чувствомъ удивленія къ своей дивной красотъ и женственному достоинству, что, миъ кажется, не посмъдъ бы дотронуться и до рукава ея богатаго платья!... А ты, неистовый Георгъ, ты не только ръшился остаться ночевать съ нею въ одной комнатъ, но даже и напечатять на ен устахъ преступный поцёлуй за что она, пришедъ въ великую свиръпость, не то надавала тебъ пощечинъ, не то вельна отодрать тебя плетьми на конюшнъ-не номню, право, а справляться некогда. И какъ любили тебя женщины, какъ навязывались онъ сами на тебя, о, стократно-счастивый мидордъ англинской! И Елизавета, твоя обрученная, и маркграфиня, твоя возлюбленная, и королева арабская, и королева гишпанская-сколько ихъ, и все королевны!... А ты, несчастный визирь турецкій, злополучный Марцимирисъ, помнишь ли ты, какъ сострадаль я тебъ, когда лукавый чорть отбиваль у тебя твою прекрасную жену, королеву сардинскую, Терезію? О, еслибы попался тогда мит въ руки этотъ дьяволенокъ, я бы показалъ ему, что адъ-то не въ аду, а у меня въ рукахъ!... О, какъ я радъ былъ, когда наконецъ наградилась ваша примърная върность, образцовые любовники, какихъ нътъ болъе въ нашъ вътренный и, какъ увъряетъ какой-то журналисть, въ нашъ положительный, индюстріяльный, антипоэтическій въкъ, въ который, по этому, уже невозможны ни «Милорды англинскіе», ни «Аббаддонны»... О, милордъ! что ты со мною сдёлаль? Ты такъ живо напомпиль мив золотые годы моего дътства, что я вижу ихъ передъ собою; желъзная современность изсчезаеть изъ моего сознанія; я снова становлюсь ребенкомъ, и вотъ уже съ биощимся сердцемъ бъту но ныльнымъ улицамъ моего роднаго городка, вотъ вхожу на дворъ родимаго дома съ тесовою кровлею, окруженный бревенчатымъ заборомъ... Вотъ отъ воротъ до крыльца трехугольный палиссадникъ, съ акаціями, черемуховымъ дере-

вомъ и купою розановъ... Вотъ и огородъ, которому со двор служать оградою погребъ и другія службы, съ небольшими промежутками частокола, а съ остальныхъ трехъ сторонъплетень... Вотъ и маденькая баня при входъ въ огородъ, даже и среди бълаго дня пугавшая мое дътское воображение своею таинственною пустотою... а вотъ воздъ нея, и стогъ свиа, на которомъ я часто воображалъ себя то Алексаниромъ Македонскимъ, то Ерусланомъ Лазаревичемъ... вотъ онъ и весь огородъ, съ своими грядами, своими подсолнечниками, которые черезъ его илетень дружелюбно наклонили свои густыя вътви... А въ домъ-тамъ нътъ ни комнаты, ни мъста на чердакъ, гдъ бы я не читалъ, или не мечталъ, или. поздиве, не сочиняль... Постойте, я поведу васъ... Но, милордъ, что ты со мною сделалъ?... Какая кому нужда до моего дътства?... Я мечтаю, а надо мною смъются-н всему этому виновать ты...» и пр. и пр.

Вотъ и извольте всегда быть безпристрастнымъ! Нътъ, нельзя быть безпристрастнымъ: безпристрастіе добродьтель сухая, мертвая, чиновническая! Вамъ смъщонъ, нелъпъ, грубъ «Милордъ Англинской», а нашему доброму пріятелю, изъ записокъ или рукописныхъ «мемуаровъ» котораго мы выписали вышеприведенное мъсто (првшились на выписку, потому что эти мемуары, въролтио, никогда не будутъ изданы), этому пріятелю нашему онъ милъ, любезенъ, дорогъонъ напоминаетъ ему такое время, о которомъ этотъ не можеть вспомнить безъ слезъ умиленія и сердечной тоски... Да и сколько наслажденія доставляль милордь въроятно многимъ и многимъ во время опо! И одно ли наслаждение? Нъть, и пользу: черезъ него многіе въ-первые узнали, какая прежде была въра у англинскихъ милордовъ... Мы не скроемъ отъ васъ этого и охотно подълимся съ вами знаніями, которыя мы пріобрели изъ этой книжицы: у англипскихъ милордовъ въра была сперва языческая или баснословная, что можно узнать, вопервыхъ, по следующему вступ-

ленію въ повъсть; «Въ прошедшія времена, когда еще европейскіе народы не всѣ приняли христіанскій законъ, по нъкоторые находились въ баснословномъ языческомъ идолослуженін, случилось въ Англін съ однимъ милордомъ слъдующее странное приключеніе». Потомъ это видно изъ приложеннаго при концъ повъсти реестра древнихъ изыческихъ боговъ и богинь, изъ которыхъ, папр., Сатуриъ описывается такъ: «Старшій изъ всёхъ боговъ у язычниковъ почитался Время, названное Сатурномъ, котораго изображаютъ съ крыльями на плечахъ держащаго въ рукъ косу, на головъ песочныя часы, и будто онъ побдаль всёхь своихь петей, кромѣ оставшихся Юпитера, Нептуна и Плутопа». Реестръ боговъ и богинь заключенъ следующимъ глубоко-премудрымъ замъчаніемъ: «Вотъ какими нельпостями наполнена была древность, и всего еще удивительнье, что въ тогдашнія времена, какъ у Грековъ, такъ у Римлянъ, были великіе разумники, но всему 1) суевърію слъпо и безразсудно върили».

На страницъ, второй послъ заглавнаго листка, красуется таковый эпиграфъ:

Счастіе подобно какъ прекрасный цвътъ, Который между терніями ростетъ; Если станешь срывать неосторожно, То скоро онымъ уколоться можно.

Знаете ли, кто авторъ этихъ безподобныхъ стиховъ?— Все онъ же, все «Матвъй же Комаровъ, житель города Москвы». А кто таковъ сей Матвъй Комаровъ?—спрашиваете вы. Лице столь же великое и столь же таинственное въ нашей литературъ, какъ и Гомеръ въ греческой: имя его и мъсто жительства извъстны, но гдъ онъ родился и обстоятельства его жизни совсъмъ неизвъстны. Знаютъ иъкоторые по именамъ и его сочиненія, но никто не знаетъ цъны его сочиненіямъ, и немногіе читали ихъ, а между тъмъ они ра-

¹⁾ Въ изданіи прошлаго года сказано всему оному сусвърію.

Β-

0-

[]-

Ъ

II.

()-

ıa

зошлись едва ли не въ числъ десятковъ тысячъ экземпляровъ, и нашли для себя публику помногочислениве, нежели «Выжигины» гг. Булгарина и Орлова. Сочиненія эти слѣдующія: «Повъсть о приключеніяхь англинскаго милорда Георга», «Исторія французскаго мошенника Картуша» и «Обстоятельное и върное описаніе жизни славнаго россійскаго мошенника Ваньки Канна». Когда жиль Матвъй Комаровъ, житель города Москвы?-Вотъ интересный вопросъ, котораго, къ сожалѣнію, не рѣшаетъ собственноручное къ «Англинскому Милорду» предувъдомление самого автора, обращенное къ «благоразумнымъ читателямъ и любезнымъ согражданамъ», потому что подъ этимъ предисловіемъ не выставлено года и мѣсяца. Когда-нибудь мы, позапасшись фактами; познакомимъ публику съ Матвъемъ Комаровымъ и его сочиненіями поподробите, а теперь о немъ самомъ скажемъ только, что это предостолюбезнъйшій въ мірь человъкъ. Не угодно ли вамъ узнать, для чего сочинилъ онъ «Англинскаго Милорда»? Онъ вотъ что говоритъ объ этомъ въ своемъ предисловіи:

"Я труды моего пера не съ тъмъ выпускаю въ публику, чтобъ чрезъ то заслужить себъ авторское ими; ибо я не хочу уподобиться безразсудному авинейскому Герострату, который для того только сжегъ славной въ числъ семи древнихъ чудесъ почитающийся Діанинъ храмъ (въ самую ту ночь, какъ родился Александръ Велькій), чтобъ тъмъ сдълать имени своему безсмертную память; но мое намъреніе единственно состоитъ въ томъ, чтобы показать обществу хотя малъйшую какую ни есть услугу, и не проводить бы время моей жизни въ праздности, послъдуя въ томъ словамъ одного знатнаго нашего стихотворца, который говоритъ:

"Безъ пользы въ свътъ жить, Напрасно землю лишь тягчить."

А вотъ вамъ доказательство примърной скромности почтеннаго «жителя города Москвы»:

"Что же принадлежить до критики, то хотя я и знаю, что иногда и самые искусные писатели не ръдко оной подвержены бывають (,)

а мит уже, какъ человъку ничему не ученому, избъжать отъ того очень будетъ трудно; и потому воображается мив, что можетъ быть иткоторые скажутъ "не за свое де онъ принялся дъло!" Однакожъ я все сіе предаю на разсужденіе благоразумныхъ читателей, потому что всякую вещь кто какъ понимаетъ, тотъ такъ объ оной и заключеніе дълаетъ, а многіе иногда и для того чужія дъла критчкуютъ, что авторовы мысли имъ непонятны. Но я какъ къ тъмъ, такъ и къ другимъ пребуду навсегда съ должнъйшимъ, да и ко всякому читателю съ моимъ почтеніемъ, всепокорнъйшимъ слугою,

Матвъй Комаровъ, житель города Москвы".

Судьба книгъ такъ же странна и таинственна, какъ судьба людей. Не только много было умиће «Англинскаго Милорда», но были на Руси еще и глупъе его книги: за что же онъ забыты, а онъ до сихъ поръ печатается и читается? Кто ръшить этоть вопрось! Вёдь есть же люди, которымь везеть Богъ знаетъ за что: потому что ни очень умны, ни очень глупы. Счастіе сявно! Сколько поколвній въ Россіи начало свое чтеніе, свое занятіе литературок съ «Англинскаго Милорда». Одни изъ сихъ людей пошли дальше и—неблагодарные смъются надъ нимъ, а другіе и теперь еще читають его себъ да почитывають! Воть уже, кажется, это третье изданіе, третье еъ 1837 года, на которомъ, на оборотъ заглавнаго листка, подъ цензурнымъ одобреніемъ, стоптъ увъдомленіе: «печатано съ изданія 1834 года безъ исправленія». ІІ изданіе 1839 года-«девятое»! Когда же было первое изданіе?-Въ каталогъ Логинова «Исторія Картуша» означена 1794 годомъ, следовательно сорокъ-четыре года назадъ; къ тому же времени долженъ относиться и «Англинскій Милордъ». Живъ ли его авторъ? онъ ли безпрестанно издаетъ вновь свое великое твореніе, или имъ пользуются книжные промышленники? Все это вопросы важные, сказаль бы человъкъ съ «высшими взглядами».

Книжица украшена портретомъ англинскаго милорда Георга: какая-то рожа въ парикъ и костюмъ временъ Петра Великаго. Сверхъ того, къ ней приложены четыре картинки: это ужь даже и не рожи, а Богъ знаетъ что такое. Вотъ, напримъръ, на первой изображенъ подъ чъмъ-то похожимъ на дерево какой-то болванъ съ поднятыми кверху руками и растопыренными нальцами; подлъ него парисована деревяпная лошадка, а у ногъ двъ фигуры, столько же похожія на собакъ, сколько и на лягушекъ, а подъ картиною надписано: «Милордъ отъ страшной грозы кроется подъ дерево и простеръ руки, проситъ о утоленін бури». Сличите эти картинки всъхъ изданій—и вы не въ одной черточкъ не увидите разницы: онъ оттискиваются на тъхъ же доскахъ, которыя были выръзаны еще для перваго изданія. Вотъ что называется безсмертіемъ!...

ГАДАТЕЛЬНАЯ КНИЖКА. Москва. 1839. ЧУДЕСНЫЙ ГАДАТЕЛЬ узнает задуманныя помышленія. Изданіе четвертое (!!!). Москва. 1839.

Всякое убъжденіе, всякая настроенность души, какъ бы ни были они новидимому нельны, имьють корень въ ея существъ и могуть быть объяснены изъ развитія ея жизпи. Случайность можеть быть въ частныхъ, отдъльныхъ проявленіяхъ, но случайности ивть въ общемъ, въ родь, въ существъ. Итакъ для того, чтобы поиять какое-либо дъйствіе, какое-либо явленіе въ правственномъ мірь, должно найдти его источникъ и понять тотъ фазисъ въ развитіи внутренняго міра, который обнаруживается въ этомъ дъйствіи или въ этомъ явленіи. Тогда отдъльное явленіе получить общее значеніе: оно будетъ понятно; и если оно въ свою бытность было нельно или пошло, или даже отвратительно и гнусно, то, будучи понятно, оно уже и не нельно и не пошло, и не отвратительно: оно облагораживается, оно становится явленіемъ необходимаго состоянія души или

духа вообще. Но съ другой сторопы страшно было бы думать, что все, имѣющее внутреннюю и необходимую причину, истинно и пормально. Несмотря на такую причину, иное явленіе потому ложно и непормально, что самый источникъ его не есть нормальное состояние духа и принадлежить къ той отрасли его развитія, на которой онъ еще сковань и потемнень для того, чтобы носль, чрезъ посредство развитія, стать свободнымъ и свътлымъ. То состояніе духа ложно и не пормально, въ которомъ онъ подчиняется какому-нибудь отдёльному моменту своего существа и, весь отдавшись одностороннему направленію, доходить наконець до крайности, до искаженія своего существа. Для человъка, кромъ его индивидуальности, существуеть еще мірь вившній, мірь объектовь. Въ развитіп индивидуальнаго я есть такой моменть, въ которомъ оно отрицаетъ отъ себя всякую истину и полагаетъ ее всю въ объектъ. Продолжая развивать далье этотъ моменть, онъ доходить наконецъ до ръшительной крайности, принимая за истину все, что только противоръчить его опредъленіямь. Эта моментиал крайность называется суевъріемъ. Сущность суевърія именно заключается въ томъ, что оно видитъ всю истину во вижшнемъ, положительномъ, и не потому, чтобы оно было убъждено въ разумности вившияго и положительнаго, а потому что оно, напротивъ, темно и недоступно для я (что бы ни было это я-чувство ли, предчувствіе ли, мысль ли) и діаметрально противоръчитъ ему. Чъмъ страниве, чъмъ нельнье, чымь безсмысленные явление, тымь больше уважения оказываеть ему суевъріе; и для того, чтобы придать важность простому и обыкновенному случаю, для того, чтобы вывесть его изъ ряду прочихъ случаевъ, суевъріе старается только затемнить его, какъ можно больше запутать, какъ можно нелъпъе представить. Суевъріе видить во всемъ присутствіе чего-то таинственнаго, но не той родственной съ нашимъ духомъ, сладостной, благоуханной тайны, не души всего живаго, перестающей быть тайною, когда духъ выйдеть

изъ сумрака чувства на ясный свътъ разумной мысли-нэ того, что составляеть существо благородивишаго фазиса въ духовномъ развитіи, мистики, -- нътъ, таинственное, въ которомъ живетъ суевъріе, холодно и мертво: оно полавляетъ и душить, потому что въ немъ отрицается всякая разумность. всякій смысль; здёсь духь падаеть въ уничиженіи, трепещущій и безсильный, заключенный рабствомь въ оковахъ. и лежить у ногъ мрачнаго, деспотическаго, непроцицаемаго произвола. Суеверіе относится къ мистике, какъ слепота къ магнетическому ясновидению, которое хотя це есть здоровое состояніе, однако знаменуетъ наступленіе здоровья. Суевъріе не выходить изъ тъсныхъ границъ ежедневнаго міра; оно только старается сгустить въ немъ непроницаемый мракъ; мистика, сквозь сумракъ дальняго міра, видитъ далекое мерцаніе духовнаго св'та... Суевтріе сближаеть насильственно самые разнородные предметы, уничтожаетъ всъ законы, придаеть всему сверхъестественную силу; всё дёйствія и явленія, выходящія изъ него, сухи, мертвы, лишены всякой духовности. Вотъ источникъ всёхъ нелёныхъ предразсудковъ, гаданій, приміть. Человікь вдругь, ни сь того, ни сь сего, связываеть свою жизнь, свое предпріятіе съ обстоятельствами, неимъющими никакой съ ними связи, и связываетъ именно потому что ивть никакой связи; онь не вывзжаеть никуда въ понедъльникъ, онъ опасается, выходя изъ дома, ступить первый шагь дёвой ногою; онь задрожить, если нечаянно просыплеть соль за столомъ; онъ въ ужасъ вскочитъ изъ-за стола, если увидитъ, что за нимъ сидятъ тринадцать человъкъ, и т. д.; онъ же ищеть, напримъръ, изъ случайнаго смѣшенія картъ предузнавать свою будущую судьбу, или предузнать судьбу какого-пибудь предпріятія изъ того, что случайно откроется и прочтется въ нелѣной гадательной книжкв...

Записавшись, мы чуть было не забыли, о чемъ должна теперь идти у насъ ръчь; но слово «гадательная книжка»

заставило насъ невольно взглянуть на книжицы, лежащія передъ нами, а эти книжицы заставили насъ также невольно отвести въ другую сторону наши оскорбленные взоры. И кто бы не оскорбился, кто бы не отвернулся, взглянувъ хоть на начальные листы этихъ приторныхъ въ своей пошлости тетрадей? Намъ стало стыдно, что мы разговорились по случаю ихъ такъ серьёзно... Все, даже и гадательныя книжки, несмотря на уродливость своего назначенія, допускають нъкоторую степень изящества: гадательная книжка могла бы быть занимательнымъ сборникомъ острыхъ словъ, мъткихъ изръченій, забавныхъ каламбуровъ; въ ней могло бы быть обширное поприще для веселой болтовии, для способности острить, которую, замътить мимоходомъ, у насъ очень неловко смъщивають съ остроуміемъ, другою, гораздо высшей способностію... А эти книжонки... Но замолчимъ лучше о нихъ...

БОРОДИНСКАЯ ГОДОВЩИНА. В. Жуковскаю. Москва. 1839.

ИНСЬМО ИЗЪ БОРОДИНА ОТЪ БЕЗРУКАГО КЪ БЕЗНОГОМУ ИНВАЛИДУ. Москва. 1839.

Ничто такъ не расширяетъ духа человъческаго, ничто не окриняетъ его такимъ могучимъ орлинымъ полетомъ въ безбрежныя равнины царства безконечнаго, какъ созерцаніе міровыхъ явленій жизпи. Поэтому, исторія человъчества, какъ объективное изображеніе, какъ картина и зеркало общихъ, міровыхъ явленій жизни, доставляетъ человъку наслажденіє безграничное, полное роскошнаго, тренетно-сладкаго восторга; созерцанія эти движущіяся, олицетворившіяся судьбы человъчества, въ лицъ народовъ и ихъ благородныхъ представителей, ставъ лицомъ къ лицу съ этими полными трагическаго величія событіями, духъ человъка—то падаетъ предъ

ними во прахъ, пропикнутый мятежнымъ и непокорнымъ его самообладанію чувствомь ихъ царственной грандіозности, и подавленный обременительною полнотою собственнаго упоенія, -- то, покоряя свой восторгъ разумнымъ проникновеніемъ въ ихъ сокровенную сущность, самъ возстаетъ въ мощномъ величін, гордо сознавая свое родство съ ними. Вотъ гдъ скрывается абсолютное значение истории и вотъ почему занятіе ею есть такое блаженство, какого не можеть замінить человъку ни одна изъ абсолютныхъ сферъ, въ которыхъ открывается его духу сущность сущаго и родственно сливается съ нимъ до блаженнаго уничтоженія его индивидуальной единичности. Да, кто способенъ выходить изъ внутренняго міра своихъ задушевныхъ, субъективныхъ интересовъ, чей духъ столько могучь, что въ силахъ переступить за черту заколдованнаго круга прекрасныхъ, обаятельныхъ радостей и страданій своей челов'яческой личности, вырываться изъ ихъ милыхъ, лельящихъ объятій, чтобы созерцать великія явленія объективнаго міра, и ихъ объективную особность усвоять въ субъективную собственность чрезъ сознаніе своей съ ними родственности, -- того ожидаетъ высокая награда, безконечное блаженство: засверкають слезами восторга очи его, и весь онъ будеть — настроенная арфа, бряцающая торжественную пъснь своего освобожденія отъ оковъ конечности, своего сознанія духомъ въ духѣ. Но когда міровое историческое событіе есть въ то же время и фактъ отечественной исторіи, и его субстанціяльная родственность съ духомъ созерцающаго просвътлить до прозрачности его тапиственную сущность, -- о, тогда его блаженство будеть еще шире, безконечите, потому что на родной призывъ отзовутся новыя струны, сокрытыя въ самыхъ недоступныхъ глубинахъ его сердца!... Къ такимъ-то великимъ міровымъ явленіямъ принадлежить битва бородинская — истинная битва гигантовъ, гдь, съ одной стороны, исполнитель міровыхъ судебъ, влекомый безсознательнымъ стремленіемъ наполнить страшную,

бездонную пропасть своего необъятнаго духа, мнилъ, послѣднимъ подвигомъ, остановить свою блуждающую звѣзду и стать у темной цѣли своего таинственнаго пути, а съ другой—великій народъ, подъ знаменемъ креста и державной власти, сталъ за свое существованіе и за честь своихъ царей,—

И равенъ былъ неравный споръ...

Дивное зрѣлище! Умъ изпемогаетъ, силясь обиять его во всей безконечности его значенія!... И тому прошло уже двадцать-семь лѣтъ, и новыя покольнія смѣнили старыя, и уже мпогихъ иѣтъ изъ знаменитыхъ сподвижниковъ, и лавровѣнчанныя главы оставшихся покрыты священною съдппою, и уже давно изцѣлились раны молодаго царства, и уже давно цвѣтетъ оно и новою жизнію, и повыми силами, и новою славою,—а между тѣмъ все это какъ будто вчера было... Да опо и въ самомъ дѣлѣ было не двадцать семь лѣтъ назадъ, а педавно, очень педавно, если не вчера, потому что только теперь, только ставши прошедшимъ, явилось опо намъ во всемъ своемъ свѣтѣ, уже не ослѣпляя своимъ блескомъ нашихъ бренныхъ очей, но радуя ихъ отдаленнымъ сіяніемъ своего безсмертнаго величія, какъ радуетъ очи торжественная, объявшая полнеба, но тихо мерцающая заря вечера или утра...

Великое прошедшее родило великое настоящее... Царственно-высокій дух'ь русскаго Царя, созерцая минувшія судьбы вв'єреннаго ему Богомъ народа, остановился на пол'є славы своего державнаго брата, на пол'є славы своего народа,—и его монаршей вол'є было достойно воздать дань благодарности и славы великому подвигу сподвижниковъ Благословеннаго... И вотъ частное влад'єніе становится даромъ Царя своему будущему преемнику, и въ Бородин'є, «отъ храма Господня до хижины землед'єльца, все преобразовано, перелажено и представляетъ собою обширную дачу съ устроенными, для сообщенія, мостами, дорогами и улицами, и въ верст'є отъ Бородина, на бывшей батаре в Раевскаго, величественно и гордо возвышается безсмертный маятникъ, заключающій въ себѣ восьмиугольную пирамиду». И воть по творческому, властительному слову, на священныхъ поляхъ Бородина, пріявшихъ въ нѣдра свои кости и кровь героевъ великой драмы, стало подъ ружьемъ сто-сорокъ тысячъ новыхъ героевъ... И вотъ въ вѣчно-памятный день 26-го августа, съ разсвѣтомъ дил, върядахъ прочтенъ былъ царскій приказъ:

"Ребита! Передъ вами памятникъ, свидътельствующій о славномъ подвигѣ вашихъ товарищей! Здѣсь, на этомъ самомъ мѣстѣ, за 27 лѣтъ передъ симъ, надменный врагъ возмечталъ побъдить русское войско, стоявшее за въру, Царя и отечество!—Богъ наказалъ безразсуднаго: отъ Москвы до Нѣмана разметаны кости дерзкихъ пришельцевъ—и мы вошли въ Парижъ. Теперь настало времи воздать славу великому дѣлу. Итакъ, да булетъ память вѣчнан безсмертному для насъ Императору Александру І. Его твердою волею спасена Россія. Вѣчная слава падшимъ геройскою смертію товарищамъ нашимъ, и да послужитъ подвигъ ихъ примѣромъ намъ и позднѣйшему потомству!—Вы же всегда будете надеждою и оплотомъ вашему Государю в общей матери нашей, Россіи!"

И ряды грянули русское «ура!» и опо не умолкало отъ пятаго до восьмаго часа дия...

"Извъстно, что съ этого же самаго времени загремълъ военный кличъ въ началъ смертоносной битвы; посему грозное утро въ памяти стариковъ воскресло, полуумершія сердца затрепетали и полузастывшан кровь снова закипъла. "Теперь хоть бы снова на басурмана" шепнули инвалиды. "Далеко кулику до петрова дни" молвили другіе: "пройдутъ въка, высохнутъ моря и ръки, а врагъ сюда и носа не покажеть!"

Это слова безрукаго инвалида, который оставшеюся рукою перомъ владъстъ какъ штыкомъ. Нужно ли его имя?... Послушаемъ же далъе этого краспоръчиваго въ своей волиской простотъ историка великаго события:

Войска вокругъ памятника составили огромное, величественное каре. Вст отставные генералы, штабъ и оберъ-офицеры, участвовавшие въ-

бородинскомъ дѣлѣ, помѣщались у памятника за рѣшеткой. День былъ свѣтлый, солнце однакожъ не показывалось; но лишь святыя хоругвя, въ сопровожденіи московскаго митрополита, съ многочисленною духовною процессіею, Государемъ Императоромъ встрѣченныя, приблизились къ памятнику, оно явилось и скрылось. По совершеніи панихиды, начался молебенъ: а когда Царь и вонны стали на колѣни, солнце снова просіяло, общая радость заблистала, а между старыми героями пронесся говоръ: "Такъ надъ главою Кутузова неожиданно воспарилъ орелъ при осмотрѣ бородинскихъ укръпленій 25 августа 1812 года".—"Съ нами Богъ! разумѣйте языцы и покоряйтеся, яко ст нами Богъ!"—Вслѣдъ за симъ огласилась пѣснь: "Тебъ Бога хвалимъ!" Громъ пушекъ и "ура" все еще гремѣла, и роковой 1812 годъ—откликнулся!

"Въ заключение этого знаменитаго, дявнаго и торжественнаго явления, Государь Императоръ, провожая прежнимъ порядкомъ святыя коругви, повельтъ всимъ войскамъ мимо памятника проходить церемоніальнымъ маршемъ, сомкнутыми полковыми колонами: въ головъ всихъ колоннъ ихали гепералы, непринадлежащіе къ составу собранныхъ войскъ.

"Покойно и благоговъйно отсалютоваль русскій Царь сооруженному имъ и освященному днесь памятнику; симъ ръдкимъ примъромъ, въ лицъ всей Россіи, принеся должную дань велячію Бога, онъ воздалъ честь заслугамъ человъка. Высокій примъръ!

Да, это было великое зрёлище, достойное того, которое должно было собою напоминть! Это быль отгуль звучно-отгрянувшій отъ умершаго великаго прошедшаго и воскресившій его; но отгуль безь крови, безь страданій, а только со славою, блескомь и величіемь перваго гула... Этимъ торжественнымъ дъйствіемъ прошедшее связано неразрывно съ настоящимъ и будущимъ, царскіе дружины пріяли въ себя новый элементъ жизни, который будетъ передаваться изъ рода въ родъ, отъ покольнія къ покольнію—да знаетъ благородное сословіе защитниковъ отечества свою славу черезъ славу своихъ предшественниковъ, и да не умираетъ въ немъ ихъ высокій духъ, но обновленный и въчно-юный да пребудетъ твердымъ оплотомъ и незыблемымъ основаніемъ народнаго могущества и славы!... Подвигъ, достойный великой

души нашего Царя, который въ славъ парода своего полагаетъ свою собственную славу, и котораго неутомимый духъ находитъ только отдыхъ и наслаждение въ подвигахъ, долженствующихъ имъть великое вліяніе на грядущія времена... Истиню царственная драма, во всемъ величіи и во всемъ очарованіи всемірно-историческаго зрълища, достойная услаждать духъ царей и народовъ!

Да, великое событіе совершилось передъ нами, событіе народное, но народное не въ томъ смыслъ, какъ понимаютъ это слово непризванные опекупы человъческаго рода, заграипчные крикуны. Для насъ, Русскихъ, нътъ событій народныхъ, которыя бы не выходили изъ живаго источника высшей власти. Велико было событіе 1612 года, но предки наши имъ не гордились, и не радовались, а скоробли и нечалились доколь домь Романовыхъ не далъ имъ царя, —и только отъ сей великой минуты имъ возвращена была ихъ слава, нотому что уже явилось царское имя, освятившее ее, и безыменному подвигу давшее и имя, и цёль, и значеніе... Пусть будеть велико наше народное торжество, пусть, какт волны океана, сольется въ него все народонаселение необъятной Россіи; но еслибы эта пеизсчетная громада народа не видала впереди себя своего царя, который, въ спокойномъ, царственномъ величи привътствуетъ ея восторженные клики, и на лицъ котораго она читаеть и грозу, и милость, и царскую доблесть, и великій мощный духъ, на который спокойно и самоувъренно оппрается ея счастіе въ настоящемъ и надежды въ будущемъ, -- тогда для нея торжество было бы не торжествомъ, а безсмысленною сходкого празднаго народа, и въ священномъ не было бы священнаго!... Оттого-то молодъетъ нашъ старый, нашъ державный Кремль, и кинить народомъ, и оглашается своимъ вѣковымъ «ура», когда надъ дворцомъ гордо развѣвается широкій флагь-залогь присутствія того, кто есть и жизнь и душа своего народа... Да, въ словъ «царь» чудно слито сознаніе русскаго народа, и для пего это слово полно поэзін и

тапиственнаго значенія... ІІ это не случайность, а самая стро-- гая, самая разумная необходимость, открывающая себя въ исторін народа русскаго. Ходъ нашей исторін обратный въ отношенін къ европейской: въ Европъ точкою отправленія жизни всегда была борьба и побъда пизшихъ ступеней государственной жизни надъ высшими: феодализмъ боролся съ королевскою властію и, побъжденный ею, ограничиль ее, явившись аристократіею; среднее сословіе боролось и съ феодализмомъ и съ аристократіею, демократія—съ среднимъ сословіемъ; у насъ совсъмъ наоборотъ: у насъ правительство всегда шло впереди народа, всегда было звъздою путеводною къ его высокому назначению; царская власть всегда была живымъ источникомъ, въ которомъ не изсякали воды обновленія, солицемъ, лучи котораго, исходя отъ центра, разбътались по суставамъ исполниской корпораціи государственнаго тѣла и проникли ихъ жизненною теплотою и свётомъ 1). Въ царъ наша свобола, потому что отъ него вся наша цивилизація, наше просвъщение, такъ же, какъ отъ него наша жизнь. Одинъ великій царь освободиль Россію отъ Татаръ и соединиль ея разъединенныя члены; другой-еще большій — ввель ее вы сферу новой обширивишей жизни; а наследники того и другаго довершили дёло своихъ предшественниковъ. И потомуто всякій шагъ впередъ русскаго народа, каждый моменть развитія его жизни, всегда быль актомь царской власти; но эта власть никогда не была обстрактною и произвольно-случайною, потому что всегда таниственно сливалась съ волею провиденія—съ разумною действительностью, мудро угадывал потребности государства, сокрытыя въ пемъ, безъ въдома его самаго, и приводя ихъ въ сознаніе. Отсюда происходить

¹⁾ Отношеніе же высшихъ сословій къ низшимъ прежде состояло въ патріархальной власти первыхъ и патріархальной подчивенности вторыхъ, а теперь въ спокойномъ пребываніи каждаго въ своихъ законныхъ предълахъ, и еще въ томъ, что высшія сословія мирно передаютъ образованность низшимъ, а низшія мирно ее принимаютъ.

эта дивная симпатія, сдълавшая единое и цълое изъ двухъ началь, это всегдашиее и безусловное повиновение царской воль, какь воль самаго провидьнія. Итакъ, не будемъ толковать и разсуждать о необходимости безусловнаго новиповенія царской власти: это ясно и само по себь; пъть, есть нъчто важиве и ближе къ сущности дъла: это-привести въ общее сознаніе, что безусловное повиновеніе царской власти есть не одна польза и необходимость наша, но и высшал поэзія нашей жизни, наша народность, если подъ словомъ «народность» должно разумьть акть слитія частныхь индивидуальностей въ общемъ сознаніи своей государственной личности и самости. И наше русское народное сознаніе вполнъ выражается и вполнъ изчернывается словомъ «царь», въ отношенін къ которому «отечество» есть понятіе подчиненное, следствие причины. Итакъ пора уже привести въ исное, гордое и свободное сознаніе то, что въ продолженіе многихъ въковъ было непосредственнымъ чувствомъ и непосредственнымъ историческимъ явленіемъ; пора сознать, что мы имъемъ разумное право быть горды нашею любовію къ царю, нашею безграничною предапностію его священной воль, какъ горды Англичане своими государственными постановленіями, своими гражданскими правами, какъ горды Севъро-Американскіе штаты своей свободою. Жизнь всякаго народа есть разумно необходимая форма обще-міровой иден, и въ этой идев заключается и значеніе, и сила, и мощь, и поэзія народной жизни; а живое, разумное сознаніе этой иден есть и цъль жизни народа, и виъстъ ел внутрений двигатель. Петръ Великій, пріобщивъ Россію европейской жизни, далъ черезъ это русской жизпи, новую, общиривищую форму, но отнюдь не измѣнилъ ел субстанціяльнаго основанія, точно такъ же, какъ представители поваго европейскаго міра, усвоивъ себъ роскошныя плоды, завъщанные ему древнимъ міромъ, отнюдь не сділались ни Греками, ни Римлянами, но развились въ собственныхъ, самобытныхъ формахъ, развив-

0

шихся изъ субстанціяльнаго зерна ихъ жизни. Вотъ взглядъистинный и единый, который долженъ взять за основание историкъ русскаго народа, чтобы не заблупиться въ премучемъ лѣсу абстрактныхъ умствованій ложно понятаго «русскаго европензма». И потому-то, отдавая должную справедливость и должную дань хвалы и упивленія всему истинному у нашихъ западныхъ сосъдей, будемъ далени отъ ослъилепія-признавъ за предметъ подражанія то, что относится собственно къ формъ ихъ народной, а не обще-человъческой жизии, а еще тъмъ болъе будемъ далеки отъ ослъиленіяпризнавать за великое дурные сторопы ихъ жизни, которыя, какъ случайности, или какъ крайпости, необходимо существують въ жизни каждаго народа. Равнымъ образомъ и не будемъ забывать собственнаго достоинства, будемъ умъть быть гордымъ собственною паціональностью, основными стихіями своей пародной пидивидуальности; но будемъ уміть быть гордыми безъ тщеславія, которое закрываеть глаза на собственные недостатки и есть врагъ всякаго движенія впередъ, всякаго преуспъянія въ добръ и славъ... Необъятно пространство Россіи, велики ея юныя силы, безпредъльна ел мощь — и духъ замираетъ въ трепетномъ восторгъ отъ предощущения ен великаго назначения, ен-законной наслёдницы жизни трехъ періодовъ человъчества! Есть чему радоваться, есть чёмъ быть блаженными и гордыми въ нашемъ народномъ сознанін; по не забудемъ же, что постиженіе цёли возможно только черезъ разумное развитіє не какого - инбудь чуждаго и вившиято, а субстанціяльнаго, роднаго начала народной жизни, и что таниственное зерно, корень, сущность и жизненный пульсъ нашей народной жизпи выражается словомъ «царь». Будемъ прислушиваться и къ порицанію педруговъ и завистниковъ, извлекая изъ нихъ полезныя уроки; а на кривые толки, безсмыслениые возгласы и громкія, но пустыя фразы безмозглыхъ преобразователей человъческаго рода, непризванныхъ посредниковъ

въ чужихъ семейныхъ дълахъ, будемъ отвъчать презрительнымъ молчаніемъ, а если ужь слишкомъ раскричатся, то отвътимъ имъ словами нашего великаго поэта—

Вы грозны на словахъ: попробуйте на дълъ!...

Мы увърены, что эти строки не почтутъ наши читатели отступленіемъ отъ предмета, подавшаго къ нимъ поводъ; бородинское торжество певольно навело насъ на эти мысли: опо было мыслію Царя перешедшею въ торжество народа...

Брошюры, заглавіе которыхъ выписано въ началѣ пашей статьи, обязаны, своимъ появленіемъ бородинскому торжеству, которое нашло себъ органы въ знаменитомъ поэтъ, давровънчанномъ ветеранъ нашей поэзін, и въ знаменитомъ вошит инвалидт, къ военной славт своей присовокунившемъ славу безъискуственнаго, но сильнаго сердечнымъ красноръчіемъ литератора. О его брошюръ мы не будемъ говорить: выписанныя нами изъ нея мёста достаточно свидётельствують о ея достоинствъ. — «Бородинская Годовщина» есть повая пъснь пъвца русской славы, который въ годину великаго испытанія, родившаго пастоящее торжество, быль органомъ славы падшимъ и подвизавшимся героямъ великой драмы, и въ которомъ лъта не охладили поэтическаго жара. Копечно, какъ стихотвореніе, обязанное своимъ появленіемъ не прихотливому порыву фантазіи, а навъянное современнымъ событіемъ и ограниченное во времени своего ноявленія, — оно не должно подвергаться въ цъломъ строгой критикъ, -- по въ пемъ много сильныхъ и прекрасныхъ строфъ и стиховъ, которые пельзя читать безъ умиленія, а недостаточность другихъ возпаграждается поэзіею содержанія. Не говоря уже о талантъ поэта, само торжество, сама мъстность, вся дышащая восноминаціемъ, —не могли не родить поэзін однимъ простымъ своимъ представленіемъ.

Читателямъ нашего журнала уже извъстно новое произведение Жуковскаго: заключаемъ нашу статью послъдиими словами поэта, сливая съ ними и свою собственную мыслъ:

Память въчная вамъ, братья!
Рать младая къ вамъ объятья
Простираетъ въ глубь земли;
Нашу Русь вы намъ спасли:
Въ свой чередъ мы грудью станемъ;
Въ свой чередъ мы васъ помянемъ,
Если Царь велитъ отдать
Жизнь за общую намъ мать!

СПОСОБЪ КЪ РАСПРОСТРАНЕНИО ШЕЛКОВОД-СТВА. Я. Юдицкаго. Москва. 1839.

Странное дъло! у насъ многіе пападають на то, что въ учебныхъ заведеніяхъ, въ числѣ наукъ, не только, находится русская словесность, но и еще считается однимъ изъ главивишихъ предметовъ ученія. Мы пикакъ не оправдываемъ этихъ нападковъ. Оставляя въ сторонъ теорію краспорьчія и поэзіп, и вообще всякую теорію, въ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ, послъ основательнаго и строгаго изученія грамматики, полагаемъ даже полезнымъ занимать учениковъ практикою языка, чтобы они умъли ясно, вразумительно, кругло, пріятно и прилично написать записку о присылкъ книги, приглашение на вечеръ, письмо къ отцу, матери, или другу о своихъ нуждахъ, чувствахъ, препровожденін времени и прочихъ предметахъ, невыходящихъ изъ сферы ихъ понятій и ихъ жизип. Тутъ главное дёло, чтобы пріучить ихъ къ естественному, простому, но живому и правильному слогу, къ легкости изложенія мыслей и — главное — къ сообразности съ предметомъ сочиненія. У насъ, напротивъ, или пріучали разсуждать дѣтей о высокихъ или отвлеченныхъ предметахъ, чуждыхъ сферы ихъ понятія, и тёмъ заранёе настроивали ихъ къ напыщенности, высокопарности, вычурности, къ книжному, педаптическому языку,--или пріучали ихъ писать на пошлыя темы, состоя-

щія изъ общихъ мість, незаключающихъ въ себі никакой мысли. И все это въ темныхъ педантическихъ формахъ хрін (порядковой, превращенной, автоніанской), или риторическаго разсужденія въ извъстныхъ схоластическихъ рамкахъ. И какіе же плоды этого учепія? — Бездушное резонерство, расплывающееся холодною и пръсною водою общихъ мъстъ или высокопарныхъ риторическихъ украшеній. ІІ потому ученикъ, образованный по старой системь, напишеть вамь разсуждение о томъ, что знаетъ, а между тъмъ не умъетъ написать записки, простаго письма. Это похоже на человъка, который умъеть ходить на манеръ древнихъ героевъ, со всёмъ театральнымъ величіемъ, а не умѣетъ ни войдти, ни стать, пи сѣсть въ порядочномъ обществъ. О, господа, ужасная эта наукариторика! Блаженъ, кто могъ стряхнуть съ себя ея педантическую гииль и ныль, и горе тому, кто навсегда и поневолъ остался щеголять въ ея мишурной порфира, въ ея бумажной коронъ на головъ и съ ея деревяннымъ кинжаломъ! А между тёмь должно учить дётей писать; но только въ основу этого ученія должно полагать грамматику, въ ея общемъ значенін, и тесное знакомство съ духомъ роднаго языка, знакомство, пріобр'ятенное теоріею и еще больше практикою. Что прощето и истиниве, и трудиве, и потому гораздо легче выучиться писать слогомъ Ломоносова и Хераскова (мы говоримъ о прозъ), нежели слогомъ Карамзина, Батюшкова, Жуковскаго, такъ же, какъ гораздо легче писать слогомъ Марлинскаго, нежели слогомъ Пушкина или Гоголя. Конечно, талантъ дается природою; по мы говоримъ о томъ, что можно, по силамъ каждаго, пріобръсть ученіемъ; хорошая метода ученія развиваеть талапть, а дурная даеть ему ложное направленіе. А куда же дъвалась наша риторока-мы говоримъ только о граммитикъ? Неужели риторику должно исключить изъ предметовъ ученія?--Нисколько, но должно ввести ее въ ся собственные предълы. Чтобы писать хорошо, надо запастись содержаніемъ, а этого шикакая риторика пе дастъ, — и та,

которой до сихъ поръ у насъ учатъ, даетъ только губительную способность варіпровать отвлеченную мысль общими мізстами и растягивать пустоту въ безконечность, другими словами—пускать мыльные пузыри. Содержаніе дается цёлостностію образованія и развитія; умѣніе владѣть содержаніемъ. т. е. развивать его правильно, даеть логика; риторика же не виновата ин въ томъ ин въ другомъ. Обыкновенно у пасъ риторики начинаются изложеніемъ теоріи періодовъ; воть первое пезаконное присвоение риторикою чужаго: теорія періодовъ относится къ синтаксису, что уже мпогіе понимаютъ. За теорією періодовъ сл'єдуеть теорія «украшеннаго языка» тронъ, метафоръ, фигуръ: вотъ это дъйствительно относится къ содержанию риторики. Но и тутъ риторика совсъмъ не должна учить «красно писать», или сочинять, на заданныя темы, тропы и фигуры, а только должна ноказать значение того и другаго, какъ выражение извъстнаго состояния, или извъстной настроенности духа пишущаго. За теорією языка украшеннаго, обыкновенно следуетъ учение о хріяхъ и разсужденіяхъ--это вонъ, какъ педантическую гинль и пыль, какъ гибель всего естественнаго, простаго, какъ ферулу, о" которой восноминание должно сохранятся, подобно факту старины, вмъстъ съ школьными преданіями о паляхъ, суботкахъ и прочемъ, о чемъ такъ забавно разсказываетъ «Панъ Халявскій». Стилистика—вотъ настоящее содержаніе риторики; но эта не теорія, а систематическій, по возможности, сборъ эмпирическихъ правилъ подкръпленныхъ примърами...

Куда мы зашли? «Какое отношеніе имѣетъ грамматика и риторика къ шелководству?» скажете вы... О, большое, очень большое, какъ сейчасъ увидимъ...

Кто иншетъ и инсанія свои нечатаетъ, тотъ—литераторъ, хотя бы онъ инсаль о лошадяхъ или собакахъ, не только червяхъ. Кто хочетъ быть литераторомъ, тотъ долженъ и знать языкъ и владъть языкомъ,—условіе, безъ котораго sine qua—non. Французы лучше другихъ поняли эту практи-

ческую истину. Правила языка ихъ приведены почти въ математическую точность; знаніе своего языка и умініе правильно и свободно выражаться на немъ и словесно и письменно-у нихъ одно изъ первыхъ условій образованія, точно такъ же, какъ свътскость, хорошій тонъ. Поэтому, если Французъ пишетъ не хорошо---это не отъ неумънія, а отъ претензій на выспренность, или отъ сбивчивости въ понятіяхъ. Хорошее вездъ хорошо, и подражать хорошему очень похвально. Жаль, что у насъ въ литературъ перестали въ этомъ подражать Французамъ. Прежде, по крайней мъръ, старались писать и писали правильно книжнымъ языкомъ; теперь слово безграмотность есть право на литераторство... Это вообще недостатокъ нашей общественности, недостатокъ нашего образованія. Сколько у насъ людей, которые пофранцузски пишутъ какъ Французы, а по-русски двухъ словъ не умъютъ сказать, и у своихъ лакеевъ спрашиваютъ о значенін слова, или спрашивають какъ назвать воть то-то или это! Сколько у насъ людей, которые ни на какомъ языкъ не умѣють написать двухъ словъ, а между тѣмъ не лишены иногда не только образованности, по и учености, и обладають большимь умомь!... У Французовъ литературное образованіе-принадлежность и условіе образованности; у насъ есть роскошь, и будеть роскошью, пока стмена новаго воспитація не принесуть желанныхъ плодовъ...

Вотъ кпига о шелководствъ-послушайте:

"Осмълюсь предложить добро(ы)й совъть изобрътателямь и дънтельнымъ хозяевамъ нашихъ времень (нашего временя?), обратить должное вниманіе на сію практическую теорію: (,) гдъ не нужно разсматривать сочнненія со стороны строгихъ журнвлистовъ; но обратит(ь)ся на цъль отрасли (чего?) столь полезной, съ точки истины (обратиться съ точки истины на отрасль!!!...) и вникнувъ въ оную, върно опытные и благонамъренные люди, (запятая,) оправдають и извлекутъ новыи пріятности (?!...); (точка съ запятою) и въ послъдствіи большія выгоды, въ своемъ изобильномъ, также и не богатомъ, но хорошо учрежденномъ хозяйствъ: (двъ точки) послъдуя сему совъту".

Что за путаница! О, здравый смыслъ! о грамматика! о риторика! о логика! когда вы были больше поруганы!...

Долгъ рецепзента—по крайней мъръ изложить содержаніе разбираемой книги; но для этого ему должно сперва прочесть книгу, а пеужели вы будете требовать, чтобы мы читали подобныя книги, способныя отвратить отъ всякаго чтенія и отъ самаго шелководства?...

СОБРАНІЕ РЕЦЕНТОВЪ НАРИЖСКИХЪ ГО-РОДСКИХЪ БОЛЬНИЦЪ, или Руководство къ предписыванію врачебныхъ средствъ, употребляемыхъ врачами и хирургами этихъ заведеній. Съ замъчаніями о пріємахъ, способъ ихъ употребленія, и т. д. Соч. Ф. С. Ратье, доктора медицины парижскаго факультета, члена корреспондента, и т. д. Переводъ съ французскаго, съ четвертаго изданія, исправленнаго и значительно умноженнаго. Москва, 1839.

Медицинскія сочиненія принадлежать къ разряду тёхъ книгь, которыми особенно и преимущественно должны пользоваться мы отъ французской литературы. Сто лучшихъ романовъ и тысяча лучшихъ повъстей юной французской литературы не стоють одной такой книги! Мы уже не говоримъ о всевозможныхъ французскихъ теоріяхъ, особенно философскихъ, эстетическихъ и сен-симонистскихъ: сколько ни родилъ ихъ философскій ХУНІ въкъ и современное резонёрство и декламаторство Франціи, всѣ онѣ, безъ исключенія, не стоютъ одной страницы французской книги по части наукъ естественныхъ или медицинскихъ. Мы хотимъ сказать, что у всякаго народа должно брать, занимать и перенимать только то, что составляетъ сущность его жизни, плоды его духа, словомъ, его дъйствительность — въ высшемъ философскомъ значеніи этого слова. Н потому, философіи будемъ

учиться не у Французовъ и Англичанъ, такъ же какъ музыкъ не у Китайцевъ и Турковъ, а у Нъмцевъ; высшаго, художественнаго (т. е. вышедшаго изъ національной непосредственности) искусства будемъ искать не у Французовъ, а у Англичанъ и Нъмцевъ; у Французовъ же будемъ слъдить развитіе математики, медицины, особенно последней, и особенно въ практическомъ ея развитіи. Устроеніе больницъ, способы и пріемы леченія, уходь за больными, словомь, все, что ускользаеть отъ теоріи и умозрёнія, что принадлежить къ области эмпиріи, опытнаго соображенія, онытной пропицательности, --- все это у Французовъ развито до возможной высокой степени. Французы-по преимуществу народъ дъла. Нъмецъ скажетъ мысль: Французъ-понялъ ли опъ ее или пъть, для него все равно, --сившить пустить ее въ ходъ, примънить ее къ жизни-въ попадъ или не въ нопадъ, во вредъ или въ нользу себъ и другимъ-для него все равно. По изъ всего, что примъняли Французы къ жизни, кажется, шичто пе удавалось имъ съ такою пользою для себя и для другихъ, какъ математика (прикладная), медицина и хирургія. Цвътущее состояние ихъ знаменитой Политехнической школы, изобиліе въ образованныхъ офицерахъ для армін, искуссныхъ артилеристахъ и инженерахъ, наконецъ цвѣтущее состояніе практической медицины доказывають это.

Вотъ почему мы думаемъ, что переводчикъ кинги Ратье «Собраніе Рецептовъ» могъ бы выбрать для труда своего изъ французскихъ медицинскихъ книгъ что-нибудь новаживе и подарить этимъ русскихъ врачей. Докторъ, Ратье, какъ видно, очень высоко цёнитъ рецепты, какія выписываютъ въ парижскихъ больницахъ; положимъ, что это происходитъ отъ любви къ отечественной медицинѣ, но зачёмъ бы, казалось, этотъ огромный сборникъ всякой всячины передавать на русскомъ языкѣ? Если сочиненіе Ратье переведено для того, чтобы познакомить русскихъ врачей съ состояніемъ медицины во Франціи, то едва ли нереводчикъ достигъ пред-

положенной цёли. Спрашивается, что пріобрѣтаетъ врачъ изъ голословнаго исчисленія рецентовъ? Вѣдь одно умѣнье писать реценты по затверженнымъ формуламъ—дѣло пичтожное. Много надобно свѣдѣній, чтобы умѣть правильно и дѣльно писать реценты...

LE MOINE, HISTOIRE KIOVIENNE. Traduction en vers du poème de J. Koslow: **ЧЕРНЕЦЪ**, par le prince Nicolas Galitzin. Moscou 1839.

Въ области литературы бываютъ произведенія, по своему внутрениему достоинству припадлежащія къ искусству, но тъмъ не менъе составляющія эпоху въ литературномъ и даже общественномъ образованін народа. Къ такимъ произведеніямъ принадлежитъ «Бъдная Лиза» Карамзина; къ такимъ же произведеніямъ принадлежить и «Чернецъ» Козлова. «Бѣдная Лиза» своимъ появленіемъ произвела фуроръ въ нашемъ обществъ: сколько слезъ было пролито прекрасными читательницами и бледными, чувствительными читателями! Ходили къ Лизину-пруду, выръзывали на коръ окружающихъ его развъсистыхъ березъ и сердца, произенныя стрълами, и чувствительныя фразы, которыя и теперь еще можно вид'ть. Мы говоримь это совсёмь не для того, чтобы смёнться, а чтобы засвидётельствовать этотъ фактъ прошедшаго времени. Долгъ нашего въка ни надъ чъмъ не смълться, но все сознать объективно, всему указать свое мъсто въ ряду явленій, всему отдать должную справедливость. Карамзинъ своимъ сантиментальнымъ произведеніемъ выразилъ духъ времени, безсознательно угадавъ его, какъ человъкъ необыкновенный и сильный духомъ, и потому-то онъ такъ сильно увлекъ «Бъдною Лизою» современное ему общество. «Бъдную Лизу» теперь никто не станетъ читать для наслажденія; но она

всегда сохранится въ исторіи русской литературы и общественнаго образованія, какъ важный намятникъ, какъ дёло ума человъка необыкновеннаго, потому что она («Бъдная Лиза») была первымъ произведеніемъ на русскомъ языкъ, которое убъдило тогдашнее полу-французское общество, что и у русскаго человъка можетъ быть и душа, и сердце, и умъ, и талантъ, и что русскій языкъ не совсъмъ варварскій, но имъетъ свою способность къ выраженію пъжныхъ чувствованій, свою прелесть, легкость и гибкость. Точно такой же фуроръ произвель въ нашемъ обществъ другаго времени «Чернецъ» Козлова. Эта поэмка была сколкомъ съ «Джяура» Байронова; въ ней также монахъ, въ предсмертной исповъди, разсказываетъ свою псторію, содержаніе которой есть любовь, а роковое событіе, побудившее героя къ отчуждению отъ людей и міра-убійство. Но герой Козлова относится къ герою Байрона, какъ мальчикъ, задавившій бабочку, къ человіку, взорвавшему на воздухъ цільній городъ съ милліономъ жителей. Но какъ Козловъ истинный поэть въ душъ, который, не будучи въ силахъ совладать съ большими размърами, поэтически высказывалъ въ мелкихъ стихотвореніяхъ поэтическія ощущенія своей поэтической души,—то его «Чериецъ», блъдное и слабое произведеніе въ цёломъ, отличается множествомъ поэтическихъ частностей, носящихъ на себъ отпечатокъ сильнаго таланта. Нъсколько сантиментальный характерь поэмы, горестная участь ея героя, а вмёстё съ тёмъ и горестная участь самаго певцавсе это доставило «Чериецу» едва ли не больше читателей, чёмь поэмамь Пушкина, которыхъ высоко-художественная дъйствительность была тогда, да еще и теперь слишкомъ немногимъ по плечу. «Чернецъ», еще прежде изданія, ходилъ въ рукописи по рукамъ многочисленныхъ читателей, и особенно отъ прекрасныхъ читательницъ принялъ обильную дань слезъ умиленія и грустно-сладостныхъ восторговъ.

И онъ навсегда останется прекраснымъ поэтическимъ цвът-

комъ, для простой и скромной прелести и легкаго, но сладостнаго аромата, котораго всегда найдется множество прелестныхъ бабочекъ и легкихъ мотыльковъ.

«Чернецъ» уже не разъ былъ переводимъ на французскій языкъ, и вотъ явился его повый переводъ, сдѣланный русскимъ, который владѣетъ французскимъ языкомъ какъ своимъ роднымъ. Это обстоятельство особенно заставляетъ требовать многаго отъ перевода. Посмотримъ же на него.

J'aimais les bois, la chasse a l'animal sauvage; Du Dnépre avec orgneuil, franchissant à la nage Le courant, j'atteignais, tout heureux, l'autre bord, J'aimais tous les périls, l'exercice du corps: Je n'avais rien à perdre, étant tout seul au monde, Eh! qui m'eût envié ma misère profonde?

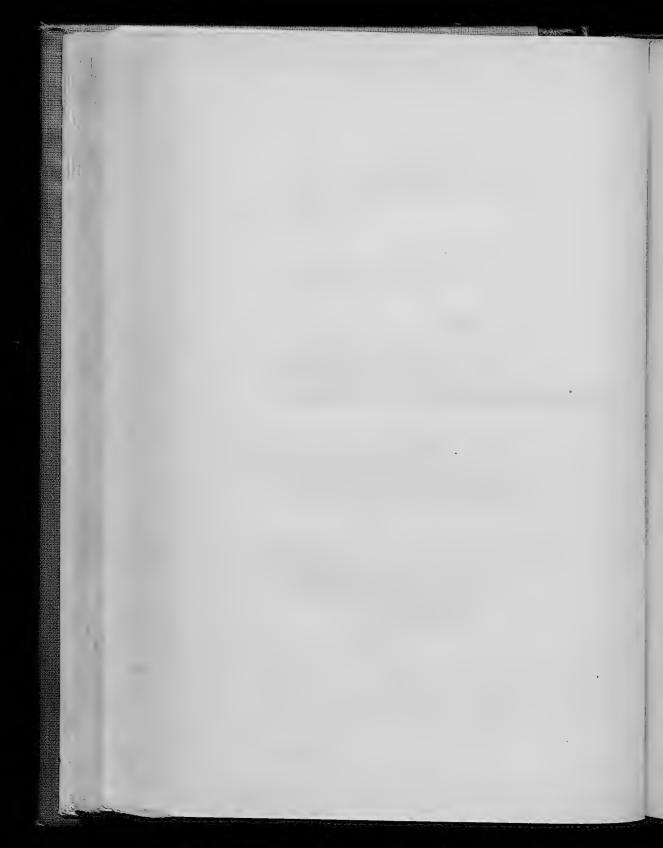
Что это такое?—неужели эти чудиые стихи, полные гармоніи, силы и поэтической прелести:

Любилъ и за звърьми гонитьси, День цълый по лъсамъ скитаться, Широкій Дивпръ переплывать, Любилъ опасностью играть, Надъ жизнью дерзостно смънтьси: Мит было некого терить, Мить было не съ къмъ разставаться!

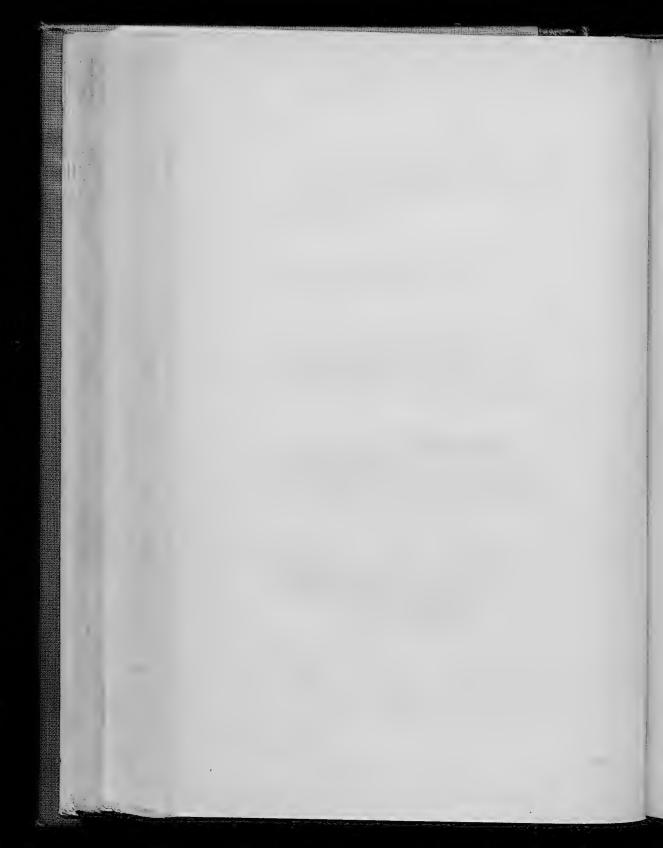
Какая поэзія, сжатость, простота и безъискуственность въ подлинникѣ, и какая изысканность, полная риторической шумихи и общихъ мѣстъ въ переводѣ!... И это не одно мѣсто—весь переводъ цѣлой поэмы — декламація, риторика...

1840.

отечественныя записки.



I. **КРИТИКА.**



МЕНЦЕЛЬ, КРИТИКЪ ГЕТЕ.

Главный недостатокъ критики Менцели, какъ мнъ кажется, состоитъ въ подчиненіи поэзіи и вообще словесности, политикъ, или даже понятіямъ и духу политической партіи. Менцель депутатъ оппозиціонной стороны. Этимъ объясняются его строгіе приговоры Іоанну Мюллеру, Гегелю, Гёте и др.; отъ эгого же пропсходитъ оппозиціонный духъ его книги, и пр.

В. К., переводчикъ книги Менцеля.

Менцель есть собственное имя одного человъка, сдълавшееся нарицательнымъ, каковы, напримъръ, имена Ира, Фарсиса, Креза, Зоила и т. п. Это обстоятельство придаетъ большую и важную значительность Менцелю, какъ представителю цълаго разрида людей, которые были и до него, есть еще и теперь, и, къ сожальнію, будуть всегда. Такъ, напримфръ какое-нибудь пошлое, ничтожное, пустое лице дъдается многозначительнымъ и реальнымъ въ художественномъ произведении, какъ выражающее собою цълую сторону дъйствительной жизни, представляющее своею индивидуальностію цёлый разрядь, цёлую толпу индивидуумовь одной и той же идеи. Это подало намъ поводъ поговорить о Мені,сяв, какъ о представитель критиковъ извъстнаго рода, не обращая вниманія на частности и подробности, относящіяся къ его лицу, или исключительно къ немецкой литературе. Года съ полтора назадъ тому, сочинение Менцеля о нъмецкой литературъ явилось въ прекрасномъ русскомъ переводъ, съ выпускомъ всего, собственио неотносящагося къ литературъ. Такъ какъ, говоря о Менцелъ, мы хотимъ говорить о критикъ, имъя въ виду собственио русскую публику,—то и возьмемъ этотъ переводъ за фактъ, за дапное для сужденія, чтобы каждый изъ нашихъ читателей самъ могъ быть судьею въ этомъ дълъ. Во всякомъ случаъ, предлагаемая статья отнодь не есть разборъ книги Менцеля, но скоръе разсужденіе или трактатъ объ отношеніяхъ критики вообще къ искусству, но новоду извъстнаго рода критическаго направленія, котораго представитель Менцель.

Слава-вещь обольстительная, и къ ней одинъ путь. По многіе смішивають славу съ извістностію, и съ этой точки зрвнія пути къ ней умножаются до безконечности. Но настоящему, слава есть видное понятіе извъстности, а извъстность относится къ славъ, какъ родъ къ виду. Гомеръ извъстенъ человъчеству своимъ творческимъ теніемъ, Зоилъ-ограниченностію и инзостію своего духа въ дёл'є творчества, Крезъбогатствомъ, Иръ-бъдностію, Парисъ-красотою, Фарсисьбезобразіемъ. Можно сдълаться извъстнымъ всему свътуумомъ и глупостью, благородствомъ и подлостью, храбростью и трусостью. Чтобъ обезсмертить себя въ нотомствъ, великій художникъ, на диво міру, создаль въ Эфесъ великольниный храмъ «златолунной» Артемидъ, чтобъ обезсмертить себя въ нотомствъ, Геростратъ сжегъ его. И оба достигли своей цъли: имена обоихъ безсмертны, по съ тою только разницею, что одно извъстно и славно, а другое только извъстно. Слава есть патенть на величе, выдаваемый цёлымъ человъчествомъ одному человъку, великимъ подвигомъ доказавшему свое величіе; извъстность есть внесеніе имени въ полицейскій реестръ, въ которомъ записываются вседневныя событія, выходящія изъ порядка обыкновенности и ежедневности. Слава всегда

есть награда и счастіє; извъстность часто бываеть наказаніємь и бъдствіємь.

Къ числу извъстныхъ людей, претендующихъ на славу, припадлежитъ Ивмецъ Менцель. Имя его извъстно въ Германін, Англін, Францін, Россін, и-еще недавно почитался онъ главою нартій, одинъ изъ представителей Германіи имѣлъ последователей, хвалителей, даже враговъ, безъ которыхъ слава-не слава, и извъстность-не извъстность. Конечно, теперь этотъ славный господинъ Менцель не больше, какъ жалкій представитель устарівшихъ мизній, который на ихъ развалинахъ, съ ожесточенною дерзостью, отстанваетъ свое эфемерное и мишурное величе, символъ эстетическаго безвкусія, челов'єкъ, имя котораго — литературное порицаніе, какъ имя какого-пибудь Зопла, по тъмъ не менъе у него все-таки была своя аногея славы. Какимъ же образомъ пріобръдъ онъ эту славу? Видите ли: онъ издавалъ журналъ, а журналъ есть върное средство прославиться для человъка дерзкаго, безстыднаго и ловкаго. Представься только ему случай захватить въ свои руки журналъ, —и слава его сдъдана. Путей и средствъ много и они разпообразны до безконечности; по главное туть-хорошо начертанный планъ и и неукоснительная върность ему во всъхъ дъйствіяхъ, до мальйшихъ подробностей. Основою же пепремънно должна быть посредственность, которая всёмь по плечу, всёмь правится, всёмь льстить и, слёдовательно, овладёваеть массами и толнами, возбуждая негодование только въ нъкоторыхь — не званыхь, а избранныхь. Но какъ этихъ «избранныхъ» можеть удовлетворить только сила, основывающаяся на талантъ, генін, умъ, внанін, и какъ число этихъ «избранныхъ» такъ ограниченно, что не можетъ принести обильную жатву подписки, -- то о нихъ нечего и думать; толпа любить посредственность, и посредственность должна угождать толив. Для этого ловкій журналисть должень исключительно выбирать только посредственность. Этого народа много,

да онъ и сговорчивъ. Мивнія журнала, который имъ хорошо платить и еще лучше ихъ хвалить-всегда будуть ихъ кровными и задушевными мижніями-до первой ссоры, которая всегда бываеть при первой кости. Смотрите же, не жалъйте похваль: надо, чтобы въ вашемъ журналъ все участвовали генін да великіе таланты—пначе вашего журнала не будуть ни уважать, ни покупать. Въ выборъ не затрудняйтесь: чъмь безталантиве, твив лучше для вась—лишь бы не быль чуждь нъкотораго виъшняго смысла, лоска, блеска, которые толпа всегда принимаеть за геніальность, потому что ей они по плечу, и она ихъ понимаетъ, —а что для нея понятно, то п велико. Воть идеть къ вамъ «поэть», который можеть вдохновляться на подрядъ и къ каждому номеру журнала, съ точностію и аккуратностію, поставить какое вамъ угодно число эллегій, одъ и даже мистерій; хватайтесь за него объими руками: это для васъ кладъ, и скоръе кричите, что этотъ «юный геній», произведеніями котораго «постоянно» украшается вашъ журпаль, счастливо избраль себъ дорогу близехонько, о-бокь дорогъ, напримъръ, какого-инбудь Гете и совершенно можетъ замънить для вашихъ читателей великаго германскаго поэта, котораго ваши читатели бранять за «непонятливость». Ежели въ твореніяхъ вашего Гёте часто будеть недоставать даже и визшняго смысла-не бъда: поправляйте сами, обглаживайте и сглаживайте; это ремесло нетрудное. Является молодой талантикъ, или юное дарованьице съ драмою, или другимъ чъмъ, п обращаетъ на себя изкоторое вниманіе публики: захваливайте его въ пухъ, не жалъйте чернилъ и гиперболъ, кричите: «Я упаль на кольни передь NN, воскликнуль: великій Гете! великій NN!» Если этоть NN вздумаеть послѣ вздернуть носъ, забывши, что онъ сталъ великимъ черезъ васъ, и это не бъда: напишите притчу, апологъ объ отогрътой за назухою змёй, о «человыки съ умомь на дви страницы», который, для потёхи, кинуль въ форточку окна славу первому прохожему... Будьте увърены, что г. N.N. снова будеть въ вашихъ ежовыхъ руковицахъ и самъ прійдеть съ поклономъ: тогда скажите, что вы ношутили, или что вы говорили совсёмь не о немъ, а о другомъ. Толпа разумъется, найдеть васъ не пошлымъ, а только забавнымъ; а кто ее забавляетъ, тому она не скупится платить. Что касается до повъстей, не забывайте одного: заказывайте «забавныя», такія, которыя не всъми читаются явно, о которыхъ не при всъхъ говорится вслухъ, да велите доставлять себъ ихъ рукописи съ большими полями и пробълами между строкъ, чтобы вамъ было гдъ подбавлять своего «юмора» и своихъ «забавныхъ» картинъ; благословясь, черкайте, крестите, вписывайте свое, а главное-не робъйте ни отъ какой плоскости, ни отъ какой неприличности, помия, что у Поль-де-Кока несравненно больше читателей, чёмъ у Вальтеръ-Скотта. Кстати, чтобъ авторитетъ Вальтеръ-Скотта не помѣшалъ успѣху вашихъ «забавныхъ» повъстей, объявите, что исторические романы великаго Британца дурны и пошлы, потому что они-незаконный плодъ отъ соединенія исторіи съ вымысломъ, пли выразитесь какъ нибудь этакъ, позатъйливъе и «позабавиъе». Если кто инбудь изъ вашихъ абонированныхъ нувелистовъ будеть такъ смълъ и дерзокъ, что осмълился издать всъ свои повъсти, помъщавшияся въ вашемъ журналь, въ ихъ первобытномъ видъ, безъ вашихъ поправокъ и передълокъ, и черезъ то лишить ихь многаго «забавнаго»; разругайте ихъ безпощадно, а для тъхъ, которые помиять, что читали ихъ въ вашемъ журналъ, скажите что въ немъ ени были «отлично хороши», хотя написаны и дурно, и что это отъ того, что у васъ есть волшебная машина, въ которую вы положите дурную повъсть, а, повернувъ ключикомъ, вынимаете оттуда хорошую, т. е. «забавную». Толна расхохочется, ибо найдеть это объяснение «забавнымь», а следовательно и внолив удовлетворительнымъ для себя. Бъ вашемъ журналъ непремѣнно должна быть критика, потому что критику любятъ и требують отъ журнала. Истинная критика требуеть мысли,

93

e!

rЬ

а толпа любить «забавляться», а не мыслить, и потому, вмъсто «истинной» критики, создайте «забавную» критику. Для этого объявите, что изящное есть понятіе совершенно условное и относительное, а отнюдь не абсолютное (ужасное слово для толны!), что оно зависить отъ условія климата, страны, народа, каждаго человъка, его пищеваренія, эдоровья и подобныхъ «непредвидъпныхъ» обстоятельствъ. Скажите, что въ искуссвъ хорошо-то, что вамъ правится, и худо-то, что вамь не доставляеть удовольствія. Вамь замітять: какое же вы имъете право называть превосходнымъ произведеніемъ то, что, по условію личности каждаго, многимъ нокажется совсьмъ не превосходнымъ, а для иныхъ и совершенно дурнымъ? Отвъчайте: я правъ и они правы, у всякаго де барона своя фантазія. Такая критика очень легка и правится толив, которая вообще любить все, что въ ровень съ нею и не оскорбляеть ея маленькаго самолюбія своею «непонятливостію». Побольше фразъ отъ себя, и еще больше выписокъ изъ будто бы критикуемаго вами сочиненія, и у васъ въ одинъ вечеръ готово десять «забавныхъ» критикъ, которыя ноправятся тысячамъ и оскорбятъ десятки, тогда какъ иногда мало десяти вечеровъ, чтобы написать «истинную» критику, которая удовлетворить десятки и оскорбить тысячи. Тонь «забавной» критики непремьино должень быть ръзкій, наглый, нахальный: иначе толпа не будеть вамь вёрить. Когда разбираете книгу автора чужаго прихода, или человъка, котораго вы не любите, бонтесь или другое что, дълайте изъ его книги выписки такихъ мъстъ, какихъ въ его книгъ пътъ, приписывайте ему такія мивнія, которыхъ онъ и не думаль имъть, словомъ, клевещите, но только смълъе и ръшительнѣе: толна того и слушаеть, тому и върить, у кого горло шпроко и замашки нагиће. Не забывайте при этомъ чаще говорить о своей добросовъстности, благонамъренности, объ уваженін къ собственной личности, педопускающемъ вась до неприличныхъ браней и полемики, о своихъ тадантахъ и

другихъ похвальныхъ качествахъ вашего ума и сердца, о своихъ соперникахъ кричите, что они и глупы, и безталантны, и недобросовъстны, а главное, что они завидуютъ вамъ, какъ всъ посредственные люди завидуютъ генію. Возьмите девизомъ своимъ «смълость города беретъ»—и будьте увърены, что всъ карманы сдадутся вашей «смълости».

Есть еще другой способъ къ пріобратенію журнальной славы, котораго частію можно держаться и при первомъ, но который иногда и одинъ доводить до цъли: это нападать на утвержденныя понятія, на утвержденные авторитеты и славы. Толну иногда можно запугать, чтобъ заставить удивляться себъ. Скажите толиъ дикую ръзкость и, не дожидаясь ен отвъта и не даван ей придти въ себя отъ первой ръзкой нелъпости, говорите другую, третью, и говорите съ увъренностию въ непреложности своихъ мыслей, смотрите на толну примо, во всв глаза, не мигая и не моргая. Напримъръ, слава Пушкину въ своей апогет и все передъ нимъ на колфияхъ: начните «ругать» его въ буквальномъ значени этого слова, и говорите, что его произведения мелки и ничтожны, хотя и не лишены блестокъ таланта, вижшней отдълки и т. п. Вы думаете, что трудно сдълать? Ничего не бывало, только больше смёлости. Разверните, напримёръ, хоть «Полтаву»: выпишите слова измънника Мазены о Петръ Великомъ и воскликните: «каковъ портретъ Петра!», какъ будто такимъ изобразилъ самъ поэтъ, отъ своего лица; слова Мазены же о Карлъ XII то же выдайте за портретъ, начерченный самимъ поэтомъ, и ръшите, что всъ характеры въ поэтъ лишены всякаго величія. Толпа не будеть справляться и новърить вамъ на слово. Выкуйте себъ какой-пибудь странный, полу-славянскій дикій языкъ, который бросался бы въ глаза своею калейдоскопическою пестротою и казался бы вполив оригинальнымь и глубоко-таинственнымь: она, пожалуй, сделаеть видь, что и понимаеть его, стыдясь сознаться въ своемъ невъжествъ. Вотъ вы уже и

поколебали авторитетъ Пушкина; идите дальше, и утверждайте, что Байронъ и Гёте не истипные художники, ибо-де они на алтарь чистыхъ дъвъ (т. е. музъ, которыхъ Тредьяковскій называлъ мусами) неомовенными руками возлагали возгребія нечистыя и уметы поганые, которые доставали они изъ возкраій лужи, и т. п. Но вотъ проходитъ время, а съ нимъ и ложь: образъ Пушкина является въ повомъ и еще лучезарнъйшемъ свътъ; Байрона и Гёте уже пикто не ругаетъ, — а вамъ что? вы свое сдълали, карманъ вашъ обезпеченъ, а притомъ вы изъ подтишка искусно можете запъть новую; старая забыта, и вы уже на кредитъ пользуетесь славою «отлично-умиаго человъка».

А вотъ чудесное средство противъ враговъ; опо въ большемъ употреблени въ Парижъ, этомъ городъ партій и подконовъ всякаго рода. Мы говоримъ о публичныхъ лекціяхъ. Это одно изъ надежныхъ средствъ уронить репутацію даже журнала, не только писателя. О чемъ больше всего и вездъ читаются публичныя лекцін? — Разумъется, о словесности и языкъ, потому что ни объ одномъ предметъ нельзя такъ много говорить общихъ мъстъ и учить другихъ, не учась ничему и пичего не знан. Извъстно, что Парижане больше охотники до всего публичнаго и любять позъвать на всякое зрълище: вотъ они отъ нечего дълать и идутъ посмотръть фокусовъ-покусовъ какого-нибудь говоруна, на кредитъ пользующагося извъстностію «отлично-умнаго человъка». Зала публичнаго чтенія не университетская аудиторія: въ ней собираются не слушать, а слышать, чтобъ потомъ не подумать, а ноболтать въ обществъ. Посему, ловкій «лекторъ» избътаетъ всего, въ чемъ есть мысль, и хлопочетъ только о словахъ. Вотъ онъ беретъ книгу непріязненнаго ему писателя, выбираеть изъ нея изсколько фразъ, которыхъ не понимаеть, потому что эти фразы состоять не изъ общихъ мъстъ, составляющихъ насущный хлъбъ цълой его жизни, в выражають собою мысль, требующую, для своего пониманія

ума и чувства. Сверхъ того, въ фразахъ могутъ встрътиться слова, которыхъ не слышалъ лекторъ, учившися какъ-нибудь и чему-пибудь на желъзные гроши, — и вотъ онъ читаеть эти фразы, какъ образецъ галиматы и искаженія языка. Толпа вездъ весела, въ Парижъ особенно, — и вотъ она смъется и рукоплещеть своему лектору. Но горе книгъ, если въ вырванныхъ изъ нен фразахъ заключается не только мысль, но еще и повая мысль, выраженная новымъ словомъ или новымъ терминомъ!... Какое ей дъло до того, что въ языкъ и образъ выраженія осмъящой болтуномъ книги можетъ-быть уже занимается заря новой эпохи литературы, новыхъ понятій объ искусствъ, новаго взгляда на жизнь и науку? Какое дело до того, что тотъ, чью литературную репутацію силится запятнать лекторъ, приносиль людямъ плодъ горячаго восторга, безкорыстной любви къ истинъ,то, что перечувствоваль и перемыслиль онъ, чтмъ живеть его душа, чъмъ бъется его сердце?... Болтунъ прочелъ двътри фразы изъ его статьи, прочелъ, разумъется, съ искаженіемъ смысла, съ фарсами и гримасами, и въ заключеніе прибавиль: «право, божусь вамъ, это галиматья! и толпа рада върить ему: она было заспула отъ одной пеобходимости слушать, и ее вдругъ будять такимъ милымъ и забавнымъ фарсомъ: какъ же ей пе смъяться!... Да ей надо смъяться уже изъ одной благодарности, что ее выводять изъ тяжелаго и страннаго положенія дълать серьезную мину... Въ Парижѣ всѣ говорятъ bons-mots, даже записные глупцы; черезъ bons-mots тамъ пріобратають славу, черезъ bons-mots и теряють ее. Неръдко честь и доброе имя зависять тамъ отъ bons-mots какого-инбудь записнаго бонмотиста... Таковъ уже городъ Парижъ!...

Менцель перепробовать всё эти способы добывать журналомъ и «лекціями» славу себъ и дълать вредъ своимъ врагамъ. Онъ сочинять выписки изъ разбираемыхъ книгъ, приписывать своимъ противникамъ миънія, которыхъ они и не

думали имъть, раздавалъ вънцы славы и безсмертія людямъ бездарнымь, гаерствоваль и клеветаль на генія, таланть и всякаго рода заслугу, всякаго рода силу и всякаго рода достоинство. Но главная причина его нозорной извъстностидерзкіе, и наглые нападки на Гёте. Онъ прицъпиль свое маленькое имячко къ великому имени поэта, какъ въ басив Крылова, паукъ прицъпился къ хвосту орла—и мощный орель вознесъ его на вершину опоясаннаго облаками Кавказа.... Но съ нимъ кончилось, какъ съ паукомъ: пахнулъ вътеръи бъдный паукъ опять очутился на низменной долинъ, а орель, взмахнувъ широкими крылами, съ горныхъ громадъ гордо и отважно ринулся въ знакомыя ему безбрежныя пространства энра... Менцель теперь явился въ Россіи въ прекрасномъ переводъ, за который русская литература должна быть весьма благодарна переводчику. Въ самомъ дълъ, пора намъ взглянуть прямо въ лице этому пресловутому мужу, котораго имя еще обаятельно дъйствуеть у насъ на нъкоторыхъ, и къ которому еще недавно кто-то простеръ братскія объятія за то, что опъ нападаеть на Гегеля, Гёте и Мюллера... Les beaux esprits se rencontrent!... Всъ другіе русскіе журналы холодно и грубо приняли незваннаго гостя, хотя и сами себъ не могли отдать отчета въ своей враждебности къ нему. Пора перестать основываться на безотчетномъ чувствъ, пора мыслить сознательно.

Разумъется, что въ Менцелъ пельза отрицать и нъкоторой заслуги, которая состоила въ преслъдовании пошлой нъмецкой сантиментальности и другихъ дурныхъ сторонъ нъмецкой литературы, которыя онъ преслъдовалъ ръзко и дерзко. Но побить нъсколько дрянцыхъ романовъ и хотя множество глупыхъ книжонокъ, еще не великое дъло, —и еслибы подобные хорошіе рецензенты плохихъ книгъ могли претендовать на геніальность, то Европа не обобралась бы геніями, какъ грибами послъ дождя. Чтобы хорошо писать о дурныхъ книгахъ, нужно начитанность, нъкоторая литера-

турная образованность, и всколько вкуса и изощренной навыкомъ способности владъть изыкомъ; но чтобы хорошо писать о книгахъ умныхъ и сочиненіяхъ ученыхъ, нужно имъть глубокую натуру, развитую ученіемъ и мыслію и даръ слова отъ природы. Но натура Менцеля очень мелка, умъ ограниченъ, а учился онъ на мъдныя деньги, почерпнувъ свои свъдънія изъ журналовъ, — а между тъмъ пустился судить и рядить о предметахъ, выходящихъ изъ ограниченнаго круга доступныхъ ему идей, — именно объ искусствъ и наукъ, о Гёте и Гегель. Въ маленькихъ дълахъ онъ былъ великъ, а па великія его не стало. Нашлись люди, которые указали ему его м'єсто; онъ разсердился на нихъ и сталъ вым'єщать па Гёте и Гегель. Къ оскорбленному и раздраженному самолюбію присоединились и которыя одностороннія убъжденія, которымъ ограниченные люди всегда предаются фанатически, не столько по любви къ истинъ, сколько по любви и высокому уваженію къ самому себѣ. Это явленіе общее—и вотъ съ какой точки зрънія имя Менцеля есть имя нарицательное, понятіе родовое. Взглянемъ на эти одностороннія убѣжденія ограниченнаго челов'єка.

Есть особый родъ сердобольныхъ людей, которые болѣе занимаются другими, нежели самими собою, а потому всегда несчастны, всегда обременены хлонотами и заботами. Имъ важется, что и въ мірѣ все идетъ худо, и что отечество ихъ вотъ сейчасъ готово ногибнуть жертвою превратнаго хода дѣлъ, а вслѣдствіе такого взгляда на вещи, имъ кажется, что они призваны и міръ исправить и отечество спасти, —для чего тому и другому нужно только новѣрить ихъ мудрости и неуклоновынолнить ихъ совѣты. Для этихъ маленькихъ великихъ подей, государство не есть живой организмъ, котораго части находятся въ зависимомъ другъ отъ друга взаимнодѣйствін, котораго развитіе и жизнь условливаются непреложными законами, въ его же сущности заключенными; для нихъ государство не есть живая, индивидуальная личность сама по себъ

и сама для себя сущая, имъющая свою свободную волю, которая выше воли частныхъ лицъ; для нихъ государство не имъеть ни почвы, ни климата, ни географіи, ни исторіи, ни прошедшаго, ни настоящаго; для нихъ оно не есть живое осуществление до. временной божественной иден, ставшей по возможности явленіемъ и стремящейся развиться изъ самой себъ во всей своей безкопечности; для нихъ не существуеть міродержавнаго Промысла, который управляеть судьбами царствъ и народовъ и, въ разумно-свободной необходимости, указываетъ на путь, его же не прейдени... Нътъ! для этихъ маленькихъ великихъ людей государство есть искусственная машина, которую по произволу можеть вертьть всякій маленькій великій человъкь. Они осуждають Петровъ и Наполеоновъ, съ важностію указывая на ихъ ошибки и не шутя давая знать, что на мѣстѣ этихъ, впрочемъ, дъйствительно великихъ людей, они бы не сдълали такихъ промаховъ. Опи говорятъ: Петръ сдълалъ тогда-то воть то-то, между тёмъ какъ ему слёдовало бы въ то время едклать воть это; они говорять, что Наполеонъ паль потому что не стоиль за права человѣчества; а думаль только о своей личной власти. Жалкія слънцы! Нетръ сдълаль именно то, для чего послаль его, что поручиль ему Богь, --ему, своему посланнику и помазаннику свыше; онъ угадаль волю духа времени,--и не свою, а волю пославшаго его выполниль онъ, --потому-то онъ и великій человъкъ. Только маленькіе великіе дюди таращатся выполнить свою случайную волю: воля великихъ людей всегда совпадаетъ съ волею Божіею, которою и сильны они, которою и удаются имъ дъла ихъ. Наполеонъ палъ потому же, почему и всталъ: та же могучая десница низвергла, которая и вознесла его. Онъ совершиль свою миссію-и палъ не отъ слабости, а отъ тяжести своей силы, которая уже не находила болье для себя дъла. Смъшны и жалки эти великіе маленькіе люди!... Вообразите себт сумасшедшаго, котораго растроенному воображенію представляется, что, -- вотъ облака упадутъ на землю и подавять ее,

вотъ огнедышащее солнце спалить своими лучами все живущее на ней, вотъ зима истребитъ его своимъ губительнымъ хладомъ... Напрасно солице утромъ восходитъ въ такомъ торжественномъ величи и пробуждаетъ къ ликованию все твореніе, отъ былинки до челов'єка; въ полдень такъ роскошно осіяваеть нетліннымь золотомь лучей своихъ и голубой куноль неба, и свою любимую дочь, многодарную землю; а вечеромъ, въ новой торжественности, какъ побъдитель, утомленный поб'йдою, сходить съ своей в'ино-непзивиной дороги и блёдными лучами даетъ послёдніе замирающіе поцълун своей любимпцъ, и скрывается за розовымъ занавъсомъ мерцающей зари, высылая на смъну и блъдноликую луну, и миріады лучезарныхъ звъздъ... Да! папрасно, съ того незапамятнаго довременнаго мгновенія, какъ творящее «да будеть!» позвало небытіе къ бытію, до нашего времени, напрасно солице ин раза не взошло вечеромъ и не скрылось утромъ, ни раза не вышло съ запада и не закатилось на востокъ; напрасно за успоконтельною смертію зимы слъдуетъ всегда воскрешающая весна, за весною энойное льто, за льтомъ богатая дарами илодовъ осень, которой посавдніе, запоздалые желтые колосья и листья наконецъ покрываются серебристымъ и алмазнымъ инеемъ зимы... Напрасно океанъ, скованный берегами, не можеть вырваться изь своего бездоннаго ложа, и его громадныя волны, грозящія земл'є и небу, съ воемъ и ревомъ, въ безсильной ярости, разбиваются о несокрушаемую твердыню гранитныхъ скалъ... Напрасно ръки, какъ обычную дань, несуть къ морю волны свои, и не текуть вспять.... Напрасно все!... Не слышпа ему музыка сферъ и міровъ; глухъ онъ къ гармоническому хору, который образуеть своимъ стройнымъ чиномъ, своими неизмъимемыми законами, своимъ несмущаемымъ теченіемъ къ предустановленной отъ въка цъли, творепіе предв'ячнаго Художника!... Н'ять, ему слышатся только диссонансы, мерещится одинъ раздоръ: тучи грозять отнять

0,

ı,

01

1}-

ıI-

III

Ţθ

R

ĮΪ

Ä

Û,

IJ

82

11

ie

(1)

0,

eÄ

свёть, громъ—разбить землю, молнія—испепелить все живущее на ней,—п, бёдный сумазбродь, онъ хватается за топоръ, обтесываеть свои колышки и тычинки, и хлопочеть подпереть ими съ трескомъ разрушающееся зданіе вселенной...

Такое же зрълнще представляють собою и эти маленькіе великіе люди, о которыхъ мы говоримъ. Добровольные мученики, -- имъ ивтъ покоя, для нихъ ивтъ радости, ивтъ счастія: тамъ гаснетъ свътъ пресвъщенія, тутъ гибнетъ добродътель и иравственность, здёсь подавляется цёлый народъ, -и съ вопдемъ указывають они на виновниковъ такого ужаснаго зла; какъ будто бы люди, или человъкъ, въ состояніи остановить ходъ міра, измінить участь народа; какъ будто бы ніть провидънія, и судьбы земнородныхъ предоставлены слъпому случаю или сявной воль одного человька. Сумазброды! внимательнъе заглядывайте въ священную кингу судебъ человъчества, въ въчную «книгу царствъ» — въ исторію, но которой поверхностно скользять ваши взоры, отуманенные предубъяденіями и зарапъе заготовленными произвольными понятіями вашей ограниченной личности. Умираетъ прекраспая Греція, отчизна Гомеровъ и Платоновъ, опустъли ся дивные храмы, сброшены съ пъедесталовъ ея мраморныя статун; храмы сокрушились и ихъ развалины заросли травою, а статуи взяла жельзная рука варвара-побъдителя; -- но развъ умерла для насъ она, эта прекрасная Греція? Развѣ развалины ея храмовъ и обломки ихъ колониъ не свидътельствуютъ намъ о гармонін ихъ размітровь, о первобытной красоті роскошныхь ихъ формъ? Развъ эти чудныя статуи, пережившія тысячелътія, не предстали Винкельману во всемъ очарованіи въчной юности, и не открыли ему сокровенныхъ тайниковъ изчезнувшей жизни свътныхъ чадъ Эллады, и не повъдали ему дивныхъ тайнъ творчества? Развъ для насъ «Иліада»--- мертвая буква, нъмой памятникъ навъки умершаго и на всегда потерявшаго свой смыслъ и свое значение прошедшаго, а не

источникъ живаго блаженства, величайшаго разумнаго наслажденія и пзящивіншимъ созданіемъ общеміроваго искусства? Развъ жизнь Грековъ не вошла въ нашу, какъ элементъ? разв'я не получили мы ее, какъ законное насл'ядіе?... Кто же говорить, что Греція умерла навсегда, падши отъ натиска варварства и невъжества?--Пережитые человъчествомъ моменты не изчезають въ въчности, какъ звукъ, теряющійся въ пустынъ; но навсегда дълаются его законнымъ владъніемъ въ сознаніи, которое одно дъйствительно, одно есть истинная жизнь духа, а не призракъ. Не только для возмужалаго человъка, - и для старца, если только его старость ясна, какъ вечеръ прекраснаго весенняго дня, воспоминаніе о свътломъ утръ своего младенчества, о зпойномъ полудиъ своей юности, составляеть одно изъ отрадиъйшихъ наслажденій его старости; но человічество выше человіка, моменты его жизии есть высшая, разумнъйшая дъйствительность, чъмъ моменты жизни человъка, -- такъ оно ли забудетъ греческую жизнь, этотъ роскошный цвъть своего младенчества, или средніе в'яка, этотъ роскошный цв'ять своей юности, изъ которыхъ образовался роскошный плодъ его мужества?... Омаръ сжегъ Александрійскую библіотеку: проклятіе Омаруонь навъки ногубиль просвъщение древняго міра! Погодите, милостивые государи, проклипать Омара! просвъщение чудная вещь — будь оно океаномъ и высуши этотъ океанъ какойнибудь Омаръ, — все останется подъ землею невидимый п совровенный родникъ живой воды, который не замедлитъ пробиться наружу свётлымъ ключемъ и превратиться въ океанъ. Просвъщение безсмертно, ибо оно не имъетъ внъ себя никакой цёли, обыкновенно называемой «пользою», по есть само себъ цъль, и въ самомъ себъ заключаетъ свою причину, какъ внутренияя жизпь сознающаго себя духа. Удовлетвореніе духа, стремящагося къ созпанію, есть внутренняя причина и цъль просвъщенія; а его внъшняя польза для человъчества есть уже его необходимый результать. Не-

ужели солице есть несамостоятельная планета, символъ Божіей славы, а фонарь для освъщенія нашей маленькой земли, хотя оно и свътить намь и грветь?... Омаръ сжегъ Александрійскую библіотеку, но не сжегъ Гомера и Илатона, Эсхила и Демосоена, которыхъ мы знаемъ. Но вотъ, варвары разрушили Западную Римскую имперію — погибла цивилизація, изчезла мудрая гражданственность? Нътъ не погибла она: въ въчномъ городъ, столицъ политическаго міра, снова явился въчный городъ, столица духовнаго міра. Потомъ нашелся затерянный варварствомъ и въками кодексъ Юстиніана—и жизнь древняго міра сділалась нашимь законнымь наслідіемь, вошла въ нашу жизнь, какъ элементь. Но вотъ самый разптельный примъръ. Народъ нашего времени, особенно богатый маленькими великими людьми, забывъ, что у него есть исторія, есть прошедшее, что онъ народъ новый и христіанскій, вздумалъ едёлаться Римляниномъ. Явилось множество маленькихъ великихъ людей и, съ школьными тетрадками въ рукахъ, стало около машинки, названной ими la sainte guillotine, и начало всёхъ передёлывать въ Римлянъ. Поэтамъ приказали они, во имя свободы, воспъвать республиканскія добродътели, думая, что искусство должно служить обществу; мыслителямъ повелъли, то же во имя свободы, доказывать равенство правъ, а кто бы изъ поэтовъ или мыслителей, слъдуя свободѣ вдохновенія пли мысли, осмѣлился воспѣвать и доказывать противное, тъмъ, во имя свободы, рубили головы. Искусство и знаніе погибли-нътъ больше развитія идей, остановленъ навсегда ходъ ума... Но погодите отчаяваться: та же воля, которая попустила возстать злу, та невидимая, но могучая воля и истребила зло,-и чудовище нало жертвою самого себя, какъ скориюнъ, умертвивши себя собственнымъ жаломъ; затъл школьниковъ не удалась, тетрадки осмѣяны, кровавая комедія освистана—и кѣмъ же? сыномъ революцін, одинмъ челов'єкомъ, сотворившимъ волю пославшаго его... Кто могъ предвидъть, кто могъ предсказать это? Вёдь ужь все погибало... Но маленькіе великіе люди не понимають этого, и отъ всей души убёждены, что если міръ еще какъ-нибудь держится, то не иначе, какъ ихъ мудростію и усердіемъ къ общему благу.

Къ числу такихъ-то маленькихъ великихъ людей принадлежитъ и Менцель; Ему не правится порядокъ дълъ въ Германін, и онъ придумаль на досугѣ свой планъ для ея благосостоянія; по какъ она не осуществляеть этого благодітельнаго плапа, не будучи въ состоянін отръшиться отъ своего историческаго развитія, ни отъ своей національной индивидуальности, да еще, какъ кажется, не будучи въ состоянін постичь всей премудрости г. Менцеля, и не върить ей, а на самого его смотритъ, какъ на журнальнаго крикуна и политическаго полишинеля, то онъ и возстаетъ на нее со всемъ ожесточеніемь фанатика и представляеть собою отвратительное и возмутительное зрълище сына, быощаго по щекамъ родную мать свою. Другими словами: ему досадно, зачёмъ Германія есть то, что она есть, а не то, чёмъ бы ему хотълось ее видъть-требование столь же справедливое, какъ и то, зачёмъ у васъ волосы русые, а не черные, когда миъ именно хочется, чтобы у васъ были черные волосы!... И поэтому, ему все не правится въ Германіп, и ея книжность, и ея ученость, и ея патріархальные обычан и нравы. Но болъе всего онъ возстаетъ на нее въ лицъ ея геніальныхъ представителей, которыми она гордится, и которые доставили ей умственное владычество надъ всею просвъщенною частио земнаго шара. Философія Гегеля признала монархизмъ высшею разумною формою государства, и монархія, съ утвержденными основаніями, изъ исторической жизни народа развившимися, была для великаго мыслителя идеаломъ государства. Менцель думаеть объ этомъ совершенио иначе, и потому онъ объявиль, что Гегель сумасбродь, дикій фанатикъ, и его философія-бъснованіе полуумнаго человъка. Еще большему ожесточению съ его стороны подвергся Гёте.

Великій поэть жиль при веймарскомъ дворѣ, пользовался бдагосклонностію многихъ вънценосныхъ особъ и даже гордидся дружбою къ себъмногихъ изъ нихъ. Вотъ первое преступленіе германскаго поэта Гёте противъ добродътельнаго Римлянина Менцеля, который по одному этому предмету разродился двумя глупостями. Во первыхъ, жить при дворъ, или не жить при немъ--это ръшительно все равно, потому что въ обоихъ случаяхъ можно быть равно великимъ и равно добродътельнымъ человъкомъ. Во вторыхъ, не только несправедливо, но и справедливо нападая на человъка, отпюдь не должно смъщивать его съ художникомъ, равно какъ, разсматривая художника, отнюдь не следуетъ касаться человека. У искусства есть свои законы, на основаніи которыхъ и должно разсматривать его произведенія. Мысль, выраженная поэтомъ въ созданін, можеть противоръчить личному убъждению критика, не переставая быть истинною и общею, если только созданіе дъйствительно художественно: нбо человъкъ, какъ ограниченная частность, можеть заблуждаться и питать дожныя убъжденія, но поэть, какъ органъ общаго и мироваго, какъ непосредственное проявленіе духа, не можеть ошибаться и говорить ложь. Конечно, плати дань своей человъческой патуръ, и онъ можеть впадать въ заблужденія, по это тогда, когда онъ измъняеть своей творческой натуръ, становится невърнымъ самому себъ и перестаеть быть поэтомъ, допуская своей личности вившиваться въ свободный процессъ творчества, и впадая въ резонёрство, символизмъ и аллегорію. Следовательно, чтобы узнать, върна ли мысль, выраженная поэтомъ въ его произведенін, должно сперва узнать дъйствительно ли художественно его созданіе. Но этотъ вопросъ рѣшается непосредственнымъ внечатибніемъ созданія на непосредственное чувство критика (разумъется, если его чувство доступно изящному, глубоко и всеобъемлюще), повъреннымъ потомъ діалектикою мысли на непреложныхъ основаніяхъ искусства; а отнюдь не полицейскими справками о трезвости поведенія

Щ

и аккуратности поэта въ платежб долговъ, или освъдомлепіями о томъ, какъ отзывалась о немъ бабушка, довольна ли была имъ тетушка, и хорошо ли онъ жилъ съ женою, а еще менње произвольными убъжденіями случайной личности критика. Основная идея критики Менцеля есть та, что искусство должно служить обществу. Если хотите, оно и служить обществу, выражая его же собственное сознание и питая духъ составляющихъ его индивидуумовъ возвышенными впечативнінми и благородными помыслами благаго и истиннаго; но оно служить обществу не какъ что-нибудь для него существующее, а какъ нъчто существующее по себъ и для себя, въ самомъ себъ имъющее свою цъль и свою причину. Когда же мы будемъ требовать отъ искусства спосившествованія общественнымъ цёлямъ, а на поэта смотрёть, какъ на подрядчика, которому можно заказывать въ одно времявоспъвать святость брака, въ другое — счастіе жертвовать своею жизнію за отечество, въ третье-обязанность честно платить долги, то вижето изящныхъ созданій наводимъ литературу рифмованными диссертаціями объ отвлеченныхъ и разсудочныхъ предметахъ, сухими аллегоріями, подъ которыми будеть скрываться не живая истина, а мертвое резонёрство; или, наконецъ, угарными исчадіями мелкихъ страстей и бъснованія партій. То и другое было во французской литературъ. Сперва ел произведения были декламаторскимъ резопёрствомъ, которое, въ звучныхъ и гладкихъ стихахъ, то расплывалось пошлыми септенціями, какъ въ сочиненіяхъ Корнеля, Расина, Буало, Мольера, Фенелона; (автора «Телемака»), то разсыпалось мелкимъ бъсомъ въ пошлыхъ остротахъ и нагломъ кощупствъ надъ всъмъ святымъ и завътнымъ для человъчества, какъ въ сочиненияхъ Вольтера; теперь ея произведенія-буйное безуміс, которое, обоготворивъ неистовство животныхъ страстей, выдаетъ, подобно Гюго, Дюма, Эжену Сю, мясинчество за трагедію и романъ, а клеветы на человъческую натуру на изображение насто-

ящаго въка и современнаго общества. Въ самомъ дълъ, что представляетъ пынъшпяя французская литература? Отраженіе медкихъ сектъ, ничтожныхъ системъ, эфемерныхъ партій, диевныхъ вопросовъ, Г-жа д'Юдеванъ или извъстный, по отнюдь не славный, Жоржъ Зандъ, пишетъ цълый рядъ романовъ, одинъ другаго нелъпъе и возмутительнъе, чтобы приложить къ практикъ иден сен-симонизма объ обществъ. Какія же это пден? О, безподобныя! — именно: пидюстріальное направление дойжно взять верхъ надъ пдеальнымъ п духовнымъ; должпо распространиться равенство не въ смысяв христіанскаго братства, которое и безъ того существуеть въ мірѣ со времени первыхъ двѣнадцати учениковъ Спасителя, а въ смыслъ какого-то масонскаго или квакерскаго сектантства; должно уничтожить всякое различие между полами, разръшивъ женщину на вся-тяжкая и допустивъ ее наравит съ мущиною, къ отправленію гражданскихъ должпостей, а главное-предоставить ей завидное право мънять мужей по состоянию своего здоровья... Необходимый результать этихъ глубокихъ и превосходиыхъ идей есть уничтоженіе священных узъ брака, родства, семейственности, словомъ, совершенное превращение государства, сперва въ животную и безчинную оргію, а потомь-въ призракъ, построенный изъ словъ на воздухъ. Альфредъ де-Виньи, другой маленькій-великій человъчекъ, ударился въ другую крайность: онъ изъ всъхъ силъ хлопочеть о возстановлении французской монархін въ томъ видь, въ какомъ она была до кардинала Ришелье — Франціи феодально-монархической... Для этого онъ поправляеть исторію, выдумывая инкогда песуществовавшіе факты, клевещеть на Наполеона, заставляя какого-то глупаго пажа подслушивать его небывалый разговоръ съ напою Пісмъ VII, а чтобы унизить кардинала Ришелье, пенавидимаго имъ какъ врага выродившейся феодальной аристократін, противуноставляеть ему, въ своемъ романъ, пустаго и инчтожнаго Сен-Мара, дълая его героемъ и

великимъ человъкомъ. А между тъмъ, «идеальный» Ламартинъ хлопочеть, въ водяныхъ медитаціяхъ, приторно-чувствительныхъ элегіяхъ и надуто-риторическихъ поэмахъ воскресить католицизмъ среднихъ въковъ, котораго опъ не понимаетъ. Вышель во Франціи повый уголовный закопь, а завтра является сотия дюжинныхъ романовъ; въ которыхъ примъромъ ръшается справедливость или несправедливость закона; вышло новое ностановление хоть о налогахъ, рекрутствъ, акціяхъ-опять завтра же длинная вереница романовъ, которая пынче читается съ жадностію, а завтра забывается. Не такова истинная поэзія: ея содержаніе не вопросы дня, а вопросы въковъ, не интересы страны, а интересы міра, не участь партій, а судьбы человъчества. Не таковъ художникъ: въ дивныхъ образахъ осуществляетъ онъ божественную пдею для пей самой, а не для какой-либо вившней п чуждой ей цъли. Толпа Менцелей не смутигъ его дикими воилями и укорами въ безполезности его существованія-онъ гордо отвътить ей:

> Подите прочь: какое дъло Поэту мирному до васъ! Въ разврать каменьйте смвло; Не оживить васъ лиры гласъ! Душь противны вы, какъ гробы, Для вашей глупости и злобы Имъли вы до сей поры Вичи, темницы, топоры; Довольно съ васъ, рабовъ безумныхъ! Во градахъ вашихъ съ улицъ шумныхъ Сметаютъ соръ -полезный трудъ! Но, позабывъ свое служенье, Алтарь и жертвоприношенье, Жрецы ль у васъ метлу берутъ? Не для экитейскаго волиенья, Не для пористи, не для битет -Мы рождены для вдожновенья. Для зоуковъ сладкихъ и молитвъ!

Вдохновеніе художника такъ свободно, что самъ онъ не можеть новельвать имъ, но повинуется ему, ибо онъ въ немъ, но не отъ него. Онъ не можеть выбирать темъ для своихъ созданій, ибо безъ его въдома возникають въ душь его таинственныя явленія, которыя показываеть онъ потомъ на диво міру. Онъ творить не когда хочеть, но когда можеть; онъ ждеть минуты вдохновенія, но не приводить ея по воль своей, и потому то

Пока не требуетъ поэта Къ священной жертвъ Аполлонъ, Въ заботахъ суетнаго свъта Онъ малодушно погружонъ, Молчить его святая лира; Душа вкушаеть хладный сонь, И межь дътей ничтожныхъ міра, Быть-можетъ, всъхъ ничтоживи онъ, Но лишь божественный глаголъ До слуха чуткаго коснется-Душа поэта встрепенется, Какъ пробудившійся орель; Тоскуеть онь въ забавахъ міра, Людской чуждается молвы. Къ ногамъ народнаго кумира Не клонить гордой головы; Бъжить онь дикій и суровый, И звуковъ и сиятенья полнъ, На берега пустынныхъ волнъ, Въ широкошумныя дубровы...

Менцель поставляеть Тёте въ великую вину и тяжкое преступленіе, что онъ молчаль во время французской революціи и ни однимъ стихомъ не выразиль своего мивнія объ этомъ событіи, потрясшемъ весь міръ. Въ самомъ дѣлѣ, великое преступленіе! Такъ точно, въ одномъ русскомъ журналѣ, кто-то ставилъ Пушкину въ вину, что онъ, воротясь изъ-за Кавказа, гдѣ былъ свидѣтелемъ славы русскаго оружія, напечаталъ УІІ-ю главу «Опѣгина», а не собраніе «торжественныхъ одъ»: подлинно—les beaux ésprits se rencontrent!...

И такая легкая, удобопонятная піптика: во время революцій, поэтъ непремъпно должень или хвалить или хулить ее въ своихъ стихахъ, а во время войны—прославлять подвиги соотечественниковъ!... И какъ для Менцелей понятно, что Пушкинъ, возвратись съ Кавказа, привезъ съ собою «Кавказскаго Илънника», и какъ непонятно для нихъ, что Грибоъдовъ съ того же Кавказа привезъ «Горе отъ Ума»—злую сатиру на современное московское (а не кавказское) общество... Бъдные люди!...

Ъ

"Каждое слово Гёте принималось какъ изречение оракула; но онъ никогда не начиналъ ръчи, чтобы напомнить Германцамъ о народной ихъ чести, либо чтобы одушевить ихъ на какой-нибудь благородный помыслъ или подвигъ. Равнодущно пропускалъ онъ мимо себя событія всемірной исторіи, или только сердилзя, что военныя тревоги подъ часъ нарушали сладкія мануты поэтическихь его наслажденій. До французской революціи дремала Германія. Это грозное событіе пробудило наше отечество ужаснымъ образомъ: Какін чувствованія должно было оно породить въ сердцъ перваго нашего поэта? Новая эра возбудила восторгъ въ Шиллеръ: Горресъ, сгорая стыдомъ отъ измѣны отчизнъ и отъ глубокаго ен униженія, напоминалъ соотечественнякамъ про прежнюю честь и прошлое величіе Германіи. Что же сдълаль Гёте? Написаль нъсколько легкомысленныхъ комедій. Потомъ явился Наполеонъ. Что долженъ былъ думать о немъ, сказать про него первый германскій поэть? онъ должень быль, какь Арндть и Кёрнерь, провиннать губителя своей отчизны и сделаться главою союза добродвтели, или, ежели по привычит Нъмцевъ онъ былъ больше космополить, чемъ патріоть, то, по крайней мере, какъ Байронь, должень бы уразумъть глубоко-трагическое значеніе великаго героя и его дивной судьбы". (Ч. П, стр. 408-509).

Сколько лжей и пошлостей въ немногихъ словахъ этой ограинченной ивмецкой головы! У каждаго народа необходимо двъ стороны: дъйствительная, сущная, и, какъ конечное ея отраженіе, пошлая и смъшная; поэтому и Иъмцевъ можно раздълить на Германцевъ, каковы: Лессингъ, Кантъ, Фихте, Шеллитъ, Гегель, Шиллеръ, и Гёте, и на Иъмцевъ, каковы: Коцебу, Клауренъ, Августъ Лафонтенъ, Фан-дер-Фельде, Бау-

мейстеръ, Кругъ, Бахманъ и пр. Къ этимъ-то достопочтеннымъ и достополезнымъ Ивмцамъ-филистерамъ, отъ которыхъ попахиваетъ кнастеромъ и нивомъ, принадлежитъ и нашъ сердитый господинъ Менцель. Спросите его, съ чего онъ взяль, что Гёте равнодушно пропускаль событія всемірной исторія? Неужели, какая-инбудь кумушка-старушка, которая съ своими сосъдками день и ночь колотила языкомъ по зубамъ, толкуя о реляціяхъ наполеоновскихъ походовъ и побъдъ, или какой-нибудь фельетонисть, по коптикть со строки надсаживавшій себѣ грудь громкими фразами о томъ же предметь, неужели они больше интересовались и глубже понимали эти великія событія, нежели великій поэть, который по словамъ самого Менцеля, былъ поливйщимъ отраженіемъ, върнъйшимъ зеркаломъ своего великаго въка? Кто сказалъ ему, что Гёте не останавливался въ безмолвномъ созерцаніи, полномъ любви, мысли и благоговънія, передъ таинственными судьбами, въ такомъ ведичін совершившимися въ его глазахъ, онъ, въ которомъ все жило и который во всемъ жилъ, который все въ себъ ощущаль и на все откликался струнами своего духа, этой звучной арфы вселенной, этого гармоническаго органа міровой жизни?...

> Съ природой одною онъ жизнью дышалъ, Ручья разумълъ лепстанье, И говоръ древесныхъ листовъ понималъ, И чувствовалъ травъ прозябанье; Была ему явъздная книга исна, И съ нимъ говорила морская волна!

Неужели изъ того, что Гёте не воспѣваль великихъ современныхъ событій, слѣдуетъ, чтобы они не касались его, что онъ не чувствоваль ихъ? Развѣ Гомеръ въ своей «Иліадѣ» воспѣлъ современное ему событіе, а не за два столѣтія до него совершившееся? Развѣ Шекспиръ, въ своихъ драмахъ, представилъ тоже современный ему міръ? Помилуйте, господа Менцели, только какой-нибудь школьникъ, съ тетрадкою въ

рукъ, какой-нибудь Сен-Жюстъ могъ расписать по мъсяцослову вдохновение поэта, заставивъ его въ апреле воспевать дружбу, въ мат любовь, въ іюнт бракъ, а въ іюлт добродттель!... Мы этимъ отнюдь не хотимъ сказать, чтобы поэту нельзя было отзываться пъснію на современныя событія; пътъ, это значило бы впасть въ противоположную крайность, а каждая крайность есть нелёность, плодъ ограниченности ума и мелкости духа. Вдохновение не справляется съ календаремъ. Оно часто молчить, когда всё ожидають его. Но мы однако думаемъ, что поэтъ всего менъе способенъ отзываться на современность, которая для него есть начало безъ середины и конца, явленіе безъ полноты и цілости, закрытое туманомъ страстей, предубъжденій и пристрастія партій, и нотому его вдохновение больше любить жить въ въкахъ минувшихъ и пробуждать исполинскія тъни Ахилловъ и Гекторовъ, Ричардовъ и Геприховъ, или изъ иъдръ собственнаго духа воспроизводить свои гигантскія образы, каковы—Гамлеть, Макбеть, Отелло. Менцель говорить, что новая эра, начатая французскою революцією, пробудила восторгъ въ Шиллеръ: зачьмъ же онъ такъ безсовъстно умолчалъ, что если Шиллеръ съ восторгомъ привътствоваль начало французской революцін, то съ отвращеніемъ смотрълъ на ен продолженіе и копецъ, и съ негодованіемъ отвергнулъ дипломъ на гражданина Французской республики, который предлагаль ему Конвенть за его трагедію «Фіеско» — очень плохенькое твореньице въ художественномъ отпошеніи?... Или разсказать факть въ половину иногда необходимо, чтобы поддержать ложь?... И какъ понятно, что Гете не могъ поступить подобно Шиллеру, ибо Гете быль геній песравненно высшій, геній чисто-художническій, а потому неспособный увлекаться инкакими односторонностями, по обнимавшій все въ оконченной цълости, на все смотръвшій не снизу вверхъ, а сверху виизъ. Вся цъль стремленій самого Шиллера была-достигнуть мірообъемлющей объективности Гете; только при концъ своего поприща опъ болъе или менъе

постигъ этого, и оттого последнія его произведенія и выше и глубже, чъмъ произведение его юности, полной пожирающаго пламени, а вивств съ шимъ и дыма, и чада, и угара... Что могло дълать честь Шиллеру, то унизило бы Гете. Съ чего взяль господинь Менцель, что Гете должень быль, подобно господамъ Аридту и Кернеру, проклинать Наполеона, какъ губителя своей отчизны?... Это еще что за новость?... Когда Менцель заставляеть Гете подражать Шиллеру—въ этомъ еще есть немножко смысла, потому что Шиллеръ все-таки быль великій духь, если не такой же художникь; но заставлять, орла дёлать то, что дёлали комары?... Для выполненія временныхъ требованій и цілей какой-шобудь ограниченной эпохи, есть маленькіе великіе люди, есть Аридты п Кернеры, а у истинно великихъ людей, исполиновъчеловъчества-другое время и другія цъли-міръ и въчность... Съ чего взяль Менцель, что Гете должень быль сдёлаться главою Тугендбунда, состоявшагося изъ школьниковъ и духовно-малольтныхъ дътей, и смъшнаго для людей взрослыхъ и возмужавшихъ духомъ...

Все это показываеть только, что Мепцель не понимаеть ин значенія, ин сущности искусства, а, взявшись говорить о томь, чего не смыслишь, невольно будешь говорить вздорь; если же къ этому присоединится духъ партіп и оскорбленное самолюбіе, то, вмѣсто истины, будешь изрыгать ругательства и проклятія... Изъ всего этого видно одно: Менцель золъ на Гете за то, что тотъ не хотълъ быть ин крикуномъ, ни начальникомъ какой-либо политической партіи, что онъ не требовалъ невозможнаго сплоченія раздробленной Германіи въ одно политическое тѣло. У генія всегда есть инстинктъ истины и дѣйствительности; что есть, то для него разумно, необходимо и дѣйствительно, а что разумно, необходимо и дѣйствительно, по только и есть. Поэтому, Гете не требовалъ и не желалъ невозможнаго, но любилъ наслаждаться необходимо-сущимъ. Для него необходимость раздроб-

пенности Германін была такимъ же убѣжденіемъ и такою же вѣрою, какъ у Пушкина было убѣжденіе и вѣра, что не русское море изсякнетъ, а «славянскіе ручьи сольются въ русскомъ морѣ». Только какой-нибудь Мицкевичъ можетъ заключиться въ ограниченное чувство политической ненависти и оставить поэтическія созданія для рифмованныхъ намфлетовъ; по это-то и достаточно намекаетъ на «міровое величіє» его поэтическаго генія: Менцель вѣрно на колѣняхъ передъ нимъ, а это самая злая и ругательная критика для поэта. Наконецъ, Менцель положительно и окончательно обнаруживаетъ свой взглядъ на Гете, переводя противъ него слѣдующія слова Платона о Гомерѣ:

"Мнъ должно наконецъ высказать мою мысль, хотя по какой-то инжности къ Гомеру и застънчивости передъ нимъ, которыя питаю съ самой молодости, мий трудно ришиться говорить объ этомъ ноэти: ябо онъ, кажется, глава и предводитель всёхъ хорошихъ трагическихъ стихотворцевъ. Но какъ не должно человъка ставить выше встины, то и принужденъ высказать, что думаю. Итакъ, любезный Главконъ, если ты встрътниь людей превозносящихъ Гомера, которые говорятъ, что этотъ поэтъ былъ наставникомъ цълой Греціи, п что онъ стоитъ тщательнаго изучения, потому что отъ него можно научиться морошо управлять дёлами человёческого рода и хорошо обращаться съ ближними, что по этой причинъ, должно располагать и вести свою жизнь сообразно съ его предписаніями: то на такихъ людей, конечно, нельзя сердиться; имъ безъ сомнівнія, должно оказывать любовь и дружбу. Они, сколько могутъ, стараются всенврно быть людьми честными, нельзя также не согласиться съ ними, что Гомерь есть геній, въ высшей степеви поэтпческій и глава трагическихъ поэтовъ. При этомъ надлежитъ, однако, замътить, что въ государствъ не должно допускать никакихъ твореній поэзіи, кромъ пъснопьній въ похвалу боговъ и въ славу доблестныхъ подвиговъ. Коль скоро ты допустишь туда нъжную и сладостную лиру какого бы ни было рода, лирическаго и эпическаго: то произвольныя волненія, веселія или печали стануть тамъ царствовать вибсто закона и ума". (4. II, crp. 442-443).

Итакъ—долой Гомера, долой Шекспира, долой искусство: они вредять обществу! Давно бы такъ! Въ такомъ случат пе

для чего было нападать на Гете и писать цёлую вздорную книгу; сказать бы прямо, коротко и ясно, долой искусство! Тогда всякій поняль бы, что б'єдному Гете нечего д'єдать на бъломъ свътъ. Менцель, въ простотъ ума и сердца, думаетъ что онъ сошелся съ Платономъ, не видя въ словахъ величайшаго философа-поэта древности противорѣчія съ самимъ собою, и не понимая причины этого противоръчія. Илатопъ первый открыль своимъ геніемъ причины красоты въ самой красотъ, назвавъ все сущее воплощениемъ божественныхъ идей, отъ въка въ себъ пребывшихъ п въ себъ заключающихъ свою причину, —и тотъ же Илатопъ уничтожаетъ міръ искусства, который есть міръ красоты!... Отчего это противоржче?-Оттого, что въ древнемъ міръ общество уничтожало въ себъ людей, и частнаго человъка признавало не какъ существующаго самого по себъ и для себя, а какъ только своего члена, свою часть и своего слугу. Тогда гражданивъ былъ выше человъка; а какъ поэзія есть удовлетвореніе внутренией потребности духа, сознающаго и себя и міръ,то Платопъ при всемъ своемъ генін, и не могъ примирить этого противоръчія, которое было примирено христіанствомъ и дальнъйшимъ развитіемъ человъчества въ исторіи. Всякая философія, въ своемъ началь, есть противорьчіе, и только, свершивъ свой полный кругъ, дълается примиреніемъ, какъ философія нашего времени, философія Гегеля. Хотя Платонъ нонималь существующее больше какъ поэть, нежели какъ философъ, т. е. не діалектикою мысли, а полнотою внутренняго созерцанія, но онъ уже мыслиль, а не твориль, и потому разрушающая сила разсудка необходимо вошла въ его мірообъемлющія воззрінія, какъ начало разрушенія полной и гармонической жизни Грековъ. Это разрушение въ Сократъ проявилось уже ръзко, какъ философія разсудка, противоположная поэтическому взглиду народа-художника, за что великій мудрецъ и погибъ жертвою оскорбленнаго имъ національнаго духа, еще немогшаго сознать въ Сократъ начало

новой для себя жизни. И посмотрите, съ какимъ уваженіемъ, съ какою любовію и какою благородною скромностію вооружается противъ Гомера этотъ великій духъ! Смотрите, какъ боится онъ обаятельной силы иѣжной и сладостной лиры: о, онъ знаетъ, что не устоялъ бы противъ ея чародѣйственнаго обольщенія, онъ въ самомъ себѣ чувствовалъ своего предателя, ежеминутно готоваго измѣнить ему! Такъ противорѣчатъ себѣ умы геніальные: только посредственность и ограниченность способны фанатически предаться какой-нибудь односторонности и упрямо закрывать глаза на весь остальной Божій міръ, противорѣчащій исключительности ихъ тѣснаго убѣжденія...

Нашъ Менцель не Платонъ: что не подходитъ подъ его маленькую плею-онъ подгибаетъ подъ нее: а не гнетсяонъ ломаетъ. Искусство не далось ему, не подошло подътъсныя рамки его идеальнаго построенія-долой искусствооно гръхъ, преступленіе; безнравственность!... Вотъ такъто: что долго думать! А другой какой-нибудь чудакъ готовъ уничтожить общество, разрушить промышленность, торговлю, словомъ, всю практическую сторопу жизни, чтобы обратить лодей къ исключительному служению искусству и подълать изь нихъ художниковъ и аматёровъ. Дайте имъ только возможность и силу приложить къжизни свою теорію. Одинъ завопить: «общество! все погибай, что не служить къ пользъ общества!», а другой зарычить: «искусство! все погибай, что ие живеть въ искусствъ!»... Но истинно-мудрый кротко и безъ крика говоритъ: «Да живетъ общество и да процвътаетъ искусство: то и другое есть явление одного и того же разума, единаго и въчнаго, и то и другое въ самомъ себъ заключаетъ свою необходимость, свою причину и свою цель!»

Да! общество не должно жертвовать искусству своими существенными выгодами, или уклоняться для него отъ своей цели. Искусство не должно служить обществу иначе, какъ служа самому себъ. Пусть каждое идетъ своею дорогой, не мешая другь другу.

Дъло Питтовъ, Фоксовъ, О'Конелей, Талейрановъ, Кауницевъ и Меттерииховъ—участвовать въ судьбъ народовъ и испытывать свое вліяніе въ политической сферъ человъчества. Дъло художниковъ—созерцать «полное славы творенье» и быть его органами, а не вмъшиваться въ дъла политическія и правительственныя. Иначе придется воскликнуть:

Бъда коль пироги начнетъ печи сапожникъ, А сапоги тачать пирожникъ!

Все велико на своемъ мъстъ и въ своей сферъ, и всякій имъетъ значене, силу и дъйствительность только въ своей сферѣ, а заходя въ чуждую, дѣлается призракомъ, шногда только смёшнымъ, иногда отвратительнымъ, а иногда смешнымъ и отвратительнымъ вмъстъ, подобно Менцелю. Можетъ-быть, Менцель быль бы хорошимь чиновникомь при посольствь, или даже депутатомъ города или сословія, потому что, можетьбыть, онъ въ этомъ и знаетъ что-пибудь и способенъ на чтонибудь; но онъ не можетъ быть даже и посредственнымъ критикомъ, потому что ровно ничего не смыслить въ искусствъ, не имъетъ никакого органа для принятія впечатлъній изящнаго. Онъ судить объ искусствъ, какъ слъпой о цвътахъ, глухой о музыкъ. Воду нельзя мърять саженями, а дорогу ведрами: нельзя по политикъ судить объ искусствъ, ни по пекусству, о политикъ, но каждое должно судиться на основани своихъ собственныхъ законовъ.

Есть еще и другая фальшивая мёрка для искусства—тоже принятая Менцелемъ, который, въ отношени къ ней, имѣлъ, имѣетъ и всегда будетъ имѣть еще болъе подражателей. Мы говоримъ о правственной точкъ зрънія на искусство.

Это вопросъ глубокій и важный. Сколько позволяють предълы статы, намекнемъ на его безконечное значеніе.

Нравственность принадлежить къ сферъ человъческихъ дъйствій, и въ отношеніи къ волъ человъка есть тоже самое, что истина въ мышленіи, что красота въ искусствъ. Основаніе

нравственности лежить въ глубинъ духа-источника всего сущаго. Все, что выходить изъ однаго начала, изъ однаго общаго источника-все то родствение, единокровно и нераздъльно въ своей сущности, хотя и различается средствомъ, путемъ и формою своего проявленія. Следовательно, отделить вопросъ о нравственности отъ вопроса объ искусствъ такъ же невозможпо, какъ и разложить огонь на свётъ, теплоту и силу горенія. Но поэтому-то самому и должно раздёлить эти два вопроса. Когда вамъ сказали, что въ каминъ разведенъ огонь-вы върно не спросите, обожжетъ ли этотъ огонь ваши руки, если вы положите ихъ на него, —и будуть ли вамъ видны предметы, освъщенные имъ. Такой вопросъ приличенъ только или ребенку, едва начинающему говорить, или человъку сумасшедшему. Когда вамъ говорятъ, что женщина родила дитя-вы върно не спросите есть ли у этого дитяти тёло, или есть ли у него душа; когда онъ живъ, у него есть и душа и тъло, ибо онъ самъ есть не что иное, какъ явившійся или воплотившійся духъ. Но вы можете сдълать вопросъ объ огиъ-развеленъ ли онъ въ каминъ, чтобы могъ и гръть и освъщать, или еще только разводится; а о младенць-живъ ли онъ, или родился мертвымъ, или умеръ родившись. Итакъ, видите ли: вы раздъляете два вопроса именно потому что они нераздёлимы, что отвъть на одинъ есть уже необходимо и отвъть на другой, хотя бы вы другаго и не дёлали. Такъ и въ искусствъ: что художественно, то уже и правственно; что пехудожественно; то можеть быть не безиравственно, но не можеть быть нравственно. Вследствіе этого, вопрось о правственности поэтическаго произведенія должень быть вопросомь вторымь и вытекать изъ отвъта на вопросъ — дъйствительно ли оно художественно. Произведение искусства, художественность котораго не выдержить высшей пробы вкуса и критики можеть быть положительпо-безиравственно, какъ оскорбляющее правственность, и можеть быть отрицательно-безиравственно, какъ только неоскорбляющее правственности; но всякое истинно или дъйстви-

Re

Ы

6.

тельно-художественное произведение не можеть не быть положительно-правственнымь. Доказать, что произведение искусства положительно-безнравственно — значить, доказать, что опо положительно-нехудожественно, а для этого снерва должно разсмотръть его въ его собственной сферъ, т. е. въ сферъ исскусства, и доказать изъ него же самаго, что опо нехудожественно, или, покрайней мъръ, прежде вопроса о правственности, принять это за утвержденное и очевидное. Единосущное не противоръчить единосущному, и истина не раздъляется на самое же себя, чтобы упичтожить самое же себя.

Намъ возразятъ, что наше возаръніе противоръчитъ оныту, ибо есть множество произведеній искусства, которыя цълыми въками и народами признаны за художественныя, по которыя тъмъ не менъе безправственны, и наоборотъ, есть множество произведеній, слабыхъ съ художественной стороны, но въ высшей степени правственныхъ.

Для отвъта на подобное возражение, имъющее всю сплу внъшней очевидности, должно условиться въ значени словъ «художественное» и нравственное». Но какъ ръшение подобнаго важнаго и глубокаго вопроса повело бы насъ слишкомъ далеко, то и ограничимся только тъмъ, что слегка поговоримъ о значении «правственнаго», оставляя безъ разръшенія «художественное», какъ будто опредъленное и всъмъ извъстное.

Не все то принадлежить къ сферъ «нравственнаго», что пазываютъ «нравственнымъ» (Sittlichkeit), смъщивая съ нимъ понятіе «моральнаго» (Moralität). Нравственность относится къ моральности, какъ разумный опытъ жизни къ житейской опытности, какъ высокое къ обыкновенному, трагическое къ повседневному, какъ разумъ къ разсудку, мудрость къ хитрости, искусство къ ремеслу. Жизнь человъческая раздъляется на будни, которыхъ въ ней много, и праздники, которыхъ въ ней мало. Въ жизни человъка бываютъ торже-

ственныя минуты, въ которыя все — побъда, или все-паденіе, и изтъ середины. Это минуты борьбы его инливилуальной особности, требующей личнаго счастія или личнаго спасенія, съ долгомъ, говорящимъ ему, что опъ вправѣ стремиться къ счастію, или спасенію, но не насчеть несчастія или погибели ближняго, имъющаго равное съ нимъ право и на счастіе, есди оно ему представляется, и на спасеніе, если ему грозитъ бъда. Воля человъка свободна: онъ въ правъ выбрать тотъ, или другой путь, но онъ долженъ выбрать тотъ, на который указываетъ ему разумъ. Если онъ послушается голоса своей личности, требующей всего себъ, и останется спокоенъ въ духъ своемъ — онъ будетъ правъ въ отношении къ самому себъ, хотя и виноватъ въ отношенін къ разуму, котораго законовъ онъ не въ состоянін постигать: тогда не будеть осуществленія нравственнаго закона, за нарушеніе котораго кара внутри человіка, но тогда, можеть быть, осуществится только моральный законь, за парушеніе котораго наказаніе вит человтка, какъ возмездіе гражданскаго закона, или какъ личное мщеніе со стороны оскорблениаго: Объяснимъ это примъромъ, который спълалъ бы нашу мысль осязаемою очевидностію. Молодой человѣкъ увлекся мимолетнымъ и скоропреходящимъ чувствомъ любви къ дъвушкъ, которая могла только доставить ему иъсколько минуть блаженнаго упоенія, но не удовлетворить вполнъ всъхъ потребностей его духа, но не быть половиною пуши его, жизнью сердца, — словомъ, которая могла быть только его любовницею; но не женою. Теперь положимъ, что эта давушка, не имая такой глубокой натуры, какъ онъ, и будучи ниже его и своими понятіями, чувствованіями, потребностями, и образованіемъ, тъмъ не менъе была бы существомъ, достойнымъ всякаго уваженія, могла бы составить счастіе цълой жизни равнаго себъ по патуръ и образованію человъка, быть върною, любящею женою и матерью, уважаемою въ обществъ женщинъ. Дъвушка эта не видя и не понимая своего духовнаго неравенства съ этимъ молодымъ чедовъкомъ, однакожъ дюбитъ его страстно; предана ему до самоотверженія, до безумія, и уже мать его дитяти. Она не подозрѣваетъ и возможности конца своему счастію, ея любовь все сильнъе и сильнъе; а опъ уже просынается отъ сладкаго упоенія страсти, онъ уже съ ужасомъ не находить въ себъ прежней любви, онъ уже не въ силахъ отвъчать на ея горячія добзанія, на ен ласки, прежде столь обантельныя, столь могучія для него... Она вся любовь, упоепіе, нъга; онъ весь тяжелая дума, тревожное безпокойство. Наконецъ, ему нъть больше силь притворяться, тяжело ее видъть, страшно о ней вспоминть. А между тъмъ, какъ бы на зло самому себъ, какъ бы для усугубленія своихъ страданій, онъ понимаетъ всё ея достоинства; цёнитъ всю ея любовь и преданность къ нему, даже видить въ ней больше, нежели, что она есть въ самомъ дълъ. Онъ проклинаетъ и презираетъ себя, не видитъ въ мірѣ никого гнуснѣе и преступиве себя; онъ называеть себя обманщикомъ, воромъ, подло укравшимъ любовь и честь женщины; о прошлыхъ своихъ увъреніяхъ и клятвахъ любви онъ вспоминаетъ какъ объ умышлениомъ, обдуманномъ въроломствъ, забывъ, что, въ то время восторговъ и упоеній, опъ говориль и клядся искренно, горячо върилъ дъйствительности своего чувства. Отчего же этотъ внутренній раздоръ, отчего это внутреннее раздвоеніе съ самимъ собою, этотъ жгучій огонь въ груди, эта мука, эта нытка души?... Вёдь эта дёвушка только тихо плачеть, безмольно изнываеть въ безотрадной тоскъ отвергнутаго и оскорбленнаго чувства? Въдь она не грозитъ ему законами, не преслъдуетъ его упреками, не безпокоитъ его требованіями, и потому страпная тайна останется между ими, и ему нечего страшиться ни мщенія гражданскаго закона, ни даже суда общественнаго митнія?—Но отъ встахь этихъ уттьшеній его страданія только глубже и мучительнье: безропотное страданіе жертвы возбуждаеть въ немъ только большее уваженіе къ ней и большее презрѣніе къ себѣ; а безопасность вижшияго наказанія только больше увеличиваеть въ его глазахъ собственное преступленіе. Отчего же это?-Оттого, что сердце этого молодаго человъка есть почва, въ которую законъ правственнаго духа такъ глубоко пустиль свои кории, что онъ можетъ ихъ вырвать только съ кровію и тыломь, а слъдовательно и съ потерею собственной жизни. Онъ оскорбилъ не ходячія правственныя септенцін: онъ оскорбилъ достопиство собственнаго духа, нарушилъ незримо, но ощутительно пребывающія въ его сущности законы его же собственнаго разума. Что же ему останется дълать? Жениться на ней-скажете вы? Но для такихъ людей чувствовать подлъ себя біеніе сердца, трепещущаго любовію, чувствовать сжатіе чыхх-то горячихь объятій, и оставаться холодиымъ, мертвымъ... ужасно!... Для трупа объятія живаго существа то же, что для живаго существа объятія трупа... Когда мы не связаны съ существомъ, на любовь потораго не можемъ отвъчать, мы уважаемъ его, сострадаемъ ему, плачемъ и молимся о немъ; но когда мы связаны съ нимъ неразрывными узами брака и его страстная любовь вызываеть нашу, которой въ насъ нътъ, мы отвъчаемъ ему на нее ненавистно... Что же тутъ дълать?... Иногла подобныя трагическія столкновенія разр'єшаются просто, во вкуст мъщанской драмы: красавица пострадаетъ, а потомъ допустить утъщить себя другому, который заставить ее забыть горе для радости; но что, ежели въ то время, какъ онъ борется съ собою и посить въ душъ своей адъ, въ самомъ разгаръ этой безвыходной борьбы, до слуха его дойдеть страшная въсть, что она умерла, благословляя его, и его имя было ея послъднимъ словомъ?... Неужели послъ этого для него возможно счастіе на земль? А если и возможно, неужели на немъ не будетъ какого-то мрачнаго оттыка? Неужели въ часы упоенія любви, изъ-за того юнаго, прекраснаго и полнаго жизни существа, которое такъ роскошно осънило лице его волнами длинныхъ локоновъ, ему не будеть иногда являться какой-то блёдный, страдальческій призракъ, съ любовію въ очахъ, съ благословеніемъ на устахъ?... Изъ той же возможности могла родиться и другал дъйствительность: онъ могъ, идя по улицъ, увидъть толиу народа около какого-то трупа женщины, сейчасъ вытащеннаго изъ ръки... Страшно!... Человъческая природа содрагается передъ такимъ бъдствіемъ... Что же значить это бъдствіе? Въдь онъ могъ не признать трупа, могъ пройдти мимо, не боясь мщенія закона?... Ніть, есть другой законь, еще ужасите закона гражданскаго, законъ внутренній, въ немъ самомъ пребывающій, законъ нравственности, —и этотъто законъ караетъ его. Бывали примъры, что преступники, убійцы являлись въ судъ и признавались въ преступленіяхъ; давно совершенныхъ, давно забытыхъ, въ которыхъ ихъ и тогда никто не подозръвалъ, и какъ облегченія своихъ страданій, просили казни. Видите ли, какой страшный законь, этотъ правственный законъ, и какъ страшно его наказаніе: самая казнь, въ сравненін съ нимъ, есть облегченіе, милость!... Но, повторяемъ, онъ не для всёхъ существуетъ, потому что онъ въ духъ человъка, а не внъ его, и въ духъ только глубокомъ и могучемъ... Обратимся къ нашей исторіи. Опа могла бы кончиться и не такъ эффектно, но не менъе ужасно. Молодой человакъ могъ бы рашиться пожертвовать собою для искупленія своей вины, -- страшная решимость! Но что, еслибы онъ услышалъ такой отвътъ на свое великодушиое предложеніе: «я хочу любви, а не жертвы: я лучше умру, нежели быть въ тягость тому, кого люблю?»... Вотъ тутъ уже совершенно пътъ выхода изъ двухъ крайностей: и себя погубиль и ее погубиль... А между тъмъ, эта погибель совствъ не витшияя, пе случайная, по есть осуществление возможности, которую онъ самъ же родилъ своимъ поступкомъ. Мы выше сказали, что дъло точно такъ же могло кончиться очень хорошо для объихъ сторонъ, какъ кончилось

худо: изъ этого видно, что сущность дѣла не въ совершеніи, а въ возможности совершенія. Проступокъ оскорбляль правственный законъ, слѣдовательно, необходимо условливаль возможность наказанія, хотя оно могло бы и миновать. Итакъ, въ «возможности» лежитъ внутренияя, дѣйствительная сторона событія, потому что только внутрениее дѣйствительно, и только дѣйствительное велико. Отсюда важность и трагическое величіе осуществленія нравственнаго закона. Кончилась эта исторія хорошо—и молодой человѣкъ счастливъ, и никто бы не осудилъ его, кончилось оно дурно—и всѣ голоса противъ него...

Но есть люди, которыхъ совъсть сговорчивъе, которые боятся суда уголовнаго, но не боятся суда духовнаго...

Главное и существенное различие нравственности отъ моральности состоитъ въ томъ, что первая есть законъ разума, въ таинственной глубинъ духа пребывающій, а послъдняя всегда бываетъ разсудочнымъ понятіемъ о нравственности же, но только людей не глубокихъ, вижшнихъ, неносящихъ въ нѣдрахъ своего духа закона нравственности, а между тѣмъ чувствующихъ его необходимость. Поэтому, нравственность есть понятіе обще міровое, непреходящее, безусловное (абсолютное), а моральность часто бываетъ понятіемъ условнымъ, изменяющимся. Было время, когда воинъ, пролившій за отечество лучшую часть своей крови, покрытый ранами и честными знаками отличій, обнаружиль бы себя въ глазахь общества безчестнымъ человъкомъ, еслибы отказался отъ дуэли съ какимъ-нибудь мальчишкою-негодиемъ, и особенно, еслибы, по христіанскому чувству, простиль ему оскорбленіе. І такъ думали во имя правственности, которую, по счастію, очень удачно замѣнили французскимъ словомъ moralité!... Моральность относится къ пизшей или практической сторонъ жизни, равно какъ и вытекающее изъ нея понятіе о чести; но тімъ не менње и она есть истина, когда не противоръчить правственности, -- и кто правствень, тоть необходимо и мораленъ и честенъ, по не наоборотъ, пбо иногда самые моральные, и честные, и благородные, въ силу общественнаго мизпія, люди, бываютъ самыми безправственными людьми.

Тъ, которые смотрятъ на искусство съ правственной точки зрѣнія, обыкновенно смѣшивають нравственность съ моральностію, а какъ моральныя попятія зависять оть ограниченной личности случайнаго произвола каждаго, то каждый и судить по своему о произведеніяхъ пскусства, требуя отъ нихъ то того, то другаго, по никогда не требуя пменно того, чего должно отъ нихъ требовать. Исключительность и односторонность господствують въ этомъ взглядъ. Чего не понимаеть господинъ моралистъ, или господинъ резонёръ, то и объявляеть безправственнымь. Эти моралисты-резонёры хотять видъть въ искусствъ не зеркало дъйствительности, а какой-то идеальный, пикогда не существовавшій міръ, чуждый всякой возможности, всякаго зла, всякихъ страстей, всякой борьбы, но полный усыпительнаго блаженства и резонёрскаго нравоученія; требують не живыхь людей и характеровь, а ходячихь аллегорій съ приычками на лбу, на которыхъ было бы написано: умфренность, аккуратность, скромность и т. п. Вслъдствіе такого прекраснаго взгляда на сущность жизни, романъ, ноэма, драма непремённо должны кончиться счастливо для «добродътельных», дабы всъ видъли, что «добродътель награждается», и несчастно для порочныхъ, дабы всѣ видѣли, что «порокъ наказывается». Близорукіе и косые, они не попимають, что добродътель всегда награждается н зло всегда наказывается, но только внутренно; а внѣшнимъ образомъ торжество чаще остается за зломъ, нежели за добромъ. Они не понимаютъ, что добро есть лучшая награда за добро, и зло жесточайшее наказание за зло. Въ душъ человъка и его небо и его адъ. Прочтите, напр., высоко-художественное создание Вальтеръ-Скотта «Ламмермурскую Невъсту» — эту великую трагедію, достойную генія самого Шексипра, эту высоко-поразительную картину, въ форма

романа, осуществившую трагическую борьбу, разрёшившуюся въ торжество нравственнаго закона. Мать губитъ собственную дочь для удовлетворенія своей суетности и грѣховныхъ побужденій холодной и искаженной души; обманомъ и хитростію разрываеть опа святой духовный союзь юнаго дъвственнаго существа съ избраннымъ ел сердца, съ родною ей душою. Б'ёдную, кроткую дёвушку увёрили, что милый измънилъ ей, что жданный и желанный не придетъ уже къ пей, и указали безотвътной жертвъ на чуждаго ей человъка, вавъ на жениха, а молчание ея умышленно приняли за согласіе. И вотъ коварство и злоба восторжествовали: брачный понтракть уже подписань безответною жертвою, священникь уже туть, а милый сердца далеко, далеко, за синимъ моремъ, на чужой землъ, подъ чуждымъ небомъ... Резонёры готовы вопіять противъ поэта, говоря, что опъ сділаль зло сильнымъ и торжествующимъ, а добро немощнымъ и погибающимъ... Но вотъ раздается на дворѣ за́мка топотъ коня и въ залу входитъ человъкъ, закрытый плащомъ и шляпою... Воть онъ открываетъ лице-и мать въ бъщенствъ бросается къ нему съ вопросомъ: какъ онъ осмълился нанести ихъ дому это новое оскорбление?..., Видите ли: вло покарало зло-нравственный законь осуществился; коварство, такъ глубоко обдуманное, такъ легко и непредвидънно разрушилось... Братъ Люсін вызываеть его на дуэль, женихъ тоже; онь не отказывается, но спокойно просить у матери позволени объясниться съ дочерью... «Ваша ли рука это, Люсія? безъ принужденія ли вы подписали этотъ контракть?»— Люсія блідніветь и умирающимь голосомь отвівчаеть: «Безь принужденія»... Отчего же она побледнела? Оттого, что и на ней совершилось осуществление правственнаго закона, и она наказана за вину собственною виною, ибо въ миломъ сердца своего увидъла своего грознаго судію. Она не имъла права подписывать контракта и нести чуждому ей человъку холодную душу, мертвое сердце, блёдное лице и потухнія очи,

ибо и церковь, освящающая своимъ благословеніемъ союзь сердецъ, изрекаетъ его только на условін свободнаго выбора сердца; повиповеніе вол'є родительской не есть причипа для нарушенія воли Божіей: Богъ выше родителей!... «Такъ возвратите же мит половину моего кольца, Люсія»... Она тщетно силилась дрожащею рукою вынуть шнурокъ, на которомъ хранилось на груди кольцо; мать помогаеть ей, и Равенсвудь бросаеть объ половинки переломленнаго кольца въ каминъ и тихо выходить... Долго тхаль онь шагомь, но лишь изчезь изъ глазъ смотрѣвшихъ на него враговъ, какъ молніею помчался на своемъ конъ. Леди Астонъ снова восторжествовала; воть кончень и обрядь; воть тянется отъ церкви къ замку блестящій повздъ, и три вёдьмы, три инщія толкують между собою о событін, а одна пророчить близкія похороны. Воть начался и баль; онь уже во всемь разгарь; но вдругь вь спальнъ новобрачныхъ раздается вопль... выдамываютъ дверь: новобрачный лежить на постели съ переръзаннымъ горломь, а сумасшедшую повобрачную едва нашли въ каминъ, и черезъ два дня новый повздъ отъ замка къ церкви, и отъ церкви къ замку... Поздравляемъ васъ, гордан и благородная леди Астонъ! вы победили, вы торжествуете, вы поставили на своемъ; вы даже пережили и мужа, и всёхъ дътей, и того, кто одинъ могъ сделать счастливою дочь вашу, вы остались одив въ целомъ свете, какъ надгробный памятникъ нъсколькихъ вырытыхъ вами могилъ; говорятъ, что вы держали себя все такою же гордою, такою же непреклоннок, какъ и прежде, что никто не слышалъ отъ васъ ни стона, ни жалобы, ни раскаянія; но къ этому прибавляють, что на вашемъ благородномъ и гордомъ лицъ читали что-то другое, нежели что хотели вы показать, и что ваше присутстве оледенило улыбку на лицъ младенца, умерщвляло всякую радость, всякое чувство человъческое, и оцъпеняло души людей, какъ появление мертвеца или страшиаго призрака... 1 воть въ чемъ торжество правственности, а не въ счастливой

37

3.

ď

H

3Ъ

N-

a;

KY

Ь:

Ъ,

H

311

i'b

Ю,

e,

sie.

развязкъ!... Поэту нужно было показать, а не доказать,въ искусствъ что показано, то уже и доказано. Поэту не нужно было излагать своего мивнія, которое читатель и безь того чувствуетъ въ себѣ по впечатлѣнію, которое произвель на него разсказъ поэта. Моральныя сентенцін и правоученія со стороны поэта только ослабили бы силу впечатлёнія, которое одно тутъ и нужно и дъйствительно. Да! въ дъйствительности зло часто торжествуеть надъ добромъ, но въчная Любовь никогда не оставляеть чадъ своихъ: когда страданіе переполняеть чашу ихъ терпенія, является усноконтельный ангелъ смерти, и братскимъ поцълуемъ освобождаетъ «добрыхъ» отъ бурной жизни, и кроткою рукою смежаетъ ихъ очи, и мы читаемъ на просіявшемъ лицъ страдальцевъ тихую улыбку, какъ будто уста ихъ, договаривая свою теплую молитву прощенія врагамъ, привътствуютъ уже тоть новый мирь блаженства, предощущение котораго они всегда носили въ себъ... И надъ ихъ могилою совершается торжество примиренія: человъчество благословляеть ихъ память, и повъстію о ихъ страданіяхъ не возмущается противъ жизни, а мирится съ нею въ умилениомъ сердцѣ, и укрѣпляется въ силь великодушно бороться съ бурями бъдствій. А злые? Страшно ихъ торжество и только безсмысленные могутъ завидовать ему... Но резонёры говорять свое-ихъ ничемь не увършиь, потому что они чужды духа и духъ чуждъ ихъ; они понимають одно внёшнее и безсильны заглянуть въ тапиственцую дабораторію чувствъ и ощущеній; они готовы любить добро, но за върную мзду въ здъшней жизни, и мзду земными благами. Они громче всёхъ кричатъ о Богѣ, — но потребуй отъ цихъ Богъ жертвы, пошли на нихъ тяжкое пспытаніе-они перейдуть на сторону Ваала и поклоняться до земли тельцу златому...

Все, что есть, то необходимо, разумно и дъйствительно. Посмотрите на природу, проникните съ любовію къ ея материнской груди, прислушайтесь къ біенію ея сердца—и увидите ея въ безконечномъ разпообразіи удивительное единство, въ ея безконечномъ противоръчіи удивительную гармонію. Кто можеть найдти хоть одну пограшность, хоть одинь недостатовъ въ творенін предвъчнаго Художника? Кто можеть сказать, что воть эта былинка ненужна, это животное лишнее? Если же міръ природы, столь разнообразный, столь, новидимому, противоръчивый, такъ разумно-дъйствителенъ, то неужели высшій его-міръ исторіи есть не такое же разумно-дъйствительное развитие божественной идеи, а какая-то безсвязная сказка, полная случайныхъ и противоръчащихъ столкновеній между обстоятельствами?... И однакожъ, есть люди, которые твердо убъждены, что все идеть въ мірѣ не такъ, какъ должно. Мы выше сего указывали на этихъ людей, представителемъ которыхъ можетъ служить Менцель. Отчего они заблуждаются? Оттого, что свою ограинченную личность противопоставляють личности Божіей; оттого, что безконечное царство духа мъряютъ маленькимъ масштабомъ своихъ моральныхъ положеній, которыя они ошибочно принимають за нравственныя. Посмотрите, какъ они судять историческія лица: забывая въ цихь историческихь авителей, представителей человвчества, они впиваются, подобно піявкамъ, въ ихъ частиую жизнь, и ею силятся опровергнуть ихъ историческое величіе. Какое имъ дёло до личнаго характера какого нибудь Талейрана? Можетъ-быть, этого человъка и во многомъ осудитъ его духовникъ-единственпый призванный и признанный судія его совъсти; но они-то, эти моральные то люди, развъ они сами свободны отъ этого суда? Не лучше ли имъ было бы судить Талейрана какъ государственнаго человъка, по мъръ его вліянія на судьбу Франціи, оставивъ частнаго человъка, не имъющаго права на мъсто въ исторін? Удивительно ли послъ этого, что исторія у нихъ является то сумасшедшимъ, то смирительнымъ домомъ, то темницею, наполненною преступниками, а не пантеономъ славы и безсмертія, полнымъ ликовъ представиH-

I'L

0-

T.

Ä,

II-

0-

ď

ТЬ

a-

Ñ;

[]

11-

J

0-

0-

11-

H-

T

ÓΥ

телей человъчества, выполнителей судебъ Божінхъ. Хороша исторія!... Такіе кривые взгляды, иногда выдаваемые за высшіе, происходять отъ разсудочнаго пониманія дъйствительности, необходимо, соединеннаго съ отвлеченностью п односторонностію. Разсудокъ умѣетъ только отвлекать идею отъ явленія и видіть одну какую-пибудь сторону предмета; только разумъ постигаетъ идею нераздъльно съ явленіемъ и явленіе нераздёльно съ идеею, и схватываетъ предметъ со всъхъ его сторопъ, новидимому одна другой противоръчащихъ и другъ съ другомъ несовийстныхъ, -- схватываетъ его во всей его полнотъ и цъльности. И потому разумъ не создаеть дъйствительности, а сознаеть ее, предварительно взявъ за аксіому, что все, что есть, все то и необходимо, и законно, и разумно. Онъ не говоритъ, что такой-то народъ хорошъ, а всъ другіе, непохожіе на него, дурны, что такая-то эпоха въ исторіп народа или человъка хороша, а такая-то дурна, но для него вст народы и вст эпохи равно велики и важны, какъ выраженія абсолютной идеи, діалектически въ нихъ развивающейся. Для него возникновение и падение царствъ и народовъ не случайно, а впутренно-необходимо, и самая эпоха римскаго разврата есть не предметь осужденія, а предметъ изслъдованія. Онъ не скажетъ съ какимъ-нибудь Волтеромъ, что крестовые походы были плодомъ невъжества и предпріятіемъ нелѣпымъ и смѣшнымъ, но увидитъ въ нихъ разумно-необходимое, великое и поэтическое событіе, совершившееся въ свою пору и свое время, и выразившее моменть юности человъчества, какъ всякой юности, исполненпой благородныхъ порывовъ, безкорыстныхъ стремленій и идеальной мечтательности. Такъ же точно смотритъ разумъ и на всъ явленія дъйствительности, видя въ нихъ необходимыя явленія духа. Блаженство и радость, страданіе и отчаяніе, въра и сомивніе, дъятельность и бездъйствіе, побъда и паденіе, борьба, раздоръ и примиреніе, торжество страстей и торжество духа, самыя преступленія, какъ бы они ни были

ужасны, все это для него явленія одной и той же дъйствительности, выражающія необходимые моменты духа, или уклоненія его отъ пормальности, вслъдствіе впутрепнихъ и виъщнихъ причинъ. Но разумъ не остается только въ этомъ объективномъ безпристрастіи: признавая всъ явленія духа равно необходимыми, онъ видитъ въ нихъ безполезную лъстипцу, не лежащую горизонтально, а стоящую перпендикулярно, отъ земли къ небу, и въ которой ступени прогрессивно возвышаются одна надъ другою.

Искусство есть воспроизведение дъйствительности; слъдовательно, его задача не поправлять и не прикращивать жизнь, а показывать ее такъ, какъ она есть на самомъ дълъ. Только при этомъ условін поэзія и нравственность тождественны. Произведенія неистовой французской литературы не потому безиравственны, что представляють отвратительныя картины прелюбодъянія, кровосмъшенія, отцеубійства и сыноубійства; по потому что они съ особенною любовію останавливаются на этихъ картинахъ и, отвлекая отъ полноты и ивлости жизни только эти ел стороны, действительно ей припадлежащія, исключительно выбирають ихъ. Но такъ какъ въ этомъ выборъ, уже ложномъ по своей односторонности, литературные санкюлоты руководствуются не требованіями искусства, которое само для себя существуеть, а для подтвержденія своихъ личныхъ убъжденій, то ихъ изображенія и не имъютъ никакого достоинства въроятности и истипы, тымь болье, что они съ умысломъ клевещутъ на человыческое сердце. И въ Шекспиръ есть тъ же стороны жизни, за которыя неистовая литература такъ исключительно хватается, но въ немъ онъ не оскорбляютъ ни эстетическаго, ни нравственнаго чувства, потому что, вмёстё съ ними, у него являются и противоположныя имъ, а главное, потому что онъ не думаетъ ничего развивать и доказывать, а изображаеть жизнь, какъ она есть.

Искусство издавна навлекло на себя нападки и ненависть

моралистовъ, этихъ вампировъ, которыя мертвятъ жизнь холодомъ своего прикосновенія и силятся заковать ея безконечность въ тъсныя раму и кльточки своихъ разсудочныхъ, а не разумныхъ опредълений. Но изъ всъхъ поэтовъ, Гёте наиболъе возбуждалъ ихъ ожесточение. Гений и безиравственность — его неотъемлемыя качества въ ихъ глазахъ. Въ Менцел'ь эта моральная точка эртнія на искусство нашла полнъйшаго своего выразителя и представителя. Причина очевидна: Гете быль духъ во всемъ жившій и все въ себъ ощушавшій своимъ поэтическимъ ясновидініемъ, слідовательно песнособный предаться никакой односторонности, ни пристать ни къ какому исключительному ученію, системъ, партін. Опъ многостороненъ, какъ природа, которой такъ страстно сочувствоваль, которую такъ горячо любиль и которую такъ глубоко понималь опъ. Въ самомъ дълъ, посмотрите, какъ природа противоръчива, а слъдовательно и безиравствениа, по возэрѣнію резонёровъ: у полюсовъ она дышетъ хладомъ п смертію зимы, а подъ экваторомъ сожигаеть изнурительною теплотою; на сѣверѣ она скупа на свои дары и заставляетъ человъка все брать трудомъ, кровавымъ потомъ и въчною борьбой съ собою, а на югъ щедра дарами, но богата и смертопосными заразами, ядовитыми гадами и свирѣными звърями; въ срединъ Африки она разметнулась безбрежною степью - цълымъ океаномъ неска, гибельнаго для путешественниковъ, а въ Голландін явилась тонкимъ болотомъ... Следовательно, въ одномъ месте она говорить одно, а въ другомъ утверждаетъ совсёмъ противное; какая, право, безнравственная! Таковъ и Гете-ея върное зеркало. Во дин своей кинучей юности, обвѣлиный духомъ художественной древности и обаянный роскошью природы и жизни поэтической Италін, онъ писалъ «Римскія элегін», этотъ дивный апотеозъ древней жизни и древияго искусства, и въ то же время воскресиль въ своемъ «Гёцъ» жизнь рыцарской Германін, свель съ ума всю Европу повъстію о «Страданіяхъ Вертера» и создаль въ «Вильгельмъ Мейстеръ» апотеозъ человъка, который инчего полезнаго не дълаетъ на бъломъ свътъ, и живетъ только для того чобы наслаждаться жизнію и искусствомъ, любить, страдать и мыслить. Потомъ, въ льта болье эрылыя, онь въ «Прометев» воспроизвель художнически моментъ возстанія сознающаго духа противъ непосредственности на въру признанныхъ положеній и авторитетовъ, а въ «Фаустъ» — жизнь субъективнаго духа, стремящагося въ примиренію съ разумною дъйствительностію путемъ сомнънія, страданій, борьбы, отрицаній, паденія и возстанія, но подл'в него ном'встиль Маргариту, идеаль женственной любви и преданности, покорную и безропотную жертву страданія, смерть которой была для нея спасеніемь и искупленіемъ ея вины, въ христіанскомъ значеніи этого слова... Уловить Гете въ какое-нибудь коротенькое опредъленіе трудновато и не для Менцеля, Менцель и осердился на него и назвалъ его чъмъ-то въ родъ безиравственной безличности.

Нашлось много людей, которые, въ простотъ ума и сердца воскликцули:

Ай, моська! Знать она сильна, Коль лаеть на слона!

и промъняли слона на моську...

Чтобы унизить Гёте, Менцель противопоставляеть ему Шиллера, не какъ художника, а какъ человъка «отличиъй-шаго поведенія». Не поздоровится отъ этакихъ похваль!... Чтобы сдълать Гёте образцомъ безиравственности, Менцель призналъ въ Шиллеръ образъ правственности. И Шиллеръ въ самомъ дълъ былъ духъ столь же великій, сколько и правственный: величіе и нравственность пераздъльны какъ теплота и свътъ въ огиъ. Кто гръшилъ противъ правственности, стремясь къ правственности—тотъ правствениъе того, который родился и умеръ правственнымъ; точно такъ же, кто

заблуждался въ истинъ, стремясь къ истинъ, больше любитъ истину, нежели тотъ, который родился и умеръ правымъ противъ нея. Какъ благородные порывы пламенной, неистощимой любви къ человъчеству, первыя произведенія Шиллера, каковы: «Разбойники», и «Коварство и Любовь», иравственны; но въ отношенін къ безусловной истинъ и высшей нравственности, они ръшительно безнравственны. Въ нихъ онъ хотъль осуществить въчныя истины, —и осуществиль свои личныя и ограниченныя убъжденія, отъ которыхъ потомъ самъ отказался. Такъ какъ онъ въ нихъ задалъ себъ задачу и назначилъ цель вие искусства, то изъ нихъ и вышли поэтическіе педоноски и уроды, явленія совершенно-инчтожныя въ области искусства, хотя и великія въ сферъ феноменологіи духа. Истинно-художественное произведение возвышаеть и расширяеть духъ человъка до созерцанія безконечнаго, примиряеть его съ дъйствительностію, а не возстановляеть противъ нея, -- и укръпляетъ его па великодушную борьбу съ певзгодами и бурями жизни. Искусство достигаетъ этого тогда только, когда въ частныхъ явленіяхъ показываетъ общее и разумно-необходимое, и когда представляеть ихъ въ объективной полнотъ, цълости и оконченности, замкнутыми въ самихъ себъ. Если въ трагедін гибель и смерть ея героевъ явилась какъ внутренняя необходимость изъ ихъ характеровъ и дъйствій, какъ разръшеніе ими же произведенной дизгармоніи въ гармопической сферѣ духа, для осуществленія правственнаго закона, —мы примиряемся съ пею, и умиленною душою предаемся тихой и глубокой дум'в о поразительномъ урокъ; но когда гибель и смерть героевъ трагедін является вследствіе страсти поэта къ ужаснымь и поражающимъ эффектамъ, какъ у какого нибудь Гюго,, или по другой, вившией, случайной, а следовательно, и безсмысленной причинъ, -- это возбуждаеть въ насъ отвращение и омерзжніе, какъ зрълище казни или пытки. Такъ точно и страданія субъективнаго духа могуть быть предметомъ искус-

ства, а слъдовательно и не оскорблять правственности, если они изображены объективно, просвътлены мыслію, свидътельствующею о разумной необходимости ихъ явленія. Но когда они суть воили самаго поэта, то и не могуть быть художественны, ибо кто вопить отъ страданія, тотъ не выше своего страданія, — следовательно и не можеть видеть его разумной необходимости, но видить въ немъ случайпость, а всякая случайность оскорбляеть духъ и приводить его въ раздоръ съ самимъ собою, следовательно и не можеть быть предметомъ искусства. Гёте, въ своемъ «Вертерь». по собственному признанію, выразиль моментальное состояніе своего духа, тяжко страдавшаго; «Вертеромь», но собственному же его признанію, онъ и вышель изъ своего мучительнаго состоянія. И вотъ истинная причина, почему чтепіе «Вертера» производить на душу то же тяжкое, дизгармоническое впечатленіе, не услаждая, а только терзая ее; воть почему «Вертеръ» и представляется чёмъ-то не полнымъ, какъ бы пеоконченнымъ. Это не художественное произведение, а ръжущій, скрипучій диссонансь духа. Поэтому, если онь не есть безправственное произведение то и инсколько не есть нравственное произведение; Гёте измѣнилъ въ немъ самому себъ, явился невърнымъ своей художнической натуръ. Но кто же поставить ему въ вину то, что онъ на минуту не понядъ самого себя и изъ художника явился человъкомъ?... И неужели одинъ неудачный опыть можеть затьмить такую богатую и обширную художническую дёятельность!...

Никакой человъкъ въ міръ не родится готовымъ, т. е. вполиъ сформировавшимся; по вся жизнь его есть не что иное, какъ безпрерывно-движущееся развитіе, безпрестанное формированіе. Истина не дается ему вдругъ: чтобы достичь ея, онъ будетъ сомпъваться, впадать въ ложь и противоръчіе, страдать и надать. «Дорого да мило, дешево да гнило!» говоритъ мудрая русская пословица. Чъмъ глубже натура человъка, тъмъ глубже и его наденіе и его заблужденіе,

его противоръчія и отрицанія, тъмъ ръзче его переходы отъ олного убъжденія къ другому. Но есть люди, какъ бы родяшіеся съ готовыми понятіями, люди, которые въ старости пумають и понимають точно такъ же, какъ думали и понимали въ дътствъ. Это натуры бъдныя и жалкія, равнодушныя къ истинъ и чуждыя всякаго духовнаго движенія, умы мелкіе и ограниченные. Воть оть этихъ-то духовно-малолътныхъ вы всегда и слышите забавно-самолюбивое возражение: «какъ, не вы ли тогда-то думали совершенно иначе, а теперь говорите совстви другое? — стало быть, вы ошибаетесь». Къ такимъ-то натурамъ принадлежитъ и Менцель: опъ родился совершенно готовымъ, и въ одномъ мъстъ своей книги съ препотъшною гордостію ставить себ'є въ великую заслугу, что никогда не измѣняль своихъ убѣжденій. Для поэта другой ходъ въ движенін истины, чёмъ для людей обыкновенныхъ: безъ борьбы и противоръчій, руководимый полнотою своей ясновидящей натуры, переходить опъ съ лътами отъ низшихъ явленій жизни къ высшимъ, отъ «Руслана и Людмилы» доходитъ до «Бориса Годунова» или «Каменнаго Гостя». Менцель этого не понимаетъ, -- и, посмотрите, какъ растолковано это дивнопоэтическое признаніе великаго художника:

Die Feinde, sie bedrohen dich, Das mehrt von Tag zu Tage sich, Wie dir doch gar nicht graut! Das seh ich alles unbewegt, Sie zerren an der Schlangenhaut Die jüngst ich abgelegt; Und ist die nachste reif genug. Abstreif ich die sogleich Und wandle neu belebt und jung Im frischen Götterreich 1).

¹⁾ Тебт грозять твои враги, и съ каждымъ днемъ число ихъ увеличивается. Какъ ты не боишься! Я смотрю на все это хладнокровно; они терзають ту кожу, которую и недавно сбросиль съ себя; коль скоро замънившая ее достаточно созръсть—я и эту сброшу немедленю; обновленный, помолодъвъ опять, явлюсь въ въчно-цвътущемъ царствъ боговъ.

Менцель это объясняеть тъмъ, что для Гете не было ничего святаго и завътнаго, что онъ всъмъ забавлялся... Угадалъ!... Менцель, впрочемъ не до конца прогиввался на Гете: онъ не отнимаеть у него огромнаго таланта-вившней поэтической формы безъ всякаго содержанія... О, почтенный ивмецкій филистерь! какъ пристала бы къ нему мандаринская шапка съ тремя желтенькими шариками, при его собственныхъ ушахъ!... Чтобъ быть критикомъ, надо родиться критикомъ, падо получить отъ природы обширное и глубокое созерцаніе, или внутреннее ясновиденіе всего, что составляеть содержание искусства; надо получить инстинкть и тактъ для пониманія изящиаго. Мы не можемъ понимать и знать ничего такого, что це лежить, какъ возможность, въ сокровенныхъ тайникахъ нашего духа. Наука развиваеть только данное намъ прпродою, и вит себя мы только узнаемъ паходящееся въ насъ. Нъсколько друзей пошло въ картинную галлерею, и всъ остановились передъ «Мадонною» Рафаэля, какъ вдругъ одинъ вскричалъ съ восхищениемъ: «славная рама! я думаю, рублей пятьсотъ стонтъ!» Растолкуйте же ему, что какъ бы ни хороша была эта рама, хотя бы она стоила милліоновъ, хотя бъ была сдёлана изъ цёльнаго алмаза-и тогда была бы грошовою вещію въ сравненін съ картиною, которая въ нее вставлена... Растолкуйте Менцелю, или Менцелямъ, что, какъ въ природъ, такъ и въ искусствъ, нътъ прекрасныхъ формъ безъ прекраснаго содержанія, т. е. мысли, которая есть духъ жизни, ставшій въ нихъ видимою, очевидною дъйствительностію, и что ейто и одолжены эти прекрасныя формы и своею обаятельною красотою, и своею въчно-юпою жизнію, и своимъ неотразимымъ и сладостнымъ могуществомъ надъ душою людей!...

ГОРЕ ОТЪ УМА. Комедія въ четырехъ дийствіяхъ, въ стихахъ. Соч. А. С. Грибопдова. Второе изданіе. Спб. 1839.

Какъ посравнить, да посмотръть Въкъ нынъшній и въкъ минувшій: Свъжо преданіе, а върштся съ трудомъ! "Горе отъ Ума".

Было время, когда теорія искусства представлялась съ математической точностію, такъ что для постиженія искусства не нужно было имъть отъ природы чувства изящнаго, а следовательно и развивать его наукою и ученіемъ. Стопло присъсть начасокъ, да прочесть любую пінтику — и потомъ разсуждать объ искусствъ вдоль и поперегъ. Въ этихъ піитикахъ основою была — идея искусства, какъ подражанія природѣ, съ приличными, впрочемъ, украшеніями, въ родѣ мушекъ, бълилъ и румянъ, или въ родъ подстриженныхъ аллей регулярнаго сада. Объяснивъ такъ премудро и такъ глубоко значеніе искусства, приступали къ разділенію его на роды. Поэзія раздёлялась на лирическую, эпическую, драматическую, дидактическую, описательную, эпистолярную, пастушескую, сатирическую, эпиграмматическую, и проч. и проч., -- всего не перечтень. На чемъ основывалось это разділеніе? — На впішнихъ признакахъ, на условной форміь, существовавшей отвлечение отъ идеи, изъ которой необходимо должна выходить всякая форма. Что такое, напримъръ, драматическая поэзія? Вы думаете, что это вопросъ важный,

для ръшенія котораго требуется время, размышленіе, изученіе, наука, о которомъ можно написать разсужденіе, цілую книгу?--- Ничего не бывало! не успъете перечесть по нальцамь десяти, какъ вамъ уже и готовъ самый точный и самый удовлетворительный отвъть. По мижнію однихъ-не слишкомъ бойкихъ — драматическая поэзія есть театральное зрълище, съ нёкоторымъ подражаніемъ природі, къ наставленію п увеселенію служащее; другіе-позамысловатье и въ пінтическихъ хитростяхъ наиболъе искушенные - говорятъ, что праматическая поэзія есть выраженіе настоящаго времени, какъ эническая—прошедшаго, а лирическая—будущаго. Коротко и ясно! Но, милостивые государи, мужи ученостію п древностію льть знаменитые! положимь, что эпическая поэзія воспъваетъ хриплымъ голосомъ дъла минувшія, а драма представляеть бывшее настоящимъ; по лирическая-то поэзія какъ усивла у васъ забъжать впередъ самой себя и выражать то, чего и не было и пътъ, а только еще будеть? Напротивъ, viri doctissimi atque sapientissimi! лирическая-то поэзія и есть по преимуществу выражение настоящаго момента въ духв поэта, настоящаго, мимолетнаго ощущенія. Подновленные мнимымъ романтизмомъ, какъ бѣлилами и румянами, устарълыя гетеры, иъкоторые истые классики замътили эту натяжку и «изъ глубины сознающаго духа» новою нелъпостію украсили старую: лирическая поэзія, говорять они, выражаетъ настоящее время, эпическая-прошедшее, а драматическая-будущее, ибо де (о, неизчернаемая глубина сознающаго духа!) она представляеть людей не такими, каковы они суть, но какими должны быть!!!... Эту новую нельность вытащиль изъ глубины своего сознающаго духа одинь Нь. мецъ-псевдофилософъ-Бахманъ, котораго безтолковая эстетика, къ сожалѣнію, прекрасно переведена была, лѣтъ десять назадъ тому, на русскій языкъ. Но объ обновленныхъ классикахъ послъ: обратимся къ почіющимъ въ миръ. Раздъливъ поэзію на роды, опи приступили къ подраздёленію родовь

на виды. Что такое трагедія?—Опредъленій они не любили дълать, потому что опредъление должно основываться на разумномъ началъ и заключать въ себъ, какъ зерно растительную силу изъ самого себя, возможность внутренияго (имманентнаго) развитія изъ самого же себя, — и потому прибъгали къ описаніямъ, которыя гораздо легче. Итакъ опишемъ, съ ихъ голоса, вет виды драматической поэзіи. Если драматическое произведение писапо шестистопными рифмованными ямбами съ пінтическими вольностями (необходимое условіе!), если его дъйствующія лица-цари и ихъ наперсники, царицы и ихъ наперсиицы, механизмъ дъйстія движется чрезъ «въстниковъ», которые, краснорѣчиво и съ приличною выступкою, на сценъ, гдъ пичего пе дълается, разсказываютъ, что дълается за кулисами, а пятый актъ кончится ръзнёю, — то знайте, что это «трагедія»; если же оно писано прозою и содержить въ себъ трогательное и назидательное происшествіе изъ частной жизни, и кончится свадьбою любовниковъ и наказаніемъ разлучниковъ, —знайте, что это «драмма» или «слезная комедія», или «мъщанская трагедія» — что все одно и то же; если же драматическое произведение имъетъ въ предметъ осмъние пороковъ и исправление правовъ, и написано шестиногими тяжелыми ямбами съ пінтическими вольностями, возбуждающими смёхъ, а въ пятомъ актё кончится позоромъ негодяевъ и чудаковъ, и торжествомъ резонеровъ, знайте, это «комедія» съ ел отцами и любовниками, съ ея субретками и резонерами; если же оно съ пъніемъ и музыкою-то «опера».

Согласитесь, что все это очень просто, и развѣ только рѣшительные глупцы не въ состояни были постичь всѣхъ этихъ премудростей за одинъ присѣстъ. Такъ Мольеровъ «Мѣщанинъ въ дворянствѣ» въ одну минуту узпалъ, что стихи есть стихи, а проза есть проза, и что онъ, съ тѣхъ поръ, какъ пачалъ говорить, все говорилъ прозою. Французы мастера и толковать и понимать; быстрота соображенія со-

единяется у нихъ съ необыкновенною ясностію изложенія. Недоразумъній по части искусства, въ оное блаженное время, не было, а еслибы они и возникли, стоило только раскрыть кодексъ изящиаго — L'art poètique» Буало и пінтику Баттё. «Лицей», или «Ликей» Лагариа, котораго наши остряки прошлаго въка, безсознательно, но очень внопадъ, называли въ шутку. «Лакеемъ», быль уже приложеніемъ теоріи сихъ великихъ мужей къ практикъ; образцы искусства были утверждены и признаны въ произведеніяхъ Корнеля, Расина п Мольера, съ надбавкою къ нимъ Вольтера, Кребильйона и Дюсина-Шекспирова нарикмахера и каммердинера. Все было ръшено и опредълено: наука не могла идти далъе. Славное время, чудное время! И давно ли оно свиръпствовало у насъ на святой Руси? Давно ли Сумароковъ слылъ «россійскимъ господиномъ Расиномъ»? давно ли Мерзляковъ-человъкъ даровитый и умный, душа поэтическая — съ важностію, нисколько не думая шутить или мистифировать нублику, разбиралъ ненодражаемыя красоты творца дубоватаго «Синава» и свиръпаго «Дмитрія Самозванца»!...

Дъды, помню васъ и я!...

И вдругъ нахлынулъ потокъ новыхъ мнъній. Легкая молодость, всегда жадная къ новости, писировергла прежнихъ идоловъ искусства, разрушила ихъ канища и наругалась надъжертвоприношеніемъ. Тщетно почтенные филистры классицизма, застигнутые въ своихъ вольтеровскихъ креслахъ внезанною бурею, кричали писировергнутымъ болванамъ: «выдыбай, боже!» Деревниные божки нотонули въ Диъпръ нововведенія: мишурная позолота потянула ихъ ко дну и погубила безвозвратно. Куда Сумароковъ! не хотимъ знать и Озерова. Что Озеровъ! смъемся мы надъ Корнелемъ и Расиномъ!—Кого же вамъ надо, господа?—Шексипра, Байрона, Шиллера, Гете, Виктора Гюго—мы романтики!...

А! романтизмъ!... Просимъ покорно—вотъ сюда, поближе:

намь надо разсмотрёть васъ хорошенько. Вы смёнлись надъ стариками: носмотримъ, не смёшны ли вы сами, молодой человёкъ съ растрепанными чувствами и измятою наружностію...

Ахъ, господа, это пресмъщная исторія—я вамъ разскажу ее. Но сперва миъ надо поговорить серьёзно.

Всемірную исторію искусства, т. е. некусства не какогонибудь парода, а цёлаго человёчества, раздёляють на два великіе періода, обозначая ихъ именами классическаго и романтическаго. Собственно классическое искусство существовало только у Грековъ-этого народа, который своею жизнію отнироваль праздникь древняго міра. Всё народы Азін и Африки выразили собою какую-нибудь одну сторону духа: въ лицъ Грековъ всъ эти односторопности явились въ живомъ и слитномъ единствъ. Всъ народы съяли на нивъ развитія слезами и кровью: Греки пожали только роскошные илоды, развивъ ихъ изъ своего многосторонняго, универсальнаго, абсолютнаго духа. Истина открылась человъчеству впервые-въ искусствъ, которое есть истина въ созерцании, т. е. не въ отвлеченной мысли, а въ образъ, и въ образъ не какъ условномъ символъ (что было на Востокъ), а какъ въ воплотившейся идет, какъ полномъ, органическомъ и непосредственномъ ел явленін въ красоть формъ, съ которыми она такъ нераздёльно слита, какъ душа съ тёломъ. Поэтому, самая религія Грековъ вышла изъ творящей фантазіп, и мысль о божествъ ивилась въ очаровательныхъ созданіяхъ искусства. Греческое творчество было освобожденіемъ человіка изъ-подъ нга природы, прекраснымъ примиреніемъ духа и природы, дотоль враждовавшихъ между собою. И потому греческое искусство облагородило, просвътило и одухотворило всъ естественныя склонности стремленія человъка, которыя дотоль являлись въ отвратительномъ безобразіи своей животпости. Вотъ почему духъ нашъ не только не оскорбляется, но возвышается и облагороживается энизодомъ изъ «Иліады»,

гдъ лилейно-раменная Гера, державная супруга громовержца Зевеса, обольщаеть чарами любви и наслажденія своего грознаго супруга что-бы въ ея объятіяхъ отецъ боговъ и человъковъ не отвратилъ гибели отъ ненавистныхъ ей Данаевъ и не наслаль ея на любезныхъ ей Ахеянъ... Вотъ почему такую благородную, такую величественно-граціозную картину представляеть собою Афродита-«милыхъ хитростей матерь грозная» 1), которая собственною рукою взводить прекрасную Елену на ложе бъжавшаго отъ конья Менелаева боговиднаго царя Александра — Париса Пріамида... Всъ формы природы были равно прекрасны для художнической души Эллина; но какъ благородивншій сосудь духа-человъкъ, то на его прекрасномъ станѣ и роскошномъ изяществѣ его формъ и остановился съ упоеніемъ и гордостію творческій взоръ Эллина, — и благородство, величіе и красота человъческаго стана и формъ явились въ безсмертныхъ образахъ Аполлона бельведерскаго и Венеры медицейской. Посмотрите: сколько красокъ, сколько пластики въ описаніяхъ паружности и разнообразныхъ положеній человъческого стапа въ пъсняхъ пъвца «Иліады», съ какимъ паслажденіемъ останавливается онъ на этихъ пластическихъ картинахъ, съ какою любовію, съ какою неистощимою роскошью творчества отділываеть ихъ своимъ волшебнымъ рёзцомъ... Статун Грековъ изображались пагими: то, что для другихъ показалось бы безстыднымъ оскорбленіемъ человъческаго достоинства, въ древнемъ міръ было цъломудренною поэзіею и сознаніемъ человъческаго достоинства, — и вотъ почему ваяніе достигло у Грековъ такого высшаго развитія, принесло такіе роскошные нлоды. Въ самомъ дълъ, не говоря уже о важивищихъ произведеніяхъ древняго ръзца камия, барельефъ, медаль, посуда въ формъ человъческой или львиной головы, каждая бездълка въ этомъ родъ есть художественное произведение, и въ ты-

^{1) ,}Стихъ Мерзиякова.

сячу разъ выше лучшей статуи даже Кановы. У Грековъ родилось ваяніе - съ пими и умерло оно, потему что только у нихъ совершенство человъческой фигуры могло имъть такое міровое значеніе. Вотъ почему характеръ самой поэзін Грековъ есть пластичность образовъ, такъ что хочется ощупать рукою этотъ волинстый, мраморный гекзаметръ, который, излетъвъ изъ устъ, становится передъглазами ваними отдёльною статуею или движущеюся картиною. Причина этого явленія—уравновъшеніе иден съ формою, изъ которыхъ каждая потеряла свою особность и которыя слились въ неразрывномъ тождествъ уже, а не единствъ только. Далъе, какое было содержание греческого искусства? Для Грековъ, какъ лишенныхъ христіанскаго откровенія, была темная, мрачная сторона жизни, которую они нарекли судьбою (fatum), и которая, какъ неотразимая, враждебная сила тяготъла надъ самими богами. Но благородный, свободный Грекъ не превлонился, не налъ нередъ этимъ стращнымъ призракомъ, а въ великодушной и гордой борьбъ съ судьбою нашелъ свой выходъ, и трагическимъ величіемъ этой борьбы просвътилъ мрачную сторону своей жизни; судьба могла лишить его счастія и жизни, по не унизить его духа, могла сразить его, но не побъдить. Эта идея мелькаеть еще и въ «Иліадъ», а въ трагедіяхъ является уже во всемъ блескъ своего царственнаго величія. Древній міръ быль міръ вижшній, объективный, въ которомъ все значило общество и инчего не значилъ человъкъ. Вотъ почему дъйствующими лицами въ греческой трагедін могли быть только боги, полубоги, цари и герои-представители общества, народа, а не частныя лица. Дивный, очаровательно-прекрасный, роскошно-упонтельный міръ! Великій моменть челов'вчества, моменть примиренія, брачнаго союза духа съ природою въ некусствѣ, по превосходству художественномъ, слъдовательно, въ искусствъ по преимуществу, которому равнаго уже не будеть, но котораго безсмертныя творенія, вопреки безсмысленному мийнію ограниченныхъ головъ, невъждъ и самоучекъ, всегда будутъ для насъ полны значенія обаятельной силы, потому что для человъчества не теряется ни одинъ моментъ его развитія, а тъмъ болье не можетъ забыться такая высокая ступень духа, на которой были Греки!... Изчезаютъ только конечный формы, а формы искусства въчны и непреходящи, ибо въ ихъ конечности является безкопечное...

Но кончился онъ, этотъ прекрасный міръ просвътленной чувственности, одухотворенныхъ формъ и героической борьбы человъка съ неотразимою силою рока; кончился этотъ періодъ роскошнаго цвътенія искусства-умеръ народъ-художникь! Уже и варваръ-Римлянинъ изчерналъ всю свою жизнь—задача его была ръшена: онъ простеръ надъ міромъ свою жельзную длань, сливъ его въ механическомъ единствъ своихъ гражданственных формъ; опъ уже издалъ и кодексъ своихъ правъ, развитыхъ имъ изъ своей жизни и своею жизнію. Окруженный дивными произведеніями искусства, вывезенными изъ ограблепной имъ Греціи, и зѣвалъ отъ пресыщенія и скуки, п кормиль рабами чудовищных рыбъ... Древній мірь одряхліль; содержание его жизни было истощено... изнеможенное человъчество алкало и жаждало обновленія или смерти. А между тъмъ, въ забытомъ уголку міра, давно уже раздавался божественный голось, кротко и любовно взывавшій: «Пріндите ко мив всв труждающие и обремененныя—и я успокою васъ! Возьмите иго мое на себя, и научитесь отъ меня; пбо я кротокъ и смиренъ сердцемъ: и найдете покой душамъ вашимъ. Поо иго мое благо и бремя мое легко». И пришелъ часънароды познали гласъ настыря, положившаго душу свою за овцы, и міръ остинися знаменемъ креста. Новые, кипящіе избыткомъ юной жизни народы обновили древній міръ, и насталь новый періодь человъчества, періодь религіозный, періодъ романтическій. Справедливо называють его періодомь юношества человъчества: это безпрестанное стремление кудато, въ какую-то неопредъленную даль, эта безпрерывная

жажда дългельности-что все это, какъ не кипъніе молодой крови, какъ не тревога юнаго духа, мучимаго избыткомъ силъ своихъ? Изъ этого безпокойнаго стремленія къ движенію, хотя бы даже безъ всякой цёли, но только къ движеню, вышло бродячее рыцарство въ жельзныхъ доспъхахъ, въчно на конъ, въчно въ битвахъ, если не съ врагами, такъ съ самимъ собою въ кровавыхъ распряхъ и на потъшныхъ турнирахъ. Но прямымъ и непосредственнымъ псточникомъ всей этой романтической жизни было христіанство. Некоторые новерхностные мыслители говорили и писали, что будто христіанство отрицаетъ государство, общественность, науку и искусство, потому что въ евангеліи ни о чемъ этомъ не говорится. Что христіанство не отрицаетъ государства, какъ необходимой формы существованія человіче ства-это ясно изъ словъ Спасителя: «Воздадите кесарева песареви, Божія Богови», и изъ многихъ мъстъ евангелія, гдь говорится о земныхъ властяхъ. Но и это еще не главное, еще не причина, а только следствіе: все дело въ сущности основной иден; такъ какъ основная идея евангеліяидея божественной любви, осуществившая страданіемъ п кровію за чадъ своихъ, такъ какъ эта идея есть идея всеобъемлющая, все въ себъ заключающая, все собою условливающая, и въ самой себъ носящая, какъ зерпо растительпую силу, всъ свои будущіе моменты и проявленія, -то благодатно оплодотворенная ею почва человъческаго развитія и произращала, и произращаеть, и никогда не перестанеть произращать вст цвтты и вст илоды небесные. Потому-то христіанская религія и дала обновленному міру такое богатое содержание жизии, котораго не изжить ему въ въчность; потому-то все, что ин есть теперь, чтмъ ин гордится, чтмъ ни наслаждается современное человъчество, — все это вышло нзь плодотворнаго съмени въчныхъ, пепреходящихъ глаголовь божественной книги поваго завъта. Только въ ней н можно и должно искать сокровенной причины торжества христіанской Европы надъ всёмъ остальнымъ, нехристіанскимъ міромъ, слабымъ и ничтожнымъ въ своей громадной величинъ передъ этою малъйшею частію свъта. Не изъ христіанства ли вышло все гражданское устройство среднихъ въковъ? Римляне завъщали имъ гражданское право, вышедшее изъ чисто-отвлеченной мысли, и юридическія формы; но уваженіе къ личности челов'єка, котораго самъ Богъ нарекъ сыномъ своимъ, уважение къ внутрениему человъку вышло изъ евангелія, изъ иден равенства людей передъ судомъ Божінмъ, изъ иден равенства права на отеческую любовь и милость Божію. Въ евангеліи ничего не говорится объ искусствъ, но божественный Спаситель называлъ себя сыномъ царственнаго нъвца и пророка Давида, и христіанству обязано своими блистательпъйшими вдохновеніями искусство среднихъ въковъ; ему обязаны своимъ возникновеніемъ и высокимъ развитіемъ и готическая архитектура — этоть образъ безконечнаго стремленія въ царство духа, и живопись съ музыкою -- эти по преимуществу (особливо послъдпяя) романтическія искусства. Христіанству же обязано своимъ возвышеннымъ, благороднымъ характеромъ и юношеское безпокойство одухотвореннаго имъ человъчества: рыцари были защитники вдовъ и сиротъ, поборники религіи, вонны христовы. Оно же возвратило женщинт права ел; изъ него же вышло рыцарское благоговъне къ достопиству женщины, и отношенія обоихъ половъ получили такой возвышенно-пдеальный характерь, ибо родшая Бога была Матерь и Девасочетание материнской любви съ дъвственною чистотою, а бракъ быль названъ Спасителемъ «тайною великою»...

Итакъ смиреніе передъ Богомъ, какъ отрицаніе своей конечной личности въ пользу вѣчной истины, смиреніе, простирающееся до энтузіастической готовности идти, какъ на свѣтлое торжество, на смерть за свое убѣжденіе, и несмотря ни на какую мѣру страданія, признавать благою и правою волю Божію, сознавая свою грѣховность (résignation); при

цеобходимомъ неравенствъ на лъстницъ общественной јерархін, совершенное равенство нередъ крестомъ Расилтаго, въ смыслъ христіанскаго братства, — а отсюда любовь и уваженіе къ человъческой личности, великодушное мужество, жертвующее встми своими сидами и самою жизнію за угнетенныхъ и гонимыхъ; идеальное обожаніе женщины, какъ представительницы на землъ любви и красоты, какъ свътлаго генія гармоніи, мира и утъшенія; тревожное стремленіе въ сумрачную даль безконечнаго, ко всему тапиственному и мистическому:--вотъ романтические элементы, изъ которыхъ слагалась богатая жизнь среднихъ въковъ. Эта эпоха была пробужденіемъ, возстаніемъ духа. Чтобы сознавать себя, ему надобно было отръшиться отъ природы, которая есть его же собственная сторона, но которая единствомъ съ нимъ (въ смыслѣ древнихъ), такъ сказать, затемняла его, поглощая собою его невидимую жизнь и, предестію формъ, отводя бренныя очи отъ его таинственной сущности. Духу надо было явиться только духомъ, отвлеченно отъ слитиаго явленія. И онь возсталь въ своемъ страшномъ величін, онъ отвергся природы, какъ врага своего, какъ діавола. Отсюда вышли: объты цъломудрія, отръшеніе отъ благъ земныхъ, отшельничество; обаятельныя радости древняго міра уступили м'єсто посту, молитвъ, покаянію, бичеванію, религія стала католицизмомъ. Отсюда и романтическій характеръ искусства. Живопись сдълалась орудіемъ религіи, ея служительницею; возникла музыка-искусство романтическое по самой своей сущности, какъ выражение внутренней жизни субъективнаго духа, и ея гармонія гремѣла гимномъ Богу. Поэзія воспѣвала подвиги и любовь храбрыхъ рыцарей и прекрасныхъ дамъ, и ея формы улетучивались въ туманной мистикъ содержанія. Не спрашивали: какъ выполнено художественное произведеніе, по спрашивали: что выражаеть опо; содержаніе отдълилось отъ формы и стало выше ея. Это не значитъ, чтобы произведения романтического искусства были аллегориями или

символами: въ истинныхъ художникахъ общая страсть времени въ адлегоріямъ и символамъ побъждалась, болье или менье, полнотою ихъ художественной натуры, и идея стаповилась ощутительною только черезъ форму; но какъ въ древнемъ мірѣ красота формы, обязанная своимъ явленіемъ скрытой въ пей идев, довольствовала собою духъ и не производила въ немъ страстнаго порыва проникнуть въ ея сущность, такъ въ романическомъ мірѣ идея, поглощая собою вниманіе и удовлетворяя духъ, дълала форму вопросомъ второстепеннымъ. Искусство уже утратило свою самостоятельность, потому что религія-сознаніе истины въ непосредственномъ откровении, какъ высшее, всеобщее средство знанія, — подчинила себъ искусство, которое, поэтому, нерестало уже быть высшею всеобщею формою всеобщей истины. II воть въ этомъ-то смыслъ греческое искусство только одно и есть истинное искусство, искусство какъ искусство и, слъдовательно, высшее и совершеннъйшее искусство, — и въ этомъ-то заключается для насъ и его достоинство и его недостатокъ: содержание его для насъ неудовлетворительно, а возвыситься до его формы мы не можемъ, не отдавъ формъ предпочтенія предъ пдеею.

Итакъ классическое искусство есть полное и гармоническое уравновъщение иден съ формою, а романтическое—перевъсъ иден надъ формою. Подъ первымъ разумъется искусство Грековъ и—не по достоинству, а по общему характеру пластицизма—поэзія Римлянъ; подъ вторымъ искусство среднихъ въковъ, включая сюда и нъкоторыхъ новъйшихъ поэтовъ, какъ наприм. Шиллера.

Изъ этого ясно видно, что называть классиками поэтическихъ уродовъ, каковы были: Корнель, Расипъ, Буало, Мольеръ, Кребильйонъ, Вольтеръ, Дюсисъ, Аддисонъ, Иопе, Альфіери и подобные имъ, или называть романтиками Шекспира, Сервантеса, Байрона, Вальтеръ-Скотта, Купера, Гёте, Пушкина могутъ только люди, воздоенные французскими

идеями объ искусствъ и пезнающіе первыхъ началъ, азовъ науки изящнаго. Наше новъйшее искусство, начатое Шекспиромъ и Сервантесомъ, не есть ни классическое, потому что «мы не Греки и не Римляне», и не романтическое, потому что мы не рыцари и не трубадуры среднихъ въковъ. Какъ же его назвать? Новъйшимъ. Въ чемъ его характеръ? Въ примиреніи классическаго и романтическаго, въ тождествъ, а слъдственно и въ различіи отъ того и другаго, какъ двухъ крайностей. Происходя исторически, неносредственно отъ втораго, наслъдовавъ всю глубину и обширность его безконечнаго содержанія и обогатя его дальнъйшимъ развитіємъ христіанской жизни и пріобрътеніемъ новаго знанія, оно примирило богатство своего романтическаго содержанія съ иластицизмомъ классической формы.

Теперь обратимся къ смѣшной исторіи.

Очевидно, что классицизмъ, какъ его понимали Французы, и какъ онъ перешелъ отъ нихъ къ намъ, былъ псевдоклассицизмъ, столько же походивній на греческій, сколько маркизы XVIII въка походили на боговъ, царей и героевъ древней Греціи. Неснособные, по своему національному духу, проникнуть въ сущность свътлаго міра древнихъ Грековъ, они взяли ивчто отъ вившинхъ формъ, и думали, что, введя въ свою quasi-трагедію царей, наперсынковъ, и въстниковъ, сдълають ее греческою. Христіанскій міръ есть міръ внутренній, духовный, субъективный, въ которомъ личность человѣка благородна и священна нотому уже, что онъ человъкъ: вслъдствіе этого въ шекспировской драмъ шутъ короля Лира имъетъ такое же право на свое мъсто, какъ п сань Лиръ на свое; а въ древней трагедін, какъ мы уже замътили выше, могли имъть мъсто только представители политическаго общества, народа. Смотръть на виъшность мимо ея значенія значить впасть въ случайность. Возвышенную простоту Грековъ, ихъ поэтическій языкъ, выходившій пзъ пластического лиризма ихъ жизни, Французы думали замънить натянутою декламацією и риторическою шумихою. Они сами себя назвали классиками, и имъ всё повёрили! Такъ какъ основаніемъ этого псевдо-классицизма была внёшность и формальность, то понятно, отчего французская теорія изящнаго была такъ проста и опредёленна: ничего пёть легче, какъ судить о вещахъ по внёшнимъ признакамъ.

Но такъ называемые романтики ушли не дальше ихъ, и только впали въ другую крайность: отвергнувъ псевдо-классическую форму и чопорность, они полагали романтизмъ въ безформенности и дикомъ неистовствъ. Дикость и мрачность они провозгласили отличительнымъ характеромъ поэзін Шекспира, смъщавъ съ ними его глубокость и безконечность, и не понявъ, что формы шекспировыхъ драмъ совствить не случайности, но условливаются идеею, которая въ нихъ воплотилась. Есть еще и теперь люди, которые Бетховена называють дикимъ, добродушно не понимая, что дикость есть унижение, а не достоинство генія, и что эпергія и глубокость совстив не то, что дикость. Они не поняли, что въ лирическихъ произведеніяхъ Гёте пластицизмъ формъ подходитъ къ древнему, и что ихъ художественное достоинство недоступно съ перваго взгляда со стороны идеи, но прежде всего поражаетъ роскошнымъ изяществомъ своихъ формъ. Если классики походили на напудренныхъ маркизовъ прошлаго въка, то романтики походили на нагихъ Австралійцевъ, одурѣвшихъ отъ человѣческой крови, или отправляющихъ свои отвратительныя торжества. Отвергнуть устарълыя и случайныя формы искусства, еще не значить постигнуть сущность искусства. Последнее можно саблать только оставивь въ сторонъ вившности, и углубившись въ начала искусства. Но это романтическое неистовство было нужно, какъ отрицаніе ложнаго классицизма: сдълавъ свое дъло, оно, въ свою очередь, стало такъ же смъшно, какъ и классическая чопорность. Въ сущности же всъ крайпости равны и ни одна не лучше другой. Мы смъемся надъ классическими разделеніями поэзін народы и драматической

на виды; но понимаемъ ли мы сами это дъло лучше ихъ? Мы говоримъ «драма, трагедія, комедія», а не думаемъ, въ чемъ состоитъ значеніе этихъ словъ и чъмъ опи другъ отъ друга отличаются. Кровавый конецъ для насъ еще и теперь признакъ трагедіи, веселость и смъхъ—признакъ комедіи; а то и другое вмъстъ и съ благополучнымъ окопчаніемъ— драма. Все тъ же виъшніе и случайные признаки, невыходящіе изъ идеи; мы все тъ же классики, только классики романтическіе.

Кстати: позвольте объяснить вамъ по нодробнъе, что такое романтическій классицизмъ: это прямо относится къ предмету нашей статьи и представляетъ собою очень интересный предметь, по крайней мъръ, очень забавный.

Романтическій классикъ есть представитель эклектическаго примиренія классицизма съ романтизмомъ, въ которомъ коечто удерживается изъ классицизма и кое-что берется изъ романтизма. Разумъется, все дъло тутъ вертится на отвлеченныхъ, вившнихъ формахъ. При разсматриванін поэтическаго произведенія, первая задача классика — опредълить его родъ, и если его форма такъ страниа, дика и такая небывалая, что классикъ недоумъваетъ о его родъ, то объявляеть это сочинение вздорнымъ и нелъпымъ, хотя и не лишеннымъ блестокъ таланта. Такъ анти-поэтическій Вольтеръ отзывался о Шексипръ. Особенно, въ этомъ отношенін, для классиковъ хуже чумы тъ авторы, которые не выставляють на своихъ сочиненияхъ словъ: поэма, трагедия, драма, комедия, водевиль, ода, эклога, элегія и пр. Для нихъ это просто убійство! Здѣсь классики очень сходны съ натуралистами: нашедши новый предметь изъ животнаго, растительнаго или минеральнаго царства, натуралисть прежде всего хлопочеть о родъ и видъ, и если не узнаетъ съ раза ни того, ни другаго, то старается подвести свою находку подъ какой-нибудь извъстный родъ въ качествъ повооткрытаго вида. Но вотъ гдь и ужасная разница между классиками и натуралистами:

если рода не находится для новооткрытаго предмета, а самъ онь не помъщается въ цъпи системы, какъ родъ, то натуралисть все-таки не исключаеть его изъ цепи созданій Божінхъ, но, тщательно описавъ его признаки, надъется, что въ последстви найдется для него место; классикъ же, не думая полго, объявляеть изящное произведение вздоромь за то только, что оно не подходить подъ извъстные ему роды произведеній искусства. Но лучше ли поступають въ этомъ отношеніи господа романтики? Давно ли одинъ журналистъ, съ гордостію и до сихъ поръ называющій себя романтикомъ и всегда преслъновавшій классицизмъ, какъ уголовное преступленіе, отстуиндся отъ «Каменнаго Гостя» Пушкина и нашедъ дишь хорошіе стишки въ этомъ великомъ созданіи, потому только, что пришель въ недоумвніе-что это такое: не то драматическій разсказъ, не то испанское имброгліо, не то Богъ знаетъ что! Не форма ди тутъ играетъ прежнюю свою роль, не классицизмъ ди это, хотя подновленный и подкращенный романтизмомь? А какъ вамъ кажется вотъ эта продълка: догадавшись о нельпости разпъленія поэзін на роды, основанное на трехъ формахъ времени и дълающее лирическую поэзію выраженіемъ будушаго времени, и вмецкій хитрецъ драматическую поэзію заставиль выражать будущее время, ибо де драма представляеть людей не такими, каковы они суть, а такими, каковы должны быть, следовательно, какими будуть. «О топкая штука! Экъ куда метнулъ! какого тумана напустилъ! разбери кто хочеть!»... И всё толки, всё положенія нашихъ романтиковъ нохожи на это какъ двъ капли воды: это тъ же классическія нельпости, но только перехитренныя и перемудренныя; словомъ, это романтическій классицизмъ, старая погудка на повый ладъ. Онъ также смотритъ на предметь извив, а не изнутри, и потому хоть ему и кажется, что онъ прытко бъжить, а въ самомъ-то дъль онь все на одномъ мъстъ вертится вокругъ самого себя. Пора принятся за дёло посерьёзнъе, пора взять за основание своихъ теорій не произвольныя, субъективным понятія, а мысль, развивающуюся изъ самой себя. Мы не принадлежимъ ин къ классикамъ, ин къ романтикамъ, и равно смъемся надъ тъмъ и другимъ названіемъ, не находи смысла ни въ томъ, ни въ другомъ. Мы не ручаемся за върность нашихъ основаній, но ручаемся, что въ нашихъ выводахъ будемъ логически върны своимъ основаніямъ, и что если читатели не согласятся съ нами, по крайней мъръ поймутъ то, что мы хотимъ сказать. Задача, которую мы предлагаемъ себъ въ этой статъъ—вывести раздъленіе драматической поэзіи на трагедію и комедію не по внъшнимъ признакамъ, а изъ ихъ сущности, и на этихъ основаніяхъ сдълать критическую оцънку знаменитому провъеденію Грибоъдова.

Поэзія есть истина въ формъ созерцанія; ея созданія воплотившіяся иден, видимыя, созерцаемыя иден. Слъдовательно, поэзія есть та же философія, то же мышленіе, потому что имъетъ то же содержаніе—абсолютную истину; но только не въ формъ діалектическаго развитія идеи изъ самой себя, а въ формъ непосредственнаго явленія пден въ образъ. Поэть мыслить образами; онъ не доказываетъ истины, а показываетъ ее. Но поэзія не имъетъ цъли виъ себя—она сама себъ цъль; слъдовательно, поэтическій образъ не есть чтонибудь вижшиее для поэта, или второстейенное, не есть средство, но есть цёль: въ противномъ случай, онъ не былъ бы ббразомъ, а былъ бы символомъ. Поэту представляются ббразы, а не идея, которой онъ изъ-за ббразовъ не видитъ, и которая, когда сочинение готово, доступнъе мыслителю, нежели самому творцу. Посему поэтъ никогда не предполагаетъ себф развить ту или другую идею, никогда не задаетъ себѣ задачи: безъ вѣдома и безъ воли его возникаютъ въ фантазін его образы и, очарованный ихъ прелестію, онъ стремится изъ области идеаловъ и возможности перепести ихъ въ дъйствительность, т. е. видимое одному ему сдълать видинымъ для всёхъ. Высочайшая действительность есть истина;

а какъ содержание поэзін-истина, то и произведенія поэзін суть высочайшая действительность. Поэть не украшаеть дъйствительности, не изображаеть людей, какими они должны быть, но каковы они суть. Есть люди, - это все они же, все романтическіе же классики, — которые отъ всей души убъждены, что поэзія есть мечта, а не дъйствительность, и что въ нашъ въкъ; какъ положительный и индюстріальный, поэзія невозможна. Образцовое невъжество! нельпость первой величины! Что такое мечта? Призракъ, форма безъ содержанія, порожденіе разстроеннаго воображенія, праздной головы, колобродствующаго сердца! И такая мечтательность нашла своихъ поэтовъ въ Ламартинахъ, и свои поэтическія произведенія въ идеально-чувствительныхъ романахъ, въ родъ «Аббаддонны» 1): но развъ Ламартинъ поэтъ, а не мечта, — и развъ «Аббаддонны» поэтическое пропзведеніе, а не мечта?... ІІ что за жалкая и что за устарълая мысль о положительности и индюстріальности нашего въка, будто-бы враждебныхъ искусству? Развъ не въ нашемъ, въкъ явились Байронъ, Вальтеръ-Скоттъ, Куперъ, Томасъ Муръ, Уордсвортъ, Пушкинъ, Гоголь, Мицкевичъ, Гейне, Беранже, Эленшлегеръ, Тегнеръ и другіе? Развъ не въ нашемъ въть дъйствовали Шиллеръ и Гете? Развъ не нашъ въкъ оцъниль и поняль созданія классическаго искусства и Шекспира? Пеужели это еще не факты? Индюстріальность есть только одна сторона многосторонняго XIX въка, и она не помъщала пи дойдти поэзін до своего высочайшаго развитіл въ лиць поименованныхъ нами ноэтовъ, ни музыкъ, въ лицъ ея Шекспира-Бетховена, ни философіи, въ лицъ Фихте, Шиллинга и Гегеля. Правда, нашъ въкъ врагъ мечты и мечтательности, но потому-то: онъ и великій вѣкъ! Мечтательность въ XIX вък такъ же смъшна, пошла и приторна, какъ и сан-

¹⁾ Извъстный нъмецкій романъ какого-то господина идеальштює махера.

тиментальность. Дъйствительность-вотъ пароль и лозунгъ нашего въка, дъйствительность во всемъ-и въ върованіяхъ, и въ наукт, и въ некусствъ, и въ жизни. Могучій и мужественный въкъ, онъ не терпитъ ничего ложнаго, поддъльнаго, слабаго, расплывающагося, но любить одно мощное, кръпкое, существенное. Онъ, смъло и безтрепетно выслушалъ безотрадныя пъсни Байрона, и, вмъстъ съ ихъ мрачнымъ пъвцомъ, лучше ръшился отръчься отъ всякой радости и всякой надежды, нежели удовольствоваться пищенскими радостями и надеждами прошлаго въка. Онъ выдержалъ разсудочный критицизмъ Канта, разсудочное положение Фихте; онъ перестрадалъ съ Шиллеромъ всъ болъзни внутренняго, субъективнаго духа, порывающагося къ дъйствительности путемъ отрицанія. И за то, въ Шиллингъ опъ увидъль зарю безконечной дъйствительности, которая въ ученіи Гегеля осіяла міръ роскошнымъ и великолѣинымъ днемъ, и которая, еще прежде обоихъ великихъ мыслителей, непонятиая, явилась непосредственно въ созданіяхъ Гёте... Только въ нашъ въкъ искусство получило полное свое значение, какъ примиреніе христіанскаго содержанія съ пластицизмомъ классической формы, какъ повый моменть уравновъщения идеи съ формою. Нашъ въкъ есть въкъ примиренія, и опъ такъ же чуждъ романтическаго искусства, какъ и классическаго. Средніе въка были моментомъ нецъльнымъ, неслитнымъ, но отвлеченнымъ; мы видимъ въ немъ только романтические элементы, которыми человъчество запаслось на будущую жизнь, и которые только теперь явились въ своей слитной дъйствительности и проникли нашу частную, домашнюю и даже практическую сторону жизни, такъ что одна сторона не отрицаетъ другой, но объ являются въ неразрывномъ единствъ, взаимно проникнувъ одна другую. Этого-то слитнаго единства и не было въ дъйствительности среднихъ въковъ, которыхъ романтические элементы обозначались въ какой-то отвлеченной особности. И вотъ почему рыцарь, иногда при одномъ подозрѣніи въ невѣрности

жены, или безжалостно умерщвляль ее собственною рукою. или сожигалъ живую, —ее, которая иёкогда была царицею думъ и мечтаній души его, нередъ которою робко преклоняль онъ колёни, едва осмёливаясь возвести взоры на свое божество, и которой безкорыстно посвящаль онь и свое кинящее мужество, и силу желъзной руки, и безпокойную, бродячую волю свою... Да и вообще, паходя жену, онъ терялъ идеальное, безплотное, ангелоподобное существо. Въ новъйшемъ період'є челов'єчества напротивъ: Юлія Шекспира обладаеть встми романтическими элементами; любовь была религіею и мистикою ея собственнаго сердца, встръча съ родною ей душою была великимъ и торжественнымъ актомъ ея души, вдругъ сознавшей себя и возросшей до дъйствительности, а между тъмъ, это существо пе облачное, не туманное, все земное,да, земное, но насквозь проникнутое небеснымъ. Романтическое искусство переносило землю на небо, его стремлене было въчно туда, по ту сторону дъйствительности и жизни: наше новъйшее искусство переносить небо на землю и земное просвътляетъ небеснымъ. Въ наше время только слабыя и болъзненныя души видять въ дъйствительности юдоль страданія и бъдствій и въ туманную сторону идеаловъ переносятся своей фантазіею, на жизнь и радость въ мечтъ; души нормальныя и кръпкія паходять свое блаженство въ живомъ сознаніи живой дъйствительности, и для нихъ прекрасенъ Божій міръ, и само страданіе есть только форма блаженства, а блаженство-жизнь 😼 безконечномъ. Мечтательность была высшею дъйствительностію только въ періодъ юпошества человъческаго рода; тогда и формы поэзіп улетучивались въ опијамъ молитвы, во вздохъ блаженствующей любви или тоскующей разлуки. Иоэзія же мужественнаго возраста человъчества, наша новъйшая поэзія осязаемоизящиую форму просвътляеть эопромъ мысли, и на-яву дъйствительности, а не во сит мечтаній, отворяетъ таниственныя врата священнаго храма духа. Короче: какъ романтическая поэзія была поэзіею мечты и безотчетнымъ порывомъ въ область идеаловъ, такъ новъйшая поэзія есть поэзія дъйствительности, поэзія жизни.

Раздъление поэзін на три рода — лирическую, эпическую и драматическую, выходить изъ ея значенія, какъ сознанія истины и, следовательно, изъ взаимныхъ отношеній сознающаго духа — субъекта, къ предмету сознанія — объекту. Іприческая поэзія выражаеть субъективную сторону человъка, открываеть нашему взору внутренняго человъка, и потому все опа-ощущение, чувство, музыка. Эпическая поэзія есть объективное изображение совершившагося во времени событія, картина, которую показываеть вамъ художникъ, выбирая для васъ лучшія точки зрёнія, указывая на всё ея стороны. Драматическая поэзія есть примиреніе этихъ двухъ сторонъ, субъективной или лирической, и объективной или эшческой. Передъ вами не совершившееся, но совершающееся событіе; не поэть вамь сообщаеть его, но каждое дъйствующее лице выходитъ къ вамъ само, говоритъ вамъ за самаго себя. Въ одно и тоже время видите вы его съ двухъ точекъ зрънія: оно увлекается общимъ водоворотомъ драмы и дъйствуетъ волею и неволею сообразно съ своими отношеніями къ прочимъ лицамъ и идеъ цълаго создапія воть его объективная сторона; оно раскрываеть передъвами свой внутренній міръ, обнажаеть всь изгибы сердца своего, вы подслушиваете его нёмую бесёду съ самимъ собою воть его субъективная сторона. Поэтому-то въ драмъ всегда видите вы два элемента: эпическую объективность дъйствія въ цъломъ, и лирическія выходки и изліянія въ монологахъ, до того лирическія, что опъ непременно должны быть писаны стихами, и переданныя въ переводъ прозою теряютъ свой поэтическій букеть и переходять въ надутую прозу, чему доназательствомъ могутъ служить лучнія міста Шекспировыхъ драмъ, переведенныхъ прозою '). Въ лирической

¹⁾ Мы убъждены въ томъ, что для совершеннъйшаго перевода Шекспировыхъ драмъ стихами надобно и переводчику быть Шекспиромъ;

поэзін поэть является намъ субъектомъ, и потому-то въ ней такъ часто и такую важную роль играетъ его личпость, его я, а ощущенія и чувства, о которыхъ опъ говорить, какь о своихь собственныхь, будто бы одном ему принадлежащихъ, мы принисываемъ себъ, узнаёмъ въ нихъ моменты собственнаго духа. Эпическій поэтъ, скрываясь за событіями, которыя заставляють насъ созерцать, только подразумъвается; какъ лице, безъ котораго мы не знал бы о совершившемся событін; онъ даже и невсегда бываеть незримо-присутствующимъ лицомъ: опъ можетъ позволять себъ обращенія и къ самому себъ, говорить о себъ, или, по крайней мъръ, подавать свой голосъ объ изображаемых имъ событіяхъ. Въ драмъ, напротивъ, личность поэта изчезаеть совствы и какъ бы даже не предполагается существующею, потому что въ драмъ и событіе говоритъ само за себя, современно представляясь совершающимся, а каждое изъ дъйствующихъ лицъ говоритъ само за себя, современно развиваяся и съ внутренией и съ вившией стороны своей.

Драматическую поэзію обыкновенно разділяють на два вида: трагедію и комедію. Разовьемь необходимость этого разділенія изъ сущности иден поэзіи, а не изъ вибшнихь формь и признаковъ. Для этого мы должны разділить на дві стороны самую поэзію, какая бы она ни была, лирическая, эпическая или драматическая: на поэзію положенія или двіствительности, и поэзію отрицанія или призрачности.

Предметь поэзін есть дъйствительность, или истина въ явленіи. Тъ, которые думають, что ея предметь—мечты п вымыслы никогда и цигдъ небывалаго, кромъ воображенія

иначе переводъ его будетъ хоть сколько-нибудь невъренъ—невъренъ или идев или формъ, и всегда будетъ болъе или менъе субъективенъ. Шекспиръ, дли чтеніи, можетъ п долженъ быть переводимъ прозово-Если кому удастся перевести, какъ должено, Шекспирову драму стихами, это будетъ подвигъ, котораго однако достаточно для цълой жизни.

ſŸ

[0]

a

Ъ

R

поэта, сбиваются словами «ндеаль» и «ндеализированіе дъйсвительности». Конечно, созданія поэта не суть сниски или копін съ д'яйствительности, но они сами суть д'яйствительность, какъ возможность получившая свое осуществленіе, и получившая это осуществление по непреложнымъ законамъ самой строгой необходимости: идея, рождающаяся въ душъ поэта, есть тайна, какъ младенецъ, зачинающійся во чревъ матери: кто можетъ угадать заранте индивидуальную форму той или другаго! и та и другая не есть ли возможность, стремящаяся получить свое осуществление, не есть ли совершенно никогда и пигдъ небывалое, но долженствующее быть сущимъ? Идеалъ не есть собраніе разсѣянныхъ по природѣ черть одной идеи и сосредоточенныхъ на одномъ лицъ, потому что собираніе не можеть не быть механическимъ, --а это противоръчитъ динамическому процессу творчества. Еще менте идеалъ можетъ быть воображениемъ того, чего и нътъ и быть не можетъ, т. е. мечтою, или украшенною природою и усовершенствованными людьми-людьми не какъ они суть, а какими будто бы они должны быть. Идеалъ есть общая (абсолютная) идея, отрицающая свою общность, чтобы стать частнымъ явленіемъ, а ставши имъ, сново возвратиться къ своей общности. Объяснимъ это примъромъ. Какая идея Шекспирова «Отелло»? Идея ревности, какъ слъдствія обманутой любви и оскорбленной въры въ любовь и достоинство женщины. Эта идея не была сознательно взята поэтомъ въ основаніе его творенія, но, безъ въдома его, какъ незримо-падшее въ душу зерно, развилась въ образы Отелло и Дездемоны, т. е. совлеклась своей безусловной и отвлеченной общности, чтобы стать частными явленіями, личностями Отелло и Дездемоны. Но какъ лица Отелло и Дездемоны не суть лица какого-нибудь извъстнаго Отелло и какой-нибудь извъстной Дездемоны, а лица типическія, благодаря общей идет, воплотившейся въ нихъ, то сатдуетъ второе отрицание идеи или возвращенія общей идеи въ самой себъ. Слъдовательно, идеадизировать дъйствительность значить совстмъ не украшать, по являть ее, какъ божественную идею, въ собственныхъ нъдрахъ своихъ носящую творческую силу своего осуществленія изъ небытія въ живое явленіе. Другими словами, «идеализировать дъйствительность» значить въ частиомъ и конечиомъ явлени выражать общее и безконечное, не списывая съ дъйствитель ности какія-нибудь случайныя явленія, но создавая тиническіе образы, обязанные своимъ типизмомъ общей идев, въ ших выражающейся. Портретъ, чей бы опъ ни былъ, не можеть быть художественнымъ произведеніемъ, ибо онъ есть выраженіе частной, а не общей иден, которая одна способы явиться типически; но лице, въ которомъ бы, напримъръ, всякій узналь скупаго, есть пдеаль, какъ типическое выраженіе общей родовой иден скупости, которая заключаеть въ себъ возможность всъхъ своихъ случайныхъ явленій; поэтому, какъ скоро она стала образомъ, то въ этомъ образъ всякій видить портреть не какого-нибудь скупца, но портреть всякаго какого-нибудь скупца, хотя бы этоть какой нибудь и имълъ совершение другія черты лица.

Подъ словомъ «дъйствительность» разумъется все, что есть—міръ видимый и міръ духовный, міръ фактовъ и міръ идей. Разумъ въ сознаніи и разумъ въ явленіи, словомъ, открывающійся самому себъ духъ, есть дъйствительность; тогда какъ все частное, все случайное, все неразумное есть призрачность, какъ противоноложность дъйствительности, какъ ел отрицаніе, какъ кажущееся, но не сущее. Человъкъ пьетъ, встъ, одъвается—это міръ призраковъ, потому что въ этомъ инсколько не участвуетъ духъ его; человъкъ чувствуетъ, мыслитъ, сознаётъ себя дрганомъ, сосудомъ духа, конечною частностію общаго и безконечнаго—это міръ дъйствительности. Человъкъ служитъ царю и отечеству вслъдствіе возвышеннаго понятія о своихъ обязанностяхъ къ нимъ, вслъдствіе желанія быть орудіемъ истины и блага, вслъдствіе сознанія себя, какъ части общества, своего кровнаго и ду

ÓH

die.

ТЪ

12-

12-

37

0-

33

T-

TÓ.

17

Ь;

ľb

ховнаго родства съ нимъ-это міръ дійствительности. «Овому талантъ, овому два», -- и потому, какъ бы ни была ограничена сфера д'ятельности челов'яка, какъ бы ни незначительно было мъсто, занимаемое имъ не только въ человъчествъ, по и въ обществъ, но если онъ, кромъ своей конечной личности, кром'в своей ограниченной индивидуальности, видитъ въ жизни нъчто общее, и въ сознаніи этого общаго, по степени своего разумънія, находитъ источникъ своего счастія,онъ живетъ въ дъйствительности и есть дъйствительный человъкъ, а не призракъ, истиниый, сущій а не кажущійся только человъкъ. Если человъку педоступны объективные интересы; каковы жизнь и развитие отечества, ему могутъ быть доступны интересы своего сословія, своего городка, своей деревни, такъ что онъ находить какое-то, часто странное и непонятное для самого себя, наслаждение, для ихъ выгодь лишаться собственныхъ личныхъ выгодъ — и тогда опъ живетъ въ дъйствительности. Если же опъ не возвышается и до такихъ питересовъ, - пусть будетъ онъ супругомь, отцомъ, семьяниномъ, любовникомъ, но только не въ животномъ, а въ человъческомъ значенін, источникъ котораго есть любовь, какъ бы ни была она ограничена, лишь бы только была отрицапіемъ его личности,—онъ опять живеть въ дъйствительности. На какой бы степеци ни проявился духъ, опъ-дъйствительность, потому что опъ любовь или безсознательная разумность, —а потомъ разумъ, или любовь, сознавшая себя.

Мы шли отъ высшихъ ступеней къ низшимъ; пойдемъ обратно, и увидимъ, что, въ сознаніи истины, высшая дѣйствительность есть религія, искусство и наука; въ жизии—историческое лице, геній, проявившій свою дѣятельность въ которой нибудь изъ этихъ абсолютныхъ сферъ, виѣ которыхъ все—призракъ. Практическая дѣятельность историческаго лица, имѣвшаго вліяніе на судьбу народа и человѣчества, не исключается изъ этихъ сферъ, потому что сознаніе иден его дѣятельности возможно только въ этихъ сферахъ.

Не все то, что есть, только есть. Всякій предметь физическаго и умственнаго міра есть или вещь по себі, или вещь и по себъ (an sich) и для себя (fur sich). Дъйствительно есть только то, что есть и по себъ и для себя, только то, что знаеть, что оно есть и по себъ и для себя, и что оно есть для себя въ общемъ. Кусокъ дерева есть, но онъ есть не для себя, а только по себъ: онъ существуетъ только какъ объектъ, а не какъ объектъ-субъектъ, и человъкъ знаетъ о немъ, что онъ есть, а не онъ самъ знаетъ о себъ. Это же явление представляеть собою и человъкъ, когда его сознаніе, или его субъективно-объективное существование заключено только въ смыслѣ или конечномъ разсудкѣ, на-глухо заперто въ соображенін своихъ личныхъ выгодъ, въ эгонстической ділтельности, — а не въ разумъ, какъ въ сознаніи себя только черезъ общее, какъ въ частномъ и преходящемъ выражени общаго и въчнаго: опъ призракъ, ничто, хотя и кажется чёмъ-то. Вы уже въ норѣ мужества, въ вашей душѣ есть любовь и вамъ доступно общее, человъческое: обратите ваши взоры на свое прошедшее, что вы тамъ увидите? Конечно, ваша память не представить вамъ ин платья, которое вы износили, ни кушаній, которыми вы дакомились, ни минуть, когда удовлетворено было ваше тщеславіе, или другія мелкія страстишки и пошлыя чувствованьица; но вы вспомните тъ минуты, когда васъ поражалъ видъ восходящаго солнца, вечерняя заря, буря и вёдро, и всё явленія роскошно-великолънной природы, этого храма Бога живаго; вы вспомните минуты, когда вы тепло молились, плакали слезами раскаянія, любви, чистой радости, когда васъ поражала новая мысль, словомъ, всѣ моменты, всѣ феномены вашего духа, не исключая отъ сюда и уклоненій отъ истины, если они были моментами отрицанія, необходимыми для познанія истины. Конечно, вы, можеть-быть, вспомните и платье, которое особенно восхищало вашу младенческую душу, и самоваръ, который собираль вокругь себя вашего отца, мать, сестерь и братьевъ, и садъ, въ которомъ вы играли, и калитку, изъ которой во дни юности, выходили украдкой на сладкое свиданіе; но не платье, не самоваръ, не калитка не всѣ эти пустыя частности исторгнутъ грустпо-сладостную слезу воспоминанія изъ вашихъ глазъ, а тотъ «букетъ жизни, тотъ ароматъ блаженства, который освятиль ихъ для васъ... Чистая радость и блаженство своимъ бытіемъ, хотя бы характеръ ихъ былъ и дѣтскій, суть дѣйствительность, потому что если они выходятъ и не изъ разумнаго сознанія, то изъ разумнаго ощущенія себя въ лонѣ вѣчнаго духа. Дѣйствительность есть во всемъ, въ чемъ только есть движеніе, жизнь, любовь; все мертвое, холодное, неразумное, эгоистическое есть призрачность.

Но призрачность получаеть характеръ необходимости, если мы, оставивь человька съ его субъективной стороны. взглянемъ на него объективно, какъ на члена общества. Все служить духу, и истина идеть всеми путями, часто не разбирая ихъ. Иной, удовлетворяетъ только низкимъ нужламъ своей жизни, насыщаеть свою страсть къ любостяжанію, и между тъмъ дълаетъ пользу обществу, нисколько не думал о его пользъ, спосиъществуеть его развитио и благосостоянію, оживляя торговлю, кругообращеніе капиталовъ-олинъ изъ столбовъ, поддерживающихъ зданіе общества, эту необходимую форму для развитія человъчества. Но дъло въ томъ, что одинъ служитъ истинъ для удовлетворенія потребности собственнаго духа, личнаго стремленія къ счастію; другой служить ему невольно и безсознательно, думая служить себъ. Такъ бродящій по нолю воль, спосившествуя плодородію земли, ділаеть большую пользу; по кто же ему поклонится за это, скажеть спасибо, почувствуеть къ нему уваженіе? А между тёмь безъ такихъ воловъ общество было бы невозможно, и представить его безъ нихъ, значило бы представить домъ, построенный изъ камия на воздухѣ.

Дъйствительность есть положительное жизни; призрач-

ность ея отрицаніе. Но, будучи случайностію, призрачность дѣлается необходимостію, какъ уклоненіе отъ пормальности вслѣдствіе свободы человѣческаго духа. Такъ здоровье необходимо условливаеть болѣзнь, свѣтъ темноту. Цѣлое заключаетъ въ себѣ всѣ свои возможности, и осуществленіе этихъ возможностей, какъ имѣющее свои причины, слѣдовательно свою разумность и необходимость—есть дѣйствительность. Если мы возьмемъ человѣка, какъ явленіе разумности — идея человѣка будетъ неполна: чтобъ быть полною, она должна заключать въ себѣ всѣ возможности, слѣдовательно, и уклоненіе отъ нормальности, т. е. паденіе. ІІ потому, пустой, глупый человѣкъ, сухой эгоистъ есть призракъ; по пдея глупца, эгоиста, подлеца есть дѣйствительность, какъ необходимая сторона духа, въ смыслѣ его уклоненія отъ нормальности.

Отсюда являются двё стороны жизни — дёйствительная, или разумная дёйствительность, какъ положеніе жизни, и призрачная дёйствительность, какъ положеніе жизни. Отсюда же выходить и наше раздёленіе поэзіи, какъ воспроизведеніе дёйствительности, на двё стороны — положительную и отрицательную. Чтобы придать нашему созерцанію осязательную очевидность, бросимъ бёглый взглядъ на два произведенія поэта, выражающія каждое одну изъ этихъ сторонъ жизни.

Вы возвышаетесь духомъ и предаетесь глубокой и важной думъ, читая «Тараса Бульбу»; вы смъетесь и хохочете, читая курьёзную «Повъсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ»: отчего эта противоположность впечатлънія отъ двухъ произведеній одного и того же художника?—Отъ сущности дъйствительности, возсозданной въ томъ и другомъ, оттого, что первое изображаетъ положеніе жизни, а другое—ея отрицаніе. Что такое Тарасъ Бульба? Герой, представитель жизни цълаго народа, цълаго политическаго общества въ извъстную эноху жизни. Что вы

видите въ этой поэмъ? что особенно поражаетъ васъ въ ней? Общество, составленное изъ пришельцевъ разныхъ странъ, нзь удалыхъ головъ, бъжавшихъ, кто отъ нищеты, кто отъ родительскаго проклятія, кто отъ меча закона, и, между тімь, общество, им вющее одина общій характера, твердо сплоченное и связанное какимъ-то крѣпкимъ цементомъ. Въ чемъ эта связь?--въ православін?--но опо такъ безтребовательно, такъ ограниченио и бъдно въ своей сущности, что мало походить на религію.--«Опи приходили сюда, какъ будто возвращались въ свой собственный домъ, изъ котораго только за часъ передъ тёмъ вышли. Пришедшій является только къ кошевому, который обыкновенно говориль: «Здравствуй. Что-во Христа въруешь?» — Върую! — отвъчалъ приходившій. «И въ Троицу святую въруешь?»—Върую!—«И въ церковь ходишь?»— Хожу. — «А пу, перекрестись!» — Пришедшій крестился. «Ну, хорошо», отвъчаль кошевой: «ступай же въ который самь знаешь курень». — Этимъ оканчивается вся церемонія». — Нътъ, туть была другая сильнъйшая связь: это удальство, которому жизнь---копейка, голова---наживное дёло; это жажда дикихъ натуръ, людей кипящихъ избыткомъ исполинскихъ силъ,жажда наполнить свою жизнь, тяготимую бездъйствіемъ и праздностію; что же лучше могло наполнить ее, удовлетворить дикій духъ человъка могучаго, но безъ идей, безъ образованности, почти полу-дикаря, какъ не кровавая съча, какъ не отчаянное удальство во время войны, и не бъщенная гульба во времи мира? Оттого-то и въ этой гульбъ пъть инчего оскорбляющаго чувство, по такъ много поэтическаго; оттого-то эта гульба была, какъ превосходно выразился поэтъ, шпрокимъ разметомъ души. Итакъ, вотъ гдъ основа и источникъ казацкой жизни и Запорожской Съчи, «того гиъзда, откуда вылетали тъ гордые и крънкіе, какъ львы» и вотъ гдъ основная идея поэмы Гоголя. Тарасъ Бульба является у него представителемъ этой жизни, иден этого народа, апотеозомъ этого широкаго размета души. Дурной мужъ, какъ всё люди полудикой

гражданственности, онъ любитъ своихъ сыновей, потому что изъ нихъ должны выйдти важные рыцари, и онъ не любиль бы и презпраль бы дочерей своихъ, еслибы имълъ ихъ, потому что онъ никакъ не могъ понять, что хорошаго въ человъкъ, если онъ не годится въ рыцари. Онъ быль христіанинъ и православный по преданію, въ самомъ отвлеченномъ смыслъ: ръдко видълъ церковь Божію, и въ правилахъ жизни своей руководствовался обычаемъ и собственным страстями, а не религіею-и между тъмъ заръзаль бы роднаго сына за малъйшее слово противъ религи, и фанатически ненавидълъ басурмановъ. Онъ любилъ свою роднув Украйну и ничего не зналъ выше и прекрасите удалаго казачества, потому что чувствоваль то и другое въ каждой каплъ крови своей, и духъ того и другаго нашелъ въ немъ свой настоящій сосудъ, ръзкими, рельефными чертами вышчатлёлся на его полудикой физіономіи и во всей его полудикой личности. Народную вражду онъ смъщалъ съ личною ненавистію, и когда къ этому присоединился дикій фанатизм отвлеченной религіозности, то мысль о поганомъ католичствъ, какъ называлъ опъ Поляковъ, представлялась емувъ форм' дымящейся крови, предсмертных стоновъ и зарем пылающихъ городовъ, селъ, монастырей и костеловъ... Это лице совершенно трагическое; его комизмъ только въ противоположности формъ его индивидуальности съ нашимкомизмъ чисто внъшній. Вы смъетесь, когда онъ дерется на кулачки съ роднымъ сыномъ и пресерьезно совътуетъ ем тузить всякаго, какъ онъ тузилъ своего батьку; но выуже и не улыбаетесь, когда видите, что онъ попался въ плънь. потянувшись за грошевою люлькою; но вы содрагаетесь, только еще видя, что онъ, въ простной битвъ, приближаети къ оторопъвшему сыну-сердце ваше предчувствуетъ тратическую катастрофу; но у васъ замираетъ духъ отъ ужась. когда въ вашемъ слухъ раздается этотъ комическій вопросъ «что, сынку?»; но вы бользнение раздыляете это мимолетие Ъ

111

11-II-

TO

d.

0Å

МЪ

lê-

[y-

010

NB

-91

BЪ

Ba

)T0

p0-

[---

M

9iK

ΙЪ.

Cb,

TCE

III.

ıca.

(1)

умпленіе желізнаго характера, въ словахъ Бульбы: «Чімъ бы не казакъ быль?-и станомъ высокій, и чернобровый, и лице какъ у дворянина, и рука была кръпка въ бою-пропаль, пропаль безь славы!»... А эта страшная жажда мести у Бульбы противъ красавицы Польки, по мижнію его чарами погубившей его сына, и потомъ-это море крови и пожаровь, объявшее враждебный край и, среди его, грозная фигура, стараго фанатика, совершавшаго страшную тризну въ память сына, наконець, это омертвение могучей души, оглушенной двукратнымъ потрясеніемъ, потерею обоихъ сыновей: «Неподвижный сидъль онъ на берегу моря, шевеля губами и произнося: «Останъ мой, Останъ мой!» Передъ нимъ сверкало и разстилалось Черное море; въ дальнемъ тросникъ кричала чайка; бълый усъ его серебрился и слезы канали одна за другою...» А это безконечно-знаменательное: «слышу, сынку!» и эта вторая страшная тризна мщенія за втораго сына, кончившаяся смертію мстителя, и какою смертію!-привязанный жельзною цынью ко стоячему бревну, со пригвожденною рукою, кричаль онъ своимъ «хлопцамъ», что имь надо дёлать, чтобы спастись отъ непріятеля, и изъявляль свой восторгъ отъ ихъ удальства и проворства... Видите ли: у этого человъка была идея, которою онъ жилъ и для которой онъ жилъ; видите ли: опъ не пережилъ ея, онъ умеръ вивств съ нею... Для нея убиль онъ собственною рукою ишаго сына, для нея онъ умеръ и самъ... Въ его душъ жила одна идея, и всъ другія были ему недоступны, враждебны и ненавистны. А жизнь въ объективной, идеж, до претворенія ел въ субъективную стихію жизни-есть жизнь въ разумной действительности, въ положении, а не въ отрицанін жизпи. Грубость и ограниченность Бульбы принадлежать не его личности, но его народу и времени. Сущность жизни всякаго народа есть великая дъйствительность, въ Тарасъ Бульбъ эта сущность нашла свое поливищее выражение. Совству другой міръ представляеть намъ ссора Ивана

Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ. Это міръ случайностей, перазумности; это отрицаніе жизни, ношлая, грязпая дъйствительность. Но какимъ же образомъ могла она сдълаться содержаніемъ художественнаго произведенія, и пе унизиль ли художникъ своего таланта, сдълавъ изъ него такое употребленіе? Резонеры, которымъ доступна одна внъшность, а не мысль, отвътить вамъ утвердительно на этотъ вопросъ. Мы думаемъ напротивъ. Какъ мы уже сказали, частное явленіе отрицанія жизпи возбуждаеть одно отвращеніе и есть призракъ; по какъ идея, какъ необходимая сторона жизни, призрачность получаетъ характеръ действительности и, слъдовательно, можетъ и должна быть предметомъ искусства. Туть задача въ томъ, чтобы въ основаніи художественнаго произведенія лежала общая идея, и чтобы изображенія поэта были не списками съ частныхъ явленій (этп списки — суть призраки), но идеалы, для того перешедшіе въ дъйствительность явленія, чтобы каждый изъ нихъ быль выраженіемъ иден, представителемъ цёлаго ряда, безконечнаго множества явленій одной идеи, и, будучи въ этомъ значенін общимъ, быль бы въ то же время единымъ — живою, замкнутою въ самой себъ особностію. Всякая частность есть случайность, и если ея значеніе низко и пошло-она оскорбляеть человъческое, эстетическое чувство; но общее, хотя бы и отрицательной стороны жизни, уже дълается предметомъ знанія, и теряетъ свою случайность. Вотъ, еслибы поэть, въ пзображеніяхъ такого рода явленій, вздумаль оправдывать свои субъективныя убъжденія, и грязь жизни выдавать субъективно за поэзію жизни, —тогда бы его изображенія были отвратительны; по тогда бы онъ уже и пересталь быть поэтомъ. Они существують для него объективно, всв они вив его, по онъ самъ въ нихъ, потому что поэтическимъ ясновидъніемъ своимъ онъ провидить ихъ идею и, проведя ихъ чрезъ свою творческую фантазію, просв'ятинеть этою идеею ихъ естественную грубость и грязность.

Объективность, какъ необходимое условіе творчества, отрицаеть всякую моральную цёль, всякое судопроизводство со стороны поэта. Изображая отрицательныя явленія жизни; поэть нисколько не думаеть писать сатиры, потому что сатира не припадлежить къ области искусства и никогда не можеть быть художественнымъ произведеніемъ. Рисуя правственныхъ уродовъ, поэть дёлаеть это совсёмъ не скрѣпя сердце, какъ думають многіе: нельзя сердится и творить въодно и то же время; досада портить желчь и отравляеть наслажденіе, а минута творчества есть минута высочайшаго наслажденія. Поэть не можеть непавидёть свои изображенія, каковы бы они ни были; папротивъ, скорѣе онъ ихъ любить, потому что они представляются ему уже просвѣтленными идеею.

Были два пріятеля-сосъда, соединенные другь съ другомъ неразрывными узами взяимной пошлости, привычки и праздности. Мы не будемъ ихъ описывать послъ изображенія; сдъланнаго поэтомъ. Если, читатели, вы поминте и знаете Ивана <u> Ивановича и Ивана Никифоровича — были опи искренними</u> друзьями, и вдругъ сдълались страшными врагами, и прожили все свое имъніе, стараясь дожхать другь друга судомъ. А отчего? Стоитъ произвести по нъскольку чертъ характера каждаго-и вы поймете причину этого страннаго явленія. Иванъ Пвановичь быль человъкъ весьма солидный, самаго тонкаго обращенія, терпъть не могь грубых в или непристойных в словъ, н когда подчивалъ кого-пибудь знакомаго табакомъ, то говорилъ: «смъю ли просить, государь мой, объ одолжения?», а если незнакомаго, то: «смъю ли просить, государь мой, не имън чести знать чина, имени и отчества, объ одолжения?» Онъ любилъ лежать на солнцъ подъ навъсомъ въ одной рубашкъ только послъ объда, а вечеромъ падъваль бекешъ, выходя со двора; но самая ръзкая черта его характера была та, что, съвши дыню, онъ завертывалъ въ бумажку съмена, и надписываль: «Сія дыня съёдена такого-то числа»,

а если при этомъ былъ гость, то: «участвовалъ такой-то». Присовокуните къ этому портрету страшную скупость и высокую цёну, придаваемую земпымъ благамъ-- и Иванъ Ивановичь весь передъ вами. Иванъ Никифоровичь отличался оть своего друга толстотою и любилъ употреблять въ разговоръ непристойныя слова, къ крайнему пеудовольствио достойнаго Ивана Ивановича; любилъ въ жаркіе дни выставлять на солнце спину, садиться по горло въ воду, куда ставилъ столъ и самоваръ и пилъ чай; любилъ въ комнатъ лежать въ натуръ, и когда потчивалъ кого изъ своей табакерки табакомъ, то просто говорилъ: «одолжайтесь». Теперь вы видите всю эту жизнь, понятную только въ произведени художника, но случайную, безсмысленную и глупо-животную въ дъйствительности. Оба героя призраки, (въ томъ смыслъ, который мы выше придали этому слову), и все, что они ни дълаютъ, есть призракъ, пустота, безсмыслица. Въ ихъ характерахъ уже лежитъ какъ пеобходимость, ихъ ссора. Ивану Ивановичу захотълось имъть у себя ружье Ивана Никифоровича; зачъмъ?-не спрашивайте: онъ самъ этого не знаеть. Мы думаемъ, что это было безсознательнымъ желаніемъ чёмъ-нибудь паполнить свою праздную нустоту; потому что пустота, велъдствіе праздности, тяжка и мучительна для всякаго человъка, какъ бы ин былъ опъ пошлъ. Пванъ Никифоровичь, по такой же причинь, не хотыль уступить ему своего ружья, хотя тотъ и объщалъ ему за него приличное вознаграждение бурую свинью и мъщокъ гороха. Завязался крупный разговоръ, въ которомъ Иванъ Никифоровичъ, грубый въ своихъ выходкахъ, назвалъ Ивана Ивановича, этого до крайности деликатнаго и щекотливаго со стороны своей чести и аттенціи челов'єка, назваль его — о, ужась! гусакомъ...

Великая, безконечно великая черта художественнаго генія этотъ гусакъ! Еслибы поэтъ причиною ссоры сдълаль дъйствительно оскорбительныя ругательства, пощечину, дракуэто испортило бы все дело. Изгъ, поэтъ понялъ, что въ міръ призраковъ, которому онъ давалъ объективную действительность, и забавы, и занятія, и удовольствія, и горести, и страданія, и самое оскорбленіе-все призрачно, безсмысленно, пусто и пошло. Не думайте, чтобы эти два чудака были отъ природы созданы такими: итть, природа справедлива къ людямь-она каждому даеть въ мъру чего и сколько ему нужно. Конечно, эти чудаки и отъ природы были пе бойкіе люди, но и имъ нашлась бы своя ступенька на безкопечной лъстинцъ человьческой и гражданской дъятельности: опи могли бъ быть хорошими мужьями, отцами, хозяевами, и имъть, сообразно съ занимаемымъ ими мъстечкомъ въ цъпи явленій духа, свою благообразность формы; по воснитаніе, животная лівнь, праздность, невъжество-воть что сделало ихъ такими. Ихъ хотять примирить и почти было успъли въ этомъ; уже Иванъ Никифоровичь полёзь въ кармань, чтобъ достать рожокъ и сказать «одолжайтесь», но вдругь дукавый дернуль его замьтить, что не стоить сердиться изъ пустаго слова «гусакъ». Видите ли: еслибы онъ гусака замёнилъ птицею, или выразился какъ-нибудь иначе, они снова были бы друзьями; но роковое слово было сказано, и снова прадъдовскіе карбованцы полетели изъ железныхъ сундуковъ въ карманы подъячихъ, и имъніе, вижшиее и внутрениее благосостояніе, вся жизнь была истощена въ тяжбъ. Десять лътъ прошло, головы ихъ убълились сединою, и поэть восклицаеть: «Скучно на этомъ светь, господа!» Да! грустно думать, что человъкъ, этотъ благородивний сосудъ духа, можеть жить и умереть призракомъ и въ призракахъ даже и не подозрѣвая возможности дѣйствительной жизни! И сколько на свътъ такихъ людей, сколько на свътъ Ивановъ Ивановичей и Ивановъ Никифоровичей!...

Начиная говорить о «Тараст Бульбт» о «Ссорт Ивана Івановича съ Иваномъ Никифоровичемъ», мы не думали писать критики на эти два великія произведенія поэзій: это не относилось въ нашему предмету и далеко превзошло бы наши силы. Мы только взглянули на нихъ мимоходомъ, и только съ одной стороны—съ той, которая непосредствению относится къ предмету нашей статьи. Мы ноказали, что элементы трагическаго находятся въ дъйствительности, въ положеніи жизни, такъ сказать; а элементы комическаго въ призрачности, имѣющей только объективную дъйствительность, въ отрицаніи жизни. Трагедія можетъ быть и въ повъсти, и въ романъ, и въ поэмъ, и въ пихъ же можетъ быть комедія. Что же такое, какъ не трагедія, «Тарась Бульба», «Цыганы» Пушкина, и что же такое «Ссора Івана Ивановича съ Іваномъ Никифоровичемъ», «Графъ Пулинъ» Пушкина, какъ не комедія?... Тутъ разница въ формъ, а не въ идеъ. Но перейдемъ къ трагедіи и комедіи, и взглянемъ на пихъ ноближе.

Трагическое заключается въ столкновении естественнаго влеченія сердца съ ндеею долга, въ проистекающей изъ того, борьбъ и, наконецъ, побъдъ или паденіи. Изъ этого видио, что кровавый конецъ тутъ ровно ничего не значить: Пванъ Ивановичъ могъ бы заръзать Ивана Никифоровича, а потомъ и себя, но комедія все бы осталась комедіею. Объненимъ это примъромъ. Андрій, сынъ Бульбы, полюбиль дъвушку изъ враждебнаго илемени, которой онъ не могъ отдаться, не изменивъ отечеству: вотъ столкновение (коллизія), вотъ сшибка между влеченіемъ сердца и нравственнымъ долгомъ. Борьбы не было: пылкая патура, кипящая юными силами, отдалась безъ размышленія вдеченію сердца. Будете ли вы осуждать ее, имъете ли право на это? Нътъ, ръшительно нътъ. Поймите безконечно глубокую идею суда Спасителя надъ блудинцею, и не подпимайте камия. А, между тьмъ, Андрій всетаки виновать предъ правственнымъ закономъ. Но еслибы въ жизни не было такихъ столкновеній, то не было бы и жизни, потому что жизнь только въ противоръчіяхъ и примиреніи, въ борьбъ воли съ долгомъ п влеченіемъ сердца, и въ побъдъ или паденіи. Чтобы подать людямъ великій и поразительный примъръ процесса осуществленія развивающейся идеи и урокъ правственности, судьба избираетъ благороднъйшіе сосуды духа и дълаетъ ихъ уже не преступниками, но очистительными жертвами, которыми искупается истипа. Отелло потому и свершилъ страшное убійство невинной жены, и палъ подъ тяжестію своего проступка, что онъ былъ могучъ и глубокъ: только въ такихъ душахъ кроется возможность трагической коллизіи, только изъ такой любви могла выйдти такая ревность и такая жажда мести. Онъ думалъ отомстить своей женъ столько же за себя, сколько и за поруганное ся мнимымъ преступленіемъ человъческое достоинство.

Человъкъ живеть въ двухъ сферахъ, въ субъективной, со стороны которой онъ принадлежитъ только себъ и больше никому, и въ объективной, которая связываетъ его съ семействомъ, съ обществомъ, съ человъчествомъ. Эти двъ сферы противоположны: въ одной онъ господинъ самого себя, никому неотдающій отчета въ своихъ стремленіяхъ и склонностяхъ; въ другой онъ весь въ зависимости отъ вибшнихъ отношеній. Но такъ какъ этотъ объективный міръ суть законы его же собственнаго разума, только виъ его осуществившіеся, какъ явленія; такъ какъ этотъ объективный міръ требуеть отъ него того же самаго, чего и онъ требуетъ для себя отъ объективнаго міра, —то опъ и связань съ нимъ неразрывными узами крови и духа. Вслъдствіе этихъ-то кровно-духовныхъ узъ правственность выходить изъ гармопіи субъективнаго челов'яка съ объективнымъ міромъ, и если та и другая сторона позволяеть ему предаться влеченію сердца, пъть столкновенія, пи борьбы, ни побъды, пи паденія, по есть одно свътлое торжество счастія. Когда же они расходятся, и одна влечеть его въ сторону, а другая въ другую, -- является столкновеніе, и чемь бы человекь ин вышель изъ этой битвы-побежденнымъ или побъдителемъ-для него пътъ уже полнаго счастія:

онъ застигнутъ судьбою. Если онъ увлекся влеченіемъ сердца и оскорбилъ правственный законъ, изъ этого оскорбленія вытекаеть, какъ необходимый результать, его наказаніе, потому что отношенія его къ объективному міру тъмь глубже и священиве, чемъ онъ больше человекъ. Въ собственной душть его кории правственнаго закона, и онъ самъ свой судья и свое наказаніе: еслибы борьба и не разръшилась кровавою катастрофою, его блаженство уже отравлено, уже неполно, потому что сознание его незаконности не только въ людихъ, показывающихъ па него пальцами, по въ собственномъ его духъ. Еще прежде, нежели Бульба убилъ Андрія, Андрій быль уже наказань: онь побледнёль и задрожаль, увидевь отца своего. Одно уже то, что онъ нашелъ себя въ страшной необходимости занести убійственную руку на соотечественниковъ, наконецъ, на отца, было наказаніемъ, которое стоило смерти, и которое смерть сдълала для него выходомъ, спасеніемъ, а не карою. І самое блаженство его-не отравлялось ли опо какою-то мрачною, тяжелою мыслію? Мы сказали, что Андрій увидълъ себя въ страшной необходимости лить кровь своихъ соотечественниковъ, своихъ единовърцевъ: да, въ необходимости, которая, какъ слъдствіе изъ причины, логически проистекла изъ его ноступка. Макбетъ, томиный жаждою властолюбія, достигнуть престола убійствомъ своего законнаго короля, своего родственника и благодътеля, мужа кроткаго и благороднаго, думаль, можеть-быть, спять съ себя вину цареубійца, мудро управляя народомъ и даровавъ ему вившиюю безопасность и внутрениее благоденствіе; но ошибся въ своихъ разсчетахъ: не виъшній случай быль его карою, но самъ опъ паказаль себя; во встхъ онъ видълъ своихъ враговъ, даже въ собственной тъни, и скоро самъ созналъ это, увидъвъ логическую необходимость новыхъ злодъйствъ, и сказавъ:

Кто вло посъялъ-зломъ и поливай!

Кровавая катастрофа въ трагедін не бываеть случайною и вившнею; зная характеръ Бульбы, вы уже впередъ знаете, какъ онъ поступитъ съ сыномъ, если встретиться съ нимъ: сыноубійство для вась уже заранье очевидная необходимость: Но сущность трагического не въ кровавой развязкъ, которая можеть произвести только чувство подавляющаго ужаса, смъшаннаго съ отвращениемъ, а въ идеъ необходимости кровавой развязки, какъ актъ нравственнаго закона, отомщающаго за свое нарушение, и вотъ почему, когда запавъсъ скрываеть отъ васъ сцену, покрытую трупами, вы уходите изъ театра съ какимъ то усноконвающимъ чувствомъ, съ тихою и глубокою думою о таинствъ жизни. Потому же самому вы примиряетесь и съ благородными жертвами, человъчески понимая, какъ трудно было имъ пройдти безвредно между Сциллою сердечнаго влеченія и Харибдою правственнаго закона, удовлетворить вивств и субъективнымъ требованіямь и объективнымь обязанностямь

Само собою разумѣется, что, когда герой трагедін выходить изъ борьбы побъдителемь, то развязка можеть обойдтись безъ крови, но что драма, отъ этого не теряеть своего трагическаго величія. Что можеть быть выше, какъ зрѣлище человѣка, который отрекся отъ того, что составляло условіе, сферу, воздухъ, жизнь его жизни, свѣть его очей, для котораго навсегда потеряна надежда на полиоту блаженства, и для котораго остается одинъ выходъ — сосредоточивъ въ себъ бремя несчастія, нести его въ благородномъ молчаніи, тихой грусти и созпаніи великодушной побъды?... Равно величественное зрѣлище представляеть собою человѣкъ падшій жертвою своей побъды: таковъ былъ бы Гамлетъ, который для того, чтобъ исполнить долгъ мщенія за отца, отказался отъ блаженства любви, еслибы въ его дъйствіяхъ было видно больше рѣшительности и полноты натуры.

Трагедія выражаеть не одно положеніе, но и отрицаніе жизни, — только отрицаніе трагическаго характера. Мы разу-

мъемъ тъ страшныя уклоненія отъ нормальности, къ которымъ способны только сильныя и глубокія души. Макбеть Шекспира-злодъй, но злодъй, съ душою глубокою и могучею, отчего онъ, вижсто отвращения, возбуждаетъ участие: вы видите въ немъ человъка, въ которомъ заключалась такая же возможность побъды, какъ и паденія, и который, при другомъ направленіи, могъ бы быть другимъ челов'якомъ. Но есть злодъи какъ будто по своей натуръ, есть демоны человъческой природы, по выражению Рётшера: такова леди Макбетъ, которая подала кинжалъ своему мужу, подкръпила и вдохновила его сатанинскимъ величіемъ своего отверженія отъ всего человъческаго и женственнаго, своимъ демонскимъ торжествомъ надъ законами человъческой и женственной натуры, адскимъ хладнокровіемъ своей решимости на мрачное злодъйство. Но для слабаго сосуда женской организаціи быль слишкомъ не въ мъру такой сатанинскій духъ, и сокрушиль его своею тяжестію, разръшивъ безумство сердца помъщательствомъ разсудка, тогда какъ самъ Макбетъ встрътиль смерть подобно великому человъку, и этимъ помъриль съ собою душу зрителя, для котораго въ его наденіи совершилось торжество правственнаго духа. Вообще, демоны человъческой патуры возбуждають въ пашей душъ больше трагическаго ужаса, нежели человъческаго участія: только ихъ гибель миритъ васъ съ ними. Въ нихъ есть своя безконечпость, свое величе, потому что всякая безконечная сила духа, хотя бы проявляющая себя въ одномъ злъ, носить на себъ характеръ величія, по величія чисто объективпаго, которое невольно хочешь созерцать, какъ невольно смотришь на удава или гремучаго змъя, по котораго себъ не пожелаешь. И такъ, предметомъ трагедін можетъ быть и отрицательная сторона жизни, но являющаяся въ силъ и ужасъ, а не въ мелкости и смъхъ, -- въ огромныхъ размърахъ, а не въ ограниченности, - въ страсти, и не страстишкахъ, - въ преступленін, а не въ проступкъ, въ злодъйствъ, а не въ плутияхъ.

Обратимся къ комедін, составляющей главный предметь нашей статьи. Ея значеніе и сущность теперь ясны: она изображаетъ отрицательную сторону жизни, призрачную дъятельность. Какъ величіе и грандіозность составляють характерь трагедін, такъ смъшное составляеть характеръ комедін. Грандіозность трагедін вытекаеть изъ правственнаго закона, осуществляющагося въ ней судьбою ея героевъ — людей возвышенныхъ и глубокихъ, или отверженцевъ человъческой природы, падшихъ ангеловъ; смъшное комедіи вытекаетъ изъ безпрестаннаго противоръчія явленій съ законами высшей разумной дёйствительности. Какъ основа трагедіи на трагической борьбъ, возбуждающей, смотря по ея характеру, ужасъ, состраданіе, или заставляющей гордиться достоинствомъ человъческой природы и открывающей торжество нравственнаго закона, такъ и основа комедін-на комической борьбъ, возбуждающей смъхъ; однакожъ въ этомъ смъхъ слышится пе одна веселость, по и мщеніе за униженное человъческое достоинство, и такимъ образомъ, другимъ путемъ, нежели въ трагедін, но опять-таки открывается торжество правственнаго закона.

Всякое противоръче есть источникъ смъшнаго и комическаго. Противоръче явленій съ законами разумной дъйствительности обнаруживается въ призрачности, конечности и ограниченности—какъ въ Иванъ Ивановичъ и Иванъ Инкифоровичъ; противоръче явленія съ собственною его сущностью, или иден съ формою, представляется то какъ противоръче поступковъ человъка съ его убъжденіями—Чацкій; то какъ представленіе себя пе тъмъ, что есть—титулярный совътникъ Поприщинъ (у Гоголя, въ «Занискахъ Сумасшедшаго»), воображавшій себя Фердинандомъ VIII, королемъ испанскимъ; то какъ достолюбезность или смъщная форма вслъдствіе воспитація, привычекъ, субъективной ограниченности, односторонности нонятій, странной наружности, манеръ, при достопиствъ содержанія,—эта сторона комическаго

есть и въ самомъ Тарасъ Бульбъ. Вообще не должно забывать, что элементы трагическаго и комическаго въ поэзіи смішиваются такъ же, какъ и въ жизпи; почему, въ драмах Шекспира, вмъсть съ героями являются шуты, чудаки п люди ограниченные. Такъ точно и въ комедіи могуть быт лица благородныя, характеры глубокіе и сильные. Различе трагедін и комедін не въ этомъ, а въ ихъ сущности. Претиворъче явленія съ собственною его сущностію, или иде съ формою, можетъ быть и въ трагедін, по тамъ оно ест уже источникъ не смъщнаго и комическаго, а ужаснаго в грандіознаго, если выражается въ героъ, долженствующем осуществить правственный законъ, Алеко Пушкина-человы съ душою глубокою и сильною, по крайней мъръ, съ отведышащими страстями и ужасною волею для свершенія ужас наго, но что онъ представляеть собою, какъ не против ръчіе идеи съ формою? Онъ враждуеть съ человъческим обществомъ за его предразсудки, противные правамъ природы, за его стъспительныя условія, и между тъмь сам вносить эти предразсудки къ бъднымъ дътямъ природы, яп стъснительныя условія къ полудикимъ дътямъ вольност однакожъ изъ этого противоръчія выходить не сивуь, а убійство и ужасъ трагическій-торжество нравственнаго за кона. Чацкій Грибовдова представляеть собою то же претиворъчіе иден съ формою; онъ хочеть исправить общесть отъ его глупостей, чъмъ же? своими собственными глушстями, разсуждая съ глупцами и невъждами о «высоком» г прекрасномъ», читая проповъди и диспутаціи на балахь. 1 всякаго ругая, какъ вырвавшійся изъ сумасшедшаго доч II его противоръчіе смъщно, потому что оно-буря въ съ канъ воды, тогда какъ противоръчіе Алеко—страшная бу на океанъ. Герои трагедін-герои человъчества, его мог щественивнінія проявленія; герон комедін-люди обыкнові ные, хоти бы даже и умные и благородные. Міръ трагедиміръ безконечнаго въ страстяхъ и волъ человъка; міръ 🕪 Ъ,

[][-

11

) [

He-

pn.

awa

HIG

, d

od.

II)t.

CTE

ylle

Th E

Ъ. Г

0.113

(7)

WY :

1011

Bt H.

iil-

, Fi-

медін—міръ ограниченности, конечности. Если въ комедін, между дъйствующими лицами, есть герой человъчества, онь пграеть въ ней обыкновенную роль, такъ что въ ней никто не видитъ, а развъ только подозръваетъ въ возможности герои человъчества. Но какъ скоро онъ является такимъ героемъ и осуществляетъ своею судьбою торжество нравственнаго закона, то хотя бы всъ остальныя лица были дураки и смъшили васъ до слезъ своимъ противоръчіемъ съ разумною дъйствительностію — драматическое произведеніе уже не комедія, а трагедія.

Но есть еще ийчто среднее между трагедією и комедією. Можетъ быть такое произведение, которое, не представляя собою трагической коллизін, какъ осуществленія нравственнаго закона, тъмъ не менъе выражаетъ собою положительную сторону бытія, явленіе разумной дъйствительности, жизнь духа. Мы выше сказали, что на какой бы степени ни явился духъего явленіе есть уже дъйствительность въ разумномъ и положительномъ смыслё этого слова. Какъ двё полярности одной и той же силы, какъ двъ противоположныя крайности одной и той же идеи-идеи дъйствительности, мы представили «Тараса Бульбу» и «Ссору Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ»: теперь мы должны, для уясненія нашей мысли, указать на третье произведение того же поэта-«Старосвътскіе Помъщики». Вы смъетесь, читая изображеніе незатьйливой жизни двухъ милыхъ оригиналовъ, жизни, которая протекаеть въ ежеминутномъ «покушиваніи» разныхъ разностей; вы смѣетесь надъ этою простодушною любовію, скрѣпленною могуществомъ привычки и потомъ превратившеюся въ привычку: но вашъ смѣхъ весело-добродушенъ, и въ немъ нѣтъ ничего досаднаго, оскорбительнаго; но васъ поражаетъ родственною горестью смерть доброй Пульхерін Івановны, и вы, посль, бользненно сочувствуете безотрадной горести стараго младенца апоплексически замерзшаго душевно и телѣсно отъ утраты своей няньки, лелъявшей его безтребовательную жизнь и сдълавшейся ему необходимою, какъ воздухъ для дыханія, какъ свъть для очей, и вамъ, наконецъ, тяжело становится при видъ писпроверженія домашнихъ пенатовъ хлёбосольной четы, которое произвелъ глупый племянникъ, прицънявшійся на ярмаркахъ къ оптовымъ ценамъ, а покупавшій только кремешки и огнивки. Отчего же такъ привязываютъ васъ къ себъ эти люди, добродушные, по ограниченные, даже и неподозрѣвающіе, что можетъ существовать сфера жизни, высшая той, въ которой они живуть, и которая вся состоить въ спаньв, или въ подчивань в и кушанін! Оттого, что это были люди, по своей натуръ неспособные ни къ какому злу, до того добрые, что всякаго готовы были угостить на смерть, люди, которые до того жили одинъ въ другомъ, что смерть одного была смертію для другаго, смертію въ тысячу разъ ужаспъйшею, нежели прекращеніе бытія; сятдовательно, основою ихъ отношеній была любовь, изъ которой вышла привычка, укръплявшая любовь. Это любовь еще на слишкомъ низкой ступени своего проявленія, но вышедшая изъ общаго, родоваго, во въки неизсякающаго источника любви. Это уже явленіе духа, хотя еще слабое и ограниченное, ступень духа, хотя еще и низшая, но уже явленіе не призрака, а духа; уже положение, а не отрицание жизни,словомъ, своего рода разумная дъйствительность. Мы жальемъ, что не можемъ указать ни на одно произведение такого рода въ драматической формъ: оно было бы именио такимъ, которое не есть ин трагедія, ни комедія, но то среднее между ними, о которомъ мы говоримъ. Такого-то рода произведенія назывались въ старину «слезпыми комедіями» и «мъщанскими трагедіями», а потомъ «драмами». Они обыкновенно заключали въ себъ трогательное и даже «бъдственное» происшествіе «благополучно окончившееся». Плодовитая досужесть Коцебу въ особенности спабжала XVIII въкъ этими «драмами», которыя были бы именно темъ, о чемъ мы говоримъ, еслибъ были художественны. И въ самомъ дълъ, такія средпія между трагедіею и комедіею «драмы», по своей сущности, удобиже

къ такъ называемой «благополучной развязкъ», хотя эта счастливая развязка» и отнюдь не составляеть ни ихъ сущности, ни ихъ необходимаго условія. Мы выше сказали, что кровавая развязка не есть непременное условіе даже самой трагедін; но трагедін необходимо требуеть жертвъ кто бы они пи были, добрые или злые, и черезъ что бы пми ии были, чрезъ смерть или утрату надежды на счастіе жизни: ибо только въ борьбъ можетъ вполиъ и торжественпо осуществиться торжество нравственнаго закона, которое есть высочайшее торжество духа и величайшее явленіе міровой жизни; почему и трагедія есть высшая сторона, цвёть и торжество драматической поэзіп. Изъ этого ясно видно, что «драма» можетъ изображать явленія разумной дъйствительности на всъхъ ел ступеняхъ, а не только на первыхъ, какъ въ приведенныхъ нами въ примъръ «Старосвътскихъ помъщикахъ». Отъ комедін она существенно разпится тъмъ, что представляетъ не отрицательную, а положительную сторону жизни; а отъ трагедіи она существенно разнится тъмъ, что, даже и выражая торжество нравственваго закона, дълаетъ это не чрезъ трагическое столкновеніе, въ самомъ себъ неизбъжно заключающее условіе жертвъ, а слъдовательно лишена трагическаго величія и недосягаеть до высшихъ міровыхъ сферъ духа. Мы думаемъ, что вслѣдствіе такого умозрительнаго построенія, можно причислить къ «драмамъ», наприм'єръ, шекспирова «Венеціянскаго Купца» и пушкинскаго «Анджело», и въ «Кавказскомъ Плённикъ «видъть, въ эпическомъ родъ, соотвътственное ей явленіе.

Итакъ мы нашли три вида драматической поэзіи—трагедію, драму и комедію, выводя ихъ не по вившнимъ признакамъ, а изъ идеи самой поэзіи. Для большей опредъленности възпиъ техническихъ словахъ мы должны сказать еще нъсколько словъ о сбивчивомъ употребленіи слова «драма». Словомъ «драма» выражають и общее родовое поиятіе провзведеній цълаго отдъла поэзіи, такъ что всякая піеса въ

праматической формъ-трагедія ли то, комедія, или даже водевиль, есть уже драма; потомъ, подъ словомъ же «драма», разумьють высшій родь драматической поэзін-трагедію. Поэтому, піесы Шекснира называются то драмами, то трагедіями, но въ объихъ случаяхъ означая этими словами высшій праматическій родъ, то, что Німцы называють Trauerspiel, Другіе хотять ихъ называть только «драмами», оставляя названіе «трагедін» за греческими произведеніями этого рода, и желая словомъ «драма» отличить христіанскую трагедіюгерой которой есть субъективная личность внутренияго п самоцъльнаго человъка-отъ языческой трагедін, герой которой народъ, въ лицъ царей и героевъ, какъ представителей народа, какъ объективныхъ личностей, и потомъ, какъ трагедін въ маскъ и на котурнъ, и съ хоромъ — органомъ тапиственнаго и пезримоприсутствующаго героя-колоссальнаго призрака судьбы. Нъкоторые хотять присвоить название «трагедіи» особенному роду произведеній новъйшаго искусства, ведущаго свое начало отъ «мистерій» среднихъ въковъ, — драмамъ лирическимъ, каковы суть: «Фаустъ» Гёте, герой которой есть цёлое человёчество въ лицё одного человъка, и «Орлеанская Дъва» Шиллера, герой которой есть цълый народъ, таинственно-спасаемый высшими силами въ лиць чуждой дъвы, которой имя и явление необъяснию утверждено исторіей. Намъ кажется, что каждое изъ этихъ мивній пиветь свое основаніе, и паша цвль была не указать на справедливъйшее, но дать знать о существовани вежхъ. Кто пойметъ идею этихъ митий, для того не будеть казаться сбивчивымъ различное употребление слова «драма».

Трагедія или комедія, какъ и всякое художественное произведеніе, должна представлять собою особый, замкнутый вы самомь себъ міръ, т. е. должна имъть единство дъйствія, выходящее не изъ внъшней формы, но изъ иден, лежащей въ ея основаніи. Она не допускаетъ въ себя ни чуждых своей идеъ элементовъ, ни внъшнихъ толчковъ, которые бы

помогали ходу дъйствія, но развивается имманентно, т. е. изпутри самой себя, какъ дерево развивается изъ зерпа. Поэтому, всякая піеса въ драматической формъ, вполпъ выражающая и вполнъ изчерпывающая свою идею, цълая и оконченная въ художественномъ значеніи, т. е. представляющая собою отдъльный и замкнутый въ самомъ себъ міръ, есть или трагедія, или комедія, смотря по сущности ел содержанія, по писколько не смотря на ел объемъ и величину, хотя бы она простиралась не далъе илти страницъ. Такъ, напр., піесы Пушкина: «Моцартъ и Сальери», «Скупой Рыцарь», «Русалка», «Борисъ Годуновъ» и «Каменный Гость» — суть трагедін во всемъ смыслъ этого слова, какъ выражающія, въ драматической формъ, идею торжества правственнаго закона, и представляющія, каждая въ отдъльности, совершенно особый и замкнутый въ самомъ себъ міръ.

Теперь посмотримъ, какимъ образомъ комедія можетъ представлять собою особый замкнутый въ самомъ себъ міръ; для чего бросимъ бъглый взглядъ на высоко-художественное произведеніе въ этомъ родъ, на комедію Гоголя «Ревизоръ».

Въ основани «Ревизора» лежитъ та же идея, что и въ «Ссоръ Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ»: въ томъ и другомъ произведении поэтъ выразилъ идею отрицанія жизни, идею призрачности, получившую, подъ его художническимъ ръзцомъ, свою объективную дъйствительность. Разница между ими не въ основной идеъ, а въ моментахъ жизни, схваченныхъ поэтомъ, въ индивидуальностяхъ и положеніяхъ дъйствующихъ лицъ. Во второмъ произведеніи, мы видимъ пустоту, лишениую всякой дъятельности; въ «Ревизоръ» пустоту, наполненную дъятельностію мелкихъ страстей и мелкаго эгоизма. Чтобы произведенія его были художественны, т. е. представляли собою особый, замкнутый въ самомъ себъ міръ, онъ взялъ изъ жизни своихъ героевъ такой моментъ, въ которомъ сосредоттчивалась вся цълостность ихъ жизни, ея значенія, сущность, идея, начало и конецъ:

II

въ первомъ-ссору двухъ пріятелей, во второмъ-ожиданіе и пріємъ ревизора. Все чуждое этой ссоръ и этому ожиданію и пріему ревизора не могло войдти въ повъсть и комедію, и та и другая начаты съ начала и кончены въконцъ; намъ не нужно знать подробности дътства обонхъ друзей враговъ, ни того, что было съ ними послъ, какъ ихъ видъль поэть: мы знаемъ это изъ повъсти, потому что знаемъ этихъ героевъ съ головы до ногъ, знаемъ всю сущность ихъ жизии, вполнъ изчерпанную поэтомъ въ описаніи ихъ ссоры. Такъ точно, на что намъ знать подробности жизни городинчаго до начала комедін? Ясно и безъ того, что онъ въдътствъ быль ученъ на мёдныя деньги, шгралъ въ бабки, бёгалъ по улицамъ, и какъ сталъ входить въ разумъ, то получилъ отъ отца уроки въ житейской мудрости, т. е. въ искусствъ нагръвать руки и хоронить концы въ воду. Лишенный въ юности всякаго религіознаго, правственнаго и общественнаго образованія, онь получиль въ наслъдство отъ отца и отъ окружающаго его міра слідующее правило вітры и жизни: въ жизни падо быть счастливымь, а для этого нужны деньги и чины, а для пріобрътенія ихъ взяточничество, казпокрадство, низкопоклонничество и подличанье передъ властями, знатностію и богатствомъ, ломанье и скотская грубость передъ низшими себя. Простая философія! Но замътьте, что въ немъ это не разврать, а его правственное развитіе, его высшее понятіе о своихъ объективныхъ обязанностихъ: онъ мужъ, следовательно обязанъ прилично содержать жену; онъ отецъ, слъдовательно должень дать хорошее приданое за дочерью, чтобы доставить ей хорошую партію и тімь, устронвь ея благосостояніе, вынолнить священный долгъ отца. Онъ знаетъ, что средства его для достиженія этой цёли грёшны передъ Богомъ; но онь знаетъ это отвлеченно, головою, а не сердцемъ, и онъ оправдываеть себя простымь правиломь всёхь пошлыхь людей: «не я первый, не я последній, все такъ делають». Это практическое правило жизни такъ глубоко вкоренено въ немъ, что обра-

тилось въ правило правственности; онъ ночелъ бы себя выскочкою, самолюбивымъ горденомъ, еслибы, хотя позабывшись, повель себя честно въ продолжение недъли. Да оно п страшно быть «выскочкою»: веё пальцы уставятся на васъ, веё голоса подымутся противъ васъ; нужна большая сила души и глубокіе корни правственности, чтобъ бороться съ общественнымъ мпъніемъ. И не Сквозники Дмухановскіе увлекаются могучимъ водоворотомъ этой магической фразы «всъ такъ дълають» и, какъ Молоху, приносять ей въ жертву и таланты, и силы души, и вижшнее благосостояніе. Нашъ городинчій былъ не изъ бойкихъ отъ природы, и потому «всъ такъ дълають» было слишкомъ достаточнымъ аргументомъ для успокоенія его мозолистой совъсти; къ этому аргументу присоединился другой, еще сильнъйшій для грубой и пизкой души: «жена, дъти, казепнаго жалованья не станеть на чай и сахаръ». Вотъ вамъ и весь Сквозникъ-Дмухановскій до начала комедін. Что касается до формъ, въ какихъ опъ выражался и проявлялся до того, онъ всъ тъ же, все его же, какъ и во время комедін. Такъ же нетрудно понять, что съ нимъ было и по окончаніи комедін, какъ онъ дожилъ свой въкъ. Художественная обрисовка характера въ томъ и состоить, что если онь дань вамь поэтомь въ извъстный моменть своей жизни, вы уже сами можете разсказать всю его жизнь и до и послѣ этого момента. Конецъ «Ревизора» сдёланъ поэтомъ опять не произвольно, но вслёдствіе самой разумной необходимости: онъ хотълъ показать намъ Сквозника-Дмухановскаго всего, какъ онъ есть, и мы видъли его всего, какъ онъ есть. Но тутъ скрывается еще другая, не менье важная и глубокая причина, выходящая изъ сущности піесы. Въ комедін, какъ выраженін случайностей, все должно выходить изъ идеи случайностей и призраковъ и только чрезъ это получать свою необходимость: ночтенный нашъ городничій жилъ и вращался въ міръ призраковъ, но какъ у него необходимо были свои понятія о дъйствительности, хотя и отвлеченныя, и сверхъ того самый основательный страхъ дъйствительности, извъстный подъ именемъ уголовнаго суда, то и должно было выйдти комическое столкновеніе, какъ сшибка естественнаго влеченія сердца къ воровству и илутнямъ съ страхомъ наказанія за воровство и плутпи, страхомъ, который увеличивался еще и и вкоторымъ бозпокойствомъ совъсти. У страха глаза велики, говоритъ мудрая русская пословица: удивительно ли, что глуный мальчишка, промотавшійся въ дорогь, трактирный денди, быль принятъ городинчимъ за ревизора? Глубокая идея! Не грозная дъйствительность, а призракъ, фантомъ, или, лучше сказать, тёнь отъ страха виновной совёсти, должны были паказать человъка призраковъ. Городничій Гоголя, не карикатура, не компческій фарсъ, не преувеличенная дібствительность, и въ то же время нисколько не дуракъ, но, по своему, очень и очень умный человъкъ, который въ своей сферъ очень дъйствителенъ, умъетъ ловко взяться за дълосворовать и концы въ воду схоронить, подсунуть взятку и задобрить опаснаго ему человъка. Его приступы къ Хлестакову, во второмъ актъ, -- образецъ подъяческой динломати. Итакъ, конецъ комедін долженъ совершиться тамъ, гдъ городничій узпаёть, что онь быль паказапь призракомь, и что ему еще предстоить наказаніе со стороны дъйствительности, или, по крайней мірь, новыя хлопоты и убытки, чтобы увернуться отъ наказанія со стороны действительности. И потому приходъ жандарма съ извъстіемъ о прівздъ истиннаго ревизора прекрасно оканчиваетъ ніесу и сообщаеть ей всю полноту и всю самостоятельность особаго, замкнутаго въ самомъ себъ міра. Въ художественномъ произведенін итть ничего произвольнаго п случайнаго, но все необходимо и логически вытекаетъ изъ его идеи. Каждое лице въ немъ, способствуя развитию главной иден, въ то же время есть и само себъ цъль, живетъ своею особною жизнію. Далье мы изъ «Ревизора» разовьемъ подробпо эту идею, а пока замътимъ мимоходомъ, что вслъдствіе

этого взгляда на некусство, Мольеръ — такой же художникъ, какъ Гомеровъ Тирсисъ-красавецъ, и такъ же похожъ на Шекспира, какъ титулярный совътникъ Поприщинъ на Фердинанда VIII, короля испанскаго. Конечно, Французы правы, что ставять Мольера выше Корнеля и Расина: онъ дъйствительно быль человъкъ съ большимъ талантомъ, съ неистощимою живостію и остротою французскаго ума; онъ истощиль все богатетво разговорнаго французскаго языка, воспользовался всею его граціозною игривостію для выраженія смѣшныхъ противоръчій; опъ подмътилъ и върно схватилъ многія черты своего времени. Но онъ великъ въ частностяхъ, а не въ цёломъ; но его дъйствующія лица не дъйствительныя существа, а карикатуры, такъ же какъ его произведенія-сатиры, а не комедін, такъ же какъ самъ онъ поэтъ мъстами, а не художникъ, который потому художникъ, что творитъ цълое, стройное зданіе, выросшее изъ одной идеи. Напримъръ, въ его «Скупомъ», Гарпагонъ конечно хоронгъ, какъ мастерски написанная карикатура, но вст другія лица-резонёры, ходачія сентенцін о томъ, что скупость есть порокъ; ни одно изь нихъ не живеть своею жизнію и для самого себя, но всь придуманы, чтобы лучше оттьнить собою героя quasiкомедін. То же и въ «Тартюфъ»: всъ лица присочинены для главнаго, и самъ Тартюфъ такъ нехитеръ, что могъ обмануть только одного человѣка, и то потому что этотъ одинъ-пошлый дуракъ. Завязка и развязка мнимыхъ комедій Мольера никогда не выходить изъ основной иден и взаимныхъ отношеній дійствующихь лиць, но всегда придумывается, какъ рама для картины, не создается, какъ необходимая форма. Это оттого, что у него никогда не было идеи, и поэзія для него никогда не была сама себъ цъль, но средство исправлять общество осмънніемъ пороковъ. Какой это художникъ! Многіе находять странною натяжкою и фарсомь, ошибку

многіе находять странною натяжкою и фарсомь, онноку городничаго, принявшаго Хлестакова за ревизора, тѣмъ бо-лѣе, что городничій человѣкъ, по своему, очень умный, т. е.

илуть перваго разряда... Странное мивніе, пли, лучше сказать, странная слъпота, недопускающая видъть очевидность! Причина этого заключается въ томъ, что у каждаго человъка есть два зрънія-физическое, которому доступна только вившиля очевидность, и духовное, проникающее внутреннюю очевидность, какъ необходимость, вытекающую изъ сущности иден. Вотъ, когда у человъка есть только физическое зрѣніе, а онъ смотритъ имъ на внутрепнюю очевидность, то и естественно, что ошибка городиичаго ему кажется натяжкою и фарсомъ. Представьте себъ воришку-чиновника такого, какимъ вы знаете почтеннаго Сквозника-Дмухановскаго: ему видълись во сиъ двъ какія-то необыкновенныя крысы, какихъ онъ никогда не видывалъ, --черныя, неестеетвенной величины — пришли, понюхали, и пошли прочь. Важность этого спа для послёдующихъ событій была уже къмъ-то очень върно замъчена. Въ самомъ дълъ, обратите на него все ваше внимание: имъ открывается цъпь призраковъ, составляющихъ дъйствительность комедіи. Для человъка съ такимъ образованіемъ, какъ нашъ городничій, снымистическая сторона жизни, и чъмъ он песвязите и безсмыслените, темъ для него имеютъ большее и таинственнъйшее значеніе. Еслибы, послъ этого сна, ничего важнаго не случилось, онъ могъ бы и забыть его; но, какъ нарочно, на другой день онъ получаеть отъ пріятеля увъдомленіе, что «отправился инкогнито изъ Петербурга чиновникъ съ секретнымъ предписаніемъ обревизовать въ губерпін все относящееся по части гражданскаго управленія». Сопъ въ руку! Суевъріе еще болье запугиваеть и безъ того запуганную совъсть; совъсть усиливаетъ суевъріе. Обратите особенное вниманіе на слова «пнкогнито» п «съ секретнымъ предписаніемъ». Петербургъ есть таинственная страна для наше гогородничаго, міръ фантастическій, котораго формъ онъ не можетъ и не умъетъ себъ представить. Нововведенія въ юридической сферѣ, грозящія уголовнымъ судомъ и ссылкою за взяточинчество и

казнокрадство, еще болъе усугубляють для него фантастическую сторону Петербурга. Онъ уже допытывается у своего воображенія, какъ пріъдеть ревизоръ, чамь онъ прикинется и какіе пули онъ будеть отливать, чтобы развѣдать правду. Слѣдують толки у честной компаніи объ этомъ предметь. Судьясобачинкъ, который беретъ взятки борзыми щенками, и потому не боится суда, который на своемъ въку прочелъ иять или шесть книгъ, и потому пъсколько вольнодуменъ, паходить причину присылки ревизора, достойную своего глубокомыслія и начитанности, говоря, что «Россія хочеть вести войну, и потому министерія нарочно отправляеть чиновника, чтобъ узнать, ивтъ ли гдв измвны». Городинчій поняль нельность этого предположенія и отвъчаеть: «Гдь пашему увздному городишкъ? Еслибъ онъ былъ пограничнымъ, еще бы какъ-пибудь возможно предположить, а то стоить чорть знаеть гдъ-въ глуши... Отсюда хоть три года скачи, ни до какого государства не доъдешь». За симъ онъ даетъ совътъ своимъ сослуживцамъ быть поосторожите и быть готовыми къ прітаду ревизора; вооружается противъ мысли о гръшкахъ, т. е. взяткахъ, говоря, что «нътъ человъка, который бы не имълъ за собою какихъ-нибудь грѣховъ», что «это уже такъ самимъ Богомъ устроено» и что «волтеріанцы напрасно противъ этого говорять»; следуеть маленькая перебранка съ судьею о значени взятокъ; продолжение совътовъ; ропотъ противъ проклятаго инкогнито. «Вдругъ заглянетъ; а! вы здъсь, голубчики! А кто, скажеть, здёсь судья? — Тяпкинъ-Ляпкинъ. А подать сюда Тяпкина-Ляпкина! А кто понечитель богоугодныхъ заведеній?—Земляника.—А подать сюда Землянику! Вотъ что худо!»... Въ самомъ дълъ, худо! Входитъ наивный почтмейстеръ, который любить распечатывать чужія письма, въ вадеждъ найдти въ нихъ разные этакіе пасажи... назидательные даже... лучше, нежели въ «Московскихъ въдомостяхъ». Городинчій даеть ему плутовскіе сов'єты «немножко распечатывать и прочитывать всякое письмо, чтобы узпать — не

содержится ли въ немъ какого-пибудь допесенія, или просто переписки». Какая глубина въ изображении! Вы думаете, что фраза «или просто переписки» безсмыслица, или фарсъ со стороны поэта: пътъ, это пеумъніе городинчаго выражаться, какъ скоро онъ хоть немного выходить изъ родныхъ сферъ своей жизни. И таковъ языкъ всёхъ дёйствующихъ лицъ въ комедін! Наивный почтмейстеръ, не понимая, въ чемъ дъло, говоритъ, что онъ и такъ это дълаетъ. «Я радъ, что вы это дълаете», отвъчаеть плуть-городничій простяку почтмейстеру: «это въ жизни хорошо», и видя, что съ нимъ обиняками немного возмешь, на прямки просить его-всякое извъстіе доставлять къ нему, а жалобу или донесеніе просто задерживать. Судья потчуеть его собаченкою, но онь отвъчаетъ, что ему теперь не до собакъ и зайцевъ: «У менявъ ушахъ только и слышно, что инкогнито проклятое; такъ и ожидаешь, что вдругь отворятся двери и войдеть...»

И въ самомъ дълъ двери отворяются съ шумомъ и вбътаютъ Иетры Ивановичи Бобчинскій и Добчинскій. Это городскіе шуты, уъздные силетники; ихъ всъ знаютъ, какъ дураковъ, и обходятся съ ними или съ видомъ презръція, или съ видомъ покровительства. Они безсознательно это чувствуютъ, и нотому изо всей мочи передъ всъми подличаютъ, и, чтобы только ихъ териъли, какъ собакъ и кошекъ въ комнатъ, всъмъ подслуживаются новостями и силетнями, составляющими субъективную, объективную и абсолютиую жизнь уъздныхъ городковъ. Вообще съ ними обращаются безъ чиновъ, какъ съ собаками и кошками: падоъдятъ—выгоняютъ. Ихъ дни проходятъ въ шатаньи и собираныи новостей и силетней. Обогатясь подобною находкой, они вдругъ выростаютъ сознаніемъ своей важности, и уже бъгутъ къ знакомымъ смъло, въ увъренности хорошаго пріема.

«Чрезвычайное происшествіе!» кричить Бобчинскій. «Неожиданное извъстіе!» восклицаеть Добчинскій, вбъгая въ комнату городничаго, гдъ всъ настроены на одинъ ладъ, а осо-

бливо самъ городинчій весь сосредоточенъ на idée fixe. Что такое?»-Приходимъ въ гостининцу-восклицаетъ Добчинскій. Приходимъ въ гостининцу-перебиваетъ его Бобчинскій. Начинается разсказъ самый обстоятельный, самый подробный, отъ начала до конца: зачёмь пошли въ гостиницу, гдъ, какъ, когда, при какихъ обстоятельствахъ, словомъ, по всёмъ правиламъ топиковъ или общихъ мъстъ старинныхъ риторикъ. Чудаки перебиваютъ другъ-друга; каждому хочется насладиться своею важностію, быть цептромъ общаго вниманія, а вмість и занять себя, наполнить свою пустоту пустымъ содержаніемъ. Забавнье всего то, что имъ самимъ хочется какъ можно скоръе добраться до эффектиаго конца, а между тъмъ и хочется продолжить свое торжество и разсказать все сначала и подробиће. Бобчинскій овладъваеть разсказомъ, говоря, что у Бобчинскаго «и зубъ со свистомъ и слога такого нъту», и Добчинскому осталось только помогать жестами разсказу счастливаго Бобчинскаго, изредка объгать его ибкоторыми фразами, которыя тотъ снова перехватываеть и продолжаеть свой разсказъ. Наконецъ дошли до «молодаго человъка недурной наружности въ партикулярномъ платьъ». Представьте себъ, какое впечатлъніе долженъ быль произвести, этотъ «молодой человъкъ недурной наружности въ партикулярномъ платьъ» на воображение городинчаго, уже безъ того настроенное ожиданіемъ проклятаго «инкогнито»! II воть, наконець, Бобчинскій передаеть донесеніе трактирщика Власа: «Молодой человѣкъ, чиновникъ, ѣдущій изъ Петербурга-Иванъ Акександровичъ Хлестаковъ, а ъдетъ въ Саратовскую губернію, и что чрезвычайно странно себя аттестуеть: больше полуторы недёли живеть, дальше не ёдеть, забираеть все на счеть и денегь хоть бы копъйку заплатиль». Слёдуеть остроумная смётка проницательнаго Бобчинскаго: Съ какой стати сидъть ему здъсь, когда дорога ему лежитъ Богъ знаетъ куда—въ Саратовскую губернію? Это върно не кто другой, какъ самый тотъ чиповникъ». Не естественъ ли послъ этого ужасъ городничаго?

Городничій. Что вы говорите? не можеть быть! Да нать, это вамъ такъ показалось. Это кто-нибудь другой.

Бобчинскій Помилуйте, какъ не онъ! И денегъ не платить, и не ъдетъ—кому-же быть, какъ не ему? И съ какой стати жиль бы онъ здъсь, когда ему прописана подорожная въ Саратовъ?

Попимаете ли вы хотя въ возможности эту чудную логику, эти резоны, эти доводы? на какихъ законахъ разума основаны они? Вотъ онъ-вотъ источникъ комическаго и смѣшнаго! Видите ли вы, какая драма, какое столкновение противоположныхъ интересовъ, проистекающихъ изъ характеровъ дъйствующихъ дицъ и ихъ взаимныхъ отношеній, выразидось въ этихъ двухъ монологахъ! Городинчій уже въритъ страшному извъстію, и какъ утопающій хватается за соломенку; такъ онъ пустымъ вопросомъ хочетъ какъ бы отдалить на время сознаніе горькой истины, чтобы дать себъ время опомпиться; Бобчинскій, напротивъ, всёми силами старается поддержать и въ другихъ и въ самомъ себъ увъренность въ справедливости извъстія, которое вдругъ придало ему такую важность. Да, въ этой комедін пъть ин одного слова, строгой и непреложной необходимости котораго нельзя бъ было доказать изъ самой сущности иден и дъйствительности характеровъ. Но вотъ Бобчинскій, по тімъ же причинамъ, какъ и его достойный другь, и съ такою же основательностію п очевидностію подаеть голось о несомивиности факта:

Онъ, онъ!.. ей Богу онъ!.. Я ставлю Богъ знаетъ что... Такой наблюдательный: все обсмотрвлъ и по угламъ вездъ, и даже заглянулъ въ тарелки наши полюбопытствовать, что вдимъ. Такой осмотрительный, что Боже сохрани...

Послъ такого довода нътъ больше сомивнія! Такой паблюдательный, что даже въ тарелки заглядываль! Боже мой, да еслибы въ эту минуту бъдному городничему сказали о наблюдательности его кучера, онъ принялъ бы его за ревизора, отличительнымъ признакомъ котораго, въ его испуганномъ воображении непремънно должна быть наблюдательность...

Видите ли съ какимъ искусствомъ поэтъ умълъ завязать. эту драматическую интригу въ душѣ человѣка, съ какою поразительною очевидностію умъль опъ представить необходимость ошибки городничаго? Если и теперь не видите — перечтите комедію, или, что еще лучше — посмотрите ее на сцень; если и тутъ не увидите-такъ это уже вина вашего зрѣнія, а мы не беремъ на себя трудной обязанности научить слъпаго безошибочно судить о цвътахъ. Если нужны еще доказательства, не изъ сущпости идеи произведенія почеринутыя, а внъшнія, практическія, разсудочныя и резонёрскія, безъ которыхъ мпогіе люди ничего не понимаютъ, замътимъ имъ, что подобные случан часто бываютъ въ жизни: сосредоточтесь на идей, отъ которой зависить ваша участь,вы начнете говорить о ней съ первымъ встръчнымъ на улицъ, принявъ его за своего пріятеля, къ которому вы шли говорить о ней. По крайней мъръ, это очень возможно.

Пропускаемъ остальную половину перваго акта-отчаяние городничаго при мысли, что ревизоръ въ полторы недъли могъ узнать о невинно высъченой имъ унтеръ-офицерской жены, о покражъ у арестантовъ провизін, о нечистотъ на улинахъ; его радость при мысли, что ревизоръ-молодой человъкъ; его распоряженія; сцену съ квартальными; просьбу Добчинскаго взять его съ собою, или хоть позволить «бъжать за дрожками пътушкомъ, пътушкомъ», чтобы только посмотръть въ щелочку «такъ, знаете, изъ дверей только увидъть какъ тамъ онъ... больше сущность и поступки его, а я ничего»; замъчание городничаго квартальному, что онъ «не по чипу береть»; сцену съ частнымъ приставомъ, донесшимъ о квартальномъ Держимордъ, который повхалъ, по случаю драки, для порядка, и воротился пьянъ; дальнъйшія распоряженія городничаго; его животные переходы отъ раскаянія къ ругательствамъ на кунцовъ, недогадавшихся подарить ему повой шпаги, хотя и видѣли, что старая уже негодится; его объщаніе поставить такую свъчу, какой никто

еще пе ставилъ, и угрозу «на каждаго бестію-купца паложить по три пуда воска», когда бъда минетъ; сцену Анны Андреевны, разспрашивающей мужа за дверью о томъ, съ усами ли ревизоръ и съ какими усами; брань ея на дочь. которая своею кокетливостію при туалеть лишила ее возможности поскорве разузнать о ревизорв; эту пикировку съ дочерью, въ которой поблеклая кокетка убзднаго города представляется какъ бы видящею въ молодой дочери свою соперпицу: скажемъ коротко, что во всемъ этомъ, какъ и въ предшествовавшемъ, поэтъ остался въренъ своей идеъ, не измъпиль ей ни словомъ, ин чертою; что все это больше пежели портреть или зеркало дъйствительности, но болье походить на дъйствительность, нежели дъйствительность походитъ сама на себя, ибо все это-художественная д'яйствительность, замыкающая въ себъ всъ частныя явленія подобной дёйствительности...

Передъ вами Осипъ-герой лакейской природы, представитель цёлаго рода безчисленныхъ явленій, изъ которыхъ опъ ии на одно не похожъ, какъ двѣ капли воды, но изъ которыхъ каждое похоже на него какъ двѣ капли воды. Въ своемъ большомъ монологъ, гдъ, между прочимъ, читаетъ онъ правоученіе самому себъ для своего барина, онъ высказываеть, всего себя, свои отпошенія къ барину и наконецъ самого барина. Вы видите деревенскаго слугу, который поживъ въ Петербургъ, постигъ достоинство столичной жизни и галантерейнаго обращенія, по, по пословицѣ «сколько волка ни корми, онъ все въ лъсъ глядитъ», предпочитаетъ мирную деревенскую жизнь треволненіямъ столицы, въ которой худо безъ денегъ, иной разъ славно набшься, а въ другой чуть не лопнешь съ голода. Въ истинио-художественномъ произведении всегда видно, какъ взаимныя отношенія персонажей дъйствують на самый ихъ характеръ, и потому вамъ тотчасъ станетъ ясно, что Осипъ грубіянъ столько же по натуръ, сколько и по презрѣнію къ своему барниу, котораго глупость онъ попи-

маеть по своему. Этоть баринь одинь изъ тъхъ людей, которыхъ въ канцеляріяхъ пазывають пустьйшими. Онъ франтъ и щеголь, потому что дуракъ и столичный житель; глупцы скорве всего перенимають вившийя стороны высшей ихъ жизни. Отецъ содержитъ его придично, но онъ мотаетъ батюшкины денежки, чтобы наполнить свою пустоту, занять свою праздность и удовлетворить мелкому тщеславію, а потомъ спускаетъ платье на рынкъ, до новой присылки денегъ. «Онъ дъйствуетъ и говоритъ безъ всякаго соображенія: не въ состояния остановить постояннаго впимания на какой-иибудь мысли; ръчь его отрывиста, и слова вылетають совершенно неожиданно». Онъ слышалъ, что есть на свътъ вещь, которая называется литературою, и въ его пустой головъ въ безпорядкъ улеглись имена сочинений и пазвания журналовъ и сочинителей: Брамбеусъ и Смирдинъ, «Библютека для Чтенія», на «Сумбека», «Юрій Милославскій» и «Фанелла». Опъ денди не по одпому модному платью, но и по манерамъ, денди трактирный, одна изъ тъхъ фигуръ, которыя красуются на вывёскахъ московскихъ трактировъ, цирюлень п портныхъ. Въ Пензъ его обыгралъ начистую пъхотный капитанъ: онъ за это досадуетъ на случай и несчастіе; по не на капитана, къ которому онъ благоговъетъ, какъ дилеттантъ къ художнику, потому что, «что ни говори, а удивительно бестія штосы сръзываеть: всего какихъ-нибудь четверть часа изсидълъ и все обобралъ-славно играетъ»! Великое достоинство въ его глазахъ!

Посмотрите, какъ робко и какими косвенными вопросами хочеть онъ узнать отъ Осипа, есть ли у нихъ табакъ: о, овъ боится его правоученій и его грубости! Посмотрите какъ онъ подличаеть передъ трактирнымъ прислужникомъ, справлянсь о его здоровьи и о числъ прівжающихъ въ ихъ трактирь, и какъ ласково проситъ его поторопиться принести объдать! Какая сцена, какія положенія, какой языкъ! Гдъ подсмотрълъ, гдъ подслушалъ поэтъ сцены и этотъ языкъ?

Соч. В. Белинскаго. Ч. П1.

И почему только одинъ опъ такъ подсмотрълъ и такъ подслушалъ? Можетъ-быть, потому что онъ подсматривалъ и подслушивалъ какъ и всъ, то есть, не подсматривая и не подслушивая, да въ фантазін-то его это отразилось не такъ, какъ у всъхъ. А въдь и эти всъ—то же поэты и художивки, и какъ блины пекутъ и трагедіи, и драмы, и оперы, и комедіи и водевили...

Входить Осипь и говорить барину, что «тамъ чего-то прівхаль городинчій, освёдомляется и спрашиваеть о вась», новое комическое столкновение! У Хлестакова воображение настроено на мысли о жалобахъ трактирщика, о тюрьмъ... Онъ испугался тюрьмы, по утъшился мыслію, что если поведуть его туда благороднымъ образомъ, то ничего; но мысль о двухъ купеческихъ дочеряхъ и офицерахъ, которыхъ онъ видълъ на улицъ, снова приводитъ его въ отчанніе... Можете представить, въ какой пастроенности его воображенія входить къ нему городинчій... Въ высшей степени комическое положеніе!... Но мы пропускаемъ эту превосходную сцену-она говорить сама за себя, а для кого она нъма, тъмъ пемного помогуть наши толкованія. Скажемъ только, что въ этой сценъ городничій является во всемъ своемъ блескъ: съ одной стороны, какъ чуждый фантастическому для него понятию потербургскаго чиповника и весь сосредоточенный на мысли о «проклятомъ инкогнито», онъ всъ глупости Хлестакова принимаеть за тонкія штуки, а съ другой, преловко и прехитро выкидываеть свои топкія штуки и улаживаеть дёло.

Третье дъйствіе, а Анна Андреевна все еще у окна съ своею дочерью—въ высшей степени комическая черта! Туть не одно праздное любонытство пустой женщины: ревизоръ молодъ, а она кокетка, если не больше... Дочь говорить, что кто-то идетъ—мать сердится: «Гдъ идетъ? у тебя въчно какія-инбудь фантазіи; ну да, идетъ». Потомъ вопросъ, кто идетъ: дочь говорить, что это Добчинскій—мать опять не соглашается и онять упрекаетъ дочь ни въ чемъ: «Какой

Добчинскій? теб'є всегда вдругъ вообразится этакое! совс'ємъ пе Добчинскій. Эй, вы, ступайте сюда! скорте!» Наконецъ объ разглядывають; дочь говорить: —«А что? а что, маменька? Видите, что Добчинскій!» Мать отвъчаеть: «Ну да, Добчинскій, тенерь я вижу—изъ чего же ты споришь!» Можпо ли лучше поддержать достоинство матери, какъ не быть всегда правою передъ дочерью и не дълан всегда дочь виноватою предъ собою? Какая сложность элементовъ выражена въ этой сценъ: уъздная барыня, устарълая кокетка, смъшпая мать! Сколько оттънковъ въ каждомъ ея словъ, какъ значительно, необходимо каждое ен слово! Вотъ что значитъ проникать въ таинственную глубину организаціи предмета, и во внёшность выводить то, что кроется въ самыхъ недоступныхъ для зръпія тканяхъ п первахъ впутренней организаціп! Поэтъ заставляеть пасквозь видьть эти характеры и внутри находить причины всего вижшияго, являющагося. Сцена Анны Андреевны съ Добчинскимъ: та и другой является туть во всей своей призрачности. Она спрашиваеть его тоть ли это ревизоръ, о которомъ увъдомляли ея мужа: «Настоящій; я это первый открыла вм'єст'є съ Петромъ Ивановичемъ». Потомъ онъ пересказываетъ свидание городничаго съ Хлестаковымъ такъ, какъ оно отразилось въ его поняти н какъ должно было отразиться въ нонятіи городинчаго, п заключаеть, что онь то же «неретрухнуль немножко». «Да вамъ-то чего бояться—въдь вы не служите?» спрашиваетъ она его. «Да такъ, знаете, когда вельможа говоритъ, то чувствуещь страхъ» отвъчалъ простакъ. На вопросъ городиичихи о наружности ревизора, онъ его описываетъ такъ какъ онь отразился въ его узкой головъ: «Молодой, молодой человъкъ: лътъ двадцати-трехъ; а говоритъ совершенио какъ старикъ. Извольте, говоритъ, и ноъду: и туда, и туда.... (размахиваетъ руками) такъ это все славно». Видите ли въ этихъ безсмысленныхъ словахъ немножко-идіотское неумъніе отдать себъ отчеть въ собственномъ впечатлъніи и выразить

его словомъ? Далье: «Я, говорить, и написать и почитать люблю, но мінаеть, что въ комнать, говорить, немножко темно». Видите ли изъ этого, что чёмъ Хлестаковъ быль пошлье, безсвязные вы своихы фразахы, трактирные вы своихъ манерахъ, тъмъ большее придаваль онъ себъ значене не только въ глазахъ Добчинскаго, но и самого городничаго. Есть дюди, которые почитають въ книгахъ глубокимъ и мудрымъ все, чего они не понимаютъ; приведите къ нимъ какого-инбудь глупца или ловкаго мистификатора, какъ автора этой умной кинжки, чёмъ нельнье онь будеть выражаться, тъмъ больше они будуть ему удивляться. Для городинчаго ревизоръ быль слишкомъ премудрою книгою, нотому уже только, что онъ ревизорь—сь этой точки зрвнія его трудно было сдвинуть, и потому все, что Хлестаковъ ни враль послъ къ ясной своей невыгодъ, только еще болъе поддерживало городничаго въ его заблужденін, вмъсто того, чтобы вывести изъ него и открыть ему глаза.

Сцена матери и дочери, совътующихся о туалетъ, чтобы ихъ не осмънда какая-нибудь «столичиая штучка», и споръ о палевомъ платьв, которое, по мнвнию матери, къ лицу ей, такъ какъ у ней самые темпые глаза, потому что «она и гадаетъ всегда на трефовую даму», и возражение дочери, «что къ ней не идетъ цвътное платье, потому что она, больше червонная дама» — эта сцена и этотъ споръ окончательно и ръзкими чертами обрисовываютъ сущность, характеры и взаимныя отношенія матери и дочери, такъ что послідующее уже нисколько не удивляеть въ нихъ васъ, какъ не удивляеть сумма четырехъ, вышедшая изъ умноженія двухъ на два. Вотъ въ этомъ-то состоитъ типизмъ изображенія: поэть беретъ самыя ръзкія, самыя характеристическія черты живоинсуемыхъ имъ лицъ, выпуская всъ случайныя, которые не способствують къ оттенению ихъ индивидуальности. Но онъ выбираеть не по сортировкъ, не по соображению и сличению болъе годныхъ съ менъе годными, онъ даже и не думаеть,

не заботиться объ этомъ, но все это выходитъ у него само собою, потому что изображаемыя имъ на бумагъ лица прежде всего изобразились у него въ фантазіи, и изобразились во всей полноть своей и цълости, со всёми родовыми примътами, отъ цвъта волосъ до родимаго пятнышка на лицъ, отъ звука голоса до покроя платья. Положить ихъ на бумагу—для него уже актъ второстепенный, почти механическій трудъ. И посмотрите, какъ легко у него все выходитъ: въ этой коротепькой, какъ бы слегка и небрежно наброшенной сцепъ, вы видите прошедшее, настоящее и будущее, всю исторію двухъ женщинъ, а между тъмъ опа вся состоитъ изъ спора о платьъ, и вся какъ бы мимоходомъ и нечаянно вырвалась изъ подъ пера поэта!...

Сценка явленія Хлестакова въ дом'є городинчаго, въ сопровожденіп свиты изъ городскаго чиновничества и самаго Сквозника-Дмухановскаго; представленіе Анны Андреевны п Марын Антоновны; любезничанье и вранье Хлестакова: каждое слово, каждая черта во всемъ этомъ, общность п характеръ всего этого — торжество искусства, чудная картина, написанная великимъ мастеромъ, никогда не жданное, пикъмъ не подозръвавшееся изображение всъми видъннаго, всемъ знакомаго, и, несмотря на то, всехъ удивившаго и поразившаго своею новостію и небывалостію!... Здёсь характеръ Хлестакова, -- этого втораго лица комедін -- развертывается вполнъ, распрывается до послъдней видимости своей микроскопической мелкости и гигантской пошлости. Къ сожально, это лице понятио меньше прочихъ лицъ, и еще не нашло для себя достойнаго артиста на театрахъ объихъ столицъ. Многимъ характеръ Хлестакова кажется ръзокъ, утрированъ, если можно такъ выразиться, его болтовия, напоминающая не любо, не слушай — врать не мъщай, изысканно неправдоподобною. Но это потому что всякій хочеть видеть, и следовательно, видить въ Хлестакове свое понятіе о немъ, а не то, которое существенно заключается въ немъ. Хлестаковъ является къ городничему въ домъ послѣ внезапной неремѣны его судьбы: не забудьте, что онъ готовился идти въ тюрьму, а между тёмъ нашель деньги, почеть, угощеніе, что онь, послѣ невольнаго и мучительнаго голода, навлся досыта, отчего и безъ вина можно прійдти въ какое-то полупьяное разслабленіе, а онъ еще и подпилъ. Какъ и отчего произошла эта внезаппал перемъна въ его положении, отчего передъ нимъ стоятъ всъ на вытяжку — ему до этого нътъ дъла; чтобы понять это, надо подумать, а онъ не умбетъ думать, онъ влечется, куда и какъ толкаютъ его обстоятельства. Въ его полупьяной головъ, при обремененномъ желудкъ, все передвоилось, все перемъстилось-и Смирдинъ съ Брамбеусомъ, и «Библютека» съ «Сумбекою», и Маврушка съ посланниками. Слова вылетають у него вдохновенно; окапчивая последнее слово фразы, онъ не помпить ея перваго слова. Когда онъ говориль о своей значительности, о связяхъ съ посланниками, -- онъ не зналъ, что онъ вретъ, и инсколько не думалъ обманывать: сказавъ первую фразу, онъ продолжалъ какъ бы противъ воли, какъ камень, толкнутый съ горы, катится уже не посредствомъ силы, а собственною тяжестію. «Меня даже хотъли сдълать вице-канцлеромъ (зъваетъ во всю глотку). О чемъ бишь я говорилъ?» Еслибы ему сказали, что онъ говорилъ о томъ, какъ отецъ съкалъ его розгами, онъ навърное уцъпился бы за эту мысль, и пачаль бы не говорить, а какъ будто продолжать, что это очень больно, что онъ всегда кричаль, но что «при нынъшпемъ образовании этимъ ничего не возьмешь».

Многіе почитають Хлестакова героемъ комедіп, главнымъ ея лицомъ. Это несправедливо. Хлестаковъ является въ комедіп не самъ собою, а совершенно случайно, мимоходомъ, и притомъ не самимъ собою, а ревизоромъ. Но кто его сдълалъ ревизоромъ? страхъ городничаго, слъдовательно, опъ созданіе испуганнаго воображенія городничаго, призракъ, ты его совъсти. Поэтому опъ является во второмъ дъйствіи и

изчезаеть въ четвертомъ, — и никому иътъ нужды знать, куда онъ поъхалъ и что съ нимъ стало: интересъ зрителя со-средоточенъ на тъхъ, которыхъ страхъ создалъ этотъ фантомъ, и комедія была бы не кончена, если бы окончилась четвертымъ актомъ. Герой комедіи—городничій, какъ представитель этого міра призраковъ.

Въ «Ревизоръ» иътъ сценъ лучшихъ, потому что иътъ худшихъ, по всъ превосходны, какъ необходимыя части, художественно-образующія собою единое цълое, округленное внутреннимъ содержаніемъ, а не виъшнею формою, и потому представляющее собою особный и замкнутый въ самомъ себѣ міръ. Скрѣня сердце, пропускаемъ УІІ, УІІІ, ІХ и Х явленія третьяго акта, и остановимся только на оцъпененін городинчаго, какъ бы кто ударилъ его обухомъ по головъ: «такъ совсёмъ ошеломило! страхъ такой напалъ: еще такого важнаго человъка никогда не видалъ (задумывается); съ министрами играетъ и во дворецъ вздить... такъ вотъ, право, чімь больше думаешь... чорть его знаеть, не знаешь, что и делается въ головъ, какъ будто стоишь на какой-пибудь колокольнь, или тебя хотять новъсить...» Это говорить увздный чиновникъ, служака, начавшій службу по старинпому, что называлось «тянуть лямку;» а вотъ голосъ чиновницы новаго времени, которая всегда образованите своего мужа: «А я никакой совершенио не ощутила робости, я просто видела въ немъ образованнаго, светскаго, высшаго тона человъка, а о чинахъ его миъ и цужды иътъ». Безподобна и эта выходка философствующаго городничаго: «Чудно все завелось теперь на свъть: народъ все топенькій, поджаристый такой. Никакъ не узнаешь, что онъ важная особа». Это голосъ стараго чиновника, въ расплохъ застигнутаго новымъ временемъ: онъ уже и прежде слышалъ, а тенерь собственными глазами удостовърился, что нынче-де уже по головъ, а не по брюху дълаются важными особами.

Въ первыхъ сценахъ четвертаго акта Хлестаковъ бесъ-

дуеть съ самимъ собою и является все тъмъ же, все самимъ же собою; и не измъняеть себъ ни однимъ словомъ, ни однимъ движеніемъ. Послѣ дивныхъ сцепъ съ чиновниками города, у которыхъ онъ набралъ денегъ, онъ еще въ первый разъ догадывается, что его принимають не за то, что опъ есть, а за великаго государственнаго человъка. Причина этого явленія и могущія выйдти изъ него следствія не въ силахъ остановить на себь его винманія. Это одна изъ техъ головъ, которыя не въ состояніи переварить самого простаго понятія, и глотаютъ не жевавши. Опъ очень радъ, что его припяли за важную особу: «Я это люблю. Мнъ нравится, если меня почитають за важнаго человъка. Въ моей физіономіи точно есть что-то такое внушающее»... и не докончилъ; сколько нотому что это фраза слышанная, а не своя, столько и нотому что вдругъ нерепрыгнулъ къ другому предмету... «Это съ ихъ стороны то же благородная черта, что они готовы дать взаймы денегъ». Видите ли: его приняли за важную особу—оттого, что «у него въ физіономіи есть что-то внушающее»; это должная дань его личнымъ достоинствамъ, а не другая, болъе важная для чиповниковъ причина; что ему надавали денегъ, это не взятки, а заемъ, и онъ на ту минуту, какъ говорить, вполив убъждень, что возвратить имь свой долгь. Но Осинъ умиже своего барина: онъ все понимаетъ; и дасково, то же, какъ будто мимоходомъ, совътуетъ ему увхать, говоря: «Погуляли здёсь два денька, ну — и довольно; что съ ними связываться! плюньте на нихъ! неровенъ часъ: какой-инбудь другой навдеть», и обольщаеть его тройкою лихихъ лошадей съ колокольчикомъ. Эта приманка, равно какъ и мимоходомъ сказанное предостережение, что «батюшка будеть гивваться за то, что такъ замешкались», и решила Хлестакова последовать благоразумному совету. Следуеть сцена съ купцами, въ которой вы видите какъ на ладони это купечество увздиаго городка, которое выучилось коекакъ зашибать деньгу, а еще не обрилось и не умылось,

чтобы отъ его бородки не нахло капустою; которое плохо знаетъ грамоту и живетъ на «авось», т. е. гдъ выторговалъ, а гдъ надулъ, и съ которымъ, по всему этому, городничій обходился безъ чиновъ; «схватитъ за бороду, говоритъ, ахъ ты Татаринъ»; которое наконецъ, любитъ коли давать, такъ давать-возьми и подносикъ, и головку сахара, и кулечикъ съ винами, и не триста, — что триста! — пятьсотъ, только діло сділай. Языки неподражаемо вірень. Хлестакови опять не измѣняетъ себѣ-беретъ взаймы, о взяткахъ слышать не хочетъ, и если гдъ приходитъ въ маленькое недоумъніе, тамъ толкаетъ его Осипъ и заставляетъ не быть безъ дъйствія. Но воть входить Марья Антоновна: она къ комнатѣ чужаго молодаго человъка ищетъ маменьки... Ел приходъ толкаетъ Хлестакова, т. е. заставляетъ дълать то, чего онъ не думаль дёлать. Онъ франть, она «барышня»: слёдовательно, ему должно волочиться за нею. Что изъ этого выйдеть-такая мысль не можеть прійдти въ его пустую и легкую голову, которая дёйствуеть подъ вліяніемъ внёшняго обстоятельства, подъ внечатленіемъ настоящей минуты «Барышия» глупа, пуста и пошла, но она уже прочла ивсколько романовъ, и у ней есть альбомъ, въ который Хлестаковъ долженъ написать какіе-пибудь этакіе новенькіе «стишки». 0, ему это инчего не стоить — онъ много знаеть наизусть стиховъ; напр. «О ты, что въ горести напрасно», и пр. И воть опъ на колъняхъ передъ нею. Уйди она-опъ черезъ минуту забыль бы объ этой сцень, какъ совсымь небывалой; но входить мать и толкаетъ его «просить руки» Марын Аптоновны. Онъ убзжаетъ въ полной увъренности, что онъ женихъ и что все сдълалось какъ должно; но извощикъ крикцуяъ, колокольчикъ залился--и Хлестаковъ готовъ спросить себя: «На чемъ бишь я остановился?»

Первыя сцены пятаго акта представляють намъ городничаго въ полнотъ его грубаго блаженства животной натуры. Здъсь поэтъ является глубокимъ анатомикомъ души человъ-

ческой, пропикаеть въ самые недоступные тайники ея и выводить наружу все крывшееся въ нихъ. Въ самомъ дълъ, въ пятомъ актъ городинчій является въ своемъ апотеозъ, полнымъ опредъленіемъ своей сущности, вполит опредълившеюся возможностію: все темное, грязное, низкое и грубое, что крылось въ его природъ, развивалось воспитаніемъ и обстоятельствами, все это всилыло со дна на верхъ, изнутри явилось наружу, и явилось такъ добродушно, такъ комически, что вы невольно смъетссь тамъ, гдъ бы должны были ужасаться. Что, говорить онь жень, тебь и во сив не видьлось: просто изъ какой-нибудь городинчихи, и вдругъ, фу ты канальство! Съ какимъ дьяволомъ породиилась!» — «Какія мы съ тобою теперь птицы сдълались! А, Анна Андреевна! высокаго полета, чортъ побери!» Изъ труса, онъ дълается нахаломъ, мъщаниномъ, который вдругъ попалъ въ знатные люди; страхъ Сибири прошелъ-онъ уже не объщаетъ Богу пудовой свъчи, и грозится еще жить и обирать кунцовъ; велить кричать о своемъ счастін всему городу, «валять въ колокола; коли торжество такъ торжество, чортъ возьми!» его дочь выходить замужь за такого человъка «что и на свъть еще не было, что можеть и прогнать всёхъ въ городе, и въ тюрьму посадить, и все, что хочетъ». Боже мой! къ лицу ли ему генеральство! А онъ въ неистовомъ восторгъ, въ бъщеной комической страсти отъ мысли, что будетъ генераломъ... «Въдь почему хочется быть генераломъ? потому что случится, повдешь куда-нибудь, фельдъегери и адъютанты поскачуть вездъ впередъ: лошадей! и тамъ на станціяхъ никому не дадуть, все дожидается: всъ эти титулярные, канитаны, городничін, а ты себъ и въ усъ не дуешь: объдаешь гдж-нибудь у губернатора, а тамъ: стой городничій! Ха, ха, ха! Воть что, канальство заманчиво!»

Такъ проявляются грубыя страсти животной натуры! Это страсть—и страсть бъщеная: у нашего городинчаго сверкають глаза, въ голосъ тонъ изступленія, движенія порывн

сты. Если не върите—посмотрите на Щепкина въ этой роли. Въ комедін есть свои страсти, источникъ которыхъ смъшонъ, но результаты могутъ быть ужасны. По нонятію нашего городинчаго, быть генераломъ значитъ видъть предъ собою унижение и подлость отъ нисшихъ, гнести всёхъ не генераловъ своимъ чванствомъ и надменностію; отнять лошадей у человѣка нечиновнаго, или меньшаго чиномъ, по своей подорожной имъющаго равное на нихъ право; говорить «братеңъ» и «ты» тому, кто говоритъ ему «ваше превосходительство» и «вы»; и проч. Сдълайся нашъ городинчій генераломъи когда опъ живетъ въ увздиомъ городв, горе маленькому человъку, если онъ, считая себя «неимъющимъ чести быть знакомымъ съ г. генераломъ», не поклонится ему, или на балу не уступить мъста, хотя бы этоть маленькій человъкъ готовился быть великимъ человъкомъ!... тогда изъ комедін могла бы выйдти трагедія для «маленькаго человѣка»...

Приходъ купцовъ усиливаетъ волиеніе грубыхъ страстей городинчаго; изъ животной радости онъ переходить въ животную злобу. Спачала хочетъ говорить тихо, съ сосредоточенной яростію и злобною пронією; но животная натура не даеть ему выдержать этой роли: власть надъ собою принадлежить только образованнымъ людямъ; онъ постепенно притодить въ большую и одинато и разражается ругательствами. Онъ пересчитываетъ Абдулину свои благодъянія, т. е. напоминаетъ случан, гдъ они вмъстъ казну обкрадывали.... Кунцы являются тёми же кунцами: они низко кланяются, пизко подличають. Великодушный городничій смягчается, но на условін, чтобы «засусленныя бороды, аршинники, самоварники, протоканаліи и архибестін» не думали «отбояриться отъ него какимъ-нибудь балычкомъ, или головою сахара», нбо-де «онъ выдаетъ дочку свою не за какогонибудь дворянина»...

Начинаютъ сбираться гости. Городинчій снова въ своемъ пътушьемъ величін. Передъ нимъ вст подличаютъ, какъ передъ знатною особою; поздравляють вслухъ съ «необыкновеннымъ «благополучіемъ», и ругаютъ въ полголоса. Городинчиха, какъ и съ самаго начала пятаго акта, пграетъ роль случайной дамы, которая, однако, нисколько не удивлена своимъ счастіемъ, какъ по праву принадлежащимъ ен достоинствамъ, п какъ давио привычнымъ ей. Она показываетъ, что равнодушна къ нему. Но устарълая кокетка беретъ верхъ надъ знатною дамою: она почти оспариваетъ жениха у своей дочери. Входить простодушный почтмейстерь и пренаивно открываеть всъмъ глаза на счетъ мнимаго ревизора, доказавъ очевидно что онъ «п не уполномоченный и не особа». Сцена чтенія письма Хлестакова-въ высшей степени комическая. Но что же нашъ городничій?-Вы думаете, ему стыдно, мучительностыдно видъть себя такъ жестоко одураченнымъ собственною ошибкою, такъ тяжко наказаннымъ за свои гръхи? Какъ бы не такъ! Бездарность, посредственность или даже обыкновенный таланть, тотчась бы воспользовались случаемь заставить городинчаго раскаяться и исправиться; но талашть пеобыкновенный глубже понимаеть натуру вещей и творить не по своему произволу, а по закону разумной необходимости. Городинчій пришель въ бъщенство, что допустиль обмануть себя мальчишкъ, вертопраху, у котораго молоко на губахъ не обсохло, онъ, который «тридцать льтъ жилъ на службъ», котораго ни одинъ кунецъ, ни одинъ подрядчикъ пе могъ провести; мошенниковъ надъ мошенниками обманываль; пройдохъ и плутовъ такихъ, что весь свъть готовы обворовать, поддъваль на уду; трехъ губернаторовъ обиануль!» — Вы думаете: ему совъстно, мучительно-совъстно смотръть на тъхъ людей, передъ которыми онъ сейчасъ только такъ ломался, которые унижались и подличали передъ его минимою знатностію? Ничего не бывало! Когда дражайшая его половина обнаруживаетъ всю свою глупость наивнымъ вопросомъ: «Какъ же?... въдь это не можетъ быть... онъ совсимь видь обручился съ нашей Машенькой? - онъ не

только не старается замять позорнаго для нихъ обоихъ обълененія, по еще съ досадою на ея недогадливость очень ясно толкуеть ей, въ чемъ дъло: «А развъ ты не видинь, что у него все это фу-фу? Пустъйшій человъкъ, чорть бы побралъ его! Вотъ подлинно, если Богъ захочетъ наказать, такъ отниметъ разумъ. Ну что въ немъ было такого, чтобъ можно было принять за важнаго человъка, пль вельможу? Пусть бы онъ имълъ что-инбудь внушающеее уважение, а то чорть знаеть что? дрянь, сосулька! Тоньше сърной спички!» За симъ обманутые чудаки бросаются съ ругательствомъ на Петровъ Иваповичей, какъ первыхъ въстовщиковъ о прівздъ ревизора. Брань сыплется на нихъ градомъ; они сваливаютъ вину другъ на друга, какъ вдругъ явленіе жандарма съ извъстіемъ о прівздв истиннаго ревизора прерываеть эту комическую сцену и, какъ громъ, разразившійся у ихъ погъ, заставляеть ихъ окаментть отъ ужаса, и такимъ образомъ превосходно замыкаетъ собою цълость піесы.

Все, сказанное нами о «Ревизоръ», отнюдь не есть разборъ этого превосходнаго произведенія искусства. Подробный разборъ хода всей піесы, характеровъ ел дъйствующихъ лицъ, ихъ взаимныя отношенія и ихъ взаимнодъйствія другъ па друга, завели бы насъ далеко и отвлекли бы отъ главнаго предмета «Горе отъ ума», а-наша статья и безъ того вышла слишкомъ велика. Скръпя сердце и обуздывая руку, мы не показали подробно развитія дъйствія, а на скоро пробъжали его, пе останавливались на отдъльныхъ лицахъ, по, такъ сказать, зацъплялись за нихъ. Наша цъль была-наменнуть на то, чъмъ должна быть комедія, художественносозданиая. Для этого мы старались намекнуть на идею «Ревизора», а вслъдствіе ея, не только на естественность, но и на необходимость ошибки городинчаго, принявшаго Хлестакова за ревизора, ошибки, составляющей завязку, интригу и развязку комедін, а чрезъ все это, указать, по возможности, на цълость (Totalität) піесы, какъ особаго, въ самомъ себъ замкнутаго міра.

Не намъ судить, до какой степени выполнили мы все это; по крайней мъръ, теперь читатели могутъ ясно видъть наши требованія отъ искусства и нашъ критеріумъ для сужденія о комедін.

Русская комедія начиналась задолго еще до Фонъ-Визина, но началась только съ Фонъ-Визина. Его «Недоросль» и «Бригадиръ надълали страшнаго шума при своемъ появлени, п навсегда остапутся въ исторіи русской литературы, если не искусства, какъ одно изъ примъчательнъйшихъ явленій. Въ самомъ дёль, эти двъ комедін суть произведенія ума сильнаго, остраго, человека даровитаго; но опе мастерскія сатиры на современное общество, а следовательно, не художественныя произведенія, следовательно и не комедін. Ни одна изъ нихъ не представляетъ собою цёлаго, замкнутаго собою міра, возникшаго изъ творческаго зачатія, по представляеть пресмѣшную карикатуру па глупость и невѣжество; въ инхъ ивть основной идеи, въ философическомъ значении этого слова, но есть намъреніе, цъль, и цъль виъ, а не внутри ихъ заключенная. Поэтому каждая изъ нихъ раздълена на двъ части, на смъшную и серьёзную, потому что дъйствующія лица разд'влены на два разряда: на дураковъ п умныхъ. Дураки очень милы и потъшны, а уминки-скучные резонёры. Завязка, интрига и развязка—общее мъсто, старая объективная форма, какъ въ комедіяхъ Мольера. Правда въ изображеній дураковъ видна нікоторая объективность и чтото похожее на поэтическую обрисовку, потому что каждый изъ дураковъ глупъ по своему; но это слабо, и индивидуальныя особности глупцовъ больше вижшиня, чжиъ внутренныя, изъ иден вытекающія: а главное, изъ карикатурныхъ образовъ этихъ дураковъ, всегда, болъе или менъе, выглядываетъ смѣющаяся фигура самого автора. Однимъ словомъ, «Недоросль» и «Бригадиръ»—превосходныя, хотя и не безъ большихъ недостатковъ, произведенія литературы, по отнюдь не произведенія искусства.

Послъ комедій Фонъ-Визина много надълала шума «Ябеда» Канниста; но это произведеніе даже и въ литературномъ смыслъ не заслуживаетъ никакого вниманія. Успъхъ его былъ основанъ не на его литературномъ, или какомъ-либо достоинствъ, но на цъли, которая состоила въ нападкъ на лихоимство. Завязка, интрига и развязка, пошлыя, стихи дубовые, языкъ варварски книжный.

Съ 1832 года начала ходить по рукамъ публики рукописпая комедін Грибовдова «Горе отъ Ума». Она падвлала ужаснаго шума, всёхъ удивила, возбудила пегодованіе и ненависть во всёхъ, занимавшихся литературною ех-ояпсю, и во всемъ старомъ поколънін; только пемногіе, изъмолодаго покольнія и непринадлежавшіе, къ записнымъ литераторамъ и ни къ какой литературной партіп, были восхищены ею. Десять лътъ ходила она по рукамъ, распавшись на тысячи списковъ; публика выучила ее наизусть, враги ея уже потеряли голось и значеніе, уничтоженные потокомъ новыхъ мивній, и она явилась въ печати тогда уже, когда у ней не осталось ни одного врага, когда не восхищаться ею, не превозносить ее до пебесъ, не признавать геніальнымъ произведеніемъ, считалось образцовымъ безвкусіемъ. ІІ вдругъ въ одномъ петербургскомъ журналъ, въ 1835 году, какой-то (говорили и печатали тогда, будто московскій) критикь объявиль, что «Горе оть Ума» такое слабое произведеніе, что хуже даже «Недовольныхъ»... Разумъется, публика приняла это за одну изъ тъхъ милыхъ шуточекъ, до которыхъ такъ страстны иные журналы. Но вотъ недавно, по случаю выхода въ свътъ втораго изданія «Горе отъ ума», въ другомъ нетербургскомъ журналъ (современномъ заднимъ числомъ) объявлено, что «Горе отъ Ума» должно стоять подлё комедій Фонъ Визина, и что ті, которые, подобно издателю комедін Грибовдова (г. Ксенофонту Полевому), видятъ въ ен авторъ «человъка съ большимъ дарованіемъ» только прячутся за его имя. Такова судьба комедін Грибовдова. Но все это доказываеть только, что «Горе отъ Ума»

есть явленіе необыкновенное, произведеніе таланта сильнаго, могучаго, а вмъстъ съ тъмъ, что для него уже настало время оцънкъ критической, основанной не на знакомствъ съ ея авторомъ и даже не на знаніи обстоятельствъ его жизни, а на законахъ изящнаго, всегда единыхъ и неизмъняемыхъ.

«Горе отъ Ума» принято было съ враждою и ожесточеніемъ и литераторами и публикою. Иначе не могло и быть: литературныя знаменитости тогдашияго времени состояли изъ людей прошлаго въка, или образованныхъ по понятіямъ прошлаго въка. Не забудьте, что въ то время самъ Мерзияковъ, человъкъ съ большимъ талантомъ и поэтическою душою, разбираль съ кафедры неподражаемыя красоты трагедій Сумарокова и лодсмѣивался надъ Шекспиромъ, Шиллеромъ и Гёте, какъ надъ представителями эстетическаго безвкусія, а въ Обществъ Любителей Россійской словесности читаль свои трактаты о трагедін, производя ее оть козла. Великими писателями считались тогда люди, которые теперь неизвъстны даже по именамъ. Пушкинъ еще только удивладъ однихъ и бъсилъ другихъ. Словомъ, это было послъдиее время французскаго классицизма въ нашей литературъ. Представьте же себъ, что комедія Грибовдова, во первыхъ, была написана не шестиногими ямбами съ пінтическими вольностями, а вольными стихами, какъ до того писались одит басни; во вторыхъ, опа была написана не книжнымъ языкомъ, которымъ никто не говорилъ, котораго не зналъ ни одинъ народъ въ міръ, а Русскіе особенно слыхомъ не слыхали, видомъ не видали, но живымъ, легкимъ разговорнымъ русскимъ языкомъ; въ третьихъ, каждое слово комедіи Грибоъдова дышало комическою жизнію, поражало быстротою ума, оригинальностію оборотовъ, поэзією образовъ, такъ что почти каждый стихъ въ ней обратился въ пословицу или поговорку и годится для примъненія то къ тому, то къ другому обстоятельству жизни, - а по мивнію русскихъ классиковъ, именно тъмъ и отличившихся отъ французскихъ, языкъ комедіи, если

она хочетъ прослыть образцовою, непремѣнно долженъ былъ щеголять тяжеловатостію, пеноворотливостію, тупостію, изыскапностію остротъ, прозанзмомъ выраженій и тяжелою скукою впечатльнія; въ четвертыхъ, комедія Грибовдова отвергла искусственную любовь, резонёровъ, разлучниковъ, и весь пошлый, истертый механизмъ старинной драмы; а главное и самое непростительное въ ней былъ-талантъ, талантъ яркій, живой, свіжій, сильный, могучій... Да, литераторамь не могла поправиться комедія Грибовдова; они должны были ожесточиться противъ нея!... За что же общество такъ сильно осердилось на нее! За то, что она была самою злою сатирою на это общество. Она заклеймила остатки XVIII въка, духъ котораго бродилъ еще, какъ заколдованиая тънь, ожидая себъ осиноваго кола, которымъ и было «Горе отъ Ума». Новое поколѣніе вскорѣ не замедлило объявить себя за блестящее произведение Грибовдова, потому что, вмвств съ нимъ, оно сивалось надъ старымъ поколвніемъ, видя въ «Горе отъ Ума» злую сатиру на него и не подозрѣвая въ немъ еще злышей, хотя и безъумышленной сатиры на самого себя въ лицъ полоумнаго Чацкаго...

За что же теперь такъ жестоко, такъ бездоказательно, такъ произвольно, и, надо сказать, такъ дерзко и неуважительно начинаютъ нападать на такое прекрасное, дѣлающее истинную честь отечественной литературѣ произведеніе?... Тутъ двѣ причины. Вопервыхъ, кто нападаетъ? Люди ли, которые мѣряютъ изящныя произведенія своею неизящною стряпнею, и, на смѣхъ всему міру, таращатся видѣть въ Грибоѣдовѣ соперника себѣ, они, которые, какъ ни высоко загибаютъ голову, чтобы достать до его лица, но обиваютъ себѣ кулаки только о его колѣни, выше которыхъ, даже и на цыпочкахъ, не могутъ достать?... Во вторыхъ: въ дерзости этихъ людей, кромѣ оскорбленнаго, микроскопическаго самолюбія, выражается еще и требовапіе времени опредѣлить достоинство «Горе отъ Ума» не на основаніи личныхъ миѣ-

ній, но на основаніи законовъ изящнаго, и не при посредствъ личнаго пристрастія, а при посредствъ разумной мысли, холодной и мертвой для всякихъ личныхъ отношеній, но пламенной и живой для ищущихъ истины.

Теперь у насъ въ литературъ господствуютъ и борятся два рода критики — французская и ивмецкая. Первая смотрить на произведение съ исторической точки зрвиня, т. е. объясняеть его и производить ему оценку вследствие разбора его отношеній къ современному обществу и къ частной жизни самого автора. Извъстно, что Французы увлекаются дневными интересами (les intérets du jour), и каждое литературное и поэтическое произведение у нихъ есть ръшение дневнаго интереса (la question du jour), т. е. того, о чемъ говорять нынче. Ибмецкая критика смотрить на художественное произведение какъ на иъчто безусловное, въ самомъ себъ носящее свою причину, свое оправдание и свою оцъпку, но мъръ того, какъ оно выражаетъ собою общіе законы духа, явленія разума, и мъряеть его масштабомь разумной мысли. Извъстно, что Ибмцы мало занимаются эфемерными интересами текущаго дия, но сосредоточиваютъ все свое винманіе на интересахъ общихъ, міровыхъ, непреходящихъ. Всякому свое! По и французская критика имъетъ свое значеніе при разсматриванін такихъ произведеній литературы, которыя, имъя больше вліяніе на общество, не принадлежать вы искусству, каковы напримерь, повести Карамзина, комедін Фонъ-Визина, и т. н. Однако же рѣшеніе вопроса: художественно или не художественно то или другое произведеніе литературы подлежить совсьмь не французской, а нъмецкой критикъ, потому что ръшение такого вопроса относится совежиь не къ исторіи, а къ наукт изящнаго, имъющей своимъ основаніемъ — законы изящиаго, выводимыя изъ разумной мысли. Мы уже мимоходомъ взглянули на «Горе отъ Ума» съ исторической точки эрвнія: взглянемъ теперь на него со стороны искусства, чтобы опредълить-художественное ли оно произведение.

pa

ÒŰŊ

Всякое художественное произведение рождается изъ единой общей идеи, которой оно обязано и художественностию своей формы, и своимъ внутреннимъ и внъшнимъ единствомъ, черезъ которое опо есть особый, замкнутый въ самомъ себъ міръ. Какая основная иден «Горе отъ Ума»?—Это можно узнать только изъ самой комедін; почему и взглянемъ на ея содержаніе.

Дочь барина-чиновника, въ минуту боренія утренняго свъта съ темнотою ночи, въ своей спальнъ, занимаются музыкою съ молодымъ человъкомъ, чиновникомъ своего отца. Горшиная, передъ спальнею, стоитъ на часахъ, и, чтобы кто не узналъ о ихъ несвоевременномъ занятін музыкою и не перетолковаль въ дурную сторону такой безкорыстной любви къ искусству, напоминаетъ имъ, что уже свътаетъ, и, чтобы вывести ихъ изъ меломаническаго самозабвенія, переводить часовую стрълку. Вдругь входить самъ баринъ и отецъ, Фамусовъ, и начинаетъ волочится за горничною своей дочери, которая въ то время доигрывала последній дуэтъ. Фамусовъ уходитъ; являются Софья и Молчалинъ; Лиза упреваеть ихъ за долговременное пребывание въ гармонии, разсказываеть о приходъ барина, и о томъ, какъ она струсила. Входить опять Фамусовъ и застаеть ихъ всёхъ вмёсте. Слёдють допросы, упреки и нападки на Кузнецкій-мость. Софья разсказываетъ свой сонъ, желая намекнуть имъ на свою любовь къ какому-то робкому и б'ёдному молодому челов'ёку; отецъ прерываетъ ее:

> Ахъ, матушка, не довершай удара! Кто бъденъ, тотъ тебъ не пара!

Въ заключение совътуетъ ей соспуть и идетъ съ Молчалинымъ подписывать бумаги. Софья наединъ съ Лизою. Изъ ихъ разговора мы узнаёмъ, что она безъ памяти отъ «скромнаго» Молчалина и не очень дорожитъ своимъ добрымъ именсмъ и общественнымъ мнъніемъ. Лиза возстаетъ противъ ея любви, которая добрымъ не кончится, и напоминаетъ ей о Чацкомъ, который нѣжно любилъ ее съ дѣтства и котораго и она любила; но Софья отзывается о Чацкомъ съ враждебностію, находя въ немъ только злословіе и больше ничего. Вообще служанка обращается съ своею барышнею за-просто нотому что, какъ помощница въ ея низкой связи, держитъ въ рукахъ своихъ ея участь. Вообще всѣ эти сцены паписаны мастерски и служатъ превосходною интродукцією въ комедію; характеры и ихъ взаимныя отношенія обрисованы рѣзко и искусно. Вдругъ лакей докладываетъ о пріѣздѣ Чацкаго, который тотчасъ и является.

Чацкій воспитывался въ домъ Фамусова и любилъ его дочь съ дътства. Три года путешествовалъ онъ и не видаль ел, теперь спъшить увидъться. Чацкій человъкъ свътскій и человъкъ «глубокій»: отсюда должны выходить приличіе и поэзія его свиданія съ Софьею. Какъ свътскій человъкъ, онъ не долженъ разсыпаться въ нъжныхъ и страстныхъ монологахъ; скорке должень онъ начать шутить и говорить о незначащихъ предметахъ, обо всемъ, кромъ любви своей; но, какъ у глубокаго человъка, въ его шуткахъ должно, какъ бы противъ его воли проискриваться его чувство, и, какъ arrière pensé, оно же должно незримо присутствовать въ его болтовиъ о разныхъ пустякахъ. Но что же? Во первыхъ, онъ закажаетъ въ домъ ея отца и требуетъ свиданія съ ней, прямо съ дороги, не завхавъ домой, чтобы обриться и переодъться, -- и завзжаеть когда же?-въ шесть часовъ утра! - Воля ваша-не по-свътски, не умно и не эстетически!... Первое, что онъ начинаетъ говорить съ нею, -- это о томъ, что она холодно принимаетъ его, тогда какъ онъ скакалъ сломя голову, сорокъ пять часовъ, не прищуря глазомъ, терпълъ отъ бури, разстерялся, падалъ пъсколько разъ!... Софья холодно надъ нимъ издъвается, и онъ начинаетъ разспрашивать у ней о знакомыхъ и дълать противъ нихъ сатирическія выходки. Истиннаго и глубокаго чувства любви не видно ин въ одномъ

его словъ. Входитъ Фамусовъ. Софья пользуется случаемъ ускользиуть. Чацкій разсѣянно отвѣчаетъ на пошлости Фамусова и безпрестанно заводитъ съ нимъ рѣчь о Софьѣ; наконецъ спохватывается, что ему пора домой, и уходитъ. Фамусовъ силится объяснить сонъ дочери и на кого изъ двухъ она мститъ—на Молчалина или на Чацкаго: одинъ нищій—другой франтъ, мотъ и сорванецъ, и заключаетъ свою думу, а вмѣстѣ съ нею и первый актъ комедіи, комическимъ восклицаніемъ:

Что за коммиссін, Создатель, Быть взрослой дочери отцомъ.

Фамусовъ приказываетъ Петрушкъ читать календарь и отмъчать, куда и когда баринъ отозванъ объдать. Превосходный монологъ! Тутъ Фамусовъ весь высказывается. Приходитъ Чацкій, и его безирестанныя обращенія къ Софь Павлови заставляють Фамусова спросить его-не хочеть ли онъ на ней жениться, -- и замътить, что, для того, ему надо хорошенько управлять имъніемь, а главное послужить. «Служить бы радь, прислуживаться тошно!» отвъчаеть ему Чацкій. Фамусовъ говоритъ, что «всъ вы гордецы», что «спросили бы какъ дълали отцы, учились бы на старшихъ глядя». Чацкій радъ вызову и разливается потокомъ эпергическихъ выходокъ противъ стараго времени, въ которыхъ Фамусовъ не понимаеть ин полслова. Эта сцена была бы въ высшей степени комическою, еслибъ изображена была объективно, какъ столкновеніе двухъ чудаковъ; но какъ этого нётъ, какъ авторъ не думаль нисколько, что его Чацкій — полоумный, то она смъшна, но не въ пользу автора. Слуга докладываетъ о Скалозубъ, и Фамусовъ проситъ Чацкаго, ради чужаго человъка, не заноситься завиральными идеями, и спъщить на встръчу къ Скалозубу. Чацкій изъ его поспъшности подозръваетъ, ужь не прочитъ ли онъ этого гостя въ женихи своей дочери. Следуетъ превосходная сцена Фамусова съ Скалозубомъ, гдъ эти два ничтожные характера развиваются творчески.

A, батюшка, признайтесь, что едва Гдв сыщется еще столица, какъ Москва!

восклицаеть; въ лирическомъ одушевленіи пошлости, Фамусовъ.

«Дистанція огромнаго размъра!» отвъчаетъ ему лаконичеческій Скалозубъ. До сихъ поръ сцена шла превосходно, развита была творчески; на вотъ Фамусовъ распространяется о Москвъ монологомъ въ 54 стиха, гдъ, мъстами очень оригинально, высказывая самого себя, мъстами дълаеть, за Чанкаго, выходки противъ общества, какія могли бы прійдти въ голову только Чацкому. Чацкій радёхонекъ, вмѣшивается въ разговоръ и начинаетъ читать проповъди и ругать Фамусова. Сцена удивительно-смъшная, но только не въ нохвалу комедін... Ни съ того, ни съ сего, Фамусовъ говоритъ Скалозубу, что будеть ждать его въ кабинетъ, и оставляеть ихъ. Скалозубъ, сказавъ Чацкому монологъ, въ которомъ онъ чудесно высказывается, то же уходить. Туть следуеть паденіе Молчалина съ лошади, обморокъ Софыи, и подозрвнія Чацкаго. Кажется, чего бы еще подозръвать? Софья ведеть себя такъ неосторожно въ отношенін къ Молчалину и такъ нагло враждебна въ отношеніи къ Чацкому, что, кажется, совсёмь бы нечего подозрёвать. Дёло очень ясно: при бёдё одного она падаетъ въ обморокъ, а другаго, забывая всякое приличіе, ругаеть. Чацкій уходить. Софья приглашаеть Скалозуба на вечеръ, гдъ будутъ все домашние друзья и танцы подъ фортепьяно, и тотъ уходитъ. Софья изъявляетъ свой страхъ за Молчалина, Лиза упрекаетъ ее въ неосторожности, и Молчалинъ беретъ ее сторону противъ Софыи. Оставшись наединъ съ Лизою, Молчалинъ волочится за нею, говоря, что онъ любить барышню «по должности». Молчалинъ уходить, а Софья опять является, говоря Лизъ, что она не выйдеть въ столу и привазывая ей послать въ себъ Молчалина.

Вотъ и конецъ втораго акта. Что въ немъ существеннаго, относящагося къ дѣлу? Обморокъ Софыи и, вслъдствіе его,

ревность Чацкаго; все остальное существуеть само по себъ, безъ всякаго отношенія къ цълому комедін. Всъ говорять, н никто ничего не дъластъ. Конечно, въ монологахъ дъйствующихъ лицъ высказываются ихъ характеры, но это высказываніе, въ художественномъ произведеніи, должно происходить изъ его иден и совершаться въ дъйствін. И въ «Ревизоръ» каждое дъйствующее лице высказываетъ себя каждымъ своимъ словомъ, но совстмъ не съ целію высказываться, а принимая необходимое участіе въ ходъ піесы. Каждое слово, сказанное каждымъ лицемъ, тамъ относится или къ ожиданию ревизора, или къ его присутствію въ городь. Лице ревизора есть источникъ, изъ котораго все выходитъ и въ который все возвращается. И потому-то тамъ каждое слово на своемъ мъсть, каждое слово необходимо, и не можеть быть ни измънено, ни замънено другимъ. Оттого-то и комедія Гоголя представляетъ собою цълое художественное произведение, особный и замкнутый въ самомъ себъ міръ, и можеть подлежать только разсмотрънію нъмецкой умозрительной критики, а отнюдь пе французской исторической. Лица поэта ивтъ въ этомъ созданін, и потому, чтобы понять «Ревизора», намъ совсѣмъ не нужно знать ни образа мыслей, ни обстоятельствъ жизни его творца.

Чацкій рѣшается допытаться отъ Софьи, кого опа любить, Молчалина, или Скалозуба. Странное рѣшеніе—къ чему оно! Другое бы еще дѣло: допытаться, любить ли она его. Что ему за радость узнать отъ нея, что она любить не Молчалина, а Скалозуба, или что она любить не Скалозуба, а Молчалина? Не все же ли это равно для него? Да и стоить ли какого-инбудь вниманія, какихъ-инбудь хлонотъ дѣвушка, которая могла полюбить Скалозуба или Молчалина? Гдѣ же у Чацкаго уваженіе къ святому чувству любви, уваженіе къ самому себѣ? Какое же послѣ этого можетъ имѣть значеніе его восклицаніе въ концѣ четвертаго акта:

...Пойду искать по свъту, Гдъ оскорбленному есть чувству уголокъ?

Какое же это чувство, какая любовь, какая ревность? буря въ стаканъ воды!... И на чемъ основана его любовь къ Софьъ? Любовь есть взаимпое гармоническое разумъние двухъ родственныхъ душъ, въ сферахъ общей жизни, въ сферахъ истиннаго, благаго, прекраснаго. На чемъ же могли они сойдтись и понять другъ друга? Но мы и не видимъ этого требованія, или этой духовной потребности, составляющей сущность глубокаго человека, ин въ одномъ слове Чацкаго. Всв слова, выражающія его чувство къ Софьв, такъ обыкповенны, чтобы не сказать пошлы! И что онъ нашель въ Софьъ? Мъркою достоинства женщины можетъ быть мущина, котораго она любить, а Софья любить ограниченнаго человъка безъ души, безъ сердца, безъ всякихъ человъческихъ нотребностей, мерзавца, низконоклонника, ползающую тварь, однимъ словомъ-Молчалина. Онъ ссылается на воспоминание дътства, на дътскія нгры; но кто же въ дътствъ не влюблялся и не называль своею невъстою дъвочки, съ которою вмъстъ учился и ръзвился, и неужели дътская привязанность къ дъвочкъ должна непремънно быть чувствомъ возмужалаго человъка? буря въ стаканъ воды-больше инчего!... И воть онъ приступаетъ къ объяснению. Вы думаете, что онъ сдълаеть это какъ свътскій и какъ глубокій человъкъ, какъпибудь намеками, со всевозможнымъ уважениемъ и къ своему чувству, и къ личности той, которую, какова бы она не была, онъ любить? Ничего не бывало! Онъ прямо спрашиваетъ ее:

> Дознаться мне нельзя ли— Хоть и не кстати, нужды ньть— Кого вы любите?

И этоть человъкъ волнуется любовію и ревностью! И это разговоръ, который долженъ ръшить участь его жизни! Накопецъ онъ прямо заводитъ ръчь о Молчалинъ!!!... Да наменнуть дъвушкъ, не любитъ ли она Молчалина, все равно, что намекнуть ей, не любитъ ли она лакен или кучера своего

отца... Софья расхваливаетъ Молчалина, а Чацкій убъждается изъ этого, что она его и не любитъ и не уважаетъ... Догадливъ!... Гдъ жь ясновидъніе внутренняго чувства?... Лиза подходить къ барышит своей и шепчеть ей на ухо, что ее ждетъ Молчалинъ, и та хочетъ уйдти. Чацкій просить у ней позволенія побыть минуту въ ея компать, но она пожимаеть плечами, уходить къ себъ и запирается, оставляя его съ носомъ. Чацкій, оставшись одинъ, опять ни съ того, ни съ сего увъряется, что Софья любить Молчалина и вымещаеть свою досаду остротами. Потомъ онъ заводить разговоръ съ Молчалинымъ, и тутъ слъдуетъ превосходивищая сцена, гдв Молчалинъ вполив высказывается. Но вотъ собираются гости, и слъдуетъ рядъ картинъ тогдашняго и, можетъ-быть, отчасти и нынъшняго московскаго общества — картинъ, написанныхъ мастерскою кистію. Наталья Дмитріевна съ своимъ мужемъ Платономъ Михайловичемъ Горичемъ, этимъ «высокимъ идеаломъ московскихъ всёхъ мужей», ихъ взаимныя отношенія; князь Тугоуховскій и княгиня съ шестью дочерьми; графини Хрюмины, бабушка и внучка; Загоръцкій, Хлестова — все это тины, созданныя рукою истиннаго художника; а ихъ ръчи, слова, обращение, манеры, образъ мыслей, пробивающійся изъ-подъ пихъ-гепіальная живопись, поражающая върностію, истинною и творческою объективностію, но все это какъ-то не связано съ цълымъ комедін, выставляется само-собою, особно и отдёльно. Молчалинъ услуживаетъ, составляетъ партио въ вистъ, подличаетъ. Чацкій язвительно колеть имъ Софью, у которой вдругь блеснула мысль отомстить ему, ославивъ его сумасшедшимъ. Въсть эта съ быстротою молнін переходить отъ одного къ другому и тотчасъ превращается въ доказанную очевидность, потому что вей принимають ее на въру съ свътскою основательностію и свътскимъ доброжелательствомъ къ ближнему. У графини бабушки происходять пресмъщныя сцены, по поводу шума о сумасшествін Чацкаго, съ Натальей Дмитріевной, Загоръцкимъ и княземъ Тугоуховскимъ, а у Фамусова съ Хлестовой. Входитъ Чацкій, и всъ отшатываются отъ него, какъ отъ сумасшедшаго; Фамусовъ совътуетъ ему ъхать домой, говоря, что онъ пездоровъ, и Чацкій отвъчаетъ ему:

Да, мочи нвтъ! Милльонъ терзаній, Груди отъ дружескихъ тисковъ, Ногамъ отъ шарканья, ушамъ отъ восклицаній; А пуще головъ отъ всякихъ пустяковъ! (Подходить къ Софън).

Душа здъсь у меня какниъ-то горемъ сжата, И въ многолюдствъ я потерянъ, самъ не свой. Нътъ, недоволенъ я Москвой

Скажите, послъ этой, положимъ, что поэтической, по уже совершенно неумъстной выходки Чацкаго, не въ правъ ли было все общество окопчательно и положительно удостовърится въ его сумасшествін? Кто, кром'в пом'вшаннаго, предается такому откровенному и задушевному изліянію своихъ чувствъ на балъ, среди людей, чуждыхъ ему? Да еслибы это были и не Фамусовы, не Загоръдкіе, не Хлестовы, а люди отлично-умные и глубокіе, и тъ приняли бы его за помъшапнаго! Но Чацкій этимъ не довольствуется — онъ идеть далъе. Софыя лукаво дълаеть ему вопросъ, на что онъ такъ сердить? и Чацкій начинаеть свирънствовать противъ общества, во всемъ значеніи этого слова. Безъ дальнихъ околичностей начинаеть онъ разсказывать, что вонъ въ той комнатъ встрътилъ опъ Французика изъ Бордо, которой, «надсаживая грудь, собраль вокругь себя родъ въча» и разсказываль, какъ опъ спаряжался въ путь въ Россію, къ варварамъ, со страхомъ и слезами, и встрътилъ ласки и привътъ, не слышитъ русскаго слова, не видитъ русскаго лица, а все французскія, какъ будто онъ и не вытажаль изъ своего отечества, Францін. Всябдствіе этого, Чацкій начинаеть неистово свирънствовать противъ рабскаго подражанія Русскихъ иноземщинъ, совътуетъ учиться у Китайцевъ «премудрому незнанью иноземцевъ», нападаетъ на сюртуки и фраки, замънившіе величавую одежду нашихъ предковъ, на «смъшные, бритые, съдые подбородки», замънившіе окладистые бороды, которыя унали по манію Петра, чтобы уступить мъсто просвъщеню и образованности: словомъ, несетъ такую дичь, что всъ уходятъ, а онъ остается одинъ, не замъчая того, —чъмъ и оканчивается третій актъ.

Вообще, еслибы выкинуть Чацкаго, этоть акть, самь по себь, какь дивно-созданная картина общества и характеровь, быль бы превосходнымь созданіемь искусства.

Картина разъвзда съ бала въ четвертомъ актъ, есть также, сама по себъ, какъ ивчто отдъльное, дивное произведение искусства. Одинъ Ренетиловъ чего стоитъ! Это лице типическое, созданное великимъ творцомъ!... Чацкому не найдутъ его кучера; онъ задержанъ въ съпяхъ и по неволъ подслушиваетъ толки о своемъ сумасшествии. Это его изумляетъ: онъ далекъ отъ мысли, что онъ сумасшедший. Вдругъ онъ слышитъ голосъ Софы, которая, надъ лъстницей, во второмъ этажъ, со свъчею въ рукахъ, въ полголоса зоветъ Молчалина. Лакей приходитъ и докладываетъ о каретъ, но Чацкій прогоняетъ его и прячется за колонну. Лиза стучится въ дверь къ Молчалину и вызываетъ его; Молчалинъ выходитъ и по своему любезничаетъ съ Лизою, не подозръвая, что Софъя все видитъ и слышитъ. Онъ говоритъ открыто, что любитъ Софью «по должности».

Софья является, подлецъ падаетъ ей въ ноги и валяется у ней въ ногахъ. Софья приказываетъ ему встать, и чтобы заря не застала его въ домѣ; иначе она все разскажетъ отцу. Она заключаетъ изъявленіемъ радости, что сама все узнала, и что не было тутъ свидѣтелей, подобно тому какъ былъ Чацкій во время ел давишняго обморока. «Онъ здѣсь, притворщица!» кричитъ Чацкій, бросалсь къ ней изъ-за колонны.

Скажите, Бога ради, какой бы порядочный, по крайней мъръ, не сумасшедшій человъкъ, на мъстъ Чацкаго, не уда-

лился тихонько, узнавъ горькую истину?... Но ему надо было произвести трагическій эффектъ, а вышла преуморительная комическая сцена, гдѣ самое смѣшное лице — г. Чацкій... Нѣтъ, не то: ему надо было еще прочесть иѣсколько проповѣдей... Безъ этого, комедія по крайней мѣрѣ, кончилась бы на мѣстѣ, а тутъ она еще тяпется, Богъ зпаетъ для чего. Окончаніе извѣстно, и мы не будемъ о немъ говорить.

Итакъ, въ комедін пътъ цълаго, потому что нътъ иден. Намъ скажутъ, что идея, напротивъ, есть, и что опа-противоръчіе умнаго и глубокаго человъка съ обществомъ, среди котораго онъ живетъ. Позвольте: что это за новый Анахарсисъ, побывавшій въ Аоппахъ и возвратившійся къ Скиоамъ?... Пеужели представители русского общества все-Фамусовы, Молчалины, Софыи, Загоръцкіе, Хлестаковы, Тугоуховскіе, и имъ подобные? Если такъ, они правы, изгнавши изъ своей среды Чацкаго, съ которымъ у нихъ нътъ инчего общаго, равно какъ и у него съ ними. Общество всегда правъе и выше частнаго человъка, и частная индивидуальность только до той степени и дъйствительность, а не призракъ, до какой она выражаетъ собою общество. Нътъ, эти люди не были представителями русскаго общества, а только представителями одной стороны его, слъдственно были другіе круги общества, болье близкіе и родственным Чацкому. Въ такомъ случав, зачыть же опъ лъзъ къ нимъ, и не искалъ круга болъе по сеоъ? Следовательно, противоречие Чацкаго случайное, а не действительное; не противоръче съ обществомъ, а противоръче съ кружкомъ общества. Гдъ же тутъ идея? Основною идеею художественнаго произведения можеть быть только такъ называемая на философскомъ языкъ «копкретная» идея, т. е. такая идея, которая сама въ себъ заключаетъ и свое развитие, и свою причину, и свое оправдание, и которая только одна можеть стать разумнымь явленіемь, нараллельнымь своему діалектическому развитію. Очевидно, что идея Грибобдова была сбивчива и не ясна самому ему, а потому и осуществи-

лась какимъ-то недоноскомъ. И потомъ: что за глубокій человъкъ Чацкій? Это просто крикунъ, фразёръ, пдеальный шуть, на каждомъ шагу профанирующій все святое, о которомъ говорятъ. Неужели войдти въ общество и начать всъхъ ругать въ глаза дураками и скотами, значитъ быть глубовимъ человъкомъ? Что бы вы сказали о человъкъ, который, войдя въ кабакъ, сталъ бы съ одушевленіемъ и жаромъ доказывать пьянымъ мужикамъ, что есть наслаждение выше вина-есть слава, любовь, наука, поэзія, Шиллеръ и Жанъ-Поль Рихтеръ?.. Это новый Донъ-Кихотъ, мальчикъ на палочкъ верхомъ, который воображаетъ, что сидитъ на лошади... Глубоко върно оцъниль эту комедію кто-то, сказавшій, что это горе, — только не отъ ума, а отъ уминчанья. Пскусство можетъ избрать своимъ предметомъ и такого человъка, какъ Чацкій, но тогда изображеніе долженствовало бъ быть объективнымъ, а Чацкій лицомъ комическимъ; по мы ясно видимъ, что поэтъ не шутя хотълъ изобразить въ Чацкомъ идеалъ глубокаго человъка въ противоръчіи съ обществомъ, и вышло Богъ знаетъ что.

Когда въ произведении искусства и то сновной идеи — то и характеры дъйствующихъ лицъ не могутъ быть върны, по крайней мъръ всъ. Что такое Софья? Свътская дъвушка, унизившаяся до связи ночти съ лакеемъ. Это можно объясинть воспитаниемъ—дуракомъ отцомъ, какою-инбудь мадамою, допустившею себя переманить за лишнихъ 500 рублей. Но въ этой Софьъ есть какая-то энергія характера: она отдала себя мущинъ, не обольстясь ни богатствомъ, пи знатностію его, словомъ, не по разсчету, а напротивъ ужъ слишкомъ по перазсчету; она пе дорожитъ ни чымъ мнъніемъ, и когда узнала, что такое Молчалинъ, съ презръніемъ отвергаетъ его, велитъ завтра же оставить домъ, грозя, въ противномъ случаъ, все открыть отцу. Но какъ она прежде пе видала, что такое Молчалинъ? — Тутъ противоръчіе, котораго нельзя объяснить изъ ея лица, а всъ другія объяс-

ненія не могуть, какъ внъщція и произвольныя, имъть мъста при разсматриваніи созданнаго поэтомъ характера. И потому Софья не дъйствительное лице, а призракъ.

Кромъ Чацкаго, ни на что непохожаго, всѣ прочія лица живы и дѣйствительны; но и они частенько измѣняютъ себя, говоря противъ себя эпиграммы на общество.

Фамусовъ лице тиническое, художественно созданное. Онъ весь высказывается въ каждомъ своемъ словъ. Это гоголевскій городинчій этого круга общества. Его философія та же. Знатность, вслъдствіе чиновъ и денегъ — вотъ его идеалъ жизни. Чтобы не накопилось у него много дълъ, у него обычай: «подписано, такъ съ илечь долой». Онъ очень уважаетъ родство —

Я передъ родной, гдв встрвтится ползкомъ, Сыщу ее на днв морскомъ.
При мнв служащіе чужіе очень рядки:
Все больше сестрицы, свояченицы двтки, Одинъ Молчалинъ мнв не свой,
И то за твмъ, что двловой.
Какъ будешь представлить къ крестипку иль мастечку, Ну какъ не порадъть родному человвику?

Но нигдъ не высказывается опъ такъ ръзко и такъ полно, какъ въ концъ комедіи: онъ узнаетъ, что дочь его въ связи съ молодымъ человъкомъ, что ея, слъдовательно и его доброе имя опозорено, не говоря уже о тяжелой, жгучей душу мысли быть отцомъ такой дочери—и что жъ? ипчего этого и въ голову не приходитъ ему, потому что ни въ чемъ этомъ онъ не видитъ существеннаго: онъ весь жилъ и живетъ виъ себя: его Богъ, его совъсть, его религія мнъніе свъта, и онъ восклицаетъ въ отчаяньи:

> Моя судьба еще ли не плачевна: Ахъ, Боже мой! что станетъ говорить Княгиня Марья Алексъевна.

Но этотъ Фамусовъ, столь върный самому себъ въ каждомъ своемъ словъ, измъняетъ иногда себъ цълыми ръчами.

Беремъ же побродягъ и въ домъ и по билетамъ, Чтобъ нашихъ дочерей всему учить—всему И танцамъ, и пънью, и нъжностямъ и вздохамъ, Какъ будто въ жены ихъ готовимъ скоморохамъ.

Это говорить не Фамусовъ, а Чацкій устами Фамусова, и это не могологъ, а эпиграмма на общество.

Кто хочеть къ намъ пожаловать изволь, Дверь отперта для званныхъ и незванныхъ, Особенно изъ иностранныхъ; Хоть честный человъкъ, хоть нътъ, Для насъ равнехонько, про всъхъ готовъ объдъ.

А наши старички, какъ ихъ возьметь задоръ, Засудять о двлахъ, что слово—приговоръ! Въдь столбовые всъ, въ усъ никому не дуютъ, И о правичельствъ иной разъ такъ толкуютъ, Что еслибъ кто подслушалъ ихъ—бъда! Не то, чтобъ новизны вводили—никогда! Спаси ихъ Боже! нътъ! а придерутся Къ тому, къ сему, а чаще ни къ чему, Иоспорятъ, пошумятъ, и... разойдутся.

А дочки? .
Французскіе романсы вамъ поютъ
ІІ верхнія выводять нотки;
Къ военнымъ людямъ такъ и льнутъ,
А потому что патріотки!

Нужно ли доказывать, что Фамусовъ слишкомъ глупъ для такихъ язвительныхъ эпиграммъ, и такъ добродушно предапъ пошлой сторонъ своего общества, что считаетъ за гръхъ отъ другаго услышать противъ иего выходку, что, наконецъ, все это Фамусовъ говоритъ не отъ себя, а по приказу автора?... Мало этого: самъ Скалозубъ остритъ, да еще какъ! — точъ въ точь, какъ Чацкій. Не върите? — такъ прочтите:

Позвольте, разскажу вамъ въсть: Княгиня Ласова какая-то здъсь есть,

Навздница-вдова, но неть примеровь, Чтобъ вздило съ ней много кавалеровь—
На дняхъ расшиблась въ пухъ: Жокей не поддержаль—считаль онъ видно мухъ. И безъ того она, какъ слышно, неуклюжа; Теперь ребра не достаетъ, Такъ для поддержки вщетъ мужа.

Каковъ Скалозубъ! чѣмъ хуже Чацкаго?... Впрочемъ, Лиза не безъ основанія такъ остроумно, такою эпиграммою, замѣтила о немъ:

Шутить и онъ гораздъ-въдь нынче кто не шутитъ.

Но нигдѣ субъективность автора не проявилась такъ рѣзко, такъ странно и такъ во вредъ комедін, какъ въ очеркѣ характера Молчалина, который опъ заставляетъ дѣлать самого же Молчалина;

Мит завъщаль отець,
Во первыхъ, угождать всъмъ людямъ безъ изъятья:
Хозяину, гдъ доведется жить;
Слугъ его, который чистить платья,
Швейцару, дворнику—для избъжанья зла,
Собакъ дворника, чтобъ ласкова была!

А Лиза отвъчаетъ ему на эту оригинальную выходку эш-граммою, которая сдълала бы честь остроумію самого Чацкаго:

Сказать, сударь, у васъ огромная опека!

Скажите, Бога ради, станеть ли какой-инбудь подлець называть себя при другихъ подлецомъ? — Въдь Молчалинь глупъ, когда дъло идетъ о чести, благородствъ, паукъ, поэзін и подобныхъ высокихъ предметахъ; по онъ уменъ, какъ дъяволъ, когда дъло идетъ о его личныхъ выгодахъ. Опъ живетъ въ домъ знатнаго барина, допущенъ въ его свътскій кругъ, и совстви не болтливъ, но очень молчаливъ: такъ кстати ли ему подавать оружіе на себя горничной, такъ простодушно хвастаясь своею подлостію?...

Но если вычеркнуть мѣста изъ монологовъ, гдѣ дѣйствующія лица проговариваются, изъ угожденія автору, противъ

себя-это будуть, за исключеніемъ Софыи, лица типическія, характеры художественно-созданныя, хотя и не составляющіе комедін своими взаимными отношеніями; -- не говоримъ уже о Репетиловъ, этомъ въчномъ прототинъ, котораго собственное имя сдълалось нарицательнымъ, и который обличаеть въ авторъ исполинскую силу таланта. Вообще, «Горе отъ Ума» не комедія, въ смыслѣ и значеніи художественнаго созданія, цълаго, единаго, особнаго и замкнутаго въ себъ міра, въ которомъ все выходить изъ одного источника-основной иден, и все туда же возвращается, въ которомъ, поэтому, каждое слово необходимо, неизмёнимо и незамёнимо, въ которомъ все превосходно и ничего нътъ слабаго, лишняго, ненужнаго, словомъ-въ которомъ нътъ достоинствъ и недостатковъ, но один достоинства. Художественное произведеніе есть само-себъ цъль и виъ себя не имъетъ цъли, а авторъ «Горе отъ Ума» ясно имълъ вившнюю цъльосмѣять современное общество въ злой сатирѣ, и комедію избраль для этого средствомь. Оттого-то и ея дъйствующія лица такъ явно и такъ часто проговариваются противъ себя, говоря языкомъ автора, а не своимъ собственнымъ; оттогото и любовь Чацкаго такъ пошла, ибо она пужна не для себя, а для завязки комедін, какъ нѣчто внѣшнее для нея; оттого-то и самъ Чацкій какой-то образъ безъ лица, призракъ, фантомъ, что-то небывалое и несстественное. Но какъ не художественно-созданное лице комедін, а выраженіе мыслей и чувствъ своего автора, хотя и некстати, странно и дико вмъшавшееся въ комедію, самъ Чацкій представляется уже съ другой точки зржнія. У него много смжиныхъ и ложныхъ поинтій, но всё они выходять изъ благородиаго начала, изъ быющаго горячимъ ключомъ источника жизни. Его остроуміе вытекаеть изъ благороднаго и энергическаго негодованія противъ того, что онъ, справедливо или ошибочно, почитаетъ дурнымъ и унижающимъ человъческое достоинство,--и потому его остроуміе такъ колко, сильно и выражается не въ каламбурахъ, а въ сарказмахъ. Н вотъ ночему всъ бранятъ Чацкаго, понимая ложность его какъ поэтическаго созданія, какъ лица комедін, и всъ цанзустъ знають его монологи, его ръчи, обратившися въ пословицы, поговорки, примъненія, эпиграфы, въ афоризмы житейской мудрости. Есть люди, которыхъ разстроенныя или отъ природы слабыя головы не въ силахъ переварить этого противоръчія, и которые, поэтому, или до небесъ превозносять комедію Грибоъдова; или считають ее годною только для защиты какихъ-то рожъ подверженныхъ оплеухамъ.

Выведемъ окончательный результать изъ всего сказаннаго нами о «Горе отъ Ума», какъ оценку этого произведения. «Горе отъ Ума» не есть комедія, по отсутствію, или, лучше сказать. по ложности своей основной идеи; не есть художественное созданіе, по отсутствію самоцільности, а слідовательно, и объективности, составияющей необходимое условіе творчества. «Горе отъ Ума» — сатира, а не комедія: сатира же не можеть быть художественнымъ произведениемъ. И въ этомъ отношеии, «Горе отъ Ума» находится въ неизмъримомъ, безконечномъ разстояніп ниже «Ревизора», какъ вполив художественняго созданія, вполив удовлетворяющаго высшимь требованіямь некусства и основнымъ философскимъ законамъ творчества. Но «Горе отъ Ума» есть въ высшей степени поэтическое созданіе, рядъ отдільных в картинъ и самобытных в характеровь. безъ отношенія къ цілому, художественно парисованных кистію широкою, мастерскою, рукою твердою, которая если в дрожала, то не отъ слабости, а отъ кипучаго, благороднаго негодованія, съ которымъ молодая душа еще не въ сплахъ была совладьть. Въ этомъ отношении «Горе отъ Ума», въ его цъломъ, есть какое-то уродливое зданіе, ничтожное по своему назначенію, какъ напр., сарай, по зданіе, построенне изъ драгоцинато паросскаго мрамора, съ золотыми укращеніями, дивною разьбою, изящными колоннами... II въ этомъ отношенін «Горе отъ Ума» стонть на такомъ же неизмъримомъ и безконечномъ пространствъ выше комедій Фонъ-Визина, какъ и ниже «Ревизора».

Грибовдовъ принадлежить къ самымъ могучимъ проявленіямъ русскаго духа. Въ «Горе отъ Ума» онъ является еще пылкимъ юношею, по объщающимъ сильное и глубокое мужество, — младенцемъ, по младенцемъ, задушающимъ, еще въ колыбели, огромныхъ змъй, младенцемъ, изъ котораго долженъ явиться дивный Праклъ. Разумный опытъ жизни и благодътельная сила лътъ уравновъсила бы волнованія кипучей натуры, погасъ бы ея огопь и изчезло бы его пламя, а осталась бы теплота и свъть, взоръ проясиплся бы и возвысился до спокойнаго и объективнаго созерцанія жизни, въ которой все необходимо и все разумно, —и тогда поэтъ явился бы художникомъ, и завъщаль бы потомству не лирическіе порывы своей субъективности, а стройныя созданія, объективныя воспроизведенія явленій жизни... Почему Грибойдовъ не написалъ инчего послъ «Горе отъ Ума», хотя публика уже и въ правъ была ожидать отъ него созданій зрълыхъ и художественныхъ? -- это такой вопросъ, ръшенія котораго стало бы на огромпую статью, и который все бы не ръшился. Можетъ-быть служба, которой онъ быль преданъ не какъ-нибудь, не мимоходомъ, а дъйствительно, вступила въ соперинчество съ поэтическимъ призваніемъ; а можетъ-быть и то, что въ душъ Грибоъдова уже зръли гигантскіе зародыши новыхъ созданій, которыя осуществить не допустила его ранняя смерть. Кто въ немъ одержалъ бы побъду-дипломать, или художникъ — это могла ръшить только жизнь Гриботдова, но не могутъ ръшить никакія умозртнія, и потому предоставляемъ ръшение этого вопроса мастерамъ и охотникамъ выдавать нустыя гаданія фантазін за дъйствительные выводы ума; сами повторимъ только, что «Горе отъ Ума» есть произведеніе таланта могучаго, драгоц'єпный перлъ русской литературы, хотя и не представляющее комедію, въ художественномъ значени этого слова, произведене, слабое въ цъломъ, по великое своими частностями.

Теперь намъ слъдовало бы сказать что-нибудь о предисловіи, приложенномъ къ изданію «Горе отъ Ума», написанномъ его издателемъ и запимающемъ ровно сто страпицъ. Въ немъ содержится біографія Грибовдова и критическая оцънка «Горе отъ Ума». Что сказать объ этомъ предисловія?—Оно написано умнымъ литераторомъ, и написано живо, прекраснымъ языкомъ. Что же касается до взгляда на искусство, а вслъдствіе этого, и на произведеніе Грибовдова,—это сужденія въ духъ французской критики и «Московскаго Телеграфа». Авторъ предисловія правъ съ своей точки зрънія, и мы спорить съ нимъ не будемъ, а только повторимъ стихи Грибовдова, взятые нами эпиграфомъ къ нашей статьъ, и заключимъ ее ими:

Какъ посравнить да посмотрѣть Вѣкъ нынѣшній и вѣкъ минувшій; Свѣжо предавіе, а вѣрится съ трудомъ.

полное соврание сочинений А. Марлинскаго. Санктпетербург. 1838— 1839. Двинадцать частей.

Давно уже критика сдёлалась потребностію нашей публики. Ни одинъ журналь, или газета не можетъ существовать безъ отдёла критики и библіографіи; эти страпицы разрёзываются и пробёгаются иетериёливыми читателями даже прежде повёстей, безъ которыхъ никакое періодическое изданіе не можетъ держаться и при самой критикъ. Что означаетъ это явленіе? Отвёчаемъ утвердительно: оно есть живое свидётельство, что въ нашей литературъ настаетъ эпоха сознанія. «Но», скажутъ намъ, «предметъ сознанія есть явленіе, и потому всякое явленіе предшествуетъ сознанію, а всякое сознаніе есть, такъ сказать, слёдствіе явленія; что же мы

будемъ сознавать? Неужели наша литература такъ богата, что мы уже доходимъ до необходимости перечитать, перемътить и перецанить ея сокровища? Неужели мы столько насладились ея избытками, что для насъ наступаетъ уже время другаго наслажденія—сознанія перваго наслажденія? ІІ когда же успъла совершить свой кругъ эта юная литература, которая еще только въ недавно прошедшемъ 1839 году переступила за стольтіе своей жизни?» Чтобы отвъчать на такое возражение, должно предварительно условиться въ значении слова «литература». Прежде всего подъ «литературою» разумвется письменность народа, весь кругъ его умственной дъятельности, отъ народной пъсни, перваго младенческаго лепета поэзін, до художественных ь созданій — этих в эрълых в плодовъ творчества, достигшато полнаго своего развитія; отъ глубокаго ученаго сочиненія, до легкой газетной статьи или брошюрки объ устройствѣ овиновъ, или объ истребленіи таракановъ. Потомъ подъ «литературою» разумъютъ собственно поэтическія произведенія, наконецъ — все легкое, служащее къ забавъ и развлечению, и доступное даже профанамъ въ наукт и искусствъ. Но во всикомъ случат и во векхъ этихъ значеніяхъ, литература есть созпаніе народа, цвътъ и плодъ его духовной жизни. Теперь спрашивается: подходитъ ли русская литература подъ всъ сін опредъленія, или подъ которое-нибудь изъ нихъ исключительно? — Отвъчаемъ-да, за исключениемъ, впрочемъ, стороны собственноученой. Россія еще не успъла обнаружить самостоятельной дъятельности на поприщъ науки, но обнаруживаетъ только живое стремленіе къ знанію и живую понятливость ученика. Однакожь и здёсь найдется нёсколько блестящихъ исключеній, особенно въ литературъ математики, естествознанія, путешествій, гордящейся не однимъ блестящимъ русскимъ именемъ. И такъ попятно, что наша ученая дъятельность могла положительно проявляться только въ знапіяхъ точныхъ, а не въ умозрительныхъ: первыя во всякое время

имьють свою безотносительную истину; вторыя же Россія застала въ эпоху усиленнаго и быстраго движенія, когда он'є въ одно десятильтие переживали стольтия. Укажемъ только на теорію искусства: до двадцатых годовъ въ нашей литературь царствоваль французскій классицизмь, а съ этого времени одни заговорили о трактатъ Капта «о высокомъ и прекрасномъ», другіе о братьяхъ Шлегеляхъ, объ Астъ, а пъкоторые н о Шеллингъ; но, говоря о нихъ, они не понимали другъ друга, ни даже самихъ себя; ихъ-неприготовленныхъ, застигь сильный перевороть въ пдеяхъ, развившихся въ Германін исторически, а къ намъ перешедшихъ въ какомъ-то пестромъ безпорядкъ. И потому эти господа не знали, на чемъ остановиться, на что опереться, что принять за основное и пепреходящее, ибо что вчера считалось утвержденнымъ и новымъ, то завтра объявлялось у шихъ опровергнутымъ и устаръвшимъ. И до сихъ поръ еще, относительно теоріи искусства, царствуеть въ нашей литературъ какой-то хаосъ; одни требують критики, основанной на разумныхъ и, такъ сказать, апріорныхъ началахъ искусства, въ ихъ современномъ состоянін; другіе, сознавъ свое безсиліе достигнуть, въ этомъ стремленін, какихъ-инбудь положительныхъ результатовъ, снова обратились къ произвольной французской эстетикъ, и, съ гръхомъ нополамъ, перебиваются старою рухлядью, которую ивкогда сами рвали и истребляли во ими новаго, плохо ими поия-Taro. Les beaux esprits se rencontrent, — и потому эти посявдніе подали руку тынь самымь, которыхь ижкогда уличали для обнаруженія истины, тімь самымь, которые требують исключительнаго господства своихъ бъдненькихъ мивпій, совершенно чуждыхъ некусству, но вдвойнъ для нихъ пріятныхъ и выгодныхъ-какъ потому что эти «митиія» по плечу ихъ ограниченности и удерживаютъ за ними вліяніе надъ толною, такъ и потому что эти «митнія» доставляють имъ, насчетъ толпы, существенную пользу. И вотъ примирившіеся, соединившіеся и понявшіе другь друга новые

друзья, застигнутые въ расплохъ потокомъ новыхъ пдей, хотять непонятное для ихъ ограниченности выставить за непонятное для всёхъ, выдавая его за искажение языка, которому они будто бы оказали великія, хотя и никому пензвыстныя услуги. Какъ же туть явиться какому-инбудь ученому сочинению по части теоріи искусства?-- Надо, чтобы сперва установилось брожение пдей и очистился эстетический вкусъ публики; а для этого надо, чтобы пошлыя и торговыя мивнія объ искусств'в замінились «мыслями» объ искусствъ, чтобы литературныя промышленники, объясняющие законы искусства своею благонамъренностію и усердіемъ къ пользв «почтенньйшей» публики, уступили мъсто тъмъ, которые говорять объ искусствъ потому что любять и попимають его; чтобы устаръвшіе иден заклеймились печатію общаго отверженія, а отсталые враги всего, въ чемъ есть жизнь, движеніе, сила и достопиство, потерили всякое вліяніе даже надъ чернію общества, на которую одну оппрается теперь ихъ шаткій авторитеть. Это можеть сділать только критика при посредствъ журнала, основаннаго съ чисто-литературною и ученою, а не торговою, цёлію, и поддерживаемаго участіемъ людей благородномыслящихъ и даровитыхъ, а не литературныхъ спекулянтовъ, во всю жизнь подвизавшихся на заднемъ дворъ литературы и на кредитъ пользующихся извъстностію «отлично умныхь людей» и «отличивнинкъ сочинителей». Тогда можно будетъ подумать и о наукообразномъ созпанін законовъ искусства.

То же зрёлище представляеть и наша историческая литература. Карамзинь быль полнымь выраженіемь установившихся и вполнів опреділившихся идей своего времени, и потому его «Исторія Государства Россійскаго» есть твореніе зрівлое, монументь прочный и великій, хотя и начатый скромио, безъкриковь, безь униженія своихъпредшественниковь, даже безьштукмейстерскаго объявленія о подпискь. Такъ какъ твореніе Карамзина было плодомы глубокаго изученія историческихъ

источниковъ, основательнаго и отличнаго по тому времени образованія, -- твореніе таланта великаго, труда добросовъстнаго и безкорыстнаго, совершавшагося въ священной тишинъ кабинета, далекаго отъ всъхъ литературныхъ рынковъ, на которыхъ издаются пышныя программы и забираются съ довърчивой публики деньги на не написанныя сочиненія во многихъ томахъ, то «Исторія Государства Россійскаго» съ каждымь томомь являлась созданіемь болье зрылымь, болье глубокимъ, болъе великимъ и если остается недоконченною, то единственно по причинъ смерти своего благороднаго творца, а не потому, чтобы у пего не стало силь на исполинскій подвигъ, или чтобы имъ впередъ взяты были деньги съ подписчиковъ, привлеченныхъ программою. Но послъ Карамзина что явилось сколько-нибудь примъчательнаго въ нашей исторической литературь? Развъ какая-нибудь пышная программа о подпискъ на какую-нибудь небывалую исторію въ восьмнадцати томахъ?... Или, вмъсто этихъ восьмиадцати, семь тои амониев амынай актиножовен "«чаобиллея акитона» чаом высокопарными фразами безъ всякаго содержанія, однимъ словомъ-бездарная и, часто безграмотная перефразировка великаго труда Карамзина, нещадно разруганнаго, при сей върной оказіи, въ выноскахъ, занимающихъ половину каждой страницы?... Конечно, были другія попытки, болье благородныя и болье удачныя, но въ меньшемъ размъръ, и нисколько пеприближающіяся ни своимъ назначеніемъ, ни своимъ достоинствомъ къ безсмертному творенію Карамзина. А между тёмъ великій трудъ Карамзина, какъ и всякій великій трудь, отнюдь не отрицаеть ни необходимости, ни возможности другаго великаго труда въ этомъ родѣ, который такъ же бы удовлетворилъ своему времени, какъ его трудъ своему. Но этотъ новый трудъ будетъ возможенъ тогда только, когда новыя историческія иден перестапуть быть мивніями и взглядами, хотя бы и «высшими», сдвлаются иаукообразнымъ сознаніемъ исторін какъ науки, словомъфилософією исторіи...

Не такова была судьба нашей поэзіи, потому что и вездъ не такова судьба поэзін. Наука есть плодъ умственнаго развитія народа, плодъ его цивилизацін, результатъ сознательныхъ усилій со стороны людей, которые ей посвъщають себя; тогда какъ поэзія есть прямое, непосредственное сознаніе народа. У народа пътъ еще письма, иътъ даже слова для выраженія иден искусства, но есть уже искусство-народная поэзія. ІІ даже тогда, какъ народъ уже вышель пзъ состоянія безсознательности, и поэзія его, изъ непосредственной или пародной сдълалась художественною или общею, міровою въ самой своей національности, — и тогда ея ходъ независимъ отъ хода науќи. Такъ поэзін Англичанъ, народа положительнаго и эмнирическаго по своему національному духу, совершенно чуждаго философіи (какъ безусловнаго знанія), -- поэзія Англичанъ не видитъ равной себъ ни у одного изъ новъйшихъ народовъ, даже у самыхъ Нъмцевъ, и по праву можеть стать на ряду, какъ равная съ равною, съ поэзією древнихъ Грековъ. Въ Греціи Платонъ явился тогда, какъ уже Гомеръ давно сдълался мионческимъ лицемъ, и когда самая драматическая поэзія совершила уже полный свой кругъ: Шексииръ явился въ Англіи, не дожидаясь Шеллинговъ и Гегелей. Самая германская поэзія, идущая объ руку съ философією, выигрывая оттого въ содержаніи, часто теряеть въ формъ, превращаясь въ какое то поэтическое развитіе философскихъ идей и впадая въ символистику и аллегорику. Вслъдствіе этой-то общей независимости творчества отъ науки, и наша поэзія успъла совершить такой великій и блестящій кругъ развитія, пока наука едва успъла сдълать только иъсколько неровныхъ порывовъ къ движенію...

Да, мы уже имъемъ поэзію, которою смъло можемъ соперничествовать съ поэзіею всъхъ народовъ Европы. «Но возможно ли» возразять намъ: «чтобы въ какіе-нибудь сто лътъ наша поэзія могла стать на такую неизмъримую высоту?»—

Прежде нежели отвътимъ на этотъ вопросъ, попросимъ тъхъ, кому угодно будеть его сдълать, отвътить намъ на нашь вопросъ: какимъ образомъ, въ продолжении едва ли не полутораста лътъ, наше отечество изъ государства, едва извъстнаго въ Европъ, тъснимаго и раздираемаго и Крымцами, и Поляками, и Шведами, сдълалось могущественивишею монархією въ міръ, приняло въ свою исполинскую корнорацію и отторгнутую отъ нея родную ей Малороссію, и враждебный Крымъ, и родственную Бълоруссию, и прибантиския шведскія области, и отодвинуло свое владычество за древній Арарать? Какимъ образомъ въ столь короткое время, не питя печатнаго букваря, пріобртло опо себт литературу, успъло перемъпить даже азіятскіе правы на европейскіе, такъ что о временахъ Митрофанушекъ и Скотишныхъ вспоминаетъ теперь, какъ о чемъ-то бывшемъ тысяча лътъ тому назадъ?... Мы думаемъ, что причина этого дивнаго явленія заключается въ глубинъ и могуществъ духа народа, въ сокровениомъ источникъ его внутренией жизни, который горячимъ ключемъ бъетъ во вившность. Для духа ивть условій времени, когда настанеть минута его пробужденія. Это доказываеть и богатая германская интература (мы разумъемъ особенно-изящную), которая началась почти вмъстъ съ нашею, и еще такъ недавно утратила своего полнаго и великаго представителя — Гёте. Французская же литература, въ ХУП стольтін отпраздновавшая свой первый золотой въкъ, представителями котораго были Корпель, Расинъ и Мольеръ, —въ XVIII — свой второй золотой въкъ, представителемь котораго быль Вольтерь съ энциклопедическимъ причетомъ, а въ XIX — свой третій въкъ романтическій — теперь, отъ нечего ділать, поетъ візчную память всемъ тремъ своимъ золотымъ въкамъ, какъ-то невзначай разсмотръвъ, что всъ они были не настоящаго, а сусальнаго золота... Слъдовательно, вопросъ не во времени нашей поэзін, а въ ея дъйствительности. Здъсь мы не войдемъ ни

въ подробности, ин въ объяснения, ин въ доказательства, которыя отвлекии бы насъ только отъ предмета статьи, и прямо выговоримъ наше убъждение, предоставляя себъ въ будущемъ оправдать его дъйствительность критикою. Наша народная или непосредственная поэзія не уступить въ богатетве ин одному пароду въ міре, и только ждеть трудолюбивыхъ дъятелей, которые собрали бы ея сокровища, талщіяся въ памяти народа. Пе говоря уже о пъсняхъ, - одинъ сборинкъ народныхъ рансодій, извъстный подъ-именемъ «Древшихъ стихотвореній, собранныхъ Киршею Даниловымъ», есть живое свидътельство обильной творческой производительпости, которою одарена наша пародная фантазія. Между тъмъ паша художественная поэзія, въ созданіяхъ Пушкина, стала наряду съ поэзіею всёхъ вёковъ и народовъ. Историческое ея развитіе блестить великими именами мощиаго Державина, пароднаго Крылова, романтическаго Жуковскаго, пластическаго Батюшкова, юморическаго Грибовдова, безсмертнаго переводчика «Пліады» Гомера—Гийдича. Такъ какъ литература не есть явление случайное, но вышедшее изъ необходимыхъ внутреннихъ причинъ, то она и должна развиться исторически, какъ пъчто живое и органическое, пеноиятное въ своихъ частностяхъ, но понятное только въ хропологической полнотъ и цълости своихъ процессовъ: съ этой точки зрънія, не только важны въ исторін нашей поэзін имена такихъ, болье или менье блестящихъ и сильныхъ талаптовъ, каковы Јомоносовъ, Фонъ-Визинъ, Хеминцеръ, Капинстъ, Карамзинъ (какъ стихотворецъ и романистъ), Мерзляковъ, Озеровъ, Динтрієвъ, кн. Вяземскій, Глинка (Ө. П.), Хомяковъ, Баратынскій, Языковъ, Давыдовъ (Денисъ), Дельвигъ, Полежаевъ, Козловъ, Вроиченко, Кольцовъ, Наръжный, Загоскинъ, Даль (казакъ Луганскій), Основьяненко, Александровъ (Дурова), Вельтманъ, Лажечниковъ, Павловъ (Н. Ф.), кн. Одоевскій н другіе, по даже и ошибавшихся въ своемъ призваніи тружениковъ, каковы: Сумароковъ, Херасковъ, Петровъ, Кияжнинъ, Богдановичъ и пр. Объяснимся.

Разсматривая литературу какого бы то ни было народа, невозможно отпълнть ен развитіе отъ развитія общества. Это особенно должно относиться къ русской литературъ, если вспомнимъ, что она явилась у насъ вследствіе нашего сближенія съ Европою, какъ нововведеніе. Посему, мало было того, чтобы явился поэтъ: сперва нужно, чтобъ было для кого явиться ему, чтобъ были люди, которые уже слышали и коекакъ понимали, что за человъкъ-поэтъ. И вотъ, является какой-пибудь «профессоръ элоквенціи, а наиначе хитростей пінтическихъ», Василій Кириловичъ Тредіаковскій, и пишетъ піимы и разныя стихословныя штуки: его попимають, онъ правится, и многіе уже им'єють идею «пінты». Потомъ является Александръ Петровичъ Сумароковъ, россійскій Расинъ, Лафонтенъ, Мольеръ и Вольтеръ: и общество узнаетъ, что такое ода, элегія, эклога, трагедія, комедія, слезная драма, что такое театръ, и все это начинаетъ включать въ число своихъ забавъ.

Херасковъ—нашъ Гомеръ, воспъвшій древни брани, Россіи торжество, паденіе Казани,—

растолковываеть, что такое «геропческая поэма», Общество благоговъеть передъ Ломоносовымъ, по больше читаеть Сумарокова и Хераскова: они попятите для него, болъе по плечу ему. Является Державинъ, и всъ признають его первымъ и величайшимъ русскимъ поэтомъ, переставая, впрочемъ, восхищаться и Сумароковымъ, и Херасковымъ, и Петровымъ. Но у общества есть уже на счетъ Державина какая-то задушевная мысль, есть къ нему какое-то особенное чувство, которое часто находится въ прямой противоположности съ сознаніемъ: Херасковъ написалъ двъ пребольшущія «героическія пінмы» (родъ, считавшійся вънцомъ поэзіи), слъдственно, Херасковъ выше Державина, пишущаго небольшія піесы; но со всёмъ тъмъ, отъ имени Державина въяло какимъ-то особеннымъ и таниственнымъ значеніемъ. Въ драматической поэзіи, Княжнинъ довершаеть дъло Сумарокова

и приготовляеть обществу-Озерова. Первые два холодно удивляли общество: Озеровъ трогалъ и заставлялъ его плакать сладкими слезами эстетического восторга и умиленія,и потому въ немъ думали видъть великаго генія, а въ его сантиментально-риторическихъ трагедіяхъ-торжество поэзін. Явился Жуковскій: один увидели въ его поэзін новый міръ, и жизнь души и сердца, и тапиство поэзін; другіе талантливаго стихотворца, увлекающагося подражаніемъ уродливымъ образцамъ эстетическаго безвкусія Измцевъ и Англичанъ. Батюшковъ больше Жуковскаго по плечу, потому что называль себя классикомъ и подражалъ великимъ и малымъ писателямъ французской литературы. Но молодое поколъніе не видало, но чувствовало въ немъ, какъ и въ Жуковскомъ, уже нѣчто другое: именно намекъ на истинную поэзію. Время невидимо работало. Старики уже начинали надождать. Мерзляковъ нанесъ первый ударъ Хераскову, и хотя онъ же восхищался Сумароковымъ, но сего пінту уже давно не читали, а развъ только подсмънвались надъ нимъ. Тъмъ че менъе, такіе люди, какъ Сумароковъ, Херасковъ и Петровъ, достойны уважительнаго вниманія и даже изученія, какъ лица историческія. Если они не имъли ни искры положительнаго таланта поэзін, они имѣли несомиѣнное дарованіе версификаторовъ, -- достоинство, теперь инчтожное, но тогда очень важное. Образованіемъ своимъ опи были несравненно выше своихъ современниковъ и показали имъ новыя умственныя области. Нётъ усиёха, который быль бы пезаслуженнымъ; нътъ авторитета, который бы не основывался на силъ: а эти люди пользовались удивленіемъ, восторгомъ и поклопепіемъ отъ своихъ современниковъ и, хотя недолго, даже и потомства. Ихъ читали и перечитывали, ихъ называли образцами для подраженія, законодателями вкуса, жрецами изящнаго. Но главная и дъйствительная заслуга ихъ состоить въ томъ, что они отрицательно доказали положительную истину: черезъ нихъ понять быль Державинь такъ же, какъ потомъ

черезъ Державина были они поняты, хотя онъ оказалъ имъ этимъ и совсемъ другаго рода услугу, чемъ они ему. Они приготовили Державину читателей, публику, которая безсознательно, но скоро поняла, что онъ выше ихъ, а потомъ, сравнивая его съ инми, постепенно доходила до сознанія, что чемъ более онъ истинный поэтъ, темъ более опи—лженоэты.

Да, люди, подобные Сумарокову, Хераскову, Петрову, Килжинину, Богдановичу, пеобходимы въ историческомъ развити литературы, какъ инсатели отрицательно дъйствующе на сознаніе общества въ сферъ положительной истины. Много было въ ихъ время поэтовъ, написавшихъ цълые томы, какъ, напр. Станевичъ, Николаевъ, Сушковъ, и подобные имъ; но ихъ имена забыты, какъ случайности, тогда какъ имена Сумарокова, Хераскова, Петрова, Кияжинна, Богдановича навсегда останутся въ исторіи русской литературы и будутъ достойны уваженія и изученія. Каждый изъ нихъ—лице типическое, выражающее общую идею, подъ которую подходитъ цълый рядъ родовыхъ явленій.

Къ числу такихъ-то примъчательныхъ и важныхъ въ литературномъ развитии отринательныхъ дългелей принадлежитъ и Марлинскій. Его разница съ ними, и его превосходство надъ ними, конечно, много состоитъ и въ степени дарованія, но которому его невозможно и сравнитъ съ ними, но много заключается и въ чисто-виъщнихъ причинахъ. Тъ были русскіе классики, отличавшіеся отъ своихъ образцовъ— французскихъ классиковъ, школьною тяжеловатостію въ выраженіи, искусственнымъ, а потому пеправильнымъ и дурнымъ языкомъ:—Марлинскій явился на поприще литературы тъмъ самымъ, что называлось тогда романтикомъ. Какъ Сумароковъ, Херасковъ, Петровъ, Богдановичъ и Княжнинъ клопотали изъ всъхъ силъ чтобы отдалиться отъ дъйствительности и естественности въ изобрътеніи и слогъ,—такъ Марлинскій всъми силами старался приблизиться къ тому п

другому. Тъ избрали для своихъ спотворныхъ пъснопъній только героевъ историческихъ и минологическихъ, этотъ — людей; тъ почитали для себя за униженіе говорить живымъ языкомъ и поставляли себъ за честь выражаться языкомъ школьнымъ, этотъ силился подслушать живую общественную ръчь и, во имя ся, раздвинуть предълы литературнаго языка. По сему очень нопятно, что тъхъ теперь инкто не станетъ читать, кромъ серьёзно изучающихъ отечественную литературу, а Марлинскій еще долго будетъ имъть читателей и почитателей.

Появление Марлинскаго на ноприще литературы было ознаменовано блестящимъ успъхомъ. Въ пемъ думали видъть Пушкина прозы. Его новъсть сдълалась самою падежною приманкою для подписчиковъ на журналы и для покупателей альманаховъ, и только одинъ журналъ, какъ-бы обсужденный злосчастною судьбою на паденіе, не могъ воскреспуть отъ помъщеннаго въ немъ «Фрегата Надежды»... Ио когда появились въ «Телеграфъ» его «Искуситель» и «Аммалатъ-Бекъ», — слава его дошла до своего nec plus ultra. Общій голось рішиль, что онь великій поэть, геній перваго разряда, и что ивтъ ему соперниковъ въ русской литературъ. Журналисты громкими фразами подкръпляли мнъніе толпы; но никому изъ нихъ не приходило въ голову поговорить о Марлинскомъ въ отдёльной статьт, хотя они въ длинныхъ статьяхъ разсуждали вкось и вкривь о многихъ писателяхъ, и не столь, по ихъ мивню, великихъ и важныхъ. Такая огромная слава на кредить, такой громадный авторитеть на честное слово, не могли стоять твердо и не зыблимо. Часть публики явно отложилась отъ предмета общаго удивленія. Въ пъкоторыхъ журналахъ стали промелькивать фразы, то робкія, то ръзкія, то косвенныя, то прямыя, въ которыхъ выражалось то сомивние въ геніальности Марлинскаго, то положительное отрицаніе въ немъ всякаго таланта. Наконецъ дъло дошло до того, что гѣ же самые, которые первые провозгласили его

геніемъ первой величины, начали, въ неизбѣжныхъ случаяхъ, отзываться о немъ уже не столько громко, даже неръщительно н какъ можно короче, какъ будто мимоходомъ. Но и тъ, которые поневоль должны видьть въ Марлинскомъ высшую творческую силу вследствіе обширности и глубокости своего эстетическаго чутья, за отсутствіемъ чувства, - даже и они начинаютъ упрекать его въ излишней игривости и пънистой шипучести языка, которыя породили неудачныхъ подражателей, искажающихъ русскій языкъ. Впрочемъ сін последніе, несмотря на то, не перестають повторять, въ похвалу отставнаго генія, свои и чужія громкія фразы, тёмъ болье, что онъ уже не можеть мъшать имъ въ сбыть ихъ товара, но еще можеть служить имъ орудіемъ для униженія истинныхъ талантовъ, «забавно пишущихъ и върно списывающихъ съ натуры». Между тъмъ, подражатели Марлинскаго доходять до последней крайности, изображая дикимъ и надутымъ языкомъ разныя сильныя ощущенія, и тімь самымь уясняють вопрось совстви не въ пользу своего образца.

Но это излишество похваль, это множество подражателей, самое излишество порицаній—все несомпѣнио доказываеть, что Марлинскій—явленіе примѣчательное въ литературѣ, выходящее изъ колен пошлой обыкновенности. Изъ сего противорѣчія, естественно, вытекаетъ необходимость — опредѣлить значеніе и цѣнность его, какъ писателя, указать въ литературѣ его истинное мѣсто. Постараемся же рѣшить, этотъ вопросъ, основываясь не на произволѣ личнаго «мнѣнія», которое чаще всего бываетъ личнымъ «предубѣжденіемъ», но опираясь на здравый смылъ и эстетическое чувство нашихъ читателей, и такимъ образомъ, не себѣ, а имъ предоставляя право суда.

Марлинскій принадлежить къ числу тѣхъ литераторовъ, которые явились на литературное поприще какъ враги классицияма и поборники романтизма. Вслъдствіе этого, опъ дѣйствоваль не только какъ романисть или пувеллисть, но и

какъ критикъ. Въ XI части его «сочиненій» помѣщены его годовые отчеты за литературу 1823, 1824 и частію 1825 годовъ, очеркъ исторіи древней и новой литературы до 1825 года, и разборъ романа г. Полеваго «Клятва при гробъ Господнемъ». Не знаемъ почему, но только эти статьи въ полпомъ собраніи сочиненій Марлинскаго названы полемическими, тогда какъ въ нихъ нътъ и тъни полемики: въ пихъ авторъ ни на кого не нападаеть и пи съ къмъ не споритъ, а положительно высказываеть свои понятія о литературт вообще и произведеніяхъ отечественной словесности. Равнымъ образомъ, не попимаемъ, почему въ это полное собраніе пе впесены истинно-полемическія статьи Марлинскаго, разсъянныя по кинжкамъ «Сына Отечества» двадцатыхъ годовъ, и крайне интересныя, какъ факты интереснъйшаго времени нашей литературы, времени, въ которое началась война покойника классицизма съ теперешнимъ покойникомъ романтизмомъ. Эти полемическія статейки Марлинскаго были его журнальными схватками съ тогдашними литературными старов фрами, и отличаются в фрностію взгляда на предметы, остроуміемъ и живостію. Вообще, Марлинскому, какъ критику, литература наша многимъ обязана. Это было важною заслугою съ его стороны, заслугою, которая теперь забыта самыми его поклонниками, и которую памъ темъ пріятите выставить на видъ. Въ своихъ по-годныхъ и полу-годных в обозржніях в литературы, имживших в в двадцатыхъ годахъ такой усивхъ, Марлинскій не отличается глубокимъ взглядомъ на искусство, не представляетъ о немъ ин одной глубокой пден, но почти вездё обнаруживаетъ эстетическое чувство и върный вкусъ человъка умнаго и образованнаго. Всф они отличаются языкомъ по тому времени совершенно повымъ, чуждымъ большею частію изысканности и вычурности, полнымъ жизни, движенія, выразительности, оборотами новыми и смёлыми, игривыми, живописными, образными. Конечно, въ этихъ «обозрѣніяхъ» часто встрѣчаются похвалы такимъ сочиненіямъ и такимъ «сочинителямъ», имена

которыхъ теперь сдёлались допотопными, ископаемыми р'ёдкостами: но. вмъстъ съ тъмъ, въ нихъ встръчаются и чистыя отставки заржавтвинит и заплесневтвинит знаменитостямъ того времени, и истинныя оцёнки старыхъ и новыхъ талантовъ, особенно Лержавина, Жуковскаго и Пушкина. Надо знать и помнить критику того времени, чтобы оценить подобныя характеристики, въ которыхъ Марлинскій изобразилъ этихъ мощныхъ представителей нашей поэзін. Вспомните прив'єтствія, которыми онъ, напримъръ, встрътилъ появление «Московскаго Телеграфа» и которыми, въ немногихъ словахъ, такъ ръзко и върно охарактеризовалъ и начало, и средину, и конецъ этого изданія: «Въ Москвъ явился двухнедъльный журналь «Телеграфъ», изд. г. Полевымъ. Онъ заключаетъ въ себъ все, извъщаетъ и судить обо всемъ, начиная отъ безконечно-малыхъ въ математикъ до пътушьихъ гребешковъ въ соусъ, или до бантиковъ на повомодныхъ банмачкахъ. Перовный слогь, самоувъренность въ сужденіяхъ, ръзкій тонъ въ приговорахъ, вездъ охота учить и частое пристрастіе — вотъ знаки сего телеграфа, а «смілымъ Богь влапъетъ»—его девизъ» (стр. 203).

Въ критической статъв о «Клятвв при Гробв Госноднемъ», Марлинскій является уже совсвиъ въ другихъ отношеніяхъ къ ел автору. Эта статья была написана въ 1833 году, а въ восемь лѣтъ много воды утекло: удивительно ли, что два автора, критиковавшіе сочиненія одинъ другаго, ноняли другъ друга къ обоюдной пользв, по пословиць: «рука руку моетъ—объ чисты»?... Во всякомъ случав, эта статья весьма примъчательна. Критикъ начинаетъ съ лицъ Леды, уцъпляется за неизбъжный въ то время классицизмъ и романтизмъ, садится на нароходъ Джонъ-Буль и везеть своихъ читателей въ Индію, оттуда (сухимъ путемъ) въ Персію, завзжаетъ мимоходомъ въ Аравію и Египетъ, оттуда вдетъ (моремъ) въ Грецію, которую онъ нонимаетъ довольно поверхностно—съ телеграфской точки зрънія; изъ Греціи

отправляется въ Римъ, и изъ Рима-прямо въ средніе въка. Туть идуть толки о баронахъ и вассалахъ, о крестовыхъ походахъ, о менестреляхъ, наконецъ о Шекспирѣ, о Вальтеръ Скоттъ, Кунеръ, Байронъ, Викторъ Гюго, который, по мпънію критика, знаетъ человъческую природу не хуже Шеккепира (!!...) и гораздо лучше Эсхила и Софокла (..!!); далье толкуется о ХУШ и ХІХ въкахъ, и о Наполеонь, а изъ всего этого выходить, что мы-романтики, и что г. Полевой-великій романтикъ и еще большій романистъ (!!!...). Ложная идея ложнаго романтизма до того овладъла пашимъ романтическимъ критикомъ, что у пего и Державинъ — романтикъ, и Карамзинъ, и Вельтманъ, словомъ, все талантливое, даровитое, все-романтики. Романтизмъ въ глазахъ Марлинскаго есть альфа и омега истины, праеугольный камень міра, ключь ко всякой мудрости, решеніе всего и на землъ и подъ землею, причина всъхъ причинъ, начало всъхъ пачаль, разгадка всевозможныхь загадокь, отъ бородавки на носу старушки до тайной думы генія. Всявдствіе всего этого, въ статът довольно софизмовъ и произвольныхъ, ни па чемъ неоснованныхъ мнёній. Въ слоге местами колетъ глаза читателю вычурность. Особенно замътно желаніе шутить, которое проявляется иногда тамъ, гдѣ, кромѣ журналовъ, издающихся только для шутки, никто еще не шутиль. Воть образчикъ такой натянутой и нимало не остроумной шутливости: «И вотъ мы въ Грецін, въ странъ боговъ, подобныхъ людямъ, въ странъ богоподобныхъ мужей! Я увъренъ, что этоть salto mortale не удивить васъ: развъ не учились вы прыгать въ манежъ? Что касается до меня, вы сами видите, что я вольтижирую на коньк' своемъ не хуже Франкони сына» (т. XI. стр. 264). II эта неумъстная и невеселая шутка замъщалась въ страницу, блестящую дъльными мыслями и преграснымъ языкомъ... Или, напримъръ, какъ вамъ покажется воть еще эта милая шуточка: «Исторія была всегда, совершалась всегда. Но она ходила сперва неслышно будто кошка,

подкрадывалась невзначай, какъ тать (и справедливо и остроумно!). Она буянила и преждъ» и пр. (стр 254). Но виъстъ съ этими мыслями незрълыми, поверхностными и ложными, при этой неострой шутливости, при этихъ вычурныхъ фразахъ, при этомъ явномъ пристрастіи къ пріятельскому изділію, — сколько въ этой стать сватлыхъ мыслей, варныхъ замътокъ, сколько страницъ и мъстъ, говорящихъ, сіяющихъ, блещущихъ живымъ, увлекательнымъ красноръчіемъ, ръзкими, мпогозначительными, хотя и краткими очерками, бриліянтовымъ языкомъ! сколько истиннаго остроумія, неподдъльной игривости ума! Такъ напр., сколько правды высказалъ Марлинскій о «Самозванцъ» и «Петръ Выжигинъ» г. Булгарина! Въ первомъ говоритъ онъ, авторъ изобразилъ «не Русь, а газетную Россію» и «натянуть тамъ, гдъ дъло идетъ на чувства, на сильныя вснышки страстей», что въ немъ «характеръ Годунова очерненъ, характеръ Самозванца не выдержанъ, а государственные люди черезчуръ просты и трусливы»; что авторъ «слишкомъ романтизировалъ похожденія своего героя, и прибъгъ къ чудесному, очень уже изпошенному, заставиль колдунью пророчить Годупову самымъ пошлымъ образомъ надъ змёнми и жабами, которыхъ (между нами будь сказано) не найти въ мартъ мъсяцъ ни за каки деньги»; что «въ Петръ Выжигинъ историческая часть вовсе чахотна»; что «увърять, что Наполеонъ пошелъ въ Россію, обманутый Коленкуромъ, будто его примутъ съ отверстыми объятіями, можно было въ 1812 году, не позже; да и тогда этимъ слухамъ върпли только въ гостинномъ дворъ»; что «Наполеонъ занимаетъ въ Выжигинъ» больше мъста, чъм самъ герой повъсти» и пр. (стр. 317 и 318). При върпости взгляда, какая удивительная намять у критика: онъ не только прочелъ романы г. Булгарина — даже упомнилъ, о чемъ п какъ въ нихъ разсказывается... За тёмъ слёдують очень остроумныя оцънки романовъ гг. Загоскина и Лажечникова, которые, однакожь, по пріязин къ автору «Клятвы», онь

ставить ниже этого, разумъется, неконченнаго произведенія. Сколько критическаго такта и воть въ этихъ немногихъ словахъ: «Я не поставлю Державина на одну доску съ Жуковскимъ и Пушкинымъ, потому что первый изумиль всёхъ подобно кометь, но исчезъ въ пучинь воздуха, безъ слъда; а два послъдніе были двигателями нашей словесности и затаврили своимъ духомъ цълые табуны подражателей» (стр. 310)! Посмотрите, сколько върности во взглядъ и игривости въ выраженін въ этомъ краткомъ очеркъ французскаго классицизма: «Зажмурьте глаза, и вы не узнасте, кто говоритъ: Оросманъ или Альзира, китайская сирота или каммер-юнкеръ Лудовика XIV. Малютку природу, которая имъла неисправимое несчастіе быть недворянкою - по приговору академін выпроводили за заставу, какъ потаскушку. А здравый смыслъ, точно бъдный проситель, съ трепетомъ держался за ручку дверей, между тъмъ, какъ швейцаръ классикъ павлинился передъ нимъ своею ливреею и преважно говорилъ ему: приди завтра! И какъ долго не пришло это завтра, а все оттого, что Французы нашли Божій свъть слишкомъ площаднымъ для себя, а живой разговоръ слишкомъ простопароднымъ, и вздумали украшать природу, облагородить, установить языкъ! И стали нелъпы оттого, что чрезчуръ умничали» (стр. 263). Это было сказано и доказано назадъ тому семь лъть, а между тъмъ люди, живущие задиниъ умомъ, по уставу того времени, когда даже и они слыли за умниковъ, и теперь приходять въ ужасъ отъ выраженія, что Корпель, Расинъ, Буало, Вольтеръ, Кребильйонъ, Дюсисъ и пр.—ноэтические уроды!... Хоть бы Марлинскаго-то перечитывали эти почтенные филистеры въ илисовыхъ сапогахъ и вязаныхъ колиакахъ!... Чтобы помочь слабости ихъ памяти и другихъ способностей, выпишемъ для нихъ и еще пъсколько строкъ изъ этой статьи Марлинскаго: «Ломая алтари, Франція не тропула точеныхъ ходулей классицизма; она отреклась въры и осталась върпа преданіямъ Баттё, стихами Делиля, такъ что, когда русскій казакъ сёль на даровое мъсто въ Одеонъ, въ 1814 году, онъ зъваль отъ тъхъ же длинныхъ, длинныхъ монологовъ, отъ которыхъ зъвать изволилъ Лудовикъ XIV, съ тою только разницею, что революціонеръ Тальма осм'єдился не п'єть, а говорить стихи, проглатывать цезуры и ходить по человъчески, а не гусинымъ шагомъ» (стр. 296). Сколько върности во взглядъ п игривости въ выражении вотъ и въ этой характеристикъ одной части русскаго народа. «Матеріальная Европа хлынула на Россію, когда Петръ Великій сломалъ стъпу, ихъ дълившую; но въку Петра изкогда было заниматься словеспостію: его поэзія проявлялась въ подвигахъ, не въ словахъ. Долгое бездъйствіе пало на Русь съ кончиною его кинучей дъятельности, а въ часъ досуга русскій баринъ любиль чужестранныя сказки; онъ искони отличался необыкновенною уступчивостію своихъ нравовъ, необыкновенною пріемлемостію чужихъ. Опъ пилъ кумысъ съ ханами Золотой Орды; онъ носиль контушъ при самозванцъ. За бороду, правда, опъ спорилъ долго, будто бъ она приросла у него къ сердцу; но разъ въ мундиръ, онъ грудью полъзъ въ Нъмцы» (стр. 299-300). Отъ страницы 323 до 335, авторъ, съ неподражаемою оригинальностію, слёдовательно н вёрно, говорить о національных элементахъ русскаго романа, о родныхъ стихіяхъ жизпи русскаго народа, у котораго, по его словамъ: «каждое слово завиткомъ и последняя копейка ребромь». При оцънкъ самого романа, занимающей едва ли десятую часть статьи, критикъ, по всему видно болъе руководился личными отношеніями къ автору-пріятелю, чёмъ истиною, п потому въ этой длинной и скучной повъсти видитъ міровое, или, говоря его попятіями, романтическое произведеніе. Еще не приступая къ оцъпкъ романа г. Полеваго, онъ оцъпиль его недоконченную «Исторію Русскаго Народа». Какъ ръдкій обращикъ пріятельской критики, выписываемъ эту диковинную оцвику: Полевой издаль 3 тома своей «Исторіи Рус-

скаго Народа». То уже не быль златопернатый разсказъ Карамзица, но повъствование пернатое свътлыми идеями (ужь подлинно-свътлыми: отъ блеска ихъ часто и смысла не видишь!...). Не изъ толпы, и не съ приходской колокольни (а втрно съ телеграфской каланчи?...) смотрълъ опъ на торжественный ходъ въковъ, но съ выси горъ (а!...). Взоръ его проникалъ въ сердце народовъ, обнималъ все ристалище человъчества» и проч. Но еще пе этимъ оканчивается пріятельская критика — послушайте далье: «Полевой отвъчаль новыми услугами за новые насмъшки. Ему вспало на умъ: досказать русскую исторію—пов'єстью... Всл'єдствіе этого онъ написалъ сперва повъсть «Симеонъ Кирдяна», и теперь «Клятву при Гробъ Господнемъ, русскую быль XV въка...» Эврика! Эврика! Вотъ открытіе-то! новое, важное открытіе! Въдь педоконченная «Исторія Русскаго Народа» г. Полеваго докончена: «Симеонъ Кирдяна» и «Клятва при Гробѣ Господнемъ» суть не что иное, какъ ея последние томы, -- те самые, которыя были объщаны публикъ нашимъ историкомъ, въ числъ восьмиадцати, но которые, впрочемъ, продавались отдъльно!... Господа подписчики на восьмиадцать томовъ «Исторін Русскаго Народа», получившіе ея только семь томовъ! купите «Клятву при Гробъ Господнемъ», выдерите изъ «Телеграфа» «Симеона Кудряну», да и переплетите ихъ подъ одинъ переилетъ съ семью томами исторіи-вотъ вы и съ концомъ... Не поскупитесь: «Клятва» стоить недорого-гораздо дешевле «Исторіи Русскаго Народа», за которую вы или отцы ваши заплатили впередъ деньги!...

Но наша оцънка Марлинскаго, какъ критика, кончена. Выведемъ итогъ изъ всего сказаннаго нами,—а мы, какъ читатели сами могутъ видъть, говорили не миъніями, а фактами, и, выставляя на видъ ошибки и пристрастіе, не скрывали отъ шихъ, а прямо выставляли на видъ и блестящія, истинныя стороны разбираемаго нами автора. Оставляя въ сторонъ ложность или поверхность многихъ мыслей, заключающіяся въ

неизбъжныхъ условіяхъ времени, — мы пе будемъ обвинять за нихъ Марлинскаго, тъмъ болъе, что ин самъ онъ и никто другой не думаль выдавать ихъ за непреложныя; пройдемъ молчаніемъ пеудачныя и неумъстныя претензін на остроуміе и оригинальность выраженія; по скажемъ, что многія свътдыя мысли, часто обпаруживающееся върное чувство изящнаго, и все это, высказанное живо, иламенно, увлекательно, оригинально и остроумно, -- составляють неотъемлемую и важную заслугу Марлинскаго русской литературъ и литературному образованию русскаго общества. Не забудемъ также, что онъ былъ первый, сказавшій въ пашей литератур'в много новаго, такъ что, все писавшеееся потомъ въ «Телеграфъ», было повтореніемъ уже сказаннаго имъ въ его литературныхъ обозрвнінхъ. Лучшимъ доказательствомъ этого служитъ его примъчательная и, -- несмотря на отсутствіе внутренней свизи и последовательности, на неуместность толковъ о всякой всячинь, нейдущей къ дълу, несмотря на множество софизмовъ и явное пристрастіе, —прекрасная статья о «Клятвъ при гробъ Господнемъ»: «Телеграфъ» во все время своего существованія, ни на одну поту не сказаль больше сказаннаго Марлинскимъ, и только развъ отсталь отъ него, обратившись къ устаръвшимъ миъніямъ, которыя прежде самъ преслъдовалъ. Да, Марлинскій немного дъйствовалъ, какъ критикъ, но много сдъдалъ, --его заслуги въ этомъ отношеніп незабвенны и гораздо существеннье, чжмь достоинство его препрославленныхъ повъстей, хотя о первыхъ никто не говорить, а отъ последнихъ всё безъ ума.-Перейдемъ же КЪ ЭТИМЪ ПОВЪСТЯМЪ...

Художественны ли повъсти Марлинскаго, т. е. принадлежать ли онъ къ произведеніямъ искусства, или только, къ произведеніямъ литературы? Надобно напередъ сказать, что мы полагаемъ большую разпость не только между художественнымъ и литературнымъ произведеніемъ, но и художественнымъ и поэтическимъ: литературное произведеніе мо-

жеть быть и поэтическимь, а поэтическое—и художественнымь; но есть произведенія литературы, которыхь иельзя назвать ни поэтическими, ни художественными. Вёдь и «Танька, разбойница растокинская или Царскіе Терема» и «Черная Женщина», и разныя «поъздки» и «прогулки», и «Похожденія англинскаго Милорда», и «Похожденія Совъстдрала большаго носа»—все это, безъ всякаго сомивнія, принадлежить къ литературь, но не имъеть никакого отношенія къ искусству: Мы не будемъ ни опредълять значенія слова «художественность», ни подробно разсматривать его, а въ короткихъ словахъ опишемъ признаки «художественности».

Художественное произведение рѣдко поражаетъ душу читателя сильнымъ впечатлъніемъ съ перваго раза: чаще оно требуеть, чтобы въ него постепенно взглядывались и вдумывались; оно открывается не вдругь, такъ-что чёмъ больше его перечитываешь тёмъ дальше углубляешься въ его организацію, уловляеть новыя, незамьченныя прежде черты, открываеть новыя красоты, и тёмъ больше ими наслаждаешься. Прогрессу этого разумънія и наслажденія пътъ предъловъ, пътъ границъ: онъ безконеченъ... Посему, истипно-художественное педоступпо массъ и толпъ, какъ все, что ей не по плечу: оно доступно только пемногимъ, но избраннымъ, —и когда время сделаетъ свое дело, утвердительно решивъ вопросъ о великости художника, толпа съ голоса этихъ избранныхъ кричитъ о его геніальности, по понимаеть его такъ же илохо, какъ и при его появленіи... Кто теперь не убъжденъ въ громадности генія Шекспира, и мпого ли людей предпочтуть его драму ка кому-пибудь водевилю, или пустой и ничтожной мелодрамь, сшитой изъ чувствительныхъ эффектовъ?... Когда Пушкинъ явился въ свътъ съ «Русланомъ и Людмилою», «Кавказскимъ Плънникомъ», первою главою «Опътина», съ «Андреемъ Шенье», «Наполеономъ», посланіемъ къ «Овидію», къ «Лиципію» и другими дъйствительно поэтическими, но не художественными произведеніями, — масса публики увидъла въ

немъ генія первой величины, а когда онъ представиль ей «Полтаву», «Бориса Годунова» и «Опътина», какъ цълое художественное создание: а уже не сказку о томъ и о сёмъ,масса публики ръшила, что Пушкинъ палъ... И между первыми его произведеніями, действительно поэтическими, доставившими ему такой огромный успъхъ, многіе ли и теперь еще замътили и оцънили его истинно-художественныя подражанія древнимъ и Корану?... Все, что нехудожественно, но по намерению автора должно относиться къ искусству, съ перваго раза производить самое ръзкое и сильное внечатлъніе, бросалсь въ глаза и раздражая зрительный нервъ густотою и яркостію красокъ. Такія мнимо-художественныя произведенія скорбе всего захватывають винманіе массь, увлекая ихъ своею доступностію, которая возможна даже для ограниченности и невъжества. Все ръзкое, блестящее, особенно если опо къ тому же и ново, хотя бы было и странно, и дико-оригинально, имбеть, при своемъ началъ, великій усивхъ въ толив, и часто увлекаетъ даже и людей съ эстетическимъ чувствомъ, но чувствомъ, невозвысившимся чрезъ развитіе, чрезъ изученіе, до эстетическаго вкуса. Однакожь рано или поздно-истина всегда береть свое: ей помогаеть времи, этотъ великій и непогрѣшительный критикъ. Если у человъка есть хоть иъсколько естетическаго чувства-произведеніе, восхищавшее его, при каждомъ повторительномъ чтенін все болье и болье теряеть цыну въ глазахъ его, н наконецъ наскучаетъ ему и дълается противно. Сама толпа приглядывается къ нему-и лишь только явится ей другая новость въ этомъ родъ, она сперва по привычкъ и по преданію, будеть еще, зівая, превозносить его, а потомь н совсемъ забудетъ, кинувшись на новинку. Итакъ, художественное произведение открывается не вдругъ, а постененно: чёмъ болёе его читають, тёмъ попятиёе оно становится, п тъмъ больше наслажденія доставляеть, вынгрывая такимъ образомъ съ теченіемъ времени, обновляясь и юнъя отъ полпоты лѣтъ, —между тѣмъ, какъ минмо-художественныя произведенія, часто ослѣпляя своею повостію и пріобрѣтая отъ
этого всеобщій громкій успѣхъ, все болѣе и болѣе блѣдиѣютъ и тускнутъ отъ каждаго новаго чтенія, и наконецъ
гибнутъ отъ старости, которую обыкновенно называютъ устарѣлостію. Вѣчность выноситъ на своихъ волнахъ только одно
обще-міровое и обще-человѣческое, никогда непреходящее, но
вѣчно юное, и топитъ въ бездонной пропасти своей все частное и ограниченное условіями обстоятельствъ и требованіями
жѣстности и современности...

Истиино-художественное произведеніе всегда поражаєть читателя своею истиною, естественностію, върностію, дъйствительностію, до того, что, читая его, вы безсознательно, но глубоко убъждены, что все, разсказываемое или представляемое въ пемъ, происходило именно такъ, и совершиться иначе никакъ не могло. Когда вы его окончите-изображенныя въ немъ лица стоятъ передъ вами какъ живыя, во весь рость, со всёми малъйшими своими особенностями-съ лицемъ, съ голосомъ, съ поступью, съ своимъ образомъ мышленія; они навсегда и неизгладимо впечатлъваются въ нашей намяти, такъ что вы никогда уже не забудете ихъ. Цълое піесы обхватываетъ все существо ваше, проникаетъ его пасквозь, а частпости ея намятны и живы для васъ только по отношению къ цёлому. И чёмъ больше читаете вы такое художественное созданіе, тёмъ глубже, ближе и неразрывиће совершаетсявъ васъ внутрениее и задушевное освоение и сдружение съ нимъ. Простота есть необходимое условіе художественнаго произведенія, по своей сущности отрицающее всякое вижшиее украшеніе, всякую изысканность. Простота есть красота истины, — и художественныя произведенія сильны ею, тогда какъ миимохудожественныя часто гибнутъ отъ нея, и потому по необходимости прибъгаютъ къ изысканности, запутанности и необыкновенности. Оттого-то, когда пылкій юноша прочтеть художественное произведеніе, — онъ готовъ спросить себя:

«ночему онъ не написалъ его? Въдь оно такъ просто и обыкновенно: кажется, только стоило бы присъсть да написать»,--по мнимо-художественныя произведенія почти всегда, съ перваго раза, возбуждають удивленіе: они кажутся такъ поразительно новы, такъ пеподражаемо оригинальны, такъ высоко мудрены; -- и юная, неопытная душа не смъеть и думать ръшиться на подвигь соперничества, и съ суевърнымъ благоговъніемъ смиряется въ сознаніи своего безсилія произвести что-инбудь подобное... Воть почему устаръвшие юноши, или духовно-малольтные люди, вследствее бедности, мелкости и ограниченности своей натуры, къ тому же еще неразвитой ученіемъ и образованіемъ, видять, напримъръ, въ Гоголь «забавнаго писателя, върно списывающаго съ патуры» и какъ будто ставять ему это въ унижение. Добрые люди, -- они не понимають, что върно списывать съ дъйствительности невозможно, но можно върно воспроизводить дъйствительность силою творческаго духа, а то, что они называютъ на своемъ простопародномъ наръчін-«върно сипсывать съ натуры», значить върно творить, и есть не недостатокъ, не порокъ, а высочайшее достопиство и необходимое условіе творческой силы въ поэть. Въ искусствь, все певърное дъйствительности есть ложь и обличаетъ не талантъ, а бездарность. Искусство есть выражение истины, и только одна дъйствительность есть высочайщая истина, а все вив ея, т. е. всякая выдуманная какимъ-нибудь «сочинителемъ» дъйствительность есть ложь и клевета на истину... Въ истинно-художественномъ произведении вст образы новы, оригинальны, ни одинъ не повторяеть другаго, но каждый живеть своею особною жизнію. Какъ бы пи были многочисленны п разнообразны творенія художника, — онъ ни въ одномъ изъ нихъ и ни одною чертою не повторитъ себя.

Разсмотрите повъсти Марлинскаго на основании изложенныхъ нами мыслей о художественности въ искусствъ: что выйдетъ?... Основныя стихіи повъстей Марлинскаго, приписываемыя имъ общимъ голосомъ, суть—народность остроуміе и живоинсь трагическихъ страстей и положеній. Посмотримъ, справедливо ли это, и если справедливо, то до какой степени.
Начнемъ съ «Испытанія»—первой повъсти въ первомъ томъ,
и перелистуемъ ее. Иовъсть пачинается описаніемъ гусарской пирушки на именинахъ эскадроннаго начальника Гремина. Разговоръ началъ «томиться», и смъхъ, «эта клеонатрина
жемчужина, разстаялъ въ бокалахъ». Изъ гостей, майоръ
Стрълинскій завтра вдетъ въ Петербургъ,—хозяинъ вызываеть его на тайное объясненіе и дълаеть ему порученіе, по
смыслу котораго пазвана и повъсть.

"Послушай, Валеріанъ! сказалъ ему Греминъ; ты, я думаю, помнишь ту черноглазую даму, съ золотыми колосьями на головъ, которая свела съ ума всю молодежь на балъ у французскаго посланника, три годэ тому назадъ, когда мы оба служили въ гвардіп.

— Я скорве, забуду, съ которой стороны садиться на лошадь! — вспыхнувъ, отвъчалъ Стрълинскій; — она... но далъе: ты былъ влюбленъ въ нее?

"Выль и есмь... мнъ отвъчали взаимностію, меня ввели въ домъ ен мужа...

- Такъ она за мужемъ?
- "По несчастію, да. Разсчетмивость родных приковала ее къ живому трупу, къ ветхому падгробію человыческаго и графскаго досточиства. Надо было покориться судьбв и питаться искрами взілядовъ и дымомъ надежди. Но между твмъ, какъ мы вздыхали, семищесятильтній супругъ кашляль—и наконець врачи посовътывали ему бхать за границу... Старикъ взяль ее съ собою... При разлукъ мы были неутвины, и помънились, какъ водится, кольцами и обътами неизмънной върности. Съ первой станціи она писала ко мнъ дважды; съ третьяго ночлега еще одно письмо; съ границы поручила одному встръчному знакомцу мнъ кланяться, а съ тъхъ поръ ни отъ ней, ни объ ней никакого извъстія: словно въ воду канула!
- Ужели жь ты не писаль къ ней? Любовь безъ глупостей на письив и на дълв все равно, что разводъ безъ музыки. Бумага все терпитъ.
- "Да я-то не терплю бумаги. Притомъ, куда бы мнъ адресовать свои брандскугельныя посланія? Вптерь плохой проводинкь для ипжиости,

а животный манетизмъ не открыть мнъ мъста ел процентантя. Потомъ иныя заботы по службъ и своимъ дъламъ не давали мнъ досуга заняться сердцемъ. Признаюсь тебъ, я ужь сталъ было позабывать мою прекрасную Алину. Время замъчиваетъ даже ядовитыя раны ненависти: мудрено ли жь ему выдымитъ фосфорное пламя любви? Но вчерашния почта освъжила вдругъ мою страсть и надежды. Репетиловъ, въ числъ столичныхъ новостей, пишитъ мнъ, что Алина возратилась изъ-за границы въ Петербургъ — мила, какъ сердие, и умии, какъ сеттъ, что она сверкаетъ звиздой на модномъ гаризонтив. что уже дамы, несмотря на соперничество, перенили у ней какой-то чудесный манеръ риликоля, а мужчины выучились пришелетывать, страхъ какъ пріятно...

— Тэмъ хуже для тебя любезный Николай! Память прежней привязанности никогда не бывала въ числъ карманныхъ добродътслей у баловницъ большаго свъта.

— "Въ этомъ-то все идъло, любезнъйшій! Отлучка полковаго командира привязала меня къ службъ; между тъмъ, какъ я сижу здъсь сиднемъ, она, можетъ, измъняетъ мнъ. Сомнъніе для меня тяжеле самой неблагопріятной извъстности. Послушай, Валеріанъ! я тебя знаю давно, и люблю тебя также давно, какъ знаю. Коротко и просто: испытай върность Алини".

А, такъ вотъ въ чемъ дъло, и вотъ что значитъ-«испытаніе»! Разумъется, Стрълинскій отговаривается; а наконець соглашается — и вдеть. Разумвется, что Стрвлинскій знакомится съ Алипою Александровною Звъздичъ, сначала волочится за нею по порученію друга, потомъ влюбляется въ нее по ущи, самою высокою платоническою страстію, равно какъ и она въ него. Разумъется, Греминъ приходитъ въ бъщенство, узнавъ о ихъ близкой свадьбъ, прітажаеть, объясняется съ нимъ; они говорять другь другу оскорбительныя остроты и условливаются о мъсть роковаго поединка. Разумъется, что Греминъ, прівхавъ на объясненіе къ Стрълинскому, увидълъ его «прелестную» и «невинную» сестру, которой онь посыдаль съ братомъ поклонъ въ своемъ дружескомъ съ нимъ разговоръ, невыписанномъ нами до конца, длинноты его ради. Разумъется, Греминъ влюбился въ нее, а она влюбилась въ него, смекнула о дуэли и, какъ ангелъ-примиритель, вовремя явилась на мъсто поединка,—и повъсть заключилась двумя свадьбами. Въ произведеніяхъ такого рода по началу можно знать и середину и конецъ, нотому что въ такихъ произведеніяхъ все—общія мъста и истертыя пружины. Итакъ, оставимъ въ сторонъ подробный разборъ повъсти, и, вмъсто его, сдълаемъ читателю иъсколько вопросовъ:

Выписанное нами изъ повъсти мъсто есть введеніе въ повъсть: авторъ васъ знакомитъ съ ел дъйствующими лицами, и ихъ разговоромъ завязываетъ интригу повъсти. Спрашиваемъ: если Стрълинскій былъ задушевнымъ другомъ Гремину, такъ что тотъ почиталъ себя вправъ сдълать ему такое порученіе, — то зачёмь же онь, въ самую минуту порученія, сталъ разсказывать ему о своей любви? Неужели его другъ не зналъ о ней прежде? Да для того, отвъчаемъ мы же сами, — чтобы читатели узнали въ чемъ дъло; только въ художественныхъ созданіяхъ лица знакомять себя читателю дъйствіемъ, а не разсказами о себѣ въ родѣ слѣдующихъ: «характеръ у меня такой-то, отъ рода имъю столько-то лътъ, влюбленъ въ такую-то, и воть какъ это случилось». Спрашиваемъ: каково бы ин было чувство мущины, если только въ немъ человъческая душа и человъческое сердце, -- во всякомъ случав, не должно ли въ его чувствъ непремъппо быть хотя сколько-пибудь этого дёвственнаго цёломудрія, вслёдствіе уваженія и къ себё и къ достоинству женщины, этого девственнаго целомудрія, которое открываетъ свою задушевную тайну нехотя, робко, говорить о ней не прямо, а какъ бы намеками, не многословно, а отрывисто, не громко, а тихо, какъ бы боясь, чтобы его не подслушали самые стіны? Такъ ли объяснялся объ этомъ щекотливомъ предметъ Греминъ?... Боже мой, сколько въ его словахъ претензій на остроуміе, которое, отъ этого самого, такъ натянуто! И это ли языкъ чувства, весь склеенный изъ азбучныхъ афоризмовъ, ходячихъ септенцій

и остроть, вычитанныхъ изъ плохихъ романовъ! Какая въ разговоръ Гремина безсердечность, холодность! Какое отсутствіе всякой естественности! И что похожаго на истину въ самомъ порученія! Оно гораздо приличнъе школьникамъ, недавно вышедшимъ изъ пансіона, чъмъ удалымъ и храбрымъ гусарамъ. Когда вы прочитываете этотъ разговоръ,—западетъ ли вамъ въ душу хотя одно слово изъ него? остается ли въ вашей памяти хотя одна черта этихъ двухъ безличныхъ лицъ и безхарактерныхъ характеровъ?...

А подробности, а краски повъсти?... У насъ пътъ ни мъста, ни времени, ни охоты выписывать, напримъръ, остроумное описаніе Сънной-площади, наканунъ Рождества, гдъ «ощинанныя гуси, забывъ капитолійскую гордость, славно выглядывають изъ возовъ, ожидая покупщика, чтобы у него погръться на вертелъ; цълыя племена свиней всъхъ покольній, на всьхъ четырехъ ногахъ съ загнутыми хвостиками, внервые послушные дисциплинъ, стройными рядами ждуть ключинцъ и дворецкихъ, чтобъ у нихъ на запяткахъ совершить смиренный визить на поварию, и, кажется, съ гордостію, любуясь своею бълнзиою, говорять вамь: «я разительный примъръ усовершаемости природы: бывъ до смерти упрекомъ неопрятности, становлюсь эмблеммою вкуса и чистоты, заслуживаю давры на свои окорока, сохранию платья вашимь модинкамъ и зубы вашимъ красавицамъ» и прочее, и прочее. Все въ такомъ же родъ-н о простосердечномъ баранъ-«этой четвероногой идилліц», и объ эгонстахъ телятахъ п т. д.; перечтите сами, и потомъ сами себъ отдайте отчеть, до какой степени все это замысловато, игриво, мило и смѣшпо. Перечитывать и отдавать себѣ отчеть въ перечитанномъ очень полезно: это избавляеть оть многихъ убъжденій, составленныхъ по первому впечатлівнію, рідко истинныхъ, и поддерживаемыхъ привычкою, памятью, авторитетомъ, общимъ говоромъ. И потому совътуемъ вамъ и просимъ васъ повинмательнъе заглянуть въ «Испытаніе» отъ 24 до 46 страницы, чтобы спросить самихъ себя, до какой степени описанный въ нихъ разговоръ въ маскарадъ свътской женщины съ свътскимъ мущиною, отличается «свътскостію», и не выхваченъ ли онъ изъ того кружка общества, котораго свътскость, есть болъе или менъе пеудачное подражение «свътскости»?...

Конечно, любезность близко граничить съ свътскостію, но ужь, в броятно, любезность легкая и вдохновенная, какъ импровизація, простая, естественная, какъ салонный разговоръ, а не книжная, не взятая цъликомъ на прокатъ изъобщихъ мъсть плохаго романа. Есть разница между пъхотнымъ прапорщикомъ-мечтателемъ, который слыветь въ извъстномъ кружку общества за образованнаго и начитаннаго кавалера и говорить барышнямь любезности, взятыя на прокать изъ повъстей Марлинскаго, и между блестящимъ гусаромъ, принадлежащимъ къ высшему кругу общества... А какъ вамъ покажутся подобныя фразы: «разговоръ склопился на летучія новости, которыми всегда испещрена столичная атмосфера»; «амуръ былъ настройщикомъ этого дада»; «между тъмъ очи обоихъ вели столь сильный перекрестный огопь, что онъ пе только имъ, по и стороннимъ могъ казаться потъщнымъ» (действительно потешень); «возвратить улитку разговора на»

Не знаю, какъ для васъ, — у всякаго свой вкусъ, — но для меня пътъ ничего въ міръ несноснъе какъ читать, въ повъсти или драмъ, вмъсто разговора — ръчи, изъ которыхъ спивались поэтическими уродами классическія трагедіи. Поэтъ берется изображать миъ людей це на трибунъ, не на кафедръ, а въ домашнемъ быту ихъ частной жизни, передастъ миъ разговоры, подслушанные имъ у нихъ въ комнатъ, разговоры, часто оживляемые страстію, которая можетъ измънятъ и самый разговорный языкъ, но которая ин на минуту не должна лишать его разговорности и дълать тирадами изъ книгъ, —и я, вмъсто этого, читаю ръчи, составленныя по

правиламъ старинныхъ риторикъ. Согласитесь, что это просто невыносимо и перечтите въ «Испытаніи» страницы 73—74 и 121—124: въ первомъ мѣстѣ молоденькая наисіоперка но книжному разсуждаетъ о Генрихѣ IV, «отцѣ и другѣ свонхъ подданныхъ», и о Петрѣ Великомъ, «скромномъ въ счастіп и неноколебимомъ въ бѣдѣ»—только видно, что она еще не усиѣла забыть «Всеобщей Исторіи» г. Кайданова! а во второмъ просто является героинею Расиновской трагедіи. Послушайте: «Но знайте, князь Греминъ, если рѣчь правды и природы недоступна душамъ, воспитаннымъ кровавыми предразсудками — то вы не иначе достигните до моего брата—какъ сквозь это сердце: не пожалѣвъ славы—я не пожалѣю жизии!» Скажите, Бога ради, кто, когда и гдѣ говоритъ такимъ языкомъ? пеужели эта натура, дѣйствительность?...

Нтакъ: ин характеровъ, ин лицъ, ни образовъ, ни истины положеній, ни правдоподобія въ интригѣ, — а между тѣмъ все-таки просвѣчиваетъ какой-то талантъ разсказа, иногда большое умѣнье блеснутъ эффектомъ, и сказка, въ первый разъ, читается до конца, хотя и съ пропусками растянутыхъ мѣстъ и неидущихъ къ дѣлу вставокъ. Что жь?—и то хорошо:

Для сказки и того довольно, Коль слушають ее безъ скуки, добровольно!

Нерейдемъ отъ «Испытанія» къ «Фрегату Надеждѣ»—повѣсти, пользующейся особенно знаменитостію и славою, и написанной гораздо съ большими претепзіями на глубокость и сплу изображенныхъ въ ней страстей. Княгиня Вѣра*** пишетъ письма къ своей родственницѣ въ Москву, письма совершенно пансіонскія, безпрестанно блестящія фразами въ родѣ слѣдующихъ: «Я такъ пышно скучала, такъ разсѣянно грустила, такъ неистово радовалась, что ты бы сочла меня за Отантянку на парижскомъ балѣ» «вздуть сравненіе до гиперболы»; «вплетать въ гирлянду разсказа кой-какіе вопросы» пр. Дѣло, какъ извѣстно всему читающему русскому міру, въ

томъ, что Въра*** увидъла на фрегатъ «Надежда» очень интереснаго канитана, котораго «одно слово, одинъ взглядъ двигали громаду корабля — эту геніальную мысль, од'єтую въ дубъ и жельзо, окриленную полотномъ», и извъщаетъ о томъ свою пріятельпицу, называя ее милочкою, душечкою и другими пансіонскими и жиностями. Эта княгния В фра*** не им веть и признака того, что называется въ пскусствъ характеромъ. Опа родиая сестра встмъ женскимъ портретамъ, вышедшимъ изъ подъ однообразнаго пера Марлинскаго. Впрочемъ, эта безхарактерность есть общій характеръ всей многочисленной семьн лицъ, выдуманныхъ Марлинскимъ, и мущинъ и женщинъ: самъ ихъ сочинитель не могъ бы различить ихъ одно отъ другаго даже по именамъ, а угадывалъ бы развъ только по платью. Едва-едва можете вы догадываться, что хотъль онъ изобразить въ томъ или другомъ лицъ, а когда догадаетесь по его описаніямъ (а не изображеніямъ), то удивляетесь неглубокости его взгляда на человъческую природу, который никогда не проникалъ въ ен глубь, но всегда скользилъ по поверхпости, зацъпляясь только за ен перовности и ръзкости. Во всёхъ герояхъ и героиняхъ этого плодовитаго нуведлиста, только резонёрство и чувственность, но ин малъйшей тыни чувства. Женщины его совершенно чужды того, что должно составлять идею, сущность, ореолъ, кроткое сіяніе ихъ пола; того, въ чемъ заключается и нѣжность, и мягкость ихъ чувства, при самой его глубокости и энергін, при самой даже страстности-и прелесть и грація ихъ пленительныхъ движеній, соединенныя съ благородствомъ и достоинствомъ, которыя, даже и беззащитныхъ, окружаютъ ихъ хранительнымъ эфиромь благоговенія, непонятною робостію и смущеніемъ, смиряющимъ самую дервость и наглость; словомъ, того, почему женщина есть представительница па землъ любви и красоты, п безъ чего она-не женщина: въ нихъ пътъ такъ называемой Нѣмцами женственности (Weiblichkeit). Всѣ мущины его-какіе-то отвлеченныя и безличныя олицетворенія бъщеныхъ страстей фосфорической патуры, чуждой всякой глубокости, неспособной возвыситься ни до какого чувства... Итакъ, княгипа Въра*** ни больше ни меньше, какъ пансіонерка, рапо начитавшаяся романовъ и потому фразерка въ поступкахъ и словахъ своихъ. Перечтите ея письма къ родственницъ и найдите въ нихъ хотя слабый проблескъ чувства, хотя одну черту женскаго ума и характера. Нътъ, вмъсто всего этого, вы увидите сатирическія выходки, натяпутыя остроты противъ свъта, фразы, какъ будто выбранпыя изъ ученическихъ упражненій пансіоперки, и пи признака живаго трепета юпаго и женственнаго сердца, радостно и весело откликающагося на всякое повое для него явленіе въ прекрасномъ Божіемъ міръ. Канониръ упаль за бортъ въ море... по не бойтесь: его спасетъ храбрый капитанъ, внохновенный любовію къ княгинт Втрт в в самомъ дълъ, бросился и чуть не утонулъ и самъ. Княгиня, какъ и слъдуетъ герониъ повъсти, падаетъ въ обморокъ, и когда открываетъ глаза, передъ нею-опъ... Какая дътскидобродушная и, притомъ, устаръвшая манера завязывать интригу романа и повъсти! Но вотъ Правипъ на вечеръ у княгини. Какъ морякъ, опъ не привыкъ къ свъту, робокъ и застънчивъ: вошедъ въ залу онъ смутился отъ уставленныхъ на него наглыхъ дорнетовъ; по когда-пишетъ онъ къ своему другу-«хозяйка, приставъ съ дивана, такъ одобрительно меня привътствовала, что душа моя распрямилась вдругъ... я гордо подиялъ голову, я окинулъ всехъ свътлымъ окомъ: что значила для меня невзгода (?) всвув пустоцвътовъ и пустозвоновъ гостиной, когда я быль уже обласканъ того, чья единственно ласка дорога миъ!» Онъ садится подав княгини, окруженный гостями, и начинаеть съ ней по книжному резонерствовать о постоянствъ моряковъ и любви къ отечеству,-и вст приходять отъ него въ восторгъ, какъ будто салонъ допускаетъ и дъльныя сужденія взрослыхъ людей, не только заученыя наизустъ умство-

ванія школьниковъ... Этимъ умнымъ ребенкомъ такъ восхитились, что кто-то назвалъ его морскимъ львомъ, а левъ, на свътскомъ наръчін, великое титло; но вдругъ одинъ дипломать, думая, что «левь» не знаеть по французски, тогда какъ тотъ только изъ натріотизма говорить по-русски, сказалъ почти вслухъ: «Et cette fois il n'est pas si bête qu'il en а l'air»... Тогда нашъ романическій герой «бросилъ ножирающій взглядъ на наглеца, наклопился къ нему и въ полголоса произнесъ (а не сказалъ-потому что всёмъ извъстно: говорятъ только въ низкомъ слогъ, а въ высокомъ произносятъ): Si bon vous semble, mr., nous fairons notre assaut d'ésprit demain à 10 heures passées. Libre à vous de choisir telle langue qu'il vous plaira-celles de fer et de plomb y comprises. Vous me saurez gré, j'espére, de m'entendre vous dire en cinq langues européennes, que vous êtes un lâche». Итакъ, сперва резонёрство, потомъ ссора, п наконецъ-драка: недоставало только за волоса... Прекрасное общество, истинный салонъ... Разумъется, дипломать оказался на дуэли трусомъ, а Правинъ, порисовавшись и попетущившись передъ нимъ, оставилъ ему жизнь изъ одного презрѣнія... И вотъ мы уже прочли 73 страницы повѣсти, а повъсти все еще пътъ: это пока только введеніе, растянутое до нельзя нендущими къ дълу вставками и разсуждешями. Но главное уже сдълано, хотя и слишкомъ поздно: авторъ свелъ своихъ героевъ и поставилъ ихъ на короткую ногу другъ съ другомъ. Правинъ любитъ, да еще какъ любить! «Океанъ взделвяль и сохраниль его дввственное сердце, какъ мпогоцънную перлу-п его-то, за милый взглядъ, бросияъ опъ, подобно Клеопатрѣ, въ уксусъ страсти!» Всяѣдствіе этого, встрѣтившись съ княгинею въ Эрмитажѣ, онъ имълъ съ нею разговоръ, столько-же длинный, сколько и страстный, «произнесь» ей ийсколько витіеватыхъ «ричей», изъ которыхъ въ одной сравниваеть ее съ Грановитою падатою, и говоритъ, что онъ будетъ всъмъ, чъмъ ни велитъ

она ему быть-и поэтомъ, и музыкантомъ, и живописцемъ, и героемъ, а въ послъднемъ случав, «сожжетъ ея сердце лучами своей славы» (стр. 122). Затёмъ они поцёловались и разстались. И все это длинное дъйствіе, занимающее восемь страницъ (118-126), было разыграно въ Эрмитажъ!... Следствіемъ этой правдоподобной и превосходной сцены было предлишное разсуждение автора о любви, обнаруживающее его личный взглядъ на это чувство. Онъ называетъ платонизмъ, (до пошлости изношенное слово!) «милымъ каплуномъ» и «Калліостро», и совътуетъ дамамъ и юношамъ не слишкомъ довърять ему, чтобъ не «проспуться отъ угара съ измятымъ чепчикомъ и, можетъ быть, съ лишнимъ расканніемъ» (стр. 129—136). Далье, на ивсколькихъ страницахъ, слёдуютъ объясненія автора, почему то и другое, въ его повъсти, случилось такъ, какъ случилось. Подобныя объясненія всегда бывають утомительны и скучны: они-върное ручательство, что повъсть не создана, а сшита на живую нитку. Въ творчествъ, дъйствие само за себя говоритъ и не нуждается въ объясненіяхъ поэта. Въ такой повъсти или драмъ говорятъ и дъйствующія лица, но только не съ читателемъ, а другъ съ другомъ, и каждое для самого себя и за самого себя; по тогда-то читатель и понимаеть ихъ. Прочтите «рѣчь», которую «произнесъ» Правицъ своей Вѣрѣ на цълыхъ двухъ страницахъ (148-150), и спросите себя: говорится-ли такъ въ дъйствительности, и для себя, или для читателя продекламировалъ ее герой повъсти? И есть-ли въ этой «рѣчи» хотя одно задушевное выраженіе-отголосокь взволнованнаго чувства, которое говорило-бы чувству? Воть ивсколько строкъ для образчика изъ этой «рвчи»: «У меня доброе сердце и можетъ-ли быть злобио сердце, полное любовью, любовью къ тебъ!!.. За то у меня буйная кровь... у меня кровь — жидкій пламень: она бичуеть зміни мое воображение, она палитъ модніями умъ!... Я-ли виновать въ этомъ? Я-ли создалъ себя? За каждую канлю твоихъ слезъ,

я-бы готовъ отдать последнія песчинки моего бытія, последшюю перлу моего счастія! Да; нёть мив отныне счастія! На одной вътке распустились сердца наши—вмёсте должны-бъ они цвёсть; по судьба разрываеть, рознить нась! Пускай-же океань протечеть между нами—онь пе зальеть моей любви, лишь-бы ты, ты, сокровище души моей, была невредима отъ этого пожара». Скажите, ради самого Бога: пеужели эти красивыя щегольскія фразы, эта блестящая риторическая мишура есть отголосокь чувства, излінніе страсти, а не выраженіе затаеннаго желанія рисоваться, кокетинчать своимъ чувствомъ, или своею страстію? И добро-бы всё эти фразы были въ письмё, а то въ разговорв, въ монологе!...

Правинъ оставилъ передъ бурею свой фрегатъ, чтобы провести почь въ объятіяхъ любви и наслажденія, а буря страшно разразилась громомъ и молніями и заставила его проговорить такую рѣчь:

"Ты моя! Вара моя! Что жь мив нужды до всего остальнаго-пускай гибнутъ люди, пускай весь свътъ разлетится въ дребезги! Я подыму тебя надъ обломками и послъдній вздохъ мой разръшится поцълуемъ... 0, какъ пылки, какъ жгучи твои уста въ эту минуту, очаровательвица!... Знаешь ли, примолянать онъ тише, сверкия и вращая очами, какъ опъянълый (какая возмущающая душу и оскорбляющая чувство картина!) — ты должна любить меня, поклоияться мни болие, чимь когда-нибудь... знаешь ли, что я богаче теперь Родшильда, самовла. стиве англійскаго короля, что и облеченъ въ гибельную силу, какъ судьба?-Да, я могу сорить головами людей по своей прихоти, и за каждый твой поцълуй платить сотнею жизней-не жизнію враговъо, нътъ! это можетъ всякій разбойникъ. Это слишкомъ обыкновенно... нать, говорю теба, я бросаю на ватеръ жизнь монкъ товарящей, монкъ друзей и братьевъ-а за никъ во всякое другое время готовъ бы я источить провь по капль, и изрызать сердие въ лоскутки (стр. 189)".

И это поэзія, а не риторика?... И это вдохновеніе таланта?... Если хотите, туть дъйствительно есть и поэзія и таланть, и вдохновеніе: иначе бы это и не могло такъ правиться большинству публики: но какая поэзія, какой таланть,

какое вдохновение?-вотъ вопросъ! Это поэзія, но поэзія, не мысли, а блестящихъ словъ, не чувства, не лихорадочной страсти; это талаптъ, но талантъ чисто вившній, не изъ мысли создающій образы, а изъ матеріи выдълывающей прасивыя вещи; это вдохновеніе, но не то внутреннее вдохновеніе, которое, неожиданное, безъ воли челов'вка, озаряеть его разумъ внезапнымъ откровеніемъ истины, вдохновеніе тихое и кроткое, широкое и глубокое, какъ море въ ясный и безвътренный день, -- но вдохновение насильственное, мятежное, бурливое, раздражительное, возбужденное волею человъка, какъ бы отъ пріема опіума. А между этими вдохновеніями большая разница-такая же, какъ между мелодією тихаго чувства и ревущими диссонансами страсти, между гармонією свътлаго восторга и нестройнымъ крикомъ буйной вакханалін, мутнымъ и нечистымъ упоеніемъ сладострасной оргін... Переполненное чувство безмолствуеть и даеть себя чувствовать немпогими, но мпогозначущими словами, которыя полсказываются вдохновеніемъ. Самая буря страстей выражается не «рѣчами», а открытою рѣчью, похожею на рокоть грома, — и ревущій потокъ ся отрывистыхъ ръчей вытекаеть изъ вдохновенія. Поэтъ можетъ изображать и страсть, потому что она есть явленіе дъйствительности; но, изображая страсть, поэть не должень быть въ страсти: страсть должна быть предметомъ его поэтическаго созерцанія въ минуту творчества, но не имъ самимъ. Истинное вдохновение всегда спокойно-созерцательно: но вполнъ обладаетъ своимъ предметомъ, но не даетъ ему овладъть собою, хотя и видить и чувствуеть его. Изображаемое поэтомъ, оно, разъ овладъвъ имъ, увлекаетъ его за собою, изъ свободныхъ творческихъ образовъ становится изложениемъ его личныхъ чувствъ и мнъній, до которыхъ никому нётъ дёла. И въ такомъ случай, чёмь живъе и ближе къ натуръ изображение страсти, тъмъ больше возбуждаеть оно отвращение, вмъсто того, чтобы восхищать и трогать-и нечисты, гръшны его внечативнія на душу чита-

теля, если только онъ поддается имъ... Сначала чтепіе такихъ блестящихъ и увлекательныхъ произведеній приводитъ душу въ раздражительное состояніе, многими принимаемое за восторженное; но послъ на душъ остается какая-то усталость, какъ бы послъ безпокойнаго сна, или тяжелой работы. Чтобъ прочесть во второй разъ, недостанеть силъ... Подобныя произведенія не удовлетворяють разума, потому что въ нихъ все произвольно, все условно: -- вы видите, что это такъ, но видите, что могло бы быть совстмъ иначе, и педоумтваете, почему это представлено такъ, а не иначе. И вотъ откуда происходить, въ подобныхъ произведеніяхъ, такое множество отступленій, вставокъ, разглагольствованій и ораторскихъ ръчей: авторъ говоритъ за свою повъсть, а не повъсть говоритъ сама за себя. Тутъ автору полная воля, совершенный просторъ, и потому удивительно ли, если у него мужъ княгини Въры***, до 191 страницы только твшій и нившй, какть безсловесное животное, на 191 страницъ вдругъ дълается и гордъ, и благороденъ, и уменъ, и на полутора страницахъ говоритъ экспромтомъ «рѣчь», сочинение которой сдълало бы честь самому Правину?... Вообще, если вы зажмурите глаза, слушая «ръчи» дъйствующихъ лицъ во всъхъ повъстяхъ Марлинскаго, то, право, никакъ не разгадаете, кто говоритъморской офицеръ, дикій Черкесъ, ливонскій рыцарь, русскій князь временъ междоусобія, русскій бояринъ ХУ или ХУІ въка, мущина или женщина, старикъ или юноша, Аммалатъ-Бекъ или будочникъ-ораторъ... А между тъмъ, повторяемъ, не только вдохновляться, но и раздражаться не всякій можетъ. Есть разница между рыбьею натурою инаго человъка, который живеть, какъ дремлеть, и кипучею, живою, хотя и неглубокою натурою человѣка, котораго жизнь похожа на водоворотъ, не перемъняющій мъста, но всегда бурливый и безпокойный. И внѣшній таланть имѣеть свое достоинство, потому что не всякій можеть имёть и его. Пишуть многіе и много, но усийхомъ, даже и въ толий, пользуются очень

немногіе, — и эти пользующієся всегда цёлою головою выше тёхъ, которые имъ удивляются...

Изъ новъстей Марлинскаго, изображающихъ сильныя страсти, лучшая, безъ всякаго сомивнія—«Страшное Гаданіе». Ея идея принадлежить не ему: она была уже истерта мпогими, но, кажется, на Руси узнали о ней изъ «Ночи на Рождество» Цшокке. Цълаго въ «Страшномъ Гаданіи», какъ и во всёхъ повъстяхъ Марлинскаго, пътъ, по есть мъста истинно-поэтическія, какъ бы пе въ примъръ всему остальному, написанному тъмъ же авторомъ, блестящія признаками неподдъльного дарованія. Пофадка героя повъсти, сцена въ крестьянской избъ, многія подробности гаданья, все это прекрасно и увлекательно. Даже обращение къ лунъ, начинающееся словами: «Тихая сторона мечтаній» (стр. 226), отзывается чувствомъ. Только характеръ дьявола ужь слишкомъ поситъ на себъ признаки тогдашней моды изображать чертей: теперь онъ не вездъ страшенъ, и мъстами смъщонъ. Но цълое повъсти... Позвольте, начнемъ съ начала.

"... Я быль тогда влюблень, влюблень до безумін! О, какь обманывались тв, которые, глятя на мою насмвиливую улыбку, на мою разсвянные взоры, на мою небрежность рвчей въ кругу красавиць, считали меня равнодушнымъ и хладнокроввымъ. Не въдали они, что глубокій чувства ръдко проявляются именно потому, что они глубоки; но еслибь они могли заглянуть въ мою душу и, увидя, понять се—они бы ужаснулись! Все, о чемъ такъ любятъ болтить поэты, чъмъ такъ легкомысленно играютъ женщины, въ чемъ такъ стараются притворяться любовники, во мию кипило, какъ растоплениям мюдь, надъ которою и самые пары, не находя истока, зажинались пламенемъ. Но миъ всегда были смъщны до жалости приторные вздыхътели съ своими приничными сердцами; мнъ были жалки до презрънія записные волокиты съ своимъ зимнимъ восторгомъ, сноими заучеными изъясненіями; и попасть въ число ихъ для меня казалось всего страшите.

"Нътъ не таковъ былъ я: въ любви моей бывало много страннаго, чудеснаго, даже дикаго; я могу быть понятъ, или непонятенъ, но смъщонъ никогда. Нылкая, могучая страсть катитея, какъ лава;

она увлекаеть и жжеть все встрычное; разрушаясь сама, разрушаеть въ пепель препоны, и хоть на мигь, по превращаеть въ кипучій котель даже холодное море."

Весь этотъ отрывокъ пароділ на одно м'єсто въ «Джяуріс» Байрона. Но Байроновъ джяуръ—сынъ пламеннаго Востока, Азілтецъ душою и тёломъ, а потому и тиргъ, слёдственно животное благородное и поэтическое, хоть тёмъ не менте всетаки животное... Опъ говоритъ о своей кипучей крови и знойныхъ страстяхъ совстмъ не для того, чтобы рисоваться ими, но на смертномъ одръ, исповъдуясь передъ монахомъ, и для того, чтобы неистовствомъ звърскихъ страстей своихъ хоти пъсколько оправдать свои кровавые гръхи. Этотъ джиулъ былъ христіанинъ, и потому пе могъ, хотя на краю могилы, не смотръть на свои страсти, какъ на несчастіе. Вообще, сила страстей отнюдь не то же самое, что глубокость дуни; эта сила скоръе бываетъ признакомъ мелкости натуры при кипучей крови. Потомъ, всякая страсть, хотя дикая, не говорить о себъ, не острить падъ пряничными сердцами и не боится попасть въ ихъ число... Какъ въ дъйствительности, такъ и въ искусствъ, все говоритъ само за себя, т. е. дъломъ, а не словами и не увъреніями. Что не равно своему пдеалу, по силится дотянуться до него, -- то необходимо натягивается. Воть отчего во многихъ повъстяхъ такъ много бываетъ натяжекъ. Но обратимся къ новъсти. Хотя герой ен и божится, что его страсть глубока, какъ море, но мы видимъ въ ней одпу чувственность, и больше инчего. Вотъ почему ему видълся образъ тапцующей Полины, и вотъ почему мучила его мысль, что она слушаеть ласкательства какого-нибудь счастливца, который вертится съ нею, и можетъ-быть, отвъчаетъ на нихъ (стр. 203): только истинное, высокое чувство чуждо ревности и полно взаимнаго довърія. Оно не жжеть, но грѣеть; оно не пылаеть пожаромь, но теплится кроткимь свътомь. Въ пемъ все одухотворено, и самое желаніе чисто и дівственно. Въ немъ нътъ громкихъ фразъ, пътъ нышнаго

многословія; взглядъ, брошенный украдкою, педоговоренное слово, кроткая улыбка замѣняютъ въ цемъ «рѣчи», а если оно заговоритъ — его рѣчь будетъ полна глубокой, энергической, но, въ тоже время, и свѣтлой, тихой, благоуханной поэзін, гдѣ все—теплота и свѣтъ, но безъ огия, дыма и чада... Повторяемъ, и страстъ имѣетъ свою поэзію и можетъ быть предметомъ поэтическаго изображенія; но только поэтъ долженъ изображать ее, какъ предметь, внѣ его и самъ по себѣ существующій, а не пѣть ей гимпы, не выдавать ее, съ божбою и клятвами, за высшій цвѣтъ человѣческаго чувства, и не дѣлать изъ пея апотеоза. — Посмотрите, что это такое:

"Не умъю описать, что со мною сталось, когда, обвивая тонкій стань ея рукою трепетною оть наслажденія, я пожималь другой ея предестную ручку: казалось, кожа перчатокь приняли жизнь, передевала біеніе каждой фибры... казалось, весь составь Полины прыщеть искрами! Когда помчались мы въ бъщеномъ вальсъ, ен летающіе дущистые локоны касались иногда губъ моихъ; я вдыхаль ароматный пламень ея дыханія; мои блуждающие взгляды пропицали сквозь дымку—я видълъ, какъ бурно вздымались и опадали бълосивженые полущари (!?...), волнуемыя моими вздохами, видълъ какъ пылали щеки ен моимъ жаромъ, видълъ — пътъ, я ничего не видаль... полъ исчезаль подъ ногами; казалось, я лечу по воздуху, съ сладостнымъ замираніемъ сердца" (стр. 235).

Чтобы окончательно выразить нашу мысль, сдълаемъ въ pendant къ этой выпискъ другую:

Испытали ли жажду крови? Дай Богъ, чтобы никогда не касалась она сердцамъ вашимъ; но, по несчастію, я зналъ ее во многихъ и самъ извъдалъ на себъ. Природа наказала меня неистовыми страстями, которыхъ не могли обуздать ни воспитаніе, не навыкъ; огненная кровь текла въ жилахъ моихъ. Долго, неимовърно долго могъ я хранитъ хладную умъренность въ ръчахъ и поступкахъ при обидъ, по за то она изчезла мгновенно и бъщенство овладъвало много. Особенно видъ пролитой крови, вмъсто того, чтобы угаситъ простъ, былъ масломъ на огнъ, и я, съ какою то тигровою жадностію, готовъ быль источить ее изъ врага капля по каплъ, подобенъ тигру, вкусившему ненавистнаго напитка" (стр. 246).

Истинный романтизмъ, какъ понимали его у насъ назадъ тому лѣтъ пятнадцать! Читаете, и невольно переноситесь въ лѣса, гдѣ живутъ тигры, медвѣди и волки, съ ихъ ненстовыми страстями, съ ненасытимою жаждою крови. Геній Виктора Гюго̀—сего свирѣпаго архиромантика—уже пускался было на изображеніе медвѣжьихъ чувствъ и мыслей, сдѣлавъ бѣлаго медвѣдя героемъ перваго своего романа: его подражатели, не столь смѣлые, ограничились изображеніемъ звѣрей подъ человѣческими именами, съ человѣческими обликами, оставивъ имъ только ихъ животныя страсти, чтобъ выдавать ихъ за глубокія ощущенія глубокихъ, «сатаническихъ» душъ...

Гораздо болье быль въ своей колье талантъ Марлинскаго въ «Лейтенантъ Бълозоръ» — этомъ живомъ, легкомъ и шутливомъ разсказцъ, безъ особенныхъ претензій. Это настоящій родъ таланта Марлинскаго, и, —несмотря на то, что въ повъсти нътъ ин лицъ, ин характеровъ, хоть сколько-иибудь художественно-очерченныхъ, а следовательно, неть п признаковъ голландской народности, -- ибо купецъ, кстати и пе кстати говорящій при каждомъ словѣ «два аршина съ четвертью», еще пе Голлапдець, такъ же какъ купчиха, которой вся жизнь сосредоточена на кухиъ, еще не Голландка (перемъните ихъ имена, и они будутъ принадлежать къ какой угодно націн); несмотря на то, что любовь героевъ повъсти ужь черезчуръ сладковата и слишкомъ походитъ на канареечную, а представитель французской націп, Монтань Люссакъ, ужь черезчуръ и подлъ, и глупъ, и пошлъ; несмотря на ужасную растянутость и множество ненужныхъ вставокъ и разглагольствованій, -- веселенькій разсказець читается до конца и не безъ удовольствія. Въ немъ много премиленькихъ подробностей; особенно забавны матросскіе разговоры, и вообще въ тонъ разсказа много добродушія и непритворной шутливости. Къ числу такихъ же удачныхъ разсказовъ, въ этомъ родъ, должно отнести «Военный Антикварій» и «Мореходъ Никитипъ».

Собственно русскія пов'єсти Марлинскаго, содержаніе которыхъ онъ бралъ изъ русской старины, не выдержать инкакой критики, даже самой списходительной. Таковы суть: «Навады», «Романъ и Ольга», «Измвиникъ», и пр. Въ нихъ ръчь, повидимому, русская, и имена русскія, даже много русскихъ обычаевъ, повърій и ссылокъ на исторію; но ни русскаго лица, ни русской души. Это-Расиновскія трагедін въ формъ разсказовъ. Снимите съ дъйствующихъ лицъ ихъ охабни и фаты, выбросьте изъ ръчей немногое число русскихъ поговорокъ и пословицъ, и передъ вами очутятся тъ безличные образы, которымь къ лицу всякое платье и всякое имя, и которые столько же Русскіе, сколько и Греки, и Нъмцы, и Англичане, и Татары. То же должно сказать и о рыцарско-ливонскихъ разсказахъ Марлинскаго: его нѣмецкіе рыцари и дамы ничьмъ не отличаются отъ новогородскихъ молодцовъ и молодицъ, которые ничемъ не отличаются отъ его измецкихъ рыцарей и дамъ. Перечтите «Замокъ Эйзенъ», «Замокъ Нейгаузенъ», «Латника», «Замокъ Венденъ», «Ревельскій Турниръ», и вы увидите въ нихъ поразительную б'єдность изобр'єтенія, удивительное однообразіе въ манерѣ разсказывать, и чрезвычайное сходство въ дъйствующихъ лицахъ, особенно въ ихъ «ръчахъ», изъ которыхъ сшиты эти разсказы. Лучшій изъ нихъ «Ревельскій Турниръ»: въ немъ мало сильныхъ страстей, много добродушія и веселести, а потому онъ и читается съ удовольствіемъ, какъ занимательная сказка.

Читатели, можеть быть, ждуть отъ насъ подробнаго разбора кавказскихъ повъстей Марлинскаго, особенно «Аммалатъ-Бека» и «Муллы-Нура»: увы, мы не въ состояни выполнить ихъ ожиданія! По праву добросовъстнаго критнка, мы хотъли прочесть эти повъсти, принимались иъсколько разъ, но—всякой силъ есть предълы, и мы, послъ миогократныхъ пріемовъ и невъроятныхъ усилій, припуждены были сознаться въ своемъ безсиліи для совершенія подобнаго подвига. Конечно, въ нихъ, — особенно въ «Аммалатъ-Бекъ» — есть удачныя страницы, хотя и въ слишкомъ ограниченномъ числъ, есть превосходные стихи — переводъ черкесскихъ пъсень; но цълое такъ натянуто, такъ перетянуто и въ изобрътении, и въ изложении, что внечатлъние производимое на душу читателя, очень походитъ на давление кошемара. Что касается до Муллы-Нура, этого татарскаго Карла Моора, то вотъ онъ вамъ весь — извольте любоваться, сколько душъ угодно:

"Что на свъть тайнаго кромъ нашего серциа. Разситаетъ ночь, крывшая злодъйство; дремучій лъсъ-находить голось на обвиненіе; разступается хлябь моря и выдаетъ утопленное хищниками добро. Могилы, самыя могилы не скрывають во мракт своемъ преступленій, и съ червими зарождаются въ ней мстители. Я виделъ: русскіе узнавали по внутренностимъ тълъ прошлое, какъ идолопоклонники предки наши угадывали по нимъ будущее. А когда можно заставить говорить мертвецовъ, кто заставитъ модчать живыхъ?... Тайное скоро становется явнымъ, и базарная молва неръдко трубитъ о томъ, что было шопотомъ сказано между двоими. - Нътъ, мон жизнь не тайна, мои похожденія можеть разсказать теб'в последній мальчикь въ Кубт.-Онъ убилъ своего дядю и бъжалъ въ горы! Вотъ вся повъсть обо мнъ, и она не ложь, но полна ли она? но справедливо ли осудить меня по этимъ словамъ всякій кто ихъ услышить? На это могу отвъчать только я. Пусть отрубять мнв голову, что жь найдеть въ этой головъ судія для объясненія моего преступленія? Пусть выръжуть сердце, какъ отгадаютъ въ немъ пружины, которыя двинули на убійство?... А въ этомъ вся важность для меня! Только это зову я на судъ совъсти, все остальное дъло случан, все остальное пусть какъ хотять судять въ людском дивант. Тяжело мнт думать объ этомъ, еще тяжелъе разсказывать, и между тъмъ оно меня душитъ!... мучительно вырывать зубчатую стрълу изъ раны, но и оставлять въ ней нестерпимо... "

Кто это говорить: ливонскій рыцарь, итальянскій разбойникь, или французскій литераторь романтической школы?... Итть, это «ртчь» кавказскаго Татарина... Умный Татаринь! ужь и видно, что наукамь учился, особенно риторикт...

Въ послъднихъ своихъ произведеніяхъ, Марлипскій довелъ

до крайности основные элементы своего таланта, т. е. изображение менстовыхъ страстей и неистовыхъ положений, изображение высшаго общества, на которое онъ смотрълъ изъза Кавказа, русскую народность, остроумие и изысканность изыка. Приведемъ образчики иъкоторыхъ изъ этихъ элементовъ доведенныхъ до nec plus ultra.

Если хотите имъть понятіе о высшемъ обществъ па балъ у австрійскаго посланника, — прочтите отрывокъ «Месть»; туть вы увидите, какъ «свътскій» капитанъ Змъевъ отпускаеть лагерныя любезности Надеждъ Петровиъ Зоричъ, поминутно называя ее «сударыня», и какъ Надежда Петровна Зоричь, отвъчаеть сему храброму капитану любезностями полковой маркитанки, начитавшейся «свътскихъ» романовъ русскаго издълія. Въ стать в «Новый Русскій Языкъ» вы увидите, какъ говорятъ русскіе купцы; впрочемъ, не трудитесь перечитывать этой «юмористической» статейки; довольно дия васъ и этого образчика: «Такъ-съ, виноватъ-съ, дъло дорожное-съ! Я въдь впрочемъ не для ради чего инаго прочаго, а такъ изъ компанства, хотълъ только, утрудивъ, побезнокоя васъ, просить соблаговоленія, чтобы нашему чайнику возымъть соединяемое куппосообщение съ этимъ самоваромъ-съ. По просту такъ сказать-съ, малую толику водицы-съ!» (т. XII, стр. 76). Такимъ языкомъ проситъ на станціп купецъ у офицера воды изъ самовара для чайника: какая паблюдательность, какъ все это върно подслушано и върно передано, безъ всякаго преувеличенія, безъ всякой натяжки!... Для образчика остроумія перечтите статьи: «Исторія серебрянаго рубля» и «Исторія знаковъ прешнанія»: увъряемъ васъ, что самый отчанный поставщикъ газетнаго мусора позавидоваль бы, въ своихъ правоописательныхъ и правственно-сатирическихъ статейкахъ, ихъ остроумію и затъйливости... Для выписокъ дикихъ фразъ и натянутаго высокаго и страстнаго слога у насъ не достаетъ ни силъ, ни теривнія... Потрудитесь сами, а мы и безъ того устали.

Такой конецъ авторскаго поприща очень естественъ: онъ необходимое следствие его начала. Только истинные таланты зръють и мужають съ лътами, только въ ихъ произведенияхъ изчезають съ годами дымный юношескій пламень и уступаеть мѣсто ровной теплотъ, и не ослъпительному, но лучезарному свъту-и конецъ ихъ поприща ознаменовывается твореніями глубокими, какъ море, и величественными, какъ звъздное небо въ тихую и ясную ночь. Вижший талантъ скоро высказывается весь, истощаеть бъдный запась своего впутренняго содержанія, и скоро доходить до необходимости перебиваться собственными крохами, собственною ветошью, обновляя ихъ бълилами и румянами изысканной фразеологіи дикаго языка. Почти всегда подвергается онъ горькой участи пережить свою славу, умереть послъ ен кончины, и видъть въ числъ своихъ поклонниковъ только людей, которые являются послёдними участниками въ пиръ, доканчивая въ задинхъ аппартаментахъ остатки барскаго объда... Но, несмотря на все сказанное, такіе вившиіе таланты необходимы, полезны, а следовательно и достойны всякаго уваженія. Только незаслуженная слава и преувеличенныя похвалы вооружають противъ нихъ, потому что свидътельствуютъ объ испорченности вкуса публики. Но отдавать имъ должное пріятно по чувству человъческому и полезно для истины. Для массы общества все вившнее доступиве впутренняго, —и она бросается на внёшнее, а черезъ это въ ней обращаются иден и проводится въ нее образованность. Но главная заслуга вибшнихъ талантовъ состоитъ въ томъ, что они отрицательнымъ образомъ восинтываютъ и очищаютъ эстетическій вкусъ публики: пресытись ихъ произведеніями, многіе обращаются къ истиннымъ произведеніямъ искусства, и научаются цёнить ихъ. Кто не восхищался романами Радклифъ, Дюкре-дю-Мениля, Августа Лафонтена, г-жъ Жаплисъ и Коттенъ, и даже не предпочиталъ ихъ сначала романамъ Вальтеръ-Скотта и Купера? И эти многіе потому только и попали внослъдствін достоинства британскаго и американскаго романистовъ, что сперва восхищались романами сихъ господъ и госпожъ, а черезъ Вальтеръ-Скотта и Купера поняли ихъ истипную цъну. Что же касается до тъхъ, которые не пошли далъе Радклифъ и Дюкре-дю-Мепиля съ братіею—пусть себъ читаютъ во здравіе! Что бы ин читать, все лучше чъмъ играть въ карты или сплетинчать. Слуга донашиваеть платье своего господина: оно и старо и потерто, но все служитъ ему защитою и отъ наготы, и отъ холода...

Мы уже говорили о критическихъ статьяхъ Марлинскаго и указали на нихъ, какъ на важную заслугу русской литературѣ со стороны ихъ автора; съ такою же похвалою должны мы упомянуть и о его собственно-литературныхъ статьяхъ, каковы; «Отрывки изъ разсказовъ о Сибири», «Шахъ Гуссейнъ», «Нисьмо къ доктору Эрдману», «Спбирскія нравы Исыхъ», и пр. Во вежхъ сихъ статьяхъ видънъ необыкповенно умный, блестяще-образованный человъкъ и талантливый писатель, и почти всё они отличаются, въ противуположность повъстямъ, языкомъ простымъ, живымъ и прекраснымъ безъ изысканности. Марлинскій пробоваль свой талантъ почти во всъхъ родахъ литературныхъ упражненії, и потому писалъ и стихи, но впрочемъ скоро самъ призналь въ себъ отсутствіе положительнаго таланта для этого поприща. Мелкія его стихотворенія р'єдко отличаются даже плавностію стиховъ, а переводы изъ Гёте такъ мало дають понятія о достоинств' своихъ оригиналовъ, какъ дебелый переводъ Косторова «Иліады», или тяжелый переводъ Мерзлякова Тассова «Освобожденнаго Герусалима», или разжиженный сахарнымъ спропомъ переводъ г. Рапча того же творенія и поэмы Аріосто. Марлинскій, слъдуя тогдашнему направленію, написалъ стихами поэму «Андрей Переяславскій - произведеніе, не стоющее критики и отвертнутое самимъ авторомъ, но мъстами блещущее искорками поэтическаго чувства.

Мы уже говорили о поэтическомъ достоинствъ черкесскихъ пъсенъ переведенныхъ въ «Аммалатъ-Бекъ».

И вотъ мы кончили нашъ разборъ произведеній Марлинскаго: вывести результать изъ всего сказаннаго нами о немъ, какъ о писателѣ, предоставляемъ нашимъ читателямъ. Мы говорили откровенно и прямо, sine ira et strdio; но пояснять больше не будемъ, «чтобъ гусей не раздразнить», —а гуси какъ слышно, уже и безъ того на насъ сердятся за то, что мы видимъ божій свѣтъ не въ одномъ болотѣ, съ муравчатымъ бережкомъ, на которомъ они такъ шумио пасутся всю жизнь свою и добываютъ себъ обычную пищу.

ПОДАРОКЪ НА НОВЫЙ ГОДЪ. Дви сказки Гофмана, для больших и маленьких дитей. Спб. 1840. ДВТСКІЯ СКАЗКИ дидушки Принея. Спб. 1840. Дви части.

Самые, повидимому, простые и обыкновенные предметы часто бывають, въ своей сущности, самыми важными и великими. Всъ говорять, напримъръ, о важномъ вліяніи воспитанія на судьбу человъка, на его отношенія къ государству, къ семейству, къ ближнимъ и къ самому себъ; но многіе ли понимають то, что говорять? Слово еще не есть дъю; всякая истина, какъ бы ни была она несомнънна, но если не осуществляется въ дълахъ и поступкахъ произносящихъ ее—есть только слово, пустой звукъ, — та же ложь. Посмотрите внимательнъе на отношенія родителей къ дътямъ, дътей къ родителямъ, словомъ, носмотрите внимательнъе на воспитаніе — и у васъ сердце обольется кровью. Ребенокъ тесть что ни понало и сколько хочетъ; что нужды! говорятъ пъжные родители: въдь онъ еще дитя! Ребенокъ мучитъ собаку, или колотитъ двороваго мальчишку; что нужды!

восклицають заботливые родители: въдь онъ еще дитя! Пъти ссорятся, кричать между собою, и если ихъ крикъ, брань и слезы пе мъщаютъ папенькъ и маменькъ соснуть послъ объда, или поговорить съ гостями, --что нужды--въдь они дъти, пусть себъ ссорятся и кричать: выростуть велики не будуть ссориться и кричать! Перебранившись, а иногда и передравшись другь съ другомъ, дъти прибъгаютъ къ отцу и матери съ жалобою другъ на друга-и! помилуйте! стоитъ ли разбирать дътскія ссоры! Если вы строги, дайте всъмъ по щелчку, или пересъките всъхъ розгами, чтобъ никому не было завидно; если вы добры къ дътямъ, или воспитываете ихъ на благородную погу, - дайте имъ игрушекъ или сластей, да, перецъловавъ ихъ, вышлите отъ себя, чтобы они опять пошли браниться и драться. Ребенокъ не учится, не хочеть и слышать, чтобъ взять въ руки книгу: что за нужда, въдь онъ еще дитя-подростеть, будеть поумнъе, такъ станеть и учиться! Ребеновъ хватается за всякую книгу, какая ему ни нопадется, хотя бы то была анатомія съ картинками, или Аретинъ съ гравюрами; что за пужда-въдь онъ еще дитя! благо, что охота къ книгамъ есть-пусть лучие навыкаеть читать, чёмъ рёзвиться! Учитель говорить отцу, что грамматика, которую онъ купилъ для сына, не годится, что она или ужь устаръла, или безтолкова, безсмысленна, что ея не понимаеть самъ авторъ, пезнающій ни духа, ни характера языка: это еще что за новости! восклицаеть опытный и благоразумный родитель; въдь онъ дитя—для него всякая книга годится, а за эту я заплатилъ деньгами, стало-быть, хороша!... А между тъмъ, заговорите съ «дражайшими родителями» о дётяхъ и восинтаніи: сколько общихъ фразъ, сколько ходичихъ истинъ наговорятъ или нарезонёрствуютъ они вамъ! «Ахъ. пъти! да! какъ тяжко имъть дътей! сколько заботь! нало выростить да и воспитать! Мы ничего не щадимъ для воспитанія свойхъ дътей! Изъ последнихъ силь быемся! Я отдалъ своихъ въ училищъ, покупаю книги — тьма расходовъ! А мы для своихъ прінскали «мадамъ» (или «мамзель»— провинціальныя названія гувернантки), чтобъ они и по французски знали и на фортопьянахъ играли!» Въ добрый часъ, дрожайшіе родители!...

Но это еще только одна сторона воспитанія, или того, что такъ ложно называютъ воспитаніемъ. Это еще только воспитаніе, какъ обыкновенно говорится, на волю Божію, а въ самомъ-то дълъ, на волю случан, -- воспитание природное, воспитаніе не въ переносномъ, а въ этимологическомъ значеніи этого слова, т. е. воскармливание, -- воспитание простонародное, мъщанское. Есть еще воспитание попечительное, деликатное, строгое, благородное. Въ немъ на все обращено вниманіе, пи одна сторона не забыта. При этомъ воспитаніи дитя встъ и во время и въ мвру, передъ обвдомъ непремъппо ходитъ гулять съ гувернёромъ или гувернанткой, умъреппо ръзвится, занимается гимнастическими упражненіями на красивыхъ въшалкахъ, столбахъ, перекладинахъ, по часамъ учится, въ опредъленную порувстаетъ и ложится. Физическое воспитание въ гармонии съ нравственнымъ: развитію здоровья и крипости тила соотвитствуєть развитіе умственныхъ способностей и пріобрътеніе познаній. А формао, это самое изящество! При опрятности царствуетъ простота и неизысканность, соединенныя съ благородствомъ, достоинствомъ, хорошимъ вкусомъ и хорошимъ тономъ. И это отражается во всемъ: и въ одеждъ и въ манерахъ. Одно то чего стонтъ, что дитя умъетъ уже скрывать свои чувства, не хвататься жадно за то, чего жадно желаеть, не обнаруживать удивленія и радости къ тому, что возбуждаетъ въ немъ удивленіе и радость, словомъ-приличію и топу жертвовать всёми своими чувствами, даже самыми святыми, самыми человъчесвими!... Короче: даже витайскіе мандарины, эти высокіе ндеалы и образцы природы искаженной и умершей отъ искусственности, даже китайскіе мандарины ничто передъ этими милыми, благовоснитанными дътьми... И если жизнь человъческая есть театральная сцена или салонъ, и если, «казаться» есть цёль человёческой жизни, то въ этомъ образъ восинтапія мы пашли порму воснитапія. Въ самомъ дёлё, что можетъ быть прекрасиве и очаровательнве, напримвръ, сввтской дъвушки? — Она скоръе согласиться тысячу разъ умереть нежели одинъ разъ въ жизни, въ глазахъ свъта, показаться смъшною, т. е. прійдти въ восторгь оть созданія искусства, отъ созерцанія явленій природы, или отъ разсказа о высокомъ подвигъ, и всего, отчего плачутъ и чъмъ восхищаются люди дурнаго тона. Она столько же развизна и свободна, сколько и граціозна; ничему не удивлялсь, она инчего не испугается и ни отчего не прійдеть въ смущеніе. Въ ней всегда такое спокойствіе, такая ровнота духа, все такъ соразмірно и прилично... А сколько въ ней талантовъ, которыхъ она не выставляеть на видь, какъ какая-нибудь провинціялка, но за которые она часто слышить себъ «charmant»! Ко всему этому, какая у ней чистая душа, какое правственное сердце: она уже невъста, -- а кромъ Бульи и Беркена еще инчего не читала, и произносите при ней ими Шекспира, она съ милой наивностію спросить вась: mais qu'est ce que c'est?— a когда вы начнете говорить о Шекспиръ, она съ такою милою разсвинностію, съ такимъ достоинствомъ и такъ неожиданно для васъ повернетъ разговоръ на погоду или на послъдній баль. Виктора Гюго и Поль-де-Кока она будеть читать уже нослъ замужства, а пока довольно съ нея Бульи и Беркена. Оно и хорошо: Шиллеръ, Гёте, Байронъ, Гофманъ, Шекспиръ, Вальтеръ-Скоттъ, Пушкипъ-опасны для юнаго дъвственнаго сердца: чего добраго! они взволнуютъ его какими-то странными жеданіями, неясными мечтаніями, произведуть въ дівушкі экстазъ, экзальтацію, дадуть ей какую-то внутреннюю поэтическую жизнь, —и вотъ долго ли до гръха! — дъвушка встръчаетъ на землъ какую-то родную душу, безъ копъйки за душою-

> И жизнь могучая даеть И пышный цвътт, и сладкій плодъ—

какъ сказалъ Пушкинъ... Мечтать и любить—предаться человъческой страсти — да что же скажетъ свътъ?... Нътъ, не такова благовоспитанная дъвушка высшаго топа: она можеть выдвинуться изъ толпы, но прасотою; если Богъ наградилъ ею, парядомъ, если ея рара богаче другихъ, но не душею, не сердцемъ и ни другими мъщанскими страниостями. Она выйдеть замужь; --- даже если и другіе не похлопочуть объ этомь, сама все устроить, но это замужство будеть блестящее, способное возбуждать зависть, а не толки. Вотъ что дълаетъ испиное воспитание изъ дъвушекъ! А юпоши?-0, объ нихъ я боюсь и говорить: вст они и умпые и глупые, и ученые и невъжды-всъ они съ такимъ философскимъ равнодушіемъ смотрять на жизнь, въ которой для нихъ пътъ ничего пи таинственнаго, ни удивительнаго, ни непостижимаго; вст они съ такою «львиною» нагластію наводить на васъ свой лорнеть... прекрасные молодые люди!... А какъ свободно, съ какою небрежностію говорять они по-французски—словно на родномъ языкъ, и какъ мило не умъютъ сказать двухъ русскихъ фразъ, написать русской строки безъ ороографическихъ ошибокъ педантизма въ нихъ нътъ ни тъни!...

Мы представили двё крайности одной и той же стороны; по есть еще середина, которая, какъ всё почти середины, часто бываетъ хуже крайностей. Мы говоримъ о воспитаніи того класса общества, которое на низшіе смотритъ съ благороднымъ презрёніемъ и чувствомъ собственнаго достоинства, а на высшіе съ благоговёніемъ. Оно изо всёхъ силъ хлопочетъ быть ихъ вёрною копіею; по на зло себѣ, остается какимъ-то средиимъ пропорціональнымъ членомъ, съ собственною характеристикою, которая состоитъ въ отсутствіи всякаго характера, всякой оригинальности, и которую всего вёрнѣе можно выразить мъщанствомъ во дворянство. Непринужденность имлая наглость переходитъ у него въ жеманство и кривлянье; хорошій тонъ въ обезьяничество. Смѣшпо и жалко смотрёть,

Какъ негодяй оффиціннтъ Ломаетъ барина въ передней! Но это въ сторону: дёло въ томъ, что въ этомъ кругу общества воснитаніе состоить въ томъ, чтобы убить въ дётяхъ всякую жизнь и живость, сдёлать изъ нихъ попугаевъ и милыхъ куколъ, о которыхъ бы всё говорили: ахъ, какъ хорошо опи восинтываются!...

Воспитаніе! Оно вездѣ, куда ни посмотрите, и его пѣтъ нигдѣ, куда ни посмотрите. Конечно вы его можете увидѣть даже во всѣхъ слояхъ общества, отъ самаго высшаго до самаго низкаго, но какъ рѣдкость, какъ исключеніе изъ общаго правила. Отчего же это? Да оттого, что на свѣтѣ бездна родителей, множество рараз et mamans, но мало отцовъ и матерей. «Вотъ прекрасно!»—восклицаете иы: «какая же разница между родителями, и отцомъ и матерью?» — Какъ какая? — взгляните лѣтомъ на мухъ: какая бездна родителей, но гдѣ же отцы и матери? Грибоѣдовъ давно уже сказалъ —

Чтобъ имъть рътей, Кому ума недоставало!

Право рожденія—священное право на священное имя отца и матери, -- противъ этого пикто и не спроситъ; но не этимъ еще все оканчивается: тутъ человъкъ еще выше животнаго; есть высшее право-родительской любви. «Да какой же отець нли какая мать не любить своихь дѣтей?» — говорите вы. Такъ, по позвольте васъ спросить, что вы называете любовые? какъ вы понимаете любовь! — Въдь и овца любитъ своего ягненка: она кормить его своимъ молокомъ и облизываетъ языкомъ; но какъ скоро опъ мъняеть ея молоко на злакъ полей ихъ родственныя отношенія оканчиваются. Відь и г-жа Простакова любила своего Митрофанушку: она нещадно била по щекамъ старую Еремъевну и за то, что дитя много кушало, п за то, что дитя мало кушало; она любила его такъ, что если бы онъ вздумалъ ее бить по щекамъ, она стала бы горью плакать, что милое, ненаглядное дётище больно обколотить объ нее свои рученки. Итакъ, развъ чувство овцы, которая

кормить своимъ молокомъ ягиенка, чувство г-жи Простаковой, которая бывши овцою и коровою, готова еще сдълаться и лошадкой, чтобы возить въ колясочкъ свое двадцатилътнее дитя, — развъ все это не любовь? — Да, любовь, но какая? Любовь чувственная, животная, которая въ овцѣ, какъ въ животномъ, отличающемся и животною фигурою, имъетъ свою истинную, разумную, прекрасную и восхищающую сторону, но которая въ г-жъ Простаковой, какъ въ животномъ, отличающемся человъческою фигурою, виъсто овечьей, — безсмысленна, безобразна и отвратительна. Далъе: въдь и Павелъ Асонасьевичъ Фамусовъ любилъ свою дочь, Софью Павдовну: посмотрите, какъ онъ хлопочеть, чтобы повыгодиње сбыть ее съ рукъ, подороже продать... Продать?--какое ужасное слово?... Отецъ продаетъ свою дочь, торгуетъ ею, конечно, не по мелочи, но одинъ разъ павсегда, и не больше, какъ для одного человъка, который будетъ называться ея мужемъ!... Но въдь это онъ дълаетъ не для себя, а для ея же счастія? скажуть многіе. Прекрасно! Но посяв этого и разбойникъ, который для приданаго дочери заръжетъ нередъ ея свадьбою ивсколькихъ человвкъ, будетъ правъ, потому что сделаеть это изъ любви къ дочери? Иосле этого, и иная матушка, которая, не желая видёть въ нищеть свою ивжно-любимую дочь, научить, или принудить ее сделать выгодный промысель изъ своей красоты, — то же будеть права, потому что поступить такъ изъ любви къ дочери?... II разв'є этого не бываеть въ самомъ д'єл'є? Разв'є старый подъячій, закорентвий въ лихоимствт и казнокрадствт, не ноставляль первымь и священнымь долгомь своего родительскаго званія, передать свое подлое ремесло п'єжно любимому сынку?-Мы опять соглашается, что источникъ всего этого любовь, но какая-воть вопросъ! Откуда она проистеваетъ, куда она стремится, къ кому обращается? Зачёмъ звърь рветь и губить подобныхъ себъ, а въ голодъ пожираетъ собственныхъ детей? Затемъ, что онъ любитъ себя,

а любовь къ себъ есть условіе всякой индивидуальности, которая, въ свою очередь, есть условіе всякаго бытія, основа и законъ жизни. Зачёмъ собака грызется съ другою изъ-за брошенной кости?-Опять затемь, что любить себя. И нась не оскорбляеть это въ животныхъ; по крайней мъръ, мы не винимъ ихъ за это, и не считаемъ злодъями и преступниками, нотому что они живуть и действують подъ невольнымъ, рабскимъ влінніемъ животнаго инстинкта и, кромѣ сохраненія и возрожденія своей индивидуальности, не им'вють никакихъ обязанностей. И человъкъ, подобно животному, замкнутъ въ своей индивидуальности, и безсознательно следуетъ данному ему природою инстипкту самосохраненія и стремленію къ удучшению своего положения; но неужели этимъ все и должно въ немъ оканчиваться?--Нътъ, разница человъка съ животными именно въ томъ и состоить, что опъ только начинается тамъ, гдъ животныя уже оканчиваются. Кромъ обязанностей къ себъ, онъ имъетъ еще обязанности къ ближнимъ; кромъ инстинкта, который есть у животныхъ, онъ имъетъ еще чувство, разсудокъ и разумъ, которыхъ ивтъ у животныхъ; будучи существомъ и растительнымъ и животнымъ, будучи илотскимъ организмомъ, онъ есть еще и духъ-пскра и обликъ Духа Божія. Слёдовательно, и его любовь должна быть высшею ступенью той любви, которую мы видимъ во всей природъ, - отъ сродства стихій, - отъ ихъ безмолвнаго организированія въ минераль, заключенный въ ибдрахъ земли, отъ прозябанія дольней лозы, возникающей изъ зерна, —до животнаго, которое добровольно лишается жизни, съ яростію защищая своихъ дътей. Человъкъ есть міръ въ маломъ видъ: въ его организм' всё стихіи природы, первосущиыя ея силы, вся минеральная природа — металлы и земли; въ жизни его организма всъ процессы природы-и минеральное срощение извиъ, и прозябаемая растительность и животное развитіе изпутри. Онъ пвляется на свътъ животнымъ, которое кричитъ, синтъ, **тетъ** и инстинктивно хватается за грудь, и инстинктивно

сердится, когда его отъ нея отнимаютъ. Но уже съ того мгновенія, какъ языкъ его, отъ безразличныхъ междометій, начинаетъ постепенно переходить къ членораздъльнымъ звукамъ и ленетать первыя слова, -- въ немъ уже оканчивается животное и начинается человѣкъ, вся жизиь котораго, до поры полнаго мужества, есть не что иное, какъ безпрерывное формированіе, дъланіе, становленіе (das Werden) полнымъ человъкомъ, для полнаго наслажденія и обладанія силами своего духа, какъ средствами къ разумному счастію. Еще младенецъ, припавъ къ источнику любви — къ груди своей матери, онъ останавливаетъ на ней не безсмысленный взглядъ молодаго животнаго, по горящій свѣтомъ разума, хотя и безсознательнаго; онъ улыбается своей матери, — и въ его улыбкъ свътится дучь божественной мысли. Во всъхъ проявленіяхъ его любви просвъчиваетъ не простое, инстинктивное, но уже не чуждое смысла и разумности чувство: еще ноги его слабы, онь не можеть сдёлать ими шага для вступленія въ жизнь, но уже любовь его выше любви животной. Такъ неужели, послъ этого, любовь родителей,существъ вполиъ развившихся, должна оставаться при своей естественности и животности, неспособныхъ отдёлиться отъ самихъ себя и перейдти за околдованную черту замкнутой въ себъ индивидуальности? Иътъ, всякая человъческая любовь должна быть чувствомъ, просвътленнымъ разумною мыслію, чувствомъ одухотвореннымъ. Но что же такое любовь?-Это жизнь, это духь, свъть луча: безъ нея, все — смерть, при самой жизип, все-матерія, при самомъ органическомъ развитін, все-мракъ, при самомъ зрѣнін. Любовь есть высшая и единая д'виствительность, вив которой все-призраки, обманывающіе зрѣніе, формы безъ содержанія, пустота въ кажущихся границахъ. Какъ огонь есть вибств и свътъ и теплота, — такъ и дюбовь есть осуществившійся, явленный разумъ, осуществившаяся, явленная истина. Ею все держится и весь міръ — ея явленіе. Въ природъ она разлита

какъ электричество; въ духъ является разумною мыслію, въ самой себъ носящею силу своего проявленія въ благомъ дъйствін. ІІ потому, челов'ять полный ею сильн'я Самсона: съ мучениками первыхъ временъ христіанской церкви безтрепетно шель къ дикимъ звёрямь и, объятый пожирающимъ пламенемъ, пълъ гимны Богу живому и безсмертному, онъ изъ рыбаря становился ловцомъ человъковъ. Любовь столь сильна, что творить непостижимое, торжествуеть надъ въчно неизмѣнными условіями пространства и времени, надъ безсиліемъ плоти, младенцу даетъ львиную силу. Самъ Богъ есть любовь и источникъ любви, изъ котораго все исходить и въ который все возвращается. «Возлюбленные! станемъ любить другь друга; ибо любовь отъ Бога, и всякій, кто любить, рождень отъ Бога и знаеть Бога. Кто не любить, тоть не позналь Бога; потому что Вого есть мобовь-Богь есть любовь, и пребывающій въ любви, пребываеть въ Богь, и Богъ въ немъ», говорить св. апостолъ Іоаннъ (перв. пос. гл. IV, стр. 7, 8 и 16). И потому, всякая власть и всякая сила только въ любви. И потому слово, проникнутое любовію, горить огнемь неотразимаго уб'яжденія, и согр'яваеть теплотою умиленія сердце услышавшее его, и даеть ему міръ и счастіе; по слово, лишенное любви, и святыя истины дълаетъ холоднымъ и мертвымъ нравоучениемъ, и потому безсильно надъ умомъ и сердцемъ

Истина выше человъка, какъ личности: чтобъ быть достойнымъ имени человъка, онъ долженъ сдълаться сосудомъ истины. Но истина не дается человъку вдругъ, какъ его законное обладаніе: онъ долженъ достигать ея трудомъ, борьбою, лишеніями и страданіемъ, — и вся жизнь его должна быть стремленіемъ къ истинъ. Личность человъческая есть частность и ограниченность: только истина можетъ сдълать ее общимъ и безконечнымъ. Поэтому, первое и основное условіе достиженія истины есть для человъка отлученіе отъ самого себя въ пользу истины. Отсюда происходятъ добро-

вольныя лишенія, борьба съ желаніями и страстями, неумолимая строгость къ своему самолюбію, готовность къ самообвиненію предъ истиною, самоотверженіе и самоножертвованіе: кто не зналъ и не испыталь въ своей жизни пичего этого,—тотъ не жилъ въ истинъ, не жилъ въ любви.

Теперь взглянемъ съ этой точки на любовь родительскую. Отецъ и мать любять свое дитя, потому что оно ихъ рожденіе. Родство крови есть первая и, въ то же время, священная основа любви, ея исходный пункть, отъ котораго движется ея развитіе. Возставать противъ этого могутъ только или отвлеченные умы, разсудочные люди, неспособные пропикнуть ни въ какую живую, явленную истину, или сердца холодныя, сухія, мертвыя, если не порочныя и не развратныя. По, повторяемъ, естественная любовь, основывающаяся на одномъ родствъ крови, еще далеко не составляетъ того, чъмъ должна быть человъческая любовь. Изъ родства крови и плоти должно развиться родство духа, которое одно прочно, кръпко, одно истично и дъйствительно, одно достойно высокой и благородной человъческой природы. Посмотрите: сколько на свътъ дурныхъ дътей, которые теряютъ къ родителямъ всякую любовь, по оказываютъ къ пимъ только вижшнее, формальное уважение, какъ скоро избавляются, лътами и обезпечениемъ своего состояния, отъ ихъ власти и вліннія, и къ тому же не ждуть себ'є никакого насл'ядства послѣ ихъ смерти. Сколько бываетъ въ свѣтѣ ужасныхъ примъровъ дътей, неоказывающихъ родителямъ даже и виъшняго уваженія, требуемаго общественными приличіями, -- даже дътей, оскорбляющихъ своихъ родителей, если тъ не ръшаются прибъгнуть къ гражданскому закопу... Страшное, возмущающее душу зрълище! Бъдные родители, несчастные дъти! Да, несчастныя, — и, жалья о первыхъ, не спъшите проклинать последнихъ, но подумайте о томъ — природа ли создаетъ изверговъ, или восинтание и жизнь дълають ихъ такими? Мы пе отвергаемъ, чтобы природа не производила

людей, наклонныхъ къ пороку, но мы, вмёстё съ тёмъ крёнко убъждены, что такія явленія возможны какъ исключенія изъ общаго правила, и что иътъ столь дурнаго человъка, котораго бы хорошее воспитание не сделало лучшимъ. Горе дурнымъ дътямъ! почему бы они не сдълались такими-отъ дурнаго ли воспитанія, по вин'в родителей, или отъ случайныхъ обстоятельствъ, -- но они несчастны, потому что не знаютъ счастія сыновней любви и не могуть им'єть надежду вкусить счастіе любви родительской. Но тъмъ не менъе должно вникать въ причины ихъ правственнаго искаженія, если не для оправданія ихъ, то для оправданія истипы, которая выше всего, даже родителей, и для поучительнаго примъра, въ предотвращеніе такихъ возмущающихъ душу явленій. Мы сказали, что отецъ любитъ свое дитя, нотому что оно его рождение; но онъ долженъ любить его еще какъ будущаго человъка, котораго Богъ нарекъ сыномъ своимъ и за спасение котораго онъ принялъ на крестъ страданіе и смерть. При самомъ рожденін, отецъ долженъ посвятить свое дитя служению Богу въ духъ и нетинъ, -- и посвящение это должно состоять не въ отторжени его отъ живой дъйствительности, но въ томъ, чтобы вся жизнь и каждое дъйствіе его въ жизни было выраженіемъ живой, пламенной любви къ истипъ, въ которой является Богъ. Только такая любовь къ дътямъ истипна и достойна называться любовію; всякая же другая есть эгонзмъ, холодное самолюбіе. Вся жизнь отца и матери, всякій поступокъ ихъ долженъ быть примъромъ для дътей, и основою взаимныхъ отношеній родителей къ д'ятимъ должна быть любовь къ петинъ, по не къ себъ. Есть отцы, которые любять дътей для самихъ себя, — и въ этой любви есть своя истинияя и разумная сторона; есть отцы, которые любять своихъ дътей для нихъ самихъ, — и эта любовь выше, истините, разумите; но при этихъ двухъ родахъ любви, есть еще высшая, истинпъйшая и разумнъйшая любовь въ дътямъ-любовь въ истинъ, въ Богъ. Любитъ ли отецъ своего сына, если заставляетъ

его смотръть съ уважениемъ на свои дурные и безнравственные поступки, какъ на благородные и разумные? Не все ли это равно, что требовать отъ дитяти, чтобы оно, вопреки своему зрѣнію, бѣлое называло чернымъ, а черное бѣлымъ? Тутъ ивтъ любви, тутъ есть только самолюбіе, которое свою личность ставить выше истины. А, между тъмъ, у ребенка всегда будетъ столько смысла, чтобы, видя какъ его маменька колотить по щекамъ дёвокъ, или какъ его папенька напивается пьянъ и дерется съ маменькою, понимать, что это дурно. Конечно, пріучая къ такимъ сценамъ съ малолътства и толкуя, что это хорошо, можно наконецъ увърпть ребенка, что въ семъ-то и состоитъ истинная жизнь; но это значить развратить, погубить его: гдъ жь тутъ любовь?--туть только самолюбіе, которое въ своихъ дётяхъ хочеть видъть собственное безобразіе, чтобы не имъть въ нихъ себъ строгихъ, хоти и безмолвныхъ, судей. Вопреки законамъ природы и духа, вопреки условіямъ развивающейся личности, отецъ хочетъ, чтобы его дъти смотръли и видъли не своими, а его глазами; преслъдуетъ и убиваетъ въ нихъ всякую самостоятельность ума, всякую самостоятельность воли, какъ нарушение сыновняго уважения, какъ возстание противъ родительской власти,--и бъдныя дъти не смъють при немъ рта разинуть, въ нихъ убита энергія, воля, характеръ, жизнь, они дълаются почтительными статуями, заражаются рабскими пороками - хитростію, лукавствомъ, скрытностію, лгутъ, обманываютъ, вывертываются... Китайцы, поставляющіе красоту женскихъ иогъ въ миніатюрности, зашиваютъ у дъвочекъ ноги въ сырую воловью шкуру, и синмають ее, когда уже дъвочки становятся дъвушками; ножки въ самомъ дълъ крошечныя, только кривы, изогнуты, уродливы, и женщина можетъ ходить только въ комнатъ, и то опираясь о стъны и на мебель. Таковы результаты остановленной въ свободномъ развити природы! Таковы же бываютъ и результаты остановленнаго въ естественномъ и самобытномъ развитін духа! Но что сказать о тёхъ родителяхъ, которые имѣютъ несчастное убъжденіе, что, для пользы и счастія своихъ дътей, они обязаны управлять тъми ихъ склопностями, которыя ръшають счастіе или несчастіе цълой жизни человъка? И какъ часто случается, что прекрасная дъвушка, съ глубокою душою, любящимъ сердцемъ, по какому-нибудь случаю получившая, на свою пагубу, хорошее воспитаніе, созданная украсить, озолотить, осчастливить жизнь избраннаго ею, который бы поняль ее, выдается силою родительской власти за какое-нибудь глупое животное съ человъческимъ обликомъ, и гибнетъ безмолвною жертвою тайнаго, никъмъ непопятнаго страданія!... Бъдная, ей даже не на кого и жаловаться: ее погубили изъ любви же къ ней, изъ искренняго желанія ей добра и счастія... Горе человѣку, когда его участь въ рукахъ злодвевъ, и такое же горе ему когда его участь въ рукахъ добрыхъ, но пошлыхъ и глупыхъ людей!... Бедныя женщины чаще всего испытывають на себъ несомижиность этой горькой истины... Молодой человжкь, принужденный избрать чуждую своему призванію дорогу жизни, рано или поздно, хоть съ утратою силъ души, хоть съ обръзанными крыльями, по еще вылетаеть на желанную свободу, а женщины!... По что сказать о тёхъ родителяхъ, которые торгуютъ счастіемъ своихъ дѣтей, спекулируютъ или на богатство, на знатность, да еще дъйствуютъ при этомъ во ими нравственности, любви и своихъ священныхъ родительскихъ обязанностей къ дътямъ!... Но оставимъ этотъ ужасный предметь, отъ котораго возмущается и содрагается человъческая природа будто при видъ удава или гремучей змъи...

Разумная любовь должна быть основою взаимных отношеній между родителями и дітьми. Любовь предполагаєть взаимную довіренность,—п отець должень быть столько же отцомь, сколько и другомь своего сына. Первое попеченіе должно быть о томь, чтобы сынь не скрываль оть него ни мальйшаго движенія своей души, чтобы къ нему первому

шенъ онъ и съ въстью о своей радости или горъ, и съ признаніемъ въ проступкъ, въ дурной мысли, въ нечистомъ желанін, и съ требованіемъ совъта, участія, сочувствія, утъшенія. Какъ грубо ошибаются многіе, даже изъ лучшихъ отцовъ, которые почитають необходимымъ раздѣлять себя съ дътьми строгостію, суровостью, недоступною важностью! Они думають этимъ возбудить къ себъ въ дътяхъ уважение, и въ самомъ дълъ возбуждаютъ его, по уважение холодное, боязливое, трепетное, и тёмъ отвращаютъ ихъ отъ себя и невольно пріучають къ скрытности и лживости. Родители должны быть уважаемы дётьми, но уваженіе дётей должно проистекаетъ изъ любви, быть ен результатомъ, какъ свободная дань ихъ превосходству, безъ требованія получаемая. Ничто такъ ужасно не дъйствуетъ на юную душу, какъ холодность и важность, съ которыми принимается горячее изліяніе ея чувства; ничто не обливаетъ ее такимъ умерщвляющимъ холодомъ, какъ благоразумные совъты и наставленія тамъ, гдъ ожидаетъ она сочувствія. Обманутая такимъ образомъ въ своемъ стремленін разъ и другой, она затворяется въ самой себъ, сознаетъ свое одиночество, свою отдъльность и особность отъ всего, что такъ любовно и родственно еще недавно окружало ее, и въ ней развивается эгоизмъ, она пріучается думать, что жизнь есть борьба эгонстическихъ личностей, азартная игра, въ которой торжествуеть хитрый и безжалостный, и гибиетъ неловкій или совъстливый. Открытая душа младенца или юноши—свётлый ручей, отражающій въ себъ чистое и ясное небо; запертая въ самой себъ, онамрачная бездна, въ которой гивздятся петопыри и жабы... Если же не это, можетъ случиться другое: индивидуальность человъческая, по своей природъ, не терпитъ отчужденія п одиночества, жаждетъ сочувствія и довъренности подобныхъ себъ, — и дъти сдружаются между собою, составляють родъ общества, имъющаго свои тайны, общими и соединенными силами скрываемыя, что инкогда до добра не доводить. Это

бываеть еще опаснье, когда друзья избираются между чужими, и тымь болье, когда избранный другь старше избравшаго: онъ береть надъ шимъ верхъ, пріобрътаеть у него авторитеть, и передаеть ему всь свои наклонности и привычки,—что же, если опи дурны и порочны?... Нътъ! первое условіе разумной родительской любви—владъть полною довъренностію дътей, и счастливы дъти, когда для нихъ открыта родительская грудь и объятія, которыя всегда готовы принять ихъ правыхъ и виноватыхъ, и въ которыя они всегда могутъ броситься безъ страха и сомивнія!

Юная душа, неиспытавшая еще отчужденія и сомивнія, вся открыта наружу; она не умъетъ любитъ въ мъру, но предается предмету своей любви беззавътно и безусловно, видитъ въ немъ идеалъ всевозможнаго совершенства, высшій образецъ для своихъ действій, верить ему со всемь жаромъ фанатика. И что же, если такая любовь устремлена къ родителямъ, соединяясь съ естественною, кровною любовью къ нимъ! О, для такихъ ивтей высочайшее счастіе какъ можно чаще быть въ присутствін родителей, наслаждаться ихъ разговорами, сопровождать ихъ въ прогулкъ, имъть свидътелями своихъ игръ и ръзвостей, обращаться къ инмъ въ недоразумъніяхъ, избирать ихъ въ посредники между собою въ своихъ маленькихъ ссорахъ и неудовольствіяхъ! Нужно ли доказывать, что при такомъ восинтаніи, родители одною ласкою могуть ділать изъ своихъ дътей все, что имъ угодно; что имъ ничего не стоитъ пріучить ихъ съ малолътства къ выполненио долга-къ постоянному, систематическому труду въ определенные часы каждаго иня (важная сторона въ воспитаціи: отъ опущенія ея много губится въ человъкъ!)? Нужно ли говорить, что такимъ родитедямъ очень возможно будеть обратить трудъ въ привычку, въ наслажденіе для своихъ дътей, а свободное отъ труда времявъ высшее счастіе и блаженство? Еще менъе нужно доказывать, что при такомъ воспитаніи совершенно безполезны всякаго рода унизительныя для человъческаго достоинства нака-

запія, подавляющій въ дътяхъ благородную свободу духа, уваженіе къ самимъ себъ, и разтяввающія ихъ сердца подлыми чувствами униженія, страха, скрытности и лукавства? Суровый взглядъ, холодио въжливое обращение, косвенный упрекъ, деликатный намекъ, и уже много-много, если отказъ въ прогулив съ собою, въ участи слушать повъсть или сказку, которую будеть читать или разсказывать отець или мать, наконецъ, арестъ въ комнатъ, — вотъ наказанія, которыя будучи употреблены соразмърно съ виною, произведутъ и сознаніе, и раскаяніе, и слезы, и исправленіе. Ифжная душа доступна всякому впечатлънію, даже самому легкому: у ней есть топкій инстинкть, по которому она сама догадывается о неловкости своего положенія, если подала къ нему поводъ; душа грубая, привыжшая въ сильнымъ наказаніямъ, ожесточается, черствъеть, мозолится, дълается безстыдно-безсовъстною, — п ей ужь скоро ни по чемъ всякое наказаніе. Нужно ли говорить, что такое воспитание — легко и возможно, но требуетъ всего человека, всего его вниманія, всей его любви? Отцы, которыхъ вся жизнь сосредоточена въ дътяхъ; отдана имъ безъ раздела — редкія явленія; но для пихъ то и говоримъ мы, къ нимъ и обращаемъ ръчь нашу, — и дай Богъ, чтобы она припята была ими съ такою же любовію и искренностію, съ какими мы обращаемся къ нимъ!... Всъ же не такіе могутъ намъ не върить и даже смъяться надъ нами, если имъ это заблагоразсудится... Въ добрый часъ!...

Воспитаніе—великое дёло: имъ рёшается участь человёка. Молодыя поколёнія суть гости настоящаго времени и хозяева будущаго, которое есть ихъ настоящее, получаемое ими какъ наслёдство отъ старёйшихъ поколёній. Какъ зародышъ будущаго, которое должно сдёлаться настоящимъ, каждое изъ нихъ есть повая идея, готовая смёнить старую идею. Это и есть условіе хода и процесса человёчества. «Не вливаютъ вина молодаго въ мёхи старые», сказалъ намъ божественный Спаситель, и опъ же изрекъ о дётяхъ, приведенныхъ къ

нему для благословенія: «Таковых весть царствіе небесное». Но повое, чтобъ быть дъйствительнымъ, должно исторически развиться изъ стараго,—и въ этомъ законъ заключается важность воспитанія, и имъ же условливается важность тъхъ людей, которые берутъ на себя священную обязанность быть воспитателями дътей.

Правительство, неусыпно пекущееся о нашемъ благъ, ничего не щадить для утвержденія на прочимуь основаніяхь общественнаго образованія. Несмотря на безчисленное множество уже существующихъ учебныхъ заведеній, оно не перестаетъ учреждать новыя на лучшихъ основаніяхъ, а старыя преобразовывать, соотвътственно потребностямъ времени; употребляетъ на нихъ огромныя суммы, замъщаетъ вакантныя мъста молодыми людьми, болъе старыхъ способными удовлетворить современнымъ требованіямъ, — и кто вникалъ со вниманіемъ въ эту отрасль администрацін, тотъ не могъ не дивиться быстрымъ перемѣнамъ въ ней къ лучшему, богатымъ прекрасными результатами. Но общественное образованіе, преимущественно им'єющее въ виду развитіе умственныхъ способностей и обогащенія ихъ познаніями, совежиь не то, что воспитание домашнее: то и другое равно необходимы, и ни одно другаго замънить не можетъ. Вотъ что говорить объ этомъ великій германскій мыслитель Гегель, въ своей торжественной рачи на акта Июренбергской гимназін, обязанной его кратковременному управленію теперешнимъ своимъ процвътаніемъ: «Въ связи съ этимъ находится еще другой важный предметь, который ставить школу еще въ большую необходимость оппраться на домашиія отношенія учениковъ-это дисциплина. Я здёсь отличаю воспитаніе правовъ отъ ихъ образованія. Цълію учебнаго заведенія можетъ быть не воспитаніе, не дисциплина правовъ въ собственномъ смыслъ, а образование ихъ и притомъ не совсъми средствами, къ нему ведущими. Учебное заведение должно предполагать добрую правственность въ своихъ ученикахъ. Мы должны требовать, чтобы ученики вступающіе къ намь въ школу, уже получили предварительное воспитаніе. По духу нравовъ нашего времени непосредственное воспитаніе не есть, такъ какъ у Спартанцевъ, публичное, государственное; обязанность и забота воспитанія лежить на родителяхъ. Другое дѣло—спротскіе домы или семинаріи и вообще всѣ заведенія, которыя обнимаютъ цѣлое существованіе юноши».

Такъ! на родителяхъ, на однихъ родителяхъ лежитъ священивищая обязанность сдёлать своихъ дётей человёками; обязанность же учебныхъ заведеній-сдълать ихъ учепыми, гражданами, членами государства на всёхъ его ступеняхъ. Но кто не сдълался прежде всего человъкомъ, тотъ плохой гражданинъ, плохой слуга государю. Изъ этого видно, какъ важенъ, великъ и священъ санъ воспитателя: въ его рукахъ участь цёлой жизни человёка. Первыя впечативнія могущественно дъйствують на юпую душу: все дальнъйшее ея развитіе совершается подъ ихъ непосредственнымъ вліяніемъ. Всякій человъкъ, еще не родившись на свътъ, въ самомъ себъ посить уже возможность той формы, того опредъленія, какое ему нужно. Эта возможность заключается въ его организмъ, отъ котораго зависитъ и его темпераментъ, и его характеръ, и его умственныя средства, и его наклонность и способность къ тому или другому роду дъятельности, къ той или другой роли въ общественной драмѣ, -- словомь, вся его индивидуальная личность. По своей природъ, никто ни выше, ни ниже самаго себя: Наполеономъ или Шекспиромъ должно родиться, но нельзя сдълаться; хорошій офицеръ часто бываетъ илохимъ генераломъ, а хорошій водевилисть дурнымъ трагикомъ. Это уже судьба, передъ которою безсильна и человъческая воля и самыя счастливыя обстоятельства. Назначение человъка-развить лежащее въ его натуръ зерно духовныхъ средствъ, стать вровень съ самимъ собою, но не въ его волъ и не въ его силахъ пріобръсти

трудомъ и усиліемъ сверхъ даннаго ему природою, сдёлаться выше самого себя, равно какъ и быть не темъ, чемъ ему назначено быть, какъ напримъръ, художникомъ, когда онъ родился быть мыслителемъ, и т. д. И вотъ здёсь воспитаніе получаетъ свое истипное и великое значение. Животное, родившись отъ льва и львицы, дълается львомъ, безъ всякихъ стараній и усилій съ своей стороны, безъ всякаго вліянія счастливаго стеченія обстоятельствь; но человікь, родившись не только львомъ или тигромъ, даже человъкомъ въ полномъ значени этого слова, можеть сделаться и волкомъ, и осломъ, и чёмь угодно. Часто, одаренный великими средствами на великое, онъ обнаруживаетъ только дикую силу, которая служитъ ему ни къчему иному, какъ къ разрушенію всего окружающаго его и наже самого себя. И если бывають такія богатыя п могучія натуры, которыя собственною глубокостію и силою спасаются отъ погибели или искаженія вслёдствіе ложнаго, неестественнаго развитія и дурнаго воспитанія, - то всетаки нельзя же сомивваться въ томъ, что тв же самыя натуры, но при нормальномъ развитін и разумномъ воспитанів примъе дошли бы до своей цъли, съ силами свъжими и неистощенными въ тяжелой и безплодной борьбѣ съ случайными противоръчіями. Разумное воспитаніе и злаго по натурь дълаетъ или менъе злымъ, или даже и добрымъ, развиваетъ до извъстной степени самыя тупыя способности и по возможности очеловъчиваетъ самую ограниченную и мелкую натуру; такъ дикое, лъсное растеніе, когда его пересадять въ садъ и подвергнутъ уходу садовника, дълается и нышпъе нвътомъ, и вкусиъе плодомъ. Не всъ родятся героями, художниками, учеными; геній есть явленіе віжовое, рідкое; сильные таланты то же похожи на исключенія изъ общаго правила, — и въ этомъ случай человичество есть армія, въ которой можеть быть до милліона рядовыхъ солдать, но только одинъ фельдмаршалъ, и въ каждомъ полку только одинъ полковникъ, и на сто рядовыхъ одинъ офицеръ. Въ

такой же пропорціи находится къ большинству, или толит, и число людей съ глубокою и безконечною натурою, которыхъ назначение — не проявиться въ какомъ-нибудь родъ дъятельности, составляющемъ признаніе генія и таланта, но все понимать, всему сочувствовать и все облагораживать и счастливить своимъ непосредственнымъ вліяніемъ. Природа не скупа, но экономна въ своихъ дарахъ, --и, какъ явленіе въчнаго разума, она строго соблюдаетъ свой јерархический порядокъ, свою табель о рангахъ. Но всякое назначение природы имъетъ параллельное себъ назначение въ человъчествъ и въ гражданскомъ обществъ, почему всякій человъкъ, съ какими бы то ни было способностями, находить свое мъсто въ томъ и другомъ. Не мъста людей, но люди мъста унижають. Самое приличное мъсто человъку-то, къ которому онъ призванъ, а свидътельство призванія-его способности, степень ихъ, наклонность и стремленіе. Кто призванъ на великое въ человъчествъ, совершай его: ему честь и слава, ему вънецъ генія; кому же назначена тихая и неизвъстная доля-умъй найдти въ ней свое счастіе, умъй съ пользою дъйствовать и на маломъ поприщъ, умъй быть достойнымъ, кочтеннымъ и въ скромной дъятельности. Всякое желаніе невозможнаго-есть ложное желаніе; всякое стремленіе быть выше себя, выше своихъ средствъ — есть неблагородный порывъ сознающей себя силы, а претензія жалкой посредственности и бъднаго самолюбія украситься вижшнимъ блескомъ. Цъль нашихъ стремленій есть удовлетвореніе, и всякій удовлетворяется пи больше, ни меньше, какъ тѣмъ, что ему нужно; а кто нашелъ свое удовлетворение на ограпиченномъ поприщѣ, тотъ счастливѣе того, кто, обладая большими духовными средствами, не можетъ найдти своего удовлетворенія. Честный и, по своему, умный сапожникъ, которой въ совершенствъ обладаетъ своимъ ремесломъ и получаеть оть него все, что нужно ему для жизни, выше плохаго генерала, хотя бы опъ былъ самъ Меласъ, выше пе-

данта ученаго, выше дурнаго стихотворца. Главная запача человъка во всякой сферъ дъятельности, на всякой ступени въ явстницъ общественной јерархіи, быть-человъкомъ. Но, умъренная на произведение великихъ явлений духовнаго міра, природа щедра до безконечности на произведение людей и съ душою, и съ способностями и съ дарованіемъ, словомъ со всёмь, что пужно человёку, чтобъ быть достойнымъ высокаго званія человька. Люди бездарные, ни къ чему неспособные, тупоумные, суть такое же исключение изъ общаго правила, какъ уроды, и ихъ также мало, какъ и уродовъ. Множество же ихъ происходить отъ двухъ причинъ, въ которыхъ природа инсколько не виновата: отъ дурнаго воспитанія и вообще ложнаго развитія, и еще оттого, что ръдко случается видъть человъка на своей дорогъ и на своемъ мъстъ. Сознаніе своего назначенія — трудное діло, и часто, если не натолкнутъ человъка на чуждую ему дорогу жизни, онъ самъ пойдеть по ней, руководимый ими безсознательностію, или претензіями. Но еслибы возможно было равное для всёхъ нормальное воспитаніе, --число обиженныхъ природою такъ ограничилось бы, что дъйствительно обиженные ею прямо поступали бы въ кунсткамеру въ банки со спиртомъ. И потому, воспитание по отношению къ большинству, пріобрътаетъ еще большую важность: оно все-и жизнь и смерть, спасеніе и гибель.

Но воспитаніе, чтобы быть жизнію, а не смертію, спасеніемъ, а не гибелью, должно отказаться отъ всякихъ претензій своевольной и искусственной самодѣятельности. Оно должно быть помощникомъ природѣ—не больше. Обыкновенно думаютъ, что душа младенца есть бѣлая доска, на которой можно писать что угодно, забывая, что каждый человѣкъ есть индивидуальная личность, которая можетъ дѣлаться и хуже и лучше—только по своему, индивидуально. Воспитаніе можетъ сдѣлать человѣка только худшимъ, исказить его натуру; лучшимъ оно его не дѣлаетъ, а только помогаетъ дѣлаться. Если душа младенца и въ самомъ дѣлѣ есть бѣлая доска, то — качество и смыслъ буквъ, которыя пишетъ на ней жизнь, зависятъ не только отъ пишущаго и орудія писанія, но и отъ качества самой этой доски. Человѣкъ ничего не можетъ узнать, чего бы не было въ немъ, нбо вся дѣйствительность, доступная его разумѣнію, есть не что иное, какъ осуществившіеся законы его же собственнаго разума. И потому-то есть такъ называемыя вражденныя иден, которыя суть неносредственное созерцаніе истины, заключающееся въ таинствѣ человѣческаго организма. Ребенка нельзя увѣрить, что дважды два—пять, а не четыре. А между тѣмъ, есть истины и повыше этой, которыхъ сѣмя въ душѣ человѣка, еще и не думавшаго о нихъ!...

Нътъ, не бълая доска душа младенца, а дерево въ зернъ, человъкъ въ возможности! Какъ ин старо сравнение восинтателя съ садовникомъ; но оно глубоко-върно, и мы не затрудияемся воспользоваться имъ. Да, младенецъ есть молодой, бавдно-зеленой ростокъ, едва выглянувшій изъ своего зерна; а воспитатель есть садовникъ, который ходитъ за этимъ и жжнымъ, возникающимъ растеніемъ. Посредствомъ прививки, и дикую лъсную яблоню можно заставить, вмъсто пислыхъ и маленькихъ яблокъ, давать яблоки садовые вкусные и большіе; но тщетны были бы всѣ усилія искусства заставить дубъ приносить яблоки, а яблоню-жолуди. А въ этомъ-то именно и заключается, по большей части, ошибка воспитанія: забывають о природъ, дающей ребенку наклонпости и способности, и опредъляющей его значение въ жизни, и думаютъ, что было бы только дерево, а то можно заставить его приносить что угодно, хоть арбузы вмѣсто орѣховъ.

Для садовника есть правила, которыми онъ необходимо руководствуется при хожденіи за деревьями. Онъ соображается не только съ индивидуальною природою каждаго растенія, но и со временами года, съ погодою, съ качествомъ почвы. Каждое растеніе имъетъ для него свои эпохи воз-

растанія, сообразно съ которыми онъ и располагаеть свои съ нимъ дѣйствія: онъ не сдѣлаетъ прививки ни къ стеблю, еще несформировавшемуся въ стволъ, ни къ старому дереву, уже готовому засохнуть. Человѣкъ имѣетъ свои эпохи возрастанія, не сообразуясь съ которыми можно затушить въ

немъ всякое развитіе.

Орудіемъ и посредникомъ воспитанія должна быть любовь, а цълью—человъчность (die Humanität). Мы разумъемъ здъсь первоначальное воспитаніе, которое важиве всего. Всякое частное или исключительное направленіе, питющее опредъленную цёль въ какой-нибудь сторон' общественности, можетъ имъть мъсто только въ дальнъйшемъ, окончательномъ воспитаніи. Первоначальное же воспитаніе должно вид'ять въ дитяти не чиновника, не поэта, не ремесленника, но человъка, который могъ бы впоследстви быть темъ или другимъ, не переставая быть челов комъ. Подъ челов к чностью мы разумьемъ живое соединение въ одномъ лицъ тъхъ общихъ элементовъ духа, которые равно необходимы для всякаго человъка, какой бы онъ ни былъ націи, какого бы онъ ни быль званія, состоянія, въ какомь бы возрасть жизни и при какихъ бы обстоятельствахъ ни находился, — тъхъ общихъ элементовъ, которые должны составлять его внутреннюю жизнь, его драгоцъниъйшее сокровище, и безъ которыхъ онъ пе человъкъ. Подъ этими общими элементами духа мы разумбемъ-доступность всякому человъческому чувству, всякой человъческой мысли, смотря по глубокости натуры и степени образованія каждаго. Челов'якъ есть разумно-сознательная сущность и брганъ всего сущаго, -- и отсюда получаеть свое глубокое и высокое значение извъстное выраженіе: «Homo sum, nihil mihi alienum humani puto» т. е. «Я человъкъ—и ничего человъческаго не считаю чуждымъ мив». Чъмъ глубже натура и развитие человъка, тъмъ болъе онъ человъкъ, и тъмъ доступнъе ему все человъческое. Опъ пойметь и радостный крикъ дитяти при видъ пролетъвшей птички,

и бурное волненіе страстей въ волканической груди юноши, и спокойное самообладаніе мужа, и созерцательное упоеніе старца, и жгучее отчаяніе и дикую радость, и безмолвное страданіе, и затаенную грусть, и восторги счастливой любви, и тоску разлуки, и слезы отринутаго чувства и нъмую мольбу взоровъ, и высокость самоотверженія и сладость молитвы, и все, что въ жизни, и въ чемъ есть жизнь. Опытъ и опытность не суть необходимое условіе такой всеобъемлющей доступности: чтобы понять и младенца, и юношу, и мужа, и старца, и женщину, ему не нужно быть вижсть и тъмъ и другимъ, и третьимъ, ему не нужно даже быть въ томъ положенін, которое интересуеть его въ каждомъ изъ нихъ, лишь бы представилось ему явленіе, а ужь его чувство безсознательно откликнется на него и пойметь его. На все будеть у него и привътъ и отвътъ; и участіе и утъщеніе, чистая радость о счастін ближняго, и состраданіе въ его горъ, и улыбка на полный блаженства взоръ, и слеза на горькія слезы! Ему попятна и возможность не только слабостей и заблужденій, по и самыхъ пороковъ, самыхъ преступленій: презпрая слабости и заблужденія, онъ будетъ жальть о слабыхъ и заблуждающихся; проклиная пороки и преступленія, онъ будеть сострадать порочнымъ и преступнымъ. Его грудь равно открыта и для задушевной тайны друга, и для робкаго признанія юнаго, страждущаго существа, и для души, томящейся обременительной полнотою блаженства, и для растерзаннаго страданіемъ сердца, и для рыдающаго раскаянія, и для самой ужасной повъсти страстей и заблужденій. Опъ уважаетъ чувство и друга и недруга; для него святы и горе и радость знакомаго и незнакомаго человъка. Съ нимъ такъ тепло и отрадно и своему и чужому; онъ во всехъ внушаетъ такую довърчивость, такую откровенность. Въ его душъ столько теилоты и елейности, въ его словахъ такая кротость и задумчивость, въ его манерахъ столько мягкости и деликатности. Какъ отрадно бываетъ встрътить въ старикъ, который былъ лишенъ

всякаго образованія, провель всю жизнь свою въ практической дъятельности, совершенно чуждой всего идеальнаго, мечтательнаго и поэтическаго, — какъ отрадно встрътить теплое чувство, неподавленное бременемъ годовъ и желѣзными заботами жизни, любовь и сипсхождение къ юности, къ ел вътренымъ забавамъ, ея шумной радости, ея мечтамъ, и грустнымъ и свътлымъ, и пламеннымъ и гордымъ! какъ отрадно увидъть на его устахъ кроткую улыбку удовольствія, чистую слезу умиленія отъ пъсни, отъ стихотворенія, отъ повъсти!... О, станьте на колбин передъ такимъ старикомъ, почтите за честь и счастіе его ласковый привъть, его дружежеское ножатіе руки: въ немъ есть человъчность! Онъ въ милліонь разь лучше этихь сомнівающихся и разочарованныхъ юношей, которые увяли не разцвътши, - этихъ почтенныхъ лысинъ и съдинъ, которыя рутиною хотять замъшить умъ и дарованія, холоднымъ резонёрствомъ теплое чувство, вижшнимъ и заимствованнымъ блескомъ отличій внутреннюю пустоту и ничтожность, а важными и строгими разсужденіями о правственности — сухость и мертвенность своихъ деревянныхъ сердецъ!...

Чтобы не повторять одного и того же, мы перейдемъ теперь къ дътскимъ книгамъ—главному предмету пашей статьи, и ихъ характеристикою довершимъ нашу характеристику воспитанія вообще.

На дътскія кинги обыкновенно обращають еще менье винманія, чъмъ на самое воспитаніе. Ихъ просто презирають, и если покупають, то развъ для картинокъ. Есть даже люди, которые почитають чтеніе для дътей больше вреднымъ, чъмъ полезнымъ. Это — грубое заблужденіе, варварскій предразсудокъ. Книга есть жизнь пашего времени. Въ ней всъ нуждаются—и старые, и молодые, и дъловые, и пичего педълающіе; дъти—также. Все дъло въ выборъ книгъ для пихъ, и мы первые согласны, что читать дурно выбранныя книги для нихъ и хуже и вреднъе, чъмъ ничего пе читать: первое

зло — положительное, второе только отрицательное. Такъ, напримёръ, въ дётяхъ, съ самыхъ раннихъ лётъ, должно развивать чувство изящнаго, какъ одинъ изъ первъйшихъ элементовъ человъчности; но изъ этого отнюдь не слъдуетъ, чтобы имъ можно было давать въ руки романы, стихотворенія и проч. Нътъ инчего столь вреднаго и опаснаго, какъ неестественное и песвоевременное развитіе духа. Дитя должно быть дитятею, но не юношею, не взрослымъ человъкомъ. Первыя впечатльнія сильны, — и плодомъ неразборчиваго чтенія будеть преждевременная мечтательность, пустая и ложная идеальность, отвращение отъ бодрой и здоровой дъятельности, наклонность къ такимъ чувствамъ и положеніямь въ жизни, которыя несвойственны дътскому возрасту. Юноши, переходящіе въ старость мимо возмужалости-отвратительны, какъ старички, которые хотятъ казаться юношами. Все хорошо и прекрасно въ гармоніи, въ соотвътственности съ самимъ собою. Всему своя чреда. Неестественно и преждевременно развившілся дъти-нравственные уроды. Всякая преждевременная зрълость похожа на растление въ дътствъ. Некусство въ той мъръ дъйствительно для каждаго, сколько каждый находить въ немъ истолкование того, что живеть въ немъ самомъ какъ чувство, —что знакомо ему, какъ потребность его души. Когда же онъ этого не находить въ искусствъ, то видить въ немъ фразы, увлекается ими, и изъ простаго, добраго человъка становится высокопарнымъ болтуномъ, пустымъ и докучнымъ фразёромъ. Что же сказать о дётяхъ, которыя, по своему возрасту, не могуть найдти въ поэзін . отраженія внутренняго міра души своей? Разум'вется, они пли увлекаются отвратительнымъ въ ихъ лѣта фразёрствомъ и резонёрствомъ, или неретолковываютъ по-своему педоступныя для инхъ чувства и превращаютъ ихъ для себя въ неестественныя и ложныя ощущенія и побужденія. По въ пользу дътей должно исключить изъчисла недоступныхъ имъ искусствъ-музыку. Это искусство, невыговаривающее определенно никакой мысли, есть какъ бы отрешившаяся отъ міра гармонія міра, чувство безконечнаго, воплотившееся въ звуки, возбуждающее въ душъ могуче порывы и стремление къ безконечному, возносящее ее въ ту превыспрениюю, надзвъздную сферу высокихъ помысловъ и блаженнаго удовлетворенія, которая есть св'єтлая отчизна живущихъ долу, и изъ которой слышатся имъ довременные глаголы жизни... Вліяніе музыки на дітей благодатно, и чімь раиве начиуть они испытывать его на себв, твмъ лучше для нихъ. Они не переведутъ на свой дътскій языкъ ел певыговариваемых глаголовъ, но запечатлъютъ ихъ въ сердиъ,-не перетолкують ихъ по своему, не будуть о ней резонёрствовать; по она наполнить гармоніею міра ихъ юныя души, разовьеть въ нихъ предощущение тапиства жизни, совлеченной отъ случайностей, и дастъ имъ легкія крылья, чтобы отъ инзменнаго дола возноситься горе-въ свътлую отчизну душъл. Не можемъ удержаться, чтобы не выписать здёсь мёста изъ статьи одного малочитавшагося журнала, статьи процикнутой мыслію и благороднымъ одушевленіемъ: «Жалко сказать, въ какомъ положенін находится у насъ музыкальное образование. У насъ учатъ музыкъ не потому что музыка есть великое искусство, которое возвышаеть, облагораживаетъ душу, развиваетъ въ ней безконечный внутренній міръ, а потому что стыдно же дівушкі не прать на фортепьяно, не спъть романса -- «это въ жизии хорошо»; какъ не блеснуть въ обществъ своей игрой, своей музыкальностію 1)! — и у насъ музыка обратилась въ какую-то

¹⁾ Въ самомъ дълъ, кому не хочется блеснуть своею музыкальностію?—И вотъ и въ музыку также ввели моду, какъ и въ костюмы и въ свътскіе обычаи. Пожалуйте намъ Черни, Герца, Тальберта, Шопена: какъ можно даже говорить о старикъхъ Моцартъ и Бетховенъ... Соната Бетховена—fi donc!—какъ это старо!... Въ самомъ дълъ, вы стары, простодушные художники!... Посмотрите на природу, какъ она состарълась—въдь ужь сколько тысячъ лътъ живетъ она!...

роскошь воспитанія: папенька тратится и платить деньги музыкальному учителю, считая это ужь необходимымъ зломъ для своего кармана. По большей части, дъвушки наши запимаются музыкою только до замужества, а такъ какъ на музыку смотрять, какъ на средство сдълать выгодную партію, или даже просто-поскорте выйдти замужъ, пры достигнута, и музыка оставлена, фортеньяно держится въ домѣ, какъ необходимая мебель. Да впрочемъ, извъстно и то, что благородной дъвицъ неприлично паслаждаться какою-то превыспреннею любовію, и находить свое счастіе въ природъ, въ искусствъ, въ мысли; совсъмъ иътъ; природа, поэзія и умныя сужденія должны быть украшеніями, забавами жизни, а вовсе не сущностью ел.—Пусть бы оставляли музыку для занятій и понеченій материнскихъ (хотя мы думаемъ, напротивъ, что въ долгъ и понеченія матери музыка должна входить первая: она первая должна быть благодатною росою для растительной жизни дитяти, солиечнымъ свътомъ, для пробуждающейся юпой души, она развиваетъ и укръпляетъ цвътокъ духовной жизни для илода... впечатлъпія музыки на душу младенца и плоды пхъ неизчислимы); но дамы наши мало думають объ этомъ, и музыка оставляется для другихъ, важиъйшихъ предметовъ — нарядовъ, выёздовъ, собраній, свётской литературы; но тихой, задумчивой музыкъ неловко въ такомъ блистательномъ, шумномъ обществъ-она улетаетъ...» («М. Н.» 1838. стр. 332).

Шексипру слишкомъ 200 лвтъ, а Гомеръ даже сдълался миномъ... Да, правда—всв вы стары, всв вы не годитесь теперь, вама вовсе нельзя блеснуть въ обществъ: вы требуете много труда, размышленія, уединенія; а что-жь вы даете за это?—Какую-нибудь внутреннюю гармонію, одушевленіе, растворяете душу блаженствомъ и жаждою безконечнаго,—намъ совсѣмъ не этого нужно... Но я, право, не знаю, что нужно такимъ артистамъ, и, говоря это, я вовсе не имълъ намъренія говорить о старыхъ германскихъ мастерахъ, и высказалъ это такъ, къ слову, потому что мнъ всегда очень забавно слышать такіе приговоры въ сферъ пскусства; но Богъ съ ними, съ этими любителями!...

Но что же можно читать дътямъ? Изъ сочиненій, писанныхъ для всёхъ возрастовъ, давайте имъ «Басни» Крылова, въ которыхъ даже практическія, житейскія мысли облечены въ такіе плънительные поэтическія образы, и все такъ ръзко запечативно печатію русскаго ума и русскаго духа; давайте имъ «Юрія Милославскаго» г. Загоскина, въ которомъ столько душевной теплоты, столько патріотическаго чувства, который такъ простъ, такъ наивенъ, такъ чуждъ возмущающихъ душу картинъ, такъ доступенъ дътскому воображению и чувству; давайте «Овсяный Кисель», эту наивную, дышащую младенческою поэзіею піесу Гебеля, такъ превосходно переведенную Жуковскимъ; давайте имъ нѣкоторыя изъ народныхъ сказокъ Пушкина, какъ, напримъръ, «О Рыбакъ и Рыбкъ», которая, при высокой поэзіи, отличается, по причинѣ своей безконечной народности, доступностію для всёхъ возрастовъ и сословій, и заключаеть въ себѣ нравственную идею. Не давая дътямъ въ руки самой книги, можно читать имъ отрывки изъ нъкоторыхъ поэмъ Пушкина, какъ, напримъръ, въ «Кавказскомъ Илънникъ» изображение черкесскихъ нравовъ, въ «Русланъ и Людмилъ» эпизоды битвъ, о полъ покрытомъ мертвыми костями, о богатырской головъ; въ «Полтавъ» описаніе битвы, появленіе Петра Великаго; наконецъ, нъкоторыя изъ мелкихъ стихотвореній Пушкина, каковы: «Ивснь о Ввщемъ Олегв», «Женихъ», «Пиръ Петра Великаго», «Зимній Вечеръ», «Утопленникъ», «Бъсы»: нъкоторыя изъ пъсень западныхъ Славянъ, а для болъе взрослыхъ-«Клеветникамъ Россіи» и «Бородинскую Годовщину». Не заботьтесь о томъ, что дъти мало тутъ поймутъ, но именно и старайтесь, чтобы опи какъ можно менте понимали, но больше чувствовали. Пусть ухо ихъ пріучается къ гармоніп русскаго слова, сердца преисполняются чувствомъ изящнаго; пусть и поэзія дъйствуеть на нихъ, какъ и музыка-прямо черезъ сердце, мимо головы, для которой еще настанеть свое время, свой чередъ. Очень полезно, и даже необходимо зна-

комить дътей съ русскими народными иъсиями, читать имъ, съ немногими пропусками, стихотворныя сказки Кирши Данилова. Народность обыкновенно выпускается у насъ изъ плана воспитанія; часто не только юноши, но и дъти знаютъ наизусть отрывки изъ трагедій Корнеля и Расина, и уміноть пересказать десятокъ анекдотовъ о Генрихъ IV, о Лудовикъ XIV, а между тъмъ не имъють и понятія о сокровищахъ своей народной поэзін, о русской литературь, и развь отъ дядекъ и мамокъ узнаютъ, что былъ на Руси великій царь— Петръ I. Давайте дътямъ больше и больше созерцание общаго, человъческаго, міроваго; по пренмущественно старайтесь знакомить ихъ съ этимъ чрезъ родныя и національныя явленія: пусть они сперва узнають не только о Петръ Великомъ, но и о Іоаннъ III, чъмъ о Генрихахъ, Карлахъ и Наполеонахъ. Общее является только въ частномъ: кто не принадлежитъ своему отечеству, тотъ не принадлежитъ и человъчеству.

Книги, которыя иншутся собственно для дътей, должны входить въ планъ воспитанія, какъ одна изъ важивйшихъ его сторонъ. Наша литература особенио бѣдиа книгами для восиитанія, въ обширномъ значенін этого слова, т. е. какъ учебными, такъ и литературными дътскими кингами. Но это бъдность нашей литературы покуда еще не можеть быть для нея важнымъ упрекомъ. Посмотрите на богатыя литературы Французовъ, Англичанъ, и даже самихъ Нъмцевъ: у всъхъ у нихъ дътскихъ книгъ много, но читать дътямъ нечего, или по крайней мъръ очень мало. У французовъ, напр., писали для дътей Беркенъ, Бульи, г-жа Жанлисъ и прочіе, написали бездну, но дъти отъ этого нисколько не богаче кпигами для своего чтенія. ІІ это очень естественно: должно родиться, а не сдплаться, детскимъ инсателемъ. Это своего рода призваніе. Туть требуется не только таланть, но и своего рода геній... Да, много, много нужно условій для образованія д'єтскаго писателя: нужны душа благодатная, любищая, кроткая, спокойная младенчески - простодушная, умъ возвышенный, образованный, взглядь на предметы просвътленный, и не только живое воображеніе, но и живая, поэтическая фантазія, способная представить все въ одушевленныхъ, радужныхъ образахъ. Разумъется, что любовь къ дътямъ, глубокое знаніе потребностей, особенностей и оттънковъ дътскаго возраста есть одно изъваживйшихъ условій.

Целью детскихъ книжекъ должно быть не только занятіе дътей какимъ-нибудь дъломъ, не столько предохранение ихъ отъ дурныхъ привычекъ и дурнаго направленія, сколько развитіе данныхъ имъ отъ природы элементовъ человъческаго духа, - развитіе чувства любви и чувства безкопечнаго. Прямое и непосредственное дъйствіе такихъ книжекъ должно быть обращено на чувство дътей, а не на ихъ разсудокъ. Чувство предшествуеть знанію; кто не почувствоваль истины, тоть и не поияль и не узналь ея. Въ дътскомъ возрастъ чувство и разсудокъ въ ръшительной противоположности, въ ръшительной враждъ, и одно убиваетъ другое: преимущественное развитіе чувства даеть имъ полноту, гармонію и поэзію жизни; преимущественное развитіе разсудка губить въ ихъ сердцѣ пышный цвъть чувства и выращаеть въ нихъ пырей и бълепу резонёрства. Дътскій умъ, предаваясь отвлеченности, въживыхъ явленіяхъ природы и жизни видитъ одить мертвыя формы, лишенныя духа и сущности, и логическія опредёленія для него-скордуна гиплаго оръха, о которую только портятся зубы. Конечно, односторонность вредна и въ воспитаніи, и дітскій разсудокъ требуетъ развитія, какъ и чувство; но развитіе разсудка въ дътяхъ предоставляется другой сторонъ воснитація ученію, школъ. Садясь за грамматику, ребенокъ уже вступаетъ въ міръ отвлеченностей и логическихъ построецій и опредъленій. Всему свое мъсто, и ин одна сторона духа не должна мъщать другой: пусть въ классъ развивается разсудокъ ребенка и пріучается постепенно къ строгости логической дисциплины; пусть ребенокъ разсуждаетъ съ учебникомъ въ рукахъ, готовясь къ классу; но лишь затворится за нимъ дверь клас-

са, пусть онъ входить въ поэтическій міръ дъйствительныхъ, образныхъ явленій жизни, въ «полное славы творенье»! Книга пусть будеть у него книгою, а жизнь жизнью, и одно да не мъшаетъ другому! Увы, прійдетъ время—н скроется отъ него этотъ поэтическій образъ жизни, съ розовыми ланитами, съ сіяющими отъ веселья взорами, съ обольстительною улыбкой счастія на устахъ: подозрительный и недовърчивый разсудокъ разложить его на мускулы, кровь, нервы и кости, и, вмъсто прежняго илѣнительнаго о̀браза, покажеть ему отвратительный скелеть. Въ душъ раздадутся тревожные вопросы-и какъ, и отчего, и почему, и зачёмъ? Живыя явленія действительности превратятся въ отвлеченныя понятія... Поздравимъ его, если онъ съ честію выдержить эту впутреннюю борьбу: если изъ порожденныхъ разрывающею силою разсудка противоръчій снова войдетъ въ новое и высшее прежняго, разумно-сознательное созерцаніе полноты жизни. Пожалжемъ о немъ, если ему суждено будеть на въкъ остаться въ односторонней ограниченности разсудочнаго созерцанія жизни... Но пока онъ еще дитя, дадимъ ему внолиъ насладиться первобытнымъ раемъ непосредственной полноты бытія, этою полною жизпію чистой младенческой радости, источникъ которой есть простодушное ицѣломудренное единство съ природою и дѣйствительностію.

Итакъ, если вы хотите писать для дѣтей, не забывайте, что они не могутъ мыслить, но могутъ только разсуждать, или, лучше сказать, резонерствовать, а это очень худо! Если несносенъ взрослый человѣкъ, который все великое въ жизни мѣряетъ маленькимъ аршиномъ своего разсудка, и о религіи, искусствѣ и знаніи разсуждаетъ, какъ о посѣвѣхлѣба, паровыхъ машинахъ, или выгодной партіи, то еще отвратительнѣе ребенокъ-резонёръ, который «разсуждаетъ», потому что еще не можетъ «мыслить». Резонёрство изсушаетъ въ дѣтяхъ источники жизни, любви, благодати; оно дѣлаетъ ихъ молоденькими старичками, становитъ на ходули. Дѣтскія книжки часто развиваютъ въ нихъ эту несчастную способность резо-

нёрства, вмёсто того, чтобы противудействовать ея возникновенію и развитію. Чёмъ обыкновенно отличаются, напримъръ, повъсти для дътей?-дурно склееннымъ разсказомъ, пересыпаннымъ моральными сентепціями. Цёль такихъ повъстей-обманывать дътей, искажая въ ихъ глазахъ дъйствительность. Туть обыкновенно хлопочать изъ всёхъ силь, чтобы убить въ дётяхъ всякую живость, рёзвость и шаловливость, которыя составляють необходимое условіе юнаго возраста, вижето того, чтобы стараться дать имъ хорошее направленіе и сообщить характеръ доброты, откровенности и граціозности. Потомъ стараются пріучить дітей обдумывать и взвъшивать всякій свой поступокъ, словомъ, сдъдать ихъ благоразумными резонёрами, которые годятся только для классической комедін или трагедін; а не думають о томъ, что все дъло во внутрениемъ источникъ духа, что если онъ полонъ любовію и благодатію, то и вижшность будеть хороша, и что, наконець, ивть инчего отвратительные, какъ мальчишка-резоперъ, свысока разсуждающій о морали, заложивъ руки въ карманъ. А потомъ, что еще?---нотомъ стараются увърять дътей, что всякій проступокъ наказывается и всякое хорошее дъйствіе награждается. Истина святая-не споримъ; но объяснять дътямъ наказание и пагражденіе въ буквальномъ, визшнемъ, а слъдовательно и случайномъ смыслъ, значитъ обманывать ихъ. А по смыслу и разумѣнію (конечно крайнему) большей части дѣтскихъ книжекъ, награда за добро состоитъ въ долгольтін, богатствъ, выгодной женитьбъ... Прочтите хоть, напримъръ, повъсти Коцебу, написациыя имъ для собственныхъ его дътей. Но дъти только неопытны и простодушны, а отнюдь не глупып отъ всей души смёются надъ своими мудрыми наставниками. II это еще спасеніе для дітей, если они не позволять такъ грубо обманывать себя; по горе имъ, если они повърять: ихъ разувърить горькій опыть и набросить въ ихъ глазахъ темный покровъ на прекрасный Божій міръ. Каждый изъ нихъ

собственнымь опытомь узнаеть, что безстыдный лентяй часто получаетъ похвалу на счетъ прилежнаго; что наглый затьйникъ шалости непризнательностію отдълывается отъ наказанія, а чистосердечно признавшійся въ шалости нещадно наказывается; что честность и справедливость часто не только пе дають богатства, но повергають еще въ нищету. Да, къ несчастію, каждый изъ нихъ узнаетъ все это; по не каждый изъ нихъ узнаетъ, что наказаніе за худое дёло производится самымъ этимъ дёломъ и состоитъ въ отсутствіи изъ души благодатной любви, мира и гармоніи-единственныхъ источниковъ истиниаго счастія; что награда за доброе дъло опятьтаки происходить отъ самого этого дела, которое даетъ человъку сознаніе своего достоинства, сообщаеть его душъ спокойствіе, гармонію, чистую радость, и черезъ то ділаеть ее храмомъ Божінмъ, потому что Богъ тамъ, гдъ безмятежная, чистая радость, гдъ любовь. А обо всемъ этомъ должны бы дътимъ говорить дътскія книжки! Опъ должны внушать имъ, что счастіе не во вижшинхъ и призрачныхъ случайностяхъ, а въ глубинъ души, — что не блестящій, не богатый, не знатный человъкъ любимъ Богомъ, по «сокровенный сердца человъкъ въ нетлънномъ украшении кроткаго и спокойнаго духа, что драгоценно предъ Богомъ», какъ говорить св. апостолъ Нетръ. Опъ должны показать имъ, что міръ и жизнь прекрасны такъ, какъ они суть, по что независимость отъ пхъ случайностей состоить не въ ковръ-самолетъ, не въ волшебномъ прутикъ, мановение котораго воздвигаетъ дворцы, вызываеть легіоны храпительныхъ духовъ съ пламенными мечами, готовыхъ паказать злыхъ преследователей н обидчиковъ, но въ свободъ духа, который силою божествепной, христіанской любви торжествуеть надъ невзгодами жизни и бодро переносить ихъ, почерная силу въ этой любви. Онъ должны знакомить ихъ съ тапиствомъ страданія, показывая его, какъ другую сторону одной и той же любви, какъ блаженство своего рода, и не какъ непріятную случайность, но какъ необходимое состояние духа, не извъдавъ котораго, человъкъ не извъдаетъ и истинной любви, а, слъдовательно, и истипнаго блаженства. Онъ должны показать имъ, что въ добровольномъ и свободномъ страданіи, вытекающемъ изъ отреченія отъ своей личности и своего эгоизма, заключается твердая опора противъ несправедливости судьбы и высшая награда за нее. И все это дътскія книжки должны передавать своимъ маленькимъ читателямъ не въ истертыхъ сентенціяхъ, не въ холодныхъ нравоученіяхъ, не въ сухихъ разсказахъ, а въ повъствованіяхъ и картинахъ полныхъ жизни и движенія, проникнутыхъ одушевленіемъ, согратыхъ теплотою чувства, написанныхъ языкомъ легкимъ, свободнымъ, игривымъ, цвътущимъ въ самой простотъ своей,--и тогда онъ могутъ служить однимъ изъ самыхъ прочныхъ основаній и самыхъ дъйствительныхъ средствъ для восинтанія. Пишите, пишите для дітей, но только такъ, чтобы вашу книгу съ удовольствіемъ прочелъ и взрослый, и, прочтя, перенесси бы легкою мечтою въ свътлые годы своего младенчества. Главное діло — какъ можно меньше сентенцій, нравочченій и резоперства: ихъ не любить и взрослые, а дъти просто пенавидятъ, какъ и все, наводящее скуку, все сухое и мертвое. Они хотять видьть въ васъ друга, который забывался бы съ ними до того, что самъ становился бы младенцемъ, а не угрюмаго наставника; требуютъ отъ васъ наслажденія, а не скуки, разсказовъ, а не поученій. Дитя веселое, доброе, живое, ръзвое, жадное до внечатлъній, страстное къ разсказамъ, не столько чувствительное, сколько чувствующее-такое дитя есть дитя Божіе: въ немъ играеть юная, благодатная жизнь, и надъ нимъ почістъ благословеніе Божіе: Пусть дитя шалить и проказить; лишь бы его шалости и проказы не были вредны и не носили на себъ отпечатка физическаго и правственнаго цинизма; нусть опо будеть безрасудно, опрометчиво-лишь бы оно не было глупо и туно; мертвенность же и безжизненность хуже всего. Но резонеръ, ребенокъ, который всегда остороженъ, никогда не сдълаетъ шалости, ко всъмъ ласковъ, въжливъ, предупредителенъ,—и все это по разсчоту... горе вамъ, если вы сдълали его такимъ!... Вы убили въ немъ чувство и развили разсудокъ: вы заглушили въ немъ благодатное съмп безсознательной любви и возростили—резонерство... Бъдныя дъти, сохрани васъ Богъ отъ осны, кори и сочиненій Беркена, Жанлисъ и Бульи.

Основу, сущность, элементь высшей жизни въ человътъ составляеть его внутрениее чувство безконечнаго, которое, какъ чувство, лежитъ въ его организаціи. Чувство безкопечнаго есть искра Божія, зерно любви и благодати, живой проводникъ между человъкомъ и Богомъ. Степени этого чувства различны въ людихъ, по глаголу Спасителя: «И далъ одному иять талантовъ, другому два, третьему одинъ, каждому по его силъ»; но мърою клубины этого чувства измърлется достоинство человека и близость его къ источнику жизни-къ Богу. Все человъческое знаніе должно быть выговариваніемъ, переведеніемъ въ понятія, опредъленіемъ, короче — сознаніемъ тапиственныхъ проявленій этого чувства, безъ котораго, по этому, вст наши понятія и опредтленія суть слова безъ смысла, форма безъ содержанія, сухая, безплодная и мертвая отвлеченность. Безъ чувства безконечнаго, въ человъкъ не можетъ быть и внутренняго, духовнаго созерцанія истины, потому что непосредственное созерцаніе истины, какъ на фундаментъ, основывается на чувствъ безконечнаго. Это чувство есть дэръ природы, результать счастливой организаціи, и потому оно свойственно и дѣтямъ, въ которыхъ лежитъ какъ зародышь, -- и развитія этого-то зародыша требуемь мы отъ воснитанія и дітской литературы.

Мы сказали, что живая поэтическая фантазія есть необходимое условіе въ числѣ другихъ необходимыхъ условій, для образованія писателя для дѣтей: чрезъ нее и посред-

ствомъ ел долженъ онъ дъйствовать на дътей. Въ дътствъ, фантазія есть преобладающая способность и сила души, главный ел дъятель и первый посредникъ между духомъ ребенка и вив его находящимся міромъ дъйствительности. Дитя не требуеть діалектическихь выводовь и доказательствь, логической послёдовательности: ему нужны образы, краски и звуки. Дитя не любить отвлеченныхъ идей: ему нужны исторійки, повъсти, сказки, разсказы, —и посмотрите, какъ сильно у дътей стремление ко всему фантастическому, какъ жадно слушають они разсказы о мертвецахь, привиденіяхь, волшебствахъ. Что это доказываетъ?-потребность безконечнаго, предощущение тапиства жизни, начало чувства поэзін, которыя находять для себя удовлетвореніе пока еще только въ одномъ чрезвычайномъ, отличающемся неопредъленностію иден и яркостію красокъ. Чтобы говорить образами, надо быть если не поэтомъ, то по крайней мъръ, разкащикомъ и обладать фантазіею живою, ръзвою и радужною. Чтобы говорить образами съ дътьми, надо знать дътей, надо самому быть варослымъ ребенкомъ, не въ полномъ значеніи этого слова, но родиться съ характеромъ младенчески-простодушнымъ. Есть люди, которые любять детское общество и уменоть занять его и разсказомъ, и разговоромъ, и даже игрою, принявь въ ней участіе; дёти, съ своей стороны, встрёчають этихъ людей съ шумною радостію, слушаютъ ихъ со вниманіемъ, и смотрять на нихъ съ откровенною довърчивостію, какъ на своихъ друзей. Про всякаго изъ такихъ у насъ, на Руси, говорять: «это дътскій праздникь». Воть такихъ-то «дётскихъ праздниковъ» нужно и для дётской литературы. Да, -- много очень много условій! Такіе писатели, подобно поэтамъ, родятся а не дълаются...

Но резонерамъ крайне не правятся подобныя требованія. Въ самомъ дѣлѣ, кому пріятно выслушивать свой смертный приговоръ, свое исключеніе нзъ списка живущихъ? Вѣроятно, по этой же причинѣ, плохіе стихотворцы терпѣть не

могутъ разсужденій о высшихъ требованіяхъ искусства: въ нихъ они видятъ свое уничтожение. Отнимите у резонера право пересыпать изъ пустаго въ порожнее моральными сентенціями, — что же ему остается дёлать на бёломъ свёть? Въдь жизни, любви, одушевленія, таланта не поднимешь съ улицы, не купишь и за деньги, если природа отказала въ нихъ. А резонерствовать какъ легко: стоптъ только запастись бумагою, перомъ и чернилами, да присъсть-а оно ужъ польется само! Какой поклонникъ Бахуса не въ состоянін ораторствовать о пагубномъ вліянін крѣнкихъ напитковъ на тъло и душу, и о пользъ трезвости и воздержиости? Какой развратникъ не наговоритъ короба три громкихъ фразъ о правственности? Какой бездушный и холодный человъкъ пе въ состояніи вкось и въ кривь разсуждать о любви, благочестін, благотворительности, самоножертвованін и о прочихъ священныхъ чувствахъ, которыхъ у него иътъ въ душъ? Жизнь, теплота, увлекательность и поэзія-суть свидътельства того, что человъкъ говоритъ отъ души, отъ убъжденія, любви и въры, и онъ-то электрически сообщаются другой душъ. Мертвенность, холодность и скука показывають, что человъкъ говоритъ о томъ, что у него въ головъ, а не въ сердцѣ, что не составляетъ лучшей части его жизни и чуждо его убъжденію. Но повторяемъ — для нъкоторыхъ людей разсуждать легче, чёмь чувствовать, и прёсная вода резонерства, которой у нихъ вдоволь, для нихъ лучше и вкусиње шипучаго нектара поэзін, котораго - - бъдняки!--они и не пробовали никогда. И вотъ одинъ хочетъ увърить дътей, что вставать рано очень полезно, ибо-де одинъ мальчикъ, имъвшій привычку вставать съ солнцемъ, нашелъ на полъ кошелекъ съ деньгами; а другой хочетъ увърить дътей, что надо вставать поздно, ибо-де одна дівочка, вставши рано, пошла гулять въ садъ, простудилась да и умерла. Одинъ говоритъ дътямъ-будьте поспъшны, другой-не торопитесь, третій-будьте откровенны, ничего не скрывайте,

четвертый-не все говорите, что знаете. Кому върить, кому слъдовать?... Забавите же всего, что вст эти глубокія мысли подтверждаются случайными примърами, ровно инчего недоказывающими. Иътъ, моральныя септенцін не только отвратительны и безплодны сами по себъ, но и портять даже прекрасныя и полныя жизни сочиненія для дітей, если вкрадываются въ нихъ! Вы разсказываете дётямъ сказку или повъсть: спрячьтесь за нее, чтобъ васъ было невидно, пусть все въ ней говорить само за себя, непосредственнымъ внечатлъніемъ. У васъ есть нравственная мысль-прекрасно; не выговаривайте же ея дътямъ, но дайте ее почувствовать, не дълайте изъ нея вывода въ концъ вашего разсказа, но дайте имъ самимъ вывести: если разсказъ имъ понравился, или они читають его съ жадностио и наслаждениемъ-вы сдълали свое дёло. Здёсь мы повторимъ мысль, уже высказанную въ нашемъ журналъ и возбудившую негодование и ужасъ резонеровъ: «Не нужно инкакихъ нагихъ мыслей, и какъ язвы берегитесь правственныхъ сентенцій. Пусть основная мысль вашего разсказа д'ятельно движется, не давайте ей для ней же самой, пробиваться наружу и выводить дътскую душу изъ полноты жизни, изъ борьбы и столкновенія частностей, на отвлеченную высоту, гдё воздухъ рёдокъ и удущливъ для слабой груди еще несозрѣвшаго человѣка; нусть мысль кроется во внутренией, недоступной лабораторіи, и тамъ переработываетъ свое содержание въ жизненные соки, которые неслышно и незамътно разольются по вашему разсказу». Не говорите дътямъ о томъ, чего они еще не въ состояни понять своимъ умомъ; дайте имъ простое катехизическое понятіе о Богъ, по ученію православной церкви, по не пускайтесь съ ними въ діалектическія топкости философскихъ опредъленій, а старайтесь больше заставить дітей полюбить Бога, который является имъ и въ ясной лазури неба, и въ ослъпительномъ блескъ солица, и въ торжественномъ великольнін возстающаго дня, и въ задумчивомъ ведичін насту-

пающей ночи, и въ ревъ бури, и въ раскатахъ грома, и въ цвътахъ радуги, и въ зелени лъсовъ, и въ журчании ручья, и въ шумъ моря, и во всемъ, что есть въ природъ живаго, такъ безмолвно и вмъстъ такъ красноръчнво говорящаго душъ юной и свъжей, —и, наконецъ, во всякомъ благородномъ порывъ, во всякомъ движении ихъ младенческаго сердца. Не разсуждайте съ дътьми о томъ только, какое наказание полагаетъ Богъ за такой-то гръхъ; но учите ихъ смотръть на Бога, какъ на отца, безконечно любящаго своихъ дътей, которыхъ онъ создаль для блаженства и которыхъ блаженство онъ искупилъ мученіемъ и смертію на крестъ. Внушайте дътямъ страхъ Божій, какъ начало премудрости, но дълайте такъ, чтобы этотъ страхъ вытекалъ изъ любви же, и чтобы не рабскій ужась наказанія, а сыновняя боязпь оскорбить отца благаго и любящаго, а не грознаго и метящаго, производила этотъ страхъ, и чтобы не лишение земныхъ благъ, а отвращеніе отъ виновныхъ лица отчаго почиталн они наказаніемъ. Обращайте ваше вниманіе не столько на истребленіе недостатковъ и пороковъ въдътяхъ, сколько на панолнение ихъ животворящею любовію: будеть любовь-не будетъ нороковъ. Истребленіе дурнаго безъ наполненія хорошимъ-безилодио; это произвддитъ пустоту, а пустота безпрестанно наполняется-пустотою же: выгоните одну, явится другая. Любви, безконечной любви! — все остальное ничтожно! «Богъ есть любовь, и пребывающій въ любви пребываеть въ Богъ, и Богъ въ немъ». Равнымъ образомъ, не искажайте дъйствительности ни клеветами на нее, ни украшениями отъ себя, по показывайте ее такою, какова она есть въ самомъ дълъ, во всемъ ея очаровании и во всей ея неумолимой суровости, чтобы сердце дътей, научалсь ее любить, привыкало бы, въ борьбъ съ ея случайностями, находить опору въ самомъ себъ. Въ одной истинъ и жизнь и благо: истина не требуетъ помощи у лжи. И потому: конець вашей новъсти можеть быть и иссчастный, въ которомъ добродътель страждетъ а порокъ

торжествуеть; но вы вполнъ достигните вашей правственной цъли, если юныя сердца вашихъ маленькихъ читателей станутъ за страждущихъ и не позавидують торжествующимъ, если, на вопросъ — на чьемъ бы хотъли они быть мъстъ? — они не колеблясь отвътять, что на мъстъ страждущихъ, но добрыхъ. Не упускайте изъ вида ин одной стороны воспитанія: говорите дътямъ и объ опрятности, о вижиней чистотъ, о благородствъ и достоинствъ манеръ и обращения съ людьми; но выводите необходимость всего этого изъ общаго и изъ высшаго источника — пе изъ условныхъ требованій общественнаго званія, или сословія, но изъ высокости человъческаго званія, не изъ условныхъ понятій о приличін, но изъ въчныхъ попятій о достоинствъ человъческомъ. Внушайте имъ, что вившияя чистота и изящество должны быть выраженіемъ внутренней чистоты и красоты, что наше тъло должно быть достойнымъ сосудомъ духа Божія.... Уваженіе къ имени человъческому, безконечная любовь къ человъку за то только, что онъ человъкъ, безъ всякихъ отношеній къ своей личности и къ его національности, въръ или званію, даже личному его достоинству или педостоинству, словомъ, безконечная любовь и безконечное уважение къ человъчеству даже въ лицъ послъднъйшаго изъ его членовъ (die Menschlichkeit) должны быть стихіею, воздухомъ, жизнью человъка, а высокое выражение поэта-

При мысли великой, что я человькъ, Всегда возвышаюсь душою—

девизомъ всей его жизни...

Но повъсти и разсказы не суть еще единственная и исключительная форма бесъдъ съ дътьми. Вы можете еще и обогащать ихъ познаніями, расширять кругъ ихъ созерцанія дъйствительности, знакомя ихъ съ безконечнымъ разнообразіемъ явленій прекраснаго Божіяго міра. Но и здъсь одна цъль—знакомство не съ фактами, а съ тъмъ, такъ-сказать букетомъ жизни и духа, который скрывается въ нихъ и составляетъ ихъ

сущность и значеніе. Да, вамъ предстоитъ обширное и богатое поле: не говорю уже объ источникъ собственной вашей фантазін, — религія, исторія, географія, естествознаніе умъйте только пожинать! Для дътей предметы тъ же, что и для взрослыхъ; только ихъ дожно излагать сообразно съ дътскимъ понятіемъ, а въ этомъ-то и заключается одна изъ важнъйшихъ сторонъ этого дъла! Какіе богатые матеріалы представляеть одна исторія! Ноказать душть юной, чистой и свъжей примфры высокихъ дъйствій представителей человфчества, дъйствительность добра и призрачность зла-не значить ли возвысить ее?... Провести дътей по всъмъ тремъ царствамъ природы, пройдти съ ними по всему земному шару, съ его многолюднымъ населеніемъ и обширными пустынями, съ его сушью и океанами, показать имъ Божій міръ въ картинъ человъческихъ илеменъ и обществъ, съ ихъ правами и обычаями, съ ихъ понятіями и върованіями — не значить ли это показать имъ Творца въ его творенін, заставить ихъ возлюбить Его и возблаженствовать этою любовію?... Но для этого надо одушевить для нихъ весь міръ и всю природу, заставить говорить языкомъ любви и жизни и нёмой камень, и полевую былинку, и журчащій ручей, и тихо в'єющій в'єтеръ, и порхающую по цвътамъ бабочку... Надо дать дътямъ почувствовать, что все это безконечное разнообразіе имжеть единую душу, живетъ одною жизнію, и что жизнь природы является не только подъ тропиками, но и у полюсовъ, не только на землъ, по и въ пъдрахъ ея... Вотъ напримъръ, это писано для взрослыхъ, но мы увърены, что музыка этого языка будетъ доступна и для дётей: «Тамъ снёжная, мертвая пустыня полюсовъ... Безотрадна тамъ жизнь. Но эти пустыни имъютъ свои музыкальныя выюги, гуляющія съ серебристою пылью по звонкимъ, чистымъ, необозримымъ льдамъ. Тамъ массивная лава металловъ борется съ могучимъ иламенемъ внутри земли... Она можетъ пугать, но и самый пспугъ этотъ великъ для души. Лава реветъ, клокочетъ съ шумомъ

неподражаемой глубокой октавы, и съ изумительнымъ грохотомъ и великолъпіемъ извергается изъ бездиъ своего тайпаго жилища. Вотъ глубь океана. Чувствуете ли, что океанъ можно только любить? что душт хоттьлось бы его измърить, постигнуть и заглянуть въ пропасть морей? душъ весело, унонтельно, что эта глубь воды не лежить въ мертвой тишинъ, что въ цей родина цълой половины существъ одушевленныхъ, быстрыхъ, могучихъ; имъ леговъ нуть сквозь илотно сліянную массу волиъ; эти волны текутъ, то уходя на безвъстное дно, то съ плескомъ, слышимымъ нами, лобзая гранить береговъ и снова упосясь въ неизмъримый свой путь шумпо и торжественно... Воть могущественный, въчно свободный вътеръ: наблюдайте этотъ вътеръ, возметающій прахъ земли! онъ изумляетъ своими музыкальными вихрями, бурею и быстротою самую скорую мысль; волнуеть вершины лъсовъ, поднимаетъ горы средь океана, несетъ на своемъ хребтъ дикія облака, улетаеть изъ-нодъ громовъ съ воемъ и свистомъ и-исчезаетъ».

Самымъ лучшимъ писателемъ для дътей, высшимъ идеаломъ писателя для нихъ можеть быть только поэтъ. И такимъ явился одинъ изъ величайшихъ германскихъ поэтовъ-Гофманъ, въ своихъ двухъ сказкахъ: «Неизвъстное Дитя» и «Щелкунъ Оръховъ и Царекъ Мышей», хотя и написанныхъ не для дътей собственно и годныхъ для людей всъхъ возрастовъ. Нисколько не удивительно, что странный, причудливый и фантастическій геній Гофмана ниспустился до сферы дътской жизни: въ немъ самомъ такъ много дътскаго, младенческаго, простодушнаго, и никто не былъ, столько какъ онъ, способенъ говорить съ дѣтьми языкомъ поэтическимъ и доступпымъ для пихъ! Сверхъ того, Гофманъ есть по прениуществу воспитатель людей, поэтъ юношествапочему-жь бы ему не быть и поэтомъ дътства? Да, съ тъхъ поръ, какъ дъти пачинаютъ переставать быть дътьми и становятся юношами, Гофманъ долженъ быть ихъ поэтомъ по

преимуществу. Гофманъ поэтъ фантастическій, живописецъ невидимаго внутренияго міра, ясновидецъ таинственныхъ силъ природы и духа. Фантастическое есть предчувствіе таниства жизни, противоположный полюсь пошлой разсудочной ясности и определенности, которая въ жизни видитъ математику, индюстріальность, или сытный об'ёдъ съ трюфелями и шампанскимъ. Фантастическое есть одинъ изъ необходимъйшихъ элементовъ богатой натуры, для которой счастіе только во внутренией жизни; слъдовательно, его развитие необходимо для юной души,—и вотъ почему называемъ мы Гофмана воспитателемъ юношества. Но онъ вмъстъ съ тъмъ бываетъ и губителемъ его, одностороние увлекая его въ сферу призраковъ и мечтаній и отрывая отъ живой и полной дійетвительности. Чтобы дать юной душъ равновъсіе, Гофману не должно противоноставлять пошлую повседневность ея дюжинныхъ представителей; но молодымъ дямъ должно читать всё безъ исключенія романы Вальтеръ-Скотта и Кунера, которые, по свътлому и върному взгляду на жизнь, по геніальной глубокости, а вмѣстѣ съ тъмъ, спокойствію и елейности духа, заслуживаютъ названіе представителей разумной дъйствительности, поэтически воспроизведенной въ великихъ художественныххъ созданіяхъ, и непремънно должны быть воспитателями юпошества, хотя равно существують и для возмужалости и для старости.

Мы не будемъ ничего говорить о художественномъ достоинствъ двухъ дътскихъ сказокъ Гофмана, пбо этотъ вопросъ нисколько не относится къ предмету нашей статьи; но взглянемъ на нихъ только какъ на высокіе образцы повъстей для дътскаго чтенія.

Жилъ былъ ковда-то г. Тадеусъ Брокель, съ женою и двумя дѣтьми, въ маленькой деревушкѣ, доставшейся ему отъ отца. Повседневною одеждою онъ не отличался отъ своихъ крестьянъ (ровнымъ счетомъ четыре души), но по праздникамъ надѣвалъ красивый, зеленый кафтанъ и красный жи-

леть, обложенный золотыми галунами—что, говорить Гофмань, очень къ нему шло. Домишко его крестьяне называли, изъ въжливости, замкомъ. Но послушаемъ немного самого Гофмана, чтобы не опрозить его поэтическаго языка.

Всякій конечно знаеть, что замокъ есть большое зданіе, со многими окнами и дверьми, часто даже съ башнями и блестящими олюгерами. Но ничего похожато не было видно на холмъ, гдъ стояли березы. Тамъ былъ только одинъ низенькій домикъ, со многими окошками, такими маленькими, что ихъ нельзи было разсмотрать иначе, какъ подойдя близко къ нимъ. Но если мы остановимся передъ высокими ствнами большаго замка, то холодный вътеръ, вырывающійся оттуда, охватываетъ насъ; мрачные взоры чудныхъ фигуръ, прислоненныхъ къ стънамъ, какъ бы для охраненія входа, поражають насъ; мы теряемъ охоту войдти туда, и предпочитаемъ воротиться. Совершенно противное тому чувствуешь при входа въ маленьній домикъ г. Тадеуса Брокели. Еще въ рощъ, стройныя березы простирали свои зеленыя вътви, какъ будто желая обнять васъ, и привътствовали своимъ веселымъ шелестомъ, предъ домомъ же, вамъ казалось, что пріятные голоса приглашали васъ изъ свѣтлыхъ какъ зеркало окошекъ; а изъ темной, густой зелени винограда, который покрывалъ стъны до самой крыши, елышно было: "Войди, войди, милый усталый путешественникъ: все здъсь хорошо и гостепріимно!" То же самое подтверждали своими веселымъ щебетаніемъ ласточки, то влетая въ свои гивзда, то вылетая изъ нихъ, -а старый и важный аистъ, смотря на васъ съ серьёзнымъ и умнымъ видомъ съ вершины трубы, кажется, говорилъ: "Давно и живу здъсь лътомъ, но лучшаго мъста не находилъ нигдъ, и еслибы я могъ преодолъть враждебную страсть свою къ путешествіямъ, и еслибы зимою не было здась такъ холодно-а дрова такъ дороги, то я не тронулся бы съ этого мъста!" "Такъ хорошо и такъ пріятно было жилище г. Брокеля: хоти оно и не было замокъ".

Какая чудесная, роскошная картина! какъ все въ ней просто, наивно и, виъстъ, безконечно! Каждое слово такъ многозначительно, такъ полно жизни: изъ широкихъ воротъ большаго замка такъ и въетъ на васъ холодомъ и мракомъ, а маленькій домикъ, съ его березами и виноградникомъ, такъ и манцтъ васъ къ себъ! Этотъ языкъ для дътей еще доступиъе, чъмъ для взрослыхъ: дайте имъ прочесть,—и клики

ихъ радости покажутъ вамъ, что они поняли, все, что нужно понять...

Однажды утромъ въ домъ г. Брокеля была большая суматоха: г-жа Брокель некла пирогъ, г. Брокель чистилъ свое праздинчное платье, а дёти падёвали свои лучшія платьица. Однако дътямъ было какъ-то неловко въ своихъ нарядныхъ платьяхъ, они смотръли въ окно съ какимъ-то тоскливымъ стремленіемъ. Но когда Султанъ, большая дворовая собака, съ крикомъ и лаемъ начала прыгать передъ окошкомъ, бъгать по дорогъ и назадъ, какъ бы желая сказать Феликсу: «Зачъмъ не идешь ты въ лѣсъ? Что ты тамъ дѣлаешь въ душной комнатъ?»—то Феликсъ не выдержалъ и началъ проситься въ льсъ. Но г-жа Брокель ръшительно запретила это дътямъ, говоря, что они измарають и издеруть себъ платье, а дядюшка, котораго они съ часа на часъ ждали, назоветъ ихъ... крестьянскими ребятишками. Феликса это взорвало, и онъ сказалъ матери: «Если нашъ любезный дядюшка пазываетъ крестьянскихъ дътей гадкими, то онъ върно пе видалъ ни Петра Фольрада, ин Анны-Лизы Гепштель, ин другихъ дътей нашей деревни; и не знаю, могутъ ли быть дъти лучше ихъ». «Конечно, вскричала Кристлиба какъ бы проснувшись: «а Маргарита, дочь деревенскаго судьи, развъ не хороша, хоть у нея и нътъ такихъ чудесныхъ красныхъ бантовъ, какъ у меня?»—Наконецъ «дядюшка» прітхалъ въ великолтиной раззолоченной каретъ. Онъ былъ высокій и сухой человъкъ, жена его толстая и низенькая женщина, и съ ними двое дътей. Феликсъ и Кристлиба подошли къ дидюшкъ и тетушкъ съ заученнымъ привътствіемъ, но передъ дътьми остановились въ недоумънін. Мальчикъ былъ чудесно одътъ, на боку у него висъла сабля, но лице его было желто, и заспанные глаза какъ-то робко смотрѣли вокругъ. Дѣвочка также была прекрасно одъта; на верху ея искусно-заплетенныхъ волосъ блестъла маленькая коропа. Кристипба хотъла взять ее за руку, но та отдернула ее съ кислою миною. Феликсъ хотълъ

взять было за саблю своего кузена, чтобы разсмотръть ее, но тотъ началъ кричать: «моя сабля, моя сабля» и спрятался за отца. «Миъ не пужно твоей сабли, маленькій глунецъ»! съ досадой сказалъ Феликсъ. Отецъ его смутился отъ этихъ словъ, и то разстегивалъ, то застегивалъ свой кафтанъ. Наконецъ пошли въ комнату: дядюшка подъ руку съ тетушкою, а Германъ и Адельгейда держались за ихъ платья.

«Теперь почнутъ пирогъ», шепталъ Феликсъ на ухо сестръ. «Ахъ, да, да!» отвъчала та весело. «А потомъ мы побъжимъ въ лъсъ», продолжалъ Феликсъ. «Какое намъ дъло до этихъ чучелокъ!» прибавила Кристлиба.

И воть повъсть уже завязалась; характеры очерчены предъ вами. Всъ дъйствують, а никто не говорить. Феликсу и Кристлибъ не поправились ихъ разодътые родственники: на свъжія и чистыя души пахиуло гнилостію и принужденіемь. Они весело ъли пирогъ, котораго нельзя было есть маленькимъ гостямъ,—имъ дали сухарей.

Сухой господинъ, двоюродный братъ г. Тадеуса Брокеля, быль графъ и носиль не только на каждомъ своемъ платъв, даже на пудромантель, большую серебряную звъзду. За годъ передъ симъ опъ забзжалъ къ г. Брокелю одинъ, безъ жены и дътей. «Послушай, любезный дядюшка, ты върно сдълался королемъ?» сказалъ Феликсъ, который, въ своей кинжит съ картинками, видълъ короля съ такою же звъздою. Дядя очень смініся нады этимы вопросомы, и отвічалы: «Ніть, мой милый, я не король; по самый върный слуга короля, и его министръ, который управляетъ многими людьми. Еслибы ты быль изъ рода графовъ Брокелей, тоже со временемъ могъ бы имъть такую звъзду; но ты только простой дворянинъ, который никогда не будеть знатнымъ человъкомъ». Феликсъ ничего не поиялъ, что говорилъ дядя, а Тадеусъ Брокель и не почиталъ этого важнымъ. Не правда ли, что въ этихъ немногихъ строкахъ очень много сказано: дядя-гофратъ, — и необра-

зованный, по человъчный, если можно такъ выразиться, Тадеусъ Брокель-оба передъ вами, какъ на ладони. Знатные супруги въ запуски кричатъ: «о милая природа! о сельская певинность!» и дають дётямъ по свертку конфектъ, которые Феликсъ начинаетъ грызть. Дядюшка толкуетъ ему, что ихъ падо держать во рту, пока не растаять, а не грызть; но Феликсъ со ситхомъ отвъчаетъ ему, что онъ не ребенокъ и что у него не слабые зубы. Отецъ и мать конфузятся, последняя даже сказала Феликсу на ухо: «не скрини такъ зубами, негодный мальчишка!» Тогда Феликсъ выпулъ изо рта конфетку, положилъ въ бумагу и отдалъ дядъ назадъ, говоря, что они ему не пужны, если онъ не можетъ ихъ ъсть. Сестра его сдълана то же. Брокели извиниются бъдностию въ невъжествъ дътей. Сіятельные съ улыбкою самодовольствія говорять объ «отличиъниемъ» воспитани своихъ дътен, —и графъ пачинаетъ предлагать имъ разные вопросы, на которые они отвъчаютъ скоро и бойко. Онъ сирашиваетъ ихъ о многихъ городахъ, ръкахъ и горахъ, которые находились за иъсколько тысячь миль, объ иностранныхъ растеніяхъ, о сраженіяхъ и пр. Адельгунда говорила даже о звъздахъ, и утверждала, что на небѣ находятся различныя странныя животныя и другія фигуры. Феликсу стало страшно отъ всёхъ этихъ разсужденій, и онъ почель ихъ чепухою. Чтобы утъшить бѣдныхъ родителей, графъ обѣщалъ прислать ученаго человѣка, который даромъ будетъ учить ихъ дѣтей. «Любители вы пгрушки, moncher?» спросилъ Германъ у Феликса, довко кланиясь: «я привезъ вамъ самыхъ лучшихъ». Феликсу было отъ чего-то грустно, и держа машинально ящикъ съ игрушками, онъ бормоталъ, что его зовутъ Феликсомъ, а не mon cher, и что ему говорять ты, а не вы. Кристлиба также скоръе готова была плакать, чъмъ смъяться, принимая отъ Адельгунды ящикъ съ конфектами. У дверей прыгалъ и лаялъ Султанъ; Германъ его такъ испугался, что началь кричать и плакать, и Феликсъ сказаль ему: «Зачъмъ

такъ кричишь и плачешь? это просто собака, а ты видалъ самыхъ страшныхъ звърей! Да если бы онъ и бросился на тебя, у тебя есть сабля».—Наконецъ гости убхали. Г. Брокель тотчасъ скинулъ свое праздничное платье и вскричалъ: «ну, слава Богу, увхали!» Двти тоже переодвлись и стали веселы; Феликсъ закричалъ: «въ лъсъ! въ лъсъ!» Мать спроспла ихъ, развъ они не хотятъ сперва посмотръть игрушки, и Кристлиба сдавалась было на голосъ женскаго любопытства, но Феликсъ не хотълъ и слышать, говоря: «Что могъ привезти намъ хорошаго этотъ глуный мальчикъ съ своею сестрою въ лентахъ? Что же касается до наукъ, онъ объ шихъ корошо болтаетъ; онъ толкуетъ о львахъ и медвъдяхъ, знаетъ какъ ловятъ слоновъ, а самъ боится моего Султана! У него висить съ бока сабля, а онъ плачетъ, кричить и прячется подъ столь? Славный же изъ него будеть егерь?» Однако Феликсъ сдался на желаніе сестры пересмотръть игрушки. Едва упросила его Кристлиба, чтобы онъ не выкидывалъ за окно конфектъ, но опъ бросилъ иъсколько изъ нихъ Султану, который, попюхавши, отошелъ съ отвращениемъ: «Видишь ли, Кристлиба», вскричалъ Феликсъ торжествуя: «даже Султанъ не хочетъ ъсть эту дрянь!» Болъе всего поправился ему охотникъ, который прицълпвался ружьемъ, когда его дергали за маленькій шнурокъ, спрятанный подъ платьемъ, и стрълялъ въ цъль, придъланную въ пъсколькихъ вершкахъ отъ него; потомъ ружье и охотничій ножъ, сдъланные изъ дерева и высеребренные, и гусарскій киперъ съ шашкою. Забравъ игрушки, дъти пошли гулять въ лъсъ. Вдругъ Кристлиба замътила Феликсу, что его арфистъ пграстъ вовсе не хорошо, и что птицы, выглядывая изъ-за кустовъ, кажется, смъются надъ дряннымъ музыкантомъ, который хочетъ подражать ихъ пѣнію. Феликсъ отвъчалъ, что это правда, и что ему стыдно передъ рябчикомъ, который такъ илутовски на него смотритъ. Чтобы заставить его пъть лучше, онъ такъ дернулъ пружину, что

вся игрушка разломалась, и Феликсъ забросилъ музыканта, говоря: «этотъ дуракъ скверно игралъ и дёлалъ такія гримасы, какъ мой двоюродный брать Германъ». Потомъ онъ хотъль заставить своего егеря стрълять не въ одно и то же мъсто, а куда онъ назначитъ ему, — и егеря постигла та же участь, что и арфиста. «Ara!» вскричаль Феликсь: «въ комнатъ ты хорошо попадаешь въ цъль; а въ лъсу, настоящемъ мѣстѣ для егеря, это тебѣ не удается. Ты вѣрно тоже боишься собакъ, и еслибъ на тебя напала какая-нибудь, то ты убъжаль бы съ своимъ ружьемъ, какъ маленькій двоюродный брать съ своею саблею! Ахъ ты, дрянной егерь, негодный егерь!»... Видите ли, для Феликса все мертвое, бездушное и пошлое похоже на двоюроднаго брата, юная душа безъ разсужденій, однимъ непосредственнымъ чувствомъ, поняла фальшивую позолоту, блестящую мишуру ложнаго образованія прикрывавшаго собою чинность и отсутствіе жизни. Какъ мальчикъ, онъ инчего такъ не можетъ простить, какъ трусости. Вотъ дъти подбъжали, но-о ужасъ! Кристлиба увидъла, что платье ея прекрасной куклы было изорвано хворостомъ, а хорошенькаго восковаго личика какъ не бывало. Она заплакала, но Феликсъ сказаль ей въ утъшеніе: «Теперь ты видишь, какія дрянныя вещи привезли намъ эти дъти. Какая глупая кукла! она не можетъ даже съ нами бъгать, не изорвавши и не изломавши всего! Подай-ко ее сюда!--и кукла полетъла въ прудъ. Туда же слъдомъ отправилось и ружье, потому что изъ него нельзя стрёлять, и охотничій пожъ, за то, что онъ не колетъ и не ръжетъ. У Феликса своя философія, внушенная ему природою: все поддъльное, фальшивое, искусственное не правилось ему, живая природа, лъсъ и поле, съ своими птичками, букашками и бабочками, громче говорили его сердцу, и онъ лучше понималь ихъ. Но Кристлиба-дъвочка, и ей жаль было своей прекрасной куклы, хотя и ея сердцу природа говорила такъ же громко. Гофманъ удивительно върно схватилъ въ дътяхъ

мужской и женскій характерь: Феликсь не задумывается долго надъ ръшеніемь; разрушительный геній, онъ ломаеть что ему не правится; но Кристлиба положила бы въ сторону, или спрятала бы свою куклу, еслибъ она ей надоъла, даже подарила бы другой дъвочкъ, по ломать не стала бы.

Когда дѣти возвратились домой печальныя, и Феликсъ откровенно разсказалъ матери о своемъ распоряжении съ игрушками, — мать начала его бранить, но отецъ, съ примѣтнымъ удовольствиемъ слушавший разсказъ Феликса, сказалъ: «Пустъ дѣти дѣлаютъ, что хотятъ; я таки очень радъ, что они избавись отъ этихъ игрушекъ, которыя только затрудияли ихъ». Ни г-жа Брокель, ни дѣти не поияли, что г. Брокель хотълъ этимъ сказатъ. Мы, такъ думаемъ, что г. Брокель и самъ хорошо не зналъ, что онъ хотѣлъ этимъ сказать, но что его добрая, любящая натура очень хорошо дѣйствовала за его неразвитый умъ. Пока сіятельные родственники были съ нимъ, онъ и конфузился и робѣлъ, но лишь они уѣхали, ему стало и легко и хорошо, словно опъ избавился отъ давленія кошемара.

На другой день дъти ранехонько отправились въ льсъ, чтобы въ нослъдній разъ напграться, ибо имъ надо было много читать и писать, чтобъ не стыдно было учителя, котораго скоро ожидали. Вдругъ имъ отчего-то стало скучно, и они принисали это тому, что у нихъ нътъ ужь прекрасныхъ игрушекъ, а свое неумъніе обращаться съ ними—незнанію наукъ. Кристлиба начала плакать, а за нею Феликсъ, восклицая:

«Бъдныя мы дъти, мы не знаемъ наукъ!»

Но вдругъ они остановились и спросили другъ друга съ удивленіемъ: "Видишь ли, Кристлиба?"—Слышишь ли, Феликсъ?—

Въ самомъ темномъ мъстъ густаго кустарника, который находился передъ ними, сіялъ чудный свътъ, и подобно кроткому лучу мъсяца скользилъ по трепещущимъ листьямъ; а въ тихомъ шелестъ деревъевъ слышался дивный аккордъ, подобный тому, какъ вътеръ пробъ-

гаетъ по струнамъ арфы и будитъ спяще въ ней звуки. Дъти почувствовали что-то странное: печаль ихъ изчезла, но на глазахъ появились слезы отъ сладостнаго чувства, котораго они еще не испытывали. Чъмъ ярче становился свътъ въ кустъ, тъмъ громче раздавались дивные звуки, и тъмъ сильнъе билось у дътей сердце. Они глядъли книмательно на свътъ, и увидъли прелестнъйшее въ мірт дита, которое имъ пріятно улыбалось и дълало знаки. "О, прінди къ намъ, милое дитя!" вскричали вмъстъ Феликсъ и Кристлиба, вставан и протягивая къ нему свои рученки съ невыразимымъ чувствомъ. "Я иду, иду!" отвъчалъ пріятный голосъ изъ куста,—и какъ бы несомое утреннимъ вътеркомъ, неизвъстное дитя спустилось къ Феликсу и его сестръ.

За симъ слъдуетъ цълая глава о томъ, какъ неизвъстное дитя играло съ Феликсомъ и Кристлибою какъ оно упрекало ихъ въ сожалъніи о дрянныхъ игрушкахъ и указало имъ на чудныя сокровища, разсыпанныя вокругъ нихъ, какъ тогда Феликсъ и Кристлиба увидъли, что изъ густой травы какъ бы выглядывали блестящими глазами разные чудные цвъты, а между ими искрились цвътные кампи и блестящія раковины, золотые жуки прыгали и тихо расиввали песеики; какъ послъ того неизвъстное дитя стало строить Феликсу и Кристлибъ дворецъ изъ цвътныхъ камней, съ колоннами, крышею и золотымъ куполомъ; какъ потомъ крыша дворца обратилась въ крылья золотыхъ насѣкомыхъ, колопны въ серебристый ручей, на берегу котораго росли красивые цвъты, то съ любопытствомъ смотрясь въ воды, то, покачивая своими маленькими головками, слушая невинное журчаніе ручья, какъ потомъ неизвъстное дити надълало изъ цвътовъ живыхъ куколъ, и куклы ръзвились около Кристлибы, ласково говоря ей: «полюби насъ, добрая Кристлиба!» и егеря загремѣли ружьями, затрубили въ рога и, крича: Галло! галло! на охоту! на охоту! номчались за запцами, которые повыскакали изъ-за кустовъ и побъжали; какъ пеизвъстное дитя понесло Феликса и Кристлибу по воздухуи чудеса, которые они видъли въ этомъ воздушномъ нутешествін. Въ этой главѣ каждое слово, каждая черта — чудная поэзія, блещущая самыми дивными цвѣтами, самыми
роскошными красками; это вмѣстѣ и поэзія и музыка, — и
какая глубокая мысль скрывается въ нихъ!... Пропускаемъ
главу, гдѣ, г. и г-жа Брокель разсуждають о неестественности видѣнія дѣтей, и первый выказываетъ свою прекрасную натуру въ ея грубой корѣ, а вторая свою добродушную
ограниченность. Пропускаемъ также и дальпѣйнія свиданія
Феликса и Кристлибы съ пензвѣстнымъ дитятею, и его фантастическій разсказъ о зломъ министрѣ при дворѣ царицы
фей: сокращать ихъ невозможно — не подымется рука, а
выписывать вполиѣ памъ тоже не хочется, чтобы не испортить впечатлѣнія для тѣхъ, которые, послѣ нашей прозанческой статьи, станутъ читать эту поэтическую повѣсть.

Но вотъ, наконецъ прівхаль и давно ожидаемый учитель, магистръ Тинте, маленькаго роста, съ четвероугольною головою, безобразнымъ лицемъ, толстымъ брюхомъ на тоненькихъ пауковыхъ ножкахъ-воплощенный педантизмъ и резонёрство. Встръча его съ дътьми, ихъ къ нему отвращение, его съ ними обращение, все это у Гофмана-живая, одушевленная картина, полная мысли. Вотъ опи съли учиться, — и имъ все слышится голосъ неизвъстнаго дитяти, которое зоветь ихъ въ лъсъ, а магистръ бъетъ по столу и причитъ: «шт, шт, брр, брр... тише! что это такое?» а Феликсъ пе выдержалъ и закричаль: «Убирайтесь вы съ вашими глупостями, г. магистрь; я хочу идти въ лъсъ. Ступайте съ этимъ къ моему двоюродному брату: онъ любить эти вещи!» Дёти побёжали, магистрь за ними; по Султанъ, добрая собака, съ перваго раза получившій къ педанту и резонёру неодолимое отвращеніе, схватиль его за воротникъ. Педантъ поднялъ крикъ, по г. Брокель освободилъ его и упросилъ ходить съ дѣтьми въ лѣсъ. Педанту лъсь не поправился, потому что въ немъ не было дорожеть, и птицы своимъ пискомъ не давали ему слова порядочнаго сказать. «Ага, г. магистръ», сказалъ Феликсъ: «я вижу ты ниче-

го не понимаешь въ ихъ пъсни, и не слышишь даже, какъ утренній в'єтеръ разговариваеть съкустами, а старый ручей разсказываетъ прекрасныя сказки!» Кристлиба замѣтила, что върно г. магистръ не любитъ и цвътовъ, и магистра отъ этихъ словъ покоробило; онъ отвъчалъ, что любитъ цвъты только въ горшкахъ, въ комнатъ... Пропускаемъ мпожество самыхъ поэтическихъ подробностей, дышащихъ глубокою мыслію цёлаго разсказа, и скажемъ, что г. Брокель наконецъ ръшился его выгнать; но магистръ обратился мухой и началъ летать-насилу успѣли задѣть его хлопушкою и прогнать. Дѣти повесеявли, пошли въ лъсъ, но дитяти тамъ не было. Поломанныя ими куклы оживають, осыпають ихъ упреками и грозять магистромъ. Следуеть чудесное описаніе бури, обморокъ дътей, потомъ прекрасное ведро. Отецъ самъ пошелъ съ ними въ лёсъ, и разсказалъ имъ, что и онъ въ дётствё зналъ неизвъстное дитя. Вскоръ послъ того г. Брокель умеръ, дъти остались сиротами, и въ ту минуту, когда имъ было особенно тяжело и опи горько плакали, имъ явилось неизвъстное дитя и утъщило ихъ, и сказало имъ, что пока они будутъ его помпить, имъ печего болться злаго духа Песнера, мухи-магистера. Дружески принялъ ихъ къ себъ родственникъ и «все сдѣлалось такъ, какъ предсказало имъ пензвъстное дитя. Что бы Феликсъ и Кристлиба пи предпринимали, удавалось вполнъ: они и мать ихъ сдълались веселы и счастливы, и долго въ отрадныхъ мечтахъ играли съ неизвъстнымъ дитятею, которое показывало имъ чудеса своей родины».

Основная мысль этой чудесной, поэтической повъсти, этой свътлой и роскошной фантазіи, есть та, что первый восинтатель дътей — природа и ея благодатныя внечатлънія. И первобытное человъчество воснитывалось природою; и дунгы нашей такъ отрадно читать всъ преданія о юномъ человъчествъ, ее такъ сладостно убаюкиваютъ и священныя сказанія о пастушеской жизни натріарховъ, и колыбельная иъсня

старца Гомера о царяхъ пастыряхъ и простодушныхъ герояхъ сёдой древности... Увы! заботы и суеты жизни, искуственная городская жизнь заслоняють отъ насъ природу, и мы видимъ на небъ фонари, а на землъ полезныя и вредныя травы, прибыльные для торговли лъса, — а многіе ли изъ пасъ знають, что природа жива, что вътеръ разговариваетъ съ кустами, и старый ручей разсказываетъ прекрасныя сказки?... Неужели же и чистыя младеическія души должны быть глухи къ живому голосу прекрасной природы и не знать «неизвъстнаго дитяти», которое есть — ихъ же собственный откликъ на зовъ природы, свътлая радость и чистое блаженство ихъ же собственныхъ, младеическихъ сердецъ?...

Если въ «Неизвъстномъ Дитяти» развита мысль о гармонін младенческой души съ природою, какъ объ основъ воспитанія и условін будущаго счастія дітей, то «Щелкупъ и Царекъ Мышей» есть апотеозъ фантастическаго, какъ необходимаго элемента въ духъ человъка, и цъль этой сказки — развитіе въ дътяхъ элемента фантастическаго. Когда мы приближаемся къ общему, родовому началу жизни, разлитой въ природъ, насъ объемлетъ какой-то пріятный страхъ, мы чувствуемъ какое-то сладостное замираніе сердца. Кто не исиытываль этого при вход'в въ большой темпый лъсъ, или на берегу моря? Шумъ дистьевъ и колебание волнъ говорятъ намъ какимъ-то живымъ изыкомъ, котораго значение мы уже забыли и тщетно стараемся вспомнить; лъсъ и море кажутся намъ живыми, индивидуальными существами. И вотъ откуда произощли у Грековъ живыя поэтическія олицетворенія явленій природы, ихъ дріады, и наяды, и ихъ черновласый царь Посидаонъ, съ трезубцемъ въ рукъ-

Сей, обымающій землю, земли колебатель могучій!

Жизнь есть таинство, ибо причина ен явленія въ ней самой; переходы общей жизни въ частныя индивидуальныя явленія и

потомъ возвращение ихъ въ общую жизнь-то же великое таинство, а внечативніе всякаго таниства-страхъ и ужасъ мистическій. Вотъ почему мины младенчествующихъ пародовъ дышать такою фантастическою мрачностію, и всё отвлеченныя понятія являются у нихъ въ странныхъ образахъ. Искусство освобождаеть духъ отъ рабскаго ужаса, просвътляя его предметы свътомъ мысли и эстетической жизни. Образованный человикъ не боится суевирныхъ видиний кладбища, по это нимое кладбище тъмъ не менъе въеть на него таинственною жизню, отъ которой сладостно волнуется его духъ неопредвленнымъ чувствомъ пріятнаго страха. Бываетъ состояніе души, когда и обыкновенныя вещи оживотворяются и воскресаются фантастическою жизнію: какъ будто выражаемыя этими вещами понятія, отръшаясь отъ своей отвлеченности, принимаютъ на себя живые образы, начинаютъ мыслить и чувствовать. Духъ нашъ во всемъ предчувствуетъ жизнь и даетъ ей опредъленные индивидуальные образы. Такъ и въ «Щелкунъ и Царькъ Мышей» оживають куклы и ведуть войну съ мышами, и самъ Щелкунъ дълается рыцаремъ мыши и носить ен цвъть. Щелкунь проводить ее въ рукавъ шубы, —. и тамъ открывается передъ нею леденцовое поле съ конфектными городами, которые населены конфектными людьмии въ этихъ городахъ гремитъ музыка, ликуетъ радость, кипить жизнь. Мы не будемъ пересказывать содержанія этого чуднаго созданія чуднаго генія — оно непересказываемо, и намъ пришлось бы переписать его все, отъ слова до слова, а подобный разборъ сдълалъ бы нашу статью вдвое больше. Скажемъ только, что художественная жизнь образовъ, очевидное присутствіе мысли при совершенномъ отсутствіи всякихъ символовъ, аллегорій и прямо высказанныхъ мыслей или септенцій, богатство элементовъ-тутъ и сатира, и повъсть, и драма, удивительная обрисовка характеровъ-противоръчіе поэзін съ пошлою повседпевностію, нераздъльная слитность действительности съ фантастическимъ вымысломъ, — все это представляетъ богатый и роскошный пиръ для дътской фантазіи. Заманчивость, увлекательность и очарованіе разсказа невыразимы. Благодарность переводчику, издавшему отдъльно эти двъ превосходных сказки Гофмана— единственныя во всемірной человъческой литературъ! Желаемъ, чтобы родители обратили на пихъ все свое вниманіе, чтобы не было пи одного грамотнаго дитяти, который не могъ бы ихъ пересказать почти слово въ слово!

Въ Россіи писать для дѣтей первый началъ Карамзинъ, какъ и много прекраснаго началъ онъ писать первый. Къ «Московскимъ Вѣдомостямъ» прилагались листки его «Дѣтскаго Чтенія», въ которомъ замѣчательна «Перениска отца съ сыномъ о деревенской жизни». Много читателей въ послѣдствіи доставилъ Карамзинъ и себѣ и другимъ, подготовивъ этимъ «Дѣтскимъ Чтеніемъ». Послѣ онъ издалъ «Дѣтское утѣшеніе», которое и теперь еще не изгладилось у насъ изъ намяти, хотя мы читали его въ дѣтскомъ возрастѣ; а это большая похвала для дѣтской кпижки: намять хранитъ въ себѣ только то, что поразило душу сильнымъ впечатлѣніемъ.

Но въ настоящее время русскія дѣти имѣютъ для себя въ Дѣдушкѣ Принеѣ такого писателя, которому позавидовали бы дѣти всѣхъ націй. Узпавъ его, съ нимъ не разстанутся и взрослые. Мы находимъ въ немъ одинъ недостатокъ, и очень важный: старикъ или очень старъ, и ужь не въ состоянія держать перо въ рукѣ, или лѣнится на старости лѣтъ, оттого мало пишетъ. А какой чудесный старикъ? какая юная, благодатная душа у него, какою теплотою и жизню вѣетъ отъ его разсказовъ, и какое необыкновенное искусство у него заманить воображеніе, раздражить любопытство, возбудить вниманіе иногда самымъ, повидимому простымъ разсказомъ! Совѣтуемъ, любезные дѣти, получше нознакомится съ дѣдушкою Иринеемъ. Не бойтесь его старости: онъ не принадлежитъ къ тѣмъ брюзгливымъ старикамъ, которые своимъ воръжитъ къ тѣмъ брюзгливымъ старикъмъ старикъ

чаніемъ и наставленіями отнимають у вась каждую минуту веселости, отравляють всякую вашу радость. О, нѣть! это самый милый старикъ, какого только вы можете представить себѣ: онь такь добръ, такъ ласковъ, такъ любить дѣтей; онь не смутить вашего шумнаго веселья, не помѣшаеть вамъ пграть, по съ такою снисходительностію и любовію приметь участіе въ вашей веселости, вашихъ пграхъ, научить васъ шрать въ новыя, неизвѣстныя вамъ и прекрасныя игры. Если вы пойдете съ нимъ гулять—васъ ожидаетъ величайшее удовольствіе: вы можете бѣгать, прыгать, шумѣть, а онъ между тѣмъ будетъ разсказывать вамъ, какъ называется каждая травка, каждая бабочка, какъ онѣ рождаются, ростутъ, и умирая, снова воскресаютъ для новой жизни. Вы заслушаетесь его разсказовъ, вы сами не захотите шумѣть и бѣгать, чтобъ не проронить ни одного слова!

Лучшія піесы въ «Дітскихъ Сказкахъ Діздушки Принея»—«Червякъ» и «Городокъ въ Табакеркъ».

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. Соч. М. Лермонтова. Спб. 1840. Двъ части.

Отличительный характеръ нашей литературы состоить въ рѣзкой противоположности ен явленій. Возьмите любую европейскую литературу, и вы увидите, что ни въ одной изънихъ нѣтъ скачковъ отъ величайшихъ созданій до самыхъ пошлыхъ: тѣ и другія связаны лѣстницею со множествомъ ступеней, въ нисходящемъ или восходящемъ порядкъ, смотря потому, съ котораго конца будете смотрѣть. Подлѣ геніальнаго художественнаго созданій, вы увидите множество созданій, принадлежащихъ сильнымъ художническимъ талантамъ; за ними безконечный рядъ превосходныхъ, примѣчательныхъ, порядочныхъ и т. д. беллетрическихъ произведеній, такъ что

доходите до порожденій дюжинной посредственности не вдругь, а постепенно и незамътно. Самыя посредственныя произведенія иностранной беллетристики посять на себ'в отнечатокъ большей или меньшей образованности, знанія общества, или, по крайней мъръ, грамотности авторовъ. И потому-то всъ европейскія литературы такъ плодовиты и богаты, что ин на мигъ не оставляють своихъ читателей безъ достаточнаго запаса умственнаго наслажденія. Самая французская литература, бъдная и инчтожная художественными созданіями, едва-ли еще не богаче другихъ беллетрическими произведеніями, благодаря которымъ она и удерживаетъ свое исключительное владычество надъ европейского читающего публикого. Напротивъ того, наша молодая литература по справедливости можетъ гордиться значительнымъ числомъ великихъ художественныхъ созданій, и до нищеты б'єдна хорошими беллетрическими произведеніями, которыя, естественно, должны-бы далеко превосходить первыя въ количествъ. Въ въкъ Екатерины, литература наша имъла Державина-и пикого, кто бы хотя нъсколько приближался къ нему; полузабытый ныпъ Фонъ-Визинъ и забытые Хеминцеръ и Богдановичъ были единственными примачательными беллетристами того времени. Крыловъ, Жуковскій и Батюшковъ были поэтическими корифеями въка Александра I; Капинстъ, Карамзинъ (говоримъ о немъ не какъ объ историкъ), Дмитріевъ, Озеровъ и еще немногіе, блестящимъ образомъ поддерживали беллетристику того времени. Съ двадцатыхъ до тридцатыхъ годовъ настоящаго въка дитература наша оживилась: еще далеко не кончили своего поэтического поприща Крыловъ и Жуковскій, какъ явился Пушкинъ, нервый великій народный русскій поэть, вполив художникь, сопровождаемый и окруженный толпою болье или менье примъчательныхъ талантовъ, которыхъ неосноримымъ достоинствамъ мѣшаетъ только невыгода быть современниками Пушкина. Но за то, пушкинскій періодъ необыкновенно (сравнительно съ предшествовавши-

ми и послъдующимъ) былъ богатъ блестящими беллетрическими талантами, изъ которыхъ пъкоторые въ своихъ пропзведеніяхъ возвышались до поэзін, и хотя другіе теперь уже и не читаются, но въ свое время пользовались большимъ вниманіемъ публики и сильно запимали ее своими произведеніями, большею частію мелкими, помъщавшимися въ журналахъ и альманахахъ. Начало четвертаго десятилътія ознаменовалось романическими и драматическимъ движеніемъ и —несбывшимися яркими надеждами: «Юрій Милославскій» подаль большія падежды, «Торквато Тассо» то же подаль большія надежды... и многіе подавали большія надежды, только теперь оказались совершенно безнадежными... Но и въ этомъ періодъ надеждъ и безнадежностей блестить яркая звъзда великаго творческаго таланта, -- мы говоримъ о Гоголь, который, къ сожальнію, посль смерти Пушкина пичего не печатаеть, и котораго последнія произведеніи русская публика прочла въ «Современникъ» за 1836 годъ, хотя слухи о новыхъ его произведенияхъ и не умолкаютъ... Тридцатый годъ быль роковымь для нашей литературы: журналы начали прекращаться одинъ за другимъ, альманахи наскучили публикъ и прекратились, и въ 1834 году «Библіотека для Чтенія» соединила въ себѣ труды почти всѣхъ извастныхъ и неизвастныхъ поэтовъ и литераторовъ, какъ бы нарочно для того, чтобы показать ограниченность ихъ дъятельности и бъдность русской литературы... Но обо всемъ этомъ мы скоро поговоримъ въ особой статьв; на этоть разъ прямо выскажемь нашу главную мысль, что отличительный характеръ русской литературы-внезапные проблески сильныхъ и даже великихъ художническихъ талаптовъ и, за немногими исключеніями, в'єчная поговорка читателей: «книгъ много, а читать нечего»... Къ числу такихъ сильныхъ художественныхъ талантовъ, неожиданно являющихся среди окружающей ихъ пустоты, принадлежить талантъ г. Лермонтова.

Въ «Библіотекъ для Чтенія» на 1845 годъ напечатано было нъсколько (очень немного) стихотвореній Пушкина и Жуковскаго; нослъ того русская поэзія нашла свое убъжище въ «Современникъ», гдъ, кромъ стихотвореній самого издателя, появлялись нередко и стихотворенія Жуковскаго и немногихъ другихъ, и гдъ помъщены: «Капитанская Дочка» Пушкина, «Носъ», «Коляска» и «Утро дёловаго человёка», сцена изъ комедін, Гоголя, не говоря уже о пъсколькихъ замічательбеллетрическихъ произведеніяхъ и критическихъ статьяхъ. Хотя этотъ полу-журналъ и полу-альманахъ только годъ издавался Пушкинымъ; но какъ въ немъ долго печатались посмертныя произведенія его основателя, то «Современникъ» и долго еще быль единственнымъ убъжищемъ поэзін, скрывшейся изъ періодическихъ изданій съ началомъ «Библіотеки для Чтенія». Въ 1835 году вышла маленькая книжка стихотвореній Кольцова, послё того постоянно печатающаго свои лирическія производенія въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ до сего времени. Кольцовъ обратиль на себя общее внимание, по не столько достоинствомъ и сущностію своихъ созданій, сколько своимъ качествомъ ноэта-самоучки, поэта-прасола. Онъ и доселъ не понять, не оцёнень, какъ поэть, виё его личныхъ обстоятельствъ, и только немногіе сознають всю глубину, обширность и богатырскую мощь его таланта, и видять въ немъ не эфемерное, хотя и примъчательное явленіе періодической литературы, а истиннаго жреца высокаго искусства. Почти въ одно время съ изданіемъ первыхъ стихотвореній Кольцова явился съ своими стихотвореніями и г. Бенедиктовъ. Но его муза гораздо больше произвела въ публикъ толковъ и восклицаній, нежели обогатила нашу литературу. Стихотворенія г. Бенедиктова явленіе примъчательное, интереспое п глубоко поучительное: они отрицательно поясняють тайну нскусства, и въ то же время подтверждаютъ собою ту истину, что всякій вибшній таланть, ослепляющій глаза вибшнею

стороною искусства и выходящій не изъ вдохновенія, а изъ легко воспламеняющейся натуры, такъ же тихо и пезамътно сходить съ арены, какъ шумно и блистательно является на нее. Благодаря странной случайности, вслъдствіе которой въ «Библіотеку для Чтенія» попали стихи г. Красова и явились въ ней съ именемъ г. Бернета, г. Красовъ, до того времени печатавшій свои произведенія только въ московскихъ изданіяхъ, получиль общую извъстность. Въ самомъ дълъ, его лирическія произведенія часто отличаются пламеннымъ, хотя и пеглубокимъ чувствомъ, а иногда и художественною формою. Послъ г. Красова заслуживаютъ виимание стихотворенія подъ фирмою—о—; опи отличаются чувствомъ скорбнымъ, страдальческимъ, болъзненнымъ, какою-то однообразною оригинальностію, неръдко счастливыми оборотами постоянно господствующей въ нихъ иден раскаяния и примпренія, иногда плънительными поэтическими образами. Зпакомые съ состояніемъ духа, которое въ нихъ выражается, никогда не пройдутъ мимо ихъ безъ душевнаго участія; паходящееся въ томъ же самомъ состоянін духа, естественно, преувеличатъ ихъ достоинства; люди же, или незнакомые съ такимъ страданіемъ, или слишкомъ нормальные духомъ, могутъ не отдать имъ должной справедливости: таково вліяніе и такова участь поэтовъ, въ созданіяхъ которыхъ общее слишкомъ зослонено ихъ индивидуальностію. Во всякомъ случав, стихотворенія—о— припадлежать къ примъчательнымъ явленіямъ современной имъ литературы, и ихъ историческое значение не подвержено никакому сомнънию.

Можетъ-быть многимъ покажется странио, что мы пичего не говоримъ о г. Кукольникъ, поэтъ столь превозпесенномъ «Библіотекою для Чтенія». Мы вполнъ признаемъ его достониства, которыя неподвержены никакому сомивнію, но о которыхъ новаго нечего сказать. Поэтическія мѣста не выкупаютъ ничтожности цѣлаго созданія, точно такъ же, какъ два, три счастливые монолога не составляютъ драмы. Пусть

въ драмъ, состоящей изъ 3000 стиховъ, наберется до тридцати, или, если хотите, и до пятидесяти хорошихъ лирическихъ стиховъ, но драма оттого не менъе скучна и утомптельна, если въ ней нътъ пи дъйствія, ни характеровъ, ни истины. Многочисленность написанныхъ къмъ-либо драмъ также не составляетъ еще достоинства и заслуги, особенно, если всъ драмы похожи одна на другую, какъ двъ капли воды. О талантъ ин слова, пусть онъ будетъ; но стецень таланта — вотъ вопросъ! Если талантъ не имъетъ въ себъ достаточной силы стать въ уровень съ своими стремленіями и предпріятіями, онъ производить только пустоцвёть, когда вы ждете отъ него плодовъ. — Чтобы насъ не подозръвали въ пристрастін, мы, пожалуй, уномянемъ еще и о г. Бернетъ, во многихъ стихотвореніяхъ котораго иногда проблескивали яркія искорки поэзін; но ни одно изънихъ, какъ изъ большихъ, такъ и изъ маленькихъ, не представляло собою инчего цълаго и оконченнаго. Къ тому же, талантъ г. Бернета идетъ сверху виизъ, и послъднія его стихотворенія послъдовательно слабъе первыхъ, такъ что теперь уже перестають говорить п о нервыхъ. Можетъ-быть, мы пропустили еще нъсколько стихотворцевъ съ проблескомъ таланта; но стоитъ ли останавливаться надъ однолътними растеніями, которые такъ не ръдки, такъ обыкновенны, и цвътутъ одно мгновеніе! стоить ли останавливаться надъ ними, хоть они и цвъты, а не сухая трава? Нътъ

> Спящій въ гробъ мирно спи, Жизнью пользуйся живущій!

Н потому, обратимся къ живымъ. По изъ нихъ только одинъ Кольцовъ объщаетъ жизнь, которая не боится смерти, ибо его поэзія есть не современно-важное, но безотносительно примъчательное явленіе. Никого изъ явившихся вмъстъ съ нимъ и нослъ него нельзя поставить съ нимъ наряду, и долго стояль опъ въ просторномъ отдаленіи отъ всъхъ другихъ, какъ вдругъ на гаризонтъ нашей поэзіи взошло новое яркое свътило и тот-

часъ оказалось звъздою первой величины. Мы говоримъ о Лермонтовъ, который, безъ имени, явился въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Русскому Инвалиду» 1838 года, съ поэмою «Иъсня про царя Ивана Васильевича, молодаго опричника и удалаго кунца Калашникова», а съ 1839 года постоянно продолжаетъ являться въ «Отечественныхъ Запискахъ». Поэма его несмотря на ея великое художественное достоинство, совершенную оригинальность и самобытность, не обратила на себя особеннаго винманія всей публики и была замъчена только немногими; по каждое изъ его мелкихъ произведеній возбуждало общій и сильный восторгь. Всё видъли въ нихъ что то совершенно новое, самобытное; всъхъ норажало могущество вдохновенія, глубина и сила чувства, роскошь фантазін, полнота жизин и разко ощутительное присутствіе мысли въ художественной формъ. Пока оставляя въ сторонъ сравненія, мы замътимъ теперь только то, что, при всей глубинъ мыслей, эпергін выраженія, разнообразіп содержанія, по которымь Кольцову едва ли можно бояться чьего-либо сопершичества, форма его стихотвореній, не смотря на свою художественность, всегда однообразна, всегда одннакова безискуственна. Кольцовъ не есть только народный поэтъ: иътъ, онъ стоитъ выше, ибо если его пъсии понятны всякому простолюдину, то его думы педоступны никому; но въ тоже время, онъ не можетъ назваться и поэтомъ національнымъ, пбо его могучій талаптъ не можеть выйдти изъ магическаго круга народной непосредственности. Это гепіальный простолюдинь, въ душт котораго возникають вопросы, свойственные только людямъ, развитымъ наукою п образованіемъ, и который высказываеть эти глубокіе вопросы въ формъ народной поэзіп. Поэтому опъ непереводимъ ни на какой языкъ, и попятенъ только у себя дома, только своимъ соотечественникамъ. «Иъсия про царя Ивана Васильевича, молодаго опричинка и удалаго купца Калашинкова» показываеть, что Лермонтовъ умветь явленія непосредственной русской жизни воспроизводить въ народно-поэтической формъ, единственно свойственной имъ, тогда какъ прочія его произведенія, пропикнутыя русскимъ духомъ, являются въ той обще-міровой формъ, которая свойственна поэзін, нерешедшей изъ естественной въ художественную, и которая, не переставая быть національною, доступна для всякаго въка и всякой страны.

Въ то время, какъ какія-нибудь два стихотворенія, пом'вщенныя въ первыхъ двухъ книжкахъ «Отечественныхъ Записокъ» 1839 года, возбудили къ Лермонтову столько интереса со стороны публики, утвердили за нимъ имя поэта съ большими надеждами, Лермонтовъ вдругъ является съ повъстью «Бэла», написанною въ прозъ. Это тъмъ пріятите удивило встав, что еще болье обнаружила силу молодаго таланта и показало его разнообразіе и многосторонность. Въ повъсти, Лермонтовъ явился такимъ же творцомъ, какъ и въ своихъ стихотвореніяхъ. Съ перваго раза можно было замѣтить, что эта повѣсть вышла не изъ желанія запитересовать публику исключительно любимымъ ею родомъ литературы, не изъ слѣпаго подражанія дѣлать то, что всё дёлають, по изъ того же источника, изъ котораго вышли его стихотворенія—изъ глубокой творческой натуры, чуждой всякихъ побужденій, кромі вдохновенія. Априческая поэзія и пов'єсть современной жизни соединились въ одномъ талантъ. Такое соединение повидимому столь противоположных родовъ поэзіп не ръдкость въ наше время. Шиллеръ и Гёте были лириками, романистами и драматургами, хотя лирическій элементь всегда оставался въ нихъ господствующимъ и преобладающимъ. Самъ «Фаустъ» есть лирическое произведение въ драматической формъ. Поэзія нашего времени по преимуществу романъ и драма; но лиризмъ все-таки остается общимъ элементомъ поэзін, потому что онъ есть общій элементь челов'яческаго духа. Съ лиризма начинаеть почти каждый поэть, такъ же, какъ съ него начинетъ каждый народъ. Самъ Вальтеръ-Скоттъ перешелъ къ роману

отъ лирическихъ поэмъ. Только литература Съверо-американскихъ штатовъ началась романомъ Купера, и это явленіе такъ же странно, какъ и общество, въ которомъ оно произошию. Можетъ-быть, это оттого, что свверо-американская литература есть продолжение англійской. Наша литература представляетъ тоже совершенно особенное явленіе: мы вдругъ переживаемъ вст моменты европейской жизни, которые на Западъ развивались послъдовательно. Только до Пушкина, наша поэзія была по премуществу лирическою. Пушкинъ педолго ограничивался лиризмомъ и скоро перешелъ къ поэмъ, а отъ нея-къ драмъ. Какъ полный представитель духа своего времени, онъ также покушался на романъ: въ «Современникъ» 1837 года помъщено шесть главъ (съ началомъ седьмой) изъ пеконченнаго романа его нодъ названіемъ «Арапъ Иетра Великаго», изъ которыхъ четвертая глава была первоначально помѣщена въ «Сѣверныхъ Цвѣтахъ» 1829 года. Повъсти Пушкинъ началъ писать уже въ послъдніе годы своей недоконченной жизни. Однакожь, очевидно, что настоящимъ его родомъ былъ лиризмъ, стихотворная повъсть (поэма) и драма, ибо его прозаплеские опыты далеко не равны стихотворнымъ. Самая лучшая его повъсть, «Капитанская Дочка», при всёхъ ен огромпыхъ достопиствахъ, не можетъ идти ни въ какое сравнение съ его поэмами и драмами. Это не больше, какъ превосходное беллетрическое произведение съ поэтическими и даже художественными частностями. Другія его повъсти, особенно «Повъсти Бълкина», принадлежать исключительно къ области беллетристики. Можетъбыть, въ этомъ заключается причина того, что и романъ, такъ давно начатый, не быль конченъ. Лермонтовъ и въ прозъ является равнымъ себъ, какъ и въ стихахъ, и мы увърены, что, съ большимъ развитіемъ его художинческой дъятельности, онъ непремънно дойдетъ до драмы. Наше предположение непроизвольно: оно основывается сколько на полноть драматического движенія, замътного въ повъстяхъ, Лермонтова, столько же и на духѣ настоящаго времени, особенио благопріятнаго соединенію въ одномъ лицѣ всѣхъ формъ поэзіи. Послѣднее обстоятельство очень важно, ибо и у искусства всякаго народа есть свое историческое развитіе, вслѣдствіе котораго опредѣляется характеръ и родъ дѣятельности поэта. Можетъ-быть, и Пушкинъ былъ бы такимъ же великимъ романистомъ, какъ лирикомъ и драматургомъ, еслибы явился поэже, и имѣлъ подобнаго себѣ предшественника.

«Бэла», заключая въ себъ интересъ отдъльной и оконченной повъсти, въ то же время была только отрывком и изъ большаго сочиненія, равно какъ и «Фаталисть» и «Тамань», въ послъдствін напечатанные въ «Отечественныхъ же Запискахъ». Теперь они являются, вивств съ другими, съ «Максимомъ Максимычемъ», «Предисловіемъ къ журналу Печорина» и «Княжною Мери» подъ однимъ общимъ заглавіемъ «Героя Нашего Времени». Это общее названіе—не прихоть автора; равнымъ образомъ, по названію не должно заключать, чтобы содержащіяся въ этихъ двухъ книжкахъ повъсти были разсказами какого-нибудь лица, на котораго авторъ навязалъ роль разсказчика. Во ветхъ повтстяхъ одна мысль, и эта мысль выражена въ одномъ лицъ, которое есть герой всъхъ разсказовъ. Въ «Бэль» онъ является какимъ-то тапиственнымъ лицемъ. Героиня этой новъсти вся передъ вами, но герой какъ будто бы показывается подъ вымышленнымъ именемъ, чтобы его пе узнали. Изъ за отношеній его по Бэлъ вы невольно доганываетесь о какой-то другой повъсти, заманчивой, таинственной и мрачной. И воть авторъ тотчасъ ноказываетъ вамъ его при свиданіи съ Максимомъ Максимычемъ, который разсказалъ ему повъсть о Бэлъ. Но ваше любонытство не удовлетворено, а только еще болъе раздражено, и повъсть о Бэлъ все еще остается для васъ загадочною. Наконецъ, въ рукахъ автора журналъ Печорина, въ предисловін къ которому авторъ дълаетъ намекъ на пдею романа, по намекъ, который только болье возбуждаеть ваше нетерпъніе позна-

комиться съ героемъ романа. Въ высшей степени поэтическомъ разсказъ «Тамань», герой романа является автобіографомъ, но загадка отъ этого стаповится только заманчивъе, и отгадка еще не тутъ. Наконецъ, вы переходите къ «Книжит Мери», и туманъ разсъвается, загадка разгадывается, основная идея романа, какъ горькое чувство, мгновенно овладъвшее всъмъ существомъ вашимъ, пристаетъ къ вамъ и преслъдуетъ васъ. Вы читаете наконенъ «Фаталиста», и хотя въ этомъ разсказъ Печоринъ является пе героемъ, а только разсказчикомъ случая, котораго онъ былъ свидътелемъ; хотя въ немъ вы не находите ни одной новой черты, которая дополипла бы вамъ портретъ «Героя нашего времени», но, странное дело! вы еще более понимаете его, болже думаете о немъ, и ваше чувство еще грустиве... Эта полнота впечатльнія, въ которомъ всь разнообразныя чувства, волновавшія васт при чтеніи романа, сливаются въ единое общее чувство, въ которомъ всѣ лица, каждое столько интереспое само по себъ, такъ полно образованное, становятся вокругъ одного лица, составляютъ съ пимъ группу, которой средоточіе есть это одно лице, -- вмъстъ съ вами смотрятъ на него, кто съ любовію, кто съ ненавистіюкакая причина этой полноты впечатленія? Она заключается въ единствъ мысли, которая выразилась въ романъ, и отъ которой произошла эта гармоническая соотвътственность частей съ цълымъ, это строго соразмърное распредъление ролей для всёхъ лицъ, наконецъ, эта оконченность, полнота и замкнутость цёлаго.

Сущность всякаго художественнаго произведенія состоить въ органическомъ процессь его явленія изъ возможности бытія въ дъйствительность бытія. Какъ невидимоє зерпо, занадаетъ въ душу художника мысль и, изъ этой благодатной и илодородной почвы, развертывается и развивается въ опредъленную форму, въ образы, полные красоты и жизни, и наконецъ является совершенно особнымъ, цъльнымъ и замкну-

тымъ въ самомъ себъ міромъ, въ которомъ всъ части соразмърны цълому, и каждая, существуя сама по себъ и сама собою, составляя замкнутый въ самомъ себъ образъ, въ тоже время существуеть для цёлаго, какъ его необходимая часть, и способствуеть впечативнію цвлаго. Такъ точно живой человъкъ представляеть собою также особный и замкнутый въ самомъ себъ міръ: его организмъ сложенъ изъ безчисленнаго множества органовъ, и каждый изъ этихъ органовъ, представляя собою удивительную цёлость, оконченность и особность, есть живая часть живаго организма, и всв органы образують единый организмъ, единое недълимое существо-индивидуумъ. Какъ во всикомъ произведенін природы, отъ ел низшей организацін — минерала, до ея высшей организаціи — человіка, ніть ничего ни недостаточнаго, ни лишияго; но всякій органъ, всякая жилка, даже недоступная невооруженному глазу, необходима и находится на своемъ мъстъ: такъ и въ созданіяхъ искусства не должно быть инчего ни недоконченнаго, ни недостающаго, ни излишияго, но всякая черта, всякій образъ и необходимъ, и на своемъ мъстъ. Въ природъ есть произведения неполныя, уродливыя, вследствіе несовершенства организацін; если они, несмотря на то, живуть-значить, что получившие не нормальное образованіе органы не составляють важнъйшихъ частей организма, или что ненормальность ихъ неважна для цълаго организма. Такъ и въ художественныхъ созданіяхъ могуть быть недостатки, причина которыхъ заключается не въ совершенно правильномъ ходъ процесса ихъ явленія, т. е. въ большемъ или меньшемъ участін личной воли и разсудка художника, или въ томъ, что онъ не достаточно выносилъ въ своей душъ идею созданія, не даль ей вполнъ сформироваться въ опредъленные и окончательные образы. И такія произведенія не лишаются чрезъ подобные недостатки своей художественной сущности и ценности. Но, какъ въ произведеніяхъ природы слишкомъ неправильное развитіе органовъ производить уродовъ, которые, родясь, тотчасъ и умираютъ, такъ и въ сферъ искусства есть произведенія, непереживающія минуты своего рожденія. Вотъ такія-то произведенія искусства могуть быть и передълываемы, и приноравляемы къ случаю и къ обстоятельствамъ, и о такихъ-то произведеніяхъ говорится, что въ нихъ есть и красоты и недостатки. Но истинно-художественный произведеній пе имъють ин красоть, ни недостатковъ: для кого доступная ихъ цълость, тому видится одна красота. Только близорукость эстетическаго чувства и вкуса, неспособная обнять цълое художественнаго произведеній и теряющайся въ его частяхъ, можетъ въ немъ видъть красоты и недостатки, приписывая ему собственную свою ограниченность.

Все, что ии есть въ дъйствительности, есть обособление общаго духа жизни въ частномъ явлени. Всякая организація есть свидътельство присутствія духа: гдъ организація, тамъ и жизнь, а гдъ жизнь, тамъ и духъ. И потому, какъ всякое произведеніе природы, отъ минерала и былинки до человъка, есть обособленіе общаго духа жизни въ частномъ жизни, такъ и всякое созданіе искусства есть обособленіе общей міровой иден въ частный образъ, въ самомъ себъ замкнутый. Организація есть сущность того процесса, чрезъ который является все живое и нерукотворное, слъдовательно, и всъ произведенія природы и искусства. И потому-то тъ и другія такъ цълостны, такъ нолны, оконченны, словомъ, замкнуты въ самихъ себъ.

Но что же такое эта «замкнутость?» спросять насъ наконецъ. Отвъчаемъ: это вещь столько же простая, сколько и мудреная,—и удовлетворительно отвътить на этотъ вопросъ столько же легко, сколько и трудно. Что такое духъ? Что такое истина? Что такое жизпь? Какъ часто предлагаются такіе вопросы, и какъ часто дълаются на нихъ отвъты! Вся жизнь человъческая есть не что иное, какъ подобные вопросы стремящеся къ разръшенію. И что же? — для многихъ ли ръшена загадка и найдено слово? Отчего же такъ? Да оттого, что всё вопросы и предлагаются и рёшаются словомъ, а слово есть или мысль, или пустой звукъ; кто въ самой натуръ своей, внутри самого себя, въ тапиственномъ святилищъ духа своего носитъ возможность ръшенія такихъ вопросовъ, - возможность, которая называется предощущениемъ, предчувствіемъ, чувствомъ, внутреннимъ созерцаніемъ, внутреннимъ ясновидъніемъ истины, врожденными идеями, и проч., -для того слово есть мысль, и, услышавъ его, онъ принимаеть въ себя значение, заключенное въ этомъ словъ. Причина такой понятливости заключается въ сродствъ, или лучше сказать въ тождествъ познающаго съ познаваніемъ. Но п самое это тожнество требуетъ большаго развитія: иначе понятливость тупбеть, и вопросы остаются безотвётны. Но у кого нътъ этого тождества съ предметами его познаванія, для того слово — пустой звукъ: ухо его услышитъ слово, но разумъ останется глухъ для него. Вотъ почему вопросы, о которыхъ мы говоримъ, столько же просты, сколько и мудрены, и отвъчать на нихъ столько же легко, сколько и трудно. Однако-жь, мы попытаемся здёсь навести читателей на идею того, что мы называемъ, въ природъ и искусствъ, замкнутостію. Посмотрите на цвътующее растепіе: вы видите, что оно имжетъ свою определенную форму, которою отличается оно не только отъ существъ въ другихъ царствахъ природы, но даже и отъ растеній разнаго съ инмъ рода и вида; его листики расположены такъ симметрически, такъ пропорціонально, каждый изъ нихъ такъ тщательно, съ такою заботливостію, съ такимъ безконечнымъ совершенствомъ отділенъ и изукрашенъ до малійшихъподробностей... Какъ роскошно прекрасенъ его цвътокъ, сколько на немъ жилочекъ, оттънковъ, какая пъжная и яркая пыль... И какое, наконецъ, упонтельное благоуханіе!... Но все ли туть? 0, нътъ! Это только внъшняя форма, выражение внутренняго: эти чудныя краски вышли изнутри растенія, этотъ

обаятельный аромать есть его бальзамическое дыханіе... Тамъ, внутри его ствола, цълый новый міръ: тамъ самодъятельная лабараторія жизненности, тамъ, по тончайшимъ сосудцамъ дивно правильной отдёлки, течетъ влага жизни, струится невидимый эфиръ духа:.. Гдъ же начало и причина этого явленія? Въ немъ самомъ: оно было уже, когда еще не было растенія, когда было только зерно. Уже въ этомъ зерив заключался и корень и стволь, и красивые листочки, и нышный ароматическій цвёть! Видите ли, въ этомъ цвёткъ все, что ему нужно: и жизнь, и источникъ жизни, и явленіе, и причина явленія, и растительность, и вст орудія, органы и сосуды растительности: а между тёмъ, гдѣ вы усмотрите начало или конецъ всего этого? Вы видите, что это растеніе полно и совершенно само въ себъ, не имъетъ ничего недостающаго ему и ничего лишняго, что оно живо и индивидуально; но гдт же пружина его жизии, исходный пункть его индивидуальности? гдъ? Они замкнуты въ немъ, н потому оно есть совершенно-целое, оконченное, словомъзамкнутое въ самомъ себъ органическое существо. Но растеніе связано съ землею, въ которой первоначально развивается и изъ которой получаетъ питаніе, дающее ему матеріалы для развитія и поддержанія его бытія; посмотрите на животное: оно одарено способностію произвольнаго движенія, оно всего носить себя съ самимъ собою: оно есть и растеніе, которое растеть изъ почвы и на почвъ, оно есть и почва, изъ которой и на которой растеть. Смотря на него извит, мы видимъ явленіе; вспрывъ его организмъ, мы видимъ источникъ явленія: тамъ кости связаны сухими жилками, сгибы членовъ смазаны насокою, которая заготовляется въ особыхъ жельзахъ, мускулы протканы нервами... Но и туть вы еще не все видите; возьмите микроскопъ, увеличивающій въ милліонъ разъ- и вась поразить благоговъйнымь изумленіемъ эта безконечность организацін: вы увидите, что н тысячи вашихъ жизней педостаточно, чтобы только персчислить эти тончайшія нити, полныя первосущных в силь природы, -- и каждая ниточка, каждая фибра необходима для цълаго, и не можеть быть ни исключена, ни замънена безъ искаженія цёлой формы; между малёйшими органами нёть и такого пустаго пространства, гдъ бы могъ улечься невидимый для простаго глаза атомъ; все внутреннее такъ тъсно и перазрывно слито вижинею формою, что одно замыкаеть въ себъ другое, а цълое есть замкнутое въ самомъ себъ существо... Человъкъ представляеть, въ этомъ отношении, несравненно высшее и поразительнъйшее зрълище: сообщенный и слитый со всею природою и тайною жизни природы, -онъ во всемъ, виъ себя, видить осуществившеся законы собственнаго разума, и великое все нашло въ немъ свой органъ, отделившись въ немъ отъ самого себя, чтобы взглянуть на себя и сознать себя. Общее и безразличное стало въ немъ частнымъ и особнымъ, чтобы чрезъ эту частность и особность снова возвратиться къ своей общности, сознавъ ее. Законъ обособленія и замкнутости въ частномъ явленіи общаго есть основный законъ міровой жизни!... И въ искусстве онъ открывается съ такимъ же полновластіемъ, какъ и въ природъ: въ уразумьній тайны закона обособленія заключается разгадка тайны искусства. Творческая мысль, запавъ въ душу художника, организируется въ полное, цълостное, оконченное, особное и замкнутое въ себъ художественное произведение. Обратите все ваше внимание на слово «организируется»: только органическое развивается изъ самого себя, только развивающееся изъ самого себя является целостнымъ и особнымъ съ частями пропорціонально и живо сочлененными и подчиненными одному общему. Вотъ почему, напр., романъ Вальтеръ-Скотта, наполненный такимъ множествомъ дъйствующихъ лицъ, писколько непохожихъ одно на другое, представляющій такое сціпленіе разнообразныхъ происшествій, столкновеній и случаевъ, поражаеть васъ однимъ общимъ впечативніемъ, даетъ вамъ созерцаніе чего-то единаго, -- вмъсто того, чтобы спутать и сбить васъ

этимъ калейдоскопическимъ множествомъ характеровъ и событій. По той же причинъ и каждое лице въ романъ существуетъ для васъ само по себъ; вы видите его передъ собою во весь рость, во всей его характерической особности и никогда уже не забудете его, а если и забудете, то, перечитывая романъ вновь, хотя бы черезъ двадцать лёть, тотчасъ увидите, что это лице вамъ знакомо, что вы гдъ-то уже видъли его. Но цълое романа-его колоритъ, его индивидуальная особенность, его «нъчто», для выраженія котораго ивтъ слова, —еще намятиве вамъ, нежели каждое слово въ особенности: уже и лица всъхъ романовъ и содержание ихъ, изгладилось изъ вашей памяти, по съ словами: «Ламермурская Иевѣста», «Ивангое», «Шотландскіе Пуритане» и пр., никогда не перестанутъ для васъ соединяться совершенно различныя попятія... Какъ какое-то неясное видѣніе, какъ аккордъ, внезанно въ вышинъ раздавшійся, какъ благоуханіе, мимо васъ мгновенно пронесшееся, будетъ вамъ, какъ въ тумацъ, представляться индивидуальная общиость каждаго романа...

Все сказанное нами очень нетрудно приложить къ роману г. Лермонтова. Для этого мы должны проследить въ его содержани, уже хорошо известномъ читателямъ, развитіе основной мысли. Романъ начинается описаніемъ переёзда автора изъ Тифлиса чрезъ Кайшаурскую-долину. Не утомляя скучными подробностями, знакомитъ онъ насъ съ мъстностію. Очерки его столько же кратки, сколько и рёзки, а главное—опи набросаны какъ будто бы мимоходомъ. Въ то время, какъ его тележку тащили въ гору шесть быковъ и ибсколько Осетинъ, онъ замѣтилъ, что за его тележкою двигалась друган, которую тащили четыре быка, а за нею шелъ ея хознинъ кури изъ маленькой трубочки. Это былъ офицеръ, лѣтъ интидесяти, съ смуглымъ лицемъ и преждевременно посѣдѣвшими усами, которые не соотвѣтствовали его твердой походкъ и бодрому виду. Авторъ подошелъ къ нему

и поклонился; тоть молча отвътиль на его поклонь, пустивъ огромный клубъ дыма.

- "Мы съ вами попутчики, кажется?

Онъ модча опять поклонился.

- -- "Вы върно ъдите въ Ставрополь?
- Такъ-съ точно... съ казенными вещами.
- "Скажите, пожалуйста, отчего это вашу тяжелую тележку четыре быка тащать шутя, а мою пустую шесть скотовь едва подвигають съ помощію этихъ Осетинъ?

Онъ лукаво улыбнулся и значительно взглянуль на меня.

- Вы върно недавно на Кавказъ?
- -- "Съ годъ" отвъчалъ я.

Он: улыбнулся вторично.

- -- "A чтожь?
- Да такъ-съ? ужасные бестіп эти Азіяты? Вы думаете, они помогають, что кричать? А чорть ихъ знаеть, что они кричать? Быки-то ихъ понимають; запрягите хоть двадцать, такъ коли они крикнуть по своему, быки все ни съ мъста... Ужасные плуты! А что жь съ нихъ возьмешь?... Любять деньги драть съ провзжающихъ... Избаловали мошенниковъ! увидите, они еще съ васъ возьмуть на водку. Ужь и ихъ знаю, меня не проведутъ.

Такимъ образомъ завизалось у автора знакомство съ одинмъ изъ интересивйнихъ лицъ его романа—съ Максимомъ Максимычемъ, съ этимъ типомъ стараго кавказскаго служаки, закалениаго въ опасностяхъ, трудахъ и битвахъ, котораго ище такъ же загоръло и сурово, какъ манеры простоваты и грубы, но у котораго чудесная душа, золотое сердце. Это типъ чисто русскій, который художественнымъ достоинствомъ созданія напоминаетъ оригинальнѣйшіе изъ характеровъ въ романахъ Вальтеръ-Скотта и Кунера, но который, по своей новости, самобытности и чисто русскому духу, не ноходитъ ни на одинъ изъ нихъ. Искусство поэта должно состоять въ томъ, чтобы развить на дѣлѣ задачу, какъ данный природою характеръ долженъ образоваться ири обстоятельствахъ, въ которыи поставитъ его судьба? Максимъ Максимычъ получилъ отъ природы человъческую душу, человъческое сердце,

но эта душа и это сердце отлились въ особую форму которая такъ и говоритъ вамъ о многихъ годахъ тяжелой и трулпой службы, о кровавыхъ битвахъ, о затворнической и одиообразной жизни въ педоступныхъ горныхъ кръпостяхъ, гдъ пътъ другихъ человъческихъ лицъ, кромъ подчиненныхъ солдать да заходящихъ для мъны Черкесовъ. И все это высказывается въ немъ не въ грубыхъ поговоркахъ, въ родъ «чертъ возьми», и не въ военныхъ восклицаніяхъ, въ родъ «тысяча бомбъ», безпрестапно повторяемыхъ, не въ попойкахъ и не въ куренін табака, —а во взглядь на вещи, пріобрътенномъ навыкомъ и родомъ жизни, и въ этой манеръ поступковъ п выраженія, которые должны быть необходимымъ результатомъ взгляда на вещи и привычки. Умственный кругозоръ Максима Максимыча очень ограниченъ; по причина этой ограниченности не въ его натуръ, а въ его развитін. Для пего «жить» значить «служить», и служить на Кавказѣ; «Азіяты»—его природные враги: онъ знаетъ по оныту, что вет они большее плуты, и что самая ихъ храбрость есть отчаянная удаль разбойничья, подстрекаемая надеждою грабежа; онъ не дается имъ въ обманъ, и ему смертельно досадно, если опи обмануть новичка и еще выманять у него на водку. И это совсемъ не потому, чтобы онъ быль скупъ, — о пътъ! онъ только бъденъ, а не скупъ, и сверхъ того, кажется, и не подозръваетъ цены деньгамъ; но онъ не можетъ видъть равподушно, какъ плуты «Азіяты» обманывають честныхъ людей. Воть чуть ли не все, что онъ видить въ жизни, или, по крайней мъръ, о чемъ чаще всего говоритъ. Но не спѣшите вашимъ заключеніемъ о его характеръ; познакомьтесь съ нимъ получие, — и вы увидите, какое теплое, благородное, даже ижжное сердце быется въ желъзной груди этого повидимому очерствъвшаго человъка; вы увидите какъ опъ какимъ-то инстинктомъ понимаетъ все человъческое и принимаеть въ немъ горячее участіе; какъ вопреки собственному сознанію, душа его жаждеть любви и

сочувствія, — и вы отъ души полюбите простаго, добраго, грубаго въ своихъ манерахъ, лаконическаго въ словахъ Максима Максимача.

Опытный штабсъ-капитанъ не ошибся: Осетинцы обступили пеопытнаго офицера и громко требовали на водку. Но Максимъ Максимычъ грозпо прикрикпулъ на нихъ и заставилъ разбъжаться. «Въдь этакой народъ», сказалъ онъ: «и хлъба порусски пазвать не умъетъ, а выучилъ: офицеръ, дай на водку!... Ужь татары по миъ лучше: тъ хоть неньющіе...»

Вотъ наконецъ путешественники наши добрались до станціи и взошли въ саклю, переднее отдѣленіе которой было наполнено коровами и овцами, а другое людьми, сидѣвшими возлѣ отня, разложеннаго на землѣ. По полу разстилался дымъ, обратно вталкиваемый вѣтромъ изъ отверстія въ потолкѣ. Наши путники закурили трубки, внимая привѣтливому шипѣнію чайника.

[—] Жалкіе люди!—сказаль я штабсь-капитану, указывал на нашихъ грязныхъ хозяевъ, которые молча на насъ смотръли въ какомъ-то остолбенвніи.—Преглупый народь! отвъчаль онъ. Повърите ли, ничего не умьтотъ, неспособны ни къ какому образованію! Ужь покрайней мъръ наши Кабардинцы или Чеченцы, хотя разбойники, голыши, за то отчанным башки, а у этихъ и къ оружію никакой охоты нътъ: порядочнаго ни на комъ не увидишь. Ужь подминю Осетины?

^{-,} А вы долго были въ Чечнъ?

[—] Да, я лътъ десятокъ стоялъ тамъ въ кръпости съ ротою, у Каменнаго Брода,—знаете?

^{—&}quot;Слыхалъ".

[—] Вотъ, батюшка, надовли намъ эти головорвзы; нынче, слава Богу, смирнве, а бывало, на сто шаговъ отойдешь за валы, ужь гдънибудь косматый дънволъ сидитъ и караулитъ: чуть зазввался, того и гляди—либо арканъ на шев, либо пуля въ затылкъ. А молодим!...

^{—&}quot;А, чай, много съ вами бывало приключеній?" сказалъ я, подстрекаемый любопытствомъ.

⁻ Какъ не бывать! бывало...

Тутъ онъ началъ щинать лавый усъ, повъсиль голову и призадумался.

И вотъ Максимъ Максимычъ весь передъ вами, съ своимъ взглядомъ на вещи, съ своимъ оригинальнымъ способомъ выраженія! Вы еще такъ мало видёли его, такъ мало познакомились съ нимъ, а уже передъ вами не призракъ, волею или неволею принужденный авторомъ служить связью, или вертъть колесо его разсказа, а типическое лице, оригипальный характеръ, живой человъкъ! Такъ осуществляють свои идеалы истинные художники: двѣ, три черты — и передъ вами, какъ живая, словно на яву, стоитъ такая характеристическая фигура, которой вы уже никогда не забудете... «Туть онъ началъ щинать лёвый усъ, повёсилъ голову и призадумался»: какъ много сказано въ этихъ немногихъ, простыхъ словахъ, какую ръзкую черту проводятъ они по физіономін Максима Максимыча, какъ много объщають, какъ сильно разманиваютъ любопытство читателя!... Принявъ поданный ему стаканъ чая, Максимъ Максимычъ отхлебнулъ и сказалъ какъ будто про себя: «да, бываетъ!» Но мы еще должны и сколько поговорить словами самого автора:

^{—&}quot;Не хотите ли подбавить рома?—сказалъ и моему собесъднику, —у меня есть бълый изъ Тифлиса: теперь холодно.

[—] Нътъ-съ, благодарствуйте, не нью.

^{--,} Что такъ?"

[—] Да такъ. Я далъ себъ заклятіе. Когда былъ еще подпоручикомъ, разъ, знасте, мы подгуляли между собою, а ночью сдълалась тревога; вотъ мы и вышли передъ фронтомъ на весель, да ужь и досталось намъ, когда Алексвй Петровичъ узналъ: не дай Господи какъ онъ разсердился! Чуть-чуть не отдалъ подъ судъ. Оно и точно: другой разъ цълый годъ живешь, никого не видишь, да какъ тутъ еще водъяс—пропадшій человъкъ!

Услышавъ это я почти потерялъ надежду.

[—] Да вотъ хоть Черкесы, продолжалъ онъ: какъ напьются бузы на свадьбъ или на похоронахъ, такъ и пошла рубка. Я разъ на силу ноги унесъ, а еще у мирнова князя былъ въ гостихъ.

^{-- &}quot;Какъ же это случилось?"

Вотъ начало поэтической исторіи «Бэлы» Максимъ Мак-Соч. В. Бълинскаго. Ч. III.

симычь разсказываль ее по своему, своимь языкомь; по оть этого она не только инчего не потеряла, по безконечно много выпграла. Добрый Максимь Максимычь, самь того не зная, сдвлался поэтомь, такь что въ каждомь его словь, въ каждомь выражении заключается безконечный мірь поэзін. Не знаемь, чему здісь болье удивляться: тому ли, что поэть, заставивь Максима Максимыча быть только свидітелемь разсказываемаго имь событія, такь тьено слиль его личность съ этимь событіемь, какь будто бы самь Максимы Максимычь быль его героемь; или тому, что онь съумісль такь поэтически, такь глубоко взглянуть на событіе глазами Максима Максимыча и разсказать это событіе языкомъ простымь, грубымь, по всегда живописнымь, всегда трогательнымь и потрясающимь даже въ самомъ комизмь своемь?...

Когда Максимъ Максимычъ стоялъ въ крѣпости за Терекомъ, къ нему вдругъ явился офицеръ, прикомандированный къ его крѣпости.

[—] Его звали... Григорьемъ Александровичемъ Печоринымъ, славный былъ малый, смъю васъ увърить; только немножко странснъ. Въдь, напремъръ, въ дождикъ, въ холодъ, цълый день на охотъ; всъ иззябнутъ, устанутъ, а ему ничего. А другой разъ сплитъ у себи въ компатъ: вътеръ пахнетъ—увъряетъ, что простудился; ставнемъ стукнетъ, сиъ вздрагиваетъ и поблъднъетъ: а при мнъ ходилъ на кабана одинъ на одинъ; бывало, по цълымъ часамъ слова не добъешься, за то ужь иногда, какъ начнетъ разсказывать, такъ животики надорешь со смъха. Да-съ, съ большими странностями, и должно быть, богатый человъкъ; сколько у него было разныхъ дорогихъ вещицъ?...

^{— &}quot;А долго ли онъ съ вами жилъ?" сиросилъ я опить.

— Да съ годъ. Ну да ужь за то памятенъ мив этотъ годъ; надвлалъ онъ много хлопотъ, не тъмъ будь помянутъ! Въдь есть, право, этакіе люди, у колоры съ на роду написано, что съ ними должны случаться разные необыкновенные вещи

^{—&}quot;Необыкновенныя!" восклыкнулья, съ видомъ любопытства, подливая ему чая.

⁻ А вотъ я ванъ разскажу.

Недалеко отъ крипости жилъ мириой киязь, сынъ котораго, мальчикъ лътъ пятнадцати, повадился ъздить въ кръпость. Нечоринъ и Максимъ Максимычъ любили и баловали его. Это былъ прототипъ Черкеса, безъ преувеличенія п безъ искаженія. Головорьзъ, проворный на все, по словамъ Максима Максимыча: онъ поднимать шапку на всемъ скаку, мастерски страляль изъ ружья, и быль ужасно падокъ на деньги. Если его дразнили, глаза его наливались кровью, а рука хваталась за кинжаль. «Эй, Азамать, —говориль ему Максимъ Максимычъ: — не спосить тебъ головы: ямащъ будеть твоя башка!» Однажды старый князь прівхаль въ кръпость и позваль Максима Максимыча и Печорина на свадьбу своей дочери. Когда они прійхали въ ауль, прятавшіяся отъ нихъ женщины не показались красавицами Печорину. «Погодите, сказалъ я, усмъхансь (говорилъ Максимъ Максимычь). У меня было свое на умѣ».

Изъ этого мъста разсказа Максима Максимыча можно получить самое върное попятіе о нравахъ и обыкновеніяхъ дикихъ Черкесовъ, хоти для ихъ описанія опъ и не дълаетъ отступленій. Какъ къ почетному гостю, къ Печорину подошла меньшая дочь хозянна, прекрасная дъвушка лътъ шестнадцати, и пропъла ему...

- Какъ бы сказать?... въ родъ комплимента.
- -"А что-жь такое она пропада, не помните ли?
- Да, кажетси, вотъ такъ: стройны, дескать, наши молодые джигиты, и кафтаны на нихъ серебромъ выложены, а молодой русскій офицеръ стройнъе ихъ, и галуны на немъ золотые. Онъ какъ тополь между ними; только не расти, не целсти ему въ нашемъ саду.

Нечоринъ всталъ, приложилъ руку ко лбу и сердцу, а Иаксимъ Максимычъ перевелъ ей его отвътъ, ибо опъ хорошо зналъ по ихиему. «Какова» шепнулъ опъ Печорину.— Прелесть! А какъ ее зовутъ?—«Бэлою».

«И точно (говорилъ Максимъ Максимычъ), она была хороша: высокая, топенькая, глаза черпые, какъ у горпой серны, такъ и заглядывали вамъ въ душу». Печоринъ въ задумчивости не сводилъ съ нея глазъ, но не одинъ онъ смотръль на нее. Въ числъ гостей былъ Черкесъ Казбичъ. Опъ былъ и мирнымъ и немирнымъ, смотря но обстоятельствамъ; подозрѣній было на него множество, хоть онъ не быль замьчень ни въ какой шалости. Но мы почитаемъ необходимымъ вполив обрисовать это лице, и именно словами Максима Максимыча. «Говорили про него, что онъ любитъ таскаться за Кубань съ абреками, и, правду сказать, рожа у него была самая разбойничья: маленькій, сухой, широкоплечій... А ужь ловокъ-то, ловокъ-то быль, какъ бъсъ! Бешметъ всегда изорванный, въ заплаткахъ, а оружіе въ серебръ. А лошадь его славилась въ цълой Кабардъ, — и точно, лучше этой лошади инчего выдумать невозможно. Недаромъ ему завидовали вст натадники, и не разъ пытались ее украсть, только неудавалось. Какъ теперь гляжу на эту лошадь: вороная какъ смоль, ноги-струнки, глаза не хуже, чъмъ у Бэлы, а какая сила! скачи хоть на 50 версть; а ужь выважана-какъ собака бъгаетъ за хозянномъ, голось даже его знала! Бывало, онъ ее никогда и не привязываеть. Ужь такая разбойническая лошадь»!...

Въ этотъ вечеръ Казбичъ былъ угрюмъе обыкновеннаго, и Максимъ Максимычъ замътивъ, что у него подъ бешметомъ надъта кольчуга, тотчасъ подумалъ, что это не даромъ. Такъ какъ въ саклъ стало душно, онъ вышелъ освъжиться, и вздумалъ кстати провъдать лошадей. Тутъ, за заборомъ, онъ подслушалъ разговоръ: Азаматъ похваливалъ лошади Казбича, на которую давно зарился, а Казбичъ, подстрекнутый этимъ, разсказывалъ о ен достоинствахъ и услугахъ, которыя она ему оказала, не разъ спасая его отъ върной смерти. Это мъсто повъсти вполиъ знакомитъ читателя съ Черкесами, какъ съ племенемъ, и въ немъ могучею художническою кистію обрисованы характеры Азамата и Казбича, этихъ двухъ ръзкихъ тиновъ черкесской народности. «Еслибъ

у меня быль табунь въ тысячу кобыль, то отдаль бы весь за твоего карагёза», сказалъ Азаматъ. — Иокъ, не хочу, равнодушно отвёчаль Казбичь. Азамать льстить ему, объщаеть украсть у отца лучшую винтовку или шашку, которая, только приложи руку къ лезвію, сама внивается въ тыло, кольчугу... Въ его словахъ такъ и дышеть знойная, мучительная страсть дикаря и разбойника по рожденію, для котораго изтъ ничего въ мір'є дороже оружія или лошади, и для котораго желапіе-медленная нытка на маломъ огив, а для удовлетворенія, жизнь собственная, жизнь отца, матери, брата — инчто. Онъ говорилъ, что съ тъхъ поръ, какъ въ первый разъ увидълъ карагёза, когда онъ кружился и прыгаль подъ Казбичемь, раздувая поздри, и кремни брызгами летъли изъ-подъ конытъ его, что съ тъхъ поръ въ его душъ сдълалось что-то непонятное, все ему опостылёло... Можно подумать что онъ разсказывалъ о любви или ревности, чувствахъ, которыхъ действіе часто бываеть такъ страшно и въ людихъ образованныхъ, а тъмъ страшиве въ дикаряхъ. «На лучшихъ скакуновъ моего отца смотрѣлъ я съ презрѣніемъ (говорилъ Азаматъ), стыдно было мпѣ на пихъ показаться, и тоска овладъла мной; и, тоскуя, просиживаль и на утест цълые дии, и ежеминутно мыслямъ моимъ является вороной скакупъ твой съ своей стройной поступью, съ своимъ гладкимъ, примымъ, какъ стръла, хребтомъ; онъ смотръдъ миъ въ глаза своими бойкими глазами, какъ-будто хотълъ слово вымолвить. Я умру, Казбичъ, если ты мић не продашь его!» Проговоривъ это дрожащимъ голосомъ, онъ заплакалъ. Такъ, по крайней мъръ, показалось Максиму Максимычу, который зналъ Азамата, какъ преупрямаго мальчишку, у-котораго пичемъ пельзя было вышибить слезъ, когда онъ былъ и моложе. По въ отвътъ на слезы Азамата послышалось что-то въ родъ смъха. «Послушай!» сказалъ твердымъ голосомъ Азаматъ: «видишь, я на все ръшаюсь. Хочешь, я украду для тебя мою сестру? Какъ она

пляшеть! какъ поеть! а вышиваеть золотомъ — чудо! Не бывало такой жены и у турецкаго падишаха... Неужели не стоитъ Бэла твоего скакуна?...»

Казбичъ долго молчалъ, и наконецъ, вивсто отвъта, затянулъ виолголоса старинцую пъсию, въ которой коротко и ясно выражена вси философія Черкеса:

Много красавицъ въ аулахъ у насъ, Звъзды сіяютъ во мракъ ихъ глазъ, Сладко любить ихъ, завидная доля; Но веселъй молодецкая воля. Золото купить четыре жены, Конь же лихой не имъетъ итны: Онъ и отъ вихря въ степи не отстанетъ, Опъ не измънитъ, онъ не обманетъ.

Напрасно Азаматъ упрашивалъ, плакалъ, льстилъ ему. «Поди прочь, безумный мальчишка! Гдѣ тебѣ ѣздить на моемъ конѣ! На первыхъ трехъ шагахъ опъ тебя сброситъ, и ты разобъешь себѣ затылокъ о камни!» «Меня!» крикнулъ Азаматъ въ бѣшенствѣ, и желѣзо дѣтскаго кинжала зазвенѣло о кольчугу. Казбичъ оттолкиулъ его такъ, что опъ упалъ и ударился головою о илетень. «Будетъ потѣха!» подумалъ Максимъ Максимъчъ, взиуздалъ коней и вывелъ ихъ на задній дворъ. Между тѣмъ, Азаматъ вбѣжалъ въ саклю въ разорванномъ бешметѣ, говоря, что Казбичъ хотѣлъ его зарѣзатъ. Подиялся гвалтъ, раздались выстрѣлы, по Казбичъ уже вертѣлся на своемъ конѣ среди улицы, и ускользнулъ.

Дпя черезъ четыре прівхаль въ крѣпость Азаматъ. Печоринъ началъ ему расхваливать лошадь Казбича. У Татар-

^{— &}quot;Никогда себъ не прощу одноге: чортъ меня дернулъ, прівхавъ въ кръпость, пересказать Григорію Александровичу все, что я слышалъ, сида за заборомъ; онъ посмъился—такой хитрый! а самъ задумалъ кое-что.

[—] А что такое? разскажите, пожалуйста.

^{— &}quot;Ну ужь нечего дълать, началь разсказывать, такъ надо продолжать.

ченка засверкали глаза, а Печоринъ будто не замъчаетъ; Максимъ Максимычъ заговоритъ о другомъ, а Печоринъ сведеть разговорь на лошадь. Это продолжалось недъли три: Азаматъ видимо блъдиъль и чахиулъ. Короче: Печоринъ предложиль ему чужаго коня за его родную сестру; Азамать задумался: не жалость къ сестръ, а мысль о мщенін отца потревожила его, по Печоринъ кольнулъ его самолюбіе, назвавъ ребенкомъ (названіе, которымь вет діти очень оскорбляются!). а карагёзъ такая чудная лошадь!... И вотъ однажды Казбичъ прівхалъ въ крвность и спрашиваетъ, не надо ли барановъ и меда: Максимъ Максимычъ велълъ привести на другой день. «Азаматъ! сказалъ Нечоринъ, завтра карагёзъ въ монхъ рукахъ; если нынче ночью Бэла не будетъ здъсь, не видать тебъ коня». Хорошо! сказаль Азамать, поскакаль въ аулъ, и въ тотъ же вечеръ Печоринъ возвратился въ крѣность, вмѣстѣ съ Азаматомъ, у котораго, поперегъ сѣдза (какъ видёлъ часовой), лежала женщина, съ связанными ногами и руками, съ головою, опутапною чардой. На другой день Казбичъ явился въ кръпости съ своимъ товаромъ; Максимъ Максимычъ попотчивалъ его чаемъ, и потому что (говоридъ онъ), хотя разбойникъ онъ, «а все-таки былъ моимъ купакомъ». Вдругъ Казбичъ посмотрѣлъ въ окно, вздрогнуль, ноблёднёль, и съ крикомъ: «моя лошадь! лошадь!» выбъжаль вонь, перескочиль черезъ ружье, которымъ часовой хотель загородить ему дорогу. Вдали скакаль Азамать; Казбичь выхватиль изъ чехла ружье, выстрелиль и, уверившись, что даль промахъ, завизжалъ, въ дребезги разбилъ ружье о камень, повалился на землю и зарыдаль какъ ребеновъ. Такъ продолжаль онъ до поздней ночи и цълую ночь, не дотрогиваясь до денегь, которыя вельль положить подль него Максимъ Максимычъ за барановъ. На другой день, узнавши отъ часоваго, что похититель быль Азамать, онъ засверкаль глазами и отправился отыскивать его. Отца Бэлы въ это время не было дома, а возвратившись, опъ не нашелъ ин дочери, ин сына...

Какъ только Максимъ Максимычъ узналъ, что Черкешенка у Печорина, опъ надълъ эполеты, шпагу, и пошелъ къ нему.

- --" Γ . прапорщикъ, вы сд \pm лали проступокъ, за который и я могу отв \pm чать...
 - И, полноте! что жь за бъда? Въдь у насъ давно все пополамъ.
 - -- Что за шутки! пожалуйте вашу шпагу!
 - Митька шпагу!

Митька принесъ шпагу. Исполнивъ долгъ свой, сѣлъ я къ нему на кровать и сказалъ. "Послушай, Григорій Александровичъ; признайся, что не хорошо.

- Что не хорошо?
- —"Да то, что ты увезъ Бэлу... Ужь эта мнъ бестія Азаматъ!... Ну, признайся", сказаль я ему.
 - Да когда она мив нравится?

Ну, что прикажете отвъчать на это? Я сталь въ тупикъ. Однакожь, послъ нъкотораго молчанія, и ему сказаль, что если отецъ станстъ требовать, надо будеть ее отдать.

- Вовсе не надо.
- "Да онъ узнаетъ, что она здъсь?
- А какъ онъ узнаетъ?
- Я опять сталь въ тупикъ.
- Послушайте, Максимъ Максимычъ, сказалъ Печоринъ, приподнявнись: въдь вы добрый человъкъ, а если отдадимъ дочь этому дикарю онъ ее заръжетъ, или продастъ. Дъло сдълано, не надо только охотою портить; оставъте ее у меня, а у себя мою шпагу...
 - "Да покажите мнв ее" сказаль я.
- Она за этою дверью; только и самт нынче напрасно хотъль ее видъть; сидить въ углу, закутавшись въ покрывало, не говорить и не смотрить: пуглива, какъ дикая серна. Я наняль нашу духанщицу, она знаетъ по-татарски, будетъ ходить за нею и пріучить ее къ мысли, что она моя, потому что она никому не будетъ принадлежать, кромъ мени" прибавиль онъ, ударивъ кулакомъ по столу. Я и въ этомъ согласилси... Что же прикажете дълать! Есть люди, съ которыми непремънно должно согласиться.

Нътъ инчего тяжеле и пепріятите, какъ излагать содержаніе художественнаго произведенія. Цтль этого изложенія пе состоить въ томъ, чтобъ ноказать лучшія мъста: какъ бы инбыло хорошо мъсто сочиненія, оно хорошо по отно-

шенію къ цълому, слъдовательно, изложеніе содержанія должно имъть цълію-прослъдить идею цълаго созданія, чтобы показать, какъ върно она осуществлена поэтомъ. А какъ это сдълать? цълаго сочиненія переписать нельзя; но каково же выбирать міста изъ превосходнаго цілаго, пропускать иныя, чтобы выписки не перешли должныхъ границъ? И потомъ, каково связывать выписанныя мёста своимъ прозаическимъ разсказомъ, оставляя въ книгъ тъни и краски, жизнь и душу, и держась одного мертваго скелета? Теперь мы особенно чувствуемъ всю тяжесть и неудобоисполнимость взятой нами на себя обязапности. Мы и до сего мъста терялись во множествъ прекрасныхъ частностей, а теперь, когда начинается важиты шакть повъсти, теперь намъ такъ и хотьлось бы выписать отъ слова до слова весь разсказъ автора, въ которомъ каждое слово такъ безконечно-значительно, такъ глубоко-знаменательно, дышить такою поэтическою жизнію, блестить такимъ роскошнымъ богатствомъ красокъ; а между тымь мы по прежнему принуждены пересказывать по своему, сколько возможно держась выраженій подлинника и выписывая мѣста.

Холодно смотръла Бэла на подарки, которые каждый день приносиль ей Иечоринъ, и гордо оттальнвая ихъ. Долго безуснъщно ухаживаль онъ за нею. Между тъмъ, онъ учился по-татарски, а она начинала понимать по-русски. Она стала изръдка и посматривать на него, по все изъ подлобъя, изкоса, и все грустила, нанъвала свои иъсни внолголоса, «такъ что (говорилъ Максимъ Максимычъ), бывало и миъ становилось грустно, когда слушаль ее изъ сосъдней комнаты.» Уговаривая ее полюбить себя, Иечоринъ спросилъ ее, не любитъ ли она какого-инбудь Чеченца, и прибавилъ, что въ такомъ случаъ онъ сейчасъ отпустить ее домой. Она вздрогнула едва примътно и покачала головой... «Или я тебъ совершенио ненавистенъ?» Она вздохнула. «Или твоя въра запрещаетъ полюбить меня?» она поблъдиъла и молчала. Потомъ онъ ей ска-

залъ, что Аллахъ одинъ для всёхъ племенъ, и что если онъ ему нозволить полюбить ее, то почему же запретить ей полюбить его. Этотъ доводъ, казалось, поразиль ее, и въ ея глазахъ выразилось желаніе уб'єдиться. «Если ты будешь грустить, говориль опъ ей: я умру. Скажи, ты будешь веселъй?» Опа призадумалась, не спуская съ него черныхъ глазъ своихъ, потомъ, улыбнулась и кивнула головой възнакъ согласія. Опъ взялъ ел руку и сталъ ее уговаривать, чтобы она его поцъловала: она слабо защищалась и только повторяла: «поджалуета, поджалуста, не нада, не нада!» Какая граціозная и, въ то же время, какая върная натуръ черта характера! Природа нигдъ не противоръчить себъ, и глубокость чувства, достоинство и граціозность непосредственности такъ же иногда поражають и въдикой Черкешенкъ, какъ и въ образованной женщинъ высшаго тона. Есть манеры столь граціозныя, есть слова столь благоухающія, что одного или одной изъ нихъ достаточно, чтобы обрисовать всего человака, выказать наружу все, что кроется внутри его. Не правда ли: слыша это милое, простодушное «поджалуста, поджалуста, не нада, не нада!» вы видите передъ собою эту очаровательную, черноокую Бэлу, полудикую дочь вольныхъ ущелій, и васъ такъ обаятельно поражаетъ въ ней эта гармонія, эта особенность женственности, которая составляеть всю прелесть, все очарованіе женщины?... Онъ сталь настанвать, она задрожала и заплакала. «Я твоя плънища, твоя раба», говорила опа: «конечно, ты можешь меня принудить»—и онять слезы. «Дьяволь, а не женщина!» сказаль онъ Максиму Максимычу: «только я даю вамъ честное слово, что она будеть мол...»

Однажды онъ вошелъ къ ней, одътый по-черкесски и вооруженный, и сказалъ ей, что онъ виноватъ цередъ нею, что онъ оставляетъ ее хозяйкой всего что имъетъ, даетъ ей волю, и самъ идетъ куда глаза глядятъ, можетъ-бытъ, нодъ пулю...

Онъ отвернулся и протянуль ей руку на прощанье. Она не взяла руки, молчала. Только, стоя за дверью, я могъ нъ щель разсмотръть ея лице; и мнъ стало жаль, такая смертельная блъдность покрыла это милое личико! Не слыша отвъта, Печоринъ сдълалъ нъсколько шаговъ къ двери, опъ дрожилъ, и сказать ли вамъ? я думаю, онъ въ состояни былъ исполнить въ самомъ дълъ то, о чемъ говорилъ шутя. Таксвъ ужъ былъ человъкъ, Богъ его знаетъ! Только онъ едва коснулси двери, какъ она вскочила, зарыдала и бросилась ему на шею. Повърите ли? я, стоя за дверью, также заплакалъ, то-есть, знаете, не то, чтобы заплакадъ, а такъ глупость!...

Штабсъ-капитанъ замолчалъ.

 Да, признаюсь, сказалъ онъ потомъ, теребя усы: мнъ стало доседно, что никогда ни одна женщина меня такъ не любила.

Скоро узналъ счастливый Печоринъ, что Бэла полюбила его съ перваго взгляда. Да, это была одна изъ тъхъ глубокихъ женскихъ натуръ, которыя полюбитъ мущину тотчасъ, какъ увидятъ его, но признаются ему въ любви не тотчасъ, отдадутся не скоро, а отдавшисъ, уже не могутъ больше принадлежать ни другому, ни самимъ себъ... Поэтъ не говоритъ объ этомъ ни слова, но потому-то онъ и поэтъ, что, не говоря инаго, даетъ знатъ все... Они были счастливы, но не завидуйте имъ, читатель: кто смъетъ надъяться на прочное счастіе въ жизни?... Минута ваша, ловите же ее, не надъясь на будущее... Не долго продолжалось и твое блаженство, бъдная, милая Бэла!...

Вскоръ Печоринъ и Максимъ Максимычъ узнали, что отецъ Бэлы былъ убитъ Казбичемъ, подозръвавшимъ его въ участін въ нохищеніи карагёза. Отъ Бэлы долго скрывали это, пока она не привыкла къ своему положенію; когда же ей сказали, она два дин плакала, а потомъ забыла. Четыре мѣсяца все шло хорошо. Печоринъ такъ любилъ Бэлу, что забылъ для нея охоту, и не выходилъ за крѣпостной валъ. Но вдругъ сталъ онъ задумываться, ходить по комнатъ, заложивъ руки на спину. Одпажды, никому не сказавшись, отправился на охоту и пропадалъ цълое утро, потомъ опять, и все чаще и чаще. «Пехорошо (подумалъ Максиъ Максиъ

мычъ): върно между ними пробъжала черная кошка!» Въ одно утро опъ зашелъ къ нимъ, и увидълъ Бэлу такою блъдненькою, такою печальною, что испугался. Опъ сталъ ее утъшать. Сообщая ему свои страхи и опасенія, она сказала ему:

- "А нынче мив ужь кажется, что онъ меня не любитъ."
- Право, милая, ты хуже ничего не могла придумать! Она заплакала, потомъ съ гордостью подняла голову, отерла слезы и продолжала:
- "Если онъ меня не любить, то кто ему мешаеть отослать меня домой? Я его ве принуждаю. А если это такъ будеть продолжаться, то я сама уйду: я не раба его, я княжеская дочь!..."

Утъшая ее Максимъ Максимычъ замътилъ ей, что если она будетъ грустить, то скоръе наскучитъ Печорину.

- "Правта, правда, отвъчала она; я буду весела! П съ хохотомъ схватила свой бубенъ, начала пъть, плясать и прыгать около меня; только и это не было продолжительно, она упала на постель и закрыла лице руками.
- Что было мит съ нею дълать? Я, знаете, никогда съ женщинами не обращался: думаль, думаль, чти ее уттишить, и ничего не придумаль; нъсколько времени вы оба молчали... Пренепріятное положеніе-съ.

Вышедши съ нею прогуляться за крѣпость, Максимъ Максимычъ увидѣлъ Черкеса, который вдругъ выѣхалъ изъ лѣса и, саженихъ во ста отъ нихъ, пачалъ какъ бѣшенный кружиться: Бэла узиала въ немъ Казбича...

Наконецъ Максимъ Максимычъ объяснился съ Печоринымъ насчетъ его охлажденія къ Бэлѣ, и Печоринъ сознался въ этомъ. Итакъ, Печоринъ охладѣлъ къ бѣдной Бэлѣ, которая любила его еще больше. Опъ не знаетъ самъ причины своего охлажденія, хотя и силится найти ее. Да, иътъ ничего труднѣе, какъ разбирать языкъ собственныхъ чувствъ, какъ знать самого себя! И объясненія автора для пасъ такъ же неудовлетворительны, какъ и для Максима Макси-

мыча, которому онъ ихъ сообщилъ. Можетъ быть, и тутъ та-же причина, и въ отношении къ автору, и въ отношеніе къ намъ: нѣтъ пичего трудпѣе, какъ знать и понимать самихъ себя!... Но тъмъ неменъе, мы предложимъ и наше ръшеніе, или, лучше сказать, и наше гаданіе объ этомъ столько же общемъ, сколько и грустномъ феноменъ человъческаго сердца, который особенно часть и поразителень въ современномъ обществъ. Въ числъ причинъ скораго охлажденія Печорина къ Бэлъ не было ли причиною его и то, что для безсознательнаго, чисто естественнаго, хотя и глубокаго чувства Черкешенки Печоринъ былъ полнымъ удовлетвореніемъ, далеко превосходящимъ самыя дерзкія ея требованія; тогда какъ духъ Печорина пе могъ найдти своего удовлетворенія въ естественной любви полудикаго существа. Къ тому же, въдь одно наслаждение далеко еще не составляеть всёхъ потребностей любви, а что могла дать Нечорину любовь, кром'т наслажденія? О чемъ могъ опъ говорить съ нею? что оставалось для него въ ней перазгаданнаго? Для любви нужно разумное содержаніе, какъ масло для поддержки огня: любовь есть гармоническое сліяніе двухъ родственныхъ натуръ въ чувство безконечнаго. Въ любви Бэлы была сила, но не могло быть безконечности: сидъть съ глаза на глазъ съ возлюбленнымъ, ласкаться къ нему, принимать его ласки, предугадывать и ловить его желанія, млъть отъ его лобзаній, замирать въ его объятіяхъ, — вотъ все, чего требовала душа Бэлы; при такой жизни и въчность показалась бы для нея мгновещемъ. Но Печорина такая жизнь могла увлечь не больше, какъ на четыре мъсяца, н еще надо удивляться силъ его любви къ Бэлъ, если она была такъ продолжительна. Спльная потребность любви часто принимается за самую любовь, если представится предметь, па который она можетъ устремиться; препятствія превращають ее въ страсть, а удовлетворение уничтожаетъ. Любовь Бэлы была для Печорина полнымъ бокаломъ сладкаго

нанитка, который опъ и вынить заразъ, не оставивъ въ немъ ни каили; а душа его требовала не бокала, а океана, изъ котораго можно ежеминутно чернать, не уменьшая его...

Однажды Печоринъ отправился съ Максимъ Максимычемъ на охоту за кабаномъ. Съ ранняго утра часовъ съ десяти напрасно искали они его; Максимъ Максимычъ уговаривалъ своего товарища воротиться, не тутъ-то было: несмотря ни на зной, ин на усталость, тоть не хотёль воротиться безь добычи. «Таковъ ужь быль человѣкъ: что задумаетъ, подавай, видио въ дътствъ былъ маленькій избалованъ». Однакожь, послъ полудия, они безъ инчего подъезжали къ крепости. Вдругъ выстръль: оба они взглянули другь на друга и опрометью поскакали на выстрель. Солдаты въ кучку собрадись на валу и указывали въ ноле, а тамъ летитъ стремглавъ всадникъ и держить что-то бълое на съдлъ. Это быль Казбичь, похитившій неосторожную Бэлу, которая вышла за крыпость къ рык. Нечорину удалось ранить въ ногу его коня. Казбичъ занесъ руку надъ Бэлою, Максимъ Максимычъ выстралилъ и, кажется, раниль его въ плечо; дымь разсвялся — на землв лежала раненная лошадь, и возлів нея Бэла, а Казбичь, какъ кошка карабкался на утесъ, и скоро скрылся. Опи къ Бэль-она была ранена, и кровь лилась изъ раны ручьями...

^{-&}quot;И Бэла умерла?

[—] Умерла; только долго мучилась, и мы уже съ нею измучились порядкомъ. Около десяти часовъ вечера она пришла въ себя; мы сидъли у постели; только что она открыла глаза, начала звать Печорина. — Я здъсь, подлъ тебя, моя джачечка (то есть, по нашему, душенька), отвъчалъ онъ, взявъ ее за руку. — "Я умру! " сказала она. — Мы началя ее утъщать, говорили, что лъкарь объщалъ ее вылъчить непремънно, — она покачала головой и отвернулась къ стънъ: ей не хотълось умирать!...

[—] Ночью она начала бредить; голова ея горъла, по всему тълу иногда пробъгала дрожь лихорадки; она говорила несвизныя ръчи объ отцъ, братъ: ей хотълось въ горы, домой... Потомъ она также говорила о Печоринъ, давая ему разныя названія, или упрекала его въ томъ, что онъ разлюбилъ свою джанечку.

— Онъ слушаль ее молча, опустивъ голову на руки; но только и во все времи не замътилъ ни одной слезы на ръсницахъ его; въ самомъ ли дълъ онъ не могъ плакать, или владъть собою — не знаю; что до меня, то и ничего жальче этого не видывалъ.

Передъ смертью хринлымъ голосомъ закричала она: «воды! воды?»

- Онт сдвлался бледент какт полотно, схватиль стакант, налиль и подаль ей. Я закрыль глаза руками и сталь читать молитву, не номню, какую... Да, батюшка, видаль я много, какт люди умпрають въ госпиталяхъ и на поль сраженія, только все это не то, совствы не то!... Еще, признаться, меня воть что печалить: она передъ смертію ни разу не вспоминала обо мнт: кажется, я ее любиль какть отецъ... Ну да богь ее простить... И въ правду мольшть: что же я такое, чтобъ обо мнт вспоминать передъ смертью?..
- Только-что она испила воды, какъ ей стало легче, а минуты черезъ три она скончалась. Приложили зеркало къ губамъ—гладко!... Я вывелъ Печорина вонъ изъ комнаты, и мы пошли на кръпостный валъ; долго мы ходили взадъ и впередъ рядомъ, не говори ни слова, загнувъ руки на синчу его лице ничего не выражало особеннаго, и мнъ стало досадно. Я бы на его мъстъ умеръ съ горя Наконецъ, онъ сълъ на землъ, въ тъни, и началъ что-то чертить палочкой на нескъ. Я, знаете, больше для приличія, хотълъ утънить его, началъ говорить; онъ поднялъ голову и засмънлся... У меня морозъ пробъжалъ по кожъ отъ этого смъха. Я пошелъ заказывать гробъ....
- На другой день, рано утромъ, мы ее похоронили за кръпостью, у вала, гдъ она въ послъдній разъ сидъла; кругомъ ея могилы разрослись кусты облой акаціи и бузины. Я хотълъ было поставить кресть, да, знаете, пеловко: все-таки она была не христіанка...

Просимъ извиненія за множество выписокъ, и у автора и у тѣхъ изъ читателей, которые прочтутъ нашу статью прежде романа: заманчивость перваго чтенія, сила и прелесть перваго впечатлѣнія будутъ для нихъ навсегда потеряны. Впрочемъ, едва ли кто и не читалъ «Бэлы»; она напечатана въ «Отечественныхъ Запискахъ» еще въ прошедшемъ году, да и самый романъ давно уже вышелъ въ свътъ. Что же касается до тѣхъ, которые прочтутъ нашу статью уже послѣ романа, у нихъ черезъ это ночти ничего не отнимается; напротивъ, если мы

только хорошо сдёлали паше дёло, они вновь перечувствуютъ уже испытанное наслажденіе, и еще съ большею силою. Во всякомъ случав, намъ не было никакой возможности избъжать этихъ выписокъ. Мы хотъли, чтобы въ нашемъ изложении содержанія романа видны были и характеры дійствующих влиць, и сохранена была внутренняя жизненность разсказа, равно какъ и его колорить; а этого невозможно было сдълать, ноказавъ одинъ скелетъ содержанія, или его отвлеченную мысль. Да н въ чемъ содержание повъсти? Русский офицеръ похитилъ Черкешенку, сперва сильно любилъ ее, по скоро охладълъ къ ней; потомъ Черкесъ увезъ было ее, но видя себя почти пойманнымъ, бросилъ ее, нанесши ей рану, отъ которой она умерла: вотъ и все тутъ. Не говоря о томъ, что тутъ очень немного, тутъ еще ивтъ и инчего ни поэтическаго, ни особеннаго, ни занимательнаго, и все обыкновенно до пошлости, истерто. Но что же необыкновеннаго, или поэтическаго, папримъръ, и въ содержаніи Шекспирова «Отелло»? Мавръ убилъ страстно любимую имъ жену изъ ревности, которую съ умысломъ возбудилъ въ немъ хитрый злодъй: развъ и это тоже не истерто и не обыкновенно до пошлости? Развъ не было написано тысячи повъстей, романовъ, драмъ, содержаніе которыхь — мужъ или любовникъ, убивающій изъ ревности певинную жену или любовницу? Но изъ всей этой тысячи, только одного «Отелло» знаетъ міръ и одному ему удивляется. Значитъ: содержание не во вижшней формъ, не въ сцъпленін случайностей, а въ замыслѣ художника, въ тѣхъ образахъ, въ тъхъ тъпяхъ и переливахъ красокъ, которыя представлялись ему еще прежде, нежели онъ взялся за перо, словомъ-въ творческой концепціи. Художественное созданіе должно быть вполив готово въ душв художника прежде, пежели онъ возьмется за перо: написать, для пего уже-второстепенный трудъ. Онъ долженъ сперва видъть передъ собою лица, изъ взаимныхъ отношеній которыхъ образуется его драма или повъсть. Онъ пе обдумываетъ, не разчисляетъ,

не теряется въ соображеніяхъ: все выходитъ у него само собою, и выходитъ такъ какъ должно. Событіе развертывается изъ идеи, какъ растеніе изъ зерна. Потому-то и читатели видятъ въ его лицахъ живыя образы, а не призраки, радуются ихъ радостями, страдаютъ ихъ страданіями, думаютъ, разсуждаютъ и спорятъ между собою о ихъ значеніи, ихъ судьбѣ, какъ будто дѣло идетъ о людяхъ, дѣйствительно существовавшихъ и знакомыхъ имъ. Этого нельзя сдѣлатъ, сперва придумавши отвлеченное содержаніе, т. е. какую-нибудь завязку и развязку, а потомъ уже придумавши лица и волею или неволею заставивши ихъ играть сообразныя съ сочиненною цѣлію роли. Вотъ ночему изложеніе содержанія такъ затруднительно для критика и безъ выписокъ нельзя ему обойтись: надо сдѣлать его кратко и заставить говорить само за себя разбираемое твореніе.

Глубокое впечатльніе оставляеть посль себя «Бэла»: вамъ грустно, но грусть ваша легка, свътла и сладостна; вы летите мечтою на могилу прекрасной, но эта могила не страшна: ее освъщаеть солице, омываеть быстрый ручей, котораго ропотъ, вмѣстѣ съ шелестомъ вѣтра въ листахъ бузины и бълой акаціи, говорить вамь о чемъ-то таниственномъ и безконечномъ, и надъ нею, въ свътлой вышинъ, летаетъ и носится какое-то прекрасное видъніе, съ блъдными ланитами, съ выражениемъ укора и прощения въ черныхъ очахъ, съ грустною улыбкою... Смерть Черкешенки не возмущаетъ васъ безотраднымъ и тяжелымъ чувствомъ, ибо опа явилась не страшнымъ скелетомъ по произволу автора, по вслъдствіе разумной необходимости, которую вы предчувствовали уже, и явилась свътлымъ ангеломъ примиренія. Диссонансъ разръшился въ гармоническій аккордъ, и вы съ умиленіемъ повторяете простыя и трогательныя слова добраго Максима Максимыча: «Нътъ, она хорошо сдълала, что умерла! ну, что-бы съ ней сталось, еслибъ Григорій Александровичь ее покинулъ? А это бы случилось рано или поздно!...»

II съ какимъ безконечнымъ искусствомъ обрисованъ граціозный образъ плънительной Черкешенки! Она говорить и дъйствуетъ такъ мало, а вы живо видите ее передъ глазами во всей определенности живаго существа, читаете въ ея сердце, проникаете всв изгибы его... А Максимъ Максимычъ, этотъ добрый простакъ, который и не подозрѣваетъ, какъ глубока и богата его натура, какъ высокъ и благороденъ опъ? Онъ, грубый солдать, любуется Бэлою, какъ прекраснымъ дитятею, любить ее, какъ милую дочь-и за что?-спросите его, такъ онъ отвътить вамъ: «не то, чтобы любилъ, а такъ — глуность!» Ему досадно, что его пи одна женщина не любила такъ, какъ Бэла Печорина; ему грустно, что опа невспомнила о немъ передъ смертью, хоть онъ и самъ сознается, что это съ его стороны пе совсъмъ справедливое требованіе... Останавливаться ди на этихъ чертахъ, столь полныхъ безконечностію? Нётъ, онё говорять сами за себя; а тѣ, для кого онъ нъмы, тъ не стоятъ, чтобъ тратить съ ними слова и время. Простая красота, которая есть одна истинная красота, не для всъхъ доступна: у большой части людей глаза такъ грубы, что на нихъ дъйствуетъ только пестрота, узорочность и красная краска, густо и ярко намазанная... Характеры Азамата и Казбича — это такіе типы, которые будутъ равно попятны и Англичанину, и Нёмцу, и Французу, какъ понятны они Русскому. Вотъ что называется рисовать фигуру во весь рость, съ національною физіономіею и въ національномъ костюмъ!...

Обратите еще вниманіе на эту естественность разсказа, такъ свободно развивающагося, безъ всякихъ натяжекъ, такъ плавно текущаго собственною силою, безъ помощи автора. Офицеръ, возвращающійся изъ Тифлиса въ Россію, встръчается въ горахъ съ другимъ офицеромъ; одинокость дорожнаго положенія даетъ одному право начать разговоръ съ другимъ и такъ естественно доводитъ ихъ до знакомства. Одинъ предлагаетъ чай съ ромомъ — тотъ отказывается, говоря,

что, по одному случаю онъ зарекся пить. Очень естественно, что сидя въ дымной и гадкой скаль, путешественникъ заводить съ товарищемъ разговоръ объ обитателяхъ скалы: товарищь этоть пожилой офицерь, много лъть проведшій на Кавказъ, естественно, очень охотно разговорился объ этомъ предметъ. Вопросъ молодаго офицера; «А что, много съ вами бывало приключеній?» такъ же естественъ, какъ и отвътъ пожилаго: «Какъ не бывать! бывало...» Но это не приступъ къ повъсти, а только еще, какъ и должно, слабая надежда услышать повъсть: авторъ не погоняеть обстоятельствъ, какъ лошадей, но даетъ имъ самимъ развиться. Опъ предлагаетъ Максиму Максимычу чай съ ромомъ: тотъ отказывается отъ рома, говоря, что зарекся пить. Вопросъ: «почему?» молодаго офицера такъ же не можетъ быть сочтень натяжкою, какъ откликъ человъка, когда его зовутъ. Отвътъ Максима Максимыча, въ которомъ онъ говорить о случай, заставившемъ его заречься пить вино, уже ожидается самимъ читателемъ. Случай этотъ чисто кавказскій: офицеры пировали, какъ вдругъ сдълалась тревога. Но разсуждение Максима Максимыча, что иногда годъ живи — тревоги ивтъ «да какъ тутъ еще водка-пропадшій человъкъ: отнимаетъ всякую надежду на повъсть; какъ вдруъ опъ обращается къ Черкесамъ, которые, если напьются бузы, такъ и начнутъ рубиться, и очень естественно вспоминаетъ одинь случай. Онъ и расположень его разсказать, но какъ бы не хочетъ навязываться съ разсказами. Молодой офицеръ. котораго любопытство давно уже сильно возбуждено, по который умфеть умфрить его приличіемъ, съ притворнымъ равнодушіемъ спрашиваеть: «какъ же это случилось?» — Вотъ изволите видъть-и повъсть началась. Исходный пунктъ ея—страстное желаніе мальчика-Черкеса имълъ лихаго коня, и вы помните эту дивную сцену изъ драмы между Азаматомъ и Казбичемъ. Печоринъ человъкъ ръшительный, алчущій тревогь и бурь, готовый рискнуть на все для выполненія даже прихоти своей, — а здёсь дёло шло о чемъ-то гораздо большемъ, чъмъ прихоть. И такъ все вышло изъ характеровъ дъйствующихъ лицъ, по законамъ строжайшей необходимости, а не по произволу автора. Но еще повъсть была простымъ анекдотомъ, и повые знакомые уже пустились въ разсужденія по поводу его, какъ вдругь Максимъ Максимычь, у котораго воспоминание ожило и потребность сообщить его другому возбудилась, какъ бы говоря съ самимъ собою, прибавилъ: «Никогда себъ не прощу одного: чортъ дернулъ меня, прівхавъ въ кръность, пересказать Григорію Акександровичу все, что я слышаль сидя за заборомь; онь посмъялся, такой хитрый!а самъ задумалъ кое что». Что можеть быть естествените, проще всего этого? Такая естественность и простота никогда не могуть быть дъломъ разсчета и соображенія: онъ плодъ вдохновенія.

Итакъ, исторія Бэлы кончилась; по романъ еще только начался, и мы прочли одно вступленіе, которое впрочемъ, и само по себъ, отдъльно взятое, есть художественное произведеніе, хотя и составляеть только часть цёдаго. Но пойдемъ далъе. Въ Владикавказъ, авторъ опять съвхался съ Максимомъ Максимычемъ. Когда они объдали, на дворъ въъхала щегольская коляска, за которою шель человъкъ. Несмотря на грубость этого человъка, «балованнаго слуги лъниваго барина», Максимъ Максимычъ допросился у него, что коляска принадлежить Печорину. «Что ты? Что ты? Печоринъ?... Ахъ Боже мой!... Да не служилъ-ли онъ на Кавказъ?» Въ глазахъ Максима Максимыча сверкала радость. «Служилъ, кажется, да я у нихъ недавно», отвъчалъ слуга. «Ну такъ!... такъ!... Григорій Александровичъ? Такъ въдь его зовутъ? Мы съ твоимъ барпномъ были пріятели», прибавилъ Максимъ Максимычъ, ударивъ дружески по плечу лакея, такъ что заставилъ его пошатнуться...-Позвольте, сударь; вы мив мышаете — сказаль тоть нахмурившись. «Экой ты, братецъ!... Да знаешь ли? Мы съ твоимъ бариномъ были друзья закадычные, жили вмѣстѣ... Да гдѣ жь онъ самъ остался? Слуга объявилъ, что Печоринъ остался ужинать и почевать у полковника Н***. «Да не зайдетъ ли онъ вечеромъ сюда?» сказалъ Максимъ Максимычъ: «или ты, любезный, не пойдешь ли къ нему за чѣмъ-нибудь?.. Коли пойдешь, такъ скажи, что здѣсь Максимъ Максимычъ; такъ и скажи... ужь онъ знаетъ... Я дамъ тебѣ восьмигривенный на водку...» Лакей сдѣлалъ презрительную мину, слыша такое скромное обѣщаніе, однако, увѣрилъ Максима Максимыча, что исполнитъ его порученіе. «Вѣдь сейчасъ прибѣжитъ!...» сказалъ миѣ Максимъ Максимычъ съ торжествующимъ видомъ: «пойду за ворота дожидаться... Эхъ, жалко, что я не знакомъ съ Н***!»

Итакъ, Максимъ Максимычъ ждетъ за воротами. Онъ отказался отъ чашки чая, и наскоро выпивъ одну, по вторичному приглашенію, онять выбъжалъ за ворота. Въ немъ замътно было живъйшее безнокойство, и явно было, что его огорчало равнодушіе Печорина. Новый его знакомый, отворивъ окно, звалъ его спать: онъ что-то пробормоталъ, а на вторичное приглашеніе ничего не отвътилъ. Уже поздпо ночью, вошелъ онъ въ комнату, бросилъ трубку на столъ, сталъ ходитъ, ковырять въ нечи, наконецъ легъ, но долго кашлялъ, илевалъ, ворочался... «Не клопы ли васъ кусаютъ?» спросилъ его новый пріятель.— «Да, клопы...» отвъчалъ онъ, тяжело вздохнувъ.

На другой день утромъ сидътъ опъ за воротами. «Миъ надо сходить къ коменданту», сказалъ опъ: «такъ пожалуйста, если Печоринъ прійдетъ, пришлите за мной». Но лишь ушелъ опъ, какъ предметъ его безпокойства явился. Съ любонытствомъ смотрълъ на него нашъ авторъ, и результатомъ его внимательнаго наблюденія былъ подробный портретъ, къ которому мы возвратимся, когда будемъ говорить о Печоринъ, а теперь займемся исключительно Максимомъ Мак-

симычемъ. Надо сказать, что когда Печоринъ пришелъ, лакей доложилъ ему, что сейчасъ будутъ закладывать лошадей. Здѣсь мы снова должны прибѣгнуть къ длингой выпискъ.

Лошади были уже заложены; колокольчикъ по временамъ звенълъ подъ дугою, и лакей уже два раза подходилъ къ Печорину съ докладомъ, что все готово, а Максимъ Максимычъ еще не являлся. Къ счастію, Печоринъ былъ погружонъ въ задумчивость, глядя на синіе зубцы Кавказа, и, кажется вовсе не торопился въ дорогу. Я подошелъ къ нему: "если вы захотите еще немного подождать", сказалъ я, "то будете имъть удовольствіе увидъться съ старымъ прінтелемь".

- Ахъ, точно! быстро отвъчалъ онъ: мик вчера говорили, но гдъ же онъ? Я обернулся къ площади и увидълъ Максима Максимана, бъгущаго что было мочи... Черезт нъсколько минутъ онъ былъ уже возлъ насъ; онъ едва могъ дышать; потъ градомъ катился съ лица его; мокрые клочки съдыхъ волосъ вырвались изъ-подъ шапки, приклеились ко лбу его; колъни его дрожали... онъ котълъ кинуться на шею Печорина, но тотъ довольно холодно, хотя съ привътливой улыбкой, протинулъ ему руку. Штабсъ капитанъ на минуту остолбенъль, но потомъ жадно схватилъ его руку объими руками: онъ еще не могъ говорить.
- Какъ я радъ, дорогой Максимъ Максимычъ. Ну, какъ вы поживаете? сказалъ Иечоринъ.
- "А ты... а вы?..." пробормоталь со слезами на глазахъ старикъ... "сколько двтъ... сколько дней... да куда это?..."
 - Вду въ Персію и дальше...
- "dеужь-то сейчась?... Да подождите, дражайшій!... Неужь-то сейчась разстанемся?... Сколько времени не видались..."
 - Мнв пора. Максимъ Максимычъ, --былъ отвътъ.
- "Боже мой, Боже мой! да куда это такъ спъщите?... Мнъ столько бы хотълось вамъ сказать... столько разспресить... Ну, что? въ отставкъ?... какъ?... что подълывали?...
 - Скучалъ! отвъчалъ Печоринъ улыбаясь...
- "А помните наше житье-бытье въ крѣпости?... Славная страна для ожотниковъ!... Въдь вы были страстный охотникъ стрѣлять... А Бэла!..."

Печоринъ чуть-чуть поблёднёлъ и отвернулся...

Да, помню! сказаль онъ почти тотчасъ принужденно зъвнувъ...
 Максимъ Максимычъ сталь его упрашивать остаться съ нимъ еще

часа два. "Мы славно пообъдаемъ", говорилъ онъ: "у меня есть два фазана, а кахетинское здъсь прекрасное... разумъется, не то, что въ Грузіи, однако лучшаго сорта... Мы поговоримъ... вы мнъ разскажете про свое житье въ Петербургъ... А?..."

— Право, мит нечего разсказывать, дорогой Максимы Максимычъ... Однако прощайте, мит пора... я спъщу... Благодарю, что не забыли... прибавилъ онъ, взявъ его за руку.

Старикъ нахмурилъ брови... Онъ былъ печаленъ и сердитъ, котя старался скрыть это. "Забыть!"—проворчалъ онъ: "я-то не забылъ ничего.. Ну, да Богъ съ вами!... Не такъ я думалъ съ еами встрътиться...

- Ну, полно, полно! сказаль Печоринъ, сбиявъ его дружески: неужели не тотъ же?... что дълать?... Всякому свои дорога... Удастся ли еще встрътиться—Богъ знаетъ!... Говори это, онъ уже сидъль въ коляскъ, и имщикъ уже началъ подбирать возжи.
- "Постой! постой!" закричаль вдругь Максимь Максимычь, ухватясь за дверцы коляски: "совсьмь было забыль... У меня остались ваши бумаги, Грагорій Александровичь... я ихъ таскаю съ собой... думаль найдти вась въ Грузіи, а воть гдь Богь даль свидъться... что мнъ съ ними дълать?...
 - Что хотите! отвъчалъ Печоринъ. Прощайте.
- Такъ вы въ Персію? .. а когда вернетесь?... кричалъ вслъдъ Максимъ Максимычъ...

Колиска была уже далеко.. Давно уже не слышно было ни звонка колокольчика, ни стука колесъ по кремнистой дорогъ,—а бъдный старикъ еще стоялъ на томъ же мъстъ въ глубокой задумчивости...

Довольно! не будемъ выписывать длиннаго и безсвазнаго монолога, который говорилъ огорченный старикъ, стараясь принять равнодушный видъ, хотя слеза досады по временамъ и сверкала на его ръсницахъ. Довольно: Максимъ Максимъчъ и такъ ужь весь передъ вами... Еслибы вы нашли его, познакомились съ пимъ, двадцать лътъ прожили съ нимъ въ одной кръности, и тогда бы не знали лучше. Но мы больше уже не увидимся съ пимъ, а опъ такъ интересенъ, такъ прекрасенъ, что грустно такъ скоро разстаться съ пимъ, и потому взглянемъ на него еще разъ, уже послъдній...

- "Максимъ Максимычъ—сказалъ я, подошедши къ нему,—а что это за бумаги оставилъ вамъ Печоринъ?
 - А Богъ его знаетъ! какія-то записки.
 - "Что вы изъ нихъ сдълаете?
 - Что? я велю надвлать патроновъ.
 - "Отдайте ихъ лучше мнъ.

Онъ посмотръль на меня съ удивленіемъ, проворчаль что-то сквозь зубы, и началь рыться въ чемоданъ; вотъ онъ вынуль одну тетрадку и бросиль ее съ презръніемъ на землю; потомъ другая, третья и деятая имъли ту же участь: въ его досадъ было что-то дътское; мнъ стало смъшно и жалко.

- Воть онв всв, сказаль онь: поздравляю вась съ находкою...
- "И и могу дълать съ ними все, что хочу?"
- Хоть въ газетахъ печатайте. Какое мнъ дъло?... Что и, развъ другъ его какой, или родственникъ?... Правда мы жили долго подъ одной кровлей... Да мало ли съ къмъ и не жилъ?...

Схватя и упеся поскоръе бумаги изъ опасенія, чтобы Максимъ Максимычь не раскаялся нашъ авторъ собрался въ дорогу, онъ уже надъль шапку, какъ штабсъ-капитанъ вошелъ. Но нътъ, воля наша! а ужь надо проститься съ Максимомъ Максимычемъ какъ слъдуетъ, то есть, не прежде, какъ выслушалъ его послъднее слово... Что дълать? есть такіе люди, съ которыми, разъ познакомившись, въкъ бы не разстался...

- "А вы, Максимъ Максимычъ, развъ не вдете?"
- Нътъ-съ.
- "А что такъ?
- Да я еще коменданта не видалъ, а мит надо сдать кой какія казенныя вещи.
 - "Да въдь вы же были у него?"
- Былъ, конечно, сказадъ онъ заминаясь: да его дома не было... а я не дождался...

Я поняль его: бъдный старикъ, въ первый разъ отъ рода, можетъбыть, бросиль дъла службы для собственной надобности, говори языкомъ бумажнымъ,—и какъ же онъ быль награжденъ!

- "Очень жаль", сказалъ я ему, "очень жаль, Максимъ Максимычъ, чго намъ до срока надо растаться".
- Гдв намъ, необразованнымъ старикамъ, за вами гоняться!... вы молодежь свътская, гордая: еще покамъсть подъ черкесскими пулями,

такъ вы туда-сюда... а послъ встрътитесь, такъ стыдитесь и руку протянуть нашему брату.

— "Я не заслужиль этихъ упрековъ, Максимъ Максимычъ".

 Да я, знаете, такъ къ слову говорю; а впрочемъ желаю ванъ всякаго счастія и веселой дороги.

За симъ они довольно сухо разстались; но вы, любезный читатель, върно не сухо разстались съ этимъ старымъ младенцемъ, столь добрымъ, столь милымъ, столь человъчнымъ, и столь неопытнымъ во всемъ, что выходило за тъсный кругозоръ его понятій и опытности? Не правда ли, вы такъ свыклись съ нимъ, такъ нолюбили его, что никогда уже не забудете его, и если встрътите, подъ грубою наружностію, подъ корою зачерствълости отъ трудной и скудной жизни—горячее сердце, подъ простою, мъщанскою ръчью — теплоту души, то, върно, скажете: «это Максимъ Максимычъ»?... И дай Богъ вамъ поболъе встрътить, на пути вашей жизни, Максимъ Максимычей!...

II вотъ, мы разсмотръли двъ части романа — «Бэлу» и «Максима Максимыча»: каждая изъ нихъ имфетъ свою особность и замкнутость, почему каждая и оставляеть въ душъ читателя такое полное, цълостное и глубокое впечатлъніе. Героевъ той и другой повъсти мы видъли въ торжествениъйшихъ положеніяхъ ихъ жизни и коротко ихъ знаемъ. Первая повъсть; вторая — эскизъ характера, и каждая равно полна и удовлетворительна, ибо въ каждой поэтъ умълъ изчернать все ел содержаніе и въ типическихъ чертахъ вывести во виъ все внутрениее, крывшееся въ ней какъ возможность. Что намъ за нужда, что во второй нётъ романическаго содержанія, что она представляетъ собою не жизнь, а отрывокъ изъ жизни человъка? Но если въ этомъ отрывкъ — весь человъкъ, то чеге же больше. Поэть хотёль изобразить характерь и превосходно успъль въ этомъ: его Максимъ Максимычъ можетъ употребляться не какъ собственное, но какъ нарицательное имя, наравит съ Онтгиными, Ленскими, Загортцкими, Иванами

Ивановичами, Никифорами Ивановичами, Афанасіями Ивановичами, Чацкими, Фамусовыми, и пр. Мы познакомились съ нимъ еще въ «Бэлъ», и больше уже не увидимся. Но въ объихъ этихъ повъстяхъ мы видъли еще одно лице, съ которымъ однакожь незнакомы. Это тапиственное лице не есть герой этихъ повъстей, по безъ него не было бы этихъ повъстей: опъ герой романа, котораго эти двѣ повѣсти только части. Теперь пора намъ съ нимъ познакомиться, и уже не чрезъ посредство другихъ лицъ, какъ прежде: всв они его не понимаютъ, какъ мы уже видёли; равнымъ образомъ, и не чрезъ поэта, который хоть и одинъ виноватъ въ немъ, но умываетъ въ немъ руки; а чрезъ его же самаго: мы готовимся читать его записки. Поэтъ написалъ отъ себя предисловіе только къ запискамь Печорина. Это предисловіе составляеть родь главы романа, какъ его существеннъйшая часть, по несмотря на то, мы возвратимся къ нему послъ, когда будемъ говорить о характеръ Печорина, а теперь прямо приступимъ къ «запискамъ».

Первое отпъление называется «Тамань» и, подобно первымъ двумъ, есть отдъльная повъсть. Хотя опо и представляеть собою эпизодь изъ жизни героя романа, по герой по прежнему остается для насъ лицемъ таинственнымъ. Содержаніе этого энизода следующее: Печоринъ въ Тамани остановился въ скверной хатъ, на берегу моря, въ которой онъ нашелъ только слъпаго мальчика лътъ 14-ти, и нотомъ таниственную дівушку. Случай открываеть ему, что эти людиконтрабандисты. Онъ ухаживаетъ за девушкою, и въ шутку грозить ей, что донесеть на шихъ. Вечеромъ въ тотъ же день, она приходитъ къ нему, какъ спрена, обольщаетъ его предложеніемъ своей любви и назначаеть ему ночное свиданіе на морскомъ берегу. Разумъется, онъ является, но какъ странность и какая-то таниственность во всёхъ словахъ и поступкахъ дѣвушки давно уже возбудили въ немъ подозръніе, то онъ и запасся пистолетомъ. Тапиственная дѣвушка пригласила его сѣсть въ лодку—онъ было поколебался, по отступать было уже не время. Лодка помчалась, а дѣвушка обвилась вокругъ его шен, и что-то тяжелое упало въ воду... Онъ хвать за пистолетъ, по его уже не было... Тогда завязалась между ними страшная борьба: наконецъ мущина побѣдилъ; посредствомъ осколка весла, онъ добрался кое-какъ до берега и, при лунномъ свѣтѣ, увидѣлъ таинственную упдину, которая, спаснись отъ смерти, отряхалась. Черезъ нѣсколько времени, она удалилась съ Янко, какъ видно; съ своимъ любовникомъ и однимъ изъ главныхъ дѣйствователей контрабанды: такъ какъ посторонній узналъ ихъ тайну, имъ опасно было оставаться болѣе въ этомъ мѣстѣ. Слѣпой тоже пропалъ, укравъ у Печорипа шкатулку, шашку съ серебряной оправой и дагестанскій кинжалъ.

Мы не рѣшились дѣлать выписокъ изъ этой новѣсти, нотому что она рашительно не допускаетъ ихъ; это словно какое-то лирическое стихотвореніе, вся прелесть котораго уничтожается однимъ выпущеннымъ, или измѣненнымъ не рукою самого поэта стихомъ; она вся въ формъ; если выписывать, то должно бы ее выписать всю отъ слова до слова; пересказывание ея содержания дасть о ней такое же понятие, какъ разсказъ, хотя бы и восторженный, о красотъ женщины, которой вы сами не видели. Повесть эта отличается какимъ-то особеннымъ колоритомъ: несмотря на прозаическую дъйствительность ен содержанія, все въ ней тапиственно, лица-какія-то фантастическія тёни, мелькающія въ вечернемъ сумракъ, при свътъ зари, или мъсяца. Особенно очаровательна дёвушка: это какая-то дикая, сверкающая красота, обольстительная какъ сирена, пеуловимая какъ ундина, страшная какъ русалка, быстрая какъ прелестная тънь или волна, гибкая какъ тростинкъ. Ее нельзя любить, нельзя и ненавидъть, но ее можно только и любить и ненавидъть вмъстъ. Какъ чудно-хороша опа, когда, на крышъ своей

кровли, съ распущенными волосами, защитивъ глаза ладонью, пристально всматривается вдаль, и то смѣется и разсуждаетъ сама съ собою, то запѣваетъ полную раздолья и отваги удалую пѣсню.

Что касается до героя романа — онъ и тутъ является тъмъ же таинственнымъ лицемъ, какъ и въ первыхъ повъстяхъ. Вы видите человъка съ сильною волею, отважнаго, не блъднъющаго никакой опасности, напрашивающагося на бури и тревоги, чтобы заинть себя чъмъ-пибудь и наполнить бездонную пустоту своего духа, хотя бы и дъятельностію безъ всякой цъли.

Наконецъ, вотъ и «Иняжна Мери», Предисловіе нами прочитано, теперь начинается для насъ романъ. Эта повъсть разпообразпъе и богаче всъхъ другихъ своимъ содержаніемъ, но за то далеко уступаетъ имъ въ художественности формы. Характеры ен или очерки, или силуэты, и только развъ одинъ—портретъ. Но что составляетъ ен недостатокъ, то же самое есть и ен достоинство, и паоборотъ. Подробное разсмотръніе ен объяснитъ нашу мысль.

Начинаемъ съ седьмой страницы. Печоринъ, въ Нятигорскъ, у Елисаветинскаго источника, сходится съ своимъ знакомымъ—юнкеромъ Грушницкимъ. По художественному выполненію, это лице стоитъ Максима Максимыча; подобно ему, это типъ, представитель цълаго разряда людей, ими нарицательное. Грушницкій—идеальный молодой человъкъ, который щеголяетъ своей идеальностію, какъ записные франты щеголяютъ моднымъ платьемъ, а «львы» ослиною глуностію. Онъ носитъ солдатскую шинель изъ толстаго сукна; у него георгіевскій солдатскій крестикъ. Ему очень хочется, чтобы его считали не юнкеромъ, а разжалованнымъ изъ офицеровъ: онъ находитъ это очень эффектымъ и интереснымъ. Вообще, «производить эффектъ» — его страсть. Онъ говоритъ вычурными фразами. Словомъ, это одинъ изъ тъхъ людей, которые особенно плъпяютъ чувствительныхъ, романическихъ

и романтическихъ провинціяльныхъ барышень, одинъ изъ тыхь людей, которыхь, по прекрасному выражению автора записокъ, «не трогаетъ просто-прекрасное и которые важно дранируются въ необыкновенныя чувства, возвышенныя страсти и исключительныя страданія. — «Въ ихъ душів» — прибавляеть онь: «часто много добрыхь свойствь, но ни на грошъ поэзін». Но вотъ самая лучшая и полная характеристика такихъ людей, сдъланная авторомъ же журнала: «нодъ старость они делаются либо мириыми помещиками, либо пьяницами, —иногда тёмь и другимь». Мы къ этому очерку прибавимъ отъ себя только то, что они страхъ какъ любятъ сочиненія Марлинскаго, и чуть зайдеть річь о предметахъ сколько нибудь не житейскихь, стараются говорить фразами изъ его повъстей. Теперь вы вполит знакомы съ Грушницкимъ. Онъ очень не долюбливаетъ Печорина за то, что тотъ его поняль. Печоринь тоже не любить Грушницкаго и чувствуетъ, что когда-нибудь они столкнутся, и одному изъ нихъ не сдобровать.

Они ветрътились какъ знакомые, и у пихъ начался разговоръ. Грушницкій напаль на общество, съёхавшееся въ этотъ годъ на воды. «Ныпъшній годъ, — говориль онъ, изъ Москвы только одна киягиня Лиговская съ дочерью; но я съ ними незнакомъ; моя солдатская шинель какъ печать отверженія. Участіе, которое она возбуждаеть — тяжело, какъ милостыня». Въ это время прошли мимо ихъ къ колодцу двъ дамы, и Грушницкій сказаль, что то княгиня Лпговская съ дочерью Мери. Опъ съ ними незнакомъ, потому что «этой гордой знати нѣтъ дѣла, есть ли умъ подъ пумерованной фуражкой, и сердце годъ толстою шинелью!» Звонкою фразою, громко сказанною по французски, онъ обратилъ на себя внимание княгини. Печоринъ сказалъ ему: «эта княгиня Мери прехорошенькая. У нея такія бархатные глаза, — именно бархатиме: я тебъ совътую присвопть это выраженіе, говоря о ея глазахъ: — пижнія и верхнія ресницы такъ длинны, что лучи солица не отражаются въ ел зрачкахъ. Я люблю эти глаза — безъ блеска: они такъ мягки, они будто бы тебя гладитъ... Впрочемъ, кажется, въ ел лицѣ только и естъ хорошаго... а что у нея зубы бѣлы? Это очень важно! жаль, что она не улыбнулась на твою пышную фразу!»—Ты говоришь о хорошей женщинѣ, какъ объ англійской лошади, сказалъ Грушницкій съ негодованіемъ. Они разошлись.

Возвращаясь мимо того мъста, Печоринъ, невидимый, былъ свидътелемъ слъдующей сцены. Грушницкій былъ раненъ, или хотълъ казаться рапеннымъ, и потому хромалъ на одну ногу. Уронивъ стаканъ на песокъ, онъ напрасно усиливался ноднять его. Легче птички подлетъла къ нему княжна и, поднявъ стаканъ, подала ему его съ тълодвижениемъ, исполпеннымъ невыразимой прелести. Изъ этого выходитъ цълый рядъ смъшныхъ сценъ, худо кончившихся для Грушницкаго. Онъ пдеальничаетъ-Печоринъ надъ нимъ тъшится, Опъ хочетъ ему показать, что въ поступкъ княгини не видитъ для Грушницкаго никакой причины къ восторгу, или даже просто къ удовольствію. Печоринъ принисываеть это своей страсти къ противоръчію, говоря, что присутствіе энтузіазма обдаеть его крещенскимъ холодомъ, а частыя сношенія съ флегматикомъ могутъ сдълать его страстнымъ мечтателемъ. Напрасное обвинение! Такое чувство противоръчія понятно во всякомъ человъкъ съ глубокою душою. Дътская, а тъмъ болье фальшивая идеальность оскорбляеть чувство до того, что пріятно ув'врить себя на ту минуту, что совс'ємъ не имъещь чувства. Въ самомъ дълъ, лучше быть совстмъ безъ чувства, нежели 'съ такимъ чувствомъ. Напротивъ, совершенное отсутствіе жизни въ человінь возбуждаеть въ нась невольное желаніе ув' риться въ собственных глазахъ, что мы непохожи на него, что въ насъ много жизни, и сообщаеть намь какую-то восторженность. Указываемъ на эту черту ложнаго самообвиненія въ характерь Печорина, какъ

на доказательство его противоръчія съ самимъ собою вслъдствіе непониманія самого себя, причины котораго мы объяснимъ ниже.

Теперь выходить на сцепу новое лице—медикъ Вернеръ. Въ беллетрическомъ смыслѣ, это лице превосходно, но въ художественномъ довольно блѣдно. Мы больше видимъ, что хотѣлъ сдѣлать изъ него поэтъ, нежели что опъ сдѣлалъ изъ него въ самомъ дѣлѣ.

Жалбемъ, что предблы статьи не позволяють намь выписать разговора Печорина съ Вернеромъ: это образецъ гравімутливости н. витом ствикоп датом не повитум поневід (стр. 28-37). Вернеръ сообщаеть ему свъдънія о прітхавшихъ на воды, а главное — о Лиговскихъ. «Что вамъ сказала киягиня Лиговская обо миъ?» спросилъ Печоринъ.--Вы очень увърены, что это княгиия... а не княжна?-«Совершенно убъжденъ». — Почему? — «Потому что княжна спрашивала о Грушницкомъ». —У васъ большой даръ соображенія-отвічаль Вернерь. Затімь онь сообщиль, что княжна почитаетъ Грушницкаго разжалованнымъ въ солдаты за дуэль. «Надъюсь, вы ее оставили въ этомъ пріятномъ заблужденіп?»—Разумъется. — «Завязка есть!» закричалъ Печоринъ въ восторгъ: собъ развязкъ этой комедін мы похлоночемъ. Явно судьба заботиться о томь, чтобы миж не было скучно». Далъе, Верперъ сообщилъ Печорину, что киягиня его знаетъ, потому что встръчала въ Петербургъ, гдъ его исторія (какая-этого не объясняется въ романъ) надълала много шума. Говоря о ней, княгиня къ свътскимъ силетиямъ приплетала свои, а дочка слушала со вниманиемъ; -- въ ея воображенін Печоринъ (по словамъ Вернера) сділался героемъ романа въ новомъ вкусъ. Вериеръ вызывается представить его киягинъ. Печоринъ отвъчаетъ, что героевъ не представляють, и что они не ппаче знакомятся, какъ спасая отъ върной смерти свою любезную. Въ шуткахъ его приглядываетъ намърение. Мы скоро узпаемъ о немъ: опо началось

отъ нечего дълать, а кончилось... по объ этомъ послъ. Вернеръ сказалъ о кияжив, что она любитъ разсуждать о чувствахъ, о страстяхъ, и пр. Потомъ, на вопросъ Печорина, не видълъ ли онъ кого инбудь у нихъ, онъ говоритъ, что видълъ женщину—блондинку, съ чахоточнымъ видомъ лица, съ черною родинкою на правой щекъ. Примъты эти видимо взволновали Печорина, и онъ долженъ былъ признаться, что ивкогда любилъ эту женщину. Затъмъ, онъ проситъ Вернера не говорить ей о немъ, а если она спроситъ—отнестись о немъ дурно. «Пожалуй!» отвъчалъ Вернеръ, пожавъ плечами, и ушелъ.

Оставшись наединъ, Печоринъ думаетъ о предстоящей встръчъ, которая безпокоитъ его. Ясно, что его равнодушіе и пронія—больше свътская привычка, пежели черта характера. «Нътъ въ міръ человъка (говоритъ опъ), надъ которымъ бы прошедшее пріобрътало такую власть, какъ надомною. Всякое напоминаніе о минувшей печали или радости болъзненно ударяетъ въ мою душу и пзвлекаетъ изъ пея все тъ же звуки... Я глупо созданъ! пичего пе забываю—ничего!»

Вечеромъ опъ вышелъ на бульваръ. Сошедшись съ двумя знакомыми, опъ началъ имъ разсказывать что-то смъшное; они такъ громко хохотали, что любонытство переманило на его сторону иъкоторыхъ изъ окружавшихъ кияжиу. Опъ, какъ выражается самъ, продолжалъ увлекать публику до захожденія солнца. Кияжиа иъсколько разъ проходила мимо его съ матерью,—и ея взглядъ, стараясь выразить равнодушіе, выражалъ одну досаду. Съ этого времени у нихъ началась открытая война: въ глаза и за глаза язвили они другъ друга насмъшками, злыми намеками. Верхъ всего былъ на сторонъ Печорина, ибо онъ велъ войну съ должнымъ присутствіемъ духа, безъ всякой запаль пвости. Его равнодушіе бъспло килжиу и, на эло ей самой, только дълало его интересиъе въ ея глазахъ. Грушницкій слёдилъ за нею какъ звърь, и

лишь только Печоринъ предрекъ скорое знакомство его съ Лиговскими, какъ онъ въ самомъ дълъ нашелъ случай заговорить съ княгиней и сказать какой-то комилиментъ княжиъ. Всявдствіе этого, онъ началь докучать Печорину, почему онъ не познакомител съ этимъ домомъ, дучшимъ на водахъ? Печоринъ увъряетъ идеальнаго шута, что княжна его любитъ: Грушинцкій конфузится, говорить: «какой вздорь!» и самодовольно улыбается. «Другъ мой, Печоринъ», говорилъ онъ: «я тебя не поздравляю; ты у нея на дурномъ замъчаніп... А, право жаль! потому что Мери очень мила!...» —Да, она недурна!-сказалъ съ важностію Печоринъ: только берегитесь, Грушпицкій! — Тутъ онъ сталь ему давать совъты и дълать предсказанія съ ученымъ видомъ знатока. Смыслъ ихъ былъ тотъ, что княжна изъ тъхъ женщинъ, которыя любятъ, чтобы ихъ забавляли; что если съ Грушинцкимъ будетъ ей скучно двъ минуты сряду-онъ погибъ; что, пакокетничавшись съ нимъ, она выйдетъ за какого-пибудь урода, изъ покорности къ маменькъ, а послъ и станеть увърять себя, что она несчастна, что опа одного только человёка и любила, то-есть Грушинцкаго, по что небо не хотъло соединить ее съ нимъ, потому что на немъ была солдатская шинель, хотя подъ этой толстой сърой шипелью билось сердце страстное и благородное... Грушницкій удариль по столу кулакомъ и сталь ходить взадъ и впередъ по комнатѣ. «Я внутренио хохоталъ (слова Печорина), и даже раза два улыбнулся, но онъ, къ счастію, этого не замътилъ. Явно, что онъ влюбленъ, потому что еще довърчивъе прежняго; у него даже появилось серебряное кольцо съ чернью, здёшней работы... Я сталь его разсматривать, и что же?... мелкими буквами имя Мери было выръзано на впутренией сторопъ, и рядомъ — число того дия, когда она подняла знаменитый стаканъ. Я утанлъ свое открытіе; я не хочу вынуждать у него признаній; я хочу, чтобы опъ самъ выбралъ меня въ свои повфренные, - и тутъто я буду наслаждаться!»

На другой день, гуляя по виноградной аллев, и думая о женщинь съ родинкой, онъ въ гротъ встрътился съ нею самою. Но здъсь мы должны выпискою дать понятіе о ихъ отношеніяхъ.

-- "Въра"! вскрикнулъ и невольно.

Она вздрогнула и поблёднела. — Я знала, что вы здёсь, — сказала она. Я стять возять ися и взяять ее за руку. Давно забытый трепетъ пробъжаль по монмъ жиламъ при звукъ этого милаго голоса; она посмотръла мить въ глаза своими глубокими и спокойными глазами, — въ нихъ выражалась недовърчивость и что-то похожее на упрекъ.

- "Мы давно не видались, сказалъ я.
- Давно, и перемънились оба во многомъ.
- -- "Стало-быть, ужь ты меня не любишь!...
- Я за мужемъ!... спазала она.
- "Опять? Однако нъсколько льть тому назадь эта причина также существовала, по между тъмъ..."

Она выдернула свою руку изъ моей, и щеки ея запылали.

- "Можеть-быть, ты любишь своего втораго мужа?"

Она не отвъчала и отвернулась

— "Или овъ очень ревнивъ?"

Молчаніе.

- "Что жь! онъ молодъ, хорошъ, особенно върно богатъ, и ты боишься..." Я взгинулъ на нее и испугался: ея лице выражало глубокое отчаяние, на глазахъ сверкали слезы.
- Скажи мив, наконецъ, прошептала она: тебъ очень весело мени мучить? Я бы тебя должна ненавидьть. Съ тъхъ поръ, какъ мы знаемъ другъ друга, ты ничего мив не далъ кромъ страданій?... Ея голосъ задрожалъ, она склонилась ко мит и опустила голову на грудь мою.
- "Можетъ быть, подумаль я: "ты оттого-то именно меня и любила: радости забываются, а печали никогда!..."

Въра никакъ не хотъла, чтобы Печоринъ познакомился съ ея мужемъ; но такъ какъ опъ дальній родственникъ Лиговской и какъ потому Въра часто бываетъ у ней, то она и взяла съ него слово познакомиться съ княгипею.

Такъ какъ «Записки» Печорпна есть его автобіографія, то п невозможно дать полнаго понятія о немъ, не прибътая къ выпискамъ, а выписокъ нельзя дълать, не переписавщи большей части повъсти. Посему мы принуждены пропускать множество подробностей самых характеристическихъ, и слъдить только за развитіемъ дъйствія.

Однажды, гуляя верхомъ, въ черкесскомъ платъъ, между Пятигорскомъ и Желъзноводскомъ, Печоринъ спустился въ оврагъ закрытый кустарникомъ, чтобы напоить коня. Вдругъ опъ видитъ—приближается кавалькада: впереди ъхалъ Грушпицкій съ княжной Мери. Онъ былъ довольно смѣшонъ въ своей сърой солдатской шинели, сверхъ которой у него надъта была шашка и пара пистолетовъ. Причина такого вооруженія та (говоритъ Печоринъ), что дамы на водахъ еще върятъ нападенію Черкесовъ.

- "И вы цалую жизнь хотите остаться на Кавказа говорила княжна.
- Что для меня Россія?—отвъчаль ен кавалерь, страна гдъ тысячи людей, потому что они богаче меня, будуть смотръть на меня съ презръніемъ, тогда какъ здъсь,—здъсь эта толстая шинель не помъщала моему знакомству съ вами...
 - "Напрогивъ..." сказала княжна покраснъвъ...

Въ это время они поравнялись со мной; я ударилъ илетью по лошади и выжжалъ изъ-за куста.

- Mon Dieu, un Circassien!...—вскрикнула княжна въ ужасъ. Чтобы ее совершенно разувърить, я отвъчалъ по-французски, слегка наклонясь:
- Ne craignez rien, madame, je ne suis pas plus dangereux que votre cavalier.

Княжна смутилась отъ этого отвъта. Вечеромъ того же дня, Печоринъ встрътился съ Грушницкимъ на бульваръ.

- "Откуда?"—Отъ княгини Лиговской, сказалъ онъ очень важно. Какъ Мери поетъ! "Знаешь ли что?" сказалъ я ему: "я пари держу, что она не знаетъ, что ты юнкеръ; она думаетъ что ты разжалованный.
 - Быть можеть! Какое мнв двло!... сказаль онъ разсвянно.
 - Нать, я только такъ это говорю..."
- А знаешь ли, что ты нынче ужасно ее разсердиль? Она нашла, что это неслыханная дерзость; и насилу могь ее увършть, что ты не могь имъть намъренія ее оскорбить; она говорить, что у тебя наглый взглядь, что ты върно о себъ самомъ высокаго мнънія.

- "Она не ошибается... А ты не хочешь ли за нее еступиться?
- Мит жаль, что я не имъю еще этого права...

Ого! думалъ н: у него видно есть уже надежда...

— Впрочемъ, для тебя же хуже продолжалъ Грушницкій: теперь тебъ трудно познакомиться съ ними, а жаль? это одинъ изъ самыхъ пріятныхъ домовъ, какіе я только знаю...

Я внутренно улыбнулся. "Самый прінтный домъ для меня теперь мой" сказаль я зъвая и всталь чтобы идти.

- Однако признайся, ты раскаиваешься?
- "Какой вздоръ! если я захочу, то завтра же вечеромъ буду у княгини..."
 - Посмотримъ.
- "Даже, чтобъ тебъ сдълать удовольствіе, стану волочиться за

На балъ, въ рестораціи, Печоринъ услышаль, какъ одна толстая дама, толкнутая княжною, бранила ее за гордость и изъявляла желаніе, чтобы ее проучили, и какъ одниъ услужливый драгунскій капитанъ, кавалеръ толстой дамы, сказаль ей, что «за этимъ дѣло не станетъ». Печоринъ попросилъ княжну на вальсъ, — и княжна едва могла подавить на устахъ своихъ улыбку торжества. Сдълавши съ нею ифсколько туровъ, онъ завелъ съ нею разговоръ въ тонъ кающагося преступника. Хохоть и шушуканье прервало этоть разговоръ,---Печоринъ обернулся: въ ижсколькихъ шагахъ отъ него стояла группа мущинъ, и, среди ихъ, драгунскій капптанъ потиралъ отъ удовольствія руки. Вдругъ выходить на середину пьяная фигура съ усами и красной рожей, невърными шагами подходить къ кияжив, и, заложивъ руки на снину, уставиль на смущенную девушку мутно-серые глаза, говорить ей хриплымъ дискантомъ: «Пермете... ну, да что тутъ!... просто ангажирую васъ на мазурку...» Матери княжны не было вблизи: положение княжны было ужасно, она готова была упасть въ обморокъ. Печоринъ подошелъ къ пьяному господину и нопросилъ его удалиться, говоря, что княжна дала уже ему слово танцовать съ нимъ мазурку. Разумъется, слъдствіемъ этой исторіи было формальное знакомство Нечорина съ Лиговскими. Въ продолжение мазурки, Печоринъ говорилъ съ княжною, и нашелъ что она очень мило шутила, что разговоръ ея былъ остеръ, безъ притязанія на остроту, живъ и свободенъ; ея замъчанія иногда глубоки.

Этотъ разговоръ былъ программою той продолжительной интриги, въ которой Нечоринъ игралъ роль соблазнителя отъ нечего дълать; княжна, какъ птичка, билась въ сътяхъ, разставленныхъ искусною рукою, а Грушницкій по прежнему продолжаль свою шутовскую роль. Чёмъ скучнёе и несносите становился онъ для княжны, тъмъ смълте становились его надежды. Въра безпокоплась и страдала, замъчая новыя отношенія Печорина къ Мери; но при мальйшемъ укорь или намёкъ, должна была умолкать, покоряясь его обаятельной власти, которую онъ такъ тиранически употреблялъ надъ нею. Но что же Печоринъ? пеужели онъ полюбилъ княжнунътъ. Стало-быть, онъ хочетъ обольстить ее? — пътъ. Можеть быть, жениться?--ивть. Воть что онь самь говорить объ этомъ: «Я часто себя спрашиваю, зачъмъ я такъ упорно добиваюсь любви молоденькой девочки, которую обольстить я совсемъ не хочу, и на которой никогда не женюсь? Къ чему это женское кокетство? Въра меня любитъ больше, чёмъ кинжна Мери будетъ любить когда-инбудь; еслибъ она мив казалась непобъдимой красавицей, то, можетъ быть, я бы завлекся трудностію предпріятія... ІІзъ чего же я хлопочу? изъ зависти къ Грушницкому? Бъдилжка! онъ вовсе ея не заслуживаетъ. Или это следствие того сквернаго, но попобъдимаго чувства, которое заставляетъ насъ умножать сладкія заблужденія ближняго, чтобы имъть мелкое удовольствіе сказать ему, когда онъ въ отчаянін будеть спрашивать, чему онъ долженъ върпть: Мой другъ, со мной было то же самое! и ты видишь однако, я объдаю, ужинаю и сплю преспокойно, и надъюсь, съумью умереть безъ крика и слезъ!»

Потомъ онъ продолжаетъ,—и тутъ особенно раскрывается его характеръ:

А въдь есть необъятное наслаждение въ обладании молодой, едва распустившейся душой! Она какъ цвътокъ, котораго лучшій ароматъ испаряется на встръчу первому лучу солнца; его надо сорвать въ ту минуту и, подышавъ имъ до сыта, бросить на дорогъ: авось кто-нибудь подниметь! Я чувствую въ себъ эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встръчаю на своемъ пути, я смотрю на страданія и радости другихъ только въ отношеніи къ себъ, какъ на пищу, поддерживающую мои душевныя силы. Самъ я больше неспособенъ безумствовать подъ вліянісять страсти; честолюбіе у меня подавлено обстоятельствами, но опо проявилось въ другомъ видъ, пбо честолюбіе есть не что инсе какъ жажда власти, а первое мое удовольствіе подчинять моей воль все, что меня окружаеть; возбуждаеть къ себъ чувство любви, преданности и страха, не есть ли первый признакъ и величайшее торжество власти? Быть для кого-нобудь причиною страданій я радости, не питя на то никакого положительного права, не самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что такое счастие? насыщенная гордость. Еслибъ я почиталъ себя лучше, могущественнъе встхъ на свътъ, я былъ бы счастливъ, еслибъ вст меня любили, я въ себъ нашелъ бы безконечные источники любви. Зло порождаетъ зло; первое страданіе даеть понятіе объ удовольствій мучить другаго; иден зла не можетъ войти въ голову человъка безъ того, что бы онъ не захотълъ приложить ее къ дъйствительности; идеи-созданія органическія-сказаль кто-то: ихъ рожденіе даеть уже имъ форму, и эта форма есть дъйствіе; тотъ, въ чьей головъ родилось больше пдей, тотъ больше другихъ дъйствуетъ; отъ этого геній, прикованный къ чиновническому столу, долженъ умереть или сойти съ ума, точно такъ же, какъ человъкъ съ могучимъ тълосложения, при сидичей жизни и скромномъ поведеніи, умираетъ отъ апоплексическаго удара

Такъ вотъ причины, за которыя бъдная Мери такъ дорого должна поилатиться!... Какой страшный человъкъ этотъ Печоринъ! Потому что его безпокойный духъ требуетъ движенія, дъятельность ищетъ нищи, сердце жаждетъ интересовъжизни, потому должна страдать бъдная дъвушка? «Эгоистъ, злодъй, извергъ, безправственный человъкъ!»... хоромъ закричатъ, можетъ-быть, строгіе моралисты. Ваша правда, господа; но вы-то изъ чего хлопочете? за что сердитесь? Право, намъ кажется, вы пришли не въ свое мъсто, съли за столъ, за которымъ вамъ не поставлено прибора... Не

подходите слишкомъ близко къ этому человъку, не нападайте на него съ такою запальчивою храбростію: онъ на васъ взглянеть, улыбнется, и вы будете осуждены, и на смущепныхъ лицахъ вашихъ всѣ прочтутъ судъ вашъ. Вы предаете его анавемъ пе за пороки, — въ васъ ихъ больше, и въ васъ опи чернъе и позорнъе, -- по за ту смълую свободу, за ту жолчную откровенность съ которою онъ говорить о нихъ. Вы позволяете человъку дълать все, что ему угодно, быть всёмъ, чёмъ онъ хочетъ, вы охотно прощаете ему и безуміе, и пизость, и разврать; но, какъ пошлину за право торговли, требуете отъ него моральныхъ сентенцій о томъ, какъ долженъ человъкъ думать и дъйствовать, и какъ онъ въ самомъ-то дълъ и не думаетъ и не дъйствуетъ... И за то, ваще инквизиторское ауто-да-фе готово для всякаго кто имъетъ благородную привычку смотръть дъйствительности прямо въ глаза, не опуская своихъ глазъ, называть вещи настоящими ихъ именами, и показывать другимъ себя не въбальномъ костюмь, не въ мундирь, а въ халать, въ своей компать, въ уединенной бесъдъ съ самимъ собою, въ доманиемъ разсчетъ съ своею совъстью... И вы правы: покажитесь передъ людьми хоть разъ въ своемъ позорномъ неглиже, съ своихъ засаленныхъ ночныхъ колпакахъ, въ своихъ оборванныхъ халатахъ, люди съ отвращениемъ отвернутся отъ васъ и общество извергнеть васт изъ себя. Но этому человъку печего бояться: въ немъ есть тайное сознаніе, что опъ не то, чти самому себть кажется и что онъ есть только въ настоящую минуту. Да, въ этомъ человъкъ есть сила духа и могущество воли, которыхъ въ васъ пътъ; въ самыхъ порокахъ его проблескиваетъ что-то великое, какъ моднія въ черныхъ тучахъ, и онъ прекрасенъ, полонъ поэзін даже и въ тъ минуты, когда человъческое чувство возстаетъ на него... Ему другое назначение, другой путь, чёмь вамь. Его страсти-бури, очищающія сферу духа; его заблужденія, какъ ни страшны опи, острыя бользии въ молодомъ тълъ, укръпляющія его на долгую и здоровую жизнь. Это

лихорадки и горячки, а не подагра, не ревматизмъ и геморрой, которыми вы, бъдные, такъ безилодио страдаете... Пусть онъ клевещетъ на въчные законы разума, поставляя высшее счастіе въ насыщенной гордости; пусть онъ клевещетъ на человъческую природу, видя въ ней одинъ эгоизмъ; пусть клевещетъ на самого себя, принимая моменты своего духа за его полное развитіе и смъшивая юность съ возмужалостію, — пусть!... Настанетъ торжественная минута, и противоръчіе разръшится, борьба кончится, и разрозненные звуки души сольются въ одинъ гармоническій аккордъ!... Даже и теперь, онъ проговаривается и противоръчитъ себъ, упичтожая одною страницею всъ предыдущія: такъ глубока его натура, такъ врожденна ему разумность, такъ силенъ у него инстинктъ истины! Послушайте, что говоритъ онъ тотчасъ послъ того мъста, которое, въроятно, такъ возмущаетъ моралистовъ:

Страсти не что иное, какъ идеи при первомъ своемъ развитии: онв принадлежность юности сердца, и глупецъ тотъ, кто думаетъ ими цълую жизнь любоваться: многія спокойный рѣки начинаются шумными водопадами, а ни одна не скачетъ и не пѣнится до самаго моря. Но это спокойствіе часто признать великой, хотя скрытой силы; полнота и глубина чувству и мыслей не допускаеть бышеныхъ порывову: душа, страдая и наслаждаясь, даетъ во всемъ себъ строгій отчетъ и убъждается въ томъ, что такъ должно; она знаетъ, что безъ грозъ постоянный зной солнца ее изсушитъ, она проникается своей собственной жизнью, лелветъ и наказываетъ себя, какъ любимаго ребенка. Только въ этомъ высшемъ состояний самопознанія человька можеть оцинить правосудіе Божіє.

Но пока (прибавимъ мы отъ себя), пока человъкъ не дошелъ до этого высшаго состояния самопознания — если ему назначено дойдти до него, — онъ долженъ страдать отъ другихъ и заставлять страдать другихъ, возставать и падать, надать и возставать, отъ заблуждения переходить къ заблужденю и отъ истипы къ истипъ. Всъ эти отступления суть необходимые маневры въ сферъ сознания: чтобы дойдти до мъста, часто надо дать большой крюкъ, совершить длинный

обходъ, ворочаться съ дороги назадъ. Царство истины есть обътованная земля, и путь къ пей-аравійская пустыня. Но, скажете вы, за что же другіе должны гибнуть отъ такихъ страстей и ошибокъ? А развъ мы сами не гибиемъ иногда какъ отъ собственныхъ, такъ и отъ чужихъ? Кто вышелъ нзъ горнила испытаній чисть и свётель какъ золото, натура того-благородный металлъ; кто сгорълъ или не очистился, натура того—дерево или жельзо. И если многія благородныя натуры погибають жертвами случайности, разръшение на этотъ вопросъ даетъ религія. Для насъ ясно и положительно одно: безъ бурь иътъ илодородія, и природа изпываеть; безъ страстей и противорачій нать жизни, нать поэзіи. Лишь бы только въ этихъ страстяхъ и противоръчіяхъ была разумность и человъчность, и ихъ результаты вели бы человъка къ его цъли, —а судъ принадлежитъ не намъ: для каждаго человька судь въ его дълахъ и ихъ слъдствіяхъ! Мы должны требовать отъ искусства, чтобы оно ноказывало намъ дъйствительность, какъ она есть, пбо какова бы она ни была. эта дъйствительность, она больше скажеть намъ, больше научить насъ, чёмъ вей выдумки и поученія моралистовъ...

Но скажуть, можеть-быть, резонеры — зачыть рисовать картины возмутительных страстей, вмысто того, чтобы плынять воображение изображениемы кроткихы чувствований природы и любви, и трогать сердце и поучать умы? — Старая имсня, господа, такы же старая, какы и «Выйду ль я на рыченьку, посмотрю на быструю»?... Литература восьмнадцатаго выка была по преимуществу моральною и разсуждающею, вы ней не было другихы повыстей, какы солием таки и солием рыйоворыщем; однакожь эти нравственныя и философский книги инкого не исправили, и выкы все-таки былы по преимуществу безиравственнымы и развратнымы. И это противорыче очень поиятно. Законы правственности вы катуры человыка, вы его чувствы, и потому они не противорычать его дыламы; а кто чувствуеты и поступаеты сообразно сы своимы чувствомы,

тотъ мало говоритъ. Разумъ не сочиняетъ, не выдумываетъ законовъ нравственности, но только сознаетъ ихъ, принимая ихъ отъ чувства какъ данныя, какъ факты. И потому чувство и разумъ суть не противоръчащіе, не враждебные другъ другу, по родственные, или, лучше сказать, тождественные элементы духа человъческаго. Но когда человъку или отказано природою въ правственномъ чувствъ, или оно испорчено дурнымъ воспитаніемъ, безпорядочною жизнію, тогда его разсулокъ изобрътаетъ свои законы правственности. Говоримъ: разсудокъ, а не разумъ, пбо разумъ есть сознавшее себя чувство, которое даеть ему въ себъ предметь и содержаніе для мышленія; а разсудокъ, лишенный действительнаго содержанін, по необходимости прибъгаеть къ произвольнымъ построеніямъ. Вотъ происхожденіе морали, и вотъ причина противоржчія между словами и поступками занисныхъ моралистовъ. Для нихъ дъйствительность ничего не значитъ: они не обращають пикакого вниманія на то, что есть, и не предчувствують его необходимости; они хлопочуть только о томъ, что и какъ должно быть. Это ложное философское начало породило и ложное искусство еще задолго до ХУНІ въка, искусство, которое изображало какую-то небывалую пъйствительность, создавало какихъ-то небывалыхъ людей. Въ самомъ дълъ, неужели мъсто дъйствія Корнелевскихъ и Расиновскихъ трагедій — земля, а не воздухъ, ихъ дъйствующія лица люди, а не марьйонетки? Принадлежать ли эти цари, герои, наперсники и въстники какому-нибудь въку, какой-нибудь странь? говориль ди кто-нибудь отъ созданія міра языкомъ, похожимъ на ихъ языкъ?... Восьмнадцатый въкъ довель это разсудочное искусство до последнихъ пределовъ нелепости; онъ только о томъ и хлопоталъ, чтобы искусство шло навывороть дъйствительности, и сдълаль изъ нея мечту, которая и въ нъкоторыхъ добрыхъ старичкахъ нашего времени еще находить своихь магическихь витязей. Тогда думали быть поэтами, восиввая Хлой, Филлидъ, Дорисъ въ фижмахъ и мушкахъ, и Меналковъ, Даметовъ, Титировъ, Миконовъ, Миртилисовъ и Мелибеевъ въ шитыхъ кафтанахъ; восхваляли мирную жизнь подъ соломенною кровлею, у свътлаго ручейка
Ладона, съ милою подругою, невинною пастушкою, въ то
время какъ сами жили въ раззолоченныхъ палатахъ, гуляли
въ стриженныхъ аллеяхъ, вмъсто одной настушки имъли по
тысячъ овечекъ, и для доставленія себъ оныхъ благъ готовы
были на всяческая...

Нашъ въкъ гнушается этимъ лицемърствомъ. Онъ громко говорить о своихъ грвхахъ, но не гордится ими; обнажаетъ свои кровавыя раны, а не прячетъ ихъ подъ нищенскими лохмотьями притворства. Онъ попяль, что сознание своей грѣховности есть первый шагъ къ спасенію. Онъ знаеть, что дъйствительное страданіе дучше мнимой радости... Для него нольза и правственность только въ одной истинъ, а истинавъ сущемъ, т. е. въ томъ, что есть. Потому, и искусство нашего въка есть воспроизведение разумной дъйствительно сти. Задача нашего искусства-пе представить событія въ повъсти, романъ или драмъ, сообразно съ предположенною заранте целію, но развить ихъ сообразно съ законами разумной необходимости. И въ такомъ случав, каково бы ни было содержаніе поэтическаго произведенія, его впечатлівніе на душу читателя будеть благодатио, и, следовательно, правственная цъль достигнется сама собою. Намъ скажуть, что безиравственно представлять ненаказаннымъ и торжествующимъ порокъ: мы противъ этого и не споримъ. Но и въ дъйствительности порокъ торжествуетъ только внёшнимъ образомъ: онъ въ самомъ себѣ поситъ свое наказаніе и гордою улыбкою только подавляеть внутрениее терзаніе. Такъ точно и новъйшее искусство: оно показываеть, что судь человека-въ делахъ его; оно, какъ необходимость, допускаетъ, въ себя диссонансы, производимые въ гармонін правственнаго духа, но для того, чтобы показать; какъ изъ диссонанса снова возникаетъ гармонія, - черезъ то ли, что раззвучная струпа снова пастроивается, или разрывается всябдствіе ея своевольнаго разлада. Это міровой законъ жизни, а сябдовательно и искусства. Вотъ другое дѣло, если ноэтъ захочетъ, въ своемъ произведеніи, доказать, что результаты добра и зла одинаковы для людей,—оно будетъ безиравственно, но тогда уже оно и не будетъ произведеніемъ искусства,—и, какъ крайности сходятся, то оно, вмъстъ съ моральными произведеніями, составитъ олинъ общій разрядъ непоэтическихъ произведеній, инсанныхъ съ опредъленною цълію. Далъе мы изъ самаго разбираемаго нами сочиненія докажемъ, что оно не принадлежитъ ни къ тъмъ, ни къ другимъ, и въ основаніи своемъ глубоконравственно. Но пора намъ обратиться къ нему.

На отлогости Машука, въ верстъ отъ Пятигорска, есть провалъ. Въ одинъ день тамъ назначено было гулянье и родъ бала подъ открытымъ небомъ. Печоринъ спросилъ Грушпицкаго, произведеннаго въ офицеры, идетъ ли опъ къ провалу, и тотъ отвъчалъ, что ни за что въ свътъ не явится передъ княжною прежде, нежели будетъ готовъ его мундиръ, и просилъ его не предувъдомлять ея о его производствъ.

— Скажи мит однако, какъ твои дъла съ нею?...

Онъ смутился и задумался: ему хотълось похвастаться, солгать — и было совъстно, а вмъсть съ этимъ было стыдно признаться въ петинъ.

- Какъ ты думаешь, любить ли она тебя?...

"Любитъ ли? Номилуй, Печоринъ, какія у тебя понятія? какъ можно такъ скоро? Да если даже она и любитъ, то порядочная женщина этого не скажетъ.

- Хорошо! и въроятно по твоему порядочный человъкъ долженъ то же модчать о своей страсти?...
- -" \Im хъ братецъ! На все есть манера; многое не говорится, а отгадывается".
- Это правда... Только любовь, которую мы читаемъ въ глазахъ, ни къ чему женщину не обязываетъ, тогда какъ слова... Берегись Грушницкій, она тебя надуваетъ...

—"Она..." ствъчалъ онъ, поднявъ глаза къ небу и самодовольно улыбнувшись: "мнъ жаль тебя, Печоринъ!

Многочисленное общество отправилось вечеромъ къ провалу. Взбираясь на гору, Печоринъ подалъ руку княжив, и она не покидала ея въ продолжени всей прогулки. Разговоръ ихъ начался злословіемъ. Желчь Печорина взволновалась — и, начавши шутя, онъ кончилъ искреннею злостью. Сперва это забавляло княжну, а потомъ испугало. Она сказала ему, что лучше желала бы попасться подъ ножъ убійцы, чъмъ ему на язычекъ. Онъ на минуту задумался, а потомъ, принявъ на себя глубоко-тропутый видъ, началъ жаловаться на свою участь, которая, по его словамъ, такъ жалка съ самаго его дътства:

Вет читали на моемъ лицъ признаки дурныхъ свойствъ, которыхъ не было, но ихъ предполагали - и они родились. Я былъ скроменъменя обвиняли въ лукавствъ: я сталъ скрытенъ. Я глубоко чувствовалъ добро и зло; никто меня не ласкалъ, всъ оскорбляли – я сталъ злопамятенъ; и былъ угрюмъ-другія дъти были веселы и болтливы; я чувствоваль себя выше ихъ-меня ставили ниже: я сделался завистливъ. Я былъ готовъ любить весь міръ, — меня никто не понялъ; и я выучился ненавидать. Моя безцватная молодость протекла въ борьба съ собой и свътомъ; лучшін мои чувства, боясь насмъшки, я хоронилъ въ глубинъ сердца; они тамъ и умерли. Я говорилъ правду мит не втрили; я началъ обманывать; узнавъ жорошо свътъ и пружины общества, я сталь искренень въ наукъ жизни, и видълъ, какъ другіе безъ искусства счастливы, пользунсь даромъ теми выгодами, которыхъ и такъ неутомино добивалси. И тогда въ груди ноей родилось отчание, -- не то отчание, которое личать дуломь пистолета, -но холодное, безсильное отчанніе, прикрытое любезностью и добродушною улыбкой, и сделался нравственнымъ калекой; одна половина души моей не существовала, она высохла, умерла, я ее отръзалъ и бросилъ, тогда какъ другая шевелилась и жила къ услугамъ каждаго, и этого никто не заметилъ, потому что никто не зналъ о существованія погибщей ся половины; но вы теперь во мнт разбудили воспоминаніе о ней, и и вамъ прочелъ ея эпитафію. Многимъ всв вообще эпптафіи кажутся смешными, но мне неть, особенно когда вспомню, что подъ ними покоится. Впрочемъ, я не прошу васъ раздълять мое мивніе: если моя выходка вамъ кажется смішна-пожалуйста, смійтесь-предупреждаю васъ, что это меня не огорчить ни мало.

Отъ души ли говорилъ это Печоринъ, или притворялся? — Трудно ръшить опредълительно: кажется, что туть было и то и другое. Люди, которые въчно находятся въ борьбъ съ виъшнимъ міромъ и съ самими собою, всегда недовольны, всегда огорчены и желчны. Огорчение есть постоянная форма ихъ бытія, и что бы ни поналось имъ на глаза, все служить имъ содержаніемъ для этой формы. Мало того, что они хорошо помнять свои истинныя страданія, -- они еще неистощимы въ выдумываніи небывалыхъ. Вздумайте ихъ утвшать они разсердятся; покажите имъ причины ихъ горестей въ настоящемъ ихъ свътъ-они оскорбятся. Помогите имъ бранить самихъ себя, взведите на нихъ небывалыя обиды жизни, отыщите небывалые недостатки и пороки въ ихъ характерь — вы польстите ямъ и выиграете ихъ расположение. Если вы попадете на человъка недостаточно глубокаго и сильнаго, --будьте осторожны: вы можете или оскорбить его самолюбіе такъ, что возбудите къ себъ его ненависть, или убить въ немъ всякую увъренность въ себя и возродить отчаяніе, — и тогда вамъ предстоитъ горькая и мучительно скучная роль утёшителя и повёреннаго однёхъ и тёхъ же жалобъ. Если же это человъкъ глубокій и сильный, — не бойтесь слишкомъ далеко зайдти въ нападкахъ на него и на жизнь: у него есть дазфечка изъ этой западии: «я дуренъ, но въдь и вет таковы». А вы знаете, что, по нословицъ, при людяхъ и смерть не страшна,-и какъ бы вы не представлялись себъ дурны, по если и лучшій изъ людей не лучше васъ, —ваше самолюбіе спасено. И вотъ ночему такіе люди такъ пеистощимы въ самообвинении: оно обращается имъ въ привычку. Обманывая другихъ, они прежде всего обманывають себя. Истинная или ложная причина ихъ жалобъ, —имъ все равно, и желчная горесть ихъ равно искренна и непритворна. Мало того: начиная лгать съ сознаніемъ, или начиная шутить-они продолжають и оканчивають искреино. Они сами не зпаютъ, когда лгутъ и когда говорятъ правду,

когда слова ихъ-воиль души, или когда они — фразы. Это дълается у нихъ вмъстъ и бользнію души, и привычкою, и безумствомъ, и кокетничаньемъ. Во всей выходкъ Печорина вы замічаете, что у него страждеть самолюбіе, отчего родилось у него отчаније? — Видите ли: онъ узналъ хорошо свъть и пружины общества, сталь искусень въ наукъ жизни, и видълъ, какъ другіе безъ искусства счастливы, пользуясь даромъ тъми выгодами, которыхъ онъ такъ неутомимо добивался. Какое мелкое самолюбіе! восклицаете вы. Но не торопитесь ванимъ приговоромъ: онъ клевещеть на себя; повърьте мнъ, опъ и даромъ бы не взялъ того счастія, которому завидоваль у этихъ другихъ и котораго добивался. Но княжит отъ этого было не легче: она все приняла за наличную монету. Печоринъ не ошибся, сказавъ, что въ немъ два человѣка: въ то время, какъ одинъ такъ горько жаловался ни на что, другой наблюдаль и за нимъ и за княжною, и вотъ что замътилъ за послъднею:

Въ эту минуту я встрътиль ен глаза: въ нихъ бъгали слезы; рука ен, опирансь на мою, дрожала, щеки пылали: ей было жаль менн!—Состраданіе, чувство, которому покоряются такъ легко всъ женщины, впустило свои когти въ ен неопытное сердце. Во все времи прогулки, она была разсъяна, ни съ къмъ не кокетничала,—а это великій признакъ!...

Бъдная Мери! Какъ систематически, съ какою разсчитанною точностію ведеть ее злой духъ по пути погибели! Подошедши къ провалу, всъ дамы оставили своихъ кавалеровъ, но она не оставилиа руку Печорина; остроты тамошнихъ денди не смъщили ея; крутизна обрыва, у котораго она стояла, не путала ее, тогда какъ другія барышни пищали и закрывали глаза. На возвратномъ пути она была разсъянна, грустпа. «Любили ли вы?» спросилъ ее Печоринъ; она пристально на него посмотръла, покачала головой, и снова задумалась... Казалось, что то хотълось сказать, но она не знала съ чего пачать; грудь ея волновалась.— «Не правда ли, я была сегодия очень

любезна? — сказала она, при разставаны, съ принужденною улыбкою. Печоринъ, виъсто ея, отвътиль самому себъ: «Она недовольна собой, она себя обвиняетъ въ холодности... о, это первое, главное торжество! Завтра она захочетъ вознаградить меня. Я все это ужь знаю наизусть — вотъ что скучно!» — Въдная Мери!...

Между тёмъ, Въра мучилась ревностію и мучила ею Печорина. Она взяла съ него слово уёхать въ Кисловодскъ и нанять себъ квартиру возлѣ того дома, верхъ котораго она займетъ съ мужемъ, а низъ — княгиня Лиговская, которая сбирается туда еще черезъ недѣлю. Вечеръ того же дия Печоринъ провелъ у Лиговскихъ, и веселился, замѣчая успѣхи чувства въ княжнъ. Вѣра все это видѣла и страдала. Чтобы утѣшить ее, онъ разсказалъ въ слухъ исторію своей любви съ нею, разумѣется, прикрывъ все вымыниленными именами. «Я—говоритъ онъ — такъ живо изобразилъ мою нѣжность, мон безпокойства, восторги; я въ такомъ выгодномъ свѣтѣ выставилъ ей ноступки, характеръ, что она поневолѣ должна была простить миѣ мое кокетство съ княжною.»

На другой день—баль въ рестораціи. За полчаса до бала къ Печорину явился Грушницкій въ полномъ сіяпіи армейскаго мундира. — Ты, говорять, эти дни ужасно волочился за моею княжною? — сказаль онъ довольно небрежно и не глядя на Печорина. «Гдѣ намъ дуракамъ чай пить!» отвъчаль тотъ. Затъмъ Грушницкій попросиль у него духовъ; несмотря на замѣчанія Печорина, что отъ него и такъ несетъ розовою помадой, налиль полстклянки за галстухъ, въ носовой платокъ и на рукава, и заключиль опасеніемъ, что ему прійдется начинать съ княжною мазурку, тогда какъ онъ не знаетъ ночти ни одной фигуры. На вопросъ Печорина: «А ты зваль ее на мазурку?» онъ отвѣчалъ, что нѣтъ, и поснѣшилъ дожидаться ея у подъѣзда. Разумѣется, на балу бѣдный Грушницкій разыгралъ, благодари Печорину, очень смѣшную роль. Княжна очень разсѣянию его слушала, и от-

въчала насмъшками на его трагикомическія выходки «Нѣтъ, говориль онъ, —лучше бы миѣ вѣкъ остаться въ этой презрънной солдатской шинели, которой, можетъ быть, я быль обязань вашимъ вниманіемъ...» —Въ самомъ дѣлѣ, вамъ шинель гораздо болѣе къ лицу—отвѣчала княжна и, замѣтивъ подошедшаго къ нимъ Печорина, обратилась къ нему съ вопросомъ о его миѣніи объ этомъ предметѣ. «Я съ вами несогласенъ», отвъчалъ Печоринъ: «въ мундирѣ онъ еше моложавѣе». Этотъ злой намёкъ на лѣта мальчика, который хотѣлъ бы, чтобы на его лицѣ читали слѣды сильныхъ страстей, взбъсилъ Грушницкаго: онъ топпулъ ногою и отошелъ. Все остальное время онъ преслѣдовалъ кияжну: тапцовалъ или съ нею, или vis á vis, вздыхалъ и надоѣдалъ ей мольбами и упреками. Послѣ третьей кадрили она ужь его ненавидѣла.

- "Я этого не ожидалъ отъ тебя", сказалъ онъ, подойдя ко мнъ и взявъ меня за руку.
 - -- Yero?
- "Ты съ нею танцуещь мазурку?" спросилъ онъ торжественнымъ голосомъ. "Она мнъ призналась…"
 - Ну такъ что жь? а развъ это секретъ?
- "Разумъетси... Я долженъ былъ этого ожидать отъ дввчонки.. отъ кокетки... Ужь я отомиу!"
- Ильний на свою шинель, или на свои эполеты, а зачвиъ же обкинять ее? Члыть она виновата, что ты ей больше не нравишься?...
 - "Зачъмъ же подавать надежды?"
 - Зачвиъ же ты надъялся?

Печоринъ достигъ своей цъли: Грушницкій отошелъ отъ него съ чьмъ-то въ родъ угрозы. Это его радовало и забавило, но что же за радость бъсить добраго, пустаго малаго, и для этого играть обдуманную роль, дъйствовать по обдуманному плану? Что это: слъдствіе праздности ума, или мелкости души? Вотъ что думаль объ этомъ онъ самъ, сбиралсь на балъ:

Я шелъ медленно; мнъ было грустно... Неужеля, — думалъ я, мое единственное назначение — разрушать чужія надежды? Съ тъхъ поръ,

какъ и живу и дъйствую, судьба какъ-то всегда приводила меня къ развизкъ чужихъ драмъ, какъ будто безъ меня никто не могъ бы не умереть, ни придти въ отчаяніе! Я былъ необходимое лицо пятаго акта; невольно я разыгрывалъ роль палача или предателя. Какую цъль имъла на это судьба?... Ужь не назначенъ ли я ею въ сочинители мъщанскихъ трагедій и семейныхъ романовъ, или въ сотрудники поставщику повъстей, напримъръ, для "Библіотеки для Чтенія"?... Почему знать?... Мало ли людей, начиная жизнь, думаютъ кончить ее, какъ Александръ Великій, или лордъ Байронъ, а между тъмъ цълый въкъ остаются титулярными совътниками.

Мы нарочно выписали это мѣсто, какъ одну изъ самыхъ характеристическихъ чертъ двойственности Печорина. Въ самомъ дёлё, въ немъ два человёка: первый дёйствуетъ, второй смотрить на действіе перваго и разсуждаеть о нихъ, или, лучше сказать, осуждаеть ихъ, потому что они дъйствительно достойны осужденія. Причины этого раздвоенія, этой ссоры съ самимъ собою, очень глубоки, и въ нихъ же заключается противоръче между глубокостію натуры и жалкостію действій одного и того же человека. Ниже мы коснемся этихъ причинъ, а пока замътимъ только, что Печоринъ, ошибочно дъйствуя, еще ошибочиве судить себя. Онъ смотритъ на себя, какъ на человъка вполив развившагося и опредълившагося: удивительно ли, что и его взглядъ на человѣка вообще мраченъ, жолченъ и ложенъ?... Онъ какъ будто не знаетъ, что есть эпоха въ жизни человъка, когда ему досадно, зачёмъ дуракъ глупъ, подлецъ-низокъ, зачёмъ толна пошла, зачёмъ на сотню пустыхъ людей едва встрётишь одного порядочнаго человъка... Онъ какъ будто не знаеть, что есть такія пылкія и сильныя души, которыя, въ эту эпоху семейной жизни, находять неизъяснимое наслажденіе въ сознаніи своего превосходства, мстять посредственности за ел пичтожность, вмѣшиваются въ ел разсчеты и дъла, чтобы мъшать ей, разрушая ихъ... Но еще болье, онъ какъ будто бы не знаетъ, что для нихъ приходитъ другая эпоха жизни-результать первой, когда они или равнодушио

на все смотрятъ, не сочувствуя добру, не оскорбляясь зломъ, или увъряются, что въ жизни и зло необходимо, какъ и добро, что въ арміи общества человъческаго рядовыхъ всегда должно быть больше, чъмъ офицеровъ, что глупость должна быть глупа, потому что она глупость, а подлость подла, потому что она подлость, и они оставляютъ ихъ идти своею дорогою, если не видятъ отъ нихъ зла, или не видятъ возможности помъшать ему, и повторяютъ про себя, то съ радостною, то съ грустною улыбкою: «и все то благо, все добро!» Увы, какъ дорого достается уразумъніе самыхъ простыхъ истипъ!... Печоринъ еще не знаетъ этого, и именно потому что думаетъ, что все знаетъ.

Позабавившись надъ Грушницкимъ, онъ позабавился и надъ княжною, хотя советмъ другимъ образомъ.

Я два раза пожалъ ея руку... во второй разъ она ее выдернула, не говоря ни слова.

- Я дурно буду спать эту ночь, сказала она миж, когда мазурка кончилась.
 - "Этому виноватъ Грушницкій".
- О нътъ!—И лице ен стало такъ задумчиво, такъ грустно, что я далъ себъ слово въ этотъ вечеръ непремънно поцъловать ен руку.

Стали разъвзжаться. Сажая княжну въ карету, я быстро прижаль ен маленькую ручку къ губами своимъ. Было темно, и никто не могъ этого видъть.

Я возвратился въ залу очень довольный собою.

Съ этого времени исторія круто поворотилась, и изъ комической начала переходить въ трагическую. Доселъ Печоринъ съялъ — теперь настаетъ время пожинать ему плоды посъяннаго. Мы думаемъ, что въ этомъ и должна заключаться истинная правственность поэтическаго произведенія, а не въ пошлыхъ сентенціяхъ.

Грушницкій наконецъ попялъ, что онъ одураченъ, но вмъсто того, чтобы въ самомъ себѣ увидѣть причину своего позора, онъ увидѣлъ ее въ Печоринѣ. Къ нему присталъ драгунскій капитанъ и всѣ другіе, которыхъ оскорбляло прево-

сходство Печорина-и противъ Печорина начала составляться враждебная нартія; но онъ не испугался, а обрадовался этому, увидёвъ новую пищу для своей праздной дёятельности... «Очень радъ; я люблю враговъ, хотя не по-христіянски. Они меня забавляють, волнують мив кровь. Быть всегда на стражъ, ловить каждый взглядъ, значене каждаго слова, угадывать намфреніе, притворяться обманутымъ, и вдругъ однимъ толчкомъ опрокинуть все огромное и многотрудное зданіе ихъ хитростей и замысловъ — вотъ что я называю жизнію!» — Ошибочное названіе! — восклицаете вы, и мы согласны съ вами; но сила всегда останется силою, и всегда будеть полна поэзін, всегда будеть восхищать и удивлять васъ, хотя бы она дъйствовала и деревяннымъ мечемъ, вмъсто будатнаго... Есть дюди, въ рукахъ которыхъ и простая палка опасите, чемъ у иныхъ шпага: Печорипъ изъ такихъ людей...

На другой день Въра уъхала съ мужемъ въ Кисловодскъ. Печоринъ вишитъ ее самое въ причинъ ея жалобъ на него: она отказываетъ ему въ свиданіи наединъ. «Авось — говорить онь — ревность сдълаеть то, чего не могли мон просьбы». Вечеромъ опъ заходилъ къ Лиговскимъ и не видалъ княжны-она больна. Возвратясь домой, онъ заметиль, что ему чего-то недостаетъ. «Я не видалъ ее! Она больна! Ужь не влюбился ли я въ самомъ дѣлѣ?... Какой вздоръ?» — Видите ли: какъ увлекательна эта игра въ увлечение, какъ легко, увлекая другихъ, увлечься и самому!... Какъ ни старается Печоринъ выставить себя холоднымъ обольстителемъ безъ всякой цели, но отъ нечего делать; однако для насъ его холодность очень подозрительна. Конечно, это еще не любовь, но въдь трудно разбирать и различать свои ощущенія: собственное сердле всякаго есть самый извилистый, самый темный лабиринтъ... На другой день онъ засталь ее одну. Она была блъдна и задумчива. «Вы на меня сердитесь?» Она заплакала и закрыла лице руками. «Что съ вами?»—Вы меня не

уважаете!... отвъчала она. Онъ ей сказаль что-то въ родъ извиненія и тщеславной загадки насчеть своего характера— и вышель; но, уходя, слышаль какъ она илакала. Бъдная дъвушка! стръла такъ глубоко вошла въ ея сердце, что дъло не можеть кончиться хорошо!... Въ тотъ же день Печоринъ узналь отъ Вернера, что ходять слухи, будто онъ женится на княжиъ...

Наконецъ, дъйствіе переносится въ Кисловодскъ. Однажды многочисленная кавалькада отправилась смотръть Кольцо — скалу, образующую ворота, верстахъ въ трехъ отъ Кисловодска. Когда, на возвратномъ пути, переъзжали черезъ Подкумокъ, у кияжны закружилась голова, оттого что она смотръла въ воду. — Миъ дурио! — проговорила она слабымъ голосомъ. Печоринъ обвилъ рукою ея гибкій станъ, щека ея почти касалась его щеки, отъ нен въяло пламенемъ... «Что вы со мной дълаете? Боже мой!...» говорила она; но онъ не обращалъ вниманія на ея слова — и губы его коснулись ея щеки... Выъхавъ на берегъ, всъ пустились рысью, княжна пріостановила свою лошадь, и они опять поъхали позади всъхъ. Послъ долгаго молчанія, умышленнаго со стороны Печорина, она паконецъ сказала голосомъ, въ которомъ были слезы:

Или вы меня презпраете, или очень любите! Можетъ-быть вы хотите посмъяться надо мною, возмутить мою душу и потомъ оставить... Это было бы такъ подло, такъ низко, что одно предположеніе... О, ивтъ! не правда ли, — прибавила она голосомъ нѣжной довъренности: — не правда ли, во мнъ нѣтъ нвчего такого, чтобы исключало уваженіе? Вашъ дерзкій поступокъ... я должна вамъ его простить, потому что позволила... Отвъчайте, говорите же; я хочу слышать вашъ голосъ! "

Въ послъднихъ словахъ было текое женское нетерпъніе, что я невольно улыбнулся; къ счастію начинало смеркаться... Я ничего не отвъчаль.

Я молчалъ.

[—] Вы молчите? продолжала она: вы, можетъ-быть, хотите, чтобы я первая сказала вамъ, что я васъ люблю?...

 Хотите ли этого? продолжала она, быстро обратясь во мнъ... Въ ръшительности ея взора и голоса было что-то страшное...

— "Зачъмъ?" отвъчадъ я, пожавъ плечами.

Она ударила хлыстомъ свою лошадь и пустилась во весь духъ по узкой, опасной дорогѣ; это произошло такъ скоро, что я едва могъ ее догнать, и то, когда ужь она присоединилась къ остальному обществу. До самаго дома она говорила и смѣнлась поминутно; въ ея движеніяхъ было что-то лихорадочное; на меня не взглянула ни раза. Всѣ замѣтили эту необыкновенную веселость. И княгини внутренно радовалась, глядя на свою дочку; а удочки просто нервическій припадокъ: она проведетъ ночь безъ сна и будстъ плакать. Эта мысль мил доставляетъ пеобъятное наслажденіе: есть минуты, когда я понимаю Вампира!... а еще слыву добрымъ малымъ и добиваюсь этого названія.

Что такое вся эта сцена? Мы понимаемъ ее только какъ свидътельство, до какой степени ожесточенія и безиравственности можетъ довести человъка въчное противоръчіе съ самимъ собою, въчно неудовлетворяемая жажда истинной жизни, истипнаго блаженства; но послъдней черты ея мы ръшительно не понимаемъ... Она кажется памъ преувеличеніемъ, умышленною клеветою на самаго себя, чертою изысканною и натяпутою; словомъ намъ кажется, что здъсь Печоринъ впалъ въ Грушпицкаго, хотя и болъе страшнаго, чъмъ смъшнаго... И, если мы не ошибаемся въ своемъ заключеніи, это очень понятно: состояніе противоръчія съ самимъ собою пеобходимо условливаетъ большую или меньшую изысканность и натяпутость въ положеніяхъ...

Возвращаясь домой слободкою, Печоринъ услышалъ изъ одного дома нестройный говоръ и шумные крики. Онъ слъзт съ коня и сталъ подслушивать. Говорили о немъ. Драгунскій капитанъ кричалъ, что его надо поучить, что эти петербургскіе слетки зазнаются, пока ихъ не ударишь по носу; что Печоринъ думаетъ, что онъ только одинъ и жилъ въ свътъ, оттого что носитъ всегда чистыя перчатки и вычищенные сапоги, и что онъ долженъ быть трусъ. Грушницкій подтвердилъ достовърность послъдняго предположенія, выдумавъ

какое-то происшествіе, въ которомъ будто бы Печоринъ сыгралъ передъ нимъ не слишкомъ выгодную для своей чести роль. Почтенная компанія поджигаетъ Грушницкаго — имя княжны уноминается. Впрочемъ, драгунскій капитапъ хочетъ только позабавиться надъ Печоринымъ, заставить его обнаружить свою трусость. Онъ предлагаетъ Грушницкому вызвать его на дуэль, а себъ предоставляетъ поставить ихъ въ шести шагахъ и въ пистолеты не положить пуль.

Я съ трепетомъ ждалъ отвъта Грушницкаго; холодная злость овладъла мною при мысли, что еслибъ не случай, то я могъ бы сдълаться посмъщищемъ этихъ дураковъ Еслибъ Грушницкій не согласился, я бросился бъ ему на шею. Но послъ нъкотораго молчанія, онъ всталъ съ своего мъста, протянулъ руку капитану и сказалъ очень важно: "хорошо, и согласенъ".

По утру Печоринъ встрътилъ княжну у колодца. Это свиданіе было страшною развязкою пустой и инчтожной драмы, которая предшествовала другой драмъ, не менъе пустой и инчтожной въ сущности, но еще съ болъе страшною развязкою.

- "Вы больны?" сказала она, пристально посмотръвъ на меня.
- . Я не спалъ ночь.
- "И л также... я васъ обвиняла... можетъ-быть напрасно?—Но объяснитесь, я могу вамъ простить все..."
 - Все ли?
- "Все... только говорите правду... только скорфе... Видите ли, я много думала, стараясь объяснить, оправдать ваше поведеніе: можетъбыть, вы боитесь препятствій со стороны моихъ родныхъ... это ничего: когда они узнаютъ... (ея голосъ задрожалъ) я ихъ упрошу. Или ваше собственное положеніе... но знайте, что я всъмъ могу пожертвовать для того, котораго люблю... О, отвъчайте скорфе, сжальтесь: вы меня не призираете; не правда ля?"

Она схватила меня за руку.

Княгиня пла впереди насъ съ мужемъ Въры, и ничего не видала, во насъ могли видъть гуляющіе больные, самые любопытные сплетники изъ всъхъ любопытныхъ, и и быстро освободилъ свою руку отъ ея страстнаго пожатія.

Я вамъ скажу всю истину, отвъчалъ я княжнъ: не буду оправдываться, ни объяснять своихъ поступковъ: n, васъ не мюблю.

Ен губы слегка поблъднъли... "Оставьте меня" сказала она едва внятьо... Я пожалъ плечами, повернулся и ушелъ.

На этотъ разъ Печоринъ синсходительнъе къ намъ: опъ приподияль таинственное покрывало, которымь облекь свое сатанинское ведичіе, очень просто, хотя и прекрасною прозою, объяснилъ причину этой сцены, какъ бы желая оправдаться въ ней. Онъ говорить, что какъ бы страстно ни любиль онь женщину, но какъ скоро она дастъ ему почувствовать, что онъ долженъ на ней жениться — прости любовь!... Этотъ страхъ лишиться постылой и ни для чего не нужной ему свободы, онъ принисываетъ предсказанію старушки, которая, когда, еще онъ быль ребенкомъ, гадала про него его матери, и предрекла ему смерть отъ злой жены... Нътъ, это все не то!... Печоронъ не любилъ княжны: онъ оскорбиль бы самого себя, еслибы назвать любовью легонькое чувство, возбужденное его собственнымъ кокетствомъ и самолюбіемъ. Потомъ: бракъ есть дъйствительность любви. Любить истинно можетъ только вполить созръвшая душа, и въ такомъ случат, любовь видитъ въ бракт свою высочайшую награду, и, при блескъ въща, не блекнеть, а пышнъе распускаеть свой ароматный цвъть, какъ при лучахъ солнца... Всякое чувство дъйствительно въ отношения къ самому себѣ, какъ выраженіе моментальнаго состоянія духа: н первая любовь едва проснувшейся для жизни души отрока имъетъ свою поэзію и свою истину; по будучи дъйствительна по своей сущности, она совершенно призрачна по своей формѣ, и въ сравненіи съ любовью возмужалаго человѣка есть то же, что нервое безсвязное ленетаніе младенца въ сравненін съ разумною річью мужа. Это больше потребность любви, чёмъ самая любовь, и нотому она обращается на первый предметь, способный поразить юную фантазію истиннымь или мнимымъ сходствомъ съ ел пдеаломъ, и такъ же скоро погасаетъ какъ и вепыхиваетъ. Такая любовь можетъ много разъ повториться въ жизни человтка; она, или ненавидить бракъ

и отвращается его, какъ иден, профанирующей ея идеальность, или представляетъ его высочайшимъ блаженствомъ и стремится къ нему только до тёхъ поръ, пока онъ не предстанетъ къ ней съ своимъ строго-испытующимъ, недовърчиво суровымъ взоромъ: тогда бёдная любовь потупляеть передъ нимъ свои глаза, какъ ребенокъ, застигнутый въ шалости строгимъ гувернёромъ... Да, бракъ есть гибель такой любын, и вотъ почему такъ много бываетъ «несчастныхъ браковъ по любви»... Только дёйствительное чувство не боится своего осуществленія, не трепещеть своей нов'єрки; только действительность смёло смотрить въ глаза действительности, не потупля своихъ глазъ... И неужели Печоринь, этоть человъкъ, столь глубокій и могучій, могь почесть свое чувство къ княжив действтельнымъ, и удивиться, что ея намёкъ о бракъ такъ же легко уничтожилъ его чувство, какъ видъ лозы упичтожаетъ резвость ребенка?... Нать, изъ всего этого опить-таки видно только одно, что Печоринъ еще рапо почелъ себя допившимъ до дна чашу жизни, тогда какъ онъ еще не сдулъ порядочно кинящей пъны... Повторяемъ: онъ еще не знаетъ самого себя, п если не должно ему върить, когда онъ оправдываеть себя пли прописываеть себъ разныя нечеловъческія свойства и пороки. Но винить ли его за это? — Вините, если въ глазахъ вашихъ юноша виноватъ тъмъ, что онъ молодъ, а старецъ тъмъ, что онъ старъ! Есть люди, въ которыхъ потребность жизни такъ сильна, что составляетъ ихъ мученіе до тѣхъ поръ нока не удовлетворится, -- и есть люди, которые долго живуть и умирають неудовлетворенные, ибо действительны только потребности, а удовлетвореніе всегда зависить отъ случая, который такъ же можеть сбыться, какъ и можетъ несбыться. И воть когда такіе люди бросаются всюду, ища удовлетворенія, и не находять его, шхъ отчаяніе порождаетъ клеветы на въчные законы разумной дъйствительности; по они правы предъ самими собою въ этихъ клеветахъ, хотя и неправы предъ дъйствительностію. Можно ли винить ихъ за то, что они съ такою жадностію бросаются на все, что волнуетъ душу призраками блаженства? Не всъ же родятся съ этимъ апатическимъ благоразуміемъ, источникъ котораго—гиилая и мертвая натура...

Въ Кисловодскъ прівхалъ фокусникъ. Разумвется, на водахъ нельзя презирать никакимъ родомъ развлеченія,—и на первое представленіе всв бросились. Сама княгиня Лиговская, не смотря на то, что дочь ея была больна, взяла билетъ. Печоринъ получилъ отъ Въры записку, которою она назначала ему свиданіе въ 9 часовъ вечера, извъщая его, что мужъ ея убхалъ въ Пятигорскъ до утра слъдующаго дня, а людямъ, какъ своимъ, такъ и Лиговскихъ, она раздала билеты. Повертъвшись на представленіи и замътивъ въ заднихъ рядахъ лакеевъ и горничныхъ Въры и киягини, Печоринъ отправился на свиданіе.

На дворъ было темно. Вдругъ Печорину показалось, что кто-то идетъ за нимъ. Изъ предосторожности, онъ обошелъ вокругъ дома, будто гуляя. Проходя мимо оконъ княжны, онъ снова услышалъ за собою шаги, — и человъкъ, завернутый въ шинель, пробъжалъ мимо его. Печоринъ бросился на темную лъстницу — дверь отворилась, и маленькая

ручка охватила его руку...

Около двухъ часовъ по полуночи, Нечоринъ спустился изъ окна, съ верхняго балкона на нижній, посредствомъ двухъ связанныхъ шалей. У княжны горълъ огонь и что-то толкнуло Нечорина къ окну. Благодаря не совсъмъ задернутому занавъсу, вотъ что увидълъ онъ: «Мери сидъла на своей постели, скрестивъ на колъняхъ руки; ел густыя волосы были собраны подъ ночнымъ ченчикомъ, обшитымъ кружевами; большой пунцовый платокъ покрывалъ ел бълым плечики, и маленькая ножка пряталася въ нестрыхъ персидскихъ туфляхъ. Она сидъла неподвижно, опустивъ голову

на грудь; передъ нею на столикъ была раскрыта книга, но глаза ел, неподвижные и полные неизъяснимой грусти, казалось, въ сотый разъ пробъгали одну и ту же страницу, тогда какъ мысли ел были далеко...

Какъ много говорять эти немногія и простыя строки! Какую длинную и мучительную повъсть оскорбленнаго женскаго достоинства, оскорбленной женской любви, затаенныхъ страданій и холодно-жгучаго отчаянія разсказывають онъ!... Бъдная Мери!...

Въ эту минуту кто-то шевельнулся за кустомъ; Печоринъ спрыгнулъ съ балкона на землю, и невидимая рука схватила его за илечо. «А-га!» сказалъ грубый голосъ: «попался!... Будешь у меня къ княжнамъ ходить ночью!...»—Держи его крѣнче! — закричалъ другой голосъ, — и Нечоринъ узналъ Грушницкаго и драгунскаго капитана. Сильнымъ ударомъ по головъ сшибъ онъ послъдняго и бросился въ кусты. «Воры! караулъ!» кричали преслъдователи; раздался ружейный выстрълъ и дымящійся пыжъ уналъ почти къ ногамъ Печорина. Черезъ минуту онъ былъ уже дома и лежалъ, раздътый, въ своей постели. Едва человъкъ его успълъ запереть на замокъ дверь, какъ драгунскій капитанъ и Грушницкій начали стучаться, крича: «Печоринъ! вы синте? здъсь вы?» — Силю — отвъчалъ онъ имъ сердито. — «Вставайте! — воры... Черкесы...» — У меня насморкъ, боюсь простудиться.

Они ушли. Между тёмъ сдёлалась тревога. Цзъ крёности прискакалъ казакъ. Все зашевелилось, начали искать Черкесовъ, и на другой день всё были убёждены въ ночномъ нападеніи Черкесовъ. Па другой день утромъ, Печоринъ встрётился у колодца съ мужемъ Вёры, съ которымъ и пошелъ въ ресторацію завтракать. Добрый старикъ разсказывалъ ему о страхахъ жены своей въ прошлую почь. «Надобно жь, чтобъ это случилось именно тогда, какъ я въ отсутствіи!» говорилъ онъ. Они усёлись завтракать у двери, ведущей въ угловую комнату, гдё находилось человёкъ десять молодежи,

въ числъ которой былъ и Грушницкій. Итакъ, судьба снова доставила Иечорину случай подслушать Грушницкаго. Этотъ послъдній за тайну открывалъ обществу, что причиною ночной тревоги были не Черкесы, а одинъ человъкъ, имя котораго онъ долженъ утапть, и который былъ у княжны. «Какова княжна?» заключилъ онъ: «а? Ну, ужь признаюсь, московскія барышни! послъ этого чему же можно върить? Мы хотъли его схватить; только онъ вырвался, и какъ заяцъ бросился въ кусты; тутъ я по немъ выстрълилъ». Замътивъ, что ему никто не върилъ, онъ сталъ увърять честнымъ словомъ въ справедливости разсказаннаго имъ, и наконецъ даже изъявиль готовность назвать виповника исторіи.

Въ эту минуту онъ поднялъ глаза—и стоялъ въ дверихъ противъ него; онъ ужасно покраснълъ. Я подошелъ къ нему и сказилъ медленно и внятно:

— Мив очень жаль, что я вошель послв того, какъ вы уже дали честное слово въ подтверждение самой отвратительной клеветы. Мое присутствие избавило бы васъ отъ лишней подлости

Грушницкій вскочиль съ своего мѣста и хотѣль разгорячиться. Нечоринь, разумѣется, сталь требовать отъ него, чтобы онъ отказался отъ своихъ словъ. Грушницкій стояль передъ нимъ, потупивъ глаза, въ сильномъ волненіи; но борьба совѣсти съ самолюбіемъ была непродолжительна, тѣмъ болѣе, что драгунскій капитанъ толкнуль его локтемъ: не подымая глазъ на Печорина, снова подтвердиль онъ ему истину своего обвиненія. Нечоринъ отвелъ капитана и переговорилъ съ нимъ. На крыльцѣ рестораціи, мужъ Вѣры схватилъ его за руку съ чувствомъ, похожимъ на восторгъ, называлъ его благороднѣйшимъ человѣкомъ, а Грушницкаго подлецомъ, и изъявлялъ свою радость, что у него нѣтъ дочерей... Бѣдный мужъ!...

Оттуда Печоринъ пошелъ къ Верперу, разсказалъ ему

⁻ Скажи, скажи, кто жь онъ! раздалось со всъхъ сторонъ.

^{- &}quot;Печоринъ" отвъчалъ Грушницкій.

все и попросилъ въ свои секунданты. Черезъ часъ Верперъ пришелъ къ нему, уже переговоривши съ драгунскимъ капитаномъ. «Противъ васъ точно есть заговоръ сказалъ онъ ему». Пока Верцеръ снималь въ передней калоши, онъ быль свидътелемъ жаркаго спора капитана съ Грушницкимъ, изъ котораго поняль, что Грушницкій не соглашался дурачить Нечорина, но требоваль, какь обиженный, ръшительной дуэли. Переговоры Вернера съ капитаномъ поръщились на томъ, чтобы мъстомъ дуэли было глухое ущелье верстахъ въ пяти отъ Кисловодска, и чтобы стреляться на другой день, въ четыре часа утра, въ шести шагахъ, а убитагона счеть Черкесовъ. За тъмъ Вернеръ сообщиль свое подогръніе, что капитанъ памъренъ положить пулю только въ пистолетъ Грушницкаго, и спросилъ Печорина, должно ли имъ показать, что они догадались, на что последній решительно не согласился, говоря, что онъ и безъ того разстроить ихъ планы.

Вечеромъ къ Печорину приходилъ лакей съ приглашениемъ отъ княгини, по онъ сказался больнымъ. Всю ночь онъ не спадъ. въ головъ его пробъгали мысли за мыслями. Оть угрозъ Грушницкому, котораго онъ почиталъ върною жертвою своею, онъ перешелъ къ мысли о непостоянствъ счастія, которое досель неизмѣнно служило ему. «Что жь» думалъ онъ: «умереть такъ умереть! потеря для міра небольшая; да и мнъ самому порядочно ужь скучно. Я-какъ человъкъ, зъвающій на балъ, который не тдеть спать только потому что еще нтть его кареты. Но карета готова... Прощайте!... За тъмъ онъ обращается на всю жизнь свою, и ему невольно приходить въ голову вопросъ о цели его жизни. «Зачемъ я жилъ? для какой цели я родился? А върпо она существовала, и върно было мнъ назначение высокое, потому что я чувствую въ душт моей силы необъятыя... Но я не угадаль этого назначенія, я увлекся приманками страстей пустыхъ и неблагодарныхъ; изъ горнила ихъ я вышель твердъ и холоденъ какъ желѣзо, но

утратиль навъки пыль благородныхъ стремленій — дучшій цвъть жизпи!...»

Поучительна и мая бестда съ самимъ собою человъка, который завтра готовится быть или убитымъ или убійцею?... Мысль невольно обращается на себя, и сквозь мглу предразсужденій и умышлепныхъ софизмовъ блестить лучь ужасной истины... Но решение принято, шагъ сделанъ, и возврата ивть: само общество, которое смотрить на кровавыя сдълки, какъ на безиравственность, само общество, противоръча себъ, запрещаеть этоть возврать своимъ насмъщливопрезрительнымъ взглядомъ, своимъ недвижно-остановившемся на жертвъ перстомъ... Кровавая развязка дъла доставляетъ ему средства читать себѣ для другихъ правоученія, произнести ближнему приговоръ и надавать ему позднихъ совътовъ; отступление лишаетъ его занимательнаго анекдота, прекраснаго случая къ развлечению на чужой счетъ. Что жь тутъ дълать? разумъется, идти впередъ, а чтобы впиканіе въ себя и въ сущность дёла не лишило смёлости, закрыть глаза на истину, и объими руками ухватиться за первый представившійся софизмъ, котораго ложность самому очевидна. Печоринъ такъ и сделалъ; онъ решилъ, что не стоитъ труда жить, и онъ правъ передъ собою, или покрайней мъръ, не виновать передъ тёми строгими судьями чужихъ поступковъ, которые сами не участвують въ жизни, но на живущихъ смотрять, какь эрители на актёровь, то аплодируя, то шикая...

Не смотря на тайное безпокойство, мучившее Печорина, онъ не только имълъ силы заставить себя взяться за романъ Вальтеръ-Скотта «Шотландскіе Пуритане», по еще и увлечься волшебнымъ вымысломъ.

Когда разсвъло, опъ посмотрълся въ зеркало: тусклая блъдность покрывала лице его, хранившее слъды мучительной безсопницы; по глаза, хотя окруженные коричневою тънью, блистали гордо и неумолимо. «Я, говорить опъ, ос-

тался доволень собою». Купанье въ Нарзанъ сдълало его совершенно свъжимъ и бодрымъ. Возвратясь съ купанья, онъ нашелъ у себя Вернера. Они съли на лошадей и поъхали. Туть слъдуетъ мимоходомъ краткое, полное поэзіи описаніе прекраснаго кавказскаго утра.

Они ъхали молча.

- Написали ли вы свое завъщание?--вдругъ спросилъ Вернеръ.
- "Нътъ.
- А если будете убиты?
- "Насладники отыщутся сами".
- Неужели у васъ нътъ друзей, которымъ бы вы хотъли послать послъднее прости?...

Я покачалъ головой.

- Неужели нътъ женщины, которой вы хотъли бы оставить чтонибудь на память?...
- "Хотите ли, докторъ", отвъчалъ и ему, "чтобъ и распрылъ вамъ мою душу?... Видите ли: и выжилъ изъ тъхъ лътъ, когда умираютъ, произноси имя своей любезной и завъщая другу клочекъ напомаженныхъ или ненапомаженныхъ волосъ. Думая о близкой и возможной смерти, и думаю, объ одномъ себъ; иные не дълаютъ и этого. Друзья, которые завтра мени забудутъ, или хуже, взведутъ на мой счетъ Богъ знаетъ какія небылицы; женщины, которыя, обнимая другаго, будутъ смънтьси надо мною, чтобъ не возбудить въ немъ ревности къ усопшему, Богъ съ ними! Изъ жизненной бури и вынесъ только нъсколько идей и ни одного чувства. Я давно ужь живу не сердцемъ, а головою. Я взявшиваю, разбираю свои собственныя страсти и поступки съ строгимъ люборытствомъ, но безъ участія. Во мнъ два человъка: одинъ живетъ въ полномъ смыслъ этого слова, другой мыслитъ и судитъ его; первый, можетъ-быть чрезъ часъ простится съ вами и міромъ на въки, а второй… второй?...

Это признаніе обнаруживаетъ всего Печорина. Въ немъ пътъ фразъ, и каждое слово искренно. Безсознательно, по върно выговорилъ Печоринъ всего себя. Этотъ человъкъ не пылкій юноша, который гоняется за впечатлъніями и всего себя отдаетъ первому изъ нихъ, пока оно не изгладится, и душа пе запроситъ новаго. Нътъ, онъ вполиъ пережилъ юношескій возрастъ, этотъ періодъ романтическаго взгляда

на жизнь: онъ уже не мечтаетъ умереть за свою возлюбденную, произнося ея имя и завъщевая другу локонъ волосъ, не принимаетъ слова за дёло, порывъ чувства, хотя бы самаго возвышеннаго и благороднаго, за дъйствительное состояніе души человѣка. Опъ много перечувствоваль, много любиль, и по опыту знаеть, какъ непродолжительны всъ чувства, всъ привязанности; онъ много думалъ о жизни, и и по опыту знаеть, какъ непадежны всъ заключенія и выводы для тъхъ, кто прямо и смъло смотрить на истину, не тъшитъ и не обманываетъ себя убъжденіями, которымъ уже самъ не въритъ... Духъ его созрълъ для повыхъ чувствъ п новыхъ думъ, сердце требуетъ новой привязанности: дъйствительность Воть сущность и характеръ всего этого новаго. Онъ готовъ для него; но судьба еще не даетъ ему новыхъ опытовъ, и презирая старые, онъ все-таки по нимъ же судить о жизни. Отсюда это безвтріе въ дъйствительность чувства и мысли, это охлаждение къ жизни, въ которой ему видится то оптическій обмань, то безсмысленное мельканіе китайскихъ тъней. Это—переходное состояніе духа, въ которомъ для человъка все старое разрушено, а новаго еще исть, и въ которомъ человскъ есть только возможность чего-то дъйствительнаго въ будущемъ, и совершенный призракъ въ настоящемъ. Тутъ-то возникаетъ въ немъ то, что на простотъ языкъ называется и «хандрою», и «инохондрією», и «мнительностію», и «сомнініемь», и другими словами, далеко не выражающими сущности явленія; и что на языкъ философскомъ называется рефлексіею. Мы не будемъ объяснять ни этимологического, ни философского значенія этого слова, а скажемъ коротко, что въ состоянии рефлекси, человъкъ распадается на два человъка, изъкоторыхъ одинъ живеть, а другой наблюдаеть за нимъ и судить о немъ. Тутъ нътъ полноты ни въ какомъ чувствъ, ни въ какой мысли, ни въ какомъ дъйствін: какъ только зародится въ человъкъ чувство, намъреніе, дъйствіе, тотчасъ какой-то скрытый въ немъ самомъ врагъ уже подсматриваетъ зародышъ, анализируетъ его, изслъдуетъ, върна ли, истинна ли эта мысль, дъйствительно ли чувство, законно ли намъреніе, и какая ихъ цѣль, и къ чему они ведутъ, — и благоуханный цвътъ чувства блекиетъ, не распустившись, мысль дробится въ безконечность, какъ солнечный лучъ въ граненомъ хрусталъ; рука, подъятая для дъйствія, какъ внезапно окаменьая, останавливается на взмахъ, и не ударяетъ...

Такъ робкими всегда творитъ насъ совъсть: Такъ яркій въ насъ ръшимости румянецъ Подъ тънію тускнъетъ размышленья, И замысловъ отважные порывы, Отъ сей препоны уклоняя бътъ свой, Именъ дъяній не стяжаютъ...

говоритъ Шекспировъ Гамлетъ, этотъ поэтическій апотеозъ рефлексіи. Ужасное состояніе! Даже въ объятіяхъ любви, среди блаженифішаго упоенія и полноты жизни, возстаетъ этотъ враждебный внутренній голосъ, чтобы заставить человъка думать

..... въ такое время, Когда не думаетъ никто.

и, вырвавъ изъ его рукъ очаровательный образъ, замънить его отвратительнымъ скелетомъ...

Но это состояние сколько ужасно, столько же необходимо. Это одинъ изъ величайшихъ моментовъ духа. Полнота жизни въ чувствъ, но чувство не есть еще послъдняя ступень духа, дальше которой онъ не можетъ развиваться. При одномъ чувствъ, человъкъ есть рабъ собственныхъ ощущеній, какъ животное есть рабъ собственнаго инстинкта. Достоинство безсмертнаго духа человъческаго заключается въ его разумности, а послъдній, высшій актъ разумности есть—мысль. Въ мысли независимость и свобода человъка отъ собственныхъ страстей и темныхъ ощущеній. Когда человъкъ поднимаетъ въ гиъвъ руку на врага своего — онъ слъдуетъ

чувству, его одушевляющему; но только разумная мысль о своемъ человъческомъ достоинствъ и о своемъ человъческомъ братствъ со врагомъ, можетъ удержать порывъ гнъва и обезоружить поднятую для убійства руку. Но переходъ изъ непосредственности въ разумное сознаніе необходимо совершается черезъ рефлексію, болье или менье бользненную, смотря по свойству индивидуума. Если человътъ чувствуетъ хоть сколько нибудь свое родство съ человъчествомъ и хоть сколько-нибудь сознаеть себя духомъ въ духф, --онъ не можеть быть чуждъ рефлексіп. Исключенія остаются только или за натурами чисто-практическими, или за людьми мелкими и ничтожными, которые чужды интересовъ духа, и которыхъ жизнь-апатическая дремота. И нашъ въкъ есть по преимуществу въкъ рефлексін, почему отъ нея пе освобождены ни тъ мириыя и счастливыя натуры, которыя съ глубокостію соединяють тихость и невозмущаемое спокойствіе, ни салыя практическія натуры, если он'в не лишены глубокости. Отсюда значеніе цілой германской литературы: въ основанін почти каждаго изъ ея произведеній лежить правственный, религіозный, или философскій вопросъ. «Фаусть» Гёте есть поэтическій апотеозь рефлексій нашего въка. Естественно, что такое состояніе челов'вчества пашло свой отзывъ и у насъ; но оно отразилось въ нашей жизни особеннымъ образомъ, вслъдствіе неопредъленности, въ которую поставлено наше общество наспльственнымъ выходомъ изъ своей непосредственности, черезъ великую, реформу Петра. Дивно-художественная «Сцена Фауста» Пушкина представляеть собою высокій образь рефлексін, какь бользин многихъ индивидуумовъ нашего общества. Ея характеръ — апатическое охлаждение къ благамъ жизни, вследствие невозможности предаваться имъ со всею полнотою. Отсюда: томительпая бездъйственность въ дъйствіяхъ, отвращеніе по всякому дълу, отсутствие всякихъ интересовъ въ душъ, неопредъленность желаній и стремленій, безотчетная тоска, мечтательность при избыткъ внутренией жизни. Это противоръчіе превосходно выражено авторомъ разбираемаго нами романа, въ его чудно поэтической «Думъ», исполненной благороднаго негодованія, могучей жизни и поразительной върности идей. Чтобы убъдиться въ этомъ достаточно припоминть изъ нея слъдующіе четыре стиха, въ которыхъ сказано больше, чъмъ въ двънадцати томахъ инаго «господина-сочинителя».

И ненавидимъ мы, и любимъ мы случайно, Ничъмъ не жертвуя ни злобъ, ни любви, И царствуетъ въ душъ какой то холодъ тайный, Когда огонь кипитъ въ крови!...

Печоринъ есть одинъ изъ тѣхъ, къ кому особенно должно относиться это энергическое воззвание благороднаго поэта, котораго это самое и заставило назвать героя романа героемъ нашего времени. Отсюда происходитъ и недостатокъ опредъленности, недостатокъ художественной рельефности въ изображении этого лица, но отсюда же выходитъ и его высочайший поэтический питересъ для всѣхъ, кто принадлежитъ къ нашему времени не по одному году и числу мѣсяца, въ которые родился, и то сильное неотразимо-грустное впечатлъние, которое онъ на насъ производитъ. Но мы еще возвратимся къ этому предмету, когда кончимъ изложение содержания романа.

Подробности свиданія противниковъ на мѣстѣ роковой раздѣлки переданы авторомъ съ ужасающею истиною и поэзіею. Чтобы разстроить безчестныя намѣренія своихъ враговъ, возбудивъ трусость въ Грушницкомъ, Нечоринъ предложилъ ему стрѣляться на узенькой илощадкѣ отвѣсной скалы, сажень въ тридцать вышины, и съ острыми камиями внизу. «Каждый изъ насъ (говоритъ опъ Грушницкому), станетъ на самомъ краю площадки; такимъ образомъ даже легкая рана будетъ смертельна: это должно быть согласно съ вашимъ желаніемъ, потому что вы сами назначали шесть шаговъ. Тотъ кто будетъ раненъ, полетитъ непремѣнно внизъ,

разобьется въ дребезги: пулю докторъ вынетъ. И тогда можно будеть очень, очень легко объяснить эту скоропостижную смерть пеудачнымъ прыжкомъ. Мы бросимъ жребій, кому первому стрълять. Объясняю вамъ въ заключение, что иначе я не буду драться...» Грушинцкій быль поставлень въ затрудненіе-лице его ежеминутно мінялось. Теперь ему нельзя было отдълаться легкою раною, нанесенною противнику, или полученною имъ самимъ. Съ другой стороны, ему пришлось бы или выстрёлить на воздухъ, или сдёлаться убійцею, или отказаться оть своего подлаго замысла. Капитанъ отвъчалъ на вызовъ Печорина: «пожалуй!» и Грушпицкій принуждень быль кивнуть головою въ знакъ согласія. Однако онъ отвель капитана въ сторону и сталь говорить съ нимъ съ большимъ жаромъ. Печоринъ видёлъ, какъ дрожали его посинълыя губы, и слышаль, какъ капитань, отвернувшись отъ него съ презрѣпіемъ, отвѣчаль ему довольно громко: «ты дуракъ! ничего не понимаешь!»

Взошли на площадку, изображавшую почти треугольникъ. Условились, чтобы тотъ, которому первому достанется встрътить выстрёль, сталь на углу площадки, спиною къ пронасти; если же оцъ не будетъ убитъ, противники должны были помъняться мъстами. Бросили жребій-Грушницкому досталось стрълять нервому. Когда стали на мъста, Нечоринъ сказалъ Грушницкому, что если опъ промахнется, то не долженъ надъяться промаха съ его стороны. Грушницкій покраснёль: мысль убить человёка безоружнаго, казалось, боролась въ немъ со стыдомъ признаться въ подломъ умыслъ. Докторъ снова сталъ совътывать Печорину обнаружить ихъ умыселъ, и самъ было хотълъ это сдълать. «Ни за что на свъть, докторь!...» отвъчаль Печоринь, удерживая его за руку: «вы все испортите, вы мит дали слово не мъшать... какое вамъ дѣло? Можетъ-быть, и хочу быть убитымъ...»—0! это другое!... только на меня на томъ свътъ не жалуйтесь...-отвъчалъ Вернеръ, посмотръвъ на него съ удивленіемъ.

Капитанъ зарядилъ пистолеты, и подалъ одинъ Грушницкому, шепнувъ ему что-то, а другой Печорину. Печоринъ выдался впередъ, опершись рукою о кольно, чтобы, въ случат легкой раны, не полетьть въ бездиу; Грушницкій, съ блёднымъ лицомъ, дрожащими колёнями, сталъ наводить пистолеть, мётя въ лобь; но туть совершилось то, что необходимо должно было совершиться всябдствіе слабости характера Грушницкаго, неспособнаго ни къ положительному добру, ни къ положительному злу: пистолетъ опустился, и блёдный какъ смерть, обратившись къ своему секунданту, Грушницкій сказаль глухимъ голосомъ: «не могу!»—Трусъ! отвъчалъ капитанъ, — выстрълъ раздался-пуля легко оцарапала кольно Печорина, который невольно сдълаль нъсколько шаговъ внередъ, чтобы поскоръе отдълиться отъ края. Какая върная черта человъческой натуры, въ которой ни порывы самолюбія, ни жизнепная сила воли не могутъ заглушить инстинкта самосохраненія!...

Теперь настала очередь Печорина. Капитанъ сыгралъ сцену прощанія съ Грушницкимъ, едва удерживаясь отъ смѣха. Можно себъ представить, какія чувства волновали Печорина при видъ соперника, который теперь съ спокойною дерзостію смотрѣль на него и, кажется, удерживаль улыбку, а за минуту хотълъ убить его какъ собаку... Какъ бы для очистки своей совъсти, онъ предложилъ ему попросить у него прощенія, но, услышавъ гордый отказъ, произнесъ слъдующія слова съ разстановкою, громко и внятно, какъ произносять смертный приговорь: «Докторь, эти господа, въроятно второпяхъ, забыли положить пулю въ мой пистолетъ: прошу васъ зарядить его снова, —и хорошепько!» Каинтанъ старался казаться обиженнымъ, и утверждалъ, что это неправда; но Печоринъ заставилъ его замолчать, сказавъ, что если это такъ, то онъ и съ нимъ будетъ стръляться на тъхъ же условіяхъ. Грушницкій подаль ръшительный голось въ нользу переряженія пистолета. «Дуракъ же

ты, братецъ», сказаль капитанъ, плюнувъ и топнувъ ногою: «пошлый дуракъ!... Ужь положился на меня, такъ слушайся во всемъ... подъломъ же тебь! окольвай себь какъ муха!..» Печоринъ снова предложилъ Грушницкому-признаться въ своей клеветъ, объщаясь этимъ и кончить дъло, и даже напоминаль ему о ихъ прежней дружбъ. Здъсь предстояль автору прекрасный случай изобразить трогательную сцену примиренія враговъ и обращенія на путь истины заблудшаго человъка, и тъмъ премного утъщить моралистовъ и любителей пряничныхъ эффектовъ; но глубоко-художническій инстинктъ истины, безсознательно открывающій поэту самыя сокровенныя таинства человъческой природы, заставиль его написать сцену, совсёмь въдругомъ роде, сцену, которая поражаеть своею ужасною, безпощадною истинностію и своею потрясающею эффектностію, при высочайшей простотъ и естественности... Лице Грушницкаго вспыхнудо, глаза засверкали. «Стръляйте!» отвъчаль онъ: «я себя презираю, а васъ ненавижу. Если вы меня не убъете, я васъ заръжу ночью изъ-за угла. Намъ на землъ вдвоемъ нътъ мъста...»

Да, это геніальная черта, смълый и мощный взмахъ художнической кисти!... Не забудьте, что у Грушницкаго нътъ только характера, но что натура его не чужда была нѣкоторыхъ добрыхъ сторонъ: онъ не способенъ былъ ни къ дъйствительному добру, ни къ дъйствительному злу; но торжественное, трагическое положеніе, въ которомъ самолюбіе его играло бы напропалую, необходимо должно было возбудить въ немъ мгновенный и смѣлый порывъ страсти. Самолюбіе увѣрило его въ небывалой любви къ княжиѣ, и въ любви княжны къ нему; самолюбіе заставило его видъть въ Нечоринъ своего соперника и врага; самолюбіе рѣшило его на заговоръ противъ чести Печорина; самолюбіе не допустило его послушаться голоса своей совъсти и увлечься своимъ добрымъ началомъ, чтобы признаться въ заговоръ; са-

молюбіе заставило его выстрѣлить въ безоружнаго человѣка: то-же самое самолюбіе и сосредоточило всю силу его души въ такую рѣшительную минуту и заставило предпочесть вѣрную смерть вѣрному спасенію черезъ признаніе. Этотъ человѣкъ—апотеозъ мелочнаго самолюбія и слабости характера: отсюда всѣ его поступки,—и, несмотря на кажущуюся силу его послѣдияго поступка, онъ вышелъ прямо изъ слабости его характера. Самолюбіе — великій рычагъ въ душѣ человѣка; оно родитъ чудеса! Бываютъ на свѣтѣ люди, которые не блѣдиѣл, какъ нередъ чашкою чая, стоятъ нередъ дуломъ своего противника, которые прячутся нодъ фуры во время сраженія...

Спускаясь по тропинкъ внизъ, Печоринъ замътилъ между разсълинами скалъ окровавленный трупъ Грушницкаго, — и невольно закрылъ глаза. Возвращаясь въ Кисловодскъ, онъ опустилъ поводья и далъ волю коню. Солнце уже садилось, когда, измученный на измученной лошади, пріъхалъ онъ домой. Тамъ засталъ онъ двѣ записки—одну отъ доктора, другую отъ Въры.

Докторъ увѣдомлялъ его, что тѣло уже перевезено, но что, благодаря ихъ мѣрамъ, зарапѣе взятымъ, подозрѣній иѣтъ никакихъ, и что онъ можетъ спать спокойно... если можетъ...

Долго не рѣшался онъ открыть вторую записку; тяжелое предчувствіе мучило его — и опо не обмапуло его. Письмо Вѣры начинается прощаніемъ навсегда. Мужъ разсказалъ ей о ссорѣ Печорина съ Грушницкимъ, — и это такъ поразило и взволновало ее, что опа не понимала, что отвѣчала ему, и только догадывалась, что то было признаніе въ своей тайной любви, потому что мужъ оскорбилъ ее ужаснымъ словомъ, и, вышедъ изъ комнаты велѣлъ, закладывать карету. Мысль о вѣчной разлукѣ увлекла ее къ объясненію своихъ отношеній къ Печорину, — и вотъ примѣчательнѣйшее мѣсто письма:

"Мы разстаемся на въки; однакожь ты можеть быть увъренъ, что и никогда не буду любить другаго: моя душа истощила на тебъ всъ сеои сокровища, свои слезы и надежды. Любившая разъ тебя не можетъ смотръть безъ нъкотораго презръніи на прочихъ мущинъ, не потому, чтобы ты былъ лучше ихъ, о нътъ! но въ твоей природъ есть что-то особенное, тебъ одному свойственное, что-то гордое и таинственное; въ твоемъ голосъ, что бы ты ни говорилъ, есть власть непобъдимая, никто не умъетъ такъ постоянно хотъть быть любимымъ; ни въ комъ зло не бываетъ такъ привлекательно; ни чей взоръ не объщаетъ столько блаженства; никто не умъетъ лучше пользоваться своими преимуществами, и никто не можетъ быть такъ истинно несчастливъ, какъ ты, потому что никто столько пе старается увърить себя въ противномъ".

Инсьмо заключается изъявленіемъ соминтельной увѣренности, что онъ не любитъ Мери и не жениться на ней. «Послушай, ты долженъ мнѣ принести эту жертву: я для тебя потеряла все на свѣтѣ...»

Велкъ осъдлать измученнаго коня, какъ безумный, помчался Печоринъ въ Пятигорскъ. При возможности потерять Въру, она стала для него дороже всего на свътъ — жизни, чести, счастія! Натискъ судьбы взволновалъ могучую патуру, изнемогавшую въ спокойствій и миръ, и возбудилъ ея дремавшее чувство... Здъсь невольно приходятъ на умъ эти стихи Пушкина:

О люди! всв похожи вы На прародительницу Эву: Что вамъ дано, то не влечетъ: Васъ безпрестанно змій зоветъ Къ себъ, къ тапиственному древу: Запретный плодъ вамъ подавай, А безъ того вамъ рай не въ рай.

Стремглавъ скача и погоняя безпощадно, опъ сталъ замъчать, что конь его тяжело дышетъ и спотыкается. Оставалось иять верстъ до Гоптуковъ, казачей станицы, гдъ бы могъ онъ пересъсть на другую лошадь. Еще бы только десять минутъ, но конь рухнулся и издохъ... Печоринъ хо-

тълъ идти пъшкомъ, но изнуренный тревогами дня и безсонницею, онъ упалъ на мокрую траву и какъ ребенокъ заплакалъ... Напряженная гордость, холодная твердость—плодъ сухаго отчаянія, софизмы свътской философіи—все изчезло и умолкло; уже не стало человъка, волнуемаго страстями, потрясаемаго борьбою внутреннихъ противоръчій — передъ вами бъдное, безсильное дитя, слезами омывающее гръхи свои, чуждое, на эту минуту, ложнаго стыда и не жалующееся ни на судьбу, ни на людей, ни на самого себя...

"И долго лежалъ я неподвижно, и плакалъ горько, не стараясь удержать слезъ и рыданій; я думалъ, грудь моя разорвется; вся моя твердость, все мое хладнокровіе изчезли какъ дымъ, душа обезсильла, разсудокъ замолкъ; и еслибъ въ эту минуту кто-нибудь меня увидвлъ, онъ бы съ презръніемъ отвершулся".

Когда почная роса и горный вътеръ освъжили его горящую голову, онъ разсудилъ, что горькій прощальный поцълуй немного бы прибавилъ къ его восноминаніямъ, а разлука послъ него была бы тяжеле,—и возвратился въ Кисловодскъ въ пять часовъ утра, бросился въ постель и проспалъ мертвымъ сномъ до вечера. Тутъ пришелъ къ нему Вернеръ, и извъстилъ его что кияжна Лиговская больна разслабленіемъ нервъ; что начальство догадывается объ истинныхъ причинахъ смерти Грушницкаго, и что ему должно взять свои мъры. Въ самомъ дълъ, на другой день утромъ, онъ получилъ приказаніе отъ высшаго начальства отправиться въ кръпость N, гдъ судьба и свела его съ Максимъ Максимычемъ.

Передъ отъездомъ, онъ зашелъ къ княгине Лиговской проститься. Она встретила его, какъ человека, паверное явившагося къ ней, какъ къ матери, съ предложениемъ насчетъ руки дочери. Тутъ следуетъ превосходная комическая сцена, где княгиня, намекая Печорину, что ей извёстны его отношения къ Мери, даетъ ему знать, что не будетъ противиться ихъ соединению, и охотно прощаетъ ему странность его поведения въ отношения къ ея дочери. Нъсколько разъ

прерывала она свой большой монологъ пыхтъніемъ и вздохами, и наконецъ заплакала. Печоринъ попросилъ у нея позволенія наединъ переговорить съ ел дочерью, на что княгиня припуждена была согласиться.

Прошло пять минутъ; сердце мое сильно билось, но мысли были спокойны, голова холодна; какъ я ни искалъ въ груди моей хоть искры любви къ милой Мери, старанія мои были напрасны.

Вотъ дверь отворилась, и вошла она. Боже! какъ перемвнилась съ тъхъ поръ, какъ и не видалъ ел,—а давио ли? Дойди до середины комнаты, она пошатнулась; и вскочилъ, подалъ ей руку и довелъ ее до креселъ.

Я стоялъ противъ нея. Мы долго молчали; ея большія глаза, на полненные неизъяснимой грустью, казалось, искали въ моихъ чтонибудь похожее на надежду; ея блъдныя губы напрасно старались улыбнуться; ея нъжныя руки, сложенныя на колъняхъ, были такъ худы и прозрачны, что мнъ стало жаль ея.

 Княжна, сказалъ я, вы знаете, что я надъ вами смъялся!... Вы должны презирать меня.

На ен щекахъ показался бользненный румянецъ.

Я продолжаль: следственно, вы меня любить не можете.

Она отвернулась, облокотилась на столь, закрыла глаза рукою, и мнв показалось, что въ нихъ блеснули слезы.

"Боже мой!" произнесла она едва внятно.

Это становилось невыносимо; еще минута, и я бы упаль къ ногамъ ея.

— И такъ, вы сами видите, сказалъ я сколько могъ твердымъ голосомъ и съ принужденной усмъшкою, вы сами видите, что я не могу
на васъ жениться. Еслибъ вы даже этого теперь хотъли, то скоро бы
раскаялись; мой разговоръ съ вашей матушкой принудилъ меня объясниться съ вами такъ откровенно и такъ грубо; я надъюсь, что она
въ заблуждении: вамъ легко ее разувърить. Вы видите, я играю въ
вашихъ глазахъ самую жалкую и гадкую роль, и даже въ этомъ признаюсь; вотъ все, что могу для васъ сдълать. Какое бы вы дурное
мнъвіе обо мнъ не имъли, я ему покоряюсь.... Видите ли, я передъ
вами низокъ?... Не правда ли, если даже вы меня и любили, то съ
этой минуты презпраете?...

Она обернулась ко миж блюдная, какъ мраморъ, только глаза ея чудно сверкали. "Я васъ ненавижу..." сказала она.

Я поблагодариль, поклонился почтительно и вышель.

Нужно ли что-инбудь говорить объ этой сцень, гдь быдная Мери является въ такомъ безконечно поэтическомъ апотеозь страданія отъ обманутаго чувства и оскорбленнаго самолюбія и достоинства женщины, и гдь каждое ея движеніе, каждый звукъ ея голоса запечатльны такою неотразимою прелестію и истиною, а положеніе такъ трогательно и возбуждаеть такое сильное и горестное участіе?... Ныть, кому эта сцена не скажеть всего, тому наши слова ничего не пояснять...

Черезъ часъ скакалъ онъ на тройкъ курьерскихъ изъ Кисловодска, и на дорогъ увидълъ своего коня: съдло было снято и, вмъсто его, два ворона сидъли у него на синиъ... Онъ вздохнулъ и отвернулся...

"И теперь, здысь, въ этой скучной крыпости, и часто, пробытая мыслію прошедшее, спрашиваю себя, отчего, я не хотыть ступпть на этоть путь, открытый мий судьбою, гль меня ожидали тихія радости и спокойствіе душевное?... Нать, я бы не ужился съ этою долею! Я какъ матрось, рожденный и выросшій на палубъ разбойничьяго брига: его душа слилась съ бурями и битвами и, выброшенный на берегъ, онъ скучаеть и томится, какъ ни мани его тыпистая роща, какъ ни свъти ему мирное сольце; онъ ходить себъ цылый день по прибрежному песку, прислушивается къ однообразному ропоту набыгающихъ волнъ и всматривается въ туманную даль: не мелькнеть ли тамъ, на блъдной чертъ, отдъляющей синюю пучину отъ сърыхъ тучекъ, желанный парусъ, сначала подобный крылу морской чайки, но мало по-малу отдъляющійся отъ пъны валуновъ и ровнымъ бъгомъ приближающійся къ пустынной пристани...

Такою лирическою выходкою, полною безконечной поэзін и обнаруживающею всю глубину и мощь этого человѣка, замыкается журналъ Печорина. Теперь это таинственное лице, такъ сильно волновавшее наше любопытство и въ исторік Бэлы, и при свиданіи съ Максимъ Максимычемъ, и въ разсказѣ о собственномъ приключеніи въ Тамани, — теперь оно все передъ нами, во весь ростъ свой. Чрезъ него самого познакомились мы со всѣми изгибами его сердца,

со всёми событіями его жизни, и теперь уже самь онъ пичего новато не въ состояніи сказать памъ о самомъ себъ. Но между тъмъ, прочтя «Княжну Мери», мы все еще не разстались съ нимъ, и еще разъ встръчаемся съ нимъ, какъ съ разскащикомъ необыкновеннаго случая, котораго онъ былъ свидътелемъ. Мы не будемъ ни подробно излагать содержанія этого разсказа, ни ділать изъ него вынисокъ. Въ обществъ офицеровъ зашелъ споръ о восточномъ фатализмъ, и молодой офицеръ Вуличъ предложилъ пари противъ предопредъленія, схватиль со стъны первый попавшійся ему изъ множества висъвшихъ на стънъ пистолетовъ, насыпалъ на полку пороха, приставилъ пистолетъ ко лбу, спустилъ курокъ — осъчка!... Захотъли узпать, точно ли инстолетъ быль заряжень, выстрёлили въ фуражку, — и когда дымъ разсвялся, всв увидели, что фуражка была прострелена. Еще до выстрёла Печорину въ лицё и голосе Вулича показалось что-то такое странное и таинственное, что онъ невольно убъдился въ близкой смерти этого человъка, и предрекъ ему смерть. Въ самомъ дълъ, выходя изъ общества, Вуличь быль убить на улиць станицы пьянымь казакомь... Да здравствуетъ фатализмъ!... Все, что мы пересказали въ нъсколькихъ строкахъ, составляетъ въ романъ порядочный отрывовъ съ превосходно изложенными подробностями, увлекательный по разсказу. Особенно хорошо обрисованъ характеръ героя — такъ и видите его передъ собою, тъмъ болъе, что онъ очень похожъ на Печорина. Самъ Печоринъ является туть дъйствующимъ лицемъ, и едва ли еще не болъе на первомъ планъ, чъмъ самъ герой разсказа. Свойство его участія въ ході повісти, равно какъ и его отчаянная, фаталическая смілость при взятін взбілсившагося казака, если не прибавляють ничего новаго къ даннымъ о его характеръ, то все-таки добавляють уже извъстное намъ, и тъмъ самымъ усугубляютъ единство мрачнаго и терзающаго душу впечатльнія цьлаго романа, который есть біографія одного

лица. — Это усиленіе впечатлѣнія особенно заключается въ основной иден разсказа, которая есть — фатализмъ, вѣра въ предопредѣленіе, одно изъ самыхъ мрачныхъ заблужденій человѣческаго разсудка, которое лишаетъ человѣка правственной свободы, изъ слѣпаго случая дѣлая необходимость. Предразсудокъ — явно выходящій изъ положенія Печорина, который не знаетъ, чему вѣрить, на чемъ опереться, и съ особеннымъ увлеченіемъ хватается за самыя мрачныя убѣжденія, лишь бы только даваян они поэзію его отчаянію и оправдывали его въ собственныхъ глазахъ.

Что же за человѣкъ этотъ Печоринъ? — Здѣсь мы должны обратиться къ «Предисловію», написанному авторомъ ромапа къ журналу Печорина.

Теперь и долженъ нъсколько объяснить прачины, побудившім меня предать публикъ сердечный тайны человъка, котораго и никогда не зналъ. Добро бы и былъ еще его другомъ: ковчрнай нескромность истиннаго друга понятна каждому, но и видълъ его только разъ въ моей жизни на большой дорогъ; слъдовательно, не могу питать къ нему той неизъяснимой ненависти, которая, таясь подъ личиною дружбы, ожидаетъ только смерти или несчастія любимаго предмета, чтобъ разразиться надъ головою громомъ упрековъ, совлтовъ, и сожалѣній.

Несмотря на всю софистическую ложность этой горькой выходки, — самая же жолчность свидѣтельствуетъ уже, что въ ней есть своя истинная сторона. Въ самомъ дѣлѣ, и дружба, иодобно любви, есть роза съ роскошнымъ цвѣтомъ, упоительнымъ ароматомъ, но и съ колючими шипами. Каждая индивидуальность, какъ бы по природѣ своей, враждебна другой, и силится пересоздать ее по своему, и въ самомъ дѣлѣ, когда сходятся двѣ субъективности, онѣ, такъ сказать, чрезъ взаимное треніе другъ объ друга сглаживаются и измѣняются, заимствуя одна отъ другой то, чего имъ пе достаетъ. Отсюда это взаимное цензорство въ дружбѣ, эта страсть разражаться надъ головою друга градомъ упрековъ, насмѣшекъ и сожалѣній. Самолюбіе тутъ играетъ свою

роль; но если дружба основана не на дѣтской привязанности, или какой-нибудь виѣшней связи,—истинная привязанность, внутрениее человѣческое чувство всегда играетъ тутъ свою роль. Авторъ видитъ въ дружбѣ один шины—и его ошибка не въ ложности, а въ односторонности взгляда. Онъ видимо находится въ томъ состояніи духа, когда въ нашемъ разумѣніи всякая мысль распадается на свои же собственные моменты, до тѣхъ норъ, пока духъ нашъ не созрѣетъ для великаго процесса разумнаго примиренія противоположностей въ одномъ и томъ же предметъ. Вообще, хотя авторъ и выдаетъ себи за человѣка, совершенио чуждаго Печорину, но онъ сильно симпатизируетъ съ нимъ и въ ихъ взглядъ на вещи — удивительное сходство. Слѣдующее мѣсто изъ «Предисловія» еще болѣе подтверждаетъ нашу мысль:

"Можетъ быть, нъкоторые читатели захотятъ узнать мое мнѣніе о характеръ Печорина. Мои отвътъ—заглавіе этой книги. — "Да это злая иронія!..." скажутъ они.—Не знаю."

Итакъ — «Герой нашего времени» — вотъ основная мысль романа. Въ самомъ дѣлѣ, послѣ этого весь романъ можетъ почесться злою проніею, потому что большая часть читателей навѣрное воскликнетъ: «Хорошъ же герой!» — А чѣмъ же онъ дуренъ? — смѣемъ васъ спросить.

Зачёмъ же такъ неблагосклонно
Вы отзываетесь о немъ?
Затоль, что мы неугомонно
Клопочемъ, судимъ обо всемъ.
Что пылкихъ думъ неосторожность
Себялюбивую ничтожность
Иль оскорбляетъ, гль смъщитъ,
Что умъ, любя просторъ, тъснитъ,
Что слишкомъ часто разговоры
Принять мы рады за дъла,
Что глупость вътрена и зла,
Что важнымъ людямъ важны вздоры,
И что посредственность одна
Намъ по-плечу и нестрашна?

Вы говорите противъ него, что въ немъ иътъ въры. Прекрасно! но въдь это тоже самое, что обвинять нищаго за то, что у него итть золота: онъ бы и радъ имъть его, да не дается оно ему. И притомъ, развъ Печоринъ радъ своему безвърію? развъ онъ гордится имъ? развъ онъ не страдаль отъ него? развъ онъ не готовъ цъною жизни и счастія купить эту въру, для которой еще не насталь часъ его?... Вы говорите, что онъ эгопсть?-- Но развъ онъ не презираетъ и не пенавидитъ себя за это! развъ сердце его не жаждеть любви чистой и безкорыстной. Нъть, это не эгонямь: эгонямь не страдаеть, не обвиняеть себя, но доволенъ собою, радъ себъ. Эгоизмъ не знаетъ мученія; страданіе есть удёль одной любви. Душа Печорина не каменистая почва, но засохшая отъ зноя пламенной жизни земля: пусть взрыхлить ее страданіе и оросить благодатный дождь, —и она произрастить изъ себя пышные, роскошные цвъты небесной любви... Этому человъку стало больно и грустно, что его вет пе любять, —и кто же эти «вст?» — пустые, ничтожные люди, которые не могутъ простить ему его превосходства надъ ними. А его готовность задушать въ себъ ложный стыдъ, голосъ свътской чести и оскорбленнаго самолюбія, когда онъ за признаніе въ клеветъ готовъ былъ простить Грушнинкому, человъку сейчасъ только выстрълнешему въ него пулею, и безстыдно: ожидавшему отъ него холостаго выстръла? А его слезы и рыданія въ пустынной степи, у тъла издохшаго коня?--иътъ, все это не эгонамъ! Но его-скажите вы - холодная разсчетливость, систематическая разсчитанность, съ которою онъ обольщаеть бъдную дъвушку, не любя ее, и только для того, чтобы посмъяться надъ нею и чъмъ-нибудь заиять свою праздность? — Такъ, но мы и не думаемъ оправдывать его въ такихъ поступкахъ, ни выставлять его образцомъ, высокимъ пдеаломъ чиствишей правственности: мы только хотимъ сказать, что въ челов'ть должно видъть челов'тьа, и что пдеалы правственности существують въ однихъ классическихъ трагедіяхъ и моральносантиментальныхъ романахъ прошлаго въка. Судя о человъкъ, должно брать въ разсмотръніе обстоятельства его развитія и сферу жизни, въ которую онъ поставленъ судьбою. Въ идеяхъ Печорина много ложнаго, въ ощущеніяхъ его есть искаженіе; но все это выкупается его богатою натурою. Его, во многихъ отношеніяхъ, дурное настоящее-объщаеть прекрасное будущее. Вы восхищаетесь быстрымъ движеніемъ нарохода, видите въ немъ великое торжество духа надъ природою?--и хотите потомъ отрицать въ немь всякое достоинство, когда онъ сокрушаетъ, какъ зерно жорновъ, неосторожныхъ, попавшихъ подъ его колеса: не значить ли это противоръчить самимъ себъ? опасность отъ нарохода есть результать его чрезмёрной быстроты; слёдовательно, порокъ его выходить изъ его достоинства. Бывають люди, которые отвратительны при всей безукоризненности своего поведенія, потому что она въ нихъ есть слъдствіе безжизненности и слабости духа. Порокъ возмутителенъ и въ великихъ людяхъ; но наказанный, онъ приволить въ умиление вашу душу. Это наказание только тогда есть торжество нравственнаго духа, когда оно является не извић, но есть результать самого порока, отрицаніе собственной личности индивидуума въ оправдание въчныхъ законовъ оскорбленной нравственности. Авторъ разбираемаго нами романа, описывая наружность Печорина, когда онъ съ нимъ встрътился на большой дорогъ, вотъ что говоритъ о его глазахъ: «Опи не смъялись, когда онъ смъялся... Вамъ не случилось замъчать такой странности у нъкоторыхъ людей? Это признакъ — или злаго нрава, или глубокой, постоянной грусти. Изъ-за полуопущенныхъ ръсницъ они сіяли какимъ-то фосфорическимъ блескомъ, если можно такъ выразиться. То не было отражение жара душевнаго, или играющаго воображенія: то быль блескь, подобный блеску гладкой стали, ослепительный, но холодный; взглядъ его--

непродолжительный, но проницательный и тяжелый оставлять по себъ непріятное впечатльніе нескромнаго вопроса, и могъ казаться дерзкимъ, еслибъ не былъ столь равнодушно спокоенъ». — Согласитесь, что какъ эти глаза, такъ и вся сцена свиданія Печорина съ Максимъ Максимычемъ ноказываютъ, что если это порокъ, то совсъмъ не торжествующій, и надо быть рожденнымъ для добра, чтобъ такъ жестоко быть наказану за зло?... Торжество правственнаго духа гораздо поразительнъе совершается надъ благородными натурами, чъмъ надъ злодъями...

А между тъмъ, этотъ романъ совстиъ не злая пропія, хотя и очень легко можетъ-быть принятъ за пропію; это одинъ изъ тъхъ романовъ,

> Въ которыхъ отразился въкъ, И современный человъкъ Изображенъ довольно върно Съ его безиравственной душой Себялюбивой и сухой, Мечтанью преданной безиърно, Съ его озлобленнымъ умомъ, Кипящемъ въ дъйствіи пустомъ.

«Хорошъ же современный человъкъ!» воскликнуль одинъ нравоописательный «сочинитель», разбирая, или лучше сказать, ругая седьмую главу «Евгенія Онтгина». Здѣсь мы почитаемъ кстати замѣтить, что всякій современный человъкъ, въ смыслѣ представителя своего вѣка, какъ бы онъ ни былъ дуренъ, не можетъ быть дуренъ, потому что нѣтъ дурныхъ вѣковъ, и не одинъ вѣкъ не хуже и не лучше другаго, потому что онъ есть необходимый моментъ въ развитіи человѣчества, или общества.

Пушкинъ спрашиваль самого себя о своемъ Онъгинъ.

Чудакъ печальный и опасный, Созданье ада иль небесъ. Сей ангелъ, сей надизиный бъсъ, Что жь онъ? Ужели подражанье, Ничтожный призракъ, иль еще Москвичъ въ Гарольдовомъ плащъ, Чужихъ причудъ истолкованье Словъ модныхъ полный лексиконъ,— Ужь не пародіи ли онъ?

И этимъ самымъ вопросомъ, опъ разрѣшилъ загадку и нашелъ слово. Опѣгинъ не подраженіе, а отраженіе, но сдѣлавшееся не въ фантазіи поэта, а въ современномъ обществѣ, которое онъ изобразилъ въ лицѣ героя своего поэтическаго романа. Сближеніе съ Европою должно было особеннымъ образомъ отразиться въ нашемъ обществѣ,—и Пушкинъ геніальнымъ инстинктомъ великаго художника уловилъ это отраженіе въ лицѣ Опѣгина. Но Онѣгинъ для насъ уже прошедшее и прошедшее невозвратное.

Еслибы онъ явился въ наше время, вы имъли бы право спросить, вмъстъ съ поэтомъ:

Все тотъ же ль онъ, иль усмирилса? Иль корчить такъ же чудака? Скажите, чъмъ онъ возвратился! Что намъ представить онъ пока? Чъмъ нынъ явится?—Мельмотомъ, Космополитомъ, патріотомъ, Гарольдомъ, квакеромъ, ханжой, Иль маской щегольнетъ иной. Иль просто будетъ добрый малый, Кикъ вы да и, какъ цълый свъть?

Печоринъ Лермонтова есть лучшій отв'ять на всё эти вопросы. Это Он'ягинъ нашего времени, герой нашего времени. Несходство ихъ между собою гораздо меньше разстоянія между Он'ягою и Печорою. Иногда, въ самомъ имени, которос истинный поэть даетъ своему герою, есть разумная необходимость, хотя, можетъ быть, и невидимая самимъ поэтомъ.

Со стороны художественнаго выполненія, нечего и срав-

нивать Опътина съ Печоринымъ. Но какъ выше Опътинъ Печорина въ художественномъ отношенін, такъ Печоринъ выше Опътина по идеъ. Впрочемъ, это преимущество принадлежитъ нашему времени, а не Лермонтову.

Что такое Онъгинъ?—Лучшею характеристикою и истолкованіемъ этого лица можетъ служить французскій эпиграфъ къ ноэмъ: «Petri de vanité il avait encore plus de cette espece d'orgueil pui fait avouer avec la même indifference les bonnes comme les mauvaises actions, suite d'un sentiment de superiorité, peut-etre imaginaire». Мы думаемъ, что это превосходство въ Онъгинъ нисколько не было воображаемымъ, потому что онъ «вчужъ чувства уважалъ и что въ «его сердцъ была и гордость и прямая честь». Онъ является въ романъ человъкомъ, котораго убили воспитаніе и свътская жизнь, которому все приглядълось, все прівлось, все прилюбилось, и котораго вся жизнь состояла въ томъ:

Что онъ равно зѣвалъ Средь модныхъ и старинныхъ залъ.

Не таковъ Печоринъ. Этотъ человъкъ не равнодушно, не анатически несетъ свое страданіе: бъшено гоняется онъ за жизнью, ища ея новсюду; горько обвиняетъ онъ себя въ своихъ заблужденіяхъ. Въ немъ неумолчно раздаются внутренніе вопросы, тревожатъ его, мучатъ, и онъ въ рефлексій ищетъ ихъ разръшенія: подсматриваетъ каждое движеніе своего сердца, разсматриваетъ каждую мысль свою. Онъ сдълалъ изъ себя самый любонытный предметъ своихъ наблюденій, и, стараясь быть какъ можно искреннъе въ своей исповъди, не только откровенно признается въ своихъ истиниыхъ недостаткахъ, но еще и выдумываетъ пебывалые, или ложно истолковываетъ самыя естественныя свои движенія. Какъ въ характеристикъ современнаго человъка, сдъланной Пушкинымъ, выражается весь Опътинъ, такъ Печоринъ весь въ этихъ стихахъ Лермонтова:

И ненавидить мы, и любимъ мы случайно, Ничвиъ не жертвуя ни злобъ, ни любви. И царствуетъ въ душъ какой то холодъ тайный, Когда огонь кипитъ въ крови.

«Герой нашего времени» — это грустная дума о нашемъ времени, какъ и та, которою такъ благородно, такъ энергически возобновилъ поэтъ свое поэтическое поприще, и изъ которой мы взяли эти четыре стиха...

Но со стороны формы, изображение Печорина несовствить художественно. Однако причина этого не въ недостаткъ таданта автора, а въ томъ, что изображаемый имъ характеръ, какъ мы уже слегка и намекнули, такъ близокъ къ нему, что онъ не въ силахъ быль отдёлиться отъ него и объектировать его. Мы убъждены, что никто не можетъ видъть въ словахъ нашихъ желаніе выставить романъ г. Лермонтова автобіографією. Субъективное изображеніе лица не есть автобіографія: Шиллеръ не быль разбойникомъ, хотя въ Карлъ Мооръ и выразиль свой идеаль человъка. Прекрасио выразился Фаригагенъ, сказавъ, что на Опътина и Ленскаго можно бы смотръть, какъ на братьевъ Вульта и Вальта у Жанъ Поля Рихтера, т. е. какъ на разложение самой природы поэта, и что онъ, можетъ быть, воплотилъ двойство своего внутренияго существа въ этихъ двухъ живыхъ созданіяхъ. Мысль върная, а между тъмъ было бы очень нелъпо искать сходныхъ чертъ въ жизни этихъ лицъ съ жизнію самого поэта.

Вотъ причина неопредъленности Исчорина и тъхъ противоръчий, которыми такъ часто опутывается изображение этого характера. Чтобы изобразить върно данный характеръ, надо совершенно отдълиться отъ него, стать выше его, смотръть на него какъ на иъчто окоиченное. Но этого, повторяемъ, невидно въ создани Исчорина. Опъ скрывается отъ насъ такимъ же неполнымъ и перазгаданнымъ существомъ, какъ и является памъ въ началъ романа. Оттого и самый романъ, поражан удивительнымъ единствомъ ощущения, инсколько не поражаетъ

единствомъ мысли, и оставляетъ насъ безъ всякой перспективы, которая невольно возникаетъ въ фантазіи читателя по прочтеніи художественнаго произведенія, и въ которую невольно погружается очарованный взоръ его. Въ этомъ романъ удивительная замкнутость созданія, по не та высшая, художественная, которая сообщается созданію чрезъ единство поэтической идеи, а происходящая отъ единства поэтическаго ощущенія, которымъ опъ такъ глубоко поражаетъ душу читателя. Въ немъ есть что-то неразгаданное, какъ бы недоговоренное, какъ въ «Вертеръ» Гёте, и нотому есть что-то тяжелое въ его впечатлъніи. Но этотъ недостатокъ есть въ то же время и достоинство романа г. Лермонтова: таковы бываютъ всъ современные общественные вопросы, высказываемые въ поэтическихъ произведеніяхъ: это воиль страданія, но воиль, который облегчаетъ страданіе...

Это же единство ощущенія, а не иден, связываеть и весь романъ. Въ «Опътипъ» всъ части органически сочленены, ибо въ избранной рамкъ романа своего Иушкинъ изчерналъ всю свою идею, и потому въ немъ ни одной части нельзя ни измѣпить, ни замѣнить. «Герой нашего времени» представляеть собою нёсколько рамокь, вложенныхь въ одну большую раму, которая состоить въ названіи романа и единствъ героя. Части этого романа расположены сообразно съ внутреннею необходимостію; по какъ онъ суть только отдъльные случан изъ жизии хотя и одного и того же человъка, то и могли бъ быть замънены другими, пбо вмъсто приключенія въ кръности съ Бэлою, или въ Тамани, могли бъ бытьподобныя же и въ другихъ мъстахъ, и съ другими лицами, хотя при одномъ и томъ же героъ. Но тъмъ неменъе, основная мысль автора даеть имъ единство, и общность ихъ впечатлѣнія поразптельна, не говоря уже о томъ, что «Бэла», «Максимъ Максимычъ» и «Тамаць», отдёльно взятыя, суть въ высшей степени художественныя произведенія. И какія типическія, какія дивно-художественныя лица-Бэлы, Азамата, Казбича, Максима Максимыча, дъвушки въ Тамани!

Какія поэтическія подробности, какой на всемь поэтическій колорить!

Но «Княжна Мери», и какъ отдъльно взятая повъсть, менъе всъхъ другихъ художественна. Изъ лицъ, одинъ Грушницкій есть истинно-художественное созданіе. Драгунскій капитанъ безподобенъ, котя и является въ тени, какъ лице меньшей важности. Но всёхъ слабе обрисованы лица женскія, потому что на нихъ-то особенно отразилась субъективность взгляда автора. Лице Въры особенно неуловимо и неопредъленно. Это скоръе сатира на женщину, чъмъ женщина. Только что начинаете вы ею заинтересовываться и очаровываться, какъ авторъ тотчасъ же и разрушаетъ ваше участіе и очарованіе какою-нибудь совершенно произвольною выходкою. Отношенія ея къ Печорину похожи на загадку. То она кажется вамъ женщиною глубокою, способною къ безграничной любви и преданности, къ геройскому самоотверженію; то видите въ ней одну слабость и больше инчего. Особенно ощутителенъ въ ней недостатокъ женственной гордости и чувства своего женственнаго достоинства, которыя не мъшаютъ женщинъ любить горячо и беззавътно, но которыя едва ли когда допустять истинно глубокую женщину спосить тиранство любви. Она любитъ Печорина, а въ другой разъ выходить замужъ, и еще за старика, слъдовательно, по разсчету, по какому бы то ни было; измѣнивъ для Печорина одному мужу, измѣняетъ и другому, и скорѣе по слабости, чъмъ по увлечению чувства. Она обожаетъ въ Печоринъ его высшую природу, и въ ея обожаніи есть что-то рабское. Всявдствіе всего этого, она не возбуждаеть къ себъ сильнаго участія со стороны автора и, подобно тіпи, проскользаетъ въ его воображении. Княжна Мери изображена удачите. Это дъвушка неглупая, но и не пустая. Ея направленіе нъсколько идеально, въ дътскомъ смыслъ этого слова: ей мало любить человъка, къ которому влекло бы ее чувство, непремѣнно надо; чтобы онъ былъ несчастенъ и ходилъ въ толстой и строй солдатской шинели. Печорину очень легко

было обольстить ее: стоило только казаться непонятнымъ и таниственнымъ, и быть дерзкимъ. Въ ея направленіи есть итчто общее съ Грушницкимъ, котя она и несравненно выше его. Она допустила обмануть себя; но когда увидѣла себя обманутою, она, какъ женщина, глубоко почувствовала свое оскорбленіе и нала его жертвою, безотвѣтною, безмолвно страдающею, но безъ униженія,—и сцена ея послѣдняго свиданія съ Печоринымъ возбуждаетъ къ ней сильное участіе и обливаетъ ея образъ блескомъ поэзіи. Но песмотря на это, и въ ней есть что-то какъ будто-бы недосказанное, чему опять причиною то, что ея тяжбу съ Печоринымъ судило не третье лице, какимъ бы долженъ былъ явиться авторъ.

Однако, при всемъ этомъ недостаткъ художественности, вся повъсть насквозь пропикнута поэзіею, исполнена высочайшаго интереса. Каждое слово въ ней такъ глубоко знаменательно, самыя парадоксы такъ поучительны, каждое положеніе такъ интересно, такъ живо обрисовано! Слогъ повъсти—то блескъ молнін, то ударъ меча, то разсыпающійся по бархату жемчугъ! Основная идея такъ близка сердцу всякаго, кто мыслитъ и чувствуетъ, что всякій изъ такихъ, какъ бы ни противоположно было его положеніе положеніямъ, въ ней представленнымъ, увидитъ въ ней исповъдь собственнаго сердца.

Въ «Предисловіи» къ журналу Печорина авторъ, между прочимъ, говоритъ:

"Я помъстиль въ этой книгъ только то, что относилось къ пребыванію Печорина на Кавказъ. Въ моихъ рукахъ осталась еще толстая тетрадь, гдъ онъ разсказываетъ всю жизнь свою. Когда-нибудь п она явится на судъ свъта, но теперь и не могу взять на себя эту отвътственность.

Благодаримъ автора за пріятное объщаніе, но сомнъваемся, чтобъ опъ его выполнилъ: мы кръпко убъждены, что опъ всегда разстался съ своимъ Печоринымъ. Въ этомъ убъжденіи утверждаетъ насъ признаніе Гёте, который говоритъ въ своихъ запискахъ, что: написавъ «Вертера», бывшаго плодомъ тяжелаго состоянія его духа, онъ освободился отъ него, и быль такъ далекъ отъ героя своего романа, что ему смѣшно было видѣть, какъ сходила отъ него съ ума пылкая молодежь... Такова благодарная природа поэта: собственною силою своею вырывается опъ изъ всякаго момента ограниченности, и летитъ къ новымъ, живымъ явленіямъ міра, въ полное славы творенье... Объектируя собственнос страданіе, онъ освобождается отъ него; переводя на поэтическіе звуки диссонансы духа своего, онъ снова входить въ родную ему сферу въчной гармонін... Если же г. Лермонтовъ и выполнить свое объщание, то мы увърены, что онъ представить уже не стараго и знакомаго намъ, о которомъ онъ уже все сказалъ, а совершенно новаго Иечорина, о которомъ еще можно много сказать. Можетъ-быть, онъ покажетъ его намъ исправившимся, признавшимъ законы правственности, но върно ужь не въ утъщене, а въ пущее огорчение моралистовъ; можетъ-быть, онъ заставить его признать разумность и блаженство жизпи, но для того чтобы увърпться, что это не для него, что онъ много утратилъ силь въ ужасной борьбъ, ожесточился въ ней, и не можетъ сдълать эту разумность и блаженство своимъ достояніемъ... А можетъ быть и то: онъ сдълаетъ его и причастникомъ радостей жизни, торжествующимъ побъдителемъ напъ злымъ геніемъ жизни... Но то или другое, а во всякомъ случат искупление будеть совершенно черезъ одну изъ тъхъ женщинъ, существованию которыхъ Печоринъ такъ упрямо не хотълъ върить, основываясь не на своемъ внутреннемъ созерцанін, а на б'єдныхъ опытахъ свой жизни... Такъ сділаль и Пушкинъ съ своимъ Онъгинымъ: отвергнутая имъ женщина воскресила его изъ смертнаго усыпленія для прекрасной жизни, но не для того, чтобы дать ему счастіе, а для того, чтобы наказать его за невъріе въ таинство любви и жизни, и въ достоинство женщины...

СИПСОКЪ КНИГЪ, ОТЗЫВЫ О КОТОРЫХЪ, ПО НЕЗНАЧИ-ТЕЛЬНОСТИ СВОЕЙ, НЕ ВОШЛИ ВЪ ТРЕТЬЮ ЧАСТЬ ЭТОГО СОБРАНІЯ.

1839 Московскій Наблюдатель. Кн. 1. Искуситель. Соч. Загоскина. - Ледяной домъ и Басурманъ, соч. Лажечникова. - Басни и апологи, И. Дмитріева. - Дурацкій колпакъ. - Стихотворенія А. Вердеревскаго. - Карманный пъсенникъ. - Дъдушка Русскаго флота. - Архиваріусъ...-Ложа 1-го яруса.--Дядя Симонъ.--Руководство къ логикъ.--Новая россійская грамматика Меморскаго, - Ключь къ изъясненію словъ. - Ки. 2. Утренняя заря на 1838. - Виндзорскія кумушки, комедія Шекспира.—Проклятое місто. Соч. Воспресенскаго —Дівушка въ семнадцать льтъ. Соч. Поль-де-Кока.--Катерина, комедін.--Сланой или двъ сестры, комедія. Воскресенье въ Марьиной рощъ, интермедія. Еще Филатка и Мирошка, интермедія. Выль и заблужденія моего ума и сердца, соч. Башкатова. -- Ки. З. Одесскій альнавахъ на 1839 г.—Свътлъйщій князь Потемкинъ, соч. Н. Надеждина. —Стихотворенія Д. Сушкова.—Калебъ Вилліамсъ.—Владиміръ и Юлія.—Дъвичьи интриги. -- Вечевой колоколъ, романъ. -- Балакирева полное собраніе анекдотовъ. — ІІ то и сё. — Мечты, комедія-водевиль — Маскерадъ въ лътнемъ клубъ, ни то ни сё. - Студентъ, артистъ, хористъ и аферисть. - Разстроенное сватовство. - Ки. 4. Тысяча одна ночь, арабскія сказки. — Басни и сказки А. Измайлова. — Илліада Гомера, пер. Гитдича.--Приключение съ моими знакомыми, соч. И. Ваненко.--Я рисоваль очерки.-- Пародія, романь.-- Вечерніе разсказы, В. Невскаго. - Повъсти изъ событій русской старины - Иванъ Сусанинъ, романъ И. Дмитревскаго. - Невъста изгнаннява, соч. Ев. Фоа. - Разговоры отца съ детьми. - Сказки моей бабушки. - Шесть новыхъ повъстей для двтей. - Всеобщій французскій словарь. - Литературныя прибавленія къ Русскому Инвалиду. Т. И. № 6. Новъйшій и самый полный астрономическій телескопъ. - Соперники въ любви, повъсть. -Повъсть о томъ, какимъ образомъ прівзжіе купцы познакомплись съ приказнымъ. № 8. Эдмондъ и Констанція, соч. Поль-де-Кока.—№ 11.

Опыть о предметь и элементахъ статистики, соч. И. Срезневскаго.-№ 12. Стихотворенія Алексвя Леонова.—Путешествіе въ Смоленскъ, соч. Н. Бороградскаго. -- Графиня Евгенія, соч. Петра Евпсихіева. --Дмитрій Іоанновичъ Донской, повъсть. - Картины бородинской битвы, соч. О. Кузмичева. Талисманъ или заклинатель духовъ. Чижикъ, повъсть для дътей.-Изъясиение къ прожектированному плану Москвы.—№ 15. Enchyridion medicum, соч. Гуфланда.—Садовникъ, цвътоводъ и огородникъ. – Латинская грамматика по Цумиту. – № 16. Grammaire Russe.—Сынъ милліонера.—№ 19. Таблицы о цънности россійской и иностранной монеты. —О бользненных вліяніях в господствующихъ въ Германіи.- Ж 20. Русская грамматика для первоначальнаго обученія. —№ 21. Наказанное преступленіе. — Отечественныя Записки. Кн. 8. Сказка о Марьв Марсвив.--Жаръ птица.--Соперники въ любви. - Ки. 9. Графиня Евгенія. - Талисманъ или заклинатель духовъ. — Картина Бородинской битвы. — Ки. 10. Какъ любятъ женщины.- Необыкновенный случай, водевиль.- Второй музыкальный альбомъ всъхъ куплетовъ изъ этого водевиля. - Предпослъднее странствованіе Семилассо.—Народный русскій піссенникъ.—Разсужденіе о лажь. -- Кн. 11. Шапка юродиваго или трилиственникъ. -- Въ день заложенія храма Спасителя въ Москвъ.--Гробинца на Востокъ. --Вдоведъ и его сынъ, комедія-водевиль. - Кумъ и сватъ, быль. - Недоросль, комедія.—Двинія Петра Великаго.—Основанія Русской Статистики.— Лъкарство отъ задумчивости.

конепъ третьей части.

ОГЛАВЛЕНІЕ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ.

1839.

московскій наблюдатель.

1

критика.

	Стр.
Ледяной домъ и Басурманъ. Два романа И. Лажечникова	9
2	
БИБЛЮГРАФІЯ.	
Кальянъ и Арфа, стихотворенія А. Полежаева	31
Современникъ. Томы 11-й и 12-й	
Странный баль, соч. В. Олина	42
Сердце человъческое есть или храмъ Божій или жилище сатаны.	45
Искусство брать взятки, соч. Серебренникова.—Три бездълки	
ero me	50
Дъйствительное путешествіе въ Воронежъ. Соч. Раевича	54
Сто русскихъ литераторовъ. Т 1	56
Мусташъ. Соч. Поль-де-Кока	65
Новогодникъ. Изд. Н. Кукольникомъ	66
Записки Александрова (Дуровой)	76
Браво или венеціянской бандитъ: Соч. Купера	82
Русскіе журналы	85
3	
TEATPЪ,	
Театральная хроника	121
ЛИТЕРАТУРНЫЯ ИРПБАВЛЕНИЯ КЪ "РУССКОМ ИНВАЛИДУ".	y
1	
БИБЛІОГРАФІЯ.	
Новъйшій дътскій Робинзонъ	133
Стихотворенія Владислава Горчакова	134
Ръчи, произнесенныя въ торжественномъ собрании московского	
университета 10 іюня 1839 года	13 8

TEATPЪ. Стр. Спектакли 21 ноября и 11 декабря. . 176 ОТЕЧЕСТВЕННЫЯ ЗАПИСКИ. 1 критика. **ВІФАЧТОІЦЭНЭ** Бородинская годовщина. В. Жуковскаго.-- Письмо изъ Бородина Способъ къ распространенію шелководства......... 264 Собраніе рецептовъ парижскихъ городскихъ больницъ. 268 1840. ОТЕЧЕСТВЕННЫЯ ЗАПИСКИ. критика. Подарокъ на новый годъ. -- Дътскія сказки дъдушки Принея. . . 467 Списокъ внигъ, отзывы о которыхъ, по незначительности ихъ,

